

Георгий Елин



КНИЖКА С КАРТИНКАМИ





Георгий Елин

КНИЖКА С КАРТИНКАМИ

Рассказы
Истории
Портреты
Дневники

УДК 82-3, 94
ББК 84 (рос-рус) 1-4
Е 51

Публикуется в авторской редакции

В оформлении обложки использован рисунок И. Зайцевой

Елин Г.А.

Е51 Книжка с картинками

М.: Издательский Дом «Парад», 2008. – 450 стр.: ил.

ISBN 978-5-8061-0128-1

«Новая газета» пишет: «Георгий Елин – автор с тонким чувством той нынешней редакционно-кухонной повседневности, которая завтра станет историей литературы». Г. Елин никогда не сдерживал себя в рамках одного жанра: публиковал рассказы, эссе и воспоминания, распечатывал записные книжки из архива Андрея Платонова, выпускал книги и документальные телефильмы, открывал и закрывал периодические издания, редактировал журналы «Стас», «Крокодил» и др. Новую книгу мастера журналистского цеха составили публикации последних лет и фотографии, сделанные Георгием Елиным для своих материалов, а также избранные страницы дневников и записных книжек.

© Г. Елин – тексты, фотографии, 2008
© Издательский дом «Парад», 2008

Георгий Елин

КНИЖКА С КАРТИНКАМИ

Рассказы
Истории
Портреты
Дневники



ПАРАД
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

Москва 2008

СОДЕРЖАНИЕ

Рассказы

7 - 72

Девочка, идущая навстречу
Через поле
Точка росы
Цвет
Жалость

«Мальчишник»...

75 - 120

Пушкин и его Звезда
Штучная модель
Командир Очакова
Труби, Трубач!
Брат наш Колька
Виртуозы Москвы
– Море крови!..
Шуточка

...и др. истории

123 - 233

Олимпийский год
Пядь земли и Военная тайна
Своя война
Товарищеский суд
Слоны хохочут беззвучно
Пленник свободы
Незнаменитый классик
Доверчивый ёрник
Левша по имени Боба
Парадоксов друг
Не меценаты мы, не спонсоры...
...И помнилась им Свобода

Мои современники

Портреты и всё, что осталось за кадром
236 - 270

Из дневников и записных книжек

273 - 445

I

Рассказы

Девочка, идущая навстречу

Памяти Юры Бабийчука

Каждый раз, оказываясь в метро чуть раньше обычного, Дима пропускает один-два поезда – ждет, пока световые часы над гулкой дырой тоннеля не покажут ровно восемь: до работы добираться час, дорога рассчитана по минутам.

С шестого класса Дима привык ездить на занятия через весь город. Конечно, учиться можно и ближе к дому, но родители поспешили определить его в школу для детей с художественным уклоном, смотревшую фасадом на Третьяковскую галерею. Диминого терпения хватило ровно на столько, чтобы дотянуть до конца и получить приличный аттестат, но в Суриковский институт, к смертельному огорчению отца и матери, лелеявших мечту быть родителями гения, он поступать не стал, устроился работать художником. И теперь снова мотается на другой конец Москвы – на киностудию, где снимают учебные и научно-популярные, очень умные и столь же скучные фильмы.

Двери вагона еще не открылись, а Дима уже успевает заметить пунцовое лицо отставного майора Вовина, начальника цеха мультипликации. Ехать вместе с ним, значит ехать вовремя – у Вовина ключи от всего этажа и он никогда не опаздывает.

Проходя в вагон и здороваясь, Дима с удовольствием отмечает, что места рядом с начальником заняты: лишь это обстоятельство спасает от докучливых вопросов Вовина про жизнь. Он садится напротив, начальник грустным кивком отвечает на приветствие и снова углубляется в газету (до конечной не оторвется от «Красной звезды»).

Дима знает, что за глаза Вовин называет его болтуном и белобилетником, но за пунктуальность начцеха все готов простить: творческие работники особой точностью не отличаются, и на каждом внутрицеховом собрании он ставил вчерашнего школьника в пример. Первое время это даже льстило, пока не понял, что начальник видел в их утренних встречах определенный со стороны Димы умысел. Чтобы Вовин не слишком заблуждался на сей счет, Дима при выходе из метро убыстряет шаг, обгоняя чинно марширующего майора.

Пока поезд мчался под землей, солнце проклюнулось сквозь оставшиеся с ночи облака, утренний морозец придает бодрости, и свежий снег, еще не кисший от щедрой соли дворников, весело скрипит под лыжными Димкиными ботинками.

До киностудии еще порядком топтать – нужно обогнуть угол, образованный

двумя монотонными, в двенадцать подъездов домами, один из которых упирается в метро, а другой в проходную. Поворот и фокусирует внимание Димы: сейчас, когда дойдет до угла, навстречу выйдет она. Ну, вот... Они почти сталквиваются, замедляют шаг.

На девочке красное пальто с белым меховым воротником и красная вязаная шапочка, из-под которой рубаночными стружками вьется светлая челка. Словно снятая рапидом, она медленно приближается, чуть косолапя крепкими девчоночьими ногами и плавно покачивая портфелем; её лицо наплывает, вытесняя за границы видимого всё – улицу, дома, людей; ближе – резче: удивленно в мир открытые глаза...

Их взгляды встречаются.

– Здравствуйте! – говорит девочка, опуская глаза и становясь краснее своего пальто.

– Здравствуйте! – до ушей улыбается Дима.

И они расходятся. И так каждое утро.

В коридоре, у запертой двери уже курят Савка, аэрографист Макеев и начальник отдела кадров Пал Степаныч, чей приход означает появление в цехе нового человека.

– ...Я беременную женщину за версту чую, – развивает Пал Степаныч свою любимую мысль. А почему? Да потому что в этом разбираюсь, иначе нельзя, должность обязывает. Вот давеча пришла одна: тютю-тютю, то да сё, а я сразу вижу – беременная, не сойти мне с этого места! Смотрю паспорт – так и есть, только-только замуж вышла. Ну нет, думаю, голу-бушка, нам такие специалистки без надобности. Я ж за каждый кадр в ответе, а ей лишь бы в декрет поскорее уйти. Отказал, мол, местов у нас нет и не предвидится. А то было...

Сослуживцы здороваются, вяло пожимая друг другу руки. Савка протягивает Диме пачку сигарет, придерживая большим пальцем оттопыренный картонный клапан, а в коридор уже входит Вовин, раскланиваясь с курящими и позванивая ключами:

– Здравия желаю! А ну, бросай бычки! Рабочий день начался, курить после будем!

Савка с сожалением бросает недокуренную сигарету и корчит кислую рожу за спиной Вовина, пока тот подозрительно рассматривает пластиковую пломбу.

Отперев комнату и не сняв пальто, Савка устремляется к окну и ухает фрамугой: он борется за чистоту, и свежесть воздуха в помещении, хоть это удастся с трудом, настолько въелся во все углы ацетоновый запах красок и резинового клея. Дима стаскивает меховую куртку, которая трещала на нем по швам уже в девятом классе, и напяливает халат, из черного давно ставший пестрым – по причине дурной Диминой привычки вытирать об себя руки. Тут в дверях появляется Гелий Михайлович Бубенчук, на ходу вытягивая лохматый шарф из-под воротника щёгольской голубой дублёнки. Бубенчук всегда приходит последним, напоминая при случае, что начальство не опаздывает, но задерживается, а задерживается он, потому что водит своего пацана в детский сад.

– Здорово, старички! – выкрикивает с порога Бубенчук и размашисто шлепает перчатками по Диминому столу. – Поработаем?

Гелий Михайлович – режиссер, а Дима и Савка – его художники, и втроем они составляют самостоятельную группу мультипликаторов. Конечно, художников за режиссерами никто не закреплял, просто как-то само собой получилось, что порученную работу они всегда выполняли вместе, и ни одна попытка рассовать приятелей по разным картинам успехом не увенчалась: Бубенчук умудрялся отбояриться. Может, потому на их отношения в цехе смотрели косо: дескать, с чего бы спелись, ладно бы одноклассники, а то родились с разницей в десять лет. А когда пронюхали, что в группе Бубенчука сухой закон, неразлучную троицу и вовсе записали в ненормальные.

Все трое сразу усаживаются за работу. В «памятке», которую Вовин скопировал в ленинском кабинете и развешал по дверям мультцеха, черным по белому писано, что наиболее плодотворными для творческой деятельности являются утренние часы, и до обеда «трио» корпело, не отрываясь даже в общие перекуры. Учитывая столь отрадный факт, начсеха поначалу присвоил комнате Бубенчука звание образцовой, но очень скоро его огорошили информацией, что их усердия лишь до полудня и хватает, а потом они читают вслух разные книжки. Вот и теперь намеревались управиться пораньше: в столе у Димы, с закладкой на самой интересной главке, лежала книга большого поэта, в памяти которого хранились до сей вечности известные имена деятелей русской культуры, чьим современником и другом он был.

Работа художника хороша тем, что делом заняты только руки, и все утро друзья разговаривали. Каждый обычно говорил о своем, часто об одном и том же, но это их ничуть не смущало.

Прежде Бубенчук работал аниматором, а проще – кукловодом, на «Союзмультфильме» и мечтал о большом искусстве. Но там платили сдельно, а ему уже было под сорок, семья требовала твердой зарплаты, и когда Гелию Михайловичу предложили режиссерский оклад на «научпопе», он подумал-подумал, и согласился. С того времени и зазеленела в его глазах тоска, особенно заметная, когда вспоминал он прежнюю жизнь.

Савва тоже москвич, учился в Строгановском, а на втором курсе влюбился в журналистку из Сыктывкара, бросил институт и уехал с ней. Дела шли нормально – он оформлял местные газеты и программы телевидения, а на шестом году проживания в Коми взяла его за живое память по дому: оставив жену и дочь до лучших времён, Савва возвратился, надеясь прописаться у матери. На деле все оказалось гораздо сложнее: еле-еле выхлопотал временную прописку на год и устроился на киностудию, где ему пообещали постоянный штамп в паспорте и комнату. Потому свою работу здесь Савва считал временной, особо этого не скрывая.

А Дима, восемнадцатилетний хмырь и оболтус, как называл его отец, абсолютно не имел представления, чем будет заниматься завтра, тем более через год. Когда заходил разговор о его планах, он, сам не зная почему, начинал выдавать грандиозные завиральные программы, которые Савка и Бубенчук не очень-то принимали всерьёз.

Так или иначе, их разговоры неизбежно сводились к одному: Бубенчук вспоминал, что было, Савка рассказывал, что есть, а Дима фантазировал, что будет.

Еще говорили о кино, поскольку считалось, что они его делают и понимают в этом толк. И, конечно, говорили о любви: Бубенчук – о той, которая была, Савка – о той, которая есть, Дима – о той, которая будет. А с недавних пор появилась у них еще одна тема: девочка, идущая навстречу.

Друзья встречались с ней каждое утро: Савка первым, возле проходной, когда девочка выходила из крайнего подъезда напротив, Дима – на стыке двух монотонных домов, Бубенчук – у самого метро. Иногда встречали ее вечером, втроем возвращаясь с работы. Они так и не смогли выяснить, кто поздоровался с девочкой первым: вероятно, заметив однажды их вместе, она сразу стала здороваться и с Димой, и с Саввой, и с Бубенчуком. И не было дня, чтобы друзья не говорили о ней.

Вот и теперь Бубенчук, который все утро сосредоточенно щелкал секундомером, рассчитывая режиссерский план, отодвигает на край стола «простыню», склеенную из десятка листов писчей бумаги, и спрашивает в потолок, как бы между прочим:

– Отчего бы она нынче грустная такая, а, мужики?

– Кто? – ехидно топорщит Савка рыжие усы, будто не понимает, о ком речь.

– Да Красная Шапочка наша.

– С чего ты взял? – Савка пожимает плечами. – По-моему, она сегодня как всегда.

– Да то-то, что и нет! – Бубенчук вместе со стулом поворачивается к художникам. – Смотрю, бледненькая идет, понурая...

– Э-э, так у неё сейчас время такое, – хмыкает Савка, и его сальная физиономия моментально выдает готовность языка сморозить какую-нибудь гадость.

Вообще за последние полгода Савка сильно переменялся: все реже он вспоминал оставшуюся в Сыктывкаре дочь, а рассказы о жене потеснили другие – о двадцатилетней Оксане, плясавшей в популярном берёзовом ансамбле.

– Что ж ты, Гелий Михалыч, не спросил у нее про грусть-тоску? – влезает в разговор Дима, пытаясь помешать Савке развернуться.

– Скажешь тоже! Мне и неудобно как-то. Это ты, старичок, спросить можешь, а мне не с руки, я ведь девочке в отцы гожусь.

– И то верно, – радостно поддерживает Савка. – Поговорил бы с Красной Шапочкой, Димк. Слово за слово, там, глядишь, и разговорчик завяжется. В кино позови, в кафе... Она ведь на годик-два тебя и моложе, самое время, не прозевай. А не то, гляди, я отобью.

– Давай-давай, мели больше. – С досады, что Савке удалось его завести, Дима злится еще сильнее. – Договорись, Оксана усы твои пшеничные на кисточки поводит.

– Ну-у, Димк, зачем же ниже пояса? – разочарованно тянет Савка. – Усы-то мои при чем? Да и на Оксане, между прочим, свет клином не сошелся. Думаешь, я помоложе не найду? У меня в Сыктывке была одна, косоглазенькая, – ууу!.. Прелесть!

– От любви твоей окосела? – Диме страшно хочется запустить в Савку чем-нибудь тяжелым.

– Глупый ты, комячка она была.

– А таитянок у тебя не было?

– Эй, старички! – Бубенчук встает между столами, закрывает раскрасневшихся приятелей друг от друга. – И охота базланить с утра?

– Да я что, я ничего, это Димка в бутылку лезет! – Савкина подмигивающая физиономия выглядывает из-за спины Бубенчука. – Нравится Красная Шапочка, да? Чистенькая, опрятная... Все, все – молчу! О тебе же пекусь, мужик на выданье! Глядишь, мы с Гелей еще и на свадьбе погуляем.

– Не надейся, не позову. Да угомони Савку, Гелий Михалыч!.. Ты чего?

Бубенчук сутуло стоит посреди комнаты, глядя в окно и машинально щелкая кнопкой хронометра. По его далекому лицу видно, что не слышит он ни вопроса, ни дурной Савки с Димой перебранки. Лишь почувствовав, что на него смотрят, Бубенчук встряхивает головой, будто прогоняя назойливый сон, бесцельно запускает пятерню в седину шевелюры, говорит – через силу, как оправдываясь:

– У меня после войны тоже... дочь полковника интернированного... Я её поцеловал, сам впервые поцеловал, а она вдруг того... заплакала. А потом... Дурак я все-таки – и куда только смотрел тогда? Может, это счастье-то и было?..

Дима любил Бубенчука в такие минуты. И пусть его дразнят сентиментальным крокодиллом. Да и кто дразнит-то?! – циник и бабник Макеев, к кому в цехе хорошо относится один Савка – в благодарность за ключи от комнаты, которые клянчит у аэрографиста два раза в неделю. А вот Бубенчук не такой. Дима любил Гелия Михайловича: любил смотреть, как он работает, слушать, как о кино говорит. Но больше Дима любил Бубенчука за то, что он учил его видеть. Первое время Дима даже удивлялся: глаза у Гелия Михалыча иначе устроены, что ли? Едут как-то вместе в метро: напротив шесть человек сидят, всю скамью занимая, а возле них, у дверей, которые на той стороне не открываются, два чемодана стоят – здоровенные, обшарпанные, бельевой веревкой перетянуты. И никто из пассажиров за чемоданами не смотрит. Дима бы и внимания не обратил, а вот Бубенчук...

«Чи чемоданы, как думаешь? – спрашивает. А чего долго думать, и так ясно: того, кто ближе других, с краю сидит – рослый детина, кулаки с банку. Дима на него и указал, а Гелий Михайлович головой качает – нет, и глазами косит на старуху, в середине притулившуюся. Да она, бабка ветхая, и от пола тяжесть такую не оторвет! Но едва к «Соколу» подъезжать стали – точно! – бабулька резвёхонько подхватила наперевес те самые чемоданы и вышла. Дима потом всю дорогу у Бубенчука допытывался, как он догадался, а тот смеётся: «Смотреть, старичок, внимательней надо!» Вот какой человек Гелий Михалыч!

Никто не заметил, как вошел Вовин, постоянно удивляющий мультцех своей замечательной способностью через стену видеть, работают в комнате или нет. Майор застыл в дверях в излюбленной позе – засунув руки в карманы почти до локтей и шевеля ладонями так, что защитного цвета мешкообразные брюки ходят на нём ходуном: звенит

мелочью во мраке штанов и мрачно сверлит взглядом Бубенчука, который бесцельно щелкает секундомером.

– Я-асно... Опять налицо нерабочее настроение. У вас, Гелий Михайлович, что, задания нет?

– Ксан Ксаных! – истошно вопит Савка. – Не сбивайте Гелю! Третий раз метраж пересчитывает!

– Метраж, говоришь? Ну-ну!

Вовин довольно хмыкает, подозрительно косясь на разбросанные по Диминому столу тюбики, и выходит, деловито почесывая кончик носа.

– Вечно так. Пришел Вовин и все опошлил. Хорошему настроению хана, – похоронно ворчит Бубенчук, опускаясь на стул. – Ладно, мужики, давайте работать!

Студийные будни похожи в своей чередности, как рисунки, которые делают Савва и Дима, повторяя одну линию на десятках листов целлулоида, с отличием следующих от предыдущего на миллиметры: только при быстрой их смене на экране будет заметно какое-то движение, да и то минутное. За окнами тоже мультипликация – голые столбы, в которые превратились после субботника взрослые тополя, обрастают рахитичными прутиками, меняют цвет, топорщась зеленеющими почками.

С приходом весны Бубенчук уже не называл девочку, идущую навстречу, Красной Шапочкой – то Беретиком, то Косыночкой, то Блондинкой. Все трое по-прежнему здоровались с незнакомкой: Савка – у проходной, Дима на углу, Бубенчук возле метро. И по-прежнему не проходило дня, чтобы друзья не поговорили о ней. Начинал обычно Бубенчук:

– Ну, как вы сегодня нашли нашу Косыночку? – Или: – Ну, как вам наша Блондинка?

Не зная даже, как ее зовут, друзья знали о девочке всё: как живёт, как учится, о чём думает... Каждый видел то, что хотел, но часто их наблюдения совпадали.

Потом наступило лето, жаркое и душное, когда плавился асфальт и горели подмосковные болота, заволакивая город по утрам тяжелым торфяным дымом.

Лето на киностудии – пора выездных съёмок: Бубенчук на два месяца укатил в Ленинград, Савка тоже хотел присоединиться к киногруппе, командированной к ивановским ткачихам, но заболел, июль и август пролежал в больнице; неразлучное трио распалось. Дима из города отлучиться не мог – сдавал экзамены на журфак, окончательно доконав своим выбором родителей, и поступил на вечернее отделение. А в августе женился на бывшей однокласснице, и они уехали на юг. В Москву вернулся Дима только в сентябре.

Он вошел в вагон и сразу увидел майора Вовина: тот поднял над газетой лицо, ставшее от загара темно-свекольным, указал глазами на свободное рядом место. Дима сел, майор свернул и убрал в карман армейское чтиво и растёкся улыбкой, глядя на блестящее обручальное кольцо:

– Смотрю, Димитрий, поздравлять придётся?

– Это как решите.

– Хвалю, давно пора. Женатиком-то лучше. – Он подмигнул: – Толстенькая она у тебя?..

Пока ехали, Вовин выпытывал детали и подробности, и выйдя в город продолжал расспрашивать, придерживая Диму за ускользящий локоть...

– Здравствуйте!

Мимо проходила девушка в белом плаще. Она и не она – алые губы отливали перламутром помады, глаза казались огромными, подведенные сине-голубой линией, гладкая челка, прежде стружками кудрявящая лоб, теперь приклеено надвинулась на брови. И сама будто стала выше и стройней – ее фигурка, поднятая модными каблуками, легко парусилась против ветра.

– Здравствуй! – рубанул воздух вовинский бас. Но девушка уже прошла мимо, и Дима, обалдело развернув голову, глядел ей вслед, пока белый плащик заслонили чьи-то спины.

– Как тебе наша Блондинка? – вместо приветствия выпалил Савка. – Заметил, как смотрит? Смотрит как! Эх, такую девку проворонил! Тоже мне – женился, успел...

Дима ошарашенно молчал, застегивая халат, и тут влетел Бубенчук, размахивая шейным платком:

– Привет, старички! За нашу Блондиночку беседуем? Да-а, все школьница, девчонка, а гляди-ка: вымахала, оглянуться не успели. Нет, что и говорить, это чудо какое-то! И откуда в заурядной девчонке столько грации взялось, пластики?!..

– Хорошо начинаете рабочий день, ничего не скажешь! – Вовин вошел вслед за Гелием Михайловичем, не дав ему закрыть дверь. – Кранты, братцы-кролики! Отпуска закончились, надо дело делать... А она со мной тоже поздоровалась!

Вовин выжидающе потоптался в дверях, позванивая мелочью в карманах, но друзья устроились за столами, изображая готовность к работе, и он неловко вышел, осторожно приглушив за собою скрип двери.

Работать почему-то не получалось, и Савва с Димой долго курили в коридоре, под любыми предлогами оттягивая необходимость возвращаться к себе в комнату. Некурящий Бубенчук привалился к стене, отгоняя ладонью дым от облезлого с отпуска носа, а на Савку вдруг нашло непонятное возбуждение.

– Странное дело, – говорил он, глубоко затягиваясь, и ненужная улыбка сводила Савкино лицо, сбивая набок рыжие усы. – Вроде поначалу у меня с Оксаной ничего исключительного не было. Ну, любили друг друга, то так, то эдак... А как сказала, что к мужу вернуться хочет, что житья без него нет, – такое навалилось! Чувствую, не могу отпустить, прирос к ней. Она ведь, пока в больнице валялся, сутками под окнами дневала, вконец извелась. И после этого, дурёха, успокаивать стала, что ничего, другую найду. А на хрена мне другая, сама бы подумала! У меня ведь жена, дочь есть. В общем, сорвался, наговорил черт-те что, вспоминать тошно. Так и расстались, врагами вроде. И тут, поверишь, Михалыч, прозрение нашло! – Савва говорил одному Бубенчуку, словно Димы и не было рядом. –

Что же я?! Ленку с Дутиком в Сыктывкаре бросил, а ведь обещал перетасить, как устроюсь. А сам только деньги и высылаю. Короче, дунул в Коми, не понимая даже, как жил без них столько времени. Приехали вот. Встроим. Главное ведь, что семья, ребятёнок, что вместе, а остальное не столь уж и важно. Авось устроимся. Устроимся ведь, а, Михалыч?

– Пойдем поговорим, – Бубенчук тянет Савку за рукав. – А ты, Димыч, топай к станку, труба зовет!

Дима не обижается, что при нем не хотят говорить. Да и не трудно догадаться, о чем расскажет Савка Бубенчуку: на следующий день, после отбытия Гелия Михайловича в Питер, Савку шарахнул инфаркт, и та история, глупая и водевильная, давным-давно известна на студии любому осветителю. Савке стало плохо в Макеевской комнате на Арбате, куда бесквартирные любовники проникали тайком, по одному, непонятным образом ни разу не столкнувшись ни с кем из жильцов огромной коммуналки. В три часа ночи, не услышав Савкиного сердца, его пассия вылетела в коридор, ломаясь в соседские двери, в чем мать родила. Спасла случайность – за стеной жила семья врачей, и к приезду «скорой помощи» Савку кое-как вернули на божий свет, который он вдруг вознамерился покинуть в порыве любви и страсти. А утром, когда Макеев зашел за любовной парочкой, чтобы вместе ехать на работу, очухавшиеся после бессонной ночи соседи чуть не уложили и Борьку с инфарктом, резко поставив на кухонном совете вопрос о пребывании в их квартире неустановленных личностей. Полтора месяца провалялся Савка на пружинах больницы и вышел оттуда тихий и погрустневший. Никто не знал, что именно повлияло на его решение, но тогда же Савка перевез из Сыктывкара жену и дочь, и теперь они вместе жили у Савкиной матери, тщетно пытаясь снять какую-нибудь квартиру.

Савка и Бубенчук вернулись, когда Вовин уже раз пять заглядывал в дверь, недоуменно отмечая одиночество Димы и не решаясь спросить, куда подевались остальные. У Савки был зарёванный вид, но держался он молодцом и, бодрясь, набросился на Диму:

– Зажал, змей, свадьбу, да? А мы с Михалычем, между прочим, подарочек молодоженам обмозговали. Ну, когда позовешь?

– За чем дело стало? Сразу после работы и поедем. Наташка сегодня как раз дома. По рукам?

– Замётано! – сказал Бубенчук.

Незаметно для Димы, за сессией и разводом, отбелела зима. Он уже собирался искать работу по будущей специальности, но почему-то откладывал неизбежное в дальний ящик. Да и Савка, получивший в апреле квартиру и больше, казалось бы, в киностудии не заинтересованный, все реже и реже поговаривал о переходе на другое место.

Их будни текли по-прежнему. И каждое утро начиналось для всех троих одинаково – с неперемного «здравствуйте!», адресованного идущей навстречу девушке. И не было дня, чтобы друзья не говорили о ней: иногда долго и подробно, дав волю своей фантазии, чаще – обходясь парой фраз, брошенных мимоходом.

– Она сегодня необыкновенно хороша, – уверял Бубенчук.

– По-моему, наша девочка влюбилась, – предполагал Дима.
– И ты заметил? – удивлялся Савва.

И целый день у них было хорошее настроение.

К странностям коллег сослуживцы давно привыкли. Ни Дима, ни Савва, ни Бубенчук не знали, о чем судачат за их спинами, но верно полагали: говорят о том, в чем они никогда не признаются даже себе, наивно оберегая друг от друга известную всем и каждому тайну. А раз Дима услышал, нестати зайдя в операторскую, как языкастый Мишка Цаплин, не заметив постороннего впотьмах, рассказывал своему ассистенту, что Димка-де бросил жену из-за девчонки, с которой (по его дурацким соображениям) здороваётся утром не только на пути к проходной.

Дима и сам не понимал толком, почему развелся с женой. Они несколько лет просидели за одной партой, вместе ездили на этюды и сдавали экзамены, но близость началась гораздо позже, хотя после школы их дороги разминулись: Дима пошел работать, а Наташа тогда же поступила в институт. Обоим казалось, что они очень хорошо знают и понимают друг друга, и верилось, что так будет всегда. Но и полугода совместного проживания под общей крышей хватило осознать, что целоваться в подъезде и жить семьей – не одно и то же, и что для счастья необходимо каждодневное открытие нужности друг другу, простое и естественное, как сказанное утром: «здравствуй!». А Наташа упорно подозревала, что муж любит двух женщин, и обе из них – не она, и с этим Дима соглашался: одну он себе придумал, а другая еще не родилась. Может, будь поопытней, он и нашел бы соломонуво решение, да и то вряд ли, если даже столь тонкий знаток женских душ, как начальник отдела кадров Пал Степаныч, оформивший на работу прелестную художницу Лину Березкину, через месяц дозревшую до размеров декретного отпуска, от огорчения чувств ушел на пенсию. Прокол кадровика обсуждался в коллективе с не меньшим удовольствием, чем замечательная перемена, происшедшая в душе майора Вовина: он вдруг перестал во время работы без стука заглядывать в комнаты. Вероятно, начальник цеха просто потерял уникальную способность видеть сквозь стены, однако злые языки утверждали, будто это случилось, едва он тоже стал здороваться с идущей навстречу девушкой.

Нынче Дима опоздал на свой поезд – когда вышел на метро, спина Вовина маячила уже далеко впереди. Май выдался жаркий, но мокрый, и дорога до киностудии превратилась в одну сплошную реку, преодолеть которую можно было лишь по узкой кромке тротуара, почти отирая боком бетон дома, а где перескакивая по набросанным в лужу кирпичам и доскам. Водное препятствие сильно замедляло передвижение, и Дима почти догнал Вовина – тот степенно переступал вдоль стены, чуть не макая в лужу концы перекинутой через сгиб руки плащ-палатки; из заднего кармана брюк, топорща форменную рубашку и виляя из стороны в сторону, торчала газета (почему-то «Вечерняя Москва»). Вдруг спина Вовина резко подчалась вбок – вытянувшись по шву, майор шагнул в самую середину лужи...

Улыбаясь, она прошла по сухой ниточке асфальта, магазинно хрустя прозрачным дождевиком, сквозь который просвечивало оранжевое с зелёным

платье. Теперь девушку разделяли с Димой перевернутые лужей облака, где торчали кирпичи и плавали доски. Деревяшка под ее туфелькой нырнула в воду, девушка оступилась и на миг потеряла равновесие. Дима протянул ей руку, поймал прохладную узкую ладонь – знакомое лицо качнулось совсем рядом. Никогда не виденное так близко, оно теперь неприятно поразило Диму: кукольное, со следами неровно наложенной пудры, лицо казалось изможденно-бледным, и слишком нарочито расплывалась по нему улыбка напомаженных губ. Еще проступала сквозь пудру и краску недавняя прелесть детства, но тщетно уже было пытаться отыскать на целлулоидном этом овале памятное друзьям выражение застенчивого покоя. Дима растерянно всмотрелся в ее глаза с мелкими зрачками, но и глаза теперь жили по законам лица, и во взгляде не было прежней удивленности миром. Чуть кокетничая, девушка перешла на сухой асфальт, с наигранной неуверенностью ступая по шатким кирпичам, и признательно пожала Димину ладонь, перед тем как высвободить руку.

«Вечерняя Москва» в кармане Вовина почти потерялась из виду, и Дима замедлил шаг, силясь понять, откуда знаком этот взгляд, окативший его ощущеньем вины. И вспомнил: так же смотрела Наташа – два года назад, когда возвращались с дачи, где впервые прожили неделю вдвоём...

Савка вяло матерился в усы, баландая в банке засохшую с вечера кисть. У него была такая обворованная физиономия, словно он только что кошелёк посеял, и Дима, кинув на спинку стула куртку и схватив первый попавшийся огрызок карандаша, принялся рисовать Савкин мрачный нос и злующие усы.

Из коридора доносились высокий голос Бубенчука и назидательное бунчание Вовина: о чем говорили, было не разобрать, но по тону выходило, что ругались. И появление в комнате Гелия Михайловича ничего хорошего не обещало: взъерошенный и смурной, оборвал вешалку, цепляя пальто, а потом невероятно как умудрился уронить со шкафа пудровый рулон ватмана. Казалось, из Бубенчука, как пружины из матраса, вдруг повывезали какие-то углы – все ему мешало, ушибало бока.

Проходя мимо, Бубенчук ни с того ни с сего резко выдернул из-под Диминой руки рисунок, покосился на Савку, точно сравнивая карикатурный нос с настоящим, вдруг скомкал листок и кинул в мусор корзины:

– Что, заняться нечем? Обнаглели, мышей не ловите. Вовина на вас нет!

– Уйду я от вас к чертовой матери, – тихо выдал Савка, и Бубенчук, к удивлению Димы, ничего на это не сказал.

В комнате повисла кислая тишина, удрученная мягким всплеском: Савка с таким занудством мыл кисточку, будто никогда не собирался пачкать ее краской.

Пытаясь разрушить тягостную тишину, берушами заложившую уши, Дима примирительно постучал по столу зажигалкой.

– Мужики, пошли покурим?

Ему никто не ответил.

Через поле

Антон ждал, как условились, у последнего вагона «Красной стрелы» – когда Гарик прибежал, запыхавшись, на Ленинградский вокзал, друг удерживал за рукав проводницу, убеждая не отправлять поезд. Гарик вечно опаздывал. Вышел ведь из дома на час раньше нужного, решил пройтись пешком от Сокольников до Комсомольской, а не рассчитал. Спихватился в последнюю минуту и, когда уже мчался на заплетающихся ногах по платформе, увидел Антона и понял, что успел, – остановился, улыбаясь глупо и победно. Тут состав как раз лязгнул буферами, и Антон едва смог втащить полубесчувственного друга в тамбур...

Накануне всю ночь не спали – обсуждали предстоящую поездку. Говорил Антон, Гарик смиренно поддакивал, терзаясь сознанием, что свои привычки домоседа на неделю придется оставить, вместе с любимыми книжками и тахтой, продавленной уютными ямками. В отличие от Гарика, Антон горел: с того дня, как получил долгожданное письмо, ни о чем другом ни думать, ни говорить не мог, только – ехать! Сам собрался и друга сманил. «Пойми, ты просто обязан увидеть те места. Вся история как на ладони! Посмотришь своими глазами – ахнешь! – убеждал, расхаживая по комнате. – Чудо, что там все сохранилось, через столько лет, столько войн... Деревни те уже в хрониках времен Ивана Грозного упоминались! Да что ты тебе рассказываю! – дай книжку, найду сейчас. Где у тебя «История» Карамзина стоит?»

Карамзина на Гариковых, заслонивших три стены полках, нет. А еще недавно был...

Дед оставил хорошую библиотеку. По нынешним, повального книжного бума понятиям, весьма скромную – один двухстворчатый шкаф, застекленный снизу доверху, в старом их доме на Садовнической, которую в годы Гарикова детства так еще называли, хотя она уже носила имя прославленной военной летчицы, шкаф стоял в простенке между окнами (не потому, что на заметном месте, – чтобы корешки не выгорали), тускло поблескивая золотым тиснением переплетов и бронзовой, закрывающей замок накладкой в виде голенькой крылатой девочки с лирой. Шкаф никогда не запирался, ключ торчал из-под крылышка музы, заменяя отломанную ручку: потянешь за него – и дверцы распахнутся, легко и без скрипа. На полках теснились тома Брокгауза и Ефрона, фолиант с занятным именем Гранат и «История» Карамзина, сойкинский Дюма и сытинский Пушкин, Толстой, Тургенев, Гоголь и другие русские классики, но они пришли в жизнь Гарика гораздо позже, а в детстве, забравшись с ногами

в прохладное кожаное кресло, он подолгу рассматривал книги, которые не нужно было читать, сплошь состоящие из картинок – редко цветных, чаще черно-белых, но столь подробных, что и рисунками их не назовешь, – совсем как современные фотографии. А под каждой еще и коротенько написано, что к чему.

На картинках в дедовых книжках шла война – допотопная, пешая и конная, в пышных клубах дыма, с парадно одетыми офицерами и солдатами, которые совершали многочисленные красивые подвиги, вроде особенно запомнившегося Гарику, как русский пехотинец палашом прорубается сквозь лес турок к ихнему знамени, чтобы отдать его своему командиру. Одежда в старину была так хороша, что зачастую ее изображали вовсе без людей, и Гарик, рано пристрастившись к рисованию, подолгу копировал блестящие самоварным блеском кирасы и каски, ментики и кивера с пышными султанами. В тех книгах все было красиво: шпаги и пистолеты в золоте и серебре, построение офицеров на просторной заснеженной площади, вокруг сидящего на вздыбленном коне неживого всадника, парусники с пушками в несколько рядов по бортам и даже названия городов, отмеченных большими сражениями. За той следовала другая история, не столь отдаленная, – история васнецовских «богатырок» и шлемов с красными звездами, чапаевских тачанок и буденновских клинков, плакатов, призывающих всех подняться на защиту Петрограда, помочь голодающим Поволжья, сбить молотом жирные цепи, опутавшие земной шар...

В сознании Гарика дед так и живет, своими книгами, – другой памяти нет, он его почти не знает. По рассказам отца, дед много ездил за границу – занимался пропавшими в годы интервенции и гражданской войны произведениями искусства, потом десять лет почему-то не жил дома, вернулся как раз когда родился внук (есть фотоснимок: пятилетний Гарик у него на коленях, под раскидистым кустом сирени на даче), а после вдруг уехал на Курильские острова, откуда через месяц пришло уведомление, что он умер от укуса энцефалитного клеща. В такой диагноз отец Гарика не поверил, пытался навести справки, но получил совет не заниматься столь туманным делом.

Когда Гарик пошел в школу, книги деда уже не смотрел – читал ночами, заранее спрятав под подушку от родителей, которые скоро выписали ему очки и вставили в шкаф новый замок, но к тому времени толстые тома, прежде пропущенные из-за отсутствия картинок, были проштудированы от корки до корки, и он добрался до книг отцовской библиотеки, стоящих на открытых стеллажах и всегда доступных. В них тоже была война, но другая – кровавая и страшная, с испепеленными городами и сёлами, заваленными обгорелым железом, с концлагерями, мертвыми женщинами и детьми. В той войне, недавней совсем, было не до стройных парадных каре – там чернел горячий снег и батальоны просили огня, шли ромбом танки, и не картинные, разодетые в пух и прах офицеры, а живые люди, настоящие человеки, не рожденные солдатами, но ставшие ими, погибали за пядь земли, оставаясь навеки девятнадцатилетними. Иногда между страниц Гарик находил желтые фотографии, разные бумаги, забытые или спрятанные отцом: стандартные листочки для военной почты – с отступом

от края, очерченным жирной линией, за которую запрещалось заступать, незаполненный бланк похоронки, листовку с заветным словом какого-то Фомы Смыслова, ветхие справки, прохудившиеся на сгибах, а иногда и фотокопии архивных документов...

На отцовских и дедовских полках почти не было стихотворных сборников, книг по искусству, и когда Гарик, студентом уже, унаследовал обе библиотеки и стал собирать свою, то в первую очередь принялся скупать поэзию, альбомы импрессионистов, мирискусников, мастеров Возрождения... Книги прибывали, теснились и незаметно пришли в движение – потихоньку начал отдавать в обмен, когда соблазн обладания был особенно велик. И с карамзинской «Историей» не устоял – польстился на редкие вожделенные книги.

«Неужто отдал? Ну, жлоб! – рассвирепел Антон, костеря Гарика на чем свет стоит. И, выпустив пар, долго не мог успокоиться: – Знал же, что у меня Карамзин без двух томов!» Гарик слабо отбивался: понятно, что будущий историк, что для работы как хлеб, так не навсегда ушел, восстановлю со временем, а тут случай выпал – Вазари, четыре тома! Но Антона не это волновало – возмущал сам факт.

Третий год пойдет, как они с Антоном, поступив учиться на истфак и оказавшись в одной группе, подружились, а Гарик не перестает удивляться: и как ладят – абсолютно ведь разные люди. Во всем, не говоря о характерах, в мелочах даже. Гарику, например, абсолютно без разницы, как выглядит необходимая книга, – хоть на машинке перепечатана, лишь бы текст был, а уж священного трепета при виде ломких пожелтевших страниц он лишен тем более. Антон этого не понимает: «Какой же ты, к чертовой матери, историк в таком разе?!» – и за ветхий том с «ерями» и «ятями», из-за которых тексты и читать-то трудно, он душу вынет. Да что книга! – чистый лист гербовой бумаги верже, с водяными знаками и цифрой 1837, медная пуговица с чиновничьего сюртука какого-нибудь Акакия Акакиевича, аптекарский ярлык, в прежние времена непременно украшавший горлышко лекарственной бутылки, приводят его в бурный восторг. «Ты, любитель изящной словесности, вслушайся только, как звучит! Как строчка поэтическая! – загорается Антон, декламируя: – «Новопокровская аптека Ефима Грэвера в Москве»! Неужто не слышишь?»

Конечно, страсть к девятнадцатому веку у Антона не с пустого места взялась – неспроста он вглядывается, вслушивается в минувшее. Он – «ищет предка». Гарику искать некого: отца знал, о деде наслышан, о прадеде – почти ничего не дошло, лишь фотография его, двадцатилетнего (о чем есть запись на обороте), сидящего, нога на ногу, в плетёном ательешном кресле, в студенческой тужурке, положив на колено фуражку с лакированным козырьком. И все, дальше потёмки. У Антона иначе: после третьего колена – тоже темень, и вдруг за ней, в далёком далеке, – прогал, в котором смутно виднеется не прямой, но предок – молодой, с юношеским пушком над губой, поручик – на старой, первой трети прошлого века акварели. Гарик, впервые придя в дом к Антону и увидев портрет в ореховой рамке, поразился, как точно повторяет лицо полуторастолетней давности облик

Антон: те же, чуть асимметричный, овал лица, и ямочка на подбородке, и блеклые, акварельной голубизны глаза. Рассмотрев портрет подробнее, прочитал и надпись на тыльной стороне: «Поручик Преображенскаго полка Андрей Верещагинъ», и дату – тысяча восемьсот двадцать пятый. Первым вопросом: уж не...? Антон разочаровал: нет, хотя, видимо, был бы – фигурирует в допросных, по делу декабристов, листах как член тайного общества, но до выхода на площадь не дожил – погиб на дуэли за полгода до, а портрет, очевидно, посмертный – сделан для родственников, по раннему рисунку. И опять ничего определенного: когда родился, откуда родом, где жил – прочерки. Да и как за полтора столетия узреть, если даже от всей питерской родни, оставшейся в блокадном Ленинграде, с тех пор ни слуху, ни духу. Отец Антона тридцать лет слал запрос за запросом, искал, и – бывает же! – четыре года назад нашлись концы, и не в Ленинграде – в Москве, чуть не на соседней улице.

Оказалось, выжила только двоюродная сестра деда, старуха за девяносто, которая сама и не чаяла уже увидеть хоть кого из Верещагиных. Но и двоюродная бабка, увы, ничего толком не знала (хотя про дуэль что-то слышала), а вскоре и умерла – Антон даже не успел познакомиться с ней Гарика. Мало о чем говорило и ее наследство, внуку завещанное: два, без рамок, портрета – старухи в чепце и седого старца в партикулярном платье, явно руки того же акварелиста, что и портрет поручика, нож и вилка – парные, с одинаковыми бронзовыми ручками в виде лошадиных головок, колокольчик с Бонапартом да альбом в кожаном, на застежках, переплёте – чистый, едва начатый: лишь на первой странице полудетский рисунок тонким пером – крохотный домик с мезонином и четырьмя колоннами по фасаду. Рисунок не датирован, зато подле чётко читалась надпись: Большое Заозёрье.

С того рисунка, вернее, с надписи под ним, все и началось: Антон не медля вдохновился на поиски – если Верещагиных пруд пруди, так, может, Заозёрный чуть меньше? Сёл с таким названием по России набралось порядочно, но Антона это не обескуражило – требовалось одно, под Ленинградом. А здесь поджидало разочарование: ни Большого Заозёрья, ни какого похожего на сегодняшний день в Ленинградской области не значилось. Гарик, не без сочувственной иронии следивший за поисками друга, убеждал, что поместье петербургский поручик мог иметь где угодно – хоть под Костромой или Иркутском, но Антон упорствовал: под Питером, и нигде кроме. Должно, обязано быть! На кафедре, где Антон каждому встречному-поперечному уши прожужжал своими разысканиями, дали адрес некоего Санечкина – архитектора и краеведа, живущего под Гатчиной и занятого строительством местного музея: он знаток, наверняка поможет. Антон, не откладывая в долгий ящик, написал подробное письмо, извёлся ожиданием, а неделю назад получил наконец коротенький ответ.

Чутье Антона не обмануло: было-таки Большое Заозёрье под Ленинградом – крепкое село, в двести дворов, но сгорело, погребло в войну со всеми жителями и после уже не оправилось. («Сразу надо было довоенные путеводители смотреть!» – сокрушался Антон.) Еще Санечкин написал, что на месте деревни теперь памятник, довольно близко от его дома – кило-

метрах в пятнадцать, но относится к другому району, а потому ничего подробнее сказать не может. Приглашал приехать, посмотреть.

«Вместе едем! – категорично решил за Гарика Антон. – Где одного ждут, там и двоих примут. А нет, сами как-нибудь дня три-четыре перекантуемся. Все равно каникулы, нечего в городе сидеть. Заодно поглядим, что Санечкин понастроил, – все, кто видел, в отпаде. Вообще познакомимся...»

И вот они лежат на верхних полках, переговариваются вполголоса, стараясь не будить спящих внизу пассажиров.

– Сколько Верещагину на акварели? Годков восемнадцать? – рассуждает Антон, приподнявшись на локте и глядя сквозь темноту на Гарика. – Предположим, рисунок лет за пять до смерти сделан, не больше. Все равно, в таком возрасте мужики тогда не женились. Выходит, эта ветвь родословная на нем обломилась. А значит, еще братья были, один хотя бы, кто род продолжил. Сестры не в счет, по женской линии фамилии не сохранялись. – Был брат, конечно. – Гарик едва сдерживает смех. – Одного верно знаю. Но его ветка, кажись, тоже бесплодная.

– Ты о ком?

– О том Верещагине, из «Войны и мира», которого граф Ростопчин за поджигателя казнит.

– Иди к лешему! Я серьёзно, а ты!.. – сердится Антон, что не заметил подвоха. И снова переходит на шепот: – Я вот что думаю...

Гарик слушает, с усилием разлепляя веки, но голос Антона сливается с перестуком колёс, вовсе пропадает куда-то, и видит Гарик, как идет по лесу, густому молодняку, – лишь кое-где возвышаются над ним корабельные сосны, прямые и величественные, и чем дальше, тем глуше и мрачнее лес, но вдруг неожиданно редееет, кончается, и впереди открывается взгляду поле – громадное, во весь горизонт, волнящееся на ветру вольными травами...

В Ленинграде Гарик перво-наперво норовит найти телефонную будку, обзвонить знакомых, но Антонин неумолим: «Некогда по гостям шастать. На обратном пути, если успеем, по городу погуляем». И тащит в метро: им еще ехать на другой вокзал – с Московского на Варшавский.

В электричке Гарик опять одолевает расспросами: кто такой Санечкин и что он за птица, если даже на университетской кафедре известен? Антон отшучивается: русопятствующий мужик, под толстовца канает – нарожал кучу детей и учит их уму-разуму. А если серьёзно – архитектор по профессии, реставратор по призванию, знает музейное дело, не теоретически, а на ощупь, своими руками: он и плотник, и каменщик, и бог весть кто еще. Рассказывали, что крут нравом: от музея, в который превращает старинный придорожный трактир, гоняет любопытных со страшной силой, а одного чересчур настырного столичного репортёра и вовсе головой в сугроб засунул. Но в это верится слабо – письмо прислал сдержанное и доброжелательное. Да чего долго гадать – скоро приедем, поглядим.

До деревни, где жил краевед, добрались в третьем часу: оказалось, от станции еще тащится автобусом нужно, а ходил он – как случайней фрегат к необитаемым островам. Гарик вконец раскис на жаре – порывался посидеть в тенёчке, протирал залитые потом очки и досаждал Антону

нытьём: представляет ли сам, куда им ехать? Тот благоразумно отмалчивался – знал лишь адрес почтовый. Но коротко успокоил: «Не дрейфь, найдем. Такого дома, как у Санечкина, во всей округе нет». И точно: едва от перекрестка, где высадивший их автобус повернул в обратную сторону, прошли сотню шагов по шоссе, сбегающему меж теснящихся, забор к забору одноэтажных дачных домов, под уклон к бетонному мосту через реку, – слева по берегу, посреди широкой, неогороженной поляны, увидели избу на фундаменте из громадных, неотесанных гранитных валунов. Терем – иного слова не подберешь, – сказочный сруб из массивных бревен, под ширококрылой крышей с зазорными резными утицами по углам. Антон торжествующе толкнул Гарика локтем в бок: «Чуешь мастера? – по законам древнерусского зодчества сработано! Новгородская школа». Хозяина не застали; завидев их, на крыльцо вышла молодая чернявая женщина, обеими руками собирая в пучок на затылке недлинные волосы; из-за ее спины поочередно показались и исчезли в дверях три детские мордашки – мал мала меньше. Друзей слегка задело, что хозяйка не выказала ни удивления, ни сколь-нибудь заметного любопытства: в ответ на вопрос, где оставить вещи, кивнула на лавку при входе; не приглашая в дом, поглядела на стоящее высоко над головой солнце, предположила, что Санечкин (так и назвала мужа, по фамилии) еще часа три в музее поработает, посоветовала пойти туда – рядом, от перекрестка дальше по шоссе ровно столько же будет.

Музей приобочился возле дороги – пара одинаковых, в три окна по фасаду, каменных домиков, отстоящих один от другого метров на двадцать, а между ними белённая свежей известью стена, с воротами по центру. Когда Гарик и Антон поравнялись с ближним корпусом, у музея как раз высыпал шумную кучку экскурсантов пыльный «Икарус» с табличкой «Ленинград – Пушкинские Горы» за ветровым стеклом. Смешавшись с туристами, друзья прошли во двор – просторный, замкнутый с противоположной стороны похожими на конюшни пристройками, мощный крупным булыжником; разбрелись, обходя сваленные там и сям бревна, кучи щебня и мелкого строительного мусора, не находя ничего примечательного и дергая запертые двери выходивших во двор флигелей и сараев, прислушиваясь к непонятно откуда доносящемуся, приглушенному тюканью топора, едва различимому за голосом экскурсовода.

«...По этой дороге Александр Сергеевич Пушкин неоднократно ездил в Михайловское, – самозабвенно, глядя вверх голов, вещала курчавая девчонка в джинсах и «адидасовской» желтой футболке. – По этой же дороге, холодной зимней ночью, гроб с телом поэта был тайно провезён к последнему его пристанищу... Мы приедем туда в семнадцать тридцать, осмотрим Святогорский монастырь и могилу, после чего вас ждут ужин и культурная программа... Существует предание, будто на месте, где мы сейчас находимся, прежде была деревянная часовня, и в ней якобы стоял гроб, пока возчики меняли лошадей, чтобы вновь продолжить тягостный путь... Крепостные крестьяне Пушкина с печалью встретили известие о смерти любимого барина...» «Пошли отсюда, – за рукав потянул Антона Гарик. – Сил нет ересь эту слушать!»

Они вышли на шоссе и слонялись вдоль кювета, пока автобус, откашлявшись вонючей сиреневой гарью, скрылся из виду.

По двору теперь гуляла тишина, даже стука топора слышно не было, а возле колодца, бросив на брёвна телогрейку, курил бородатый мужичок, жилистый и черный от загара. Переглянувшись – точно, он, по описаниям, Санечкин Семен Семенович, – друзья подошли, присели рядом. Мужичок, топорща в усмешке бородёнку, осведомился, не отбились ли они от автобуса, но глаза его смотрели испытующе и внимательно. Лицо Санечкина не изменило выражения и после, когда Гарик и Антон представились и проговорили часа два, – он все так же посмеивался, приглядываясь. Порасспросив хозяина о музее, на что тот действительно отвечал нехотя и неопределенно – дескать, растёт помаленьку, Антон начал подбираться ближе к интересующему его делу, но Санечкин остановил – вечером потолкуем, куда спешить. Солнце уже уходило со двора, исполосованного длинными тенями, отброшенными через стену тремя иссохшими березами, и Семен Семенович собрался домой – поднял лежавший возле ног топор и накинуд на голые плечи телогрейку...

С Санечкиным поладили сразу: Антон к вечеру перешел с ним на «ты», правда, с обязательным упоминанием имени-отчества – «ты, Семен Семеныч», а Гарик, которого краевед, не церемонясь, перекрестил в Егория, предпочел иной вариант – «вы, Семен», и все было принято как само собой разумеющееся: друзьям по двадцать, Санечкин лишь на пятнадцать лет старше. И в сказочной красоте терем над рекой гости вошли по-свойски, словно не впервые переступили его порог.

«Ты, Варя, давай повкуснее нас корми! – деловито распорядился хозяин, усевшись во главе стола и подмигивая жене: – У нас нынче гости именитые, представители славных российских фамилий, Плетнёв да Верещагин!» «Не Плетнёв, Леднёв я, «эл» в начале, через «дэ», – серьезно поправлял Гарик, озадаченный ироничной манерой Семена. Антон тем временем уже бродил по дому – все хотел потрогать, снять со стены, с полки; ахал, громко выражая восторг; «Можно, я на второй этаж залезу?» – кричал откуда-то сверху. «Можно, здесь все можно, – великодушно разрешал хозяин, поводя головой: – Вот дошлый парень!» Гарик сдержанно помалкивал, постепенно оглядываясь. Все ему здесь было непривычно – и немудрёный деревенский быт, о котором он прежде не имел понятия, и сам Санечкин, с тяжелыми плотницкими руками, чей вид не очень-то вязался с работой архитектора, и даже дети – мальчишки четырех, семи и десяти лет («через два года на третий с Варькой старались», – уточняет Санечкин), молчаливые и по-взрослому серьёзные, не похожие на городских избалованных деток.

Гарик уязвлённо заметил, что к Антону Семен отнесся с большим, чем к нему, интересом (понимал, что в гости его сюда вовсе не звали, но самолюбие было слегка задето). Особенно он ощутил это, когда Санечкин водил их по музею: переходя из комнаты в комнату, обстоятельно рассказывая историю той или иной вещи, Семен Семенович будто говорил с одним Антоном, поглядывая на Гарика бегло, не чаще, чем на сыновей, увязав-

шихся следом. А вообще разговор получился хороший: все трое понимали друг друга с полуслова – многое, о чем рассказывал Санечкин, приятели хорошо знали, да и не требовалось им пояснять, откуда взялись печенегии или когда воледел Алексей Тишайший...

Заперев музей на амбарный навесной замок и отослав домой расшалившихся во дворе мальчишек, Санечкин устроился на брёвнах, заправил в мундштучок очередную «Приму». И впервые за утро обратился к Гарику: – Ну, с Антоном более-менее ясно. А вот что ты за гусь такой лапчатый? – Вы о чем? Я ничего... – в растерянности обернулся он к другу, ища защиты.

Антон развёл руками: сам отбивайся, предупреждали ведь.

– Ты, Егорий, не так меня понял. Не обижайся зря, – успокоил Санечкин.

– Оба вы ребята свойские, ничего не скажу. Но Антона сюда личные хлопоты привели, а ты за компанию просто, что ли?

– Зачем же «просто»? – покраснел Гарик, протирая очки. – Мне тоже интересно. И вообще...

– Оно понятно, коль в историки готовишься. А насчет интереса... Я, пока музей смотрели, за тобой внимательно наблюдал. Что, совсем не близка затея наша?

Гарик ошарашено насупился: после вчерашнего, далеко за полночь разговора, начистоту и без экивоков, когда уже казалось, что с Санечкиным столет знакомы, такого оборота он не ожидал.

– Ты уж не сердчай, Семен Семенович, – вступает за друга Антон. – Признайся лучше, что подумал, когда мы к тебе вчера с бухты-баряхты подвалили? Позабавился, поди?

– Было такое дело, – почесал бородку Санечкин. – Смотрю, Пьер Безухов с князем Андреем в гости пожаловали!

– Кто бы говорил! Сам ты... Платон Каратаев.

Они разваливаются на солнцепеке; друзья даже решаются скинуть рубашки, позагорать. Неловкость, возникшая было из-за вопроса Санечкина, прошла, и разговор снова течет тихо и размеренно.

– Честно скажу, я в ваши годы гораздо неотесанней был, многие вещи до меня просто не доходили, – рассказывает Семен Семенович, посасывая мундштучок. – И потом даже, когда флотскую отслужил, институт закончил... Короче, пока вокруг себя не посмотрел, не огляделся, все в потёмках рыскал. Я здешний, родители тут же, через дюжину домов от нашего живут. И деды жили, и прадеды... Все корни-корешки здесь. А что мы о них знаем? Вообще, говорю, о прошлом своём? Ноль с копейками. В позапрошлом годе, когда музей внешне вполне закончен был, как сейчас выглядел, писатели ваши, столичные, мимо ехали. В Михайловское, не иначе. Ну, остановились. Побродили тут, потрогали все, пощупали. И такой, вижу, скепсис на их ряшках написан – передать нельзя. Я, понятно, в сторонке, топориком помахиваю. Плотник, что с него взять? И, вижу, вскочил один на кучу гравия, петушком этаким, и давай с ухмылочкой комментировать! Ладно по делу, а то... Молодцы, говорит, реставраторы, соблюли эпоху, да перестарались-де. И откуда, вопрошает, у корчмаря или смотрителя станционного, чиновника нищего, деньги на такие хоромины взялись?

Дом пусть каменный, поверим с натяжкой, а уж крыша железная – точно не по карману была!.. И дальше в таком духе, сено-солома. Слыхивал я и прежде фом неверующих, но по обожанию, с каким окружение петушку внимало, почуял, что птица-то он не простая. Поинтересовался по-тихому у гидессы. Та от изумленья чуть не села: как же не узнали, стыдить начала, ведь такой знаменитый романист, его весь мир читает! Я тоже читал, конечно. И впрямь неплохой писатель, борзо фантазирует, про деревню больше. Ну, и не утерпел! Топорик за ремешок заложил, шуганул петушка с кучи, да и прочел бумагомаракам лекцию, полный курс, как вам сегодня. И что дорогой этой к нам в Россию испокон из Европы ездили, потому каждая постройка казённая особый вид имела – государственное, так скажем, лицо. И что фельдьегерская почта меньше чем за сутки новости из молодой столицы в старую доставляла. И про солому на крышах. Железом была крыта построечка-то, вот ведь факт какой! Не на зрительские гроши медные, понятно, – казна строила. Я, как домишко в порядок приводили, с него два листа кованого демидовского железа снял. Столетье с лишком пролежали! В запасниках держу до поры, выставим после. Пушкина с Лермонтовым не застали, по клеймам судя, а вот Гоголя, когда в Италию мимо ехал, видели...

– Умыл-таки писателей?

– Умыл, право слово. Еще, каюсь, взыграло ретивое – книжку свою петушку маститому подписал, путеводитель по местам тутошним. Он обиделся даже: что ты ж, дескать, мужик, нас дурил битый час! Мы, кричал, действительно решили, что ты плотник-энциклопедист!.. Извинился потом за бестактность.

– А кто вы на самом-то деле, Семен?

– Плотник и есть. Бригадиром комплексной бригады столяров-реставраторов именуюсь, – усмехнулся Санечкин. Пояснил: – Когда с дипломом домой вернулся, тут колхоз еще был. Крепкий, по нынешним меркам, миллионер. Кого угодно содержать мог, хоть художника, хоть бытописца собственного. Я при колхозе шесть лет архитектором и числился. Коттеджи селянам проектировал, больницу, памятник мужикам здешним, кто с войны не вернулся. Покажу, если интересно. Так и музей сделать постановили. Самый темп набрали, а колхоз в совхоз преобразовался. А совхозу ни архитектора, ни музея штатным расписанием не положено.

– И что теперь?

– Музей государственный. Год как директора с кассиром дали, в пушкинский маршрут включили. Такие вот пироги... Ничего, доделаем потихоньку. Вы не смотрите, что один тут ошиваюсь. Со мной ребят еще трое, божьей милостью плотники! Но их сейчас на другой объект на неделю перебросили, коровник подправить. Золотые парни, с руками и знающие. Я к чему клоню? К тому, что сам мимо домика десять лет в школу бегал, видел, что удобрениями завален, а что прежде было – не задумывался. Повезло, человек мудрый на пути встретился, не пожалел времени на недоросля. Приехали бы два года назад, в живых бы его застали. Да... Как начал он рассказывать, сколько в краях этих история-матушка понакрутила, – ахнул! А уж после, когда до книг добрался, в краеведенье с головой увяз... Он,

Сергеич покойный, и музей сделать предложил. И председателя убедил, измором взял. Когда вопрос на правлении колхоза решался, зараз прениям конец положил – мы, товарищи дорогие, сказал, памятник старины развалили, нам и восстанавливать. Как отрубил! Строить – не ломать, восьмой год мурыжимся: по кирпичику, по гвоздочку... Все, как было, чтобы и детям нашим, и внукам не одни крупноблочные ангары остались, – кивнул Санечкин через забор, на серую, с черными швами, коробку магазина. – Обида ведь берёт! Мало, война катком края наши проутюжила, мы и уцелевшее не бережем. А трудно разве? О музее чуть слух по округе пошел, люди сами понесли, что сохранилось. Ведь тут не как в городах, где что проху-дилось – сразу на помойку. Не-ет, здесь рухлядь да ветхость на чердаки, в подполы ховают. Поверите, треуголку чиновничью парадную у бабки древней, через два дома нашел. Целехонька, в футляре даже, видели вы. А стол эпохи Петровой – в соседней деревне взял, за ним пили-кушали, пока гарнитуром югославским не обставились. И пацанва натащила порядочно. Черниленку ту, шестнадцатого века, чугунного литья, – приятель старшего неслуха моего принёс. Конечно, такие в музеях наших не редкость, да на этой рисунок уникальный – поединок медведя с единорогом. Справлялся у специалистов, подобного сюжета никто не встречал...

Санечкин поднялся, выдернул топор из бревна, давая понять, что пора и за дело. Поставил на попа куцую, в обхват колоду, кверху свежим распилом.

– Егорий! Ты вчера нас долго убеждал, что история в архивах прекрасно сохраняется. А вокруг себя, рядом замечаешь ее? Вот она, гляньте, истории пластиночка долгоиграющая, – смахнул ладонью налипшие на чурбак опилки, достал из-за уха огрызок карандаша. – Эта листовница, пока на дрова не пошла, лег эдак девяносто–сто лес украшала. Посчитать не лень, когда родилась? То-то же! Вот и смотрите... – Санечкин нарисовал в центре годовых колец точку, провел от нее до края колоды спотыкающуюся линию. – Вот год засушливый был, несколько кряду, вот еще, еще... Видите, не росла совсем... Вот горела она, точно горела... поправлялась потом... Проверяйте, если не верите. Засуха в четырнадцатом году была, в тридцатых, в семьдесят третьем тоже... Так и войну последнюю легко вычислите. ...Вот где-то здесь дед мой родился, тут отец... А вот тут, – поставил он крестик почти у самого края, – тут вы оба народились. Ишь, кольцо какое широкое, удачливое... А представляете, какво распилить дубок годков трехсот–четырёхсот? И Пугачёв там, и Бирон, и Ломоносов, и... Да кто хочешь!..

– А ты, оказывается, лирик, Семен Семеныч! – хлопает его по плечу Антон. – Но в такие дали нам не нужно. Ближе гораздо, на пятнадцать вёрст всего. Когда проводишь?

– В Заозёрье твое фамильное? Да хоть завтра и отправляйтесь. А меня увольте. И так работа простаивает, а через месяц комиссию ждём. Да и был недавно там, с пионерами на майские. И в прошлом году, когда лодочкой путешествовали. Из озер тех река наша начинается, вот я со старшим и надумал: дотуда на машине, обратно вниз по течению. Это дорогой пятнадцать, водой аж восемьдесят километров вышло. Через неделю к дому

подгрести. Варька все жданки прождала, всесоюзный розыск на меня с сыном объявлять хотела...

– Ты не отвлекайся, Санечкин, не увиливай, – гнёт свое Антон. – Я ради пятнадцати вёрст этих семьсот километров ехал.

– Дело хозяйское, конечно. Зря только. Полагаю, тут Егорий прав. В архивы залезать нужно, в документах концы искать. А в Заозерье что узнаешь? Ни живой души, поле голое.

– Все равно уговорю! – обещает Антон.

Не уговорил. Утром, когда Санечкин, по дороге в музей, довёл гостей до перекрёстка, Антон еще раз попытался: «Может, с нами потопаешь?» Но Семен Семенович сунул Гарику под мышку собранный Варей пакет, приятно греющий сквозь промасленную бумагу пирожками, и махнул рукой.

Санечкин предупреждал, что на попутку рассчитывать нечего – местный транспорт в другой район не посылают, да и края те глухие, до ближайшего села двадцать вёрст, потому Антон и Гарик сразу взяли хороший темп и первые километры прошагали вполне бодро. Но к полудню солнце раскалило асфальт, и друзья решили идти вдоль дороги, по опушке леса, потеряв в скорости, но выгадав в условиях. И совсем застряли: незаметно углублялись в чащу – и приходилось выбредать обратно, а Гарик еще долго и безуспешно гонялся за невзрачной бабочкой, уверяя, что это редчайший и малоизученный у нас вид *euptychia nabokovi*, который встречается только в окрестностях Оредежа и в Северной Америке.

Когда от Вариных пирожков остались лишь сытные воспоминания, а пройденное все не хотело соотноситься с маячившим впереди, друзья уселись на пне у дороги, и Антон почти поддался уговорам повернуть назад, как из-за спины донёсся нарастающий рёв мотора, и на шоссе выскочил желтый, в черную полосу, автокран.

Водитель – веснушчатый ушастый парень, королём восседавший в оклеенной картинками рок-ансамблей кабине, небрежно крутил левой рукой баранку управления, а правой – усыпанный маком бублик, терзая его ядреными зубами, и за десять минут всю свою жизнь рассказал: родился, учился, срочную отслужил, в родном селе осел, обженился и киндера сделал. Куда они ехали, знал: «По два раза на дню, утром-вечером мимо летаю. Сам хотел памятник рассмотреть, да некогда, некогда – век скоростей!» Беззлобно поматерил председателя: «На месяц запродам кран соседнему хозяйству! Пруды они там в порядок приводят. В обмен на два бульдозера махнул. А мне, гулёна-мать, сорок кэмэ каждый день туда-обратно. Назад в девятом часу буду, подброшу, если дождётся», – пообещал, высаживая.

И открылось их взгляду поле. Разрезанное дорогой, раскинулось на обе стороны, распахнутое солнцу и ветрам, величественное и безмолвное. Справа пласталось спелыми хлебами, лишь у самого горизонта отделённое от неба узкой ленточкой леса, а слева, вовсе бескрайнее, зеленое морем травы, омывающим два кудрявых островка из десятка деревьев да белеющие кое-где печные остывшие трубы и светлый штык обелиска над ними. Друзья вышли к памятнику, постояли, вчитываясь в бронзовый список

людей, сгоревших здесь в октябре сорок третьего; побрели, по колено в траве, от печки к печке – к бывшему жилью, съеденному огнём. Она была красивой, та деревня, – на версту тянулась мощными улицами вдоль реки, узкой и мелкой еще, не набравшей силу у истока (напротив Санечкиной избы ее хорошему пловцу переплыть трудно), лепилась двумя рядами домов, обращенных окнами к воде и друг другу, и частые легкие мосты соединяли ее берега. «Как Петербург строили. Не иначе, тогда же, – глухо сказал Гарик, глядя с уцелевшего мостика на журчащую под ним воду. – Мойка чуть пошире».

Забывшая звук шагов, булыжная мостовая довела до конца исчезнувшей деревни, и Антон с Гариком снова оказались на шоссе. Солнце нещадно палило непокрытые головы, но друзья застыли соляными столпами, вглядываясь в тающий горизонт.

Антон первым заметил крышу, потом другую – далеко, у самого леса, на кромке золотого поля. Гарик, как ни протирал очки, ни вглядывался, – ничего не смог рассмотреть, но Антон уже не слушал возражений – тащил друга напрямик, разводя колосья и спотыкаясь на комьях окаменевшей горячей земли. Это было похоже на тягостный сон – молчаливая гонка за призрачным видением, напролом, в бесконечном пространстве, через поле, которое, казалось, поглотило их навсегда. Они шли и шли, а манящие крыши не только не приблизились – пропали с глаз, и когда Гарик обернулся, то не увидел ни шоссе, ни обелиска – одно желтое поле, обступившее с четырех сторон.

Они потеряли представление о времени, и когда наконец вышли – к зеленой траве, деревьям, домам на опушке прохладного леса, и опустились без сил наземь, привалились плечами друг к другу и с трудом переводя дыхание, – даже не поняли: час ли, два длился этот бездумный переход.

Домов оказалось пять – летних, сборных, полукругом стоящих над крошечным прудиком, ртутно блестящим на дне щербатого оврага, откуда разносились детский хохот и визг. Двое голых ребятишек плескались в воде, едва доходившей им до лопаток, а с берега наблюдала за детьми пожилая женщина в резиновых высоких сапогах, держа наготове увесистую палку. Женщина обернулась, из-под руки взирая на Антона и Гарика, наперегонки спешащих к водоему, поочередно смерила обоих удивленным взглядом, сосредоточенным на их ногах. Друзья недоуменно переглянулись, тоже посмотрели на свои сандалии, и Гарик стеснительно поджал торчащие из плетёных ремешков грязные пальцы.

– Вы откуда такие? – строгим полубаском спросила женщина.

– Оттуда, от шоссе, – неопределенно кивнул через плечо Гарик.

– Ясно от шоссе. Шли-то, спрашиваю, как?

– Через поле, – сказал Антон. – Полеми шли.

– По-о-лем? – недоверчиво протянула женщина. – На босу-то ногу? Там же гадюк видимо-невидимо!

– Каких гадюк?

– Обыкновенных гадюк, ядовитых.

Только теперь друзья заметили змею, мертвым обрезком резинового шланга валявшуюся подле пыльных сапог женщины...

Через полчаса, потягивая холодный квас, Антон и Гарик сидели в тени дерева, за врытым в землю одноногим столом, в окружении трех женщин и старика в кремовой парусиновой фуражке с квадратным козырьком. Знали уже, познакомившись: пожилая, встретившая их у пруда, Дьякова Татьяна Ивановна, – местная, до двенадцати лет жила в Заозёрье, перед войной перебралась с родителями в Ленинград; у одной из молодых, Светланы (симпатичной, насколько можно судить по лицу в наложенной косметической маске из давленной прямо по коже малины), родители тоже из погибшей деревни; другая – подруга ее, на даче с детьми отдыхает. И старик, которого Антон первого начал расспрашивать, ожиданий не оправдал – тоже дачник, в эти места лишь пятый год приезжает.

– ...Да уж, горькая судьба Заозёрью выпала, – хмуро рассказывает обладательница полубаска. – В тридцать девятом, аккурат до войны за два года, страшный пожар приключился, почти вся деревня дотла выгорела. Хоть и на воде, а попробуй потуши, когда деревянная строена. Дома-то тесно стояли, с одного на другой огонь мигом перелетал – оглянуться не успевали. Вещей даже не вынесли. Хорошо, днем началось, не погиб никто.

– Может, вредительство место имело? – вставляет старик, пожевывая беззубым ртом.

– Какой там! Жарынь тем летом раскалилась – дома что порох сухой. Сказывали, с избы бабки Панкратовой, с центра деревни загорелось. Печь протопила, старая, да и оставила без присмотра, ушла. С нее и занялось. Из двухсот домов десятка три уцелело, что на отшибе, у леска самого... После этого деревня и порасселилась кто куда, по родне да по соседям. Мы с отцом – в город, к тетке его. Перед войной последний раз по зиме сорок первого приезжала сюда, справку в Совете для ЖЭКа брала. За два года семей двадцать отстроилось, кто хозяйством покрепче был, подежнее. Потом уж в сорок восьмом, с мужем наведались. Ну, что увидела, что ворог тут натворил... – она машет рукой, вытирает глаза концами подвязанного под подбородок платка. – Когда немец пришел, в Заозёрье человек сто жило. Дороги тогда хорошей не было, шоссейку-то недавно проложили. В общем, в деревне погорелой интересу фрицам не нашлось, потому в ней, кроме офицера да нескольких солдат, никого не поставили. Как они безобразили тут, про то не знаю, но вроде без зверств особых. А уж как войска наши подходить начали, тогда и приключилось. Деревенские, ближнюю пальбу слышав, в лес подались, чтоб переждать вернее. Наступление задержалось, а тут драпавшие эсэсовцы-каратели нагрянули. У них разговор короткий был: раз деревня пустая, значит, в партизаны подались. Прочесали с собаками лес, человек шестьдесят повыловили, стариков да баб с ребятишками... Точное число не скажу, на памятник прочитаете... Заперли в школе, да и спалили заживо. Один человек, Жигунов, чудом жив остался. Он и рассказал... Ему лет двадцать пять было, по хромости сильной ни в нашу армию не призвался, ни в кабалу немецкую не угнали. Всю оккупацию здесь перемог. Тоже в лесу хоронился, да мать как раз в деревню послала, в хате понадо-

билось чего. Он в дом, а тут фрицы. Жигунова сразу в баньку заперли. Потом, как облаву учинили и остальных в школу свели, про него-то и не вспомнили. А мать так с деревенскими и сгорела... Когда после войны приехала, видела его, говорила. Ужас, что рассказал, волосы дыбятся!.. Хотела вернуться, а жить-то негде – пустошь черная кругом, и отстраиваться некому. Потом, лет через десять, дачку тут, по соседству поставили, и Светочкины вот, – кивнула на женщину с лицом в малине, – мать с бабушкой тоже возвратились. Вроде Малого Заозёрья обосновали. После ещё три дома прибавилось, но то хозяева пришлые, местные мы одни. И Жигунов с пепелища так и не ушел, в баньке жить остался. Потом, как памятник открыли, при нём вроде смотрителя ходил. Пробовали переселить... мы же на зиму в город перебираемся, что одному-то бедовать, а он ни в какую. Так и прожил, год назад умер.

– Памятник давно поставили? – вмешивается Гарик, но Антон перебивает: – А что здесь прежде, в прошлом веке было, знает хоть кто-нибудь?

– Так деревня же испокон и была, что еще? Ей, считайте, лет триста, если не больше.

– Вас, верно, имение интересует? – догадывается Светлана. – О помещиках здешних спрашиваете?

– Ну да. О прежних владельцах.

– О том с бабулей нашей поговорить нужно. Бабуля все знает. Только не повезло вам, в городе она сейчас. Давление подскочило, вот Вася, муж мой, в Ленинград позавчера и увёз. Не знаю, когда вернется.

– Так ее в войну в Заозерье тоже не было?

– Погоди, про войну всё рассказали, – Антон толкает Гарика локтем. – Вы вот что скажите: кто-нибудь может помнить, где усадьба стояла? Фамилию владельцев?

– Про то я скажу, – уверяет Татьяна Ивановна. – Я дом помню господский, в нём школа Заозёрская как раз и располагалась. Пожар до него не дотянулся, потому как дом в стороне, в роще был. А немцы уж... А фамилия помещика здешнего – Веретенников.

– Нет же, тетя Тата! Не Веретенников. Не то Хворощеев, не то Верещаев, – поправляет Светлана. – Только не Веретенников. Бабуля говорила, она помнит, это у меня память дырявая.

– Вы уверены, что Верещаев? – дрогнувшим голосом переспрашивает Антон. – Не Верещагин?

– Верещагина я бы запомнила, легкая фамилия. Хворощеев, скорее. Бабуля верно знает.

– Вы говорили, что дом господский помните? – внимание Антона переключается на Дьякову. – Он как выглядел? Одноэтажный? С мезонином и четырьмя колоннами?

– Одноэтажный, это точно. И мезонин, полуэтаж вроде, был, там директор в кабинете сидел. А насчет колонн... Были колонны, а вот сколько...

– Восемь колонн, – убежденно говорит Светлана. – Почему знаю? У нас дома фотография сохранилась. Мама с подругами на школьном крыльце снялись, как десятый класс закончили. Точно восемь колонн. Будете в Ленинграде, позвоните – можем показать.

– Спорить не стану, – упорствует Дьякова, – но фамилия барина Веретенников. И мама, и бабушка сказывали, им ли не знать!.. Долгонько о нем память по округе жила. Жестокий был Веретенников, крепостник настоящий. Бабник, всех девок в деревне своей перепортил. Тогда уж лет двадцать, как крепостничество отменили, а он знай народ тиранил!.. Вы ведь главного рассказать не даёте, как прабабушка моя у барского дитёнка в молочных мамках состояла...

– Кормилицей? – изумленно поднимает брови Антон.

– В кормилицах, ну. Они с барыней чуть не в одночасье разродились, мальчонками обе. Да у той, мужем-кровопийцем затравленной, даже молока не было. А дом наш... если у памятника станете, спиной к нему, третья печка слева наша. А господский особняк – аккурат напротив, через речку, до него ходу минут десять было. Ну, придет наша-то прабабушка к барскому чаду, покормит, а барин не отпускает, держит – вдруг сынок еще есть потребует. А наш ребеночек-то, от голода да недогляду, возьми и помри. Пришел муж, прадедушка наш то есть, к помещику, просит жену позвать, а тот как услышал, зачем, и вовсе отказал. Дал пять рублей на похороны и велел: закопай, мол, от бабы твоей втайне, пусть подольше не знает, а не то у нее от горя молоко пропадёт, тогда и барчонок не выживет...

Гарик старательно не смотрит на Антона: друг понуро опустил плечи, уставься в одну точку на столе.

На том разговор и кончился – Антон вопросов больше не задавал, и Гарик, которому очень хотелось подробнее расспросить про сгоревшую деревню, молчал, косясь на друга.

Хозяева поднялись.

– Солнышко хвостик показывает, а дела не переделаны, – спохватилась Дьякова. – Белые ночи прошли, темнеет рано, а в потемках много не работаешь. Электричества ведь у нас нет постоянного, из-за пяти времянок тянуть никто не будет.

– А я-то голову ломаю! – признался Гарик. – Столбов с проводами нет, а над каждой крышей антенна телевизионная зачем?

– На привозном токе, от аккумуляторов автомобильных экраны питаем. Прощаясь, Антон все-таки записал телефон Светланы, пообещав непременно позвонить, посмотреть фотографию школы. Пришаркал и старик с тетрадкой в клеточку – тоже спросил адреса молодых краеведов: вдруг да узнается что.

– Если место, где особняк стоял, найти пожелаете, это легко, – объяснила Дьякова, выводя друзей на тропу. – Его от шоссе хорошо видно. Среди поля деревья пучком стоят, там и есть. Которые правее, те над погостом старым, а вот дальние как раз вокруг дома росли. Поглядите как следует, может, фундамент не совсем еще в землю ушел...

Возвращались дорогой, огибающей поле по кромке леса; молчали, опасно глядя под ноги, – длинные тени, как змеи, лежали поперёк прокатанной колеи.

Сделав порядочный крюк, вернулись по шоссе к памятнику, откуда начали свой путь через поле. На древнем погосте побродили меж деревьев, раз-

двигая узорчатые папоротники над редкими, вровень с землей, плитами, на которых еще можно было разобрать полустёртые кресты и отдельные буквы. Смогли прочесть только одну, уцелевшую полностью надпись – о некоем Иване Карпове, почившем в бозе на 12-й день июля года семьсот восемьдесят первого.

– Какое сегодня число, не помнишь? – рассеянно спросил Гарик.

– Не совпадает. Стиль-то старый, – ответил Антон. Выдавил грустно: – Неужели и мои тут лежат где-то?..

Дошли до дальних дерев. Все, что осталось от барского имения, – кусок ведущей в никуда подъездной аллеи, дюжина тополей, через шаг один от другого...

Водитель автокрана не забыл – посигналил пронзительным гудком, долгим и терпеливым, далеко разнесшимся над полем.

– Мы уж с Варей решили, что гости наши дорогие московские навеки там поселились! – встретил их появление Санечкин, сутулясь над дымящейся кружкой чая. – Признали Антона места родные? Приняли? Погладили по головке?..

Друзья, без задних ног, плюхнулись на лавку, уткнулись носами в тарелки, куда хозяйка едва успевала подкладывать добавку («Эва, аппетит-то нагуляли!»), онемели, стуча голодными ложками. Антон от рассказа уклонился: пускай-де Гарик язык чешет, у него лучше получится.

– И так все известно, – усмехнулся Санечкин. – Про Веретенникова поведали? Что жук навозный был, каких поискать?.. Про младенца замученного тоже? Тогда и впрямь не зря ходили!

– Откуда?!.. – обалдели от изумления друзья.

– А не то думали, мы тут лаптем щи хлебаем, не ведаем ничего?

– Так какого лешего?! – не на шутку разозлился Антон. – Раньше сказать не мог? Мы, понимаешь, ноги бьём, а ему шуточки-прибауточки!

И тут Санечкин выдал им тираду.

– Наука впрямь будет! – сказал поучающе. – Урок истории на свежем воздухе, называется. К тебе, Антон, это в большей мере относится. Вишь, барин вернулся, в ножки ему валитесь! Так получается? Корешки свои покопать-пошупать пожелалось? Посмотрел бы, как лет пятьдесят, семьдесят назад у кого такое желание возникло... Уважил тщеславие? Думали, дворянский род какой ни тряхни – сплошь декабристы да герои войны восемьсот двенадцатого года? Потёмкины, Орловы, Веретенниковы... Крепостники и есть! Да у каждого еще, небось, табакерочка увесистая в кармане, не манифесты благодные. Конечно, и среди них люди встречались, которые историю отечества двигали. Да какие люди! Суворов, Пушкин, Толстой... Так по ним и равняемся, на виду они. А что до родства-свойства... Родословные деревья любые обтряси, чтоб виднее было, – все родственниками окажутся в итоге. Так что и позор, и доблесть на всех поровну делите. А копнуть глубже – до павыального родства доберёмся... Все с нами и в нас остаётся. Память, как убедилась, она равно держит – и доброе, и злое. И тут уж нос не вороти – целиком принимай, и с розами, и с говном. Историю голыми руками не бери! Попробовали? Не пообрывало ручонки? То-то! Посмотрели-послушали, как баре да господа над мужиком куражи-

лись? Столетиями кровушку сосали, думали, конца-края терпенью народному нет. А мужик терпел, терпел да и врезал швобле этой по загривку! Что мы на сегодня и имеем...

– Ладно стыдить! – не вытерпел Антон. – Из всего, что ты наговорил, тоже еще отобрать надо.

– Не без лишки, понятно, – согласился Санечкин. – Я мужик увлекающийся, заносит, случается. Так вы за чистую монету и не принимайте. Главное, самую суть уловите. Предков по-разному искать можно. Зачем вот музей делаем, собираем по крохам, что осталось? Чтобы каждый, кто хоть раз придет к нам, – заинтересованный ли человек, случайный ли, – с чувством гордости ушел. За предков своих. И не задирает носа, дескать, мы самые-самые, атомы расщепляем, человека в космос подняли, до лазера додумались, а понял, как это в нас заложено, что предки наши тоже не лыком шиты были. И сам задумался, и детям, потомкам своим велел...

Друзья прожили у Санечкина еще неделю. По утрам отправлялись вместе в музей, помогали хозяину – «на подхвате», где подержать, где отпилить, стыдясь городской неумелости и ликуя в душе, когда удавалось сорвать скупую похвалу...

Он проводил их до перекрестка, постоял, молча покуривая, пока вдали на шоссе показался автобус. Обнял, прощаясь.

– Помнишь, Антон, спросил ты, о чем подумал, как увидел вас? Честно скажу, поначалу не шибко вы мне понравились. Гляжу, барчуки приехали, фёдоровские дела, нынче модные, и все такое... А после рассмотрел: ничего мужики, серьезные. И ты, Егорий, молодец, не белоручка, можешь топор держать. Тоже гены, скажешь?.. Тебя, как понял, война последняя интересует, история Заозерья занозила. Приезжай, разузнай подробнее. Помогу. А вообще учитесь пока. Да не в одних книгах погрязайте, по сторонам тоже поглядывайте. Историю вокруг себя не проморгайте за суетой копеечной, И уроки, что здесь получили, помните. А забудете, я напомню, – сделал выразительный жест задубелой ладонью. – Чаю, вскорости снова ждать. Не приглашаю – сами дорогу найдете. Знаете теперь...

Билетов на ночной поезд не достали, купили с рук на «сидячий» экспресс, и по городу погулять не удалось – едва успели занять свои места в вагоне. Гарик смотрел в окно, Антон дремал или делал вид, что дремлет. И вдруг спросил, тронув Гарика за рукав:

– Не жалеешь, что от дивана тебя оторвал?

– Умнее ничего сказать не мог? Потомок несчастный!.. Мне что в голову пришло? Может, Верещагины твои к Веретенниковым никакого отношения и не имеют!

– Пустое это, – отмахнулся Антон. – Я о другом думаю. Что мы вообще знаем-то? Об отце. О матери. Друг о друге...

А за окном бежали немые поля, и не было им ни края, ни конца.

Точка росы

1

...Ветер дул во все щёки – гнул мачты, хлопал в парусах, и каравелла, подхваченная легкой ладонью волны, догоняла обманчивый горизонт.

Палуба уходит из-под ног, руки срываются с вантов, а нужно держаться и верить, чтобы дойти туда, где ноющий шов земли стягивает полотнища воды и неба.

...Что-то сильно толкает в плечо, и Павел, отворачивая глаза от сна, рассеянно смотрит – мимо склонившегося лица жены – на крутой парус потолка...

2

Сколько Павел Косов себя помнил, он вечно что-то делал: пилил, резал, строгал, просто ковырял, занимая руки всем, что в них в ту минуту оказывалось. От постоянной возни с деревом и железом ладони его, исчищенные царапинами и рубцами, задубели и приобрели цепкость тисков, так что любители читать биографию по рукам, едва глянув на сорокалетние косовские пятерни, тотчас записали бы его в слесари. А между тем Павел по всем анкетам причислялся к категории людей умственного труда, и треть жизненного своего времени проводил за столом инженера в архитектурной мастерской суетливого министерства с мудреным названием, за сидячей работой, прилегающей к приличным окладам склероз, одышку и геморрой. Косовские сослуживцы, стыдливо гордящиеся кто одним, кто другим, а кто всем сразу, забывая на ежечасных перекурах пожарную лестницу, нередко тешили душу разговорами на предмет мальчишковой фигуры Паши, лишавшей его солидности и обращения по отчеству, и безобидно подбивали признаться, не занимается ли он каратэ, на чём в последнее время свихнулась самая хилая часть мужской половины отдела. Но Павел от дурных вопросов отмахивался, а про японское увлечение говорил уклончиво, дескать, русскому мужику, раззадорь его только, раскрошить кулаком пару кирпичей не проблема, как подковку скомкать шутики ради или кувырнуть в канаву телегу вместе с мерином. Подков Паша не гнул, но однажды двумя пальцами выдернул глубокий гвоздь, забитый из вредности в его стол техником Кузякиным почти по самую невозможность ухватиться клещами за шляпку. Вообще с Павлом так не шутили: он все принимал всерьёз и обидеться мог очень даже просто. Что до его спортивной поджарости, то – всякий в отделе это знал – осталась она от прежних времен вместе со значком мастера спорта по гимнастике, когда Павел был кандидатом в сборную страны, но тогда же родился сын,

а потом и дочь, и надо было кормить семью, а не витать в эмпиреях, как любила говорить его жена Тоня, энергично руководящая соседним отделом комплектации. Впрочем, Пашу любили, хотя кое-кто и называл обухом, а Кузякин, при случае любивший почесать языком, говорил, что Косов мужик хороший, при случае любовь кукукнутый. Никто толком не вникал, что именно вкладывал Кузякин в это понятие, но в его крыжовниковых глазах сквозила мечта, дай ему такую волю, прописать Пашу в таёжную глухомань, где он будет добывать огонь трением, ходить с рогатиной на медведя и вообще все делать своими двумя.

Кузякин не так уж был далек от сути: иногда Павел сам смущался умом, что существует не так и занимается не тем, и удивление от понимания этого мешало ему жить ясно и размеренно. И сейчас, совершая вечерний выгул собаки, он снова пытался понять, как и когда обмишурился и какой небесный стрелочник пустил его на всех парах совсем не туда, где ему надлежало быть по расписанию.

Пес радостно носился по двору, высоко подбрасывая кургузый зад и зарываясь носом в сугробы, но щенячья радость познания природы не передавалась Павлу: он слепо смотрел в бедное до звезд небо, наполовину заслоненное бетонной коробкой отходящего ко сну дома. Этот белый ящик, простроченный гудроновыми швами, был косовским детищем и отличался от врытых рядом близнецов одним лишним этажом. К тому времени, когда министерство затеяло постройку собственного дома, Пашины ребята уже пошли в школу, а жили они вчетвером в густонаселенной коммуналке, разгородив ширмами комнату, большую ровно настолько, чтобы в районе не ставили на очередь. Но в министерстве, хоть и считали архитектурную мастерскую своей вотчиной, по каким-то причинам забыли о ней при раздаче жилищных удобств. И ничего бы Павлу не светило, не осени главного архитектора мастерской нехитрая мысль убедить начальство надстроить один лишний этаж, благо почва выдержит, и землетрясений в Москве никогда не наблюдалось. Так, благодаря Пашиному расчету и пробивной силе главного, прибавилось семь квартир на архитекторов, в одну из которых по молодой зиме и впустила семья Косовых одолженную у свекрови для этой цели кошку.

Как строители-мостовики с невозмутимым видом нервно курят под гудящим от первого пробного поезда виадуком, так жил Павел в своей двухкомнатной квартире, отдаленной от земли пятнадцатью этажами. И продолжались бы его сомнения вечно, не докатись до столицы земляная волна от подземного толчка где-то в Румынии: еще хрустели стекла в оконных рамах и люстры раскачивались маятниками, когда Павел стоял на пустыре, прижимая к частому сердцу завернутую в одеяло, не успевшую даже проснуться Иринку. А на следующий вечер весь последний этаж шумел банкетом в честь Паши Косова, по поводу, который так и остался тайной для остальных жильцов дома.

Теперь для крепко стоял в ночи, глядя на Павла тремя зажженными окнами – единственными сохраниющимися свет надолго после полуночи. Жильцы старались не выбиваться из общего графика: ровно в восемь утра вылетали из подъезда, зевая, здороваясь и шурша газетами; ровно

в шесть вечера вытекали из дверей своего министерства, и часов в одиннадцать, с окончанием телепрограммы, как по пионерскому горну, тушили свет. Вот и сейчас горели только три окна. На девятом этаже до утра будет жечь электричество соевоющая над своими плакатами и афишами художница Юля, взбалмошная хохотунья, переехавшая сюда после развода с мужем и размена его квартиры. Два других окна, на последнем этаже, – комната и кухня соседней Павла, четы Малевичских, перешедшей на туманную надомную работу. Павлу по-прежнему нужно было жить в министерском графике, но какие-то другие часы тикали в нем, покушаясь на ночное время. Поэтому, придя со службы и едва скинув башмаки, он тыкался носом в подушку, тотчас проваливаясь в беззвёздную яму сна – до девяти часов, когда его вытянет оттуда тяжелая рука жены. Потом он медленно возвращается в шумный мир, где Иринка решает задачки с иксами, а Ленка бубнит что-то про фторы и углероды; механически жуёт пищу, потерявшую всякий вкус за пятнадцать лет супружества, и не попадая отвечает на хозяйственные вопросы жены; рассеянно вслушивается в дюралевый голос диктора, читающего скучные новости, пытаюсь вникнуть в тонкости политики и понимая только, что одна партия хуже другой... Потом он иногда моет посуду безразличными к тарелкам и горячей воде руками и к десяти окончательно просыпается. К тому времени ребята уже смотрят мультипликационные сны, и Павел обстоятельно пьет с женой чай, обстоятельно обсуждая обязательные домашние дела. К одиннадцати бархатный пуделёк Гошка, после ребячьих сопливых просьб и посулов хорошо учиться купленный за семьдесят рублей у Малевичских, начинает осатанело когтить лапами дверь, вызывая Павла на прогулку...

Стряхивая снег с ботинок и Гошкиной бороды, Паша раздраженным шепотом просит пса не шуметь, хотя знает, что никого они уже не разбудят. Он скрипит босыми пятками по паркету, мутно освещенному лампой ночника, под которой сонно розовеет расслабленное лицо жены, привычно снимает с ее носа очки и поднимает с ковра выпавшую из уснувших женных рук книжку, гасит свет и уходит на кухню, плотно притворяя за собой двери. Теперь он принадлежит только себе, и течение жизни обретает смысл и размеренность. Смахнув со стола недоштопаные носки и хлебные крошки, он расстилает известиями вверх газету и вдумчиво раскладывает на ней рашпили, плоскогубцы, лобзик, профильные стамесочки и наклеенную на картонку наждачную шкурку-нулёвку, – не глядя ныряя рукой под стол, где в телевизорной коробке дремлет в ожидании прикосновения его рук немудреное плотницкое богатство. И когда необходимое в деле ляжет под ладонь, выплывает на стол ребрастый остов корабля, едва начавший обрастать от кия буковыми спичинками обшивки...

3

В субботу утром жена с ребятами уехала к теще, и Павел второй день жил в радости тишины и покоя, улыбаясь в душе простому счастью не освобождать кухонный стол от своих деревяшек. Теперь он ласково шлифовал на нулёвке лилипутское вёслышко, не отказывая себе в удовольствии

твии глазом родителя поглядывать на стоящую тут же каравеллу. С зимы она подросла и оформилась: уже тянулись к высоте мачты, натягивая шпагат такелажа и звеня тугими вантами, и ее упругие линии, скрипично выгнутые от бушприта к корме, повторяли музыкальный изгиб юной купальщицы.

Когда в дверь весело и не по-своему позвонили, Павел, нарочно не торопясь открывать, успел подумать, что два дня беспробудного счастья – слишком много, а так не бывает. И точно: на кухню сразу протопал Сеня Малевинский, гордо неся вечное воскресенье в праздных глазах.

– Ты, Косов, чегой-то не рад мне, как я погляжу? А где законы гостеприимства? Где что-нибудь вкусенькое? Давай-давай, ставь чайник, я к тебе на весь вечер!..

Бормоча себе под нос, Сеня гремит сковородкой и хлопает холодильником, да Павел не слушает – знает, что тот сам о себе позаботится (за десять лет знакомства и четыре года соседства у Паши выработался иммунитет к обоим Малевинским).

Раньше Сеня тоже работал в министерстве – заведовал хозяйством, славясь энергичной несуразностью. И до поры до времени на буйную деятельность завхоза смотрели сквозь пальцы, пока однажды он исхитрился приобрести для своего департамента три сотни надёжнейших замков, отпиравшихся одним ключом. Напрасно Сеня пытался убедить начальство в безусловных преимуществах скупленной с приличной скидкой бракованной продукции – его попросили. И вот уже два года он жил разбито – как лётчик, обманутый парашютом. Из солидарности с Сеней покинула архитектурную мастерскую и его жена Лора, давно искавшая повод сменить кульман на швейную машинку, более беспокойную, но денежную. С тех пор они числились на иждивении друг друга, на самом деле образовав домашнюю артель широкого профиля. Среди больших и маленьких услуг, предлагавшихся населению фирмой Малевинских, – пошив скоропелых джинсов из материала заказчика, вязка и стрижка по парижской моде собак, лишение породистых котов мартовской радости, скупка и продажа икон, дублёнок, старой бронзы и других товаров, пользующихся широким спросом в узких кругах. Одно время Малевинские и Павла зазывали в свою артель, намереваясь с его талантом наладить народный промысел, вроде «хохломы», но быстро бросили эту затею, не перестав, однако, дивиться паскудству природы, наделившей Пашу золотыми руками и непрактичной головой, в которой напрочь отсутствовало понятие о сложности жизни.

Наболтав в кружке холодный чай с вареньем, целебный для нетвёрдого, после вчерашнего, нутра, Сеня монументально устраивается с ногами на табурете, через стол от Павла, и критически прицеливается в оптическое перекрестье грот-мачты, по врожденной привычке отыскивая, что бы уязвимое охаять. Ни на чём таком не споткнувшись, он подвигает поближе кораблик, успев перехватить тревожный взгляд Павла, и дёргаными пальцами крутит штурвальное колесо, дивясь, как, по каким-то неведомым ему законам, поворачивается мелко окованное медью перо руля, до которого он вроде бы и не дотрагивался.

– Это ж надо же, а! Поворачивается! И что, у тебя всё-всё прямо так и будет крутиться? Ну, Паша, ты прямо Левша у нас, Кулибин ты наш домовый. И эти штучки у тебя тоже двигаться будут? Эти вот, с ручками.

– Помпы-то? А то как же! – Павел щурится от попавшего в глаза сигаретного дыма. – Можешь покачать, пока не прикрепил.

– А прикрепишь, так уже и нельзя будет? И чем ты их приспособишь? Небось, тут и клей особый нужен?

– Да это не вопрос. Приклеить – оно и водой можно.

– Прямо одной-одной водой? Свистишь! Нет, правда? Намертво?

– А то! Налей меж двух стёкол воды и попробуй разлепить – во держать будет! Конечно, пока вода не высохнет.

– Я ж серьезно... Гвоздями пришьёшь, да?

– Ага, гвоздями. Такими! – Пашины пальцы поворачивают перед носом Сени увесистый шпальный костыль. – Думаешь, если поглубже вбить, так оно и вернее? Ты прямо как бабка моя. Знаешь, как в деревнях занавески на окна вешают? Два гвоздя в раму для верёвки влупят, да поглубже, чтобы держалось вечно, пока сам дом не сгниёт. А через год глядишь – проржавели гвозди-то, под пальцами крошатся.

– С чего бы они проржавели? От сырости, что ли?

– При чем тут сырость? Ты, гуманитарик луковый, про точку росы слышал когда-нибудь?

– Про точку чего? А-а, знаю, конечно, – пробует соврать Сеня, мучаясь неудовольствием признавать лирический покров своего ума.

– То-то и видно. Простая вещь, между прочим. Короча, внутри стены всякой есть место, где две температуры сравниваются на нуле – уличная с комнатной, зимой например. Вбей ты гвоздь, не доходя до этой самой серёдки, – триста лет проторчит. Так ведь нет, нам поглубже надо, поосновательней, только что не насквозь. А потом диву даемся: на века строили, а все за каких-то пять лет иструхлявилось. Вот она и хитрость – с учетом точки росы расчет жизни делать.

Сеня надувается, не без подозрения, что этот камушек – в его огороде, и замолкает, зная Пашину склонность к обобщениям, которая неизвестно куда может выкрутить разговор.

«Тоже мне, праведник нашелся», – думал Сеня, в бесполезной тоске наматывая какую-то проволоку спиралью на палец и перетирая в мозгу одинокую мысль, что, в сущности, все тридцать семь лет своего хождения по земле искал он ту божественную точку росы, где уравнивается щедрое тепло нутра с непригодным для него жизненным климатом. Он поднял глаза на Павла, но тот ладно резал какую-то щепку и всем видом говорил об абсолютной невозможности вывести его сегодня из радужного настроения.

Изымая от провисшего молчания, Сеня вдруг вспомнил недавний разговор с Антониной, забегавшей к ним на огонёк, и как она жаловалась, что Паша запретил сыну заниматься каратэ под угрозой выгона из дома. Лёньке Косову шел пятнадцатый год, был он по-отцовски мосласт и уже носил его пиджаки, потихоньку норовя надеть тот давний клетчатый, к лацкану которого приколот значок мастера спорта. Как-то к Павлу приехал его

прежний спортивный приятель, сменивший с тех пор гимнастическое трико на кимоно каратиста, и вдвоем с Тоней они уломали Павла отдать сына в секцию, которой теперь этот приятель руководил. С полгода Ленька по три раза в неделю ездил куда-то по вечерам, а при встречах с Сеней, загадочно улыбаясь, кланялся по-спортивному – скользя ладонями вдоль бёдер и глядя ему в глаза с самурайской свирепостью. Но в последнее время Сеня заметил, что деревянный стук Ленькиных кулаков об стенку прекратился, а на дверцах жестяного шкафа в общем коридоре перестали появляться новые вмятины.

– А что, Ленька каратэ все занимается? – как бы между прочим спросил Сеня с надеждой оставить от радуги Пашиного настроения один фиолетовый цвет обиды. Врать Паша не умел – буркнул что-то невнятное, и по обиженно дернувшейся его щеке Сеня понял, что попал «в яблочко». И точно – Павла понесло: он отодвинул подальше от края стола кораблик, словно опасаясь разбить его невзначай, и, постепенно распаясь, сошел на крик, что не позволит, пока жив, обучать сына делать руками разные глупости, раз он себя в руках держать не умеет, и опять – что незачем русскому человеку на йогнутых микадо пялиться. Кричал Павел долго и бестолково, давно уже забыв, с чего все началось, и помня только, что надо заниматься делом.

– Наверде твоего, что ли? – решился перебить его Сеня.

– Ты на что намекаешь? – Павел зловеще потушил окурок о стол, промагнувшись мимо пепельницы. – На каравеллу мою? А хотя бы! – все лучше, чем из горла у магазина хлобыстать!

– Да иди ты! – Сеня уже не рад был, что завёл Пашу на целый вечер, и успел обидеться за намёк на его вчерашнее «на бровях» возвращение домой.

– Сидишь, как кочка, колупаешься. А на фига? Что за радость с кораблика твоего? Ну, сделаешь, а дальше? Продашь, небось?

– Как это? – Павел даже остыл от удивления.

– А так это: продашь, сплaviшь за стольник ослу какому. Нет, скажешь?

– Слушай, Семен Михалыч... ты валил бы отсюда, а? От греха подальше.

– Ну, спасибо, сосед...

Сеня шумно выцедил чай, довольно косясь в неприятные глаза Павла, вразвалочку вышел в прихожую и, пригoтовясь посильнее шарахнуть дверь, услышал:

– Продать... Да у вас у всех вместе денег не хватит!

4

Когда каравелла зашелковилась парусами, великодушно простроченными Тоней, семейный совет единогласно решил установить ее на телевизоре, куда корабль тотчас и приплыл из-под кухонного стола. И теперь каждый приходивший в дом к Косовым мог в силу своего красноречия потешить авторское самолюбие, которого у Павла не было вовсе. Больше того, он даже нашумел на жену, пригрозив отправить каравеллу обратно под стол, если цирк и дальше будет продолжаться. Одной Иринке разрешалось приводить домой экскурсии из школы – ребячий восторг не поднимал протеста в душе Павла. Он сам искренними, завистливыми глазами

детей заглядывал через стекла внутрь адмиральской каюты, в орудийные порты, чернеющие жерлами притянутых талями ушек, и карабкался по вантам к ажурной корзиночке марса, откуда, казалось, и впрямь можно было разглядеть скрытую туманом жизни другую землю мечты и счастья. Вечером зашла Юля с девятого этажа, обегая дом в поисках красной гуаши, которой ей вечно не хватало, и, едва войдя в комнату, кинулась к телевизору:

– Ой, красотища какая! Вы подумайте только, – даже коврик у штурвала лежит! А якоря-то, якоря! Нет, Павел, вы действительно молодчинка. Не ожидала от вас такого, никак не ожидала!..

Она восторгалась долго и шумно, и Павел, выбравшись из кресла, где дремал, занавесив лицо «Вечеркой», раскланивался с картинной неуклюжестью, старательно изображая на лице тронутость Юлиным восторгом. Удивляло только, зачем она говорит так много ненужных слов, но вообще Павел уважал Юлю – за ее ремесло, догадываясь, как нечасто художникам удаётся делать то, что хочется.

Тоня тем временем нашла запывлившуюся банку гуаши, но Юля все не уходила, и по лицу было видно, что ей страшно не хочется возвращаться в свой однокомнатный неуют, заваленный срочной работой. В этом доме, где все знали друг друга поэтажно и поквартирно, она сама себе казалась чужой. На старой квартире Юля прожила десять лет и очень удивилась бы, спроси кто-нибудь, как звали соседей по лестничной клетке. Поначалу ей казалось забавным, что жильцы слоняются друг к другу с этажа на этаж, пока в один из бесконечных вечеров у телевизора открылась Юле простая истина: каждому человеку нужно, чтобы было к кому пойти. И она была благодарна Павлу, увидев в его глазах понимание этой истины, и признательно улыбнулась в ответ на предложение остаться поужинать.

За чаем Павел был разговорчив, удивляя жену и сам удивляясь неизъяснимой радости общения, словно впервые ему открывшейся.

Такое было с ним лишь однажды, когда он с братом, который только только купил подержанный «москвичонок», впервые ехал к морю. Павел до мельчайших ощущений помнил свое состояние двадцать лет назад, когда он, изо всех сил вытягивая шею, старался за каждым поворотом дороги разглядеть море. Но машина с тяжелым сопеньем одолевала все новые и новые повороты, карабкаясь туда, где, кроме неба, казалось, и быть ничего не могло. И не было конца дороге и бесконечному нагромождению бездушных каменюг, обрывавшихся с правой стороны глухой пропастью. Но тут из-за поворота вынырнула встречная машина с московским номером, приветствовала земляка звонким гудком, и «москвичонок» брата ответил на приветствие гортанным криком своего клаксона. И тотчас лопнуло небо, и впереди – до жути близко – резанула солнечными бликами по глазам Павла сферически выгнутая зелёная линза моря...

Павлу хотелось, чтобы этот вечер не кончался никогда, и он впервые поймал себя на мысли, что сам хочет показать свою каравеллу соседке Юле, которой в силу ее профессии дано видеть суть вещей. Он снял с полированного ящика кораблик и осторожно поставил на стол, отгребя ладонью пустые чашки и конфетные фантики.

– У-у, вкуснотища какая! – пропела Юля, близоруко тычась носом в паруса. – И сколько же у вас времени на нее ушло?

– Да так... урывками все. Года два. Может, меньше чуть.

– Какой там меньше, больше! – махнула рукой Тоня.

– Надо же, целых два года! – Юля зацокала языком. – А интересно, сколько такая модель стоить может? Вот когда я была на Кубе, там такие корабли... не такие, конечно, а гораздо грубее...

– Какая разница-то? Не для продажи она! – резко сказал Павел и осёкся, испугавшись, что сейчас ляпнет Юле что-нибудь обидное.

– Дай договорить человеку! – стрельнула глазами в его сторону Антонина, и Павел впервые увидел во взгляде жены чужое выражение любопытства.

– Ой, действительно... Вы, Павел, извините мою болтливость. Я понимаю, конечно, что она не продается. Ведь вы наверняка представляете себя мальчиком, юнгой, что ли, и хотели бы уплыть на такой бригантине далеко-далеко... Верно? Хотели бы, да?

– Да чего там! – сказал Павел, которому уже ничего не хотелось. Когда Юля ушла, забыв найденную для нее банку гуаши, Павел сел за стол, держа на ладонях свой корабль. С тех пор как каравелла перекочевала на телевизор, он больше не притрагивался к ней и теперь увидел все недоделки, но тут же поймал себя на нежелании выкозюлировать какие-то оставшиеся мелочи, словно боясь, что, закончи он работу, уйдет каравелла без него в дальние дали. Да и руки уже были заняты другим делом: в углу инвалидно корёжились сломанные каминные часы Петровской эпохи – набитый гнутыми железками разошедшийся перламутровый ящик...

5

Возвращаясь с работы, Павел подошел к дому в смутной тревоге, пронзительно нывшей внутри. Выходя из лифта, он чуть не наступил на Гошку, тянувшего за поводок сына на прогулку, и удивился Лёнькиному лицу, как незнакомому.

– Стучилось что, Леонид?

– А чего может случиться? – невозмутимо переспросил сын, старательно ускользая взглядом.

– Не чевокай, вижу ведь. – Павел положил ему на плечо вопрошающую ладонь.

– Ну... мама с тётей Лорой ездили в комок...

– Куда?

– В комиссионку... или в салон художественный. Не знаю я.

– А-а... Ладно, иди.

Жена стирала и сквозь шум воды крикнула, что ужин на плите, но есть Павлу не хотелось: он прошел в комнату, включил телевизор и машинально постучал ногтем по аляповатой фаянсовой вазочке, стоявшей теперь на месте каравеллы.

Антонина весь вечер не выходила из ванной, Ленька проверял у Иринки уроки, а Павел без дела слонялся по квартире, не зная, куда девать свои большие и такие вдруг неудобные руки. Когда ребята угомонились,

он устроился на кухне и долго курил, забыв про спички, зажигая одну сигарету от другой.

То ли ему так показалось, то ли действительно жена чересчур долго копалась в ванной, но он почти перестал ее ждать, когда Антонина вышла наконец на кухню, вытирая цветастым фартуком красные распаренные руки:

– И долго ты еще сиднем сидеть будешь?

– Вечно, – ответил Павел, глядя в пол. – Что все-таки всё это означает?

– Что «всё это»? – жена казалась спокойной, только пальцы заметно дрожали, когда она прикуривала сигарету от протянутой Павлом спички.

– Ленька же, кажется, все рассказал.

– Так мне тебя послушать интересно.

– Ну-ну... Значит, Косов, вот что я скажу!..

Тоня звонко хлопнула ладонью по столу, и по тому, как она назвала его по фамилии, что делала крайне редко, Павел понял: нормального разговора не получится.

– ...Я устала от твоей ерундистики, понимаешь ты, ус-та-ла! Если бы дело какое делал, а то карниз для ковра состругать тебя не допросишься, только и знаешь, что в игрушечки играть. Вот скажи, какого черта ты с этими часами дурацкими возишься? Думаешь, тебе люди за них благодарны будут? Да они часы эти на помойку выкинули бы давным-давно...

– И зачем ты мне все это говоришь? – Павел пытался держать себя в руках, считая до десяти и обратно, хоть это помогало слабо.

– А затем, Косов, что хватит витать в эмпиреях! На землю спустись наконец. Перед людьми не стыдно? Леньке вот пальто нужно – зима скоро, Иринке ходить на фигурное катанье не в чем, выросла давно...

– Короче, как оценили-то? – Павел попробовал улыбнуться, но губы его не слушались. – На пальто хватит?

– Хватит и останется. Нормально оценили, а могли бы и больше дать, доведи ты дело до конца. Два года угробил, загогулилки вырезывая, а хоть бы толк! Нет чтобы размалевать поярче, лаком покрыть. Слушал бы Малевичских, если своего ума нет!

– Ладно, поговорили...

Дальше Павел не слушал, не слышал, и Антонина, давно привыкшая к тугой смене настроения мужа, ушла в комнату, загремела постельным ящиком. Он пожалел, что не сказал жене всего, о чем думал, пока она возилась со стиркой, но теперь это было уже не важно. Павел помнил жену другой – лёгкой и восторженной, ничего не требующей и на все согласной, всё понимающей. Давно это было – тогда они только-только познакомились на институтском вечере, после которого и покатила их жизнь по одной колее. И был же он счастлив, когда на вопросы приятелей: «как жена?» – оттопыривал над крепким кулаком большой палец. Много ли и надо? Дети, дом, работа – все слава Богу. Да и слухом судьба не обделила – дала радость внимать музыке бытия, слышать, как поёт в руках податливое дерево...

Павел вынул из-под стола небольшую коробку, смахнул с нее рукавом давнишнюю пыль. Когда каравелла раздувала паруса только в его беспокойных снах, много перевел он дерева: и так пробовал, и иначе. Помедлив,

Павел вывалил в янтарный световой круг настольной лампы обломки мачт, штурвальное колесо, почти готовый капитанский мостик – жалкие, битые, словно выброшенные на берег штормовой разъяренной волной.

Взвесил на ладони корпус корабля – целый почти, который раньше недовольно отложил, вдруг углядев его несовершенство. Поскрёб ногтем побуревшее дерево. «Ничего, я этот доделаю – лучше прежнего будет! – неожиданно соврал сам себе. – Все худсоветы варежки разинут!»

И покачал головой.

В памяти отрешенно всплывала всякая чушь, абсолютно не относящаяся к делу. Вдруг вспомнил, как покупал однажды птиц у мальчишек. Птицы были самые что ни на есть невзрачные – воробьи или что-то в этом роде; они глухо бились о прутья тесной клетки, стоящей на оттаявшем асфальте у ног пацанов, которые, смеясь, распутывали шпагат примитивных силков. Надо было сразу надавать им по шеям, но Павел просто сунул трёшку в слабый кулак самого старшего на вид, подхватил покупку и зашагал к детскому парку. Выпустив птиц, швырнул мальчишкам пустую клетку и ушел, провожаемый их восторженными глазами. А на следующий день Павла ждал у подъезда целый птичий базар, на который у него не хватило бы всего аванса. Ох и погонял же он пацанов по двору! И Павел усмехнулся, вспомнив об этом: «Что взять с оглоедов – им только палец покажи, так они тебе всю руку отхватят. Вот и мои гаврики, глядишь, такими будут – понасмотрятся, что к чему, и начнут ржаветь душой, не найдя разумной середины между тем, что хочешь, и на что имеешь право...»

Какое-то время Павел сидел неподвижно, ласково ощущая ладонями еще живое тепло дерева. На душе был полный штиль, и плыть было некуда. Тогда рука, кроша кротко хрустнувшие рейки обшивки, с размаха шарахнула остов корабля о косяк, и, опуская на размётанные по полу обломки пресс каблука, в затуманенном дверном проёме увидел Павел кричащие руки сына и проснувшиеся глаза дочери.

1980

Цвет

Веснушчатая медсестра, с откровенным любопытством разглядывая Кирилла, сказала, что Андрей Аркадьевич с минуты на минуту подойдет, и, тряхнув белобрысой челкой, удалилась, покачивая белым колокольчиком халата. Кирилл запоздало кивнул ей вслед, снова отвернулся к окну. За окном шелестел юной зеленью узкий больничный сад, отрезанный от шумной улицы глухой каменной стеной старинной кладки, вдоль которой шаркали шлепанцами по асфальтовой тропинке редкие больные, блаженно шурясь на яркое утреннее солнце. День обещал быть жарким.

Ни свет ни заря принесли телеграмму – волглый от клея бланк с пляшущими полосками слов: «ВОСЬМОГО БУДУ ПРОЕЗДОМ МОСКВЕ = НАДЕЮСЬ УВИДЕТЬСЯ = ВСТРЕЧА ПАМЯТНИК МАЯКОВСКОМУ ПОЛДЕНЬ = ОБНИМАЮ ШОРНИКОВ». Дважды перечитав невразумительный текст, но так и не поняв, кто такой Шорников и зачем нужно с ним встречаться, Кирилл решил, что произошла какая-то путаница, хотя адрес и фамилия были указаны правильно. Разбуженная звонком, в коридор вышла мать. «Да ведь это Ваня Шорников! – всплеснула она руками. – Кирюша, неужели не помнишь? Мы с ними в Муроме, в одной квартире жили, когда отец еще служил... Иван Трофимович тебя на руках носил, как ты мог забыть? И потом в гости к нам приезжал... Надо же, сколько лет! Обязательно нужно отцу сообщить. Ты уж позвони ему, Кирюша, ведь они с Иваном так дружны были. Заодно отца с праздником поздравь...»

Кирилл неопределенно кивнул: мол, конечно, позвоню, хотя... Он ушел в свою комнату, снова забрался под одеяло, сдвинув с подушки легкую руку жены, попробовал заснуть, но сна не было. Заворочался расстроено: сегодня и без того хлопот полон рот – на двенадцать назначено заседание выставкома, после нужно заехать за работой в издательство, и в Манеж заглянуть, посмотреть, как повесили картины... А теперь еще эта телеграмма. Конечно, отцу он позвонит, не в этом дело. В конце концов, ведь посылал ему каждый год поздравительные открытки – в день рождения и к девятому мая – одному из немногих праздников, которые отец всегда отмечал. И сегодня бы послал – уже открытки приготовил: нарядные, из спецзаказа – в киоске таких не найдешь...

Отец давно жил в другой семье, и все эти годы они с Кириллом не поддерживали отношений, не встретились ни разу. Правда, и прежде, до размовки виделись мало: отец целыми днями пропадал на работе, часто уезжал в командировки – выбивал оборудование для больницы, где рабо-

тал завхозом. Постепенно эти поездки становились все чаще и чаще, но мать к ним привыкла и, казалось, даже не замечала длительных отлучек отца. Зимой и осенью он постоянно и помногу болел – давали знать фронтовые ранения – и тогда ложился в свою же больницу, а на лето устраивался хозяйственным в министерский детский сад, на три месяца уезжал на дачу. Из больницы изредка звонил – раз в неделю, и то для того лишь, чтобы его не навещали (не терпел общепринятых знаков внимания, называл их «телячьими нежностями»), за лето едва присылал два-три письма – немногословных, написанных небрежно и нехотя, с обычной информацией: всё нормально, работаю и отдыхаю хорошо. Кириллу это странным не казалось – знал: что бы ни случилось, двадцать четвертого июля, в день его рождения, отец будет дома. Как и в день именин матери, и в Новый год. По всем определениям газетных статей на моральные темы, их семья получалась благополучной: скандалов в доме не бывало, на родительских собраниях они всегда ставились в пример (мать входила в родительский комитет, отец охотно помогал в художественном оформлении школы), соседки на лавочке возле подъезда почтительно раскланивались с ними при встрече. С Кириллом хлопот тоже не было: фотография красовалась на стенде лучших учеников школы, с равной легкостью собирал призы на районных и городских олимпиадах – как по литературе, так и по рисованию, вопрос свободного времяпровождения перед ним вообще никогда не стоял: вечера он предпочитал коротать с книгой, жертвуя для нее кино и стадионом, а по выходным, повесив на плечо отцовский довоенный этюдник на брезентовой ляжке, уезжал за город. И беспокойный переходный возраст миновал успешно: не соблазнился ни любовными записочками рано расцветшим одноклассникам, ни затяжкой сигареты в уборной во время перемены или тайным глотком дешевого портвейна. И не потому, что Кириллу этого не хотелось попробовать, – и хотелось, и попробовал: в день четырнадцатилетия отец сам предложил и рюмку вина, и сигарету (в доме запретов на что-либо вовсе не существовало), и не потому, что это не понравилось. Просто тогда уже впереди у него была цель. Не банально-романтическая – «пойти в космонавты», и не заземленно-житейская – выучиться на официанта или продавца «комиссионки», откровенно выданная половиной одноклассников в сочинении на тему: «Кем я хочу стать после школы?», а твердо продуманная и давно для себя определенная: быть тем, кем не состоялся отец, – художником. В десятом классе Кирилл готовился к вступительным экзаменам в художественный институт серьезнее, чем к школьным выпускным. Тогда-то всё и произошло...

Началось со слухов, с ядовитого шушуканья лифтерш за спиной, с косых взглядов жильцов, загорававшихся любопытством всякий раз, когда Кирилл проходил мимо. Он не был приучен вслушиваться в чужие разговоры, однако не обращать на них внимание очень скоро стало невозможно. А потом была записка, обнаруженная мелкими печатными буквами, – полухулиганская, злая, старательно выведенная мелкими печатными буквами. Из нее выходило: у отца еще есть семья, сын, на десять лет младше Кирилла. Кирилл решил дипломатию не разводить – на другой день, за воскресным завтраком,

спросил родителей, обратясь одновременно к обоим и ни к кому конкретно: «То, что здесь написано, правда?» – и кинул на середину стола грязный листок. Признание отца не удивило, поразило другое – оказалось, мать давно знала обо всем, это было тайной лишь для сына. Мать даже попыталась что-то объяснить, оправдывая удрученное молчание отца, но Кирилл ничего не хотел слушать: «Меня детали не интересуют!» – резко оборвал он ее и ушел из-за стола.

Больше к этому разговору никто не возвращался. Отец по-прежнему жил дома, внешне в их отношениях ничего не изменилось. Но с той поры Кириллу во всем виделась ложь: в нежности матери к отцу и в его ответной внимательности к ней, в обычном – как прежде, словно ничего не произошло, течении их семейной жизни, в любимых им раньше разговорах с отцом об искусстве редкими свободными вечерами, от которых Кирилл начал старательно увильвать под любым предлогом... Вся прошлая жизнь в его представлении поделилась на две половины – на «до» и «после»: всё после для Кирилла перестало существовать, а до постепенно стиралось, блекло, неостановимо уходило из памяти.

Кирилл сам не заметил, когда и как появилось у него насмешливое отношение к отцу, постоянное желание не то чтобы обидеть его или сделать больно – нет, заведомой злости не было – хотелось просто *уесть*.

Однажды Севка Пексин, приятель из параллельного класса, затащив Кирилла в глухой угол раздевалки, принялся долго и сбивчиво рассказывать что-то о своей любви к некой Верочке из медицинского училища, которая залетела, и это нужно срочно устранить, а в какую больницу ни сунься – везде ее подружки-практикантки, и последняя надежда – его, Кирилла, отец. Кирилл никак не мог взять в толк, чего именно добивается Севка, а когда понял... Еще за полгода до этой истории ему и в голову не пришло бы обратиться к отцу с такой просьбой, но тут он согласился.

Подойти дома к отцу не решился, позвонил ему на работу. «Родитель? Ты дедушкой стать не хочешь?» – спросил насмешливо, не узнавая своего голоса. – «А что, есть такая возможность?» – услышал после долгой паузы. – «Ага. Второй месяц пошел...» – говорил, а сам силился представить отцовское лицо в тот момент: озадаченное? мрачное? «И кто она?» – «Верой зовут. В медучилище учиться». – «А дом и фамилия у Веры из медучилища есть?» – «Наверное, – растерялся Кирилл, спохватившись, что ничего у Севки толком не узнал. – Кажется, живет в общежитии... И далась мне её фамилия? Мы только раз и виделись». – «Большого, как видно, не нужно, – усмехнулся отец. – Приезжайте». И положил трубку, лишив Кирилла удовольствия вставить загодя заготовленную фразу: «Не всё тебе одному...» Севкина подружка, с которой он через два часа встретился у больницы, оказалась довольно невзрачной, низкорослой девицей, вдобавок аляповато накрашенной, из-за чего желание представлять Верочку своей «дамой» тотчас пропало, но отступить уже было поздно. В кабинете отца их поджидал еще один человек – нужный врач. «Максим Танкович, – рекомендовал его отец. И, обращаясь уже к доктору: – А это... мои дети». Верочке врач предложил сесть, а Кирилла выпроводил в коридор: «Погу-

ляй пока, ты своё дело сделал». Он не помнил, как долго бродил по вестибюлю, читая на стенах предупреждения о палочках гриппа и последствиях случайных половых связей, пока Верочка наконец-то вышла – пунцовая, пряча глаза, и пришлось провозжать ее до поджидавшего за углом Севки. Через месяц Кирилл и думать забыл о своей протееже и враче с воинственным именем-отчеством, когда отец, зайдя поздно вечером в его комнату, как бы между прочим, поинтересовался: «Что твоя Вера? Всё в порядке у нее?» – «О ком ты? Ах, да... – спохватился Кирилл. Пожал плечами: – Не знаю. Наверное...» – «Наверное? – отец побагровел. – Ну и подонок же ты!» – «Весь в тебя, – глядя глаза в глаза, ухмыльнулся Кирилл. – Как говорится, яблочко от яблоньки...» И тут отец ударил его по щеке... Но это еще не было концом их отношений – последняя размолвка была впереди...

– Огоньком не уважите?

На газоне под окном, задрав щетинистый подбородок, стоял старик в линялой байковой пижаме, улыбался просительно, разминая узловатыми пальцами папиросу. Кирилл перегнулся через подоконник, протянул старику зажигалку. Сизая струйка дыма влетела в окно, защекотала ноздри кисловатым знакомым запахом. «Казбек», машинально отметил Кирилл; вспомнил штабели картонных коробок с черным силуэтом всадника на фоне гор, аккуратно сложенные на шкафу запасливым отцом. Старик, одобрительно качая головой, рассматривал зажигалку, без надобности высекая электронные искры.

– Дорогая вещьца, – похвалил, прищелкнув языком.

Дорогая? – подумал Кирилл, пряча в карман золоченый «Ронсон». – Да, на стариковскую пенсию такую не купишь.

Рука нащупала в кармане телеграмму; она высохла и покоробилась, и Кирилл старательно расправил листок ребром ладони на холодном мраморе подоконника. Приезжать к отцу не хотел – думал позвонить по дороге, но только отъехав от дома вспомнил, что номер телефона не знает, а перезванивать матери не решился. Заехать проблемы не составляло – все одно выходило по пути, но Кирилл очень плохо представлял, как они встретятся – после стольких-то лет. Все же заехал, уверенно припарковал вишневую «тойоту» в знакомом больничном дворе, воткнув ее между машин «скорой помощи», поигрывая ключом, уверенно прошел через приёмный покой, и смутился только, когда, попросив позвать Андрея Аркадьевича Смородина, на вопрос, кто спрашивает, на миг замаялся с ответом и не сказал: «сын» – сказал: «по делу».

Теперь он стоял, прислонясь к подоконнику, поджидал отца, глядя в конец коридора сквозь свежeweымытое стекло открытой оконной створки, за которой, скрывая его, торчали широкие листья обязательного больничного фикуса. Стекло бесстрастно отражало холеное молодое лицо человека, уверенного в себе и знающего цену этой уверенности, немного располневшего, но следящего за собой, уютно чувствующего себя в церемонной темной тройке строгого делового покроя. Глядя на свое отражение, Кирилл поправил и без того ровный пробор, скользнул ладонью по гладкой тугой щеке. И тут же увидел отца: он вразвалочку шел по коридору

и что-то говорил семенящей рядом медсестре. В руках отец нёс перегну-тый пополам ватманский лист, придерживая его за уголки. Не дойдя до Кирилла, они остановились возле стенда с надписью «Санпост», выклеенной толстыми поролоновыми буквами по красной ткани, и отец неторопливо принялся прикреплять стенгазету, коротко вкручивая кнопки, протянутые в пригоршне белобрысой медсестрой.

Отец сильно постарел – Кирилл не видел его шесть лет, и перемена потяну была особенно заметна: он словно стал ниже ростом, обвис, потерял подвижность и прежнюю строевую выправку, долго выделявшую его среди одногодков. Одно осталось неизменным – сходство с сыном, о котором все говорили и раньше и которое теперь ужаснуло: Кирилл словно увидел себя шестидесятилетним. Ему стало не по себе; он передернул плечами, распрямляя занемевшую спину, и в ту же минуту отец, словно почувствовав на себе пристальный взгляд, обернулся в его сторону. Девушка тоже обернулась, и было слышно, как она сказала:

– Идите, Андрей Аркадьевич. Вас ведь ждут.

Кирилл замешкался, не зная, как ему поступить, – подойти или остаться возле спасительного подоконника, но отец сам шагнул навстречу, поправляя очки и с тревогой в него всматриваясь:

– Кирилл? Что случилось?.. С мамой что-то?

– Нет, все живы-здоровы. – Кирилл прочел тревогу в его глазах, и понял, чего испугался отец, будто один лишь повод мог привести к нему сына. – У нас все нормально. Просто... телеграмма вот...

Протягивая листок, поймал себя на том, что сразу держал телеграмму в правой руке, исключая возможность пожать руку отцу, если бы он решил это сделать.

– Прочти, пожалуйста, я в этих очках не вижу, – сказал отец, и голос его сразу стал сухой и холодный.

– Дядя Ваня Шорников приезжает. В полдень будет ждать на площади Маяковского.

– В двенадцать?

– Да, у памятника.

– Хорошо. Спасибо тебе. – Голос отца чуть заметно потеплел. – Только зачем же было ехать, мог позвонить.

– Решил, так вернее будет.

Кирилл почувствовал, как уши и щеки наливаются краской стыда: если правде, номер отцовского телефона он просто-напросто забыл, как забывают ненужные вещи, и даже в записной книжке его не было – каждый год Кирилл заводил новую, старательно переносил из предыдущей нужные номера и вычеркивая те, которые ни разу не понадобились. Ища, куда бы деть глаза, Кирилл посмотрел на часы:

– Извини, мне пора.

– Да-да. Я провожу.

Кириллу хотелось уйти как можно скорее, но отец шел медленно, и приходилось сдерживать шаг, стараясь не обгонять его. Они молча миновали приемный покой, посторонились, пропуская двух санитаров, толкавших к лифту громыхающую каталку с чем-то, закрытым простыней, и вышли

на улицу. Позванивая ключами, от машины, Кирилл сбегал по ступенькам и обернулся: отец стоял в дверях, рассеянно глядя ему вслед. В ярком свете утра он казался еще более постаревшим, и Кирилл понял, отчего это стало так заметно, – отец был очень плохо одет: воротник застиранной клетчатой рубашки потерял форму и жалко торчал сломанным уголком из-под края старенького перелицованного пиджака, лоснящегося на отвислых карманах, брюки пузырились на коленях, гармошкой спадали на стоптанные сандалеты... Кирилл поспешно убрал в карман руку, стиснув в кулаке злосчастные ключи. Спросил, скрывая неловкость:

– Успеешь? Времени в обрез.

– В двенадцать совещание в райздраве, – сказал отец, глядя поверх его головы.

– А Шорников?

– Придумаю что-нибудь. Олечку, медсестру, попрошу, она съездит. Договорится, на вечер перенесем.

– Я бы подъехал, мне не трудно, – поторопился объяснить Кирилл, – но в это время никак... День сегодня напряженный.

– Понимаю, ступай. И так, наверно, задержался. Не беспокойся, всё нормально будет. – И добавил: – Маме привет передавай.

Кирилл торопливо пересёк больничный двор – мимо своей «тойоты», теперь одиноко торчащей на асфальтированном пустынном пяточке, свернул в ворота, и лишь дойдя до конца каменной стены, где отец уж точно не мог его видеть, остановился, вытер платком неприятно повлажневший лоб. Закурил, успокаиваясь и прикидывая, что делать дальше? Двадцать минут одиннадцатого, времени только-только, а без машины... Надо вернуться. Бросило в жар от одной мысли, что может столкнуться с отцом во дворе или просто попасться ему на глаза – окна отцовского кабинета выходили как раз на служебную стоянку. Оставить до вечера? А картины!..

В двух шагах от него тормознуло, освобождаясь, такси; Кирилл щелчком отбросил окурочек и забрался в машину. Устраиваясь поудобнее, моментально оценил ситуацию: водитель молодой, лет двадцати, – после армии явно; судя по раздрызганному салону, едва полгода баранку крутит, новую еще не заслужил. Решил рискнуть.

– Заработать хочешь? – сощурившись, спросил Кирилл.

– Вещи повезем? – уточнил парень.

– Больницу видишь? Там, во дворе, импортная тачка парится. – Кирилл покачал перед глазами водителя ключи. – Пригонишь сюда, и вся любовь.

– Может, сразу перекрасить и в другой город? – рассмеялся парень. – Ну, вы даете!

– Да моя это машина! – разозлился Кирилл. – И права вот... – он похлопал по карману: просто так, для пущей убедительности, успев пожалеть, что переложил документы в бардачок. – Ну, по рукам?

– Не, я в такие игры не играю! – снова засмеялся парень, включая счетчик. – А без шуток, куда ехать-то?

– Никуда! – огрызнулся Кирилл. Откинулся на спинку сиденья, сердито забарабанил пальцами по колену.

– Так и будем стоять?

Кирилл не ответил; насупился, безразлично уперся взглядом в пыльное ветровое стекло. Ругал себя: и дернул черт говорить с мальчишкой таким тоном! – действительно ведь можно подумать не знаю что. Ладно, машину придется забирать самому. И что такого, на самом-то деле! – не украл же он ее, заработал. Да и отец о ней, кажется, знает...

В отдалении мелькнул знакомый коричневый пиджак. Кирилл всмотрелся пристальней – точно, отец: постоял у ворот, медленно направился к трамвайной остановке. Из-за угла как раз вынырнул ярко-красный вагон. Едва трамвай, прогрохотав по переулку, скрылся из виду, Кирилл не глядя сунул водителю полтинник и зло саданул за собой дверцей.

Только выехав на проспект Мира, Кирилл расслабился, освободился от напряжения, которое с утра не отпускало его. Все худо-бедно утряслось, теперь необходимо сосредоточиться на предстоящем обсуждении. Он готов был к тому, что опять придется терпеть смехотворные суждения замшелых пердунов, знающих лишь, что приводить стасовские цитатки в подкрепление своих маразматических выкладок. Как в прошлый раз завелся старый халтурщик-копиист Чикмезов! Он, видите ли, не видит, откуда падает свет! Еще «Девочку с персиками» вспомнил, да «Письмо с фронта», лактионовское крыльцо щелястое, – вот где солнца-то! «А у Смородина, – форсировал голос, глаза закатывая, – сплошная световая мешанина, будто десяток солнц со всех сторон светят!» Хорошо хоть Преображенский тогда заступился, сумел Чикмезова на лопатки положить, убедить выставком и академика Басова. Зато после успеха Кирилла на весенней выставке и восторгов центральной прессы они первые слюнями изошли, расхваливая его работы направо и налево. Чикмезов, хамелеон хитрый, даже не постеснялся расписаться в интервью для «Культуры», будто раньше других отметил в натюрмортах и портретах Смородина смелое обращение со светотенью. Посмотрим, что этот мухомор сегодня выдаст, после стольких-то дифирамбов...

Разворачиваясь вокруг клумбы с мраморным амурчиком, в сквере перед старинным белоколонным особняком, Кирилл с удивлением отметил отсутствие толчеи – обычно за час до начала тут приткнуться некуда. Он загнал машину в раскидистую тень древней липы, бок о бок с «Ладой» Преображенского, промяв бампером упругий кустарник, и, перегнувшись через спинку кресла, подтянул зачехленный планшет поближе к дверце. «Ну, что, счастлив? Сбылась твоя мечта? – спросил вдруг себя, вытаскивая на асфальт картины. – Наелся известностью, комплиментами, деньгами? А ведь ничего этого и нужно не было: работать до одури, обо всем забывать, мешая краски, – вот чего ты хотел. И наплевать было, что скажут, где напишут, как оценят... А теперь – еще лак не просох, а уже выставлаться спешишь, не терпится: как же, вдруг очередной вернисаж без тебя отшумит! Ну да, профессионал – этим живешь, кормишься, и сегодняшняя говорильня для тебя – завтрашний кусок хлеба с маслом, новые картины, возможность спокойно работать. Спокойно ли? – вот в чем вопрос!..»

За спиной тяжело заскрипела и хлопнула дверь: Преображенский шел к своей машине, на ходу стаскивая замшевый пиджак.

– Ну и денёк нынче выдался! Ишь, припекает! – довольно отметил он поздоровавшись.

– Да, жарковато нам будет, – пожимая протянутую руку, согласился Кирилл, вкладывая в свои слова иной смысл.

– А что это вы приехали? – Преображенский бросил быстрый взгляд на прислоненный к дереву планшет. – Совет перенесли на пятнадцатое, всех, кажется, предупредили...

– Дачный сезон начался?

– Кворума, что называется, нет. Басов вчера улетел в Сталинград, на встречу с однополчанами. И ваш обязательный оппонент и большой друг Чикмезов тоже в отсутствии, свою диораму в Керчи открывает. Вас должны были поставить в известность, секретарша всех по списку обзвонила.

– Меня в городе неделю не было, вчера ночью из загорода вернулись, – объяснил Кирилл. Расстроено хлопнул ладонью по капоту: – Всегда так! Мандражируешь с утра, настраиваешься... И на тебе!..

Преображенский кинул на заднее сиденье пиджак, туда же следом полетел и галстук; он закатал рукава рубашки и стал похож на образцового дачника, готового ринуться на прополку клубники. Терпеливо дослушав Кирилла, пока тот не выговорился, спросил, иронично прищурившись:

– Пряма-таки и мандражируете? До сих-то пор? По виду не скажешь, а зная вас – тем более. Так себя сумели поставить, что выставком у вас теперь и kota в мешке возьмет. Возьмет-возьмет, не сомневайтесь!

Кирилл уязвленно поджал губы, хотя слова Преображенского ему неприятны не были.

– Сколько годиков-то? Тридцать пять, поди? Иль помене? – полюбопытствовал Преображенский.

– Возраст Христа, – усмехнулся Кирилл.

– Вот-вот. Вам всего десять лет понадобилось на то, на что я четверть века потратил. А Чикмезову, к слову, и того больше. А сколько при этом нам пришлось над заказной обязаловкой потеть – лучше не вспоминать. Так что не прибедряйтесь, это не украшает. Вы, за все время, что вас знаю, пока ни разу лица не уронили. Это тоже ценится, учтите.

Преображенский сел в машину, опустил боковое стекло и выставил в окно голый локоть. Включив зажигание, сказал:

– Вчера был в Манеже, там передачу для телевидения снимали. Портрет профессора Валеева крупняком дали, я даже какие-то хорошие слова говорил. Сказал, что думаю, мое мнение вы знаете. Можете обижаться или как будет угодно, но портрет все же не ваша стихия. Хотя эта работа – безусловная удача. Кстати, признайтесь уж тет-а-тет, пуговицы на пиджаке Валеева нарочно не написали или забыли?

– Меня детали не интересуют, – отрезал Кирилл, заталкивая картины в машину.

– Ну да. А вот Брейгеля, к примеру, интересовали. Потому он и Брейгель. А вас, извините за прямоту, не только детали, но и характер, и сам человек, по-моему, интересуют очень мало. Мазок, цвет, освещение – да. Хотя и тут новаторство спорно. Сказать, откуда у Валеева вашего зеленый рефлекс через все лицо? От Матисса. Или нет?

– Матисс искал плоскостное решение, а передо мной...

– Будет вам! – поморщился Преображенский. – Отлично ведь понимаете, о чем разговор.

– Нет, Владимир Митрофанович, как раз этого и не понимаю! – Кирилл рассерженно привалился задом к своей машине, скрестил руки на груди, заносчиво глядя сверху вниз на Преображенского. – Портрет не моя стихия, деталей нет, характера не видно, человек меня не интересует... Тогда какая, к черту, безусловная удача? Не вяжется одно с другим! И какого, простите за резкость, рожна хвалить то, от чего вас воротит?

– Не будь вы одаренным человеком, Смородин, я бы вовсе не стал на сей счет распространяться, – невозмутимо ответил Преображенский. – И прощаю штукарство только потому, что еще не поставил на вас крест. И поддерживаю по этой же причине... Портрет действительно хорош, если судить о нем по законам, которые вы для себя определили. Конечно, мастер, уже в институте было ясно. Всем ясно. А вы зачем-то десятый год старательно это доказываете. И все десять лет я смотрю и жду – а что будет дальше? Жду, когда наконец перестанете расцвечивать предметы и попытаетесь осмыслить их природу. Понимаете меня?..

Кирилл промолчал.

– ...В Манеже, через две картины от вашей, висит работа Фроленко, моего выпускника. Странная довольно, во многом спорная, но тем и интересная. Вот он, Фроленко, ошибиться не стесняется. Хотя куда ему до вас! – живопись грязновата, по рисунку тоже не ахти... Но старается парень, пробует, ищет. А вы от природы одарены, как другим и не снится. Прирожденный колорист, потомственный, я бы сказал, – в отца пошли...

Кирилл не любил, когда его сравнивали с отцом, – вообще кто бы то ни было, тем более Преображенский, бывший сотоварищ отца по академии художеств, который всегда начинал ворошить в памяти их довоенное студенческое прошлое, если необходим был весомый довод в разговоре с Кириллом. Он попробовал перебить Преображенского, спросив, что за картину выставил Фроленко, но вопрос остался пропущенным:

– ...О вашем отце в академии до сих пор легенды ходят. Когда мы учились, равного ему в живописи и на других курсах не было – виртуозно цвет чувствовал! На спор моментально подбирал колер, точно соответствующий любой точке на теле натурщика. Но никогда – никогда, слышите! – не ставил это самоцелью...

– Я знаю, – поспешно согласился Кирилл.

– Конечно, вам да не знать, – буркнул Преображенский, вырুলывая к воротам. Окликнул: – Видитесь с отцом, Кирилл Андреевич?

– Иногда. Сегодня встречались.

– Как он? Не болеет?

– Всё так же.

– Стареет, ничего не попишешь... Увидите отца, поклоны мои передайте. И скажите, пусть позвонит как-нибудь, покажется. Негоже старых друзей забывать!..

Преображенского Кирилл недолюбливал. Давно, еще с института. Когда Кирилл поступал, Преображенского только-только назначили ректором

и официально он в тот год мастерскую не набирал, но ни для кого не было тайной, что одного-двух первокурсников профессор к себе возьмет. Заниматься у Преображенского считалось престижным: он сам выматривал наиболее даровитых студентов, подолгу приглаждался к ним, прежде чем перевести в свой класс, поэтому у него занимались ребята с разных курсов – избранные, отмеченные привередливым перстом судьбы. Кирилл не сомневался даже, что попадет в число этих избранных, ожидал своей очереди, когда два его товарища – один на первом же, другой на втором курсе перешли к Преображенскому, и третий год прождал, обнадеженный статьей в «комсомолке», где ректор, подводя итоги студенческого фестиваля молодых художников, назвал его будущей гордостью нашего искусства, и даже когда учиться оставалось всего ничего – все ждал, верил... Гораздо позже, через несколько лет после его нашумевшего диплома, когда стало видно, что Преображенский помогал Кириллу больше, чем кому-либо из своих учеников, он задним числом успокоил себя объяснением, что ректор обошел его переводом в свою мастерскую из-за отца, не желая, чтобы кумовством глаза кололи (хотя кто мог дознаться об отце и прежней их дружбе?), но как ни старался себя переломить – обида осталась. Недолюбливал и за откровенную опеку, которую переживал тем острее, чем явственнее сказывались ее результаты (в институте бы опекал, теперь-то что ж), и за различного рода советы, на которые Преображенский был особенно щедр. Кирилл до сих пор помнил давнишний их разговор, надолго его озадачивший. «Вы карабкаетесь на очень высокую гору, – сказал Преображенский после обсуждения его дипломной работы. – Но гора кончилась, лезть выше просто некуда. Остается одно: прыгайте и, если сможете, – парите!» Кирилл не стал опускаться до уточнения, что именно имел в виду ректор (после пожалел об этом: действительно ведь не понял, как истолковать его слова), спросил только, рассеянно улыбаясь: «Это ваше пожелание?» – «Напутствие», – со значением поправил Преображенский. Оправдал ли он это напутствие? Да, вроде бы: действительно парил – работал легко и увлеченно, писал картину за картиной, безоглядно и радостно, не зная простоев из-за «мук творчества» и «душевных колебаний», на что сетовали многие коллеги, и не переставал удивляться: о каких простоях можно говорить, когда есть цвет, море цвета, буйство красок, подвластных твоей руке... Казалось, Преображенский должен быть им доволен, а после этого разговора выходило...

Кирилл уверенно лавировал в автомобильном потоке, по кольцу Садовых направляясь в сторону Каретной, – решил заехать на Каляевскую, завезти картины в мастерскую и прибраться заодно – все равно день пропал, раз начался несуразно. Миновав Садово-Кудринскую, покосился на часы – четверть первого; вспомнил: Шорников этот наверняка ушел уже, никого не дождавись. И неожиданно для самого себя, перед уклоном в туннель под улицей Горького, круто вывернул в правый ряд, к театру Сатиры. Пока шел к памятнику, успел подумать, что глупо надеяться узнать человека, которого видел лишь в далеком детстве, но едва заметил высокую сухопарую фигуру старика в просторном твидовом костюме, что-то

полузабыто-знакомое шевельнулось в памяти, и Кирилл тотчас понял: это он и есть, Шорников, Иван Трофимович. Старик тоже всмотрелся в подошедшего, на морщинистом лице мгновенно проступила радость узнавания, но в глазах еще оставались сомнение и настороженность, когда он воскликнул:

– Андрей Аркадьич?.. да неужто?!..

– Я Кирилл.

Старик смутился, но в ту же минуту ахнул:

– Кириллка? Ты?! – и шагнул к нему, уронив портфель и плащ, обнял, уткнулся лицом в его плечо.

Кирилл растерянно похлопал Шорникова по спине – не то успокаивая, не то напоминая о сдержанности (на них с любопытством оглядывались прохожие), легко отстранился и нагнулся за упавшими вещами.

– А я уж уходить собрался, – сказал Шорников, беря из рук Кирилла плащ и отряхивая его. – Прикидывал, куда дальше двигать.

– Отец никак не мог прийти, – извиняющимся тоном пояснил Кирилл. – Очень хотел, не смог вырваться...

– Да я знаю все. Он записку с девушкой прислал. Вот...

Шорников достал из кармана листок, исписанный торопливым прыгающим почерком. «Иван Трофимович, не сердчай, что не встретил тебя, – писал отец. – Будь другом, подъезжай ко мне в больницу, я к двум постараюсь вернуться...» Записка была большая (Кирилл не стал дочитывать до конца), внизу крупно выведен адрес и номер телефона.

– Вот и хорошо, – сказал, возвращая листок. – Сейчас мы пообедаем где-нибудь, а потом я вас к отцу доставлю.

– Не доставишь, у меня поезд в пятнадцать тридцать, я в Москве-то проездом. Разве что на обратном пути повидаемся. Ничего, двенадцать лет не виделись, недельку потерпим. Я Андрею позвоню перед выездом, договоримся, чтобы не как сегодня, снегом на голову, а загодя знать дам, – успокаивал себя Шорников. – А поесть хорошо бы... сутки в дороге, когда еще доберусь. В «Пекин» пойдем? Или напротив, в «Софию»?..

– Позвольте уж мне распорядиться, – Кирилл отобрал у старика тяжелый портфель. – Вы все-таки у нас в гостях...

Машина Кирилла произвела на Шорникова большее впечатление, чем он мог предположить (потом, когда узнал, что Иван Трофимович работает директором автобазы в Муроме, понял его профессиональный интерес – в технике он знал толк); всю дорогу старик любовно ласкал рукой хромированные ручки дверцы и кожу обшивки, взгляд его стал удивленно-уважительным, и он вдруг перешел на «вы»:

– Хорошие, знать, деньги получаете, Кирилл Андреевич? – поинтересовался почтительно.

– Будете выкать, я вас голодным на вокзал отвезу! – грубовато отшутился он, увиливая от вопросов (не любил говорить о деньгах, вполне хватало постоянных разговоров об этом жены). Но, подозревая, что старик так просто не успокоится, объяснил: – Прежде «Волга» была, пристроил удачно, а тут случай подвернулся, знакомый хоккеист продавал. Еще картину музей купил, оценили хорошо...

Шорников понимающе кивнул:

– Значит, художником работаете. Ясное дело. Вот отец-то рад, наверное. – С чего вы взяли? – с неприязнью сказал Кирилл. – Он как раз против был, считал, что я чем-нибудь посерьезнее заниматься в жизни должен.

– Не скажи. Для него это драма целая была, когда глаза у него повредились. Я помню... – Шорников тяжело помолчал. – Теперь-то, хоть изредка, рисовать не пробует?

– Нет, зачем ему. Не пробует. Хотя... – Кирилл вспомнил, как отец вкручивал кнопки в кумачевую фанерку. – Стенгазету оформляет иногда...

– Что ж, дело тоже нужное.

– Может быть, – уклончиво согласился Кирилл.

Из разговора он понял: старик ничего не знает – ни об отце, ни о том, что давно живут порознь, ни тем более об их ссоре. И незачем ему ничего говорить, решил: в двух словах не объяснить, а лезть в эти дебри... Пускай отец при встрече сам все расскажет, если сочтет нужным.

В ресторане Дома журналистов Кирилл попросил знакомую официантку обслужить их побыстрее; предложил Шорникову выбрать что-нибудь «для аппетита» – если хочется, по случаю праздника (сам-то, увы, за рулём), но тот наотрез отказался, явно из солидарности. Разговор застопорился, и Кирилл заказал-таки по рюмке коньяку, прикинув, что это оживит старика, огорченного несостоявшейся встречей. Нарушая установившееся тягостное молчание, спросил, кивнув на орденские – в четыре ряда – планки на костюме Шорникова:

– Где воевали, Иван Трофимович?

– В Белоруссии, Польше, потом до Вены дошел, – старик польщенно зарделся, приосанился. – Потом опять в Белоруссии, на Украине, но это уже после войны, значит.

– После войны воевали?

– То с бандеровцами, то Украину разминировали, до сорок восьмого почти...

– Так это уже не война была, – протянул Кирилл.

– Не скажи. Война не война, а свой взвод я полностью после сорок пятого потерял. Вот и считай...

– Так вы минёром, что ли, были?

– Минёр. Командир саперного взвода понтонно-мостового подразделения. После и подразделением командовал, но это позже, когда с твоим батей судьба свела. Так он об этом, верно, рассказывал?

– Да-да, конечно! – Кирилл потупился: отец действительно часто рассказывал о войне, но он всегда скучал в таких случаях и слушал нехотя – его интересовали другие вещи, живопись, например... Сказал, вертя в пальцах рюмку: – Не знаю... Для меня война – просто бред какой-то, мясорубка кровавая, где и уцелеть-то ничему живому невозможно.

– Бред – это правильно, – согласился Шорников. – И мясорубка, понятно... От минёра, когда он на авиационной бомбе ошибается, и двухсот граммов не соберешь... Всё верно. Только война, брат, это еще и искусство, там тоже свои художники были. Вот я такой случай приведу...

«Ну, все, теперь его не остановишь, – тоскливо подумал Кирилл, отыскивая взглядом запропастившуюся официантку. – Им, старикам, только волю дай, заговорят до потери пульса».

– ...Мы с твоим батей на Украине мины колупали. Участок попался – живого места нет. Не поверишь – на каждом метре по три-пять подарков, неделями землю щупали на двух шагах! Расчистишь такой, на карту местности нанесешь, а внизу свои подписи ставишь. Если что на этом месте шарахнет ненароком – отвечаешь, как по законам военного времени. Вот, значит, как. Ну, щупали мы один овражек, там противотанковых мин пропасть сколько было! Да... Выгребли их... все, вроде. Уже и карту разминирования составили, да хорошо не отослали. На второй день бычок в низинку ту забрел – и все... рожки да ножки... Мы, понятно, снова заново овраг на брюхах исползали. А противотанковая мина как устроена? Гляди...

Кирилл, без особого старания изображая интерес, смотрел, как Шорников, прорывая шариковой ручкой рыхлую салфетку, рисовал на ней корявый ящик, зарытый в землю таким образом, что какая-то нажимная часть почти торчала наружу.

– ...Пехота по ней еще, случается, протопает, а попадись что потяжелее – амба!.. Ну, протралили мы сызнава тот кусок – чисто, одни брёвна кое-где из земли торчат. А борону протащить попробовали – опять взрыв! Понимаешь?

– Не очень, – признался Кирилл.

– Мы тоже понять ничего не могли! – Шорников возбужденно схватил его за рукав. – Один батя твой смикитил: гляньте, говорит, что-то воронка глубокая слишком. Присмотрелись – и правда!.. Вот и говори потом!.. Представляешь, на какого немецкого минера напоролись? – художник, одно слово! Творчески, как говорится, к делу подошел. Мину на метр и глубже зарывал, а чтобы сработала – в нажимную часть бревна упирал, другим концом наружу. До чего, стервец, додумался, а?! Художник!.. Но ничего, у нас на таких художников свои мастера были, как батя твой... Да что я рассказываю-то?!..

Шорников взгромоздил на стол портфель, чуть не спихнув на пол солонки и рюмки, и достал небольшую книжку:

– Вот, целый том про это написал. Тут про все, и про случай этот, и про батю твоего... Какой минер был! – ас! Таких чутких рук не встречал больше...

Появление официантки избавило Кирилла от необходимости смотреть книгу, говорить какие-то обязательные, по такому случаю, слова.

Обедали молча, думая каждый о своем. Кирилл – о том, что весь день пошел прахом и ничего он сегодня уже не сделает, никуда не успеет. О чем думал Шорников, в меланхолической отрешенности ковыряя вилкой мясо «по-суворовски», Кирилл не мог себе представить, да его это и не заботило. Собравшись уходить и проверяя, не забыл ли чего, он постучал ногтем по книжке на углу стола:

– Не забудьте, Иван Трофимович.

Шорников взял книжку, но в портфель не убрал, а когда сели в машину, положил её на колени Кириллу:

– Книжку-то я, собственно, батю приготовил. Возьми, передай, пожалуйста. А то вдруг на обратном пути тоже разминемся, мало ли что...

Кирилл отогнул обложку: на соседнем с титульным листе, где было напечатано имя Шорникова и название «Сквозь огонь и стужу», прочитал старательно, по линейке выведенную надпись: «Дорогому сердечному другу моему Андрею Аркадьевичу Смородину на добрую память о годах войны и в знак преклонения перед его талантом».

– Что, отец был действительно талантливым... минёром? – осведомился, пряча книгу в бардачок.

– Почему – минёром? И почему – был? – удивленно переспросил Шорников. – И был, и остается талантливым. И человеком, и художником тоже... Я вот его картину до сих пор храню – сирень на окне, и в окно солнце льётся... Многое в этой жизни растерял, а картину сохранил, смог. Мне её батя, когда из Мурома уезжали, подарил. Да ты не помнишь, поди, ничего – лет пять-шесть было. Родители решили наконец в Москву вернуться. Батю инвалидность дали, нужно было жить, определяться как-то... Он долго скрывал ото всех, в себе переживал. И контузия вроде пустяшная была – повезло ему, что успел, откатился, и детонатор один взорвался, а мина сама не сработала, отсырела... В сорочке, говорили, родился. И вот тоже... судьба. стакан взрывчатки всего, а шарахнуло – и целый мир в черно-белое кино превратился. И лечить никто не брался, не лечится такое, говорили. И вдруг, через столько лет, само по себе восстановилось. Не совсем, правда, но восстановилось зренье-то! Вот только рисовать батя не смог уже, перегорел... Да ты про это все сам знаешь...

Кирилл знал – плохо, понаслышке, не вникая в детали; вспомнил, как однажды попросил отца дать красный карандаш, а тот растерянно протянул зелёный...

Времени до отхода поезда оставалось совсем мало, но Шорников, как приехали на вокзал, сразу кинулся к телефонной будке – снова и снова набирал один и тот же номер, прижав трубку к уху плечом и поднеся к самым глазам отцовскую записку, подолгу вслушивался, дожидаясь ответа, упрямо не замечая Кирилла, который поторапливал его, выразительно показывая на часы.

Стоя у своего вагона, отдав билет проводнице, Шорников стремительно притянул к себе Кирилла, коснулся его щеки сухими стариковскими губами. Проговорил торопливо:

– Счастливый твой батя все-таки, такого сынишу поднял! А нам с женой бог детишек не дал. Не получилось своих детей-то... Взяли парнишку с детдома, а у него родители объявились. Вот так-то, брат... Ну, бывай! Свидимся скоро. Все вместе свидимся!..

«Интересно, как отреагирует Шорников, когда узнает, что бог отцу не одного, целых двух сынищ подарил? Тоже наверняка порадует, – раздраженно думал Кирилл по дороге к отцовской больнице. – А уж познакомившись с новой батиной женой совсем доволен останется – еще бы: фронтовичка, вдова окопного товарища. Жалостливый отец, однако, – навещал, помогал, да и допомогался... Ладно, сейчас книжку завезу – и дело с концом. Нечего на завтра откладывать, всё равно день псу под хвост...»

Он предусмотрительно оставил машину в квартале от больницы. День уже раскалился вовсю: серебрился зноем, першил в горле невидимой, расворенной в неподвижном воздухе пылью.

Войдя в прохладу вестибюля, нос к носу столкнулся с веснушчатой медсестрой, пошутил насчет повторности их встречи, хотел было вручить ей книжку для отца, но девушка с неожиданной цепкостью схватила за руку, втащила в ненароком раздвинувший двери лифт и поспешно нажала кнопку последнего этажа.

– Андрей Аркадьевич, как позвонил из райздравицы, и я передала, что знакомый его уезжает, сразу на вокзал! Как же вы не встретились?! Не нашел, значит. Конечно, я ведь только вокзал знала, а какой поезд и куда... Ой, вы дождитесь его! Он вернется сейчас, обязательно, скоро совсем. Что я скажу, если вы уйдете? Обязательно дождитесь!..

Продолжая тараторить, она дотащила оторопевшего от ее натиска Кирилла до кабинета с табличкой «Зам. глав. врача по АХО», распахнула дверь, оказавшуюся незапертой, втокнула в комнату и встала на пороге, заслоняя путь к отступлению. Кирилл усмехнулся:

– Придётся подождать, раз вы так настаиваете. Не бойтесь, не убегайте, если обещал.

– Посмотрите что-нибудь, чтобы не скучно было, журналы вот, – медсестра указала на кипы подшивок журнала «Здоровье», прогнувшие полки самодельного дощатого стеллажа. – Можете даже курить, если хотите...

– Не беспокойтесь, я найду, чем заняться.

Девушка укоризненно посмотрела на него и тихо вышла, но – Кирилл точно слышал – еще несколько минут постояла за дверью, не доверяя визитёру.

Он подошел к окну, за которым плавился в жарком солнце город: кукольные ампирические особнячки и беленая церквушка, сияющая золотой луковичкой купола. Сел на подоконник, закурил, оглядывая кабинет. Ничего не изменилось за десять с лишним лет, когда он был здесь в последний раз, – всё осталось на своих местах, даже настольная лампа с треснувшим матовым плафоном. Из кабинета узкая дверь вела в кладовку – маленькую угловую комнатёнку, заваленную ломаными стульями и брезентовыми сумками с противогазами для учебных тревог, часто практиковавшихся в то время. Проверив свою память, толкнул дверь, отворившуюся с мелодичным скрипом, и шагнул в кладовку. Старых стульев не увидел, но в углу по-прежнему громоздилась брезентовая гора, из которой выглядывал серый рифленый хобот, заставивший Кирилла добродушно усмехнуться. Комнатёнка и прежде казалась крохотной, а теперь выглядела и того теснее – из-за штабелей каких-то рам, прислоненных к стене и покрытых пыльными газетами. От нечего делать повернул к себе лицом самую ближнюю. То, что он увидел, толкнуло развернуть остальные...

Это были картины. Кирилл расставил их вдоль стен, но места оказалось мало, пришлось приткнуть две на куче противогазных сумок, а другие на стульях, принесенных из кабинета. Десятки картин, повторяющих одна другую и совершенно разных. На всех был отображен кусочек старой Москвы, тот самый вид из окна отцовского кабинета – в дождливый осенний

день, в морозное солнечное утро, в снегопад, на закате... Краски лепились быстрыми, точными мазками, уверенными и экспрессивными.

«Просто Моне, Руанский собор... в полдень, утром, вечером, – удивился Кирилл. – Да быть не может! В отцовских альбомах, которые он видел, были только подбитые танки на краю окопов, усталые лица солдат, развалины сгоревших городов...

И вспомнил то, о чем меньше всего хотел помнить.

Он тогда только-только обставился в новой мастерской – просторной, светлой, со стеклянным световым фонарем во весь потолок. И к нему пришел отец – в старом полуподвале на Ордынке ни разу не был, а тут навесит. Походил по залу, затуманенным взглядом скользя по стенам, скупо оценил приобретение: «В таких условиях работать и работать! – И попросил: – Покажи хоть, что пишешь».

Кирилл без особой охоты выставил на мольберты два этюда, ни на что не претендующих, сделанных просто так, для разгона руки. И это всё? – увидел недовольство на лице отца. Пожал плечами: этюды как этюды – георгины в хрустальной вазе.

– Пачкотня, да? – спросил насмешливо.

– Нет, почему же, – не согласился отец, – вполне мастеровито. Индивидуальность есть. А манера – импрессионизм чистейшей воды...

И тут они повздорили: не понимая, к чему клонит отец, Кирилл распался всё сильнее:

– Да чем тебе импрессионисты не угодили-то?! – кричал он.

– Тем и не угодили, – холодно отвечал отец. – Твоего любимого художника спросили, чем ему запомнился восемьсот семьдесят первый год. Помнишь, что он ответил? Весна, дескать, выдалась паршивая, очень мало пришлось писать на пленэре. А что в ту весну была Парижская коммуна, даже не вспомнил – салон его волновал! И тебя тоже...

– Ну так что с того? – рассмеялся Кирилл. – У него же другой склад таланта, нежели чем у Домье! Дались ему ружейные перестрелки! И что за охота была их помнить?!

– Хорошо, он мог забыть ружейные перестрелки, как ты изволил выразиться, но ты об этом забывать не имеешь права! Цветочки, букетики...

– А тебе что, милее черный квадрат, доярка с веслом, глазунковские коллажи со свиньями?... Я, слава богу, отстоял своё право писать так, как хочу и как умею. Цветы, человеческие лица и свет, свет, свет!.. Свет и цвет – и ничего больше! И наплевать мне на всё, что нынче за окном творится!..

– ...Помни, в какое время ты живешь! А если забудешь, лучше совсем забрось кисти, откажись от искусства, как я отказался. Оно слепоты не прощает! – закончил отец.

И тогда Кирилл, не в силах сдержаться, крикнул со злостью:

– Да нет никакого такого особого вре-ме-ни! По мне, плюс-минус сотня лет – пустая херня! И почему я из-за нее должен от чего-то отказываться?.. Это твоё поколение война изуродовала, а мы – другие! Пойми, наконец, что не ты отказался от живописи, а она от тебя! Что ты – просто неудачник!..

Отец долго молчал – вечностью показалось Кириллу это молчание. Потом сказал, спокойно и твердо: «У меня больше нет сына!» – и ушел, не оглянувшись.

В тот день отец навсегда ушел из дома. «Ну и пусть, – сказал Кирилл матери, – в конце концов, если уж ему так хочется учить кого-то, у него для нотаций другой сын есть».

Мать тогда долго болела – Кирилл даже не надеялся, что она выкарабкается, но об отце все равно не вспоминал. А потом все кое-как сгладилось: после болезни мать стала совсем другой, молчаливой и замкнутой, о разводе разговор не заходил (они до сих пор числились по документам мужем и женой), отец остался жить в другом доме. Первое время родители еще виделись («на нейтральной территории» – насмешливо комментировал Кирилл), мать пыталась помирить отца и сына, но Кирилл неизбежно отвечал, что об этом не может быть и речи. Он просто вычеркнул отца из своей жизни. И даже когда женился – не позвонил, не позвал... Только открытки регулярно кидал в ящик перед праздниками, как учителям, школьным товарищам и просто знакомым, никого из них не выделяя... Опомнившись, он быстро сгрудил картины, как было, закрыл газетами. И тут заметил еще одну, висящую на стене, задрапированную холстиной. Дотянулся, снял с гвоздя – портрет, набросок, выполненный углем. «Автопортрет, – решил Кирилл узнавая отцовские черты. – Но и польстил же он себе, лет двадцать скинул». Вгляделся пристальней: это был не автопортрет, но портрет его, Кирилла. И сомнений быть не могло – даже родинка на подбородке его (у отца такой нет), и этот пробор... Портрет давний, лет пять будет, – безошибочно определил по состоянию рисунка, не закрепленного лаком. Но тогда ему было двадцать семь, а на этом портрете – все сорок, и если отец рисовал по памяти... Понял: нет, не по памяти – по представлению о нём. Всмотревшись детальнее, Кирилл увидел, сколь много предугадал отец в его лице, словно заранее знал, каким он будет. И точно было угадано выражение его глаз – самоуверенное, спокойное и – холодное.

Кирилл провел ладонью по щеке, горячей памятью о давней пощёчине. Он ушел торопливо, крадучись, по служебной лестнице.

Весь вечер Кирилл пролежал на диване, запершись в кабинете на ключ, не отвечая ни на приглашение матери ужинать, ни на осторожные вопросы жены. Лишь когда голоса стали тревожнее и настойчивей, отозвался через силу – крикнул, чтобы оставили в покое.

К полуночи квартира затихла. Он вышел в коридор, взял телефон, намотав на руку выдернутый из розетки шнур, и прихватил с подзеркальника записную книжку матери.

Услышав далекий голос отца, поспешно нажал на рычажок – растерялся вдруг, не подумав, что скажет. Помедлил, снова стал набирать номер, но сбился на третьей цифре. И долго сидел неподвижно, стиснув ладонями виски, уронив на колени гудящую трубку...

Жалость

Он появляется, непременно постучавшись, томительно раскланивается на пороге, словно ждет, чтобы его, как в русских народных сказках, трижды пригласили войти, бубнит, напоминая:

– Фанабеев я, здравствуйте...

Проходит к столу, отирая задом стенку, садится; сидит прямо, будто аршин проглотил, на самом краешке, не касаясь спинки стула; часто моргает, заискивающе и виновато. Редактор для него – вершитель судеб, и бесполезно в десятый раз убеждать, что несостоявшуюся вещь не вытянуть даже самой виртуозной правкой, а действительно блестящий рассказ каждый сотрудник газеты или журнала спит и видит, заранее готовый (что ни говори, редактор лицо заинтересованное) предлагать его вне очереди, убеждать секретариат найти брешь в плане.

– Ну, уж про это вы мне можете не рассказывать! – закатывая глаза, смеётся Фанабеев. – Я-то знаю, как такие дела делаются, сам в редакции служу.

Фанабеева убедить в чем-нибудь трудно, если вообще возможно. Он – «чайник». Это определение давно укоренилось в любом офенском словаре – от сельскохозяйственного до флотского – и означает вхолостую кипящий несуразный предмет. На редакционно-издательском языке «чайник» – бесперспективный автор, законченный графоман. Как Фанабеев. Уже который год он обивает пороги редакций с регулярностью путевого обходчика, носит рассказ за рассказом, потрясая не столько плодовитостью (графоманы работают с завидным упорством), сколь неизменно низким уровнем. Любые советы такому человеку – об стенку горох: он будет кивать, поддакивать, заранее соглашаясь со всем сказанным, но никаких выводов не сделает – не может. Для «чайников» в редакциях держат литконсультантов – железную гвардию съевших зубы на графоманском бреде внештатных рецензентов, умудряющихся прочитывать от выплаты до выплаты невероятное количество безнадежно плохих рукописей и при этом каким-то чудом сохранять рассудок. Фанабеева давно следовало бы отдать им на откуп, но что-то сдерживает. Жалость, конечно. И потом, Фанабеев печатался: наверняка и сейчас в фанабеевском портфеле, судорожно стиснутом под столом мясистыми икрами, покоится, вконец истрепавшийся от частой демонстрации всем и каждому, трехлетней давности журнал, и довольно солидный, где напечатана его крохотная новелла. Это не просто публикация, но щедрый аванс, вдобавок с многословным напутствием начинающему – так называемым «врезом», ниспос-

ланным маститым прозаиком. «Врез» – пропуск через литконсультантские шлюзы и главный козырь Фанабеева.

– Вот видите, – торжествующим шепотом сообщает он, – столько лет бился, мыкался, а с предисловием тут же взяли. А вы говорите! – И вздыхает убито: – Конечно, теперь кому я нужен?

За несколько месяцев до дебюта Фанабеева, писателя, рекомендовавшего его новеллу толстому журналу, не стало. Он умер, едва переступив пятидесятилетний порог, почти отойдя от литературы, в ореоле прижизненной, рано пришедшей славы, хотя все им написанное умещалось в одном томике. В последние годы совсем не писал, после смерти осталась только тетрадь, сплошь заполненная названиями будущих рассказов, книг, – заголовки, и ничего больше. В Москве появлялся редко, безвылазно сидел на даче, в лесном поселке, неподалеку от тысячелетнего русского городка, знаменитого лаврой и деревянными игрушками (кстати, там живет и Фанабеев, работает в районной газете). Изредка доползали слухи: злоупотребляет, болеет, ни с кем не общается...

Думая о покойном писателе, перебираю на столе фанабеевские рассказы, подыскиваю слова помягче и поубедительнее (никогда не научусь жестко отказывать авторам). С профессиональными литераторами, особенно с именитыми, просто – не нужно много говорить: не получается по тем или иным причинам пристроить рассказ нам – через дорогу сосватают, где-нибудь да выгорит. А Фанабеева и другой редакции не порекомендуешь – не с чем. – И на этот раз ничего не отобрали? – приходит он на помощь.

– Увы.

– Будьте уж любезны, укажите на недостатки, я устраню. Я очень постараюсь. Неужели ничего не понравилось?

– Кое-что показалось, – вру привычно, не в силах смотреть, как судорожно вытирает он о брюки потные ладони. – Не в этом дело...

И в сотый раз повторяю, что на работе я человек казенный, руководствоваться собственным вкусом не имею права, а если поддамся эмоциям и приму подобную писанину, и если даже она удачно проскочит секретариат, то уж редколлегия снимет наверняка, и что нужен рассказ, за который не пришлось бы краснеть на планерке. Чем же я могу помочь? – мелко всё, неопределённо.

– ...Взять хотя бы «У костра», – говорю, отыскивая его среди других рассказов. – Голый диалог на двадцать семь страниц. Слова, слова... сплошное ля-ля. Сидят у костра два мужика и разговаривают, а из их разговора ничего не следует. Элементарной информации нет: что за мужики? откуда они? сколько им лет?... И почему ночью вдвоем время коротают? Кто же на эти вопросы ответит, если не автор? И потом – ни сюжета, ни характеров, ни конфликта... Судачат об урожае, о природе...

– О любви тоже.

– ...а внутреннего действия, развития – нет. Уясните, наконец: диалог такой вполне может быть в повести большой, в романе, а сам по себе... Эти двадцать семь страниц что продолжи на столько же, что сократи вдвое, – ничего не изменится. Если за словами ничего не происходит, так и рассказа не получится.

– А Шукшин как писал? – робко упорствует Фанабеев, ерзая на стуле. – Читали у него такой рассказ – про космос, нервную систему и кусок сала? Тоже диалог чистый.

– Шмат сала, не кусок, – поправляю, поморщившись: любят, ох любят «чайники» Василия Макаровича – через одного поминуют. – Читал, – говорю, – и очень хорошо помню. Отличный рассказ.

– Ну, вот. Там ведь тоже... старик на печке скучает, пацаненок уроки пишет, разговаривают они. Не пойми про что – про смерть, про Павлова, как он собак резал, про нервную систему эту... Трёп сплошной. А у меня не так, у меня про важное беседуют – про озимые, про любовь, продовольственные проблемы. Все актуально, как время велит.

– Вы, как домой вернетесь, Шукшина еще разок прочитайте. Повнимательней, – советую, протягивая через стол рукопись. – И посмотрите, что там между строк происходит, чем рассказ кончается. Вроде бы действительно трёп сплошной, а в итоге старик, куркуль, который мальчишке угол без кормежки сдает, слезает со своей печки и приносит ему сало, шмат целый. Выходит, не такой уж пустой треп-то был. И все в нем есть – и спор, конфликт то бишь, и то, что греки катарсисом называли, момент кульминационный, и финал точный. Прочитайте рассказ повнимательнее, мы тогда о нём еще потолкуем. Лады?

– Ладно, прочитаю, – сопит Фанабеев, заталкивая рукопись в портфель. – Через пару недель опять в Москве буду, сразу появлюсь.

– Не торопились бы новое писать, попробуйте сделанное выправить, довести до ума.

– Я постараюсь... ОН мне так же советовал, – имя писателя Фанабеев произносит с благоговением. – И про Шукшина то же самое говорил, и про катарсис...

И тут меня что-то тянет за язык:

– Может, вовсе не стоит мучиться с прозой? Ведь вы журналист, газетчик крепкий. Попробуйте написать воспоминания. Вы знали прекрасного писателя, встречались с ним, а в последние годы его мало кто видел. Вспомните, о чем с ним говорили, как он говорил, как вообще познакомились...

– Надо, считаете? – Фанабеев нехотя отрывается от стула. – А я думал, кому это может быть интересно? Ну познакомились, ну встречались...

– Вот и пишите, – продолжаю напирать: мне впрямь любопытно, что побудило писателя, которому я верил и чьему вкусу доверял, представлять Фанабеева своим учеником, желать ему большого пути в литературе. – И не сомневайтесь, будет интересно. Только, Бога ради, не выдумывайте ничего.

– И напечатаете?

– Честно напишете – напечатает, – обещаю опрометчиво.

С июня в редакциях мертвый сезон: поток авторов иссякает, постепенно пустеют коридоры. Только «чайники» кипят прежним организационно-творческим пылом: то ли им действительно нипочем городская духота, то ли взаправду верят, будто летом легче пристроить свои рукописи, – конкуренция, дескать, меньше. Не знаю, откуда взялось такое поверье,

однако на уступчивости редакторов оно точно не отражается – до сентября будем подчищать загашники, выгребая залежавшиеся рукописи, а осенью столы снова прогнутся под тяжестью летнего писательского урожая.

Фанабеев, вопреки обыкновению, в этот раз запропал месяца на полтора: стал забывать о нем и нашей договоренности, когда тот появился в дверях – грузный, распаренный, размазывая платком по лицу ручейки пота – вдрызг мокрый, выжимать в пору.

По тому, как торжественно уселся, водрузив на колени портфель, сразу стало ясно: времени он даром не терял.

– Вот, как договаривались, – протянул голубую, с розовыми тесёмочками, картонную папку, на которой сиреневым штемпелем расплывалось название районной газеты. – Все как было описал, чистую правду. Иногда, честно скажу, даже не по себе становилось: можно ли вот так прямо-то?

Фанабеев явно разбежался на долгий и обстоятельный разговор, но как следует развернуться не успел – следом заявился мой сокурсник по институту, даровитый поэт, переваливший лермонтовский возраст, но еще числящийся по ведомству критики «молодым», – затормошил, заморочил рассказами о жарком зарубежье, откуда только-только привез замечательный загар, расспросами о доме, работе и московских новостях, и Фанабеев с сожалением распрощался, поняв, что такого говоруна ему не пересядешь. Едва за ним закрылась дверь, приятель благостно вздохнул:

– Наконец-то, слинял! Чего от тебя хочет этот «чайник»?

– Видно, что «чайник»?

– Очков не надо. Законченный! Сколько ему? Пятьдесят?

– Сорок три.

– Велика разница! Хотя для прозаика возраст ребячий...

Приятелю весело: он молод, обаятелен, у него всё в полном порядке – пишется легко, редакторы уважают и печатают, длинноногие нимфетки так и льнут. И что его глазами Фанабеев – бесталанный и немолодой, мешкообразный, с залысинами в полголовы, брюшком, переваливающим через брючный ремень, застегнутый на крайнюю дырочку.

– Он принёс? – приятель утягивает со стола папку, оценивает на вес, обрывает кальсонные тесемки. – Иннокентий Фанабеев! Фамилия вполне. А что пишет? Хочешь, угадаю? Наверняка повести о последней любви... Нет, проиграл – воспоминания! О чем такой Иннокентий может вспоминать? – веселится, отыскивая последнюю страницу: – Семьдесят одна! Ого, три листа почти! Так-с, поглядим... «В последние годы жизни мне довелось близко дружить и встречаться с выдающимся советским писателем-прозаиком...» С первой же строчки все ясно. В чьи последние годы? В последние годы жизни его, Фанабеева? И что ему все-таки довелось: близко-далеко дружить или встречаться?

– Кончай изгаляться! – отнимаю я рукопись. – Не дано человеку, что тут поделаешь?

– Так и сказать, что не дано. Была охота с графоманом возиться! – пожимает он плечами. – Неблагодарное занятие. Я ведь тебя знаю: будешь править до одури, сократишь страниц до семнадцати–двадцати, до формата

вашего. Что недотянешь, сам допишешь. И хочешь, разложу, как дальше будет? Будет вот что... Воспоминания Фанабеева благополучно выпустят, даже на доску лучших материалов повесят. В контору придет пяток писем от благодарных читателей-почитателей покойного мэтра. Матерьялец сей перепечатает какой-нибудь толстенный альманах, а то и зарубежная пресса. Потом его, понятно, включают в сборник воспоминаний, который наверняка сейчас составляют ретивые наследники. Фанабеев получит бабки раза три-четыре и в благодарность презентует тебе пузырек коньяку, с соответственным числом звездочек. Но это еще не все! Под шумок он рассует свои перлы по редакциям, где тут же ухватятся за новоявленное дарование. Пока там расчухают, что к чему, деятель этот книжку в издательство забросит. Там такие же доброхоты, как ты, – ехидно тычет мне в нос прокуренный палец, – быстренько организуют пару-другую положительных рецензий, отредактируют, а потом и в план пропихнут. А дальше само покатится – одна книжка, вторая, в союз примут. К тому времени крестнику твоему писанина порядком остолбенеет, ублажит он тщеславие и ударится в общественную деятельность. И вот лет эдак через десять вызовет тебя Фанабеев на ковер и будет учить, как ты должен повышать требовательность к рукописям и что нужно печатать в первую очередь. Убедительная перспектива?

– Не трожь святое, злобный циник!

– Я циник? Запомни, старик, – поэт может быть сколь угодно подл и аморален, но вот циником быть не может! Это прозаики анатомию любят, к быту, к сохе их тянет. А поэты – народ возвышенный.

– Разоменяйся на тему: «Нас возвышающий обман»?..

Так мы еще с полчаса бадяжничаем. Потом миловидная девушка-курьер, после школы пришедшая зарабатывать справку для поступления на журфак, приносит свежую верстку, которую мне нужно вычитывать в срочном порядке. И поэт, подмигнув на прощанье: «Когда Фанабеева напечатаешь, оставь номерок, посмеемся!» – поспешает вдогонку за курьером, явно намереваясь подписать ей на ходу новую книжку и позвать на очередное своё скандальное выступление.

Первая строчка записок, позабавившая приятеля, меня, занятого рутинной работой с начинающими авторами, не обескураживает – не в новинку, как пишет Фанабеев, и заранее готов к тому, что остальные семьдесят страниц выглядят так же. Но в данном случае мне вообще безразлично – как, интересно – что. Фанабеев предельно выложил – напрягал память, мучился и наверняка костерил на чем свет свою оплошность: сразу, едва расставшись с писателем, нужно было записывать, останавливать на бумаге слово, фразу, жест...

Писателя, о котором идет речь, сам я видел несколько раз – чаще мимолетно, а подробно лишь однажды. Года за два до смерти он, выписавшись из московской больницы и собираясь снова укрыться на даче, на часок заглянул в наш отдел русской литературы. Устроился возле стола в большой комнате, так называемом «предбаннике», куда выходили двери трёх редакторских кабинетов. Сел, уперев локти в расставленные колени

и сцепив пальцами крупные руки, – большеголовый, мощный, словно вытесанный из цельного валуна. Сразу предупредил, что ничего не принёс, не пишется, – зашел просто так, пообщаться. Говорил глухо, чуть заикаясь, опустив в пол глаза, почти неразличимые за дымчатыми стеклами массивных очков. Понятно, я и двое моих старших коллег (один знал писателя очень хорошо, тот, собственно, к нему и зашел) забросали его вопросами. Отвечал охотно, но односложно – чаще «да» или «нет», и весь разговор в итоге оставил тяжелый осадок. Когда я родился, он заканчивал литинститут и всю печатался, а в годы моей юности его уже называли классиком – поступив учиться в те же стены, я выполнял курсовую по его новой книге и, конечно, представлял писателя по-своему. Он виделся мне энергичным, крепким и мобильным, всегда готовым легко собраться и улететь с ружьем и рюкзаком к черту на куличики – на Новую Землю или Камчатку, где жили герои его рассказов. А перед нами сидел измочаленный человек, выглядевший на десяток лет старше своих пятидесяти, вконец, и после клиники, больной: дышал, как порванные мехи, поминутно кашлял в кулак громыхающим, будто в пустую железную бочку, кашлем. И разговор его тоже был больной и старческий – о хворях и лекарствах, о гнилом климате, в котором без хорошо протопленной печки не выживешь. Он был первоклассным рассказчиком. Его проза безыскусна до скупоности, настолько чужды ей словесные хитросплетения, языковые изыски и прочие стилистические красоты. Он писал, как говорил, а говорил хорошо – мелодично, ясно и просто, не прибегая к метафоре, популярной у писателей его поколения, довольствуясь лишь эпитетом, неожиданным и точным. Критики любили сравнивать его с Чеховым и Леонидом Андреевым, но больше с Буниным, и даже ругая (а ему на своем веку досталось от этой братии порядочно), пасовали: дескать, мрачно все, безрадостно, герои с обочины жизни, преобладают низменные инстинкты, но – талантливо, черт возьми, ничего не скажешь! И потому самые разносные статьи работали наоборот – на популярность, громкую и прочную. Даже когда он почти совсем забросил ремесло, стал писать по рассказу в год, а то и реже, интерес не увядал, не проходил, и чем реже появлялась его новая вещь, тем восторженнее она встречалась. Когда перерыв был особенно долгим, работники журналов созванивались друг с другом, зондировали почву, стараясь выяснить, не появилось ли чего-нибудь из-под его пера, а не узнав, успокаивались: значит, работает большую повесть или даже роман, скоро предложит. О большой вещи он и сам много говорил – мечтал о ней, пробовал писать, но после его смерти стало ясно: повесть или роман существовали только в его воображении. Эту мечту он осуществить не мог – был рождён рассказчиком.

Понимаю, как хотелось Фанабееву познакомиться с писателем, показать свои рассказы: есть нечто притягательное в перспективе хоть slučajем перехлестнуться с известным человеком, возможности услышать мнение мастера о своей работе. Но именитые личности избегают назойливых глаз, а мастер, который и рад бы открыть миру новое яркое дарование,

часто вынужден всеми правдами и неправдами отбиваться от бездарностей, коих значительно больше, и достать его не так-то просто. Фанабееву удалось. Он давно знал, что классик живет под самым боком, но повода познакомиться не было. И тут подвернулся случай: дома в посёлке отапливались углем, а зима тогда выдалась суровая, расход топлива перевалил за норму, и кто-то обратился в редакцию районной газеты с просьбой помочь писателю. Фанабеев случая не упустил – тем же вечером поехал к нему...

На первых пяти страницах он обстоятельно живописал, как сильно волновался, о чем передумал, пока шел, увязая в сугробах, от станции к даче, как подбирал подходящие слова. Потом следовало, по-судебному дотошное, описание писательского дома и как он, Фанабеев, продрогший и усталый, поднялся, преодолев душевный трепет, на крыльцо, как долго стучал, пока открыли, и многословный портрет мастера, с поштучным перечислением морщин на лице и оторванных пуговиц на рубашке... Первый визит завершился тем, что добродетель осмотрел отопительную систему, посоветовал заменить колосники и пообещал пригнать грузовик. На другой день он уже ссыпал уголь под навес возле писательского дома, сам помогая рабочим при разгрузке, а после был приглашен хозяином на чай, когда и нашел момент – высказал робкую просьбу показать свои рассказы. Через неделю принес рукопись, отдал мастеру, как раз вышедшему на прогулку, и тот проводил Фанабеева до станции. Всю весну писатель хворал, не выходил из больницы, снова встретиться они смогли лишь через полгода: возвращаясь на дачу, классик сам заехал домой к Фанабееву...

Одолев три десятка страниц и споткнувшись на замечании писателя об увиденном в хозяйском доме камине – насчет преимущества перед ним обычной русской печки, я наконец стал что-то понимать. И дальше смотрел рукопись по диагонали – о литературе и фанабеевских рассказах, всякий раз приносимых на суд мастера, были записаны одни мелочи, отрывки фраз, которых едва набиралось на полторы странички, а на остальных – до физически ощутимого слухом хруста – машинами сыпался сгружаемый уголь. Разговор о нём – вскользь, мимоходом – зашел даже в день рождения писателя, отметить который он пригласил и Фанабеева, особо подчеркнувшего сей факт в своих записках, и в обоих письмах, присланных им из летнего Коктебеля благодетелю – с думами о предстоящей зиме, до которой ему не суждено было дожить, и в последнюю их встречу – осенью, в больнице, куда Фанабеев пришел с передачей и новым рассказом, и писатель, собиравшийся выписываться, то и дело возвращался к теме двух грузовиков угля («крупного, как в прошлый раз»), и Фанабеев обещал, а потом, словно предчувствуя, что больше они никогда не увидятся, выпросил рекомендацию для журнала, которая и была сочинена тут же, на больничном подоконнике.

Фанабеев был предельно честен: ничего не утаил, детально воскресил каждую из встреч за пять лет их знакомства. Но, даже заполнив словами семь десятков страниц, так ничего и не понял – бесконечно удивлялся вниманию, с которым относился к нему мастер.

Я вспомнил, как писатель зажимал кулаком рот, давясь астматическим

кашлем, Фанабеева, вытирающего о брюки потные ладони, самодовольное лицо приятеля: «оставь номерок, посмеемся»... Смешного оказалось мало. На столе лежали фанабеевские записки, в которых ни править, ни сокращать было нечего, а на душе – любовь к писателю, жалость к незадачливому «чайнику» и злость на ехидного сокурсника. С досады, чтобы глаза не мозолила, закинул рукопись в дальний ящик и водрузил на стол пишущую машинку.

Я слишком уважаю покойного писателя, чтобы заподозрить его в меркантильности или праздном любопытстве. Не это привело его в фанабеевский дом. В своих рассказах он пристально всматривался в ничем не примечательных героев, ставил их в ситуации, когда люди раскрываются до дна, до самой сути подноготной, мог любить их или ненавидеть, жалеть или презирать, но никогда – отнестись с иронией даже, не то чтобы посмеяться над ними. Вижу, как ходит он по дому Фанабеева, содрогая его своим командорским шагом, вглядывается в фотографии на стенах, перебирает книги. Фанабеев не отстаёт, у него в руках – писатель не мог не заметить – очередной рассказ, свернутый трубочкой, чтобы удобнее было записать в карман. Писатель покашливает – скорее от неловкости – ему опять нужен уголь, много угля: дом громадный и пустой, необжитый, протопить его тяжело. Он знает, что Фанабеев рад услужить, да и не трудно ему совсем, не хлопотно – один телефонный звонок из редакции на склад, но просить... просить ох как не хочется. В дверях появляется мать Фанабеева – сгорбленная, иссушенная пятью детьми, из которых после войны остался самый младшенький, Кешенька; угощает свежими, с грядки только что, огурцами. Писатель тоже теперь живет вдвоем с матерью, глубокий старухой, для которой он по-прежнему остается маленьким, требующим ласки и ухода, и она переживает за него, плачет ночами, вызывая сыну «неотложку». Он понимает, что нет лучшего подарка матери, чем доброе слово о ее чаде, – уверяет, глядя в пол: «А знаете, ведь ваш сын писатель, это я вам точно говорю. Будет писателем...» – и видит радостное, улыбающееся лицо. Фанабеев тоже смущенно сияет, на седьмом небе от счастья. Пробыв в гостях часа два, но так и не сказав о своей просьбе, писатель раскланивается, садится в машину, куда Фанабеев уже отнес миску огурцов, пару кабачков и свой рассказ, снова прощается, приглашает навещать, и тут скованность проходит: «Да, кстати...»

...Они вдвоем в мансарде, в кабинете мастера: он за столом, гость в кресле напротив – выковыривает спичкой из-под ногтей свежую угольную пыль. На столе в беспорядке бумаги и книги, сверху покоится рассказ Фанабеева. Вздохнув, писатель снимает очки, подносит рукопись к самым глазам. Пробежав взглядом первую страницу, опять вздыхает, протяжно смотрит в окно – на перекликающийся птичьими голосами сосновый солнечный лес. Долго молчит, потом вдруг вспоминает свой давний рассказ, о гонимом псе Арктуре, напечатав который он поутру проснулся знаменитым, – говорит: «Если бы сейчас его писал, повторил бы так же, слово в слово. Понимаешь?» Фанабеев кивает, но тут же проговаривается: «У вас там про собаку, а у меня тема другая», и слышит в ответ:

«Других тем нет. Они вечные: любовь, разлука, жизнь, смерть...»

В свой последний год мастер часто говорил о жизни и смерти. Незадолго перед тем погиб его старинный товарищ – сам, добровольно свел счёты с жизнью. Об этом один из лучших рассказов писателя: не о смерти – о жизни, единственной и неповторимой, о невозможности распоряжаться ею по своей минутной слабости. Тот рассказ он писал розовой южной ночью, плача бессильными слезами отчаяния, что не было его рядом с другом в тягостную минуту, мучительно ища ответ и не находя его... Вспомнив о друге, писатель надолго умолкает. Тут на столе, незнамо откуда, появляется бутылка...

Останавливаюсь, воображая кислую мину главного редактора и протесты членов редколлегии на планерке. В таких случаях нас одолевает пуританская стыдливость – пугаемся вдруг очернить известного человека в глазах читателя, которому, впрочем, и так всё про всех известно. И тут знали: в последнее время писатель часто злоупотреблял, как теперь принято говорить, а если проще – пил. «Может, не надо? – неизменно, для очистки совести, мямлил Фанабеев. – Вам ведь нельзя!» «Если немного, то можно», – отмахивался писатель. «Так ведь не получится немного!» – «Получится, я слово маме дал. И потом... мне, может, лет пять всего и жить-то осталось. Что же я, так и буду эти годы в удовольствии себе отказывать?» Ему оставалось жить не пять лет – четыре месяца. Вообразить не могу, как бы прожил он их, знай об этом, потому обойдусь без риторических вопросов – прожил, как прожил.

В кабинете, который Фанабеев, со свойственной ему педантичностью, описал, как описывают конфискованное имущество, там и сям дремали в пыли привычные спутники жизни писателя – развешанные на гвоздях, разбросанные по углам и полкам ягдташи и охотничьи ружья, оленья упряжь, полевой цейссовский бинокль, кружки, котелки... Чтобы представить, где они только ни побывали, достаточно открыть любую книгу мастера. Он прожил неуёмную, беспокойную жизнь, в которой были таёжные ночёвки у дымного костра и утренние рыбалки с тающим в тумане поплавком, промысел нерпы и белуги, исхоженные вдоль и поперек тундра и горы Алтая. Ему было привычно ощущение опустошенности по завершении книги – значит, выложился до дна, но знал он еще и радость удачи, когда осклизлая, в блесках рыбьей чешуи сеть обрывает руки своей тяжестью, и холодное мгновенье перед выстрелом, в азарте гона, когда зверь на прицеле и ружье поставлено на шнеллер, а этим среди писателей могут похвастать далеко не многие.

К таким людям судьба почему-то особенно жестока. Не пощадила она и мастера – загнала под финал в четыре стены, ограничила его мир оконной рамой. Он долго упирался, до последнего часа надеялся, что это еще не конец – вот подлечат немного и тогда... «Посмотри, какие у меня ружья. Отличные ружья! Вот возьмем их, и айда с тобой в тайгу... – начинал и остывал сразу: – Да нет, никуда мы с тобой не махнем. Моё дело теперь – уголёк да печечка». Так он говорил в последний свой день рождения Фанабееву, пришедшему с поздравлением. Пригласив его, писатель оговорился, что вообще-то день рождения в субботу, но – «в этот день

родственники наедут, друзья, то да се, так что ты лучше приходи в воскресенье: никого не будет, пообщаемся спокойно». Может, кто другой и обиделся бы, только не Фанабеев – в его глазах сам факт стоил всех оговорок.

...День постепенно затухал, спрятав августовское жаркое солнце за деревья; в доме писателя было тихо, только с соседней дачи доносились музыка и озеровский стадионный баритон – транслировали закрытие Олимпийских игр. Фанабеев приуныл, поглядывая на мастера: тот сидел по другую сторону стола, погружаясь в свои мысли. Потом сказал, очнувшись: «Слушай, поставь пластинку. Ту, мою любимую, про корабли...» Неделей раньше автора песни навек укрыла гора цветов у входа на Ваганьково, и теперь, слушая хрипловатый голос артиста, писатель поминутно смахивал с лица слезы. И после, когда песня кончилась, попросил прокрутить ее снова: «Он, конечно, чувствовал, что умрет рано. Слова-то какие! – «Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и мечтах...» Страшно это – умирать. Я бы хотел, чтобы во сне...» Фанабеев спохватился, начал разуверять, успокаивать...

Нынче, когда и те, кто с грехом пополам обычное письмо вымучит, на каждом шагу замахваются на поэму или роман-эпопею, профессиональному журналисту вроде бы писать сам Бог велел. Но, сколь ни странным это может показаться, как раз среди газетчиков – столичной ли редакции, маленькой ли провинциальной – редко кто пытается делать художественную литературу. Всё объясняется просто: тот, кто своим хребтом познал, с какими муками дается хорошая строчка, более склонен к трезвой оценке своих возможностей. Фанабеев – редкое исключение. Он, двадцать лет просидев в редакции «районки» и худо-бедно правя чужие тексты, на свои посмотреть со стороны не может. А коль не может, то в своих неудачах ищет виновного где угодно, только не в себе самом. Фанабеев уверен, что обладает всем необходимым, чтобы стать писателем, но одного этого мало, ничтожно мало, – нужны протекции, рекомендации, «звонки» и «врезы». Не сомневаюсь, он не раз одолевал мастера подобными намеками, и тот наконец сдался. Вот он, присев на больничный подоконник и положив на колено книжку, чтобы бумага не продавливалась, медленно, с одышливыми остановками пишет, а Фанабеев млеет возле, с тайным ликованием глядя, как под рукой мастера рождаются волшебные слова, способные открыть доселе запертые перед ним двери...

Фанабеев вовремя подсуетился – это была их последняя встреча: вечером писатель умер. Болезнь потихоньку шла на убыль, через неделю-две собирались выписывать, и он, обнадеженный, что и на этот раз обошлось, не удержался от привычного соблазна...

Материал дописан (точно уложился в разворот – пятнадцать страниц получилось), выправлен и отдан на верстку, пора переключаться на другую работу – и так неделю потерял, а освободиться не могу: писатель не уходит из памяти.

...Вижу, как идет по лесной тропинке, заложив за спину тяжелые руки, изредка окликаая сына, чтобы не убежал далеко. Светлоголовый мальчик

оглядывается, переминаясь с ноги на ногу, поджидает отца, но рядом с ним, молчаливым, идти скучно, и он снова убегает вперед. В шесть лет все особенно интересно: и мохнатый шмель, торопливо летящий по своим неотложным делам, и спиралью скользкая вниз по сосне белка, и сама тропинка, которая катится и катится куда-то, никак не кончаясь.

Они выходят к воде, останавливаются на узком мосту. Отсюда хорошо видны поля, в которых петляет река, и деревня за рощей, и другие леса за ней. Отец смотрит вдаль, опершись на шаткие перила, и сын дергает его за рубашку: «Это в книжках называется пейзаж, да?» – «Пейзаж. Красиво, правда?» – «Правда, – соглашается мальчик. – И про него, про все-все, что мы с тобой видим, нужно писать?» – «Конечно, – серьезно говорит отец. – Ты посмотри только, как здорово вокруг! Как же можно без пейзажа? Без пейзажа, брат, никак нельзя...»

Я гляжу им вслед, как они медленно уходят от речки вверх по косогору, где белеет колоннадой усадьба, прославленная многими гостившими там художниками; провожаю взглядом, пока оба не исчезают из виду. И один вопрос не отпускает, точит, не дает покоя...

В конце лета появляется вызванный моим письмом Фанабеев – вычитать готовый текст (за его подписью, разумеется). Пока он, шевеля губами и согласно кивая, перелистывает гранки – всматриваюсь, пытаюсь прочесть хоть что-то на его лице. Закончив, он довольно потирает ладони.

– Ну, что сказать... Что про уголь выкинули, так это правильно, ловко обошли. А в остальном все точно, как было, написано. Прекрасно получилось! И как это у вас?..

– Старался, – говорю не без злорадства, пропуская мимо ушей его грубоватую лесть.

– Да-а... А сами-то вы писателя хорошо знали?

– Вам известно, как он умер? – не отвечая на вопрос, спрашиваю в упор. Фанабеев долго молчит: чешет затылок, ёрзает, пожимает плечами.

– Пришел я в больницу днем... – он откидывается на спинку стула, прикрывает глаза. – Да, днём, как сейчас помню. Ещё дождь был. Часа два у него просидел, разговаривали мы. Потом, значит, он ещё предисловие мне писал. А вечером...

– Его многие навещали?

– Кому там! Мать старая совсем, никогда не выбиралась, а с женой он... сами знаете. Может, и приходил кто, но я не видел.

– А кто же мог принести ему бутылку?

Фанабеев изумленно таращится, испуганно машет руками.

Зря я, конечно, на него накинулся. Жалельщики всегда найдутся, только свистни, – войдут в положение, слетают за угол, купят, пронесут. Зря, зря грешу на Фанабеева. Но ведь был же кто-то, кто не решился сказать писателю «нет»!

Через месяц материал благополучно выходит. Конечно, на планёрке, когда он обсуждался в полосах, кое-кто и воротил нос, но в итоге всё осталось, даже упоминание о бутылке, – подкупило обещание, данное писателем маме.

Первым позвонил приятель-поэт: злорадно осведомился, висят ли воспоминания на доске лучших материалов. Ответил утвердительно.

– Кто бы сомневался! – рассмеялся он. – Увидишь, что дальше будет!

Фанабеев откликается через неделю – раньше никак не мог, был очень занят: раздавал с автографами авторские экземпляры, которых накопил штук тридцать.

– Поздравьте меня, нас то есть! — прокричал в трубку. – Такой успех, не ожидал даже! Уже звонили, обещали включить воспоминания в общий сборник!

Оставалось лишь пожелать ему дальнейших успехов.

1985

II

«Мальчишник»

*Все совпадения с какими-либо конкретными именами
и событиями – абсолютно случайны*

Пушкин и его Звезда



У переводчика «Интуриста» была непоэтичная фамилия – Пушкин. И вполне заурядная биография: родился в офицерской семье в последний год большой войны, детство провел в крошечном провинциальном городке. Вскоре после его рождения отец-фронтовик умер, мать через полковых друзей мужа устроила десятилетнего Пушкина в столичный военный интернат и сама перебралась в Москву, поближе к сыну.

Тогда Суворовское училище было заведением элитарным: воспитанники щеголяли красивой черной формой, в программу обучения входила эстетика поведения, а неперменный язык дворянских недорослей им преподавали так основательно, что и десятилетия спустя, ежегодно собираясь в день окончания «кадетки», однокашники в застолье шутя переходили на французский.

Пушкину легко давались языки – получив аттестат, он выбрал МГИМО, где половина мест по неписаным правилам отдавалась ребятам «от станка». Хотя относился к категории так называемых «неимущих», на сей счет не комплексовал, был душой любой компании. Он обладал белозубой «гагаринской» улыбкой, живым умом и тем необъяснимым даром, который называется «харизма»: с его появлением все вокруг начинали улыбаться.

Вскоре Пушкин удостоился внимания самой завидной на курсе невесты, дочери министра и члена ЦК КПСС.

Министра оперативно уведомили о романе дочери, и перспектива родства с сыном уборщицы его, уроженца вологодской деревни, не обрадовала: приватно встретившись с потенциальным женихом, он доходчиво объяснил Пушкину, что молодому человеку в комсомольском возрасте важно хорошо окончить институт, нормально трудоустроиться и постараться сделать карьеру, а всего этого может не случиться, если он не оставит девочку в покое, причем исчезнет тихо и тактично. Пушкин ошарашено пообещал и от министерской дочери отчалил. Однако она была характером в отца – привыкла получать все, что хочет, любой ценой, и показала родителям небо в алмазах: три суицидальные истерики (резаные вены, бельевая веревка и горсть люминала) вперемежку с нервными клиниками сделали папу-министра сговорчивым.

Полгода спустя Пушкин снова выслушал назидательный монолог про институт, работу и карьеру, которые могут полететь в тартарары, если он (раз уж так вышло) не сделает все интеллигентно и разумно. Пушкин снова дал честное слово и вскоре переехал в мемориальную высотку на набережной, где молодым оборудовали семейное гнездо на одной лестничной площадке с будущим тестем. Но счастливой развязки не получилось: невеста с диагнозом «прогрессирующая шизофрения» и второй группой инвалидности превратила жизнь Пушкина в кошмар.

Пушкин капитулировал: возвратился в коммуналку, в комнату матери, где и жил в отгороженном шкафом углу. Тут как раз началась преддипломная практика, сокурсники разъехались по зарубежным посольствам и консульствам, лишь на долю Пушкина иностранного государства не хватило – получил работу в бюро обслуживания гостиницы, и практика автоматически обернулась распределением с положенной двухлетней отработкой диплома.

Поскольку Пушкин был трудолюбив и безотказен, вскоре впереди замаячило прощение – ему доверили индивидуальную работу с иностранцами. Первой его гостьей оказалась Звезда.

Покорив Москву в 70-м, накануне своего стремительного взлета и всемирной славы, она стала приезжать сюда с концертами ежегодно, что для москвичей, не избалованных сиянием звезд мировой величины, было событием. Низкорослая, скуластая, с коротковатой шеей (Пушкин не мог этого не заметить, хотя мальчишеская стрижка такой недостаток зрительно скрадывала), ничем не примечательная девчонка из рабочего квартала. Невзрачный вид преображал ее необыкновенной красоты и мощи голос, которому заморожено внимали миллионы людей.

Как и у переводчика Пушкина, у неё было послевоенное полугодовалое детство. Участь десятого ребенка в рабочей семье не предполагала избалованности, и цепкий продюсер с детства стал определять всю её жизнь: как одеваться, с кем общаться, что петь... Он сделал из неё Звезду-недотрогу – её фамилия не мелькала в колонках скандальных хроник, вездесущие папарацци ни разу не поймали певицу ни с одним кавалером.

Она работала как одержимая, и бурным романам в ее жизни не находилось ни времени, ни места. Про нее даже говорили, что всем мужчинам она предпочитает Бога, поскольку регулярно была замечена в церкви. И вот, к всеобщему удивлению, в Москву Звезда прилетела с бойфрендом, знаменитым композитором, потому обычная плановая гастроль неожиданно приобрела для ищущих сенсаций западных журналистов (наши в те времена такими пустяками не интересовались) пикантный марьяжный привкус. Между тем ее бойфренд вовсе не испытывал симпатий к нашей стране, а это вызывало интерес уже у наших журналистов и перетянуло на себя львиную долю их внимания. Родная пресса настолько успела одомашнить зарубежную девушку, что даже её исчезновение не было сразу замечено.

Звезда пропала на второй день пребывания в первопрестольной: после концерта вернулась в «Националь», поднялась до начала банкета в свой номер, откуда через несколько минут выпорхнула в сопровождении русского переводчика, в банкетном зале не появилась, и больше её никто не видел.

Бойфренд Звезды, стареющий плейбой с копной седых волос, артистично дирижировал номенклатурным банкетом, непринужденно начав его без виновницы торжества, и так очаровал функционеров Минкульта, чиновников Госконцерта и нескольких представителей советской эстрады (число приглашенных было ограничено), что они до полуночи довольствовались лишь его присутствием. Когда ожидание достигло предела – где же наша ласточка? – плейбой, которому люди свиты время от времени что-то возбужденно шептали на ухо, вдруг откланялся, передав столичному бомонду привет и извинения певички: она-де устала и не в силах почтить вниманием собравшихся.

На следующий день отвечающие за гастроль чиновники чуть свет стояли на ухах: певичка не приехала ни в Третьяковскую галерею, ни на творческую встречу с тружениками часового завода. На двери её апартаментов висела табличка с просьбой не беспокоить, на телефонные звонки отвечал секретарь бойфренда, с грехом пополам говоривший по-русски, и монотонно сообщал: Звезда занедужила, но за час до начала концерта будет в театре. Напрягало, что предложение медицинской помощи было отвергнуто, а похожий случай несколько месяцев назад уже имел место – великий французский мим, прибывший в Москву для съёмок фильма с участием нашего кошачьего клоуна, тоже страдал от скверной еды, в итоге его с перитонитом едва успели увезти на родину. И когда к назначенному часу Звезда в театр не явилась, администрация подступила к гостиничным дверям, требуя предьявить звёздную девушку живой или мертвой. Вышел лишь раздраженный бойфренд – сделал официальное заявление об отмене концерта. По причине внезапной болезни, которая, как он надеялся, должна через день-два пройти. Сообщая об этом, он снова пользовался услугами собственного секретаря, и лишь тут все заметили отсутствие приставленного к гостье советского толмача. Впрочем, конкретные люди его уже искали.

...В первый день Пушкину пришлось изрядно поработать – он переводил двухчасовую пресс-конференцию в министерстве культуры и нудные деловые переговоры Звезды и ее импресарио с чиновниками Госконцерта за обедом, но вечер неожиданно оказался не загружен – певица заранее предупредила, что на репетиции предпочитает обходиться без переводчика, поскольку музыканты понимают друг друга без проблем (хотя попросила, чтобы он на всякий случай оставался поблизости). Простенькая, незаметная, она производила впечатление скорее деловой женщины, чем артистки. В театре певица скрылась в гримерной, Пушкин битый час слонялся по перекрытому охраной коридору. Он не понял даже, как это произошло, но когда Звезда наконец вышла – онемел.

На ней было короткое, с лямками крест-накрест черное платье, целиком открывающее плечи и руки, и никакая мишура не отвлекала внимания от лица, отрешенного и прекрасного. Она стремительно прошла по коридору, который вдруг сразу обезлюдел, поднялась на сцену и замерла в центре прожекторного круга, уронив руки и откинув голову, и стояла так – минуту? пять? десять? – божественная, неземная, под шквалом аплодисментов, которыми её стоя приветствовали оркестр и зрители в чёрной бездне зала...

Когда Пушкин рассказывал о Звезде, сидя с друзьями на кухне у пропи того барда-каэспешника, хозяин, смурной и лохматый, то и дело хлопал его по плечу и кричал в нетрезвом умилении:

– Нет, ты скажи, признайся, сучий потрах, ты влюбился? Влюбился ведь, факт!

А Пушкин и не отрицал.

Они тогда душевно залили за ворот, и потом, перетряхивая в памяти эту историю, так и не смогли вспомнить, кто именно высказал абсолютно безумную мысль: а не слабо тебе, Пушкарь, умыкнуть Звезду у её линиялого лабуха? Идея показалась занятой, её, с подначками, стали развивать: скрипач Занд предложил личный королевский «Роллс-Ройс», поэт-текстовик Жмых – ключи от маршальской своей квартиры, кто-то ещё – деньги, а хозяин кухни, как обычно, всё сводил к излюбленному варианту: видала она шестидверные лимузины, а вот чтобы запросто, с водочкой под картошку и килечку, с гитарой ночку побдеть...

Посмеялись.

А на другой вечер на этой кухне, прокуренной и жаркой, на почётном месте между плитой и холодильником, в антикварном кресле, найденном на помойке, но любовно отреставрированном и заново обитом вишнёвым бархатом, сидела Звезда. На подлокотнике, пьяный от водки и любви, примостился Пушкин, уронив свободную от стакана руку на хрупкое плечико певицы, и она трогательно запрокидывала голову, когда пальцы Пушкина щекотали ей шею, и ничего не говорила, только глядела на него из-под чёлки карими покорными глазами.

Вокруг клубилась в табачном дыму и аромате шашлыка непереводаемая на другие языки жизнь: некто с мрачным лицом вещал что-то страшное, а все заходились от смеха, нечёсанный человек без слуха и голоса пел, лениво перебирая гитарные струны, и застолье хором подхватывало припев,

не в лад, но громко и радостно, и пили горькую водку полными стаканами, будто хотели побить рекорд в Книге Гиннеса. Все тут были свои, и певица растворилась среди друзей, по-домашнему милая, очень русская и абсолютно неизвестная. («Пушкин никак с новой девушкой нынче», – замечал из коридора кто-то из пришедших и гадал: на кого она отдаленно похожа?) Шумную компанию хозяин постарался выпроводить поскорее, но раньше двух часов ночи всё равно не получилось, и когда, наконец, последние припозднившиеся звучно хлопнули дверью, гостья подняла телефонную трубку. Пока она приглушённо разбиралась со своим бойфрендом, хозяйка, разгребая грязную посуду, раскладывая тахту и стеля постель, пилили протрезвевшего Пушкина: ну ты отколол!.. да тебя теперь живьём в землю зароят!.. На это ничего вразумительно сказать он не мог, лишь покаянно разводил руками.

Две ночи и полтора дня они прожили на кухне в крохотной квартирке барда. Дважды Звезда звонила бойфренду, но что ему говорила, и как он крутился, создавая иллюзию её присутствия, Пушкин даже не пытался вообразить.

Бард и его жена старались соблюсти конспирацию, но у них был не дом, а проходной двор, и то, что хозяйка не подходила к телефону, мало кого останавливало – валом валили неожиданные визитёры, с которыми сразу прощались, не пуская дальше порога, и внезапная таинственность слишком явно бросалась в глаза.

Около полудня во дворе появилась большая черная машина. Статный старик и пара крепких молодых людей вошли в подъезд, откуда быстро вышли уже четвером, сопровождая девушку в накинутом поверх черного платья рыжем манто.

Вечером Певица дала в Москве второй и последний концерт. Столичная пресса, почему-то проявив в освещении гастроли необъяснимую сдержанность, тем не менее отметила, что это было лучшее выступление Звезды, несмотря на внезапную болезнь.

Утром, когда Звезда улетела на родину, сотрудник бюро обслуживания Пушкин появился на своём рабочем месте. Он обречённо ожидал неизбежного официального разговора, однако никто никаких вопросов ему не задал ни в тот день, ни через неделю, ни месяц спустя.

Через некоторое время Пушкина вызвали на собеседование в высокий дом на Смоленской площади и предложили работу по специальности – в уютной зарубежной стране, куда нужно было выехать как можно скорее. При одном условии: в командировку он посылался с женой. Поскольку министерская дочь находилась на излечении, а других кандидатур у нашего героя не было, поездка грозила сорваться. Но тут приятель случайно позначил его с милой девушкой, случайно оказавшейся дочерью начальника отдела департамента, к которому был приписан Пушкин, и всё сразу же случайно устроилось: в порядке исключения загс оформил брачующихся без испытательного срока, и соответствующая контора оперативно сделала выездные документы.

Пушкиных провожали в загранку на той же самой кухне. Он опять примостился на подлокотнике кресла, а на вишневом бархате, поджав под себя ноги, напряженно улыбалась его молодая жена. Был Пушкин грустен, хотя много шутил, и всё порывался насвистывать популярный мотивчик того времени – песенку «Чао, бамбино, сорри!», но сбивался на припеве и сердился: он не любил, когда у него что-то не получалось. А вообще тот зимний вечер располагал к хорошему настроению – ко всему и старый Новый год отмечали.

Певица вскоре тоже вышла замуж, однако не за престарелого бойфренда – её сердце вдруг покорила быстроногий спортсмен. Как всегда, Звезда много гастролировала по миру, только в Москву долго не приезжала, собралась лишь на свой творческий юбилей. Её концерт в первопрестольной прошел с огромным успехом – певица, несмотря на возраст, внешне мало изменилась, и голос по-прежнему был чист и звонок.

На выходе из зала показалось, что в толпе мелькнул Пушкин. Хотя, конечно, обозначился – много лет прошло, да и дипломаты все на одно лицо.

Штучная модель



В 75-м у студента Занда был самый роскошный в Москве автомобиль – шестидверный «королевский» «Роллс-Ройс», модель штучная (из первой десятки – знатоки оценят), на которой тогда колесили только шах Ирана, один из «битлов» и пяток нефтяных магнатов. Даже в гараже товарища Л.И. Брежнева, собиравшего в свободное от строительства социализма время четырёхколесные раритеты, такого экспоната не было, и референт «бровеносца» с безнадёжной регулярностью одолевал Занда предложениями обменять «Роллс-Ройс» на любой коллекционный членовоз. Занд, хотя и подозревал, что при дальнейшем его упорстве елейные уговоры могут однажды закончиться элементарным угоном или какой-нибудь крупной гаишной пакостью, оставался непреклонен: это был подарок Судьбы, и расставаться с ним он был не вправе.

Кроме того, Занд ценил главное достоинства лимузина: лишь однажды его тормознул постовой – отковырял, извинился за своё поведение и признался, что хотел тольколучше рассмотреть машину. Где бы Занд ни парковался, владельцы отечественных тачек окружали «Роллс-Ройс» завистливым почётным каре, так что и на охранную сигнализацию можно было не тратить.

В то время Занд оканчивал консерваторию по классу скрипки, а первокурсником он получил Гран-при на международном конкурсе молодых исполнителей. В том, что Занд займет первое место, никто не сомневался: он уже слыл виртуозным музыкантом, а кроме того, зарубежный Маэстро (устроитель конкурса своего имени) в юности сам стал первым призером на аналогичном мероприятии в Москве, и все ждали от него ответного отдарка. Маэстро был по-американски расчётлив: фамилия советского студента вдобавок имела коммерческую ценность (Занд с гордостью причислял себя к потомкам знаменитой французской романистки Жоржетты), и через полгода после конкурса пригласил своего юного лауреата в европейское турне – на концертах Занд играл в первом отделении, разогревая публику, а Маэстро эффектно завершал их выступление. И жмотом он не был – все заработанные на гастролях деньги честно поделил фифти-фифти.

Жмотом оказалось родное государство: во время между победой Занда на конкурсе и участием в турне, Советский Союз решил охранять авторские права на мировом уровне, и если конкурсную премию в виде пачек зелёных банкнот Занд обалдело привёз в спортивной сумке, отделавшись терпимыми поборами, то гонорар за европейские гастроли уже полагалось получать «деревянными» чеками Внешпосылторга в советской кассе. Мудрый Маэстро, предвидя такой оборот, дал юному другу несколько ценных советов, которыми Занд не преминул воспользоваться: по пути домой завернув в страну, где было много хороших банков, в Москву прилетел с пустыми руками. Естественно, от него строго потребовали объяснение, и оно вскоре прибыло в порт Одессу (Занд был искренен в своём неведении – всё организовал Маэстро). Тогда скрипач прав на вождение автомобиля не имел, за посылкой отправился его друг, поэт-песенник Жмых, через неделю прикатил в столицу четырёхколёсное чудо. Сразу обнаружилось, что «Роллс-Ройс» сродни волшебной палочке. Пока Жмых перегонял машину, ошенилась его элитная сука-пуделиха, по недогляду жены оприходованная во дворе беспородной сворой, и появление на свет полдюжины живописных ублюдков повергло хозяев в транс: сообщать о таком приплоде в собачье общество нельзя, а топить жалко. Недолго думая, Занд подхватил коробку с писклявой оравой, запихнул в лимузин, и друзья отправились на Птичий рынок. Вокруг сказочной машины мгновенно образовалась толпа, за первого щенка продавцы сходу получили пятьдесят рублей (по тогдашнему курсу инженер стоил 120 рэ в месяц), уже за второго им дали сто, а покупатели всё наседали, протягивали деньги через головы друг друга, набавляли цену... Последний пушистый комок ушел за двести пятьдесят, и когда «Роллс-Ройс» тронулся с «Птички», несколько человек долго бежали за машиной, пытаясь выведать, скоро ли будет очередной щенячий завоз...

У Занда началась другая жизнь.

Лимузин анекдотично смотрелся в убогом дворе, зажатом между хрущёвскими пятиэтажками, и это побудило ускорить процесс получения нового жилья, который и так назревал вместе с беременностью молодой жены

Занда. Хлопотами по дружбе занялся Жмых, совместивший свои обширные связи с хорошей идеей поселить товарища в том же доме, где он сам незадолго до того купил огромную квартиру.

Дом, подстать «Роллс-Ройсу», тоже был «штучный»: в двух шагах от Кремля, в тихом переулке – первый московский кооператив, организованный для ветеранов партии. Снаружи основательный и суровый, в соответствии с советской эпохой, внутри дом отвечал дореволюционным представлениям о нормальном жилье: квартиры о двух входах – парадном и «чёрном», пятиметровые потолки, просторные залы анфиладой, общей площадью в две-три сотни метров. Было у этого дома еще одно достоинство: цены в кооперативе не изменялись с 30-х годов, жилье здесь стоило не дороже, чем банальная квартира в современной новостройке.

К началу семидесятых первые жильцы стали мемориальными досками, густо облепившими фасад, всех пережил суровый соратник Чапаева – герой гражданской войны Усач-рубака, знаменитый своей левой десницей: ударом шашки надвое пластовал врага от погона до седла. На его внучке, кстати, женился друг Жмыха, популярный комедийный киноактёр. Свадьбу играли в квартире невесты, до рассвета гудели всей киношной братией и под утро, как водится, дошли до анекдотов. Когда жених, смехом давясь, рассказывал сто первую хохму про Чапаева, гости вдруг заметили, что дед-Усач, по крестьянски привыкший вставать с первыми петухами, сидит с краю стола и чаёк попивает. Смех пресёкся, но соратник комдива, со словами: «Говорил я Ваське, учись, не то так дураком и потонешь», невозмутимо удалился в свою комнату. Когда и Усач отошел в Историю, телезрители дивились, почему в похоронном репортаже за траурным орудийным лафетом гурьбой идут любимые мастера комедийного цеха... По смерти ветеранов квартиры переходили к наследникам, а за неимением таковых часть жилья освобождалась вовсе, но кооперативное товарищество стойко выдерживало правило принимать новых членов лишь по их причастности к партийной истории. Бабушка Жмыха, в начале века перевозившая в ридикюле ленинскую «Искру» из зарубежья в Россию, в качестве поручителя сгодилась, а с деньгами внук собрался сразу, как только две его песни – про синий лён и брошенное в пургу сердце на снегу – вдруг запела вся страна (финансовые отчисления с каждого «живого» исполнения быстро накопились на вступительный пай).

С Зандом дело обстояло сложнее: средства ему позволяли, но партийных предков не нашлось, да и нерусская фамилия, хоть и прославленная на весь мир, при обсуждении жилищной проблемы помогала плохо. Выручила творческая фантазия Жмыха: после того, как седовласое правление кооператива вывезли в «Роллс-Ройсе» на экскурсию в Ленинские Горки, вопрос с жильём для скрипача скоро решился, и Занд с женой и новорожденным поселились по соседству со свердловыми и бончами-бруевичами. И тут на Занда неожиданно обрушилась Любовь.

У Герды были чувственные губы, умение даже в потёртых джинсах выглядеть королевой и ниспосланный Богом дар драматической актрисы. Какие бы роли ей ни давали в театре и в кино – студенток, секретарш, сказочных принцесс или дворянок прошлого века, она всегда играла саму себя:

наивную, импульсивную, капризную, страстную, самоотверженную. Каждый новый фильм или спектакль на сцене самого современного театра Москвы с участием Герды становился событием. Её имя было культовым – даже сегодня, когда она почти не снимается, в театре занята всего в двух-трёх спектаклях, и у неё уже совсем взрослая дочь (результат следующей, после разрыва отношений с Зандом, эпатажной любви с настоящим восточным шахом), Герда по-прежнему во всех рейтингах самых ярких и сексапильных актрис нашего времени оказывается в первой десятке. По богемным меркам, роман Занда и Герды длился довольно долго. Завистливые языки поговаривали, что в отношениях с мужчинами Герда отнюдь не бескорыстна, и, когда она, познакомься с Зандом, сразу взяла инициативу в свои руки, хором разнеслось: всё, мальчик, пропал... Занд и впрямь пропал: в новой квартире сиднем сидела, занятая воспитанием младенца, жена-однокурсница, а его затянул бурный любовный коловорот.

Своих отношений влюбленные не скрывали – если бы в те времена наши газеты и журналы публиковали скандальную светскую хронику, Занд с Гердой обеспечили бы читателей клубничной жвачкой на год вперёд. Когда Занд снялся в телепередаче о юморе в классической музыке, его пригласили посмотреть черновой монтаж, но он сказал, что в таких тонкостях не петрит: «Лучше моей девушке покажите, она в этом больше разбирается». Приехала Герда, оценила рабочий материал и распорядилась: этот кусок вырезать – здесь Занд полную чушь порет, такой ракурс не годится – в профиль он слишком страшненький... История докатилась до председателя Госмаскульттелерадио, и тот, резонно полагая, что он один облечён правом решать, что хорошо, а что плохо, велел собрать съёмочную группу и пригласить сладкую парочку, о возмутительных выходках которой ему все уши прожужжали.

В назначенный день и час Занд и Герда приехали на телецентр – прямо с дачи, в шортах и майках, по июльской жаре – лёгкие, молодые, красивые. В ожидании звонка прохлаждались на сквознячке, на лестничной клетке, поедая черешню из кулёк и время от времени целуясь. Они слишком увлеклись друг другом, и когда мимо, отирая с лысины пот, протопал некто, изнывающий в чёрной тройке, влюблённые бровью не повели. А неузнанный председатель, появившись в просмотрном зале, немедленно приказал охране выгнать вон хиппующих на лестнице уродов (в ярости чинуше почудилось, будто они еще и один косяк на двоих смолрили), после чего благостно растёкся в кресле, велел начинать (что Занд с Гердой находятся здесь, он знал – на стоянке у подъезда его шофер еле уместил казенную «Волгу» рядом с буржуйским «Роллс-Ройсом»). Ну и вид был у председателя, когда ему через полчаса доложили, что скрипач с артисткой уехали, оперативно выставленные милицией...

В последний раз «Роллс-Ройс» оказался на слуху, когда пассия скрипача, опаздывая на репетицию, не разминулась на Бульварном кольце с «Аннушкой» (трамвай в аварии пострадал гораздо сильнее лимузина), и Герда, будучи натурой весьма обязательной, убежала в театр, бросив помятую железяку посреди улицы...

Ни скрипач Занд, ни его друг, поэт-песенник Жмых, в мемориальном большевистском доме давно не живут.

Жмыху всё было, как с гуся вода, – написал всего четыре песни, зато их порастащили по репертуарам самые голосистые, от Мондрус до Магомаева, и десять лет наваривали ему бабки с каждого живого исполнения. На зависть коллег из поэтического цеха откровенно плевал, даже когда известный желчный поэт напечатал стишок: «Вся бездумщина, вся цыганщина, весь набор про «сэрдца на снэгах», – это липкая тараканщина с микрофоном в лапках-руках» – обиделся не Жмых, а поэтесса Тараканова. Он жил не тужил, намеревался написать ещё пару-другую хитов, и вдруг погорел. На бытовухе – насмерть рассорился с женой. Как-то, вернувшись не в духе домой, ночью уже, застал у себя на кухне заводной коллектив: жена с подружками (Герда была и Асоль – вся троица из одного театра) девичник устроить решили. В комплекте они являли гремучую смесь: Асоль, по-прозвищу Вторая Градская, сделалась феминисткой (в интервью массовому женскому журналу расписалась в ненависти к мужчинам вообще и к своим бывшим мужьям в частности), да и Герде, при ангельской её внешности, палец в рот не клади – руку отхватит. Находясь в изрядном подогреве, они Жмыха ни только рюмашкой не уважили – вовсе за свой стол не пустили. А он нет чтобы тихо отправиться спать, от злости вконец ополоумел: милицию вызвал, потребовал забрать хабалок в околоток. Обитателей шикарного дома стражи порядка уважали-побаивались (в утверждение своих законных прав хозяин паспорт с пропиской предъявил), известных артисток в лицах подвыпивших гражданок узнать было трудно, а они еще полезли на рожон: да мы!.. да вас!.. да пошли вы отсюда на... – разве что большой загиб не вспомнили. Ну и загремели в участок. Поутру главреж с партогом театра (тоже актёры, всенародные любимцы), вооружась орденами и всесоюзной популярностью, ринулись вызволять своих героинь из плена. Еле уговорили порвать протокол (менты были в большой обиде). Жмых проспался, осознал идиотизм положения, у Занда спрятаться хотел, но тщетно – вечером, снова сойдясь втроём, подружки отловили подлеца и долго били: били с блаженством, вымещая неотыгранную ночную ярость, а заодно и давние свои обиды, – били всем, что под руку подвернулось. Жмых даже не пытался защищаться, размазанный по стенкам, и кто из воительниц в запале расколол об его темечко гранитную пепельницу, вообще не запомнил – напрочь память отшибло.

Потом Жмых с женой удручающе разводились, попутно сжигая мосты: грохали о пол кузнецовский фарфор, кидались книгами, дрались. Разведясь, делили оставшееся целым добро – прятали у знакомых, кто что первым схватил: каминные часы XVIII века, допотопный музыкальный раёк, фаянсовые безделушки... Поочередно угоняли друг у друга машины (обе Жмых в своё время опрометчиво оформил на жену и тёщу, сам ездил по доверенности). Потом разменивали «штучную» квартиру: тщетно искали хоть что-то похожее, чтобы каждому без обид, три года перебирали варианты, всё это время топчась на одной территории, – запершись по комнатам, повесив на дверь ванной график пользования удобствами,

условно разграничив коридор, проникая в дом каждый своим входом (Жмыху достался чёрный, через кухню). В итоге на свою двухсотметровую равноценного обмена не нашли – только две по тридцать (ладно, хоть в черте Садового кольца), и разъехались наконец, прокляв друг друга навеки. А месяц спустя, не успев распаковать на новом месте, Жмых умер от инфаркта в свой сорок пятый день рождения. Бывшая жена слегла от горя: после стольких лет, потяни она с обменом ещё всего ничего...

Похоронив друга и окончательно расставшись с Гердой, Занд перебрался в Америку. Большой славы там не снискал, но в стране, где только симфонических оркестров три сотни, без работы не скучает. В Москве бывает редко, раз приезжал на консерваторский юбилей. Недавно у него в Штатах гостил наш общий приятель-пианист и по возвращении с ужасом живописал, как Занд весь вечер обрывал телефон – организовывал белый смокинг и белый же кадиллак для поездки на выступление. Пианиста бросило в жар – ему через несколько дней тоже предстояло давать концерт, а в его гардеробе имелся лишь банальный черный фрак. Но Занд приятеля успокоил: это ему, как порядочному американцу, приходится в их игры играть, а русскому гастролёру сподручно выйти на сцену хоть в брюках с подтяжками на виду – сочтут большим оригиналом и примут с немалым восторгом (в чём пианист, кстати, и убедился).

Сегодня понятие «штучность» теряет былую прелесть. Вот и знаменитый британский завод «Роллс-Ройс» пошёл с молотка: его со всеми потрохами купил крутой европейский концерн.

И у нас нынче кого удивишь роскошным лимузином?

Командир Очакова



Тогда по утрам, в вагоне метро или электрички, оглядевшись по сторонам, привычно отмечали, кто что читает: «Огонёк», «Работница», «Крокодил»... В среду преобладала выходившая в тот день «Литгазета». Или иначе – выход «Литературки» означал, что наступила среда. У сотрудников редакции, где газета, естественно, появлялась на столах на день раньше, любимый прикол был – читать завтрашний номер на людях, чтобы сосед или прохожий, машинально скользнув взглядом через плечо по чужому чтиву, вдруг изменился в лице, предынфарктно задохнулся фразой, типа: «Блин, я же в среду должен быть в командировке!» Обычно газету начинали читать с последней 16-й страницы (с раздела «Рога и копыта») или открывали на середине второй тетрадки, где традиционно печатались судебные и морально-назидательные очерки. Фамилии постоянных и штатных авторов «Литгазеты» были тогда у всех на слуху: Ваксберг, Богат, Графова, Рост, Рубинов...

Шкворчихин специализировался на подростковой преступности. Когда в 80-м он пришел в «Литературку», ему было за тридцать, и в своём жанре Шкворч считался асом. А уголовную тему Юра забил за собой

с самого начала, едва появился бойким пятнадцатилетним постшкольником в «Комсомольской правде» (начинал с разгонного репортера).

В столичной молодёжке не любил, когда журналист сразу оседлывал одну тему. Считалось, пока не отточил перо, сначала каждый должен писать обо всем на свете. Шкворчихин от скучных заданий увильнуть не мог, но выдавал текст «без звезды» – вроде всё грамотно, печатать можно, только второй раз Юру в райком комсомола или на завод не посылали, заранее зная результат. Зато в своем любимом жанре Шкворч раскручивал тему на полную катушку: уже через год после своего журналистского дебюта надыбал такой материал, что с его публикацией органам волей-неволей пришлось открывать уголовное дело, по которому десяток криминальных личностей пошли под расстрельную статью.

У себя в отделе Шкворч был в своей стихии – целый день вокруг него толпились разные колоритные типажи: юные футбольные фанаты, молодые оперативники МУРа, смурные фарцовщики, отмотавшие первый срок подростки. Здесь говорили на своём, им одним понятном языке, и посторонний, окажись случайным свидетелем этих разговоров, вряд ли смог бы потом внятно пересказать, о чём шла речь.

Через десять лет, после того как Шворчихин стал распахивать своё поле, его знали в лицо чуть ли не все столичные урки и работники правопорядка. Однажды, январской ночью уйдя из поздней компании, застряли на Юго-Западе. Время близилось к четырем утра: поймать такси невозможно, возвращаться туда, откуда ушли, уже глупо, а мороз трещал под тридцать, и шансы дожить до открытия метро были нулевые. Шкворч указал путь к спасению – невдалеке светилась вывеска отделения милиции. «Скажем, что матерьял собираем, – подмигнул Юра. – До открытия метро в тепле перекантуемся».

В околотке выяснилось, что не мы одни такие умные – там уже грелись полдюжины комсомольцев–дружинников (проводили рейд по отлову местных путан). Ночных бабочек они на морозе не наловили, но где-то нагребли кучу порнографических журналов и теперь, разомлев в тепле, вождельно их рассматривали: подолгу облизывали глазами глянцевые картинки, спохватывались, хором говорили: «Срамота!» – и снова погружались в созерцание.

Отрабатывая наш приход, Шкворч завел занятную беседу с дежурным, простодушным деревенским парнем:

– Что ты в протоколе арестованным красоткам написать можешь, если у нас проституции официально как не было, так и нет?

– Ну, что... Пишем: в ходе проведения операции «Русалка» задержана на предмет серьёзной ласки...

Здесьним милиционерам доставалось основательно – в их районе базировались два десятка общежитий с соответствующей публикой (не столько студенты, сколько лимитчики).

– ...Проститутки ещё цветочки, – зевая, бубнил дежурный. – Хуже, когда весной из-под сугробов подснежники вылезут... И ладно бы свои, а ведь тут негров навалом, с ними сложнее...

– Ага, с посольскими чиновниками туго объясняться, им за здорово живёшь мозги не запудришь!

Шкворч подначивал милиционера, вовлекал в свою игру, но тот оставался невозмутим:

– Морозы наши зверские, а у негра организм нежный, к холодам непривычный, вот и замёрз.

– А если эксперт на нем пяток ножевых дырок насчитает?

– Так с чего видно, что они – ножевые? В сугробе всю зиму пролежал, школьники на лыжах катались, палками и повредили...

Это, конечно, типичный ментовский стёб – со стражами порядка надлежало держать ухо востро. И не только с милицией.

У Шкворча была своя нора – однокомнатное жилье на окраине Москвы, куда приходилось добираться электричкой, и та квартира, именуемая по месту расположения «Очаков», полтора десятка лет оставалась любимым местом общего сбора своей компании. Среди недели обычно собирались стихийно: если Шкворч не сдавал срочный текст в номер, и под конец рабочего дня в его кабинете оседал душевный коллектив, с которым хотелось кентоваться дальше (все герои шкворчихинских очерков перебивали у него дома), кайф общения продлевали – брали в ближайшем гастрономе горячее и закуску на всю найденную в карманах наличность, ловили любой четырёхколесный транспорт, пилили «на крейсер». В выходные, когда точно знали, что командир дома и свободен, съезжались без предварительных созвонов (телефон на «Очакове» был, однако, по неясной причине, работал как уличный таксофон, в одну сторону – оттуда), настраивались на гудёж с ночевкой, не предполагая заранее, кого у Юры застанут, но точно зная, что время зря не потеряют. Общались, как все на тогдашних кухнях: много говорили, много пили, много пели. Обычно солировал Шкворч – под гитару, обходясь двумя-тремя аккордами, шепелявя и пришептывая, но с такой душевной самоотдачей, что ни у кого не возникало сомнений в его гениальном исполнительском даре. «Окажись, не дай Бог, на зоне, не пропаду – буду у пахана под зонтиком на бандисе греметь!» – Шкворч крепко уповал на свой репертуар: всю блатную и лагерную классику лабал.

Шкворча часто *п а с л и* – про то вся команда знала. Раз, двигая душной июльской полночью от станции «на крейсер», споткнулись, не дойдя до цели сотни метров, – из кустов акации разносилась по улице знакомая полифония: шепелявил Шкворч, поэт Рюриков требовал исполнить на бис «Окурочек», звенели стаканы, и гвалт в полтора десятка глоток грозил перебудить весь полусонный квартал. Казалось, что компания, одурев от жары, выбралась на природу, однако в кустах никакой толпы не наблюдалось – только радиатор черной «волги» поблескивал сквозь листву, да пара сигаретных огоньков поочередно мерцала в глубине машины, откуда и доносились плывущие по радиоволнам голоса.

– Да знаем, знаем! Они весь вечер в крапиве лежат! – отмахнулся Шкворч. – Ну мы им сейчас концерт по заявкам забабахаем! А ну-ка, хором: «Чистые руки, горячее сердце, холодная го-ло-ва»!..

Негласный надзор объяснялся просто – в углу на диване светились физиономии два американских студента–слависта (ей-ей агенты ЦРУ).

«Крейсер» никогда не пустовал – едва Шкворч уезжал в командировку или временно отбывал к очередной любимой девушке, в его доме сразу поселялись бесквартирные друзья. Случалось, хозяин покидал «Очаков» надолго – год жил у новой супруги на улице Горького. Кстати, тогда он влип в громкую историю.

Воскресным летним вечером Шкворч отправился выгуливать любимого бобика жены, а заодно курево купить. Все ближайшие киоски уже закрылись, оставался работавший допоздна Елисейевский магазин. Поленясь идти четыре остановки, Шкворч влез в полупустой троллейбус и нос к носу столкнулся с милиционером, который, мягко выражаясь, был в подпитии. По опыту Шкворч знал, что пьяному менту смотреть в глаза не рекомендуется (может без причины стрельбу открыть), но страж порядка уже налился яростью – повода для придирок хватало: двухдневная щетина, тапочки на босу ногу, вертлявый бобик без намордника...

Короче, через пять минут журналист был препровождён в ближайшее отделение милиции, а там его ждал очередной сюрприз – в участке оказались навеселе все, включая дежурного за барьером. Такой оборот не сулил ничего хорошего – Шкворчу оставалось идти напролом: «Мужики, вы догадываетесь, что будет, когда про ваш культурный досуг Акимыч узнает?» Акимычем звали Самого Главного Милиционера, и если для Шкворчихина он был одним из начальников, визирующих перед публикацией все его материалы, то для участкового являлся неким бестелесным символом высшей власти, как Господь Бог, вроде бы и существующий, но нереальный. Услышав от задержанного субъекта в тапочках такую глупую угрозу, дежурный придвинул ему телефон: «Акимыч узнает? От тебя, что ли? Валяй, звони!»

На счастье узника, Акимыч воскресным вечером оказался дома и сам подошел к телефону. «Здрасьте, вас журналист Шкворчихин беспокоит, – поспешно выпалил Юра. – Я в ...дцатом отделении, а тут все пьяные...» Шкворч еще не закончил фразу, как дежурный, мигом протрезвев, вдруг очень ясно осознал, что происходящее – не страшный сон, а суровая действительность: он перелетел через барьер, театрально простёр дрожащие длани и, как в плохом спектакле, обречённо прошептал: «Не губите!..» Но было уже поздно – через пятнадцать минут отделение заполнили старшие милицейские чины, заняли все ключевые посты, шуганув дежурный штат участка, и журналиста Шкворчихина с перепуганным насмерть бобиком бережно доставили домой.

В понедельник чуть свет под дверью шкворчихинского кабинета, паршиво чувствуя себя в гражданской одежде, в полном комплекте маялись вчерашние герои – не столько с бодуна, сколько от неопределенности дальнейшей жизни (всем светило увольнение из рядов без зачёта срока службы). Уповали на отходчивость страшного журналиста. И не зря – негибачейший борец с преступностью, Юра на самом деле – человек лирический и мягкий (за что друзья ему многое прощали), лишнего греха брать на душу не хотел,

потому отправился к Акимычу на приём «по личному вопросу». Акимыч был неумолим – не место-де таким алкашникам в наших славных рядах (высокое звание, чистота мундира и проч.), а после педагогически страстного монолога пристыдил Шкворчихина: «Сам должен понимать, сколько важно нам не поступаться принципами! Или забыл, как полгода назад...» Шкворчихин не забыл. Зимой он решил прокрутить забойный сюжет: с инструктором горкома и надёжным человеком из прокуратуры, на машине с частными номерами устремились в Можайск – по сценарию: на ста кэмэ, по осевой линии шли. Естественно – до первого поста ГАИ. Тормознувший их молодой сержант настроился очень воинственно, потребовал отдать права. Отдали без пререканий, вложив в корочку полтинник, и сразу получили права назад, уже без полусотенной денежки. Тут Шкворч с понятиями предъявили другие ксивы, составили акт об изъятии меченой купюры и покатали дальше в том же темпе, уже без остановок – радиофицированные гаишники, выстроясь вдоль правительственной трассы, только что под козырёк не брали...

Акимыч тогда отреагировал быстро – сам вызвал журналиста на ковёр. Буравя острым взглядом, сказал без обычных лирических отступлений: «Ты, Шкворчихин, парень разумный, вот и подумай хорошенько. Когда твоя заметка мне на подпись ляжет, сержант этот может погибнуть при задержании опасного преступника, и придётся тебе, вместо пасквиля своего, другую заметку сочинять – про подвиг сотрудника милиции, посмертно удостоенного правительственной награды. А сержантику всего двадцать с хвостиком, отличный семьянин, грудной ребячёночек у него... Не жалко тебе парня? Ну, оступись человек, для наших органов этот случай – не типичный!» Шкворч отёр со лба холодную испарину, согласился: конечно, жалко... Порвал готовую статью на мелкие кусочки, на месяц вошел в штопор...

Теперь они с Акимычем тоже достигли консенсуса: залупились ребята, со всеми случается, так пусть своим ратным трудом на благо Родины... Скандал замяли, но шорох по Москве пошел, и Шкворч понял, что работать нормально не сможет – едва услышав его имя, милиционеры впадали в транс. Тут еще навстречу 60-летию Великого Октября объявили амнистию, луч свободы блеснул многим тёмным личностям, стараниями криминального журналиста надолго упрятым за решетку. Шкворчихин замандражировал и печёнкой ощутил острую потребность лечь на дно. Как раз под руку подвернулась скомканная и залитая вином, однако не потерявшая актуальности повестка из военкомата. Ежегодно, получая уведомление о призыве на военную службу, Шкворч тряс приятеля из ЦК ВЛКСМ, и тот перезванивал в военкомат: «Вы что, ребята, без журналиста план по забору выполнить не сможете? Он нам в тылу нужен, так что сделайте отсрочку». Теперь увливать от исполнения мужского долга Юра не стал.

Поскольку комплекция Шкворчихина позволяла ему легко пролезать в люк танка и кабину «МИГа», призывника направили в элитный десантный полк, расквартированный в древнерусском уютном городке.

Набор давно закончился, Шкворчихину пришлось добираться к месту службы своим ходом, благо он знал секретаря местного горкома комсомола, и тот встретил его на вокзале...

Старшина Жабенко, на которого нежданной головной болью свалился рядовой Шкворчихин, любил армию за порядок и железную субординацию, в соответствии с числом и расположением звездочек на погонах. Очередной московский салага озадачил старшину уже в момент появления. Жабенко вообще не понял, каким образом рядовой попал на службу спустя два месяца после призыва и почему к воротам военного объекта его подкатили на белой «Волге» с начальственными номерами. По приезде рядовой Шкворчихин удостоился личной беседы с генералом, потом поселился не в казарме, а вовсе за пределами воинской части – на другой стороне живописного пруда, в отдельном домике. И в столовой не появлялся – доставлять рядовому еду в судках поручили «дедам» – второгодникам... На третью ночь, когда казарма давно отошла ко сну, а в домике за прудом всё ещё светилось окно, старшина Жабенко не выдержал – нагрнулся к загадочному новичку с проверкой. Тихо подкрался, с грохотом распахнул дверь и обомлел: за столом над початой бутылкой коньяка лыбился рядовой Шкворчихин, а рядом с ним (хорошо ещё, спиной к входу), в майке и лампасных штанах со спущенными помочами, громоздился на табурете начальник части. Не оборачиваясь, багровея затылком, генерал приказал Жабенко: «Кру-у-у-гом! В казарму шшшагом – ааарш!»

Расположение начальника к рядовому объяснялось известным обстоятельством: генеральская дочка сочиняла заметки в районную газету, нацеливаясь поступать в столичный университет, потому к именитому журналисту, как нельзя более кстати попавшему в непосредственное подчинение родителя, назревал марьяжный интерес.

На утреннюю поверку наш герой тоже не являлся – на переключке, когда перед строем называлось его имя, правофланговый, сделав два шага вперёд, торжественно рапортовал: «Рядовой Шкворчихин пишет историю Краснознаменного Эн-ского десантного полка!»

Книгу эту Шкворч всем потом показывал – увесистый том в алом коленкоре вполне равнозначно смотрелся на полке рядом с Большой советской энциклопедией. В качестве авторов на титульном листе перечислены два десятка фамилий с указанием звания – от майора и выше (про Шкворчихина напечатано отдельно – мелкими буквами в конце тома: записал и отредактировал такой-то). Сама же книга сплошь состояла из факсимильно воспроизведенных приказов и фотографий военачальников, перемежаемых стихами «Коммунисты, вперёд!», «Его зарыли в шар земной...», «Жди меня...» и т.д.

Старшина Жабенко получил последний, смертельный удар: на день раньше всеобщего дембеля рядовой Юрий Шкворчихин персональным приказом главкома – за успехи на поприще историографии – был освобождён от дальнейшего прохождения воинской службы. У ворот части журналиста ждала белая «Волга»...

Шкворч появился в Москве аккурат к очередной Октябрьской годовщине. Все тревоги остались позади: одни уголовники, из отпущенных год назад по амнистии, сели снова, в других перегорело чувство мести. История с пьяным милицейским участком тоже забылась.

По случаю возвращения командира на «Очакове» протрубили полный сбор. Накануне хозяин опустошил свой знаменитый погреб (в подвале под его квартирой был глухой бетонный бункер, куда десять лет кряду сбрасывались пустые бутылки): уговорил приемщиков стеклотары взять ёмкости оптом по гривеннику (при цене 12 коп., кто помнит), подогнал кузовом к кухонному окну грузовик и разжился на семьсот рублей. На эти деньги и гудели три праздничных дня.

А потом опять начались банальные журналистские будни...

Когда Шкворч наконец-то женился, холостяцкий «крейсер» быстро обменяли на новую квартиру возле Бутырской тюрьмы. На том и кончилась история «Очакова», ставшая достоянием баек и легенд.

Труби, Трубач!



В тринадцать лет Яша написал первую песню, и она, наравне с классической балладой про коричневую пуговку от шпионских штанов и бдительного босоногого мальчишку, сразу стала пионерским фольклором.

*Нам были пули нипочем –
Мы шли, на зло врагам.
Он был в отряде трубачом.
Он сам просился к нам, –*

распевала на марше ребятня, готовая если не победить, то героически пасть на детской войне «Зарница», или вечером у костра, задирая головы вслед улетающим в небо искрам, и самый голосистый, звонкий, как Робертино Парамонов, солируя пронзительным дискантом, возносил незатейливые слова до высот подлинной поэзии:

*Он у друзей горбушки крал
И хлеб он прятал свой,
Но на трубе он так играл,
Что мы бросались в бой!..*

Ошеломительная популярность шлягера про Трубача живительным бальзамом умастила подростковое тщеславие автора, но фольклорная

традиция безымянна (слова и музыка – всегда народные), и Яша быстро понял: публика – дура, дорого стоит лишь признание чопорного поэтического цеха.

Взрастивший Яшу Бакстера старый крымский городок имел две достопримечательности – дореволюционные винные погреба и Дом творчества советских писателей. В один прекрасный день обладатели дефицитной путёвки в литфондовый пансионат бесплатным приложением к морю и солнцу получали неугомонного вундеркинда: ни свет ни заря, на бело-мраморную веранду Дома, где загорали и общались литературные генералы, скромный местный поэт выводил за руку мальчика Яшу, и тот, с восторгом Пушкина пред Державиным, самозабвенно декламировал свои новые стихи (пользуясь моментом, Яшин опекун тем временем распихивал по карманам литначальников, ошалевших от поэтического напора юного дарования, собственные малохудожественные произведения).

Скоро Бакстер стал в Доме творчества столь же привычным атрибутом, как бюст доктора Чехова в вестибюле, и маститые столпы соцреализма благосклонно ручкались с очевидным будущим классиком, заранее величая его по имени-отчеству. Некоторые полезные знакомства, например с напыщенным ректором столичного Лицея, стоило упрочить (Яша не скрывал, что намерен получить высшее литературное образование).

Ректор Старопименов был фигурой легендарной. Свой путь в драматургию начинал комиссаром Вахтанговского театра: палкообразный, в чекистском кожаном реглане, обожал поймать за пуговицу зазевавшегося актёра и приватно беседовать по душам – учил Щукина более масштабно лепить образ вождя мирового пролетариата, а Мансурову – играть принцессу Турандот, акцентируя народные корни героини. Зорко следя, чтобы коллектив незыблемо стоял на позициях партийности, Старопименов голову сломал: отчего товарищ И.В.Сталин, осеня премьеры в других театрах, мимо Вахтанговского всякий раз проезжает по Арбату без остановки. Сообразил: в зале не имелось почётной ложи. Через неделю, едва по приказу комиссара воздвигли бархатное спецместо для высокого гостя, вождь лично оценил творческую оперативность, и Старопименов поутру проснулся директором всех московских театров. На этой суфлёрской должности он царил вплоть до кончины сиятельного театрала, после чего спланировал в ректорское кресло Лицея имени Буревестника Революции, дабы пестовать литературные дарования на эмбриональном этапе.

Яшу ректор обнадёжил: «Как десятилетку одолеешь, милости прошу к нам, в кузницу писательских кадров...»

Только получив от лицейских ворот поворот (творческий конкурс выдержал, на экзаменах проходной балл набрал, а в списке принятых не оказался), Яша вспомнил, как на веранде Дома творчества неосмотрительно называл Старопименова табуректором, другие опрометчивые слова, безоглядно ляпнутые в панибратских застольях с отдыхающими классиками. «Не огорчайся, дружок, в следующем году, может быть,

поступишь, – с милейшей улыбкой утешил Яшу ректор. – А пока сходи-ка, выюноша, в люди, наберись ума-разума...»

За умом за разумом провалившегося абитуриента военкомат послал поближе к Заполярью – чтобы узнал: кроме ласкового Чёрного моря, есть ещё и студёное Белое.

О службе матроса Бакстера до Москвы долетали скудные вести: как все, несёт вахту, драит галюн, регулярно печатает стихи во флотской многотиражке. Кстати, в столицу на побывку прибыл поэт Золотарёв (на том же флоте, что и Яша, адъютантом адмирала служил), намертво встал на прикол в писательском баре и за бутылкой водки, с нескрываемой черной завистью, предрекал Бакстеру грандиозный скандал...

Сослуживцы Яшу допекли – ты, мол, акын хренов, всё про долг и устав трендишь, а слабо залудить покруче, вроде «Луки Удищева», чтобы и мы, матросня босявая, кайф словили? По натуре парень заводной, Бакстер долго не ломался – не без оглядки на Баркова и «Юнкерские поэмы» поручика Лермонтова, сочинил матерную, размером чуть меньше «Евгения Онегина», эпопею «Непроноза» – про железобетонную целку, которую безрезультатно пытались пробурить всеми военно-морскими силами. И вот приказывает адмирал своему адъютанту, то бишь Золотарёву, свистать на эсминец всех командиров, от кавторанга и выше, и взять на борт матроса Бакстера с линкора «Смирный». В назначенный час появляется Яша – шнурки и ленточки наутюжил, в мандраже: зачем полундра? В кают-компании офицеров – как сельдей в бочке, и адмирал, ириво подмигнув Бакстеру, командует: читай!..

Несколько лет московские друзья тщетно уговаривали Яшу обнародовать легендарное эротическое произведение. Он отнекивался: слова забыл, рукопись посеял, вовсе ничего такого не писал. Наконец, раскололся – случай помог: журналист Шкворчихин пришел из армии, собрались у него на «Очакове» всем кагалом, раскочегарились на полную катушку, хором взяли Бакстера на понт. Девиц и дам по требованию автора спровадили на кухню – и помчали. Начал Яша полупешотом, проглатывая непечатные слова, поминутно оглядываясь на притворенную дверь, но вскоре разошелся – рифма понесла: стал декламировать на разные голоса, форсировать интонацию, и на финале сорвал горло, перекрывая истошный хохот друзей. Под конец хохотать уже не могли – хрюкали, гыкали, до слёз, до икоты, расползаясь из-за стола по углам комнатухи. О подругах, конечно, забыли, те коварно подкрались к двери и потом, якобы потрясенные впервые открывшейся перед ними бездной мужичьего цинизма, весь вечер выражали Яше своё «фи». А красивая девушка Маня даже сказала Бакстеру, что навсегда выбрасывает его, нехорошего, из своего ранимого сердца.

К прекрасному полу Яша относился специфически – в зависимости от сезона. Посредством расчетливого брака окончательно перебравшись в Москву (если хочешь покорить столицу, этим разумнее заниматься в пределах загазованного Садового кольца, а не в живописной глубинке), южанин Бакстер, простудно перевалив городскую гнилую зиму, с первой

капелью отбывал домой – к родителям и морю. Яшин батя возглавлял береговую спасательную службу, чем сын с успехом пользовался – почти на кромке прибоя ставил фанерный домик (фундаментом служила расшатавшаяся двупалая тахта, вокруг которой возводились лёгкие щитовые стены). В пляжный сезон домик никогда не пустовал – переполненные гостиницы стимулировали приезжанток искать ночлег, и Яша всегда был готов разделить с хорошенькой неустроенной девицей скромное романтическое ложе – при условии, что оно тут же станет брачным. Так Яша, ежегодно наезжая в Крым, покрывал всю страну: география его знакомств поражала воображение.

В Москву Бакстер возвращался поздней осенью, но столица южного сексуального изобилия не сулила, да и бытовые условия ограничивали возможности. Чтобы временная московская прописка стала постоянной, в фиктивном браке надлежало продержаться три года. Эту казённую данность Яша со своей половиной заранее оговорил, и такой расклад жену очень даже устраивал: не без оснований подозревая мужа в непостоянстве, она любила его отнюдь не договорной любовью, потому на трёхлетний «гарантийный» срок уповала с надеждой: авось за это время суженый таки привяжется к ней по-настоящему. Яша поначалу тоже рассчитывал, что их брачные узы всерьёз и надолго – во-первых, в столице он забывал до лета крымские свои привычки (хотя фанерная фанза возле моря постоянно виделась ему в беспокойных снах), а во-вторых, Бакстер уже считался всамделишным детским писателем, а это побуждало к созданию имиджа добропорядочного семьянина. И почему нет, если жена вполне годилась для счастливой совместной жизни: юна, хороша собой, учится на психфаке МГУ, даже имеет звание чемпионки университета по фехтованию. Смущало одно маленькое «но»: Яша подозревал, что у жены маниакальный психоз – с менструальной регулярностью раз в месяц её зацикливало: собирайся, срочно едем! – Куда? Зачем? – уже после второй такой выходки Бакстер не спрашивал, лишь уточнял: в каком направлении? Она опрометчиво оставляла право выбора мужу, и он перехватывал инициативу – клал в карман зубные щетки, усыпляя бдительность, ловил такси и вёз истеричку на вокзал. Покупая билеты, подгадывал, чтобы до отправления поезда (куда – неважно) оставалось два-три часа, вёл жену – не торчать же в зале ожидания! – скоротать время в ресторанном уюте. Как ни странно, она всякий раз покупалась на уловку (при её-то реакции, могла бы сообразить, чем дело кончится), за ужином Яша щедро вливал в тётёху бутылку коньяка, отлучался, якобы в сортир, – сдавал билеты, взваливал беспамятную жену на плечо и тащил домой. Утром она ничего не помнила, затихала – до очередного приступа. На Яшины советы показаться врачу – упиралась, мол, их, спортсменов, регулярно осматривают, значит, голова у неё в порядке. Боясь, что с такой жизнью он сам свихнётся, Яша, кое-как проскрипев три года, с трудом развёлся и, как всегда по весне, уехал домой: лето кайфовал в своей хибаре (один – на девиц глаза не глядели). К осени Бакстер ожил, потому в тот ноябрьский вечер на «Очакове» он чувствовал себя абсолютно свободным, жаждал новизны, и вдруг в его жизнь пришла Большая Настоящая Любовь...

Девятнадцатилетняя Маня – чернобровая, ядрёная, созданная природой, чтобы сводить с ума мужчин крепко слепленной для любви плотью, второй год считалась женой поэта-историка Рюрикова и в данный момент была глубоко беременна. На «Очаков» она потащилась за благоверным исключительно из подозрения, что в шкворчихинской компании окажется энное количество свободных девиц (как всякий истинный поэт, Рюриков постоянно пребывал в творческом горении и нуждался в новых поклонницах, готовых часами слушать рассказы о захватывающем дух поиске рифм в древнерусской «Повести временных лет»). Так и вышло: после того, как мужики оттянулись на Яшиной эротической драме, настало время чаепития (водка давно кончилась), все расселись за столом в гостиной, лишь поэт Рюриков остался на кухне с угреватой филологиней, заинтриговав её сообщением, что он вычислил могилу Нестора-летописца. Тут Бакстер, всё еще мучаясь душой за своё вредное поведение, решил снять напряг – обратил взор на беременную Маню, одинокую и злую.

– Маня, внимательно послушайте, что я буду сказать, – сияя ей через стол лучистым взглядом, произнес Яша вполголоса (Шкворч, по обыкновению, уже начал петь под гитару блатной фольклор). – Не берусь судить, сколь вы верны своему Рюрикову, но будем честными – зачем он вам нужен? Скоро вы подарите ему младенца, а он этого даже не заметит – ему интересней знать, как звали лошадь Юрия Долгорукого. Денег у него не будет никогда, так как стихи даже котёнка не прокормят. Знаю это на собственной шкуре, потому и решил стать сказочником: детские книжки быстро рвутся, их вечно доречатывают, а это уже деньги. Будем, Маня, рассуждать логически. В текущей пятилетке я должен выпустить пять книг, пятнадцать мультфильмов, купить машину, квартиру и жениться. Давайте начнём с конца, потому что жениться я решил на вас, Маня. Это всё равно произойдёт, не сегодня так завтра, можете мне поверить.

– Рюриков, иди сюда, у тебя бабу умыкают! – крикнул Шкворч вглубь квартиры (он терпеть не мог, когда портили песню).

С кухни никто не отозвался.

– Яша, мне странно слышать от вас такое глупство, – в тон Бакстеру ответила Маня, поглаживая шестимесячный животик. – Вы же умный человек, Яша. Оглянитесь на себя – вы низенький, плешивый и кривоногий. Рюриков тоже небесталанный, к тому же на пять лет моложе, экологически чистый и, в отличие от вас, не еврей. От него получатся красивые стройные дети. Люблю я Рюрикова или нет – это к делу не относится, у меня будет такая жизнь, какую я сама себе устрою. В этой пятилетке я закончу институт и рожу еще двоих-троих детей. Кстати, в кормящем положении сдавать сессии гораздо проще, ведь никакой преподаватель не захочет, чтобы из-за его дурацкой двойки у меня пропало молоко. Так что в ближайшие пять-семь лет я буду занята материнством. А после, когда дети перестанут держаться за подол, и мне надоест вытирать им сопля, я займусь собой – устроюсь на работу или найду какое-нибудь серьёзное общественное поприще. Вот тогда, Яша, мы сможем вернуться к вашему заманчивому предложению, если, конечно, оно к тому времени ещё останется в силе.

– Ребята, да вы два сапога пара! – не сдержался Шкворч и довольно похоже сыграл свадебный марш Мендельсона.

«Я очень сожалею, что дал вам повод для фамильярности!..» – полез было в бутылку Бакстер, но Маня умело сменила тему – надела на Шкворчихина: чем издеваться над несчастной девушкой, лучше порадей в трудоустройстве, тем более что запросы невелики – любая непьющая работёнка, хорошо бы через три дня на четвертый, а лучше – два раза в месяц, в дни выдачи денег. Закатив глаза к потолку, Шкворч ответил в том смысле, что его возможности известны: весь блат – милиция, прокуратура да Бутырская тюрьма. «Бутырка – это вариант, – всерьёз купилась Маня, поскольку жила в двух шагах от Новослободской. – Только кем там работать? Уборщицей?» «Зачем уборщицей? – пожал плечами Шкворч и брякнул, не подумав о последствиях: – Овчаркой!»

– Рюрик! Живо поехали отсюда, у меня от Шкворчихина гемоглобин падает!» – завопила Маня так громко, что отсидеться на кухне её супруг уже не мог – нарисовался в дверях, раздражённо пощипывая бородку, и получил полный перечень унижений: на «Очаков» они отныне ни ногой, Шкворчу с Бакстером в дальнейшей дружбе отказано и вообще... (Дай Мане волю, она всех случайных свидетелей этой сцены не моргнув глазом отправила бы на живодёрню).

Маня оказалась девушкой памятной (вся компания смогла в этом убедиться), но она Яшу Бакстера плохо знала...

Свою первую творческую пятилетку Яша выполнил, как намечал. Во-первых, с флота он вернулся автором поэтической книжки – тоненькой, аляповато оформленной (что взять с провинциального издательства?), однако на мелованной бумаге, в картонной корочке и с собственным, почти похожим портретом. Получив от Яши дарственный экземпляр, адмирал искренне посетовал на отсутствие в книжке поэмы «Непроноза», но удовлетворенно отметил, что стихи о флоте и Родине выдержаны на высоком патриотическом уровне.

Во-вторых, Яша взял-таки штурмом Лицей. С третьего захода, проявив чудеса изобретательности – взял. Дважды история повторялась, как под копирку – на этапе зачисления вдруг выходило, что Бакстера, при наличии отличных рецензий и проходного балла, почему-то никто из руководителей семинаров в своей мастерской видеть не хочет. На третий раз Яша понял: если и с дембельскими льготами его не примут, не видать ему Лицея никогда. Старопименов только руками развёл: что-де я могу поделаться, когда ни один из профессоров... И обронил неосторожную фразу: «В свой семинар, дружок, я бы тебя без разговоров взял, но у меня драматурги, а ты ведь у нас поэт». Когда на другой день Яша принёс написанную за ночь пьесу – табуректор сдох. Но себе остался верен: лишь спустя десять лет Бакстер, с легкой руки Старопименова приобщась к драматургии, сумел вымучить у него диплом.

Вторую личную пятилетку, в перспективе нарисованную Мане на «Очакове», Яша начал с разработки стратегии. Занявшись детской литературой, он уже знал, что там все места схвачены, лишней голодный рот к сытной

кормушке за здорово живёшь не подпустят. Вся продукция для ребятни – книжки, пьесы, пластинки, мультики и проч., – произрастала в культурном пространстве, ограниченном разнополярными именами Дяди Стёпы и Крокодила Гены (назовём именитых авторов так, чтобы они себя не узнали). Играть в команде Дяди Стёпы было тяготно: вступать в писательский союз, лезть в правление, дремать на заседаниях детской секции, мотаться на шефские выступления по школам и библиотекам – Яшу никак не прельщало. Значит, следовало задружиться с Крокодилом Генной, который, презирая стадность, рыскал сам по себе, полагаясь лишь на свой талант и острый звериный инстинкт. Познакомившись с Яшей, он сразу понял, что этот парень промаха не даст, и разумнее сделать Бакстера другом, нежели через несколько лет получить в его обличи зубастого конкурента.

Под чуткой опекой старшего друга Бакстер пошёл в атаку на «Детгиз» – требовалось быстро выпустить первую детскую книжку. Просто принести её в издательство, без рекомендаций дядистёпиной шоблы, граничило с глупостью: улыбчивый редактор, скользнув ленивым взором по незнакомому автору, пообещал прочитать рукопись очень скоро и тут же похоронил Яшину папку с текстами в бездонном ящике стола. К такому исходу Бакстер был готов – запомнив место, где бесследно исчезла его будущая книжка, без лишних слов удалился (своё детище он заранее засветил в издательской канцелярии: название, объём, день поступления – всё, как положено). Зряшным напоминанием о себе полгода редактору не докучал – пришел к нему, когда срок истёк. Редактор морщился, долго вспоминал, кто перед ним и чего хочет, впустую копошился в столе, Яшину рукопись не находил, сетовал на замот и отшучивался: да был ли мальчик? Был, в том ящичке лежит, – снисходительно суфлировал Бакстер, называл инвентарный номер, а потом зачитывал государственную бумагу-инструкцию (страна советов плодила их в неимоверном количестве), из коей следовало, что если рукопись шесть месяцев пролежала без ответа, она автоматически считалась принятой к изданию. Редактор, конечно, скандала на свою голову не хотел – вопреки, клятвенно обещал исправиться. Раскопав злополучный текст, с облегчением убеждался, что прогневил не чайника, но человека страшно талантливого, и в панике изыскивал возможность напечатать Яшино произведение вне очереди.

Первая же детская книжка открыла Бакстеру зелёный свет: маститый режиссёр сразу начал печь из смешных Яшиных историй мультики, два знаменитых народных артиста, обкатав художественную декламацию сказок на собственных детях и внуках, записали своё чтение на пластинки. После чего Бакстеру предстояло отрегулировать финансовый момент – раздвить прижимистую священную корову по имени ВААП (шарашка по авторским правам и нынче здравствует, только из всесоюзной преобразовалась во всероссийскую). А для успеха этого предприятия самостоятельность не годилась – требовался опытный спец по законам.

Крокодил Гена сосватал Яше дошлого юриста. Говорили, он здорово выручил одного отъезжанта: всем, покидавшим страну развитого социализма навсегда, дозволялось взять с собой лишь мелкую ручную кладь, и вес её был жестко оговорен в инструкции, запрещающей также пересекать границу на личных авто, мотоциклах и других движущихся средствах, вплоть до воздушного шара и велосипеда, но в общем перечне забыли упомянуть... яхту, чем по наущению юриста отъезжant и воспользовался – все деньги, вырученные от продажи квартиры, машины и дачи, вложил в покупку парусной красавицы, на которой благополучно отбыл в тёплые края.

Яша Бакстер никуда уезжать не собирался, он хотел жить и трудиться на благо родных читателей, кормясь литературным ремеслом. А поди заработай приличные деньги, если, скажем, за пластинку потиражные начислялись автору текстов по грошу с реализованной сотни экземпляров, но Яшины сказки – не эстрадный шлягер, а Бакстер – не Кобзон какой-нибудь, чтобы рассчитывать на миллионные тиражи. Оставалось уповать на смекалку юриста. Он свой хлеб отработывал рьяно: целыми днями въедливо вглядывался в мелкий бисер инструкций и постановлений, отыскивая места, где слова и цифири складывались в уязвимые по смыслу пункты. И нашел-таки слабое звено – в расценках оговаривалась сумма с проданной сотни дисков за сказку, но сказок-то на Яшиных «миньонах» помещалось пять, а ВААП с фирмой «Мелодия» считали одной учетной единицей всю пластинку. Оценив перспективы такого промаха, Яше следовало запастись терпением – регулярные мелкие начисления до поры до времени просто не получать.

Невостребованные денежные переводы, пропылившись месяц на почте, возвращались отправителю, который их копил, а через три года списывал себе в прибыль. Когда до потери гонорарных накоплений оставались считанные дни, Бакстер с юристом шумно переступили порог конторы и ошарашили бухгалтеров вопросом: где бабки? Да вот же они, целёхоньки! – возопили чиновники, извлекая вороха квитанций: приличные деньги набежали. Тут Яша искренне изобразил удивление мизерностью суммы, потребовал умножить её на пять, и юрист подкрепил законность такого желания казённой буквой. Как истинные бюрократы, вааповские чиновники в собственные бумажки верили свято, парировать удар достойно не могли – пригрозили бунтарю судебной тяжбой, в уверенности, что советский суд во всем разберётся по-справедливости. Верно думали, между прочим: суд признал законным право истца, то бишь Бакстера, получить гонорар в пятикратном размере, а ответчику – оплошавшему ВААПу, если оно и впредь намерено платить авторам по-старому, порекомендовали внести в свои амбарные книги примечание: независимо от числа произведений на пластинке.

Когда Дяде Стёпе донесли, чем закончилась громкая судебная разборка, он впал в неопишемую ярость (сам в своё время не додумался помножить кровные потиражные на трёх поросят), спешно затребовал досье на хитроумного Бакстера, а узнав, что это всплыл тот домотвор-

ческий вундеркинд Яша, на чью курчавую головёнку он лично возлагал некогда благословляющие персты, – великодушно сменил гнев на милость, воздав должное своему провидческому дару.

Вторую личную пятилетку Бакстер тоже выполнил, как обещал, а по одному пункту даже досрочно – через четыре года Маня, успев за это время подарить поэту Рюрикову двух породистых озорников и освободиться от его опостылевших пут, вышла за Яшу замуж, после чего усердием сказочника, привыкшего всё в жизни делать по-крупному, увеличила число маленьких трубочей вдвое.

Наши общие друзья были тогда в отпаде. Впрочем, зря удивлялись: девушка Маня, как все мы, пережила бурное пионерское детство, и тоже – подростково-нескладная, голенастая, с большими доверчивыми глазами, при алом галстуке на цыплячьей шее, пела срывающимся фальцетом про лихого Трубача, точно зная, что сочинил такую замечательную песню – озорной, весёлый и мудрый народ.

Брат наш Колька



...Десять лет, как не видел его, и, признаться, даже думать о нём позабыл – с начала восьмидесятых не встречались, а незадолго до прихода Горби отбыл Колька в закордонные края – канул в тяжёлую чёрную дыру эмиграции, куда многих за семьдесят лет нетерпимая советская система впрессовала, и не чаял я уже... Однако вот передо мной независимое свежее издание в виде популярной газеты, и с полосы глядит в глаза мне – Колька, друг наш сердечный, собственной персоной, только имя на ихний лад переименовано, да и фамилия офранцузилась, на манер популярного «американского ниндзи» Майкла Дудикоффа, из-под каратистского кимоно которого всё равно подол славянской сорочки выглядывает. И маститый журналист из оперативной бригады прорабов перестройки почтительно стелется: что-де вы, Николая, как босс большой парижской фирмы, думаете о последних шагах нынешней администрации по оздоровлению нашей-невашей страны?

– Сообразительности, быстроты реакции ей недостаёт, – ставит диагноз Коля-Николя, – но люди подобались неглупые и, может статься, что-нибудь не очень уродливое у них получится...

Душа моя наполняется гордостью за брата...

Конечно, прихвастнул я, по своему обыкновению, – не брат мне Колька и не друг, вот хорошо знакомый – да: пять лет постоянно общались, бывая в одном доме.

Дом был – уютная квартира на последнем этаже крупноблочной башни-«скворешни», однокомнатная, но с большой (по нашим меркам, целых десять метров) кухней, где днём и ночью (ночью – чаще) была ключом нецензурированная жизнь представителей столичной богемы. Во второй половине 70-х собирались здесь на хозяйский чаёк (кофеёк, портвешок, водочку – кто что принесёт) актёры и журналисты, инженеры и художники, переводчики, педагоги, врачи и студенты. Впрочем, профессии гостей здесь никого не интересовали, а когда однажды, смеха ради, пустив вокруг стопа бумажку и карандаш, выяснили, кем собравшиеся числятся по трудовым книжкам, то большинство оказалось людьми самых земных специальностей: грузчик, ночной сторож, дворник, домашняя портниха, парикмахер, водопроводчик, так что лектор общества «Знание» выглядел в этом ряду чуть ли не космонавтом. Появлялись здесь и гости занятые: например, английский сэр – отпрыск древнего рода и любитель экзотики, под которую в день его визита всем гостям раздали для питья гранёные стаканы, а ему одному – щербатую фаянсовую кружку без ручки. Или зарубежная певичка, усаженная вместе с притащившим её переводчиком на почётное место между плитой и холодильником, а потом оставленная спать на этой же кухне на брезентовой раскладушке...

Дверь сюда была вечно распахнута настежь, однако это не означало, что порог мог переступить кто ни попадя. И мне, живущему в этой же башне несколькими этажами ниже, понадобился для первого прихода общий знакомый – гарант моей благонадёжности и порядочности (трёхлетних здрасьте-досвиданья в лифте не доставало). Откровенно говоря, большой необходимости сблизиться с тем домом не было – довольствовался собственной кухней, где тоже перебивало и много и всяких, но в приснопамятные времена, когда возникало множество союзов общения, не принято было проходить мимо любой камерной компании, сулящей полуночные посиделки в тепле и уюте. Меня этот дом подкупал уже одной своей близостью – возможностью прийти в любое удобное тебе время, не переобувая домашних тапочек, и незаметно улетучиться, если общенье становилось в тягость.

Когда поймал себя на желании уйти как можно скорее, если встречал в том доме Кольку? Из сегодняшнего далека кажется, что стал чувствовать себя неуютно в соседстве с ним за одним столом довольно быстро, но так теперь хотелось бы – несколько лет регулярно выпивал с Колькой, шутил, разговаривал. А бывал он здесь часто, почти каждую субботу-воскресенье, и среди недели нередко захаживал. Почти никогда один, постоянно с девушками – именно с девушками, а не с женщинами, явно предпочитая постшкольный возраст (что, впрочем, для мужчины в тридцать пять естественно) и никогда не появляясь дважды с одной и той же. Таким он и запечатлелся в памяти – в излюбленной своей диспозиции: полуразвалился на кухонном диване напротив двери, левая рука обвивает

плечики или играет волосами очередной пассии, правая поглаживает джинсовую или капроновую девчоночью коленку, одновременно помня о сигарете и рюмке. Всегда тщательно, с иголки одет, и непременно в фирму: костюмы и курточки не уступали числом его девицам, и к ним прилагалась соответствующая одежде мишура – зажигалки, авторучки, часы – тоже фирма: ронсоны, паркеры, сэйко... Это было его лицо. А физиономия – всегда в тени: если день – затылком к окну, а во время полуночных бдений – в самом малоосвещённом углу, за чьими-то спинами. В этом тоже был его талант – поначалу бросаясь в глаза, умудрялся вечно оставаться в тени. Сам говорил редко – предпочитал слушать, подначивать на беседу.

Едва увидев Кольку, порасспросил о нём хозяина квартиры – для простоты дальнейшего общения (получить, по журналистской привычке, о человеке хотя бы минимальную информацию), услышал: ученый-микробиолог, кандидат наук, работал в оборонной промышленности и вполне преуспевал – загранпоездки, крутые бабки, машина, дача и всё такое, но вдруг, вернувшись из Туниса, где пробыл два года, подал заявление на выезд, а его тормознули – лет на десять, не меньше, пока военные секреты не забудет, и теперь который год на чемоданах – проел машину и дачу, мыкается по углам, числится пожарным в театре, а зарабатывает шабашкой – плотничает, печки и камины кладёт. В правдоподобности рассказанного сомневаться не приходилось. Не похож на классического «отъезжанта»? – они-де рэнглеровские тройки каждый день не меняют, – не аргумент: до недавнего времени наша страна славилась тем, что в ней можно было всю жизнь замечательно прожить, нигде не работая. Руки холёные? – не скажешь, что к рубанку и цементу привычные, – так если от случая к случаю, да ещё следя за своей внешностью (Колька следил, это точно)... Рассуждая так, да ещё прибегнув к физиогномике, то и к Колькиным усикам провинциального фата придраться можно – не сочетаются, как серый костюм с коричневыми ботинками (излюбленная униформа определенной категории совслужащих). Да и стоит ли вообще придраться по мелочи? – каждый живёт, как хочет и как может.

Если что меня и смущало по-настоящему, так это одна из услуг, которые Колька с лёгкостью всем желающим оказывал, сам таковую каждому предлагая, – растиражировать любой печатный текст. Литература о т т у д а в те годы просачивалась штучно и трудно, каждый добытый экземпляр интересной книги старались размножить, и люди при ксероксах и ротапринтах были научёт – с ними государство держало глаз и ухо остро: ставились счетчики на каждую машину, лимитировалась спецбумага. Мой друг, работавший на ксероксе в «ящике», двухсотстраничный том делал два-три месяца: подкручивал каждый день колёсико счётчика, сэкономил всеми правдами и неправдами бумагу, и всё это – под цепкими взорами начальника Первого отдела, который вел учёт выполненных копировальных работ, и бдительных коллег, возвращённых на однозначном представлении о патриотизме и социалистическом долге. У Кольки ксерокс был надёжный (по его словам), качественный и скорый: двусторонний, позволяющий не увеличивать объём ксерокопированной книги

вдвое, без лезущего серого фона. И судя по всему, свободный от счётчика – том любой толщины Колька брался переснять за одну ночь и не в единственном экземпляре. (При мне вечером взял «Раковый корпус», а назавтра к полудню три стопы листов уже лежали на столе владельца прибывшего из-за кордона фолианта.) Ну как не подивиться: есть же контора, где такая замечательная машина работает...

Нет, всё-таки и не тогда – позже поёжусь от Колькиного прямого взгляда, когда его назойливость станет уже нескрываемой, и поймаю себя на удивлении: откуда бы ему, ни разу у меня не бывавшему, столь подробно-поимённо знать все обо всех, ко мне приходящих. Поначалу урезонил себя: Москва – большая деревня, общих знакомых найти не очень сложно (сам ведь при случае порасспросил о Кольке знакомых актёров из того театра, где он через три дня на четвёртый готов был сразиться с огнём, – рассказали: обычный елдарь и балабол, изредка появляется, напяливает брезентовую робу и за кулисами травит политические анекдоты). К тому же друзья и приятели из нашего круга общения были на виду – в основном литераторы и журналисты, не принадлежавшие к закрытой категории «отъезжантов» или «протестантов», – широко и свободно печатались, работали в редакциях крупных газет и журналов, внешне соблюдали навязанные нам системой правила игры и старались порядочно жить и добротнo делать своё дело, чтобы сохранить лицо, как сказал бы привереонец самурайского кодекса чести Бусидо. Круг наших знакомых был достаточно широк, но ограничен (Колька в нём, кроме меня, никому вообще не был известен), и мы резонно полагали, что всё, о чём говорили на своих кухнях, дальше этих стен не пойдёт. Однако микробиолог-пожарный знал о некоторых из нас такие мелочи, о которых и внутри своей команды осведомлены были единицы, и прямо дал мне это понять, подводя к желаемому: ладно вам сидеть в своей норе – вылезайте к нам, вместе будем гужеваться, сольём голоса в хоре плача по поруганной Отчизне, тем более ты и Н. знаешь, и Р., и Ч., – всех приводи, давно с ними познакомиться следует. Предложение осталось пропущенным мимо ушей, хоть повторялось потом неоднократно, и всякий раз Колька подкреплял его намёком, что и без того в курсе наших дел и проблем (на таком, например, уровне: знаю, у твоего дружка-писателя О. матерьялец вторую неделю по начальственным кабинетам в «Комсомолке» кочует, и всё равно принят не будет, пока О. своей рукой не вычеркнет из него то-то и то-то). Потом начались неожиданные появления Кольки у меня дома – вдруг за полночь возник в дверях с очередной девицей: старик, выручай – привёл лапочку наверх, а там кухня уже занята, так я сразу о тебе вспомнил, не откажешь ведь, брат, и ничего, что комнаты смежные – мы тихо будем, и без постельного белья обойдёмся... Лукавить не стал – сослался на свою брезгливость и на том с ночными визитёрами распроштался. Во второй раз пришлось труднее – поскрёбся Колька один, в третьем часу ночи, скромно и без нахрапа: наверху опять полна корбочка, денег на такси нет, да и ехать, собственно, некуда, и спать-то вряд ли получится – в шесть на работу пиликать, так что просто в уголке посижу, книжки

какие-нибудь полистаю... Откупиться пятёркой на такси не получалось (куда в это время поедешь), выгонять на мороз – совсем паскудство (брат ведь!). Был Колька тих и несчастен: и впрямь спать не лёг – эту первую и последнюю ночь в моём доме просидел на кухне, обложившись книгами, которые сам безошибочно выбрал, выдернув с полок все томики в самопальных переплётках.

Где-то за год до эпохальной московской Олимпиады-80 появилась в квартире на последнем этаже всамделишная привозная рулетка с зелёным разлинованным сукном – то ли хозяин с её помощью намеревался поправить свое материальное положение, выступая в роли крупье, то ли просто чей-то сувенир, подаренный без всякого умысла, быстро увлёк владельцев стремительным бегом азартного колеса. Месяц-два участники ночных посиделок поиграли в заморскую игрушку на пиковый интерес, вороша в памяти литературные ассоциации и отоваривая разноцветные фишки спичками, и охладели. И тогда вокруг сукна очень быстро сформировался новый коллектив, вскоре вытеснивший прежний круг общения с воскресных дней на будничные, – под завязку укомплектованный продавцами комиссионки, официантами валютных ресторанов и соответствующими им женщинами, парт-хоз-проф-комс-чиновниками среднего звена. Теперь здесь с вечера пятницы до утра понедельника мелькали другие лица и другие деньги, говорились другие разговоры – из прежних приходов сюда оказались вхожи брат наш Колька, на правах старожила, да я, по-соседски продолжавший приходить в тапочках, чей вид гостей явно забавлял, но и располагал к снисходительности: журналист – что с него взять, пусть один такой будет.

Понаблюдать за кипевшими вокруг азартного колеса страстями, равно и за различными образчиками человеческой породы, для любого пишущего дорогого стоит. А какие типажи там встречались – отдельный рассказ. У автора даже появились свои любимцы, вроде стареющего плейбоя с окаменевшим как ацтекская маска лицом, раскладывающего перед игрой возле себя стопочки денег (всегда от станка, ни разу не бывших в употреблении) по достоинствам купюр. Или розовощёкий мальчик – референт-переводчик крупной МИДовской шишки, который никогда не играл, а присутствовал за столом только затем, что он так расслаблялся: всю неделю слоняясь за своим шефом в чёрной тройке, он безумно уставал хранить на лице приличествующее служебному долгу выражение, и ему требовалось хоть денёк побыть самим собой – приезжал к рулетке и рассупонивался: надирался до икоты, хватал дам пальцами за лицо, выплёвывал изжеванную резинку на колени хозяйке, виртуозно перемежая английские извинения с отборным матом, и так до утра понедельника, когда хозяин-крупье накладывал свинцовые примочки на опухшую личность мальчика, хозяйка отчищала от засохшей блевотины его джинсы и курточку (погребальную предстала телескую тройку он, как рабочую спецовку, хранил на работе), а брат наш Колька в это время разогревал во дворе референтскую машину, на которой и отвозил юного строителя коммунизма на его ответственный пост...

Не вспомнишь уже, где и как виделся с Колькой последний раз, – то ли возле зелёного сукна, то ли во время других посиделок с прежними собеседниками, коих он стал навещать всё реже и реже... Но финал нашей истории забыть не получится.

Существовал тогда один приятель, в наш круг не входивший, но имевший непосредственное отношение к большинству друзей, поскольку являлся секретарём комсомольской организации писательского союза, потенциальными или действительными членами которого мы числились. Молодой да ранний, он олицетворял в наших глазах всю «правильную» советскую литературу и самозабвенно отдавал себя служению: прикинув свои способности, сделал ставку на так называемые здоровые силы ленинского комсомола (у кого здоровым было лишь одно огромное желание – поскорее оттереть старых пердунов от их кормушек) и составил с ними специфический тандем: он критикует своим борзым пером то, что мешает нам жить и строить (в рамках, конечно: комсомол – за измену идеалам и желание красиво пожить, с саунами и комсомолистками, армию – в пределах неуставных отношений), а те делают ему рекламу, заодно и себе создавая имидж честнейших борцов за правое дело. Получилось – о его книжках говорили и писали, и он самозабвенно стриг первые купоны (теперь, пересидев в стороне повальную волну перестроечных разоблачений, он снова всплыл на поверхность и регулярно радуется читателей откровением, что его книги приблизили перестройку). Иногда сей комсомольский лидер звонил нам, на правах дружеской опеки, а поскольку явно знал, что в этом кругу является предметом колкостей и шуток, то ничего хорошего от его прозвонов мы не ждали – либо гроб с очередным столпом социалистического реализма нести вынудит, либо на очередную писательскую проработку зазывать станет, для полноты зала. Но, объявившись в тот раз, он сразу сказал, что ничего официального – просто узнать, как дела, давно не виделись, и вообще: «Зря, старичок, не участвуешь в нашей жизни (признаюсь – не участвовал: в редакции говорил, что состою на комсомольском учёте в СП, а там – что в редакции), а жизнь кипит интересная – вечера, поездки... Вот, кстати, только что из Венгрии вернулся – скатали погулять, гардеробчик подновить к всемирному празднику спорта (накануне Олимпиады дело было), и ты мог бы... нет, не с этим поездом дружбы – этот, на цековском уровне, ещё заслужить нужно, по чину дорости, а ты, при желании... Кстати, мы тебя там часто вспоминали с друганом твоим, Колькой, – отличный братан, между прочим, мы с ним в поездке скорешились: в купе вместе, в гостинице в одном номере жили, по Будапешту он меня водил... Горячий привет тебе передавал...» Колька? В Венгрии, с тяжельниковской шоблой? – да нет, быть не может! – он же при слове «комсомол» красными пятнами покрывался. Бред какой-то!

Поднялся наверх: что Колька? – давно не захаживал? «Давно, и не скоро ещё зайдёт, – говорят, – шабашит он, по обыкновению: в мае на Валдае уехал – печки класть». Да вряд ли, говорю, если он в это время по Будапешту гулял. Мне: «С ума сошёл?» – и пальцем у виска покрутили...

Жаль, брат наш Колька, не было тебя, когда в квартире на последнем этаже собрались – впервые вместе – коллективы говорунов и рулеточников: целый вечер, бедняги, о тебе говорили – сами себе задавали вопросы, сами же на них и отвечали.

– Нет, это всё-таки другой какой-то Колька был! Наш ведь пять лет в невыезде, а окажись он в Венгрии, хрен бы вернулся, оттуда ведь до Вены – раз плюнуть, а в Австрии – свобода!..

– Да о чем вы говорите! Как наш Колька до той же Венгрии доехать мог, когда в ОВИРе его фамилия засвечена? Он бы ни паспорта, ни визы не получил, на одних анкетах спёкся. И кто бы ему эти анкеты подписал? – старший пожарный?

– Давайте рассуждать логически. Очевидно, что наш Колька в Будапешт ездил и что ездил с очень тёплой компанией. Предположим, друзья у него везде есть, и при общем бардаке в стране ОВИРовских чиновников обойти можно, тот же он (кивок а сторону румяного референта-переводчика) порадеть хорошему человечку мог – один звонок по своей связи, и все дела...

– Я?! Да на хера мне такие фигли? Чтобы потом, чуть что, шпindelь мне в задницу вставили?..

– ...Ладно, не ты, другой головастик такой же... Дело в другом. Ведь если этому прозаеку-комсorghу верить, то, получается, наш Коленька его в поездке пас, это точно. А если он такого надёжного хмыря... как бишь его?.. охаживал, то выходит, что Колька – сами понимаете...

– У вас у всех крыша поехала? Колька – гебист? Да работай он на Лубянку, так бы мы все здесь и сидели!.. Он же у нас пять лет дневал-ночевал, всех знал, как облупленных, при нём такие вещи говорили!..

– А что мы здесь, собственно, такого-сякого делали? – Бровеносца по кочкам несли? Анекдоты про Чапаева рассказывали? В рулетку играли?.. Эка невидаль! В тридцать седьмом забрали бы, как пить дать, а теперь...

– А ксерокс? Столько книг через Колькины руки прошло!

– Ксерокс у них отличный, это точно. Только что ксерокопировали-то? – Галича стихотворный сборник посмертный, Войновича, письма Сахарова к Брежневу... Так им достаточно знать, какими путями книжки в обход таможи провезены, а это Колька узнавал элементарно. Вот попробовал бы кто ему листовку энтеэсовскую дать для размножения, с призывом к свержению существующего строя, – тогда посмотрели бы... А так – ну сидят на кухне, ну дребездят, ну играют на деньги – все известны, общим списком, и гуляйте до поры до времени.

– Нет, мальчики, зря вы на Коленьку грешите, зря. Он ведь на чемоданах, который год мыкается – без денег, без жилья...

– Ой, старуха, не смейся, в самом-то деле! Не знаешь, что Колька и машину, и дачу, и квартиру за месяц до развода на дочь переписал? Мыкается? Ты бы так мыкалась, как жук этот!

– Жук, точно жук! И стучал – на всех стучал! Я только теперь понял, почему моего сынулю на вступительных в иняз завалили! Точно – Колька!..

Поднялся невообразимый галдёж – каждый вспомнил, что у него *что-то* было, и краснощёкий референт, со злорадной радостью наконец

объяснив себе, почему шеф не взял его с собой в Штаты, изрыгнул в потолок мощную струю матерщины.

– ...Нет-нет-нет! Если всё так, как вы говорите, то втолкуйте мне, какого рожна Кольке, когда он и впрямь на эту серьёзную контору пашет, раскрывать себя нужно? А? Зачем он тебе привет передавал? Ежу ведь ясно, что ты на всю ивановскую растрезвонишь...

Тут взоры собравшихся устремляются на меня. А я вовсе не хотел ничего говорить – не было у меня никаких фактов, и теперь тоже нет. Мало ли совпадений? Вот наш сосед по даче, например, был десять лет инженером-мелиоратором, тоже на два года в Тунис поехал, а когда вернулся – стал работать в Большом доме, ни от кого этот факт не скрывая. Ну и что? Потому честно говорю:

– Передал мне привет, и передал. Наверное, Колька таким образом просто со всеми нами попрощался.

– Вот гад! Появись только тут!..

Как читатель, верно, догадался, брат наш Колька в том доме с тех пор ни разу не был. То ли мы все стали ему (им?) неинтересны, то ли перебросили его с этого выработанного пласта на другой, более ответственный участок...

...Десять лет прошло-пролетело, и я рад, брат наш Колька, снова увидеть тебя, хотя бы и на газетной странице. Искренне рад, что тебе удалось вырваться из этой проклятой Богом страны, что ты, наконец, свободен от наших проблем, что у тебя всё в полном порядке. С интересом узнаю из газеты: твоя фирма в Париже процветает – наверняка там под твоим началом собрались волевые, энергичные и неглупые ребята, которым по плечу любые задачи. И ты, конечно же, имеешь полное право учить нас, по-прежнему сидящих на своих кухнях, как нам жить и что нам делать...

Спасибо тебе за науку, Николая!

Виртуозы Москвы



На Новом Арбате их знали поимённо. При встрече с ними многие прохожие раскланивались на ходу, а кто и останавливался поговорить и выкурить сигарету. И вы наверняка вспомните кого-нибудь из тех, о ком я хочу рассказать.

Целыми днями Опанас маячил на Калининском проспекте, как массовик-затейник, заигрывал с прохожими, дружелюбно навязываясь в качестве добровольного гида. Если вы собирали домашнюю библиотеку, то среди толкавшихся возле Дома книги «чернокнижников», конечно же, выделяли интеллигентного юношу Додика, который всегда мог предложить на обмен или продажу любой дефицитный томик. И уж точно каждый ресторанный завсегдатай вспомнит, как виртуозно музицировал в лучших едальных залах столицы знаменитый лабух Фагот... Упомянутых представителей сильного пола роднила одна тайная страсть – они коллекционировали женщин и в этом, как истинные профессионалы, видели смысл жизни.

Опанас – двухметровый хохол-альбинос, с белыми кудрями-стружками и бесцветными восторженными глазами идиота, неустанно флиртовал по теневой стороне проспекта (на чётной работали другие лихие ребята)

в томительном поиске единственной и несравненной. С высоты своего роста, издалека высмотрев подходящий объект (Опанас был всеяден – возраст, масть, габариты для него значения не имели), он вычислял траекторию движения и становился поперёк, как айсберг на пути «Титаника», обрекая потенциальную подругу на неизбежное столкновение. Теперь им предстояло встретиться глазами, и когда Опанас ловил на себе ошалелый женский взгляд, его лицо мгновенно озарялось неподдельным восторгом: белесые бровки взлетали на лоб, сияющие зенки изумлённо выскакивали из орбит, улыбка являла все тридцать два зуба рекламной белизны. «Вы артистка, да? – выдыхал Опанас классический по идиотизму вопрос, и было очевидно, что он не только живую артистку – женщину вообще впервые видит. Конкуренты Опанаса, лишённые творческой жилки, пробовали освоить его безотказную фразу, однако попытки наполнить примитивный вопрос столь же огромной силой искренности оказывались зряшными, поскольку фраза работала лишь вкуче с колоритной Опанасовой фактурой. У него же сей финт действовал без осечек – толстая тетрадь в бежевой ледериновой обложке (96 листов), фаллической трубой торчащая из брючного кармана хохла-альбиноса, была сплошь исписана адресами и телефонами сраженных его кобелиным шармом «артисток».

В отличие от Опанаса, Додик никогда не улыбался: он работал дефлоратором, и его любимый контингент составляли прыщавые «мышки»-дурнушки – провинциальные студентки, ютящиеся по общагам и снимаемым у одиноких пенсионерок углам. Додик курировал кафе-«стекляшки» и общепитовские столовые, расположенные вблизи с институтами и читальными залами. Безошибочно выбрав свою жертву, он пристраивался за ней в очереди к стойке или окошку раздачи, печально глядел, как девица берёт слипшиеся пельмени или синюшные сосиски, пробивал себе кофе с булочкой, и теперь ему требовалось оказаться с «мышкой» за одним столиком (не рядом, а только напротив). Если с нужным местом не везло, Додик устраивался поблизости – так, чтобы его заметили, неспешно допивал кофе, краем глаза следя за избранницей, и уходил прежде неё (никогда не форсировал события, давая им возможность развиваться свои чередом). Не сегодня, так завтра, не с этой, так с другой такой же невзрачной девицей тет-а-тет за столиком оказывался Додик – симпатичный московский мальчик, с виду из благополучной интеллигентной семьи, скромно и аккуратно одетый, спокойный и серьёзный. У него были умные карие глаза, грустные, с большими зрачками – бездонными, как черная космическая дыра, которая в одночасье может поглотить всю вселенную. Под всепонимающим взглядом Додика «мышка» съеживалась, краснела, и вилка в её перепачканных чернилами пальцах начинала громче стучать по тарелке. В конце концов девица вновь поднимала глаза на славного молодого человека – их взгляды встречались, и он вполголоса говорил: «И как вы дошли до такой жизни?» Додик отточил свою фразу до совершенства, и реакцией на неё обычно были слезы – комом подступали к горлу, смывали с глаз долой весь этот нищенский советский

быт: грязные столешницы, ползающих по сальной посуде мух, ржавый чай, подёрнутый по краю стакана радужной плёнкой... Отсюда хотелось бежать сломя голову, и Додик уводил тронутую заботой девицу в свой уютный мир – заставленную мудрыми книгами квартиру, где было по-домашнему комфортно вдвоём, под мягким светом абажура, на ласковом диване, который очень располагал поплакаться в жилетку чуткому молодому человеку и за душевное участие благодарно отдать ему неизвестно для кого сбережённую невинность. О повторных встречах речь благоразумно не заходила, и когда Додик потом случайно сталкивался с прежними своими «мышками», он всегда здоровался и запросто мог поговорить за жизнь – доверительно, мило, интеллигентно.

Если про Опанаса даже давние знакомые знали лишь то, что он через три дня на четвертый стережёт некий полусекретный народнохозяйственный объект, и жизнь Додика, который приторговывал книжным дефицитом, в остальном оставалась окутана тайной, то Фагот был у всей Москвы на виду. Он работал в роскошных ресторанах и слыл подлинным виртуозом: весь вечер импровизировал на любые предлагаемые темы, поочерёдно играя на рояле, аккордеоне и гитаре. Заметим, что фагот в арсенале лабуха не значился, и своим прозвищем он был обязан отнюдь не известному литературному персонажу, а собственному потаённому достоинству. Облюбовав в зале даму своего сердца, Фагот начинал играть только для неё одной, и вскоре вся жующая публика уже заглядывалась на звезду вечера. Дама могла быть с кем угодно – с компанией, другом, мужем, любовником – Фагота это не беспокоило. В первой же паузе он снисходил со сцены и подсаживался за столик к своей избраннице, куда официант предусмотрительно подносил нечто уникальное в тогдашних ресторанных картах вин (бутылку «Шато» или «Галлиано», в зависимости от сервировки). И тут Фагот начинал говорить – его фирменная фраза была припасена на потом, а пока он шёл на ощупь, напористо и вдохновенно: «Музыка Моцарта... – (Гершвина, Дунаевского, Поля Мориа – соответственно стилю интересующей его дамы) – это всегда загадка, безумие, страсть!..» Воспламеняясь, Фагот не забывал артистичным движением головы отбрасывать за плечи рассыпчатые соломенные волосы, а руки его – белые, узкие, с бесконечными пальцами, плескались в воздухе с умопомрачительной грациозностью, и легко было представить, как они умеют летать по музыкальным извилям обнаженного женского тела. Потом лабух снова играл, вновь возвращался к предмету вожделения, и по мере приближения ночи уже наверняка знал, достиг ли он желанной цели. Фагот обладал безошибочным чутьём – протягивал женщине руку только в полной уверенности, что его ладонь ощутит ответное пожатие, и в этот миг он своё обречённое (обречённое) сокровище умыкал – стремительно вёл к выходу (у дверей наготове ждала бирюзовая «Лада»), и пока швейцары с вышибалами отсекали спохватившихся прежних спутников дамы, она бесследно исчезала. А Фагот гнал авто по ночной Москве к ВДНХ, где напротив железного дуэта с серпом и молотом,

на последнем этаже многоквартирного дома на ножках, располагался его альков. И говорил, говорил – в машине и выходя из неё, поднимаясь в лифте, отпирая квартиру: о музыке, о страсти, о любви... Едва дверь хлопывалась, как разгоряченную потоком красноречия даму мигом охлаждал заранее заготовленный ушат ледяной воды: «А теперь, тварь, раздевайся!» Что происходило дальше, читателю придётся дорисовать своим воображением – свидетелей, понятно, при этом не было, однако некоторые детали можем добавить. Дверь в квартире Фагота с внутренней стороны не имела ни ручки, ни видимого замка, и дама быстро осознала своё положение. В панике начав метаться по жилищу, обнаруживала, что единственная комната, застеленная медвежьими шкурами, представляла собой огромную сплошную постель, попытка укрыться в ванной тоже спасения не сулила, так как и там отсутствовал запор, и последним убежищем оставалась кухня. А здесь тётёху поджидал сюрприз: загнав её в угол, Фагот, в случае дальнейшей несговорчивости, открывал все краны газовой плиты: «Умрём вместе!» Травиться насмерть таким способом долго и скучно, но воняет пропан из баллона убедительно (в этом доме электроплиты), а в качестве последнего аргумента к обезумевшим глазам упрямыцы подносилась зажигалка (естественно, без кремня), и музыкантский палец замирал на рифлёном колёсике, готовясь высечь смертоносную искру... Тут великий режиссёр Станиславский наверняка крикнул бы своё знаменитое «Не верю!» и был бы абсолютно прав, поскольку в классической МХАТовской постановке дама, приехав ночью из ресторана к едва знакомому кавалеру, вполне сознательно готова на всё, и незачем её пугать столь садистским образом. Но, в отличие от Опанаса и Додика, которые в своём творчестве руководствовались общероссийской системой переживания, Фагот исповедовал западную школу представления, а она требовала любви на фоне шока. И рисковал лабух куда больше: многократно оказывался бит (хорошо ещё, сохранил от увечья музыкальные руки), каким-то чудом избежал уголовного финала...

Загадочные всё же они были ребята: родившись в самой несексуальной стране мира, добровольно взвалили на себя тяжкое бремя приобщения широких слоёв прекрасной половины населения к Эросу, отдали этому великому делу лучшие годы своей жизни, отказываясь от массы простых житейских радостей, часто в ущерб собственному здоровью, а главное – без всякой надежды на благодарную память потомков. Так пусть герои нашего повествования, подлинные виртуозы Москвы, хоть ненадолго удостоятся внимания читателя.

Фагот закончил свои эксперименты раньше других, к чему привела прискорбная осечка: кроткая с виду дама, изрядно наглотавшись газа, самообладания тем не менее не потеряла – метнула в оконное стекло табурет (лабух потом битый час стрясал мебель с дерева) и, пока свратитель в ужасе высматривал лежащий во дворе труп – выцарапала у него ключи и ускользнула. Фагота произошедшее столь потрясло, что он потерял покой и ринулся на поиски дамы, чьё имя даже спросить не успел.

А когда через полгода разыскал-таки свою недотрогу – предложил ей руку и сердце, и, как ни странно, добился взаимности. Теперь у них двое сыновей, вполне благополучная семья: Фагот давно бросил музыку, открыл собственный ресторанчик в Беляеве.

Опасас после образования СНГ отбыл в ридну Украину, направил свою мужскую мощь и умение налаживать контакты на благо самостийной родины. А Додика недавно видели в городе Париже. Рассказывали, он постарел, по-прежнему хранит на лице выражение вселенской печали, а услышав русскую речь, с французским шармом предлагает свои услуги российским туристкам:

– Со во ку пле, мадам? Показать вам настоящий Париж?
Наверняка кто-то и соглашается.

– Море крови!..

«Море крови!» – то и дело восклицал Костик, и на его языке этот возглас выражал все эмоции – от восторга до презрения.

«Ну и девочку я вчера снял! – море крови! – Ноги от шеи!..»

Или:

«Встретились тут с нашим другом NN – море крови! На травке вконец с глужды съехал!..»

Когда нам обоим было по 25–30, встречал я Костика в наших общих компаниях часто. Везде он был желанным гостем: на загородном шашлычке – лучшего тамады не сыщешь, за покерным столом – идеальный партнёр. Подавал себя Константин, как закоренелый холостяк, а женихом считался завидным – служил по дипломатическому ведомству, и в те последние советские годы, когда загранпоездки относились к ряду исключительному, уезжал за рубеж часто и надолго. «Море крови! – отмахивался от вопросов, где пропадал последние полгода. – Опять в Риме с шефом забуксовали...»

Девушки его обожали, и брал он их голыми руками.

Тогда мы встречали Новый год в пёстрой и шумной компании – провожать старый сели в начале восьмого, и Костик, как обычно, дирижировал действием: умело перемежал тосты байками о тропической стране, откуда привёз потрясающий по черноте загар. «Там слоны пешком по городу ходят! – говорил он, врыв локти в скатерть и вращая в пальцах фужер с шампанским. – Море крови! – совсем ручные!..»

До полуночного боя курантов оставалось меньше получаса, а гости всё шли и шли. Я сидел спиной к прихожей, Костик – через стол напротив, и в большом зеркале за ним мне хорошо были видны дверь в гостиную, все в неё входящие. Тут хозяйка квартирны как раз ввела в застолье очередную подругу. Девушка была поразительно хороша: стройная, яркая, с американской улыбкой в тридцать три зуба. Зеркало бесстрастно отразило любопытство, с каким гостя оглядела полужнакомую

компанию, и лёгкий румянец, окрасивший щеки девушки, когда её взор уперся в Константина. В тот момент Костя, продолжая улыбаться, методично отпивал шампанское, и когда поймал обращенный на себя взгляд – будто окаменел. За столом было тихо, оттого тонкий хруст треснувшего хрустала прозвучал, как револьверный выстрел.

Не сводя глаз с девушки, Костя, странно улыбаясь, медленно поставил на стол фужер с откушенным краем, потом – так же плавно – большим и средним пальцами вынул из уголков растянутых губ стеклянный полумесяц и положил рядом с тарелкой. Неспешно встал из-за стола, подошёл к застывшей в дверях девушке, взял её руки и опустил себе на плечи. Она же ни только не сбросила их – прижалась всем телом к Константину, который сомкнул ладони на девичьих лопатках, уводя партнёршу в чувственный интимный танец. Клянусь! – гостиную наполнила музыка сфер, хоть за столом царила мёртвая тишина, нарушаемая лишь боем курантов из приглушенного телевизора. Описав в дверях плавный вальсовый полуоборот, пара оказалась в прихожей, Костя накинул на плечи девушки её шубку, другой рукой прихватил свою дублёнку, и оба они растаяли – бесследно, как во сне.

– Ты веришь в любовь с первого взгляда? – прошептала мне на ухо подруга.

– В смысле? – не понял я вопроса.

– Ну, ясно же, это – любовь!.. Не думала, что Костик способен на такую... Вот счастливая!...

После того вечера, о котором тусовка долго говорила с полувосторгом-полунедоумением, все ожидали скорого известия о свадьбе Константина. Однако он надолго уехал в зарубежные края, а через полгода, когда мы встретились на мальчишнике, Костя по-прежнему развлекал компанию холостяцкими байками: «...Взял купе в вагоне, который Сексуальный Восторг, до Питера и обратно, и две ночи девочку... море крови!..»

А потом Костик вообще исчез из виду – надолго, лет на пять-шесть.

Раз писал интервью с юной актрисулькой, ненадолго озвездившейся в очередном пошлейшем телесериале. Сидела в своём домашнем кресле, поджав под себя ноги, и, каная под Марлен Дитрих, наборматывала на мой диктофон обычную для глянцевого журналов лабуду. Кокетничала: «Любимый мужчина? Конечно, есть. Только вот имени его я прессе не открою. Да вам это и не интересно – он не из мира шоу-бизнеса, работает на крупную иностранную фирму...» Потом надолго отвлеклась на телефонный разговор, а я от скуки принялся рассматривать дамский будуар. И на книжном стеллаже, рядом с томиком любовной лирики, наткнулся взглядом на некий предмет, что-то давнее мне напомнивший. Да – стоял там бокал с щербатым краем, а рядом пылился хрустальный полуовал. Заранее предвкушая ответ, спросил глупышку:

– Вашего плейбоя, часом, не Константэном зовут?

– Ой, ну ничего от журналистов не скроешь! – зарделась девчонка. –

А вы с Константином Аркадьичем тоже знакомы?.. Уникальный человек, я таких никогда не встречала. Это было поразительно! Такая любовь!...

Когда мы с Костей опять недавно встретились, то не сразу друг друга узнали. Да и место для приятельских объятий было не очень подходящее – уборная в ресторане «Савой»: я мыл руки, а у соседней раковины промокал салфеткой окровавленную губу потасканный, хотя и не лишенный лоска типаж, который очень отдаленно напоминал знакомого из давней жизни.

– Море крови!.. – бормотал он, отплеываясь. – Оказалось, обычная стекляшка, мать её! А на вид – как хрусталина... Хрусталь удобно грызть, им не обрежешься...

Любовь с первого взгляда, говоришь?

Море крови!..

Шуточка

Не люблю метро: сквозняки зимой и летом, толкотня, в окно смотреть не на что. Читать на ходу тоже не люблю. Пока еду, просто разглядываю пассажиров. Развлекаясь, придумываю себе: кто они по жизни, чем занимаются, куда едут...

Эта девчонка вошла в вагон на «Новослободской». Встала у дверей, которые не открываются, достала из рюкзака толстый журнал без картинок. Мне она сразу понравилась – милая, хрупкая, совсем не накрашенная. И одета неброско: черные джинсы, черная кожанка на молнии. В наушниках у меня пульсировала песенка «Michelle, ma belle...», и я подумал, что эта девчонка наверняка любит битлов – была в ней некая старомодность. Не могу объяснить, только это с одного взгляда ясно: не из дискотечных тусовок девушка. Зато очень зримо представил, как идёт она босиком по горной тропинке – точно по горной – с кувшином к роднику. Отличало её что-то патриархальное, восточное: черный завиток волос на виске, тонкий нос с едва заметной горбинкой.

Перед остановкой «Парк культуры» она перебрала рюкзачок со сгиба руки на плечо, скатала трубочкой журнал (успел заметить – «Иностранная литература»). И вышла. А перед тем, как открылись двери, быстро посмотрела на часы. Я ещё подумал: наверняка её кто-то ждёт – такую девушку непременно должны ждать...

Она вышла, а мне по кольцу дальше. И отчего-то всю дорогу думал о ней. А на другой день, когда подъехал к «Новослободской», вдруг сошёл с поезда. Было то же самое время – начало шестого, то же самое место – второй вагон от конца. Час пик ещё не пробил, однако тут на перроне всегда толкотня. И всё равно я сразу увидел её – минут десять спустя она остановилась неподалёку, в подошедший поезд мы вошли через соседние двери. Она опять читала журнал, но теперь то и дело смотрела на часы. И на своей станции покинула вагон в явной спешке, почти

бежала по переходу на радиальную. Я проследовал за ней до «Спортивной», не думая даже – зачем, что собираюсь делать. Поднялся в город и на выходе из метро увидел, как девушка подошла к высокому парню, тот забрал её рюкзачок, взял под руку, и они быстро смешались с толпой.

Про любовь с первого взгляда я тогда только читал (что-то типа про молнию). Но к себе примерить эту ситуацию не получалось: ничего такого меня не пронзило, крылышки на спине тоже не зачесались. К тому же у меня тогда была подруга, мы уже год считались женихом и невестой, пока наши отношения перешли в интимную близость, которую только и оставалось, что заверить казённой бумагой. Однако мы жили врозь, каждый со своими родителями, и раньше окончания института в загс не собирались. Нормальная жизнь – вроде бы всё налажено, никаких перемен и не хочется. Только вот отчего-то встреченная в метро девчонка, даже имени которой не знал, не выходила из головы. И каждый день, проезжая «Новослободскую», ловил себя на смутной надежде: сейчас встретимся...

...Она вошла в вагон и встала рядом. И всю дорогу не подняла глаз – читала, уже не «иностранку», а конспект, исписанный химическими формулами (ну да – возле Новослободской Менделеевский институт). Вблизи она оказалась еще симпатичнее: только тут разглядел ямочки на ее щеках, пухлые губы, которые она слегка покусывала, когда смотрела на часы. Я ощутил её запах – пряный восточный аромат духов: верно, что мы любим носом. Думал, что она не замечает ни моего соседства, ни осторожного – боковым зрением – взгляда. Оказалось, не так – когда подъезжали к станции пересадки, вдруг вежливо и властно сказала, пряча конспект в рюкзачок: «Пожалуйста, не нужно за мной ходить». И я заговорил с ней – через её плечо, стоя за спиной девушки на ползущем вверх эскалаторе, сбегая вниз по ступеням извилистого перехода, и в глаза – на перроне радиальной линии, оказавшись прижатым к ней в вагонной толчее. Что говорил – не помню, но точно сказал, что пойду следом до её дома. Она раскраснелась, неподдельно сердясь, и всю дорогу молчала. Ответила лишь на последнюю фразу: пообещала, что завтра придёт на «Новослободскую» на четверть часа раньше, только с условием, что никогда не выйду с ней в город. Я вспомнил встречавшего её парня (мужа? приятеля?), дал ей честное слово.

Её звали – как чеченскую девушку в лермонтовской повести – Бэла. Только приехала она с семьей (с матерью, отцом и старшим братом) в Москву из Туркмении. У отца здесь наладился какой-то мелкий торговый бизнес, брат чинил машины в автосервисе, а за Бэлу все решила родня. Мать Бэлы работала в Ашхабаде учительницей химии, и дочь тоже определили в Менделеевский. Она вообще очень сильно зависела от родителей: они решали, с кем ей дружить в школе и во дворе, и молодого человека обещали подобрать подходящего. Когда придёт время. В любом случае, сказала Бэла, это произойдёт после того, как обзаведётся семьей старший брат. Ему было под тридцать, и жениться он, похоже, в ближайшее время не собирался. Впрочем, это решит за него папа. Когда Бэла стала учиться, отец рассчитал по времени всю дорогу от института до дома, отмерил

дочери на всё про всё ровно пятьдесят минут, и точно в назначенный час они с братом поочередно встречали ее у метро...

Для меня всё это было – полная бредятина. На общение нам отводилось меньше часа – пока провожал Бэлу от «Новослободской» до «Спортивной»: на бегу, в шуме метро, то и дело глядя на часы. О том, чтобы куда-то пойти вместе вечером, и речи не могло быть: всюду ходила только с семьёй. Когда я предложил Бэле показать своим родителям меня, она только брови подняла изумлённо: хочешь, чтобы её вовсе из дома не выпустили? А в чем дело-то? Я вполне симпатичный парень, неглупый, единственный сын интеллигентных родителей, которые тоже приставали ко мне с вопросом: почему бы не пригласить к нам домой на воскресный семейный обед девушку Бэлу? В конце концов, раз для них это столь серьёзно, – пусть брата или папу захватит. У Бэлы от этих разговоров глаза мокрыми становились.

Давай, говорю, хоть почтовый роман затеем – я тебе стихи писать стану. Адрес свой почтовый она дала, а потом спохватилась: почту из ящика отец достаёт...

Как мне в такой ситуации себя вести? С прежней подругой мы вскоре расстались, отношения с Бэлой никаких перспектив не сулили. Друзья мой «подземный роман» комментировали плоскими шутками: устройте себе медовый месяц по кольцевому маршруту – попадёте в Книгу рекордов, да и метро у нас самое красивое в мире. Почти все мои знакомые Бэлу уже видели – в метро опять же, как бы между прочим: вот, кстати, мой институтский товарищ, здрасьте!.. Я Бэлу даже за руку взять боялся – буквально каменела: вдруг кто из знакомых отца увидит? И подарить ей ничего не мог, даже цветок, – на всё у Бэлы один ответ был: «Дома спросят: где взяла? Что скажу?..»

Дурацкие у нас были отношения, да? Кончилось всё тоже по-дурацки.

В субботу лекции у нас закончились рано, расставаться с сокурсниками не хотелось – пошли пить пиво. Говорили – кто про что, а я про Бэлу. Приятели мне: и долго вы так в подпольщиков-подземщиков играть будете? – А что я могу, если для неё слово отца – закон?..

Тут и возникла идея: проучить восточного деспота, и дело с концом. Чтоб над девчонкой не измывался!.. Поймали кураж – не остановишь: надумали разыграть папинса. Гурьбой пошли по Тверской на Центральный телеграф, отправили «срочную». Текст хором сочинили: «Бэла, жду в следующий понедельник. Всё схвачено, венчаться и рожать будем в Киеве» (почему именно в Киеве, а не в Саратове или Урюпинске – чёрт его знает). Нахохотались от души: так папу и кондратий хватит! Ну и отослали.

В понедельник, час впустую простояв на платформе «Новослободской», я уже понял, что Бэла не придёт. Не пришла она на постоянное наше место ни через день, ни через три, ни ещё через неделю. Поехал к её дому, до ночи просидел на подоконнике в парадном соседней многоэтажки, следил за подъездом. Видел, как приезжал-уезжал на «Ладе» её брат,

ушёл из дома и вернулся их отец, но Бэла даже с ними не появилась. В учебной части института узнал, что на занятия она с тех пор не являлась – приезжал отец, написал заявление, что дочь по болезни оставляет учёбу, и забрал документы. Ни друзей, ни подруг Бэлы, которые что-нибудь могли знать о ней, я не нашёл.

Бэлу я больше никогда не видел. Много времени минуло, а я так и не знаю, где она, что с ней. И простила ли она меня за ту глупую шутку, за которую сам себя не прощу никогда.

III

...и др. истории

Олимпийский год



По решению партии и правительства, вместо объявленного на 1980-й год коммунизма, в Москве прошли Олимпийские игры.

Фольклор

Приученные из года в год стоять на трудовой вахте в честь ... (несчётное множество стимулов), задолго до наступления нового, восьмидесятого, мы уже знали, каким он будет: год 110-й годовщины со дня рождения В.И.Ленина и 25-летия оборонительного союза стран-участниц Варшавского Договора, год XXII Олимпийских игр, честь проведения которых была оказана столице нашей Родины Москве. Готовили трудовые подарки – к юбилею, знаменательной дате, всемирному празднику спорта. И нам тоже был уготован новогодний подарок – неожиданный, как гроза в декабре: над заиндедевевшей страной взошло жаркое слово

Афган

Раздавленные случившимся, Новый год встречали тускло. Компания была пёстрая и являла банальный союз физиков и лириков. Пили мало,

хотя было этого добра под завязку – даже предпраздничные очереди за беленькой не шли ни в какое сравнение по массовости с многочасовыми будничными, которые вырастут у винных магазинов через несколько лет. До утра проговорили. О цикличности, не без влияния космоса, «кругового времени», числовых расчетах поэта Хлебникова и профессора Чижевского, о трагической цифре «12», с назойливым постоянством определяющей вторжение наших танков за рубеж после 1944-го – в 1956-м, 1968-м, 1980-м. Гадали, где можем оказаться в 92-м. И снова – о Праге 68-го, где горожане замазывали, сбивали названия улиц, путая наших танкистов, и советские парни усердно изничтожали надписи «rozor!», а слово это (с ударением на первом слоге) мозолило глаза на каждом шагу и переводилось просто: «внимание!». И опять про Афганистан: не на месяц, не на год – на годы, и самое обидное – всё зря, как полувекое упрямство англичан, пока не махнули рукой, одумавшись, и мы тоже неверные, но упрямее, на чужих ошибках не учимся, предпочитаем собственных дров наломать, и что Афган влетит нам как Вьетнам Америке.

Странно, наверное, но отчего-то в голову не приходило доискиваться тогда, кто и как решил, – рулевого знали. Другое карябало: неужели **там** все – «за»? (Четыре месяца спустя в США уйдет в отставку госсекретарь Сайрус Вэнс, осудивший санкционированную президентом попытку военной силой выволить американских заложников из Ирана, и мы об этом широко напишем, на своих правителей чужой поступок никак не перенося). Шептались, сходясь в углах и курилках, матерились, читая газеты, ждали голоса «против» (не из-за красной стены, понятно), а имя уже витало в ореоле мученичества, и наконец было названо вслух:

Сахаров

В двадцатых числах января пошли по Москве разговоры, будто опальный академик сказал нечто непотребное американским журналистам, и текст этот – возмутительный – уже несколько раз читали вражеские голоса, вполне успешно забиваемые отечественными глушилками (сахаровские те интервью журналистов Остина и Бирбауэра у нас до сих пор не опубликованы). Наконец «Комсомолка», «Правда» и «ЛГ» выразили «мнение народа» о «несостоявшемся цезаре», «клеветнике и фарисее» – подтвердили достоверность устной информации. Назначенный ссыльному город в публикациях не назывался, но это ни для кого не тайна – Горький (в пику фамилии, не иначе).

Одно удивляло – как удержались, не ударили рублём, сохранили за изгоем академическое звание, а значит – и деньги на кусок хлеба. И уже пошла бродить-гулять байка, донине никем не подтверждённая и не отвергнутая, героем которой был уже другой академик – Петр Леонидович Капица, «при-Нобель» и остролов. Будто бы на заседании президиума АН такой разговор получился:

Александров:

– Сегодня у нас на повестке дня беспрецедентный случай: вывод академика Сахарова из состава академии.

Капица: – Отчего же «беспрецедентный»? Был уже такой случай: Гитлер Эйнштейна вывел.

Александров, после паузы: – Переходим к следующему вопросу...

В действительности, видимо, всё было прозаично: академики большинством проголосовали «против».

А в феврале по рукам разлетится самиздатский листочек – письмо в «Известия» другого остролова: «Позвольте через вашу газету выразить моё глубокое отвращение ко всем учреждениям и трудовым коллективам, а также отдельным товарищам, включая передовиков производства, художников слова, мастеров сцены, Героев Социалистического Труда, академиков, лауреатов и депутатов, которые уже приняли или еще примут участие в травле лучшего человека нашей страны – Андрея Дмитриевича Сахарова». За эту выходку языкастый автор Чонкина тоже поплатится вынужденным отъездом, но не в закрытый советский город, а в открытый для циничных Войновичей зарубежный.

Что на идеологическом фронте мы крупно подставились – и с Афганистаном, и с тем же Сахаровым, – стало ясно, как Божий день, и наши противники не преминули воспользоваться этими козырями, найдя самое уязвимое место, – зарубежные газеты запестрели заголовками:

Бойкот

В семидесятых мы сами использовали это психологическое оружие – в целях, понятно, благородных. Так, наши футболисты отказались от чемпионата мира, не стали гонять мяч на чилийском стадионе, во время пиночетовского переворота ставшем тюрьмой для патриотов. И в Каннах, когда американцы привезли фильм про войну во Вьетнаме, делегация советских кинематографистов покинула престижный кинофестиваль.

В восьмидесятом выдержать атаку пришлось нам. «Сияй, гори огнём, Олимпиада!» – ПЕСНЯ БОЙКОТА, музыка железной леди Тэтчер, слова трубадура гегемонизма Бжезинского (популярная шутка того года). Потом отыграемся: в 1984-м уже Советский Союз станет инициатором бойкота XXIII Олимпийских игр в Лос-Анджелесе. Боевая ничья — 1:1. Кто выиграл в итоге? Большая политика.

В том, что Игры в Москве состоятся, у нас вряд ли кто сомневался – были уверены: проведём, как бы фишка не легла (больше опасались торговых и экономических санкций, срыва поставок нам капстранами зерна и оборудования). Декларируя спорт как борьбу наций, систем, идеологий – прикидывали расстановку сил, фиксировали в печати каждое проявление к нам симпатий или хотя бы сочувствия. В тот год мы узнали, кто есть кто: в феврале «Правда» поведала, какой неожиданный фортель выкинул

«Наш» негр

Когда Мохаммед Али смотрел на йогов в Индии, его достал президент Картер и предложил немедленно вылететь в Африку с особой миссией – склонить африканские страны к бойкоту советских Игр. Подали спец-

самолёт, и Али тотчас отправился по маршруту: Танзания – Кения – Нигерия – Сенегал.

Законопослушные дети 60-х, воспитанные на классических образах заботливо прочеженной для нас мировой литературы, с младых ногтей мы твёрдо усвоили, что все французы (1812 год о расчет не принимался) – внуки парижских коммунаров, такие неубитые Гавроши, а каждый негр непременно вырос в хижине дяди Тома, и с удивлением узнавали, повзрослев, что парижане понятия не имеют, где на кладбище Пер-Лашез находится Стена коммунаров, что все антисоветские центры и издания окопались во Франции, а расизм бывает не только белого цвета. И всё же темнокожий человек мгновенно выстраивал в памяти привычный ассоциативный ряд: блюзы и джаз, Лумумба и Анджела Дэвис, Мартин Лютер Кинг и, конечно, Поль Робсон: «Я другой такой страны не знаю..»

В конце 70-х Робсона не было в живых, а постоянным гостем СССР стал другой «советский американец» – белокожий супермен и лауреат премии Ленинского комсомола Дин Рид. И полуофициальной титул «наш негр» вполне достоин был носить боксёр Мохаммед Али – чемпион Олимпиады-60 – сгусток энергии и кусок воли, затмивший пловца Вайсмюллера – послевоенного киношного Тарзана.

За полтора года до своего ответственного вояжа в Африку Али приезжал в Москву. Провёл поединки с нашими чемпионами – по две трёхминутки с каждым — Заевым, Горстковым и Высоцким (победитель великодушно не определялся), и еще мог бы столько же, запрограммированный на полтора десятка раундов, но «к сожалению, я был не в форме, чтобы всерьёз боксировать с советскими спортсменами». Оказался большим ценителем литературы социалистического реализма – назвал подаренную Леонидом Ильичом «Малую землю» самым дорогим подарком за всю его жизнь, а что по-русски не читает – не беда: «Я попрошу моего друга, посла Советского Союза в США Добрынина, перевести для меня эту книгу». Умело умыл на пресс-конференции дошлого корреспондента Эй-би-си: «Была ли дипломатией моя беседа с господином Брежневым? А как бы вы отнеслись к тому, если бы я свою любовь к жене и матери назвал дипломатией?» И главное, опроверг измышления буржуазных писак, будто наш генсек дышит на ладан: «Не бойтесь! Вы еще много лет будете его слушать. Он в хорошей спортивной форме»...

Мохаммеду Али Москва понравилась: «У нас в стране на улицах грабят, повсюду можно встретить проституток... Когда я в два-три часа ночи выбежал на тёмные московские улицы, чтобы потренироваться, я был в полной уверенности, что никто на меня не нападёт». Не знаю, оценил ли комплимент зять генсека Чурбанов, призванный обеспечить порядок в олимпийской столице, но эта фраза многих подкупила. И вспомнилась год спустя, когда судили безумца, зарубившего возле «Националя» трех престарелых туристов-шведов (тоже сюжетец для жёлтой прессы, годами пичкающей западного обывателя клюквой, что-де по Москве середь бела дня слоняются медведи и мужики с топорами).

Сумасшедший (такovým признал убийцу суд, заменив ему верную «вышку» пожизненным заключением в психушку) повредился умом на сим-

птии к Раскольникову – «тварь я дрожащая или право имею?» – и несколько лет, нося под полой топор, терпеливо караулил у ресторана «Националь» жертву познаменитее, чья гибель должна была ошарашить мир. 3 декабря 1980 года такой же американский маньяк застрелил Джона Леннона у дверей его нью-йоркского дома, а наш выбирал – то ли члена Политбюро Косыгина, то ли шахматного короля Карпова. Но одного окружало кольцо мальчиков с профессиональной реакцией, другого – восторженные фанаты, травмировать которых новоявленный Раскольников не решился. И тут в гостинице поселился Али – кандидатура для топорной славы вполне годящаяся. Днём к нему тоже было не подступиться, однако москвичи быстро прознали: бегаёт для тренинга по ночной столице. Москва, понятно, не Нью-Йорк и не Чикаго, но что сказал бы Али, узнай, как за ним норовил угнаться безумный русский парень с топором? Слава Богу, не догнал – боксёр, как и наш генсек, пребывал в отличной спортивной форме. Судьба Мохаммеда хранила, сказал бы поэт, и доверие президента он частично оправдал и отработал – национальные олимпийские комитеты Кении и Либерии своих спортсменов на Игры в Москву не прислали. Советская печать это никак не комментировала – «наш негр» перестал для нас существовать. Здесь автору потребуется лирическое отступление – про

Искусство читать газеты

Если верить отечественной печати, с начала 1980 года буржуазный мир находился на последнем дыхании. Никогда ещё перед Новым годом Париж не был так скудно украшен и скупос освещён – экономия энергии. Италия не находит выхода из лабиринта сложных проблем. В Лондоне из-за высокой платы за газ мёрзнут в своих домах малоимущие, живущие на пенсию старики. В США, вдобавок к ку-клукс-клану, пышным цветом расцвёл антисемитизм, оскверняются еврейские кладбища...

Во Франции вновь обсуждается вопрос отмены смертной казни (год спустя изобретение д-ра Гильотена будет вычеркнуто из перечня действующих средств наказания). В Италии умер автор «Чиполлино» Джанни Родари. В Иране продолжают удерживать американских заложников, требуя в обмен на них выдать режиму Хомейни бывшего шаха – «долгоиграющий», на много месяцев, с интригами и кровью сюжет: антииранская истерия в Штатах, гибель американских самолётов в пустыне, наконец, смерть шаха при вполне туманных обстоятельствах.

Англоязычный мир зачитывается боевиками-бестселлерами Джона Солсбери «Московское золото» и «Москва 5000» Дэвида Гранта – о нашей Олимпиаде, понятно, из разряда документированных фантазий: «что было бы, если...», с описанием конкретных событий и реально существующими героями. На границе Вьетнама с Китаем новые пограничные конфликты с перестрелкой – отголоски «месячной войны» между ними в феврале 1979-го. В Каннах Золотая пальмовая ветвь присуждена картине Акиро Куросавы «Кагемуша» (увидим её через пять лет) и ленте Боба Фосса «Кабаре» (спустя десятилетие тоже пройдёт по нашим экранам). Летом

в Польше состоялся очередной съезд ПОРП, правдинский репортаж с которого назван «Великая сила солидарности» (уже в августе заголовок с таким словом будет невозможен – в Польше прокатится волна организованных Лехом Валенсой и его «Солидарностью» забастовок). Среди самых горячих точек планеты – Кампучия, Сальвадор, Чили, Чад, но чаще других упоминается Афганистан...

В СССР всё бурлит по намеченным планам – стройки, плавки, посевная... В феврале прошли выборы – как всегда, «в водовороте праздника», с массовыми гуляньями, при абсолютной явке на избирательные участки (в России проголосовали 99,98% электората, в остальных республиках – 99,99%!). По центральному избирательному округу Барнаула в Верховный Совет РСФСР единогласно избран М.С.Горбачев, кандидат в члены Политбюро, секретарь ЦК КПСС. В космосе побывали новые группы советских космонавтов и вместе с ними – лётчики Венгрии и Вьетнама. Первого апреля – в традиционный День смеха и день введения новых цен – все газеты расскажут, как товарищу Л.И. Брежневу, спустя год после присуждения, вручалась литературная Ленинская премия за эпохальную трилогию, и благодарный писатель пообещает продолжить свой труд, если выкроит время (выкроит – в 1981-м «Новый мир» порадует читателя новым шедевром «Жизнь по заводскому гудку»). И пройдёт в торжественной обстановке юбилейный вечер, посвящённый 110-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина. И проведёт товарищ Л.И. Брежнев в Варшаве совещание Политического консультативного комитета стран-участниц Варшавского Договора, вместе с товарищами Живковым, Хонеккером, Кадаром, Герekom, Гусакom, Чаушеску...

Господи, как это было давно! – 100 лет назад? 1000?..

Как же это было недавно – ещё вчера...

Читать тогдашние газеты интересно, лишь обладая богатой фантазией или, на худой конец, имея наработанную привычку.

Если, к примеру, печать сообщала, что в Киншасе при организации мессы, на которой присутствовал папа римский Иоанн Павел II («из наших – из поляков, из славян»), в давке погибло 9 человек и 65 получили увечья, читатель сам обязан был понять, что глава католической церкви во время африканского вояжа что-то непочтительное сказал про Брежнева или Советскую Россию, и как вообще Ватикан может относиться к первому и последнему в мире атеистическому государству.

Уже год, как премьер-министром Великобритании избрана Маргарет Тэтчер, но имя её в газетах наших поискать: только «правительство консерваторов», «кабинет тори», «английская администрация»... – знать, порядком насолила Железная леди Генсеку и его Серому Кардиналу, до аллергии на одно лишь упоминание её фамилии.

С кем бы из политических лидеров ни встречался министр иностранных дел СССР Громыко – «в ходе беседы были затронуты вопросы советско...ских отношений», а также актуальные проблемы международного положения», и сам домосливый тассо'вки: всё про то же – бойкот, Афганистан – постоянную тревогу и боль нашу.

Много давало разглядывание фотографий. Вот Брежнев в своём крем-

лёвском кабинете, возле настольных часов в колесе штурвала (подарок пролетариата «великому рулевому»), сложил на столешнице руки, не глядит на собеседника, мрачен (то ли разговор так удручил, то ли заранее мучается – через несколько часов лететь ему в Белград на похороны Тито). И собеседник – председатель Международного олимпийского комитета лорд Килланин – тоже смотрит в сторону, врыв локти в сукно стола и уперев подбородок в переплетённые пальцы. Текста под фотографией минимум, но сама эта композиция выдаёт немой вопрос:

Все флаги в гости будут к нам?

В середине апреля наша печать оповестила, что желание принять участие в Олимпиаде выразили национальные комитеты 106 стран. К 19 июля в Москву на Игры прибыли представители 81 государства... Взращённые за глухим и крепким забором, где всё нормально, если, как в песне поётся, «не слышны в саду даже шорохи», мы каждый раз непроизвольно напрягались и смущались душой, когда в заборе приоткрывалась калитка. Подозревали: непременно пролезет в неё густопсовая нечисть с идеологическим душком, да ладно бы только с идеологическим – явно к Олимпийским играм приковано внимание не только всей прогрессивной общественности, но и различных авантюристических групп и террористических организаций.

Дыма без огня, конечно, не бывает – надолго застряли в памяти жуткие события Мюнхенских Игр 72-го, налёт террористов на Олимпийскую деревню, перестрелка, стоившая жизни почти всей сборной команде Израиля. И уже на Белой Олимпиаде–80 в Лейк-Плэсиде устроители поселили спортсменов в камерах новенькой, не обжитой ещё малолетними преступниками тюрьмы, с пуленепробиваемыми стёклами, электромагнитными замками и двумя рядами колючей проволоки, за что советская пресса не преминет попенять американским выдумщикам. Свою Бутырку мы, понятно, использовать не собирались, но тоже приняли

Превентивные меры

В комитете комсомола и завкоме часового завода (работал там литсотрудником в многотиражке) ворошили бумажный стог, разбирая билеты на Олимпиаду. Недоумевали: билетов куча – тысячи полторы – не в блоке, а «лапшой», двух мест рядом не найдёшь и с соседом не поменяешься – разные секторы, ярусы, ложи.

А вечером, после тренировки в душном, прокалённом июньским солнцем спортзале, пропахшем потом и свежеразломанными сосновыми досками, уже сняв кимоно и расслабляя онемевшие мышцы, получали из рук учителя билеты на стадион. Тут места оказались распределены не абы как, а с умом – через два на третье, так что вся наша группа, полсотни крепких парней, оказывалась рассаженой «квадратно-гнездовым» способом. И билеты были кем-то оплачены, нам оставалось лишь их отработать: допускался «жёсткий контакт» в области го-дан, чё-дан и дзё-дан

(ниже пояса, в грудь и голову), и твоей «пустой руке» полагалось сделать отработанное до автоматизма движение – в ответ на любой неформальный выкрик, плакат, лозунг... Поняв, что от тебя требуется, ты последний раз поклонись сэнсэю и под холодными взглядами бывших товарищей, партнёров по спаррингу, вместе с ещё двумя такими же рохлями навсегда покинешь родной зал под «армейской» крышей...

Всего за полтора месяца до этого вечера – в День космонавтики – открылся первый союзный чемпионат по каратэ, в праздничной ауре, с Владимиром Высоцким на гостевой трибуне, возвышенно и волнующе: вышли из подполья, обрели статус, и уже поговаривали о включении каратэ в ряд олимпийских видов спорта, но очень скоро всякие разговоры о том прекратятся, хлынет откатная волна – с газетного окрика «Скажите им: ямэ!», после которого окажутся на зоне вчерашние кумиры – по другим обвинениям и всё-таки **за это**, а там и недалеко до ноября 81-го – до статьи УК РСФСР 219-1, приравнявшей каратэ к холодному оружию, когда начнут сажать уже **за дело**. Но это другая история. А Олимпиада пройдёт без эксцессов, лишь с одним неприятным моментом: голубой неформал прищёлкнет себя наручниками к чугунной ограде возле храма Василия Блаженного, выкрикивая призывы дать свободу советским гомосексуалистам, но с ним разберутся без каратэ.

С доморощенной «диссидой» к лету 80-го было покончено – в целом и основном. В начале июля в «Известиях» письмом четырёх академиков добили Сахарова. В «Мелодии» на Калининском еще продаётся пластинка – Василий Аксёнов читает свой рассказ, но самого автора после разгрома альманаха «Метрополь» в Москве уже нет, как нет и Владимира Войновича, и Льва Копелева, широко заклеянного за его «исповедь отщепенца», и других возмутителей общественного спокойствия, долгие годы ходивших в невыездных, а теперь поспешно снабжённых визами. Те, с кем не успели поquitаться до Олимпиады, пересидят её за решёткой, и уже через две недели после отзвона всемирного праздника спорта, в том же августе правозащитница Великанова получит свои законные 4 плюс 5 за интерес к запрещенной литературе.

Оставался ещё один – пикантный – контингент... Нет, проституток у нас не было, как не было самого отжившего понятия, наличествовала лишь так называемая «группа риска» – легкомысленные молодые люди, ищущие контакта с иностранцами (помнили ведь о цветных «детях фестиваля»), дружно родившихся в начале 1958-го). В профилактической работе с населением годилось всё, даже

Бродячие сюжеты

Замечал ли ты, читатель, сколь сильна у нас фольклорная традиция? То и дело слышишь какую-нибудь житейскую историйку, абсолютно достоверную, и вдобавок каждый, кто ее передаёт, перво-наперво убедит, будто она, историйка, приключилась с ним самим либо его знакомыми, даже имена готов назвать. В начале девяностого – наверняка слышали – ходила из уст в уста байка про болгарскую незрячую прорицательницу Вангу, как

наобещала она посетившим её советским туристам военный переворот в апреле месяце под руководством генерала с грозовой фамилией (наши газеты даже опровержение печатали). А в восьмидесятом рассказывали такой случай.

Зафрахтовал на весь день нашего таксиста один иностранец, чуть ли не полста рублей в час посулил. И с утра до вечера катался по разным адресам – развозил какие-то красивые свёртки, набитые им в багажник и на заднее сиденье. Но шофёр наш, ясное дело, оказался из тех пацанов, кто в детстве растил щенков для погранзаставы, чтобы они, как пёс Ингус славного сталинского дозорца Карацупы, шпионов ловили. И вот он, заподозрив неладное, прозорливо сдал подозрительного иностранца в милицию. Расструментили там свёртки, а в них – джинсы американские. И оказались те штанцы дерюжные, как экспертиза установила, насквозь заражены самым натуральным сифилисом.

Олимпийским летом слышал я эту байку многократно: и от знакомых – чуть ли не на их глазах задержание происходило, и от таксиста – тот водитель, бдительный, из одного таксомоторного парка с ним был. Слышал её и в заводском сборочном цехе – в обеденный перерыв лектор просвещал молоденьких часовщиц. И реакцию на ту байку помню – внимали учёному дяденьке лектору чутко, а потом одна девчужка и скажи: «А вот у нас на прошлой неделе другой пропагандист был, так он уверял, что сифилис на свету не живёт». – «Не совсем так, – не растерялся лектор. – Живёт, хоть и недолго. Вы заметили, какая на джинсах ткань плотная, и швы какие, и цвет... Там что угодно жить может!..» Ему даже похлопали за находчивость.

Конечно, первое приходящее в голову: такую цветастую рассаду скорее всего выращивают горе-ботаники из оранжереи, что между «Детским миром» и Политехническим. И потому оставалось только хмыкнуть недоверчиво, когда приятель с телецентра рассказал, будто в Америке выявили новую болезнь: передаётся исключительно через слизистую и анальное отверстие, внешних признаков нет – вирус на иммунитет действует, с ним живёшь до первой болезни, пусть и самой пустячной (грипп, например), и от неё умираешь – организм с заразой не борется...

Шел 80-й год, и стюард авиакомпании «Эйр-Канада» Газтан Дюга, завезший неизвестную науке болезнь в США, ещё резвится, как и четыре десятка его половых партнёров, и целый год должен пройти, пока лос-анджелесский врач М. Готлиб – специалист по саркоме Капоши (рак гомосексуалистов), сформулирует название загадочной болезни: синдром приобретённого клеточного иммунодефицита. И ещё три года мы будем замалчивать этот самый AIDS, а когда признаем – выдвинем сегаловскую версию, что зародился-де СПИД «в пробирках Пентагона», и будем стоять на своём, пока посол США в СССР заявит нам протест... Целых семь лет проскрипят, пока зарегистрируем первого отечественного спидоносца и введём в российский Уголовный кодекс статью об административной ответственности за проституцию, расписавшись в её наличии, и тогда же, в августе 87-го, – союзный указ Верховного Совета о мерах профилактики заражения аспидовым вирусом...

Но во время вспоминаемых нами событий нет в СССР еще ни проституции, ни «чумы XX века», и Москва ещё не потеряла надежду превратиться в город будущего –

Образцовый коммунистический

Москвичам, живущим сегодня в городе, который теперь даже не включен ЮНЕСКО в Международный перечень городов – памятников культуры и искусства, осталось лишь довольствоваться воспоминаниями, как летом восьмидесятого удалось пожить месяц в столице образцовой и коммунистической (каковыми тогда же были, видимо, и другие «олимпийские» города – Ленинград, Киев, Таллин — еще с одной «эн»). Что ж, хотя бы вспомним:

– образцовый коммунистический – город вымерших улиц, полупустого транспорта, магазинов без давки и очередей. И лежало в магазинах всё, что и представить было невозможно, даже грецкие орехи – молва утверждала, будто насчёт их лично Леонид Ильич распорядился, вычитав в референтской справке, что один кэгэ орехов равен по калорийности двум кэгэ мяса (а ведь и мясо было, в том году догнали Америку по его производству на душу населения, однако рапортовать не стали – вовремя спохватились: в США считали вес мяса без костей);

– образцовый коммунистический – это город милиционеров, свежённых в столицу со всей страны и расставленных по улицам в обязательной прямой видимости друг друга – каждый должен был видеть два околыша справа и слева (не за это ли новшество принц Чурбанов отмечен Госпремией?), и вежливых гаишников, заблаговременно перекрывших кольцевую автодорогу и боровшихся за «город без лишних машин»;

– образцовый коммунистический – город завершённого строительства: все недостроенные дома были спешно подведены под крышу, и подъёмные краны убраны. Скорость работ поражала: в понедельник возле Уголка дедушки Дурова ещё торчит нестарая кирпичная пятиэтажка, в среду о ней и фундамент не напоминает, а в пятницу на этом месте – высоченная трава оранжерейной густоты. Но это легко объяснимо – дом мешал шестирядной трассе под красивым названием Северный луч, пробиваемой от Самотёки до Останкино, мимо нового спортивного комплекса из стадиона и бассейна, однако отчего-то иссяк «луч» на середине, упершись в кафе-стекляшку и довоенную школу, и с тех пор именуется Олимпийским проспектом, что узаконено неброской мемориальной доской;

– образцовый коммунистический – это город-музей под открытым небом: раздрызганные церкви и часовни были скоропостижно оштукатурены, покрашены, а некоторым, счастливо оказавшимся возле олимпийских трасс, и кресты на маковки и звонницы вернули, но и заборами обнесли – чтобы пресечь любопытное желание в опухабленное нутро заглянуть;

– образцовый коммунистический – город высокой культуры быта: за месяц до открытия Игр жэковские активисты вместе с милицией и пенсионерами-добровольцами обошли дома (что на олимпийских маршрутах, опять же) и навели порядок по фасадам: посрезали на балконах бельевые

верёвки, разломали выступающие над перилами шкафы, и застеклённые лоджи разобрать повелели...

Красота, а не город! Идёшь себе по улицам – один-два прохожих навстречу, заходишь в магазины – один-два человека в очереди, спускаешься в метро – пять-шесть пассажиров в вагоне, и тебе из динамика нежный иностранный голос бормочет: «Next stop «Аеропорт»... Так и хотелось ответить: «All right!..»

С диссидентами всё ясно, но вот куда в одночасье исчезли цыганки с вокзалов и базаров? – пёстроубочное племя с их чумазыми цыганятами, монистами, палаточными городками и неизменным гвалтом: «Маладой, дай пагадаю!»... «Девачки, каму карандаши «Живапись»? «Живапись» каму?» – на какие божидары вывезены, за какие 101-е километры и когда? как? Впрочем, вопрос сугубо риторический: и не такие людские массы переселяли в скотовагонах с одного конца страны на другой, многолетний опыт был.

Разумеется, обо всём позаботились правительство и отцы города – Л.И. Брежнев и главком московский В. В. Гришин лично оценили фронт работ («Проверяется со всей строгостью» – зацепился в памяти газетный заголовок), освятили своим наездом Олимпийскую деревню (новый микрорайон на 110 га, не тюрьма лейк-плэсидовская!), даровали звания Героев Соцтруда строителям, и Леонид Ильич без подарка не остался, получил дулёвского фаянсового мишку в строительной каске – символ Московской Олимпиады, по-простецки, с иронией на предмет «пятой графы» (самая популярная в 80-м еврейская фамилия), именуемый

Мишка-талисман

В восьмидесятом появилось несколько неглупых занимательных игр. Индивидуальная – шестицветный кубик-рубик, гениальное изобретение венгерского архитектора-дизайнера Эрнё Рубика (сделанное им в 74-м, и в Олимпийский год развлекавшее весь мир) – вертлявая головоломка, успокаивающая руки, но способная довести до сумасшествия, и тогда она разбиралась-складывалась при посредстве молотка и отвёртки.

Семейная – содранная с английской «Скрэббл» и произвольно переведённая как «Эрудит»: фишки-буквы с цифровым значением, которыми на многоклеточном поле выкладывались слова по принципу кроссворда. Групповая – отечественной выдумки, по преимуществу студенческая, из рода «капустников», но захватившая полуинтеллигентские дома, – в награждение Леонида Ильича, с зачитанием по газетам поздравительных и ответных речей, с поцелуями и навешиванием значков и брелоков (а в сюжете вручения Золотого оружия – и с лобызанием швабры), бесконечная и по тому времени безумно смешная (только толстокожий не хохотал, дочитав «Малую землю» до фразы «Все смешалось в Цемеской бухте»).

Любимой игрушкой 80-го года стал и сувенирный медвежонок работы книжного художника Виктора Чижикова («Озолотился!») – шипели завистники, но дорогое государство и тут осталось верно себе: ни бешеные

потиражные, ни наценка за олимпийскую символику на автора не распространялись).

Обречённый символизировать, Мишка-талисман чуть ли не с самого рождения вынужден был бежать – спасать Олимпийский огонь от тянущихся к нему корявых и грязных рук иностранного происхождения, а в мультсериале «Баба Яга против!» – от Яги, Кощея и маленького Змея Горыныча, в которых приученный к иносказанию советский кинозритель тотчас находил сходство с Тэтчер, Картером и Шмидтом. И – доверчивый, лохматый, ушастый – добежал-таки до своего финиша, когда, увлекаемый связкой воздушных шаров, истаял над Лужниками в августовском чёрном небе под слезоточивую песню:

*До свиданья, наш ласковый Миша,
Возвращайся в свой сказочный лес...*

Тут самое время и место (опасаясь, как бы читатель не заподозрил автора в том, что он в силу дурного воспитания, образования или характера склонен видеть в нашей жизни одно лишь плохое, почему и занялся сбором сплетен, низкопробных баек и анекдотов) рассказать, как в древней Олимпии, в священной роще Альтис актриса Мария Мосхолиу посредством линзы зажгла от солнечных лучей предназначенный Москве Олимпийский огонь, и тринадцать юных греков отнесли факел в город Пирос, откуда он начал свой путь к советской столице, и поведать о всемирном празднике спорта, золотых наградах, олимпийских рекордах...

Но, к сожалению, сам автор не много видел, поскольку в доме, где умер человек, не смотря телевизор, а люди, носящие траур, не «болеют» и не галдят на стадионах, и Московская Олимпиада для меня, как и для многих других, кончилась хмурым душным днём

25 июля

...Плыл в людском море, которое власти тщетно пытались вогнать в приличествующие спортивно-политическому моменту берега, был на панихиде в театре, однако писать об этом...

Весть о потере разлетелась по стране с непостижимой скоростью – слишком много Высоцкий значил в нашей жизни, и даже те, кто отказывал Актёру в праве называться Поэтом, осознали, сразу или позже, его величину. Впрочем, видел и таких, кто всерьёз свирепел: всю жизнь нам пакостил, даже смертью своей подгадил – испортил праздник.

С ухода Высоцкого началась для нашей верхушки чёрная полоса. В тот же год, в октябре, белорусский партлидер Машеров своей гибелью в автокатастрофе омрачит годовщину новой, брежневской Конституции, и факт, что генсек на похороны в Минск не поедет, естественно даст повод для разговоров: причастен...

В том же восьмидесятом, накануне дня рождения Ильича-2 умрёт Косыгин, что отнюдь не помешает Брежневу повесить себе очередной орден, покрасоваться в газетах игрой в бирюльки по соседству с некрологом. А в январе 82-го, в студенческий праздник Татьянин день, уйдёт в мир иной Серый Кардинал Суслов, но – замкнётся круг – 25 января

станет не днём памяти «крупного теоретика партии» – днём рождения «шансонье всея Руси».

...Вечером третьего августа возвращался в громыхающей электричке из загорода в Москву и, сквозь треск электромагнитных помех слушая по высунутому в окно транзистору заключительный репортаж из Лужников, содрогнулся от хохота вагон, взорванный знаменательной – вполне по Фрейду – озеровской оговоркой:

– ...Миллионы телезрителей всего мира, десятки тысяч людей на трибунах Центрального стадиона имени Ленина с нетерпением ждут закрытия Олимпийских игр...

Финиш

Существует поверье: как Новый год встретишь – так его и проживёшь, так же и проводишь.

В декабре 80-го у сослуживца погиб в Афганистане свояк – тихий крупнотельный инженер-мелиоратор, в сорок пять лет впервые выбравшийся «в загранку». Погиб негероически, буднично: поехал с приятелем на базар, оба пропали – потом их нашли с отрезанными головами. Об этом газеты наши не писали, как молчали и о других смертях под азиатским небом, счёт коих шёл уже на сотни.

Тогда же печать обрушила на читателей сообщение о трагедии, разыгравшейся в бакинской семье инженера Берберова: «домашний» лев Кинг-второй вдруг забыл, что он прирученный, – скальпировал жену инженера, убил четырнадцатилетнего сынишку, знакомого миллионам читателей и телезрителей по многочисленным умильно-восторженным публикациям и ТВ-программам. Несколько лет мы с упоением наблюдали за диковинным экспериментом: царь зверей в домашней человеческой среде! в малогабаритной квартире! сидит на унитазе! позволяет таскать себя за хвост!.. Великий эксперимент закончился в полном соответствии с чуть перефразированной пословицей: как льва ни корми, он всё равно в саванну смотрит... Не грех вспомнить об этом сегодня, когда заканчиваются там и сям другие многолетние «эксперименты»...

А вообще – что был тот 1980-й год? Просто кусочек нашей жизни, отметка в календаре, завязанный Космосом узелок на Времени...

Начиналось новое десятилетие, назревали невиданные перемены, и мир становился другим, но мы этого тогда еще не знали.

Пядь земли и Военная тайна



У нашей армии имеются в изобилии не только танки, самолеты и ракеты, но своя живопись и скульптура, своя музыка и хореография, собственные театр и кино...

В начале любой истории почти всегда – миф, легенда, а то и просто анекдот. Официальная история рассекреченного военного объекта исчислялась с конца 1957-го – с появления на свет мосссоветовского акта о передаче Министерству обороны восьми с лишним гектаров земли целевым назначением под киностудию. Однако у нас быстро рождаются разве что котьята да постановления. И еще с десяток лет киностудия, вроде бы уже и получившая право на полноценную столичную жизнь, ютилась на министерских этажах в городе на Неве, пока...

...В середине 60-х, как следует из легенды, Киностудия МО с честью выполнила ответственное задание маршала: сняла в цвете и музыкально озвучила (про видео в те посткукурузные годы еще и слыхом не слыхали) выпускной школьный бал маршальской внучки, и будто бы растроганный дед порадел исполнителям, после чего воинская часть, временно пребывавшая на территории будущей студии, снялась наконец с места, освободившиеся сараи, казарма и столовая были кое-как приспособлены под киношные нужды, и энное число ленинградцев, в основном с погонами, стали наконец москвичами, заселили два новых дома из палевого кирпича возле проходной.

Байка, конечно, но вполне в духе времени и армейских порядков, по которым приказы не обсуждаются и желание старшего по званию – закон для подчинённых.

Вероятно, даже мало-мальски достоверная история военной киностудии никогда не будет написана. Потому хотя бы, что для каждого, кто перес-

тупил порог этого секретного объекта, законом становилась Инструкция, где сурово оговаривались условия жизнедеятельности и поведения на режимном предприятии. И еще – «Подписка о неразглашении», после которой ты днем и ночью обязан помнить, что враг не дремлет, ведение секретных переговоров по телефону запрещается, и что о каждом случайном контакте с иностранцем немедленно обязан поставить в известность компетентные органы. И сам не должен на пушечный выстрел приближаться к зарубежным посольствам и консульствам, а если кто-то вдруг поинтересуется, где работаешь, надлежит отвечать: в одной конторе. Большинство работников «конторы» – люди творческие и сугубо гражданские, как и на любой киностудии. Лишь начальство поголовно носило погоны с большими звездами, и в языкастом возлекинематографическом мире руководство армейской студии именовалось не иначе как «хунта полковников». Видели мы своих полковников, как и положено рядовым, нечасто – на отчётных парт-комс-хоз-конференциях. Теснее других, с так называемой творческой интеллигенцией контактировал замначальника киностудии по идейно-политической работе, в просторечии – замполит, отдававшийся своему делу с невероятным пылом.

Был замполит – слуга царю, отец солдатам – абсолютно без затей, прост и доходчив, как «Правда», а по характеру – родной брат деда Щукаря. До сих пор благодарен ему за преподанные уроки – особенно в «Огоньке» пригодились, когда пришлось отвечать на негодующие письма читателей, большей частью офицеров-отставников, возмущенных всем прочитанным в отбившемся от цензурных рук журнале.

...Идёшь – восемнадцатилетний вольнонаёмный салага, портянок не нюхавший, – по студийному двору, разминая пальцами сигаретку в предвкушении первой затяжки, а навстречу от проходной – замполит, и в пятьдесят подтянутый, в лётной форме со значком ВГИКа междужиной других, где и «Почетный донор», и «10 прыжков с парашютом». Невольно живот подбираешь, откозырять готов, да помнишь отеческое: «К пустой голове руку не прикладывают!». А замполит уже улыбается, журит душевно: «Что ж ты, сынок, на военном объекте курить собрался?» Оправдываешься, краснея: «Готовлюсь только, вот за ворота выйду, тогда...». Помягчал замполит и – с ленинским прищуром: «А если в сортир идешь, х...шко тоже за сто метров вытаскиваешь?» Спасибо за науку, товарищ замполит, сколько лет минуло, а помню.

До сих пор не забыты – в ушах застряли – отточенные до афористичности замполитовы перлы, годящиеся не только в бою, но и для широкого употребления в повседневной штатской жизни:

«На Западе продолжают галопировать инфляция и безработица, массовые киноэкраны захлестнула волна секса и стриптизма».

Или:

«Сегодня, сынок, напяливаешь американские дерюжные порты, завтра займешься фарцеванием, а там понесут тебя мутные волны богемы!» Тогда, в начале 70-х, противостоять «мутным волнам» замполиту приходилось часто: диссида шевелилась – тут голову поднимет, там хвост задерёт.

Для профилактики мозгов студийной богемы – режиссёров, операторов, художников (осветителей и другой техперсонал не дергали) замполит, не полагаясь на свои силы, вызывал тяжелую артиллерию – полковника с зелёными лычками и папкой документов (копий? оригиналов?). Уж тот вещал без экивоков:

«...Возьмём так называемых «подписантов», выступающих в защиту Солженицына. Кто же среди них? – плисецкие, евтушенки, ростроповичи... И – ни одного шахтёра, слесаря, дворника... А взять этих «подписантов» в отдельности – Евтушенко, скажем. В августе 68-го года этот пьяный мерзавец вывалился из ялтинского ресторана, кое-как добрался до почты и дал телеграмму с требованием вывести наши войска из Чехословакии. Понятно, что телеграмма дальше нас не пошла... – (брезгливыми пальцами, за уголок, демонстрировал четвертушку бумажного листочка (копию? оригинал?) – ...но каков деятель, а?... А в Венгрии с чего началось? Перестали уважать военных!..» И т.д. в том же духе, в наши вянущие уши.

Жутко было, только хохмами и спасались. Идя в приказном порядке на очередную промывку мозгов, рисуешь мульткраской на опущенных веках открытые глаза, забиваешься на последний ряд и дремлешь, пока замполит не закричит через зал: «Ты никак спишь? – не моргнул ни разу!..»

Всё на студии было, как в образцовой воинской части – по шаблону: наглядная агитация, съедавшая все запасы алой масляной краски (особая забота замполита), армейский порядок (стройбат всегда под рукой), цветочное каре возле бюста Ильича. Бюста, правда, на студии долго не воздвигали – денег не хватало, а стройбату столь тонкое дело не поручишь. Замполита этот факт сильно удручал: «Даже в соседнем дворе статуэт имеется, гипсОвый, в шесть метров. – (Точно, мы над забором верхушку «статуэта» видели.) – А у нас? Ведь это политический момент!» Приставал к моему режиссёру, прознав, что у него брат – скульптор, государственными премиями отмечен: «Поговорил бы с брательником, пусть для нас статуэт вырубят, гранит мы найдём. Заплатить, конечно, не сможем, но пока ваяет, помрежем оформим, проведём по штату...» А в итоге выкрутился – лично притащил откуда-то метровый бюст из папье-маше, с ярлычком «Для кабинетного использования», но издали смотрешшийся вполне убедительно.

Перед тем, как впякали его на постамент и приклеили суперцементом, одолевали нас сомнения: «Размокнет ведь быстро, товарищ замполит. Полый же внутри!» – «Не успеет, мы его красить будем!» И красили. В зависимости от погоды и намечавшихся фактов шелушения.

В 70-й бы год президентский Указ на предмет вандализма и глумления над памятниками, когда замполит сочинял в АХО заказ-наряд на два кэга масляной краски (в скобках: зелёной) для подновления бюста. «Товарищ замполит, а почему зелёная?» – «А чем не нравится? Хороший защитный цвет. И на патину похоже». – «Не так поймут». – «Думаешь? Ну, тогда под слоновую кость заделаем».

И заделывали – «под слоновую кость» – каждый месяц, широченным флейцем, абы как, лишь бы не промокал. До тех пор, пока за два года бюст

полностью утратил портретное сходство с пролетарским вождём. Люди со стороны гадали: «Почему у вас напротив главного корпуса Хо Ши Мин стоит?» (краска стекала по бороде, слепила её с галстуком). И в ленинский коммунистический субботник 72-го года замполит дал мне ответственное задание: старую краску ободрать, покрасить сызнова. Выполнил – не только ободрал и зашкурил, но и придал относительное сходство с оригиналом, что получилось не без труда: вода внутрь всё-таки проникала, бюст был мягкий, сляклый. Принимая работу, замполит решил внести посильную лепту – вскарабкался на стремянку, стал подравнивать макушку, сетуя: «Эх, голова-то у него пустая!» – и, потеряв равновесие, цепляясь за бюст, оторвал ухо с краем глаза. На виду у всего коллектива! Пытаясь приладить фрагмент на место, продавил внутрь, а запустив руку до погона в порожний бюст, и вовсе его развалил... Потом на студии бюст вождя стоял другой – добротный и всепогодный, хотя тоже не шедевр. Зато красить не надо. Замполит наконец-то был доволен: «Во всём должен соблюдаться порядок!»

Порядок и Военную тайну на киностудии свято блюла ВОХРа – суровые тётки и сухопарые старики в перетянутых ремнями шинелях и при «макарове», который всегда готов вынырнуть из кобуры, при малейшем неуставном действе «богема» извне и снаружи.

Явственно вижу затуманенным воспоминаниями взором передовицу начальника внутренней охраны в стенгазете «Вохровец» – поздравление вверенного под его начало коллектива с Международным женским днём 8 Марта: «Великий Октябрь дал советской женщине много прав и обязанностей, и главное среди них – право с оружием в руках защищать социалистическую собственность...» Славные женщины-стрелки бдительно оправдывали оказанную им честь – то и дело над киностудией гремела пальба, убеждающая каждого, что ВОХР не дремлет. Чаще – зимой, когда глухой забор киностудии становился вдвое ниже, благодаря сугробам, и соблазнительно было спрямить в холодрыгу путь от метро до корпуса, минуя проходную. На такое отваживался не всякий, но если сорвиголова находился и был задержан, его имя узнавали все – из приказа, который мгновенно вывешивался на проходной, возле вертушки:

«...режиссёр тов. С-н осуществил попытку проникнуть на территорию посредством перелезания через забор, но его действия были оперативно пресечены стрелком ВОХР тов. П-вой с применением оружия. На основании сказанного приказываю:

1. Просить начальника киностудии тов. Г-ва объявить строгий выговор тов. С-ну за нарушение режима.
2. За проявленную бдительность при охране территории стрелку тов. П-вой объявить благодарность и отметить премией в размере 10 руб.
3. Списать со счёта три боевых патрона системы Макарова...»

Гордость начальника ВОХР, уверявшего, что мимо его постов и комар незамеченным не пролетит, не убавилась и после того, как оставшиеся неизвестными шутники выволокли за ворота студии полторатонный операторский мультстанок – откантовали тут же в сугроб, и несколько

месяцев торчал он из-под снега, никого особо не волнует, поскольку Военной тайны собой не представлял.

Собственная причастность к Военной тайне – право входа в Первый отдел, где ты получал под расписку в специальном журнале некий документ. И личная ячейка в сейфе, куда предстояло сей документ запирать, опечатывая пластилиновой пломбой всякий раз, если выходил из комнаты даже на минуту. И регулярные проверки на сохранность и бдительность. И постоянное напоминание, что после увольнения со студии 10 лет никуда не поедешь, даже в «шестнадцатую республику» Болгарию. И засекреченные консультанты, чьи фамилии тебе знать не полагалось, сплошь Иваны Ивановичи и Николаи Николаевичи, которые почему-то не всегда отзывались, окликнутые по имени-отчеству. А главное – фильмы, которые ты же и делал, часто не имея права посмотреть их в готовом виде на демонстрации в спецкинозале, лишь прошедшие через твои руки фрагменты.

Как хотелось хоть одним глазком увидеть эти славные киноролики, о содержании коих мог догадываться исключительно по титрам! Рабочее название – вполне афишное, открытое, чтобы враг не догадался: «Джинн и 10 заповедей», – за ним, после грифа «Сов.секретно», подлинное: «10 способов убийства человека без помощи оружия». Прости, Первый отдел, болтуна, находку для шпиона, – тридцать лет прошло, и все копии той эпохальной киноленты наверняка засмотрены нашими десантниками до дыр. Не посмотришь, увы, и свой фильм – игровой и вполне открытый, где снялся в роли солдата, делающего всё не так, как предписано Уставом, из-за чего герой попадал в швейковские ситуации. Цепкий профессиональный взгляд режиссёра безошибочно выхватил в коридорной толчее разгильдяя-«белобилетника», который в солдатской форме выглядел обычным мешком с отрубями...

Снимались на студии и фильмы, достойные широкого экрана и на него иногда выходившие. «20 минут о хоккее» – пронзительная короткометражка Александра Берлина о команде ЦСКА, ее тренере Тарасове и звезде-голкипере Третьяке. Долго остававшийся в прокате «Поздний восход» Вячеслава Орехова – о художнике-примитивисте из подмосковного Пушкина, русском Пиросмани, который на седьмом десятке впервые взял в руки акварель, на обоях оставил живописную летопись своей жизни... А считал ли кто-нибудь, сколько талантов загублено на этой киностудии – так и не раскрылись, замордованы в именуемые «застойными» годы солдафонскими «рекомендациями», мелочными некомпетентными придирками, убийственными для творческого человека требованиями: вырезать, переснять, отправить на смыв... Люди гибли на студии и в переносном, и в самом прямом смысле, как оператор Виктор Бродинов, убитый осколком на втором дубле съёмки взрыва гребного корабельного винта...

Вдохновение, творческий поиск, мастерство – конечно, не из армейского словаря. Что понятно – у военных иной подход к делу: «Задача ясна? – Выполняйте!» И выполняли. Когда наш маршал был на маневрах в Польше, в день их окончания хозяева показали фильм о прошедших учениях. Маршал оказался задет за живое: «И мы так можем!» Без разницы, что

войсковые учения братьев по оружию проводились летом, а наши – в одну из самых суровых зим, что вся-то Польша – «два на полтора», а от площадки отечественных маневров до столичных Кузьминок – больше тысячи кэмэ, и в нелётную погоду отснятую на Двине киноплёнку до цеха проявки никаким волшебным ковром-самолетом не доставишь – «Задача ясна? – Выполняйте!». Выполнили, круглосуточно надрываясь две недели, сорвав график выпуска других фильмов, сделали «на пять», подгоняемые самым популярным в армии стимулом – щедродушевым «Благодарю за службу!». Отблагодарили, да. В 72-м потрянуло киностудию первое мощное сокращение штата, под которое и автор этих строк попал – за длинный язык и несочетаемость с цветом хаки. Впрочем, и верных служак не шибко ценили: тогда же, спустя два месяца отправили в отставку замполита – после статьи «Как хочу, так и ворочу» в его любимой «Красной звезде». А весной 90-го оперативно проводили на пенсию очередного начальника киностудии, при котором «контора» окончательно разболталась – возжелала независимости, раззявила рот на жирный кусок столичного гектара за забором с колючей проволокой, взяла курс на какой-то хозрасчёт... Но за свободу можно бороться лишь там, где она есть, а нормально разговаривать с высоким армейским чином – только если ты стоишь по стойке «смирно!» и вещает он один. Военное ведомство своеволия не принимает, точно зная: сегодня коллектив отменяет привычный армейский ранжир и покушается на бесценную пядь земли, завтра за воротами окажутся замполиты и стрелки ВОХР, а там, глядишь, мутные волны богемы снесут с постаментов картонные бюсты... Это и стало началом конца военной киностудии, от которой сегодня уцелели одни воспоминания.

Последний житель спалённой деревни, или Своя война



Отец –
второй справа
в нижнем ряду.
Вена,
9 мая 1945

Отец так и ушёл, не написав о *с в о е й* войне. Много лет хотел сесть за книгу: всё свободное от работы в больнице время корпел в архивах, искал документы, встречался с однополчанами, которых с каждым годом становилось всё меньше, и к сорокалетию Победы он уже остался один... Отец жил с другой семьёй, виделись мы нечасто, а когда встречались, и я спрашивал про книжку, – досадливо отмахивался: без толку всё! Он попал на фронт новоиспечённым лейтенантом, приписав себе год до призывного возраста, в конце сорок третьего, окончив офицерские курсы. В своей роте, понятно, оказался младшим, потому, считал, и выжил в той мясорубке – щадили его, «сынка»-командира, опытные фронтовики-разведчики. Знал он их всего-то год-полтора, пока пробивались с боями в Венгрию и Австрию, там, в чужой земле, вся рота отца и полегла, один он, девятнадцатилетний, контуженный и полуглухой, увидел освобождённую Вену, где на больничной койке и выпил 9 мая 1945-го свой горький стакан в память о павших. Из тех фронтовиков, которые снялись с отцом в День Победы в госпитальном дворе, через три года тоже не останется в живых никого – все подорвутся, расчищая от оставшихся в земле мин Украину и Белоруссию. И отец потом всю отмеренную ему жизнь вспоминал и говорил о тех, кого узнал на Великой войне, честно полагая, что только так, пока они остаются в его памяти, возможно жить, стоит жить.

Я очень сердил отца, не понимая, зачем, например, кому-то знать про татарина Тагира – по мне, просто страшный был человек, патологический. Когда разведгруппа ночью шла за «языком», все оставались держать расчищенный к немецким окопам проход, а Тагир уползал во вражеский тыл один, вооруженный только пистолетным коротким шомполом. Им беззвучно и убивал спящих – приставил острый штырь к уху, коротко ударял кулаком по другому, закругленному, концу и, порешив таким способом лишних в траншее или блиндаже, последнего живым притаскивал к нашим. Тагир делал это не раз и не два, «почерк» татарина приводил фашистов в ужас, они пугали жутким именем своих ротозеев. Однажды тихо не получилось, Тагира взяли живым, конец его был страшен – немцы отыгрались яростно, сделав из советского разведчика «ежика»: исколов штыками, в каждую рану воткнули автоматный патрон... «Только, отец, не вздумай описывать всё это открытым текстом, – убеждал я, – ты же медик, а литература – не протокол патологоанатома». – «Но это же было, было!» – кричал он, кипятясь и уже смиряясь с мыслью, что задуманная книга останется только в его голове.

Были ещё и другие истории, и отец несколько лет упорствовал, пытаясь разобраться в том, свидетелем и участником чего он оказался в юности. Когда сержант Портнов из его роты проявил в бою смекалку, заглушив шинелью пулеметную щель немецкого дота, его сразу представили к ордену, да ходатайство где-то затерялось, а вскоре и Портнов ошибся, расчищая «коридор» на минном поле. Отец долго рассылал письма и запросы, но всё впустую, пока маршал Конев незадолго до смерти не посодествовал. И поиск отца наконец увенчался успехом – нашёл-таки в архиве искомое представление. Перечёркнутое стальной рукой, приписавшей на полях: «В награде отказать. Впредь закрывать амбразуру только телом»...

Жалея отца, предлагал: не трать зря время, просто расскажи, как помнишь, а я запишу. Тут он был непреклонен: о своём – только сам! К тому же у каждого поколения – своя война: в начале восьмидесятых мои сверстники гибли в Афганистане, «окопную правду» о котором мы тоже прочли лишь десятилетие спустя. И, походив по свету полвека, невольно ловишь себя на мысли, что всю жизнь живём в воюющей стране. Недавно по пути в Одессу в одном со мной купе оказались старик-еврей с лагерным номером на запястье и молчаливые, в камуфляже, рязанские ребята с густым чеченским загаром...

От истории в России никуда не денешься. Летом 81-го оказались с приятелем в семидесяти километрах от Питера-Ленинграда, в пушкинско-шишкинско-набоковской Выре. Свежеотреставрированный Дом стационарного зрителя только-только включён (по случаю минувшей Олимпиады) в список музеев регионального значения, книги певца этих мест пока не разрешены в СССР и проникают сюда в ксерокопиях с АРДИСовских изданий, а в краеведческом музее (в ещё не сгоревшем деревянном дворце Рукавишниковых на высоком берегу Оредже) полубезумная старуха-экскурсовод глаголет, будто во время войны писателя-эмигранта Набокова видели в этих местах в эсэсовской чёрной форме...

История здесь густо намешала: на маленьком сельском кладбище лежат мать декабриста Рылеева и юная жена академика живописи Шишкина, на Выре местные старожилы охотно показывают домик генерала Власова (выйдя из окружения со своим штабом, здесь он сдался немцам). А в здании почтовой станции фашисты устроили комендатуру концлагеря, где среди тысяч советских военнопленных оказался и татарский поэт Муса Джалиль.

У приятеля тут был свой интерес – в десяти верстах от Выры, судя по семейным преданиям, находилось его «дворянское гнездо». Деревни той, именовавшейся Заречьем, давно на картах нет, но что-то ведь должно на её месте остаться. Правда, нас заранее предупредили, что ничего там не найдём – голое поле, и машины туда почти не ходят, поскольку земля эта, на границе двух разных районов, как нежилая нейтральная полоса. Только мемориальное пепелище и оформлено, вроде белорусской Хатыни...

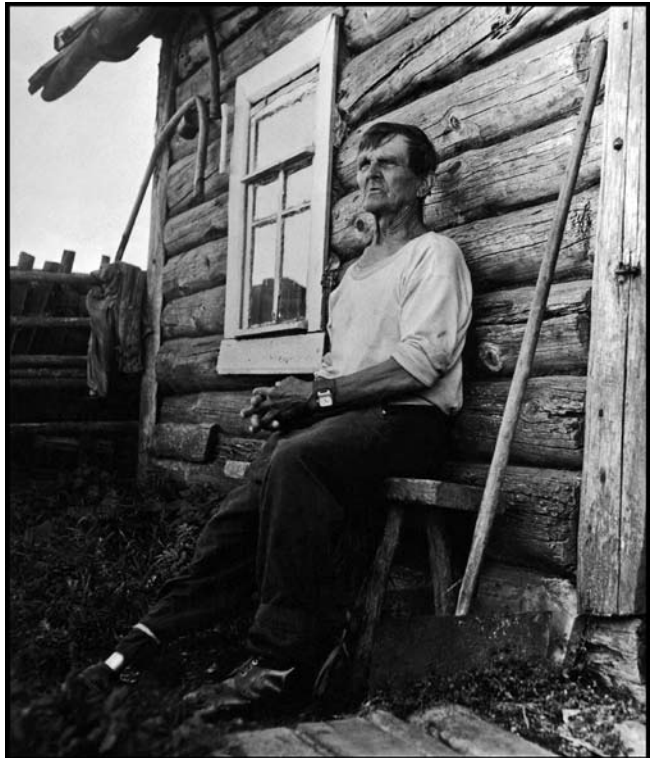
Через полтора часа пешего хода лес вокруг дороги внезапно кончился, и взгляду открылось огромное поле, а возле шоссе действительно стоял скромный обелиск на фоне обгоревших печных труб – всё, что осталось от старинного Заречья. От домов сохранились лишь едва различимые в земле фундаменты да подточенные дождями и ветрами печки. Очевидно, устроители памятника замыслили грандиозный мемориал, но обошлись без профессионала-архитектора: оставили из обгорелых печей десяток самых высоких, которые были ближе друг к другу, соорудили бетонную стелу с надписью: «Трубы печей оголённых – свидетели горького часа».

На другой стороне шоссе, сбоку от широкого поля, притулился едва видимый с дороги замшелый сарай, возле которого мы заметили старика: сидел возле двери на лавочке, вытянув перед собой деревянную ногу. Появление пришлых его особо не заинтересовало – обратил в нашу сторону морщинистое лицо, и только. Но заговорил охотно: сказал, что звать его Егор Иванович Наумов, лет ему 75, и живет он здесь совсем один, в этой деревне других живых не осталось. Ногу он потерял по болезни перед самой войной, так что в армию не годился и уехать не мог – немцы быстро пришли (оставили, как везде, для порядка, трёх солдат с офицером). Осенью 1943-го Наумов пошел по соседним деревням побираться, есть-то совсем нечего было, и на одной ноге ходил до первого снега, тогда и услышал, что каратели спалили Заречье со всеми жителями. Вернулся он на голое пепелище – только эта сараюха не сгорела, потому как с краю была, в ней с тех пор и живёт... Вопросы о деньгах и еде старик не понял – всё, что ему нужно, огородик даёт, а летом и вовсе хорошо – дачники мимо ездят, иногда какую-никакую еду поднесут.

Рассказал, что в деревне было 170 дворов, но почти вся она выгорела в одночасье весной 30-го и к началу войны заново отстроилась лишь наполовину. И пережили бы они оккупацию, быть может, благополучно, только в октябре 43-го освободили их «партизаны» (обычный десант в комплекте: командир, радист и подрывник, которых забрасывали в тыл к немцам – партизанские отряды создавать). Перебили поодиночке

четверых фрицев, объявили жителей освобожденными и увели в лес. Вскоре нагрянула зондеркоманда – отловили в чащобе 66 человек, баб да ребятишек, заживо сожгли в двух амбарах. Зверством в Заречье фашисты своего добились – потом, едва в окрестностях объявлялись очередные партизаны-десантники, местные жители без лишних разговоров сдавали их в гестапо.

Вообще, сказал Наумов, народ здесь советскую власть не шибко жаловал, а в одной деревне, целиком заселенной карелами, фашистов ждали с хлебом-солью и потом всей деревней с ними, отступавшими, ушли. И ещё про то, как местные жители устраивали завалы, чтобы танки власовской дивизии из окружения не вырвались, пропали на болотах...



*Егор Наумов –
последний житель
сгоревшей деревни*

Я не знаю, насколько он был прав, рассказывая о своей войне, тот одинокий старик – последний житель деревни Заречье, так и не ушедший с отчего пепелища. Его не приглашали на редкие торжественные мероприятия к мемориалу, вроде приёма в пионеры (судя по привязанным к трубам пионерским галстукам, жива такая традиция), поскольку никаким участником войны Егор Иванович Наумов не числился. И как закончились дни одинокого старика, я вообразить не в силах. Лишь его фотография, сделанная давно сгоревшим августовским днём, и сохранилась – единственное свидетельство того, что жил на свете Человек.

Товарищеский суд (Уроки Бориса Слуцкого)



*Семинар Слуцкого
и Окуджавы.
Софрино, ноябрь 1975*

У памяти странные привязанности: почему-то из всех помещений (а за пять лет своего существования наш поэтический семинар сменил их несколько) ярче других запомнился жэковский полуподвал в доме-развалюхе, затерявшемся в анфиладном дворе за Елисеевским магазином. Были ведь и уютные кабинеты Дома народного творчества на Маросейке, и роскошная, под расписным потолком, зала во дворце атеистов, а память упорно цепляется за крошечную комнатку с ядовито-зелёными стенами, заставленную разномастными стульями, вокруг затянутого бильярдным сукном допотопного фанерного стола под голый лампочкой на перекрученном проводе. В жэковские будни здесь проводились заседания товарищеского суда.

Весной 72-го по столице запестрели сине-красные афиши, приглашавшие всех сочинителей стихов, прозы или пьес прийти в новую литературную студию имени Маяковского, организованную МГК ВЛКСМ и Московским отделением Союза писателей. Список руководителей семинаров выглядел соблазнительно: Катаев, Трифонов, Нагибин, Арбузов, Винокуров, Евтушенко, Соколов...

С осложнениями переболев театральной лихорадкой и страдая насморком подросткового стихоплётства, готового перейти в хроническую стадию, побороть такой искус было никак не возможно.

Воспользовавшись напечатанным на афише номером телефона, узнал, что занятия студии рассчитаны на два года. Сообщивший об этом голос тут же осведомился, не имеешь ли ты видов на Литинститут, а в ответ на чистосердечное признание отрезал, что в таком случае студия не нужна. Настырность претила, а достаточно развитое самомнение подсказало: раз не зовут, так не шибко и надо.

Прошел год, и в следующем мае, встретив пишущего стихи приятеля, без особых планов на грядущий вечер, был стремительно завлечён в пустую от учеников школу напротив филиала МХАТа, где базировалась некая литстудия (та самая, выяснилось). Приятель занимался в «семинаре имени Евтушенко», как он шутивно его называл, объяснив, что эгида популярного поэта – чисто символическая, по причине многочисленных заграничных поездок Евгения Александровича, но это не суть важно – занятия идут полным ходом, обстановка почти камерная, и одно это уже здорово. В тот день студия распускалась на летние каникулы, и под занавес появился Евтушенко. Предложив собравшимся почитать стихи по кругу, он красочно обрисовал будущее своего семинара после сентября, клятвенно пообещав никуда не уезжать и вплотную заняться работой со студийцами, коих намеревался привлечь к участию в пробиваемом им новом журнале – не то «Лестница», не то «Мастерская», вроде бы готовом вскорости выпускаться издательством «Молодая гвардия».

На том расстались.

Осенью я уверенно пришел на сбор семинара «имени Евтушенко», резонно рассудив, что завязанные отношения со студийцами вернее, нежели наличие в официальных утвержденных списках. Перед началом, пока обменивались приветствиями и новостями, покуривая возле двери, ведущей в полуподвал нашего нового благодетеля (школа отказалась служить «бродячей собакой» для богемных бумагомарак, под предлогом, что её завалили зловонными «бычками»), быстро узнали, что нам светит: Евтушенко снова уехал, вместо него придёт Слуцкий. И пока мы караулили мэтра во дворе, он уже давно поджидал нас в маленькой комнатёнке, монументально восседая за столом, затянутым зелёным сукном.

Выдержав паузу, пока мы рассядемся и вдоволь надохмимся по адресу украшавшей нашу дверь таблички «Товарищеский суд», Слуцкий сказал, устремив взгляд светлых глаз поверх наших голов:

– Евгений Александрович попросил меня вести занятия этого семинара. Я согласился при условии, что буду заниматься два года, а не год, как

хочет руководство. Мы ведь встретились с вами только сейчас, потому для знакомства потребуется больше времени. И этого списка, – он похлопал ладонью по листу бумаги перед собой, – мы придерживаться не станем. Сперва запишем всех, кто пришел на семинар сегодня, потом ещё будут подходить люди. Отказывать не будем никому, пусть ходят все, кто захочет. Меня зовут Борис Абрамович, с вами познакомимся по ходу дела. Будем работать так, чтобы оправдать назначение этой комнаты – пусть наши отношения станут действительно товарищеским, без права суда, но с правом труда...

Так в нашу жизнь вошёл Слуцкий.

Сегодня к семидесятым годам прошлого века – применительно ко всем областям жизни, а творческим тем паче, – намертво приклеены ярлыки: «годы застоя», «безвременье». Если принять эти бирки за чистую монету, то выходит, что литераторов-«семидесятников» скопом нужно считать поколением потерянным (для издателей, критики, читателей). Но мы сами – сужу по себе и своим друзьям и знакомым, собратьям по литературному цеху, – в той тупиковой ситуации не считали себя обделёнными. Да, печатались трудно и мало, поздно и с болезненными потерями выходили к читателю, но превыше всего ценили не внешние признаки благополучия – регулярные публикации в толстых журналах, повышенные гонорары, писательский и литфондовый билеты и связанные с ними льготы, а ночные «кухонные» беседы, семинары в жэковских подвалах и общение с Мастерами, чем судьба как раз не обидела. И если для нас 70-е, которые трубно призывали: «Вперёд!» и тотчас же одёргивали: «Низзя!», не стали временем действия, то оказались моментом не менее ценным – временем «проверки на вшивость», когда ты сам решал, как жить, сохраняя своё лицо.

Подлинную цену писателям тоже знали. И тем, кто всегда готов «откликнуться», «одобрить в целом», «полностью поддержать» – большинство из них, не краснея даже, и сегодня остаются на плаву, приписав себе роль лидеров так называемой перестройки и под шумок приватизировав некогда общие материальные ценности писательского союза. И тем, чьи книги, вовремя не нашедшие пути к читателю, писались впрок – в расчёте на будущее, на сегодняшний день, подтвердивший, что мы в своих надеждах не ошиблись. И не ошиблись именно благодаря урокам тех писателей, которые определили лицо литературы второй половины XX века.

Действительно, так ли было нужно «перестраиваться», скажем, Константину Симонову, в трудную минуту поддержавшему молодого литератора Геру Караваева ободряющим письмом и деньгами («вернёте, если разбогатеете»). Или Юрию Трифонову, который взял у подкараулившего его во дворе мальчишки дилетантские рассказы и не сунул в мусорную корзину – серьёзно говорил о них, а потом честно отказался от своего литинститутского семинара на третьем курсе: «Вероятно, я бездарный педагог, если ни в одном из двух десятков студентов не вижу дарования, которое стоило бы развивать». Или Борису Слуцкому, который выпустил первую книжку на пороге сорокалетия, а самые зрелые стихи

большей частью пришли к читателю спустя двадцать лет, прочно утвердив его поэтическое бытие...

Не помню случая, чтобы Слуцкий пропустил хоть одно занятие – до трагической болезни, выбившей его из колеи окончательно, он занимался нами, как только мог. Наш семинар, случалось, разбухал до сорока-пятидесяти человек (каждую осень студия принимала новых слушателей, не беря в расчёт забывших о двухгодичном регламенте «старичков»), но к зиме студийцев оставалось около двух десятков – вновь прибывшие, за несчастным исключением, долго не задерживались. Может быть, из-за характера Слуцкого, о котором многие говорили как о тяжелом. Впервые пришедших, прослушав по кругу и получив достаточное представление об уровне каждого, Слуцкий неизменно предупреждал: «Вам, конечно, не терпится поскорее обсудиться. Должен сразу огорчить: у нас это право нужно заслужить. Походите годик, поучаствуйте в разговоре о стихах товарищей, а там видно будет».

Те, кто «походил годик», а потом оказался в постоянном составе семинара Слуцкого на несколько лет – Егор Самченко, Ольга Чугай, Виктор Гофман, Олеся Николаева, Геннадий Калашников, Галина Погожева, Сергей Гончаренко, Алексей Королёв, Григорий Кружков, Гарри Гордон, Евгений Блажеевский, Виктор Коркия, Алексей Бердников...

Занятия строились традиционно: очередной обсуждающийся заранее принесил размноженную в достаточном количестве экзemplяров рукопись – руководителю и двум основным оппонентам, а остальным семинаристам – по возможности (Слуцкий настойчиво напоминал о необходимости читать стихи глазами, не доверять впечатлению на слух). Перед началом читки каждый рассказывал о себе, что считал нужным, но Борис Абрамович всегда просил уточнить, давно ли пишем, что читаем, кого из поэтов любим, а кого не признаём (подразумевая, понятно, крупные величины). От разбирающих стихи требовал аргументированности каждого слова – оценок и суждений типа «не понял», «не понравилось», «это плохо» – не признавал. Сам говорил последним, подводя черту под всем сказанным, не столько выражая свое мнение, сколько суммируя общее, но, случалось, шел вразрез с оценкой большинства. Однажды вовсе отменил обсуждение Алексея Бердникова. Которого ждали с подогретым заранее интересом – беря толстую рукопись для разбора, Слуцкий насупился: просил же отбирать не больше пяти стихов за год, на что тридцатипятилетний Алёша ответил: «Так и есть, я ведь пишу двадцать лет». «Делать нечего, придётся всё прочитать», – только и сказал Борис Абрамович.

И следующая встреча началась неожиданно:

– Назначенное на сегодня обсуждение стихов Бердникова я отменяю, – огорошил собравшихся Слуцкий. – По той причине, что ни один из нас просто не готов к этому разговору. Дело в том, что Алёша в 14 лет полюбил итальянский язык и теперь владеет им в совершенстве. А начав тогда же писать стихи, пользуется исключительно терцинами, и любимая его стихотворная форма – венки сонетов. Которые, если верить Алексею, он пишет в один присест – за день. Говорю без всякого преувеличения: сего-

дня Бердников – самый большой поэт современной Италии. И судьба его крайне трагична: печататься в нашей стране ему удастся только под сноской: «перевод с...» Так что давайте просто послушаем великолепную итальянскую поэзию в исполнении автора. Просьба одна: Бердников, я запрещаю вам читать венки сонетов № 52. Для неосведомлённых, это замечательное физиологическое, философское и культурологическое исследование говна. Я не выступаю цензором, но хочу сохранить атмосферу нашего семинара в рамках приличия.

В конце занятия Слуцкий дал Бердникову домашнее задание: «Если вы за день способны написать венок сонетов, принесите нам через неделю десять русских стихотворений, традиционных, в стилистике прошлого века». Алеша принёс, Слуцкий спросил, в какой журнал он хотел бы их отправить, и вскоре в журнале «Смена» вышла полосная подборка стихов Бердникова. «Вот видите, нужно только захотеть», – резюмировал Слуцкий. «Мне это не интересно», – сказал Алеша и, кажется, других публикаций у него не было. В том, что он знал русскую классическую поэзию лучше многих, мы тоже убедились: на семинар пришел критик Вадим Кожин, прочитал десять стихотворений и попросил назвать их авторов. Пока все постыдно плутали в треугольнике Пушкин-Лермонтов-Тютчев, Алеша защитил честь семинара – правильно назвал девять поэтов из десяти: Боратынский, Дельвиг, Мятлев, Курочкин, Апухтин...

По ходу читки Борис Абрамович мог сделать замечание в паузе между стихами, словно боясь забыть то, что его задело. Разбирая стихи, пробовал их на мускулиность, осуждая «поэтический жирок» – проходные и случайные слова, поставленные лишь для заполнения строки. Особенно ценил образную точность:

– Освоить метафоричность в общем-то не трудно: сравнить одно с другим, да еще по принципу парадокса, несложно. Подлинного поэта всегда выдаёт эпитет. Возьмите, к примеру, Смелякова. У него есть проходные стихи, но нет ни одного, в котором бы не блеснул великолепный эпитет. И он может оправдать всё стихотворение.

Слуцкий учил «прозванивать» слова на чистоту звучания, бережно относиться к поэтическим деталям.

– У вас в стихотворении всё сказано очень точно, – говорил он Виктору Гофману. – Но в одном случае вы явно сплеховали:

*Еще взойдут, еще засветят,
Как две несхожие звезды,
Глаза египетские эти –
В сплошном предчувствии беды.*

Догадываюсь, о ком вы пишете, – о Татьяне Ребровой. И определение «египетские» к её глазам вполне подходит. А вот почему «как две несхожие звезды»? У Ребровой глаза абсолютно одинаковые.

Часто Слуцкий начинал Обсуждение издали:

– Представим, что я, гуляя по лесу, нашел на пеньке тетрадку стихов. Автора, понятно, в глаза не видел – передо мной лишь его внутренний мир, по которому и попытаюсь сложить представление об этом человеке. Что

можно сказать по стихам? Определить пол и возраст их написавшего, ночные это стихи или дневные, точнее – утренние... У Пастернака большинство – ночные, на них лежит отпечаток бессонницы. А вот Ахматова почти вся – утренняя...

И начинал неторопливо разматывать нить ассоциаций, вроде бы отвлечённых, а на деле подводя нас к разговору о поэте, чьи стихи обсуждались.

Когда Галина Погожева читала свой перевод Ронсара:

*Поэт не вечен. Наступает вечер –
Сиянье лиц в безумии огня.
Седые кудри падают на плечи.
Срывайте розы нынешнего дня! –*

Слуцкий остановил ее на полуслове:

– Я не знаю французского языка, но уверен, что в оригинале фигурирует бутон невинности.

– Да, Борис Абрамович, но не могу же я переводить такую пошлятину!

– Согласен, продолжайте...

Главные уроки, преподанные Слуцким, были не только литературными. Он учил нас терпимости по отношению к чужому мнению, такту в обращении друг с другом, уважению к старшим товарищам по литературному цеху. Редко ведь какая встреча проходила спокойно – поэтические вкусы и симпатии семинаристов были весьма различны, и несовпадение оценок и суждений часто выплескивалось яростной перепалкой. Доходило до того, что Слуцкий начинал постукивать по столу ладонью, хоть как-то пытаясь сдерживать не в меру злоязыкого оратора, а потом вынужден был разбирать не столько стихи обсуждаемого автора, сколько неправоту его критиков.

На первом же занятии, в день нашего знакомства Борис Абрамович предложил в конце каждой встречи, если останется время, говорить на самые разные темы – о новых фильмах, спектаклях, книгах (кроме ТВ: «Я являюсь счастливым необладателем телевизора»), кто что увидел, услышал, прочитал. Предложил задавать ему самые разные вопросы – о чем угодно, но с одним условием: наше любопытство не должно касаться лично его, Слуцкого (ни стихов, ни жизни). Условие было нарушено лишь однажды: кто-то опрометчиво предложил поговорить о судилище над Пастернаком, и Слуцкий холодно отрезал: «Об этом вы уж как-нибудь без меня!» Помолчал, преодолевая возникшую неловкость, сказал: «Трудно прожить жизнь, ни разу не оступившись. Да, за многое стыдно. Вот и перед Межелайтисом: взялся переводить его книжку «Человек», стихи не понравились, переложил их кое-как, едва причесав подстрочник. А потом эта книжка получила Ленинскую премию, и все зарубежные переводы стали делаться с моего русского текста...»

Эти «ликбезы», которые были предметом шуток на соседних семинарах, оказались едва ли не самой интересной частью наших еженедельных встреч.

Начитанность Слуцкого казалась феноменальной, как и память, ясная и подробная. Не припомню случая, чтобы хоть на один вопрос ответил: «Не знаю». А спрашивали его, о чём только могли.

В минуты, когда Борис Абрамович, обдумывая ответ, сосредоточенно молчал, он виделся мне универсальной ЭВМ – пожужжит, пожужжит и выдаст нужную информацию, изложенную столь экономно и точно, будто она записана на некоем «блоке памяти». При этом всегда оставался невозмутимым, какой бы вопрос ни задавали – серьёзный или достаточно анекдотичный, вроде:

– Кто такой Александр Аронов?

В комнате фыркнули, но Слуцкий никогда не улыбался – неслышно «пожужжав», ответил:

– Сотрудник редакции молодёжной газеты «Московский комсомолец». Очень талантливый поэт, приверженец классической школы. Авторских книг не имеет.

Если намеченное заранее обсуждение почему-либо срывалось, Слуцкий тут же находил интересную замену. Однажды предложил каждому назвать по одному новому слову из литературы или просторечия, какое зацепилось в памяти за последние десять лет.

Посыпалось:

– Эскалация.

– Синтезатор.

– Фарцовка.

После каждого слова всем предлагалось подумать: как оно возникло, из какого источника, а также предположить, приживётся ли оно, станет ли общеупотребимым. Выдавал Слуцкий и причину, побудившую к этому разговору, – вышла книга «Новые слова и значения», которую он очень хвалил, всем советовал приобрести:

– Хорошо, что в словаре отмечено, кто первым использовал в печати то или иное слово. Тут и Боков, и Евтушенко, и Вознесенский... Поэт, как и всякий пишущий, должен постоянно пополнять свой словарь, освежать его, избавлять от пыльных слов. У нас в семинаре нет никого, кто занимался бы словоизобретательством. Это столь же трудно, сколь малоперспективно. Маяковский придумал множество новых слов – почти все умерли. Хлебников, которому этот эксперимент тоже был не чужд, сумел оставить прекрасное слово – «лётчик». А вот Северянин, вовсе перед собой таких задач не ставивший, произвёл от слова «бездарность» существительное «бездарь», но сам его употреблял с ударением на последнем слоге... И «эскалация» – очень образное переводное слово: есть в нем движение, непрерывность потока. А вот «эскалация агрессии» – уже штамп, тут ничего не поделаешь...

Слуцкого интересовал и круг нашего чтения – регулярно спрашивал, что интересного отметили из книг, какие из них, мы думаем, не для разового чтения. Советовал на книжный бум, мешающий приобретать литературу, которая действительно необходима.

– Поднимите руку, кто смог купить Мандельштама в большой «Библиотеке поэта»? – обводил взглядом аудиторию, считая вслух: – Один, два... Мало... А три романа Булгакова?... Не густо. Попробую поговорить в «Лавке писателя» с Кирой Викторовной, надо ведь как-то выходить из положения.

И в следующий раз не забывал извиниться:

– Не взыщите, братцы. И в «Лавке» по списку, двести штук на всю московскую братию.

Однажды встретил Бориса Абрамовича в Доме книги на Калининском – выходили из разных дверей магазина навстречу друг другу. Слуцкий деловито осведомился о приобретениях, взвесив взглядом пачечку в моей руке (сам он держал подмышкой две одинаковые книги).

– «Алхимию слова» Парандовского почему не купили? Не заметили или просто не взяли?

Я промямлил что-то неопределенное: подержал в руках, полистал и положил обратно – показалась полной чепуховиной.

– Вы неправы, это далеко не чепуха. Парандовский очень хорошо пишет о лаборатории творчества, языке, стиле. А влияние на писателя кофе, чая, табака – просто интересно. Короче, мой вам подарок, – протянул книгу:

– Взял две, вот и пригодилось.

Отношение Слуцкого к нашим публикациям было своеобразным. Сам выпустив первый сборник стихов очень поздно, он оставался приверженцем тезы: «чем продолжительней молчанье, тем удивительнее речь», ставил в пример несуетную музу Иннокентия Анненского, оказавшего огромное влияние на Ахматову, Цветаеву, Ходасевича, Набокова... И в своих стихах высказался на этот счёт жёстко – «Двадцатилетним можно говорить: «Зайдите через год».

– Сколько вам лет? – спрашивал у Любы Гренадер, чьи стихи оценивал очень высоко.

– Борис Абрамович, что за вопросы женщине!

– В поэзии женщин нет. Поэтесса – это морковный кофе, а слово «поэт» существует только в мужском роде. И вы поэт, мы в этом убедились, так что извольте отвечать.

– Тридцать пять.

– Да, это уже зрелость. Пора делать книгу.

«Пора делать книгу», как мог заметить, – единственная формула, признаваемая Слуцким. Эту фразу он повторил и Алексею Королёву – физику, зрелому человеку, чьи стихи после их одобрения на семинаре Слуцкий рекомендовал в альманахах «День поэзии», а потом многое сделал, чтобы Королёва до выхода книги, по рукописи приняли в Союз писателей.

Когда коридорные разговоры о том, что печататься очень непросто, достигали его слуха, Слуцкий отчитывал нас: «Почти все вы, сидящие в этой комнате, люди талантливые. Все пишете хорошо и вполне профессионально. А в том, что почти никто из вас не печатается, вините нерадивость редакторов и свою собственную. Учиться хорошо писать – мало, надо учиться заставлять себя читать».

Среди немногих способов заставить редактора быть более расположенным к твоей рукописи, как известно, самый верный – обзавестись рекомендацией мэтра. Однако не могу даже вообразить, чтобы кто-нибудь из семинаристов Слуцкого заикнулся о «врезе» или протекции – сама атмосфера нашего общения исключала какие бы то ни было практи-

ческие вождения. Впрочем, правила скучны, интересны исключения. Однажды сотрудник «Комсомолки» Гена Жаворонков привёл на семинар долговязого юношу – пишущего стихи студента из Ижевска. Слуцкий согласился обсудить дебютанта без особого энтузиазма (не любил ломать запланированные занятия), во время читки был хмур и неприветлив. После того, как несколько выступающих, будто сговорясь, сошлись в оценке: это поэт – Слуцкий оборвал обсуждение: «У кого-нибудь есть резко отрицательное мнение?» Когда таких не нашлось, подытожил: «Ну, раз вы все так считаете... Хорошо, почитаю дома – глазами».

Через неделю в «Комсомолке» вышла первая большая подборка стихов Олега Хлебникова с щедрым вступительным словом Слуцкого. Не сомневаюсь, что мнение Бориса Абрамовича было непоколебимо. Как не сомневаюсь и в том, что в данном случае оценка семинара сработала на это мнение решающе.

Спустя десятилетия, уже не вспомнишь многое из тех разговоров (надеюсь, у других семинаристов память прочнее), но осталась на всю жизнь главная память – по Батюшкову: память сердца, как ощущение праздника, который всегда с тобой. У памяти сердца нет временной протяженности, всё в ней – сейчас, как незабываемый вечер – яркий, в закатном солнце, затопившем улицу Герцена; у входа в Дом литераторов роится взволнованный люд, собираясь на Пушкинский вечер поэзии (начало июня); Слуцкий подходит с женой Таней – высокой, подстать ему, милой и женственной; ты тоже тут, рядом, – юный, восторженный, от избытка энергии трещишь по швам; тебя замечает Мастер – шагает навстречу, сжимает левой рукой твоё запястье и широким жестом, сплеча, вкладывает правую в твою ладонь: Борис Абрамович *в настроении...*

Не знаю, сохранилась ли хоть одна фотография, на которой Слуцкий улыбается. Сам не видел, как не читал ни одного стихотворения Слуцкого о любви. Не берусь говорить за других, но сам далеко не сразу научился (а может, и вовсе не научился) чувствовать настроение Слуцкого, даже не чувствовать – угадывать по мельчайшим изменениям его лица, вечно невозмутимого, если не сурового. Борис Абрамович всегда сохранял дистанцию, понятную в отношениях с учениками, никогда (почти никогда) ничего не говорил о себе. О чем-то мы узнавали из его стихов («Самый старый долг плачу: с ложки мать кормлю в больнице»), о многом и не подозревали, нередко недоумевая, когда попадали не под настроение, что в последний год нашего общения случалось чаще и чаще.

Когда стало известно, что Слуцкий тяжело болен, и сознание его расстроено, поверить в необратимость этого было невозможно.

В феврале 77-го у Слуцкого умерла жена, и наши занятия прекратились вовсе. Студия набрала новых слушателей, пришел другой руководитель, но для нашего «первого набора» она лишилась чего-то очень важного. Собственно, мы выросли из неё гораздо раньше, но силу притяжения семинар потерял только с уходом Бориса Абрамовича.

...В стылый декабрьский вечер Слуцкий пришел на семинар с большим опозданием и не извинился, как бывало, не поздоровался даже – грузно осел на стуле, положил ладонями вниз красные руки и, раздраженно похлопывая по сукну, оглядел нас словно в недоумении.

– Сегодня мы похоронили Семёна Кирсанова. Он был по-своему большим поэтом, и я прошу почтить его память вставанием.

Первым поднялся из-за стола, а когда мы сели, продолжил, ни на кого не глядя:

– Вы можете любить или не любить поэта, но не уважать – не имеете права. Сегодня мне было больно и обидно, когда никого из вас я не увидел на кладбище. Ладно Кирсанов, но две недели назад на похоронах Смелякова я тоже никого из семинара не встретил, что странно: Самченко и Гофман стихи о нём написать не преминули...

И начал рассказывать о Кирсанове – его юности, выпестованной Маяковским, виртуозном версификаторском мастерстве «холодного сапожника», родившем оригинальную книгу за четверых никогда не живших поэтов, в годы войны – «Заветное слово Фомы Смыслова», а потом лубочную стилизацию про Макса-Емельяна... И закончил свой великолепный рассказ о покойном поэте, вернувшись к тому, с чего начался разговор:

– Понимаю, все вы люди взрослые и чрезвычайно занятые, обременённые службой, а кто и семьями, но давайте договоримся, что будем учиться выкраивать время и приходиться на похороны друг к другу.

Я вспомню эти слова в солнечный февральский день, когда буду стоять стиснутый в онемевшей от горя толпе, вглядываясь в отрешённое от земных забот лицо Слуцкого. Много друзей пришло проститься с поэтом (он знал это – любил повторять стихи Межирова: «Есть товарищи у меня!»). И мы тоже пришли – те, кто *научился*. И все собравшиеся в зале прощания кунцевской дальней клиники – и друзья, и недруги Слуцкого, отдавали себе отчёт в том, *кого* не стало и *что* он оставил нам.

А город был расцвечен флагами – праздновали день советской армии...

Десятком лет раньше, в этот день придя на семинар, Слуцкий нашёл на зелёном сукне букет алых роз. Неспешно прочитал поздравительную открытку, сдержанно поблагодарил за внимание, сдвинул цветы на край стола, но то и дело возвращался к ним, поглаживая ладонью хрустящий целлофан. И еще сильнее просветлели глаза Слуцкого, когда взгляд его ускользнул – поверх нас, раздвинув скучные стены, – в прошлое. Он стал рассказывать об ИФЛИ и ифлийцах, о юности Самойлова, Когана, Кульчицкого, о литинститутском курсе Луговского, почти полностью выбитом войной, и как сам едва не погиб в Югославии...

Может, наш подвал и запал в память столь ярко из-за того вечера воспоминаний? Или благодаря другому – трагикомическому эпизоду. Мы уже приготовились к обсуждению, как в комнату, неуверенно поскрёбшись, просочился старательно одетый человек и, шмыгая сизым носом алкоголика, без вступления принялся рассказывать историю своей жизни, и как от него ушла жена... Рассказ был так откровенно жуток, что оборвать его не виделось никакой возможности, пока Слуцкий не спросил пьяницу, чем

же мы можем ему помочь. Тот признался, что уже помогли – выслушали, и потребовал, чтобы мы рассудили его жизнь.

– Вы, очевидно, не совсем по адресу, – огорошил его Слуцкий. – У нас поэтическая студия, мы тут стихи читаем.

– Ну да! – не поверил мужик. – А на двери написано: «Товарищеский суд». И я сразу вижу – вы судья, у вас лицо такое...

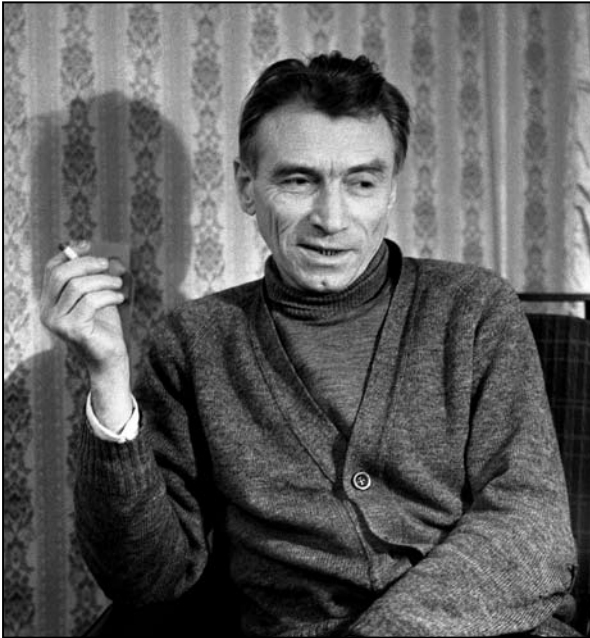
– Кажется, сам сейчас поверю, что я не я, а Борис Абрамыч Годунов, председатель жилтоварищества, – буркнул Слуцкий, вспомнив фразу Ильфа из его записных книжек. И когда Егор Самченко, мобилизовав свои профессиональные навыки врача-психиатра, кое-как выставил просителя, Борис Абрамович начал занятие:

– Посмеялись, и довольно. Не будем отвлекаться, продолжим наш товарищеский суд. Кто у нас сегодня на очереди?..

Слуцкий никогда не датировал свои стихи, но снова и снова покажется, что ты знаешь, когда они были написаны, спотыкаясь на строчках, наполненных для тебя особым смыслом:

*Я судил людей и знаю точно,
что судить людей совсем не сложно –
только погода бывает тошно,
если вспомнишь как-нибудь оплошно...*

Слоны хохочут беззвучно (Виктор Конецкий)



Душа Конецкого уже месяц как прощалась с земной юдолью, когда в его родном порту Ленинграде-Питере топорное жюри «Национального бестселлера» порешило назначить таковым прохановский китч «Господин Гексоген». И не вообразишь, каким матом покрыл бы своих бывших сокорытников Виктор Викторович, – заигрались ребята, мать их!.. Не в личностях дело (всегда считал, что читателю должно плевать, написана книга под бельевыми верёвками на кухне-коммуналке, или в обитом шелком будуаре), не в очевидной тенденции (как прежде при раздаче премий отдавали предпочтение комсомольско-партийной шушере, так нынче – эпатажному гею, припозднившейся эротоманке, буро-коричневому истерику). Просто, обожающе дружа с отцом термина «гамбургский счёт», привык судить литературу по этому самому счету. А с пресловутым «соловьём генштаба» ему все было ясно еще в начале 80-х.

Тогда, потравившись прохановским «Деревом в центре Кабула»

и лечась (если не в море) исключительно «Столичной», Конецкий ощутил себя прежним семинаристом лито Марго Довлатовой (там, между прочим, хорошая компания спелась: Володин, Шим, Курочкин, Голявкин, Пиккуль). И с юношеской зубодробительной прытью, с какой у них драконили первые литопыты друг друга, разложил «афганскую заказуху» по словам по косточкам. Исписал ворох страниц, по обыкновению продавливая твёрдой шариковой ручкой два экземпляра под копирку, – первый предназначался адресату и был немедленно ему отослан, а второй потом, на трезвую голову, многожды читался-перечитывался каждому встречному-поперечному с неизменным вопросом-утверждением: «Ну очевидно же – бездарь?!» Диагноз ставил, как опытный врач, по языку:

– Язык нам дан как для выражения своих мыслей, так и для их сокрытия. Ежели писатель своим животом – от слова «жизнь» – язык не чувствует, то его дело табак. А этот привык пользоваться случайным набором словес. Так и пишет: швырнул палку в яблоню – в русский язык – оттуда яблоки посыпались, вали их в мешок без разбору, называй романом, повестью... Проханов плюху в свой адрес проглотил молча.

Эпистолярный жанр у Конецкого – отдельная песнь. На крышке старого бюро, рядом со штурманским удостоверением, телефонными счетами и карманной мелочью, всегда лежала подколота к конвертам почта: письма друзей, уведомления из министерства Морфлота, издательств и Союза писателей, читательские отклики. Самые занятные потом перекочевывали в недра шкафчика, извлекались в ответ на вопрос: как дела, что нового? Письма Шкловского – как великую драгоценность – никогда не давал в руки, только показывал, сам с выражением цитировал вслух строчки, которые считал замечательными. Другие – «долгоиграющие», в комплекте со своими ответными, – кидал на стол и с любопытством следил за выражением твоего лица по мере чтения.

Затравка – казенный бланк СП РСФСР, машинопись за подписью тогдашнего его председателя: так и так, уважаемый тов. Виктор Викторович, посылаю вам письмо моего внука, который сейчас служит на флоте, с уверенностью, что оно вас порадует. И – автограф послания самого, названного в честь дяди Стёпы, отпрыска: дед, я тут загудел на гауптвахту и в камере мне попалась книжка какого-то Конецкого – стёбно чувак про море пишет, а на суше явно бедствует, коль вынужден моряком пахать, так что ежели можешь бедняге чем помочь... Ответ Конецкого поражал скоростью изменения почерка – уже на середине первой страницы буквы стали расплываться, выдавая быстроту опорожнения бутылки, а потом слова просто ползли одно на другое. Начал интеллигентно и вполне сдержанно, закончил почти матом: объясните своему неслуху, что на флоте служат, а не сачкуют на «губе», ну да он вряд ли это поймет, если вы, дожив до седой головы, не соображаете, как своей выходкой оскорбляете писателя, который никогда не зависел от вашей бумажной конторы и ни в какой помощи не нуждается. Дедушку столь непочтительное письмо потрясло – ответил тотчас же: он, конечно, догадывался, как к нему относятся на самом деле, но услышать такое не по вражеским голосам, а из уст советского писателя... Ну да он

зла не держит – рекомендовал к выпуску в «Худлите» юбилейный пятитомник Конецкого (который в издательстве с такой же легкостью замотали). Виктор Викторович писал письма в поддержку и с осуждением, друзьям и врагам, министрам и президентам. И всё чаще попадал в пустоту: наступило время безразличных.

Ощутить на собственной шкуре ярость Конецкого не пожелал бы и врагу. А гневило его многое, в том числе и такие вроде мелочи, как необязательность, легковесность, суета...

Как-то пообещал проводить его на «Красную стрелу», но дежурил по номеру, застрял в редакции и освободился в тот момент, когда полуночный поезд уже отбывал с Ленинградского вокзала. Назавтра телефонный звонок поднял с постели в половине девятого утра:

– Ты – жив?!.. – Иные уважительные причины, позволяющие нарушить данное слово, не рассматривались. – Мудак, я же из-за тебя всю ночь не спал!

Трубка тут же была брошена.

Пока тупо прикидывал, что сказать в оправдание, Виктор Викторович перезвонил, уже из дома:

– Не вздумай со стыда утопиться – это тебя не прощает. Но когда придёшь в наш порт, так и быть... можешь позвонить...

Он всегда извинялся и извинялся первым. Кажется, не сделал этого только однажды – наотмашь обзвав бандершей известную даму, не желающую поступаться сталинистскими принципами.

Когда Конецкий писал в СП Михалкову, что имел их опеку в гробу, он вовсе не фанфаронствовал. В литературе сохранял завидную независимость: флот вполне прилично кормил и одевал (не только в униформу), писательская организация не шибко докучала ему говорильней и оргмероприятиями (круглый год их член пропадал в море). Даже такая вкусная штука, как писательские загранпоездки, Виктора Викторовича соблазняла слабо – без всякого СП бывал и в Европе, и в Африке, и в Америке, трижды земной шар по экватору обогнул. Тихо гнобить его тоже не получалось – стал популярен, имя Конецкого через запятую упоминалось в достойном ряду с Казаковым, Володиным, Аксёновым, Роциным; к нему домой даже Уильяма Сарояна знакомить приводили...

В чём Виктор Викторович всегда был уверен, так это в своей сытой и безбедной старости. О деньгах никогда не говорил, лишь однажды в сердцах выпалил: «Допекут меня михалковы – куплю на все свои непотраченные гонорары сухогруз, назову «Виктор Конецкий» и подарю Союзу писателей – пускай на дармовщину катаются!» А что со своими сбережениями он по серьёзному поводу расставался без сожаления, мог убедиться. Когда на крышке бюро увидел бланк почтового перевода – в разваленный землетрясением Спитак Конецкий перечислил пятизначную сумму. Перехватив мой взгляд, попросил: «Не рассказывай никому, всё равно поймут неправильно, скажут: заранее знал, хитрец, про денежный обвал – остальные-то целковые в банке гикнулись».

В упомянутом бюро Конецкого хранился занятный блокнотик, где разным почерком исписаны первые четыре страницы. Рассказывал: сидели вчетвером – с Григорием Поженяном, Василием Аксёновым и Овидием Горчаковым – на веранде ялтинского Дома творчества, выпивали, как водится. Решили квartetом породить нового Козьму Пруткову – и поюморить, и легко заработать. Тут же нашли блокнотик, и каждый на отдельной страничке написал свою первую фразу будущего шпионского романа. Квartetа не получилось – Конецкий ушел зарабатывать в кино, а оставшаяся троица идею претворила-таки в жизнь – слепили озорную книжку под коллективным именем-коллажем Гривадий Горпожакс. Про что Конецкий говорил без сожаления: «Не судьба, моя фамилия в этот псевдоним всё равно не ложилась...»

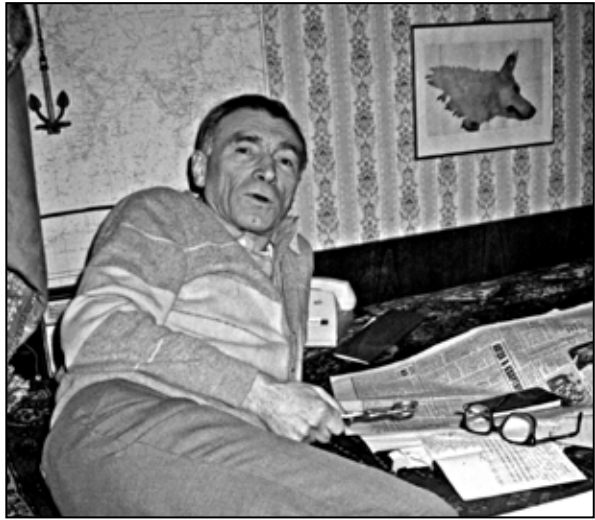
«Не судьба» – говорил часто: как всякий морской волк, был достаточно суверен.

Решили сделать с ним фильм-диалог, организовали съемочную группу, уже и день для работы выбрали. Уезжая в Питер, я в поезде разодрал о торчащий из полки шуруп щёку, а приехав к Конецкому – застал его с увесистым свежим фингалом, о происхождении которого писатель загадочно умолчал. Режиссёр с оператором схватились за головы – если физию интервьюёра можно было обойти, то без лица Конецкого фильма не получалось. Замазали гримом синяк, посадили в полупрофиль, кое-как – статичного, зажатого – сняли. Но когда просмотрели потом материал, поняли: показывать э т о никакой возможности нет. Через неделю (по прошествии синяка) досняли под готовую фонограмму другие ракурсы, и тут оказалось, что затёрли предыдущую съемку. Снова решили переснимать, но Конецкий лёг на дно: если сразу пошло наперекос, удачи уже не будет...

Про неуспех фильма по своему рассказу «Путь к причалу» говорил, что понял причину позже. Когда в архиве Веры Пановой прочитал ее письмо Твардовскому – знаменитая писательница послала рассказ Конецкого в «Новый мир», и Александр Трифонович в личном письме ответил ей, что печатать его не станет – это «чтение для невзыскательного вкуса». Панова приговор Твардовского автору даже не показала. Но рассказ всё равно вышел в другом журнале, и нашёлся-таки режиссер с «невзыскательным вкусом» – великолепный Гия Данелия. Как они экранизировали тот сюжет, Конецкий сам с юмором рассказал в книжке «Кляксы на старых промокашках»: в итоге оба числили картину провальной. На славу удался следующий фильм – ироничная комедия «33». Но и она не затмила знаменитый кинобестселлер «Полосатый рейс» – действительно народную комедию, про участие в создании которой Конецкого (в паре с Алексеем Каплером) мало кто помнит, зато любой из нас и сегодня процитирует реплики: «Я не трус, но я боюсь!» или «Красиво плывут! – та группа, в полосатых купальниках...»

С годами Конецкий шутил все реже и реже. На любимый вопрос: «Над чем сейчас смеётесь?» – накатанно отвечал: «Над своей пенсией в 50 у.е.» Устало резюмировал: «Юмор – свойство молодости. До тридцати лет из меня потоки острословия фонтаном били. И флот, конечно,

сильно повлиял – он ведь одной ногой стоит в воде, а другой в юморе. Но с возрастом чувство юмора неизбежно трансформируется, это и по гениальным людям видно. Посмотри на Чехова, Зощенко, даже на Шоу. Как они любили смеяться в юности, и куда это к зрелым годам делось? Чехов в последние годы вовсе перестал быть смешным, Зощенко стал трагическим... Знаешь, если верить Кипплингу, когда смеются слоны, они вообще не издают звуков. Стоят в тени пальмы и просто трясутся от хохота. А я и пальмой для смеха не обзавёлся...»



Порт Ленинград,
зима 1987

И розыгрыши его, прежде озорные и легкие, под старость стали грубоваты. Как-то разыграл свою горячую почитательницу, директрису литмузея. Та изо всех сил старалась организовать упорствующему холостяку нормальную семейную жизнь – каждую неделю посылала Виктору Викторовичу очередную свою сотрудницу – обед приготовить, полы помыть (с тайной надеждой: авось и ущипнёт какую за мягкое место). Начала с ровесниц, потом пошли кадры моложе и моложе... Однажды Конецкий позвонил: «Выручай, нужно подругу в хороший дом престарелых устроить». Конечно, она поможет: говорите имя, фамилию... К вечеру рапортовала: всё улажено, можно бабушку привозить. «Вот и вези! – фыркнул Конецкий. – Ты своих мэнээсок сама-то помнишь? Твоей «бабушке» – восемнадцать лет! Прекращай мне своих пионерок присылать!»
Собственное семейное счастье Конецкий на шестом десятке вполне удачно организовал себе сам.

Часто говорил: «Не понимаю!» Звучало, как «отказываюсь понимать». Рассказывал:

– Живу у Женьки на даче в Переделкино. А у него весь чердак в фотографиях: Я и Кеннеди, Я и Фидель, Я и... Жуть берёт от этой галереи!.. Однажды просыпаюсь, а он говорит: «Хозяйничай тут сам, я на неделю уезжаю.

В Югославию. Говорят, Броз Тито при смерти, а у меня фотографии с ним нет». Ну, смеюсь, вот остряк-самоучка! И что ты думаешь? – вскоре возвращается, первым делом бежит вверх и фото с Тито на стенку вешает! Не понимаю...»

Принимая поздравления по случаю награждения его орденом «За заслуги перед Отечеством», Конецкий сказал: «Не понимаю... Путин ведь дзюдоист, и хватка у него стальная, и взгляд жёсткий, а рука мягкая, женская почти...»

Из всех людей, с которыми пересёкся в жизни, Конецкий больше кого бы то ни было любил Виктора Шкловского (оба они, как радиопередатчики, работали на одной волне).

Как-то Виктор Викторович спросил:

– Что бы ты сказал, узнав, что Шкловский меня официально усыновил?.. Думаешь, мы оба в старческом маразме? У него сын погиб на войне, я тоже, считай, безотцовщина, и мне даже отчество менять не придётся... Плоско пошутил, что они не ханжи – вполне могут жить вместе и без штампа в паспорте. Но Конецкий говорил вполне серьёзно:

– Ему скоро девяносто, пора подумать, кто литнаследием заниматься будет. Сам знаешь, как у нас посторонних любят в чужие архивы пускать... Через полгода Шкловского не стало.

...Сидел в редакции, соображая, у кого попросить некролог. Позвонил в Питер (без особой надежды: завтра похороны, Конецкий наверняка уже в Москве), услышал веселое ворчание Виктора Викторовича:

– Опять прикидываешь, как что-нибудь придумать за других гениев?.. Почему я дома? А что я в вашей столице забыл?..

Онемел, поняв: за три дня н и к т о не осмелился сообщить ему о случившемся. Когда произнёс – Конецкий просто послал меня на хер с такими шутками и бросил трубку. Через вечность он перезвонил: извинился за грубость, сказал, что идёт за билетом. И опять позвонил через час:

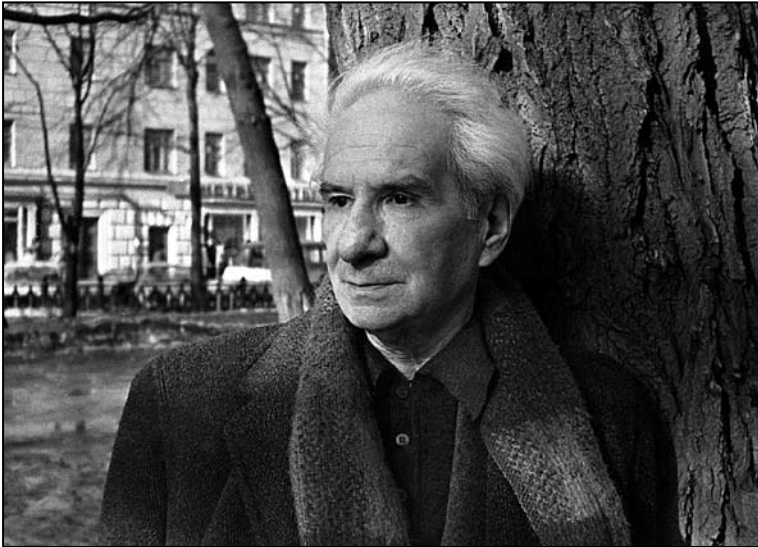
– Добрался до кассы и понял, что если поеду – положите меня рядом. Не могу увидеть Шкловского мёртвым... Он ведь летом мне письмо прислал, попрощался, а я не понял. Записывай:

«Знаю ли, что такое ничто, как закругляется сожжённая сторона под названием жизнь? Пойму ли, как велика эта степь, и что будет за ней? ...Скажу пошлость. Есть только неумирающие деревья. Есть и будут после тебя. Они зеленеют и с каждым годом уходят от тебя... Найти свою жизнь человеку труднее, чем дереву. Понимание этого удерживает от зависти к ним... Жизнь – штука упорная. Смотрит глаза в глаза, вспоминает сама себя и даже ссорится сама с собой. Для того, чтобы полюбить кого-то, надо жить...»

Я годился ему в сыновья; иногда он называл меня мальчиком. Своего отца я не помню, и сознание сиротства потому было моим привычным состоянием. Но с того момента, когда я узнал о смерти Виктора Борисовича, я по-настоящему осознал себя сиротой. И не только я один...»

Теперь сирот стало ещё больше.

Пленник свободы (Александр Володин)



Москва,
Цветной
бульвар,
1984

Может быть, самое большое, что дала нам так называемая перестройка (не в политическом – в общечеловеческом смысле), это – по выражению главного прораба-переустроителя – возможность узнать «кто есть ху». В одночасье рухнули незыблемые твердыни, под героями раскрошились монументальные пьедесталы, оценки и суждения мгновенно поменяли полярность с плюса на минус, и наоборот. В литературе картина нарисовалась особенно выразительная. В эмиграции доживает свой век автор великих стихов «Коммунисты, вперед!..». У зарубежных кормушек и на отечественных сытных презентациях столуются вчерашние наши первые перья, смычки, клавиши и серебряные горла, а дутые величины застойной поры мирно разводят кур в переделкинских сараях. Одних – искренне жаль. За других – неимоверно стыдно. Как за слащавого стихотворца Д., который вдруг возник в пасхальную ночь на экранах наших теляятиков – в церковном репортаже из Иерусалима («Мой микрофон установлен на Голгофе!»), как прежде возникал на Красной площади в красные дни партийного календаря с рифмованной осанной на елейных устах, всегда готовых славословить хоть советскую Россию, хоть христианского мессию.

И когда от подобных зрелищ становилось вконец блевотно и мерзко, только одно спасало – осознание того, что на других людях земля испокон века держится.

За жизнь на войне Володин получил высшую отметку солдатской доблести – медаль «За отвагу». За жизнь в искусстве – высшую меру почёта: приз «За честь и достоинство» (не ошибусь, предположив, что обладатель такой награды во сто крат меньше, чем Героев труда).

На театральные экзамены Володин, похоже, был обречён. За три года до войны сдал экзамены в ГИТИС на театроведческий факультет, но тогда поступление в вуз от армии не спасало. И была казарма, а потом фронт, и лишь через семь лет смогла бы пригодиться старая справка, дающая право на автоматическое восстановление в том же институте. Однако Володин льготой не воспользовался, не без участия друга-советчика решив, что для великого театра он потерян, а вот кино куда как проще, доступнее. И оказался во ВГИКе.

По словам Володина, он так и не понял за годы учебы, каким образом состояние души может зависеть от угла заточки резца (ситуация, конечно, утрирована, но суть советского «производственного» повествования передает точно). А поскольку время другого кино тогда еще не настало, для дипломника выбор был невелик: штатная поденщина в сценарном отделе киностудии, с неизбежной перспективой дисквалифицироваться за несколько лет, или редактирование чужих сценариев, на которых можно было учиться тому, как писать не надо. В том, что ремесло редактора пошло драматургу на пользу, легко убедиться, прочитав любой сценарий Володина. «Осенний марафон» – всего сорок машинописных страничек: ёмкие диалоги и минимум ремарок – ни одного лишнего слова.

Но дебютировал Володин все-таки как драматург. И первые же пьесы, поставленные одна за другой лучшими тогда театрами страны, сразу вывели его в первый ряд, где к началу 60-х сияли имена Арбузова, Алёшина, Розова. О Володине заговорили. И, как у нас принято, стали учить. Софроновский «Огонёк» устами партийных критиков распекал драматурга за очернительство, индивидуализм и непонимание того, что в советской стране личность ответственна перед обществом, а не наоборот (потом за это же чиновники от кино будут мурьжить володинские киносценарии). Министр культуры, «фабричная девчонка» Фурцева, которая одна знала правильные ответы на все вопросы, объясняла мастерам искусств суть разницы себестоимости гидроэнергии по сравнению с электроэнергией и авторитетно долдонила: «Итальянский неореализм – не наша дорога». А для эффективности творческой работы рекомендовала посещать бассейн. Фурцевскую фразу: «Сразу видно, что Володин в бассейн не ходит», Александр Моисеевич вспоминал часто.

Одновременно с тем, как его слава перешагнула границы страны, Володин стал невыездным. «Ехать за рубеж не рекомендую, – предостерегала Фурцева, – там будут задавать провокационные вопросы, вам будет трудно на них отвечать, а неправильно ответите – трудно будет возвращаться».

Потом Володина долго не пускали за границу по другой причине – бытовой, но не менее беспокойной для отечественных надзирателей: сын драматурга Володя (математик, специалист по искусственному интеллекту) в 1976 году уехал жить и работать в страну Америки, где богатство в известной мере прирастает и благодаря утечке мозгов из тех государств, которые в своих мозгах абсолютно не нуждаются. Так что сына и внука Володин смог повидать в Штатах лишь в конце восьмидесятых.

Вернувшись из Америки, Александр Моисеевич восторженно рассказывал про иностранную жизнь, в которой он чувствовал себя лишним. Оставляя отца дома, Володя предупреждал горничную-мексиканку, что папа по-английски не говорит. – А по-испански? – По-испански тоже. – Бедняга, он неграмотный или немой?

– Я там немой! – кричал Володин в радостном изумлении.



70-80-е годы
прошли у нас
под знаком
«володинских»
девушек

Однажды Володин встретился с драматургом Олби, и тот спросил: «Когда вы пишете, о ком вы думаете, кому хотите быть понятны?». Ответ Володина: в с е м ! – коллегу явно не устроил. «Я сильно выкладываюсь, работая над пьесой, – сказал Олби, – так пусть и зритель потрудится, чтобы её понять». Можно не сомневаться, что Володин работал над своими пьесами и сценариями не легче американского собрата, потому и воспринимаются они без труда. Всё, что написал Володин для театра и кино, элементарно просто по сюжету, стилю и языку.

Ситуации, в которые Володин ставит своих героев, абсолютно незамысловаты: школьница влюбляется в своего вожатого, немолодые люди встречаются через многие годы и переживают давнюю любовь, мягкотелый интеллигент разрываётся между женой и возлюбленной, провинциальная сибирячка попадает в столичную рафинированную среду... Но все эти сюжеты, старые, как сама литература, вдруг становятся *володинской* темой, героини, сыгранные такими разными актрисами, как Доронина, Неёлова,

Проклова, Гурченко или Гундарева, – володинскими героинями, а спектакли и фильмы, поставленные по произведениям драматурга Товстоноговым, Тодоровским, Миттой, Михалковым и Данелия, сплелись в один слиток под названием «мир Володина». И этот мир – сегодняшний, живой, понятный и открытый всем.

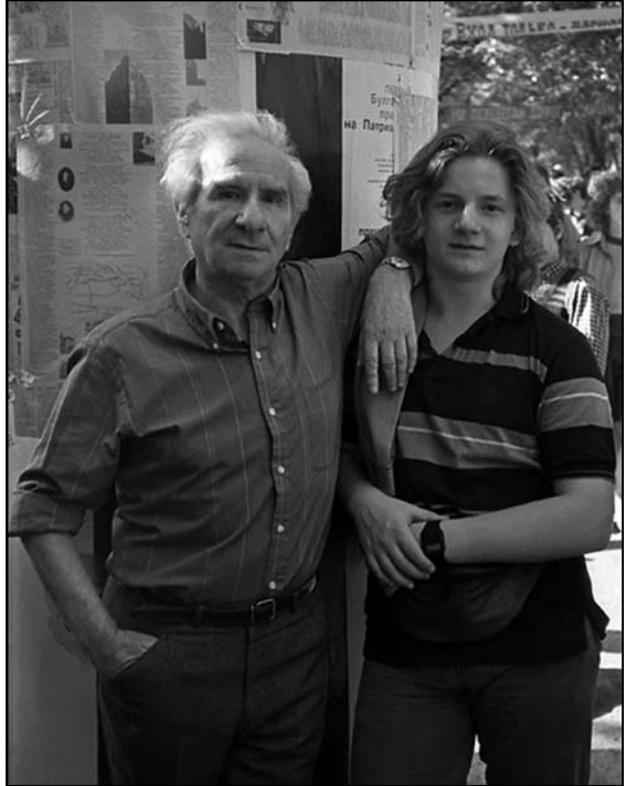
Когда Михалков вознамерился снимать «Пять вечеров», Володин честно пробовал его отговорить: пьесе четверть века – устарела. Оказалось, что нет – фильм получил счастливую прокатную судьбу. Спасибо мастерской режиссуре и блистательному дуэту Гурченко с Любшиным, но всё же – в начале было Слово (хоть, по Володину, для режиссёра даже Достоевский – всего лишь автор сценария). И зарубежный зритель хорошо принял картину, правда, с поправкой на то, что фильм абсурдистский – коммунальная квартира, в которой происходит действие, воспринималась как сюр в духе Бергмана: пугающие фантомы прошлого населяют дом героини...

Володин никогда не работал на заказ – ни на социальный, ни на дружеский. Однажды к нему домой пришли Марина Влади с мужем – предложили написать для них сценарий, который Высоцкий увидел во сне, но Володин тактично устранился. Он всегда писал только о том, что самому не давало покоя, что извлекал из собственной памяти. И о тех, кого знал и любил. Поэтому Тамара из «Пяти вечеров» произносит фразу, которую прокричала уезжавшему на фронт Володину его будущая невеста. И влюбленная в своего Бузыкина Алла в «Осеннем марафоне», изводясь сердечной болью, безнадежно просит у него если не семейного счастья, то хотя бы ребёнка... Судьба ведёт руку автора и пишет свой сценарий. Так у Володина родился внебрачный сын Алёша, которого после внезапной смерти матери отец взял в свой дом, а когда мальчик вырос – уехал к сводному брату в Америку.

«Горестная жизнь плута», которая стала «Осенним марафоном», валерьянным запахом пропитала дом Володина. Как-то раз, позвонив Александру Моисеевичу и не застав его дома, получил от Фриды Шулимовны получасовую выволочку, увенчанную фразой: «Не понимаете, почему вас любит Шурик? Узнаёт себя – вы же вылитый Бузыкин». И вскоре посиделки на питерской кухне стали невозможны – приезжая в Ленинград, встречались с Володиным в сквере под окнами его дома, гуляли по городу. А мою московскую кухню Володин любил – он был домашним человеком.

Пока была жива свояченица Дифа, в распоряжении Александра Моисеевича имелась её московская квартира возле Малой Грузинской, обычно пустая (Юдифь Шулимовна тяжело заболела и перебралась к сестре). Оттуда, не вынося одиночества, Володин в свои московские приезды часто звонил по ночам, благо телефонные разговоры тогда ничего не стоили. Однажды позвонил в два часа ночи – в сильном раздражении, мучимый потребностью выговориться, и рассказал всю историю любви с Леной, матерью Алёши (единственный раз, оговоров: никому! никогда!). В конце этого грустно повествования вдруг возникла неотвязная догадка, и я не сдержался – спросил: Лена ушла **сама**? Володин долго молчал, потом сказал: «Ты тоже так подумал?..»

На исходе 80-х Володина, по собственному его признанию, стали одолевать **стыды**. Потому что, когда в студийном коридоре встречал Шпаликова и тот кричал криком: «Не хочу быть рабом! Не могу быть рабом!» – не находил нужных слов, не понимал его, а Шпаликов вскоре покончил с собой. За то, что в дни оккупации Чехословакии в 1968-м не вышел с протестом на площадь. За... да мало ли, за что. Подолгу звонил по телефону (не мне первому, не мне последнему), спрашивал совета, как ему с партбилетом поступить: порвать? вернуть? выбросить? Я отговаривал – знал ведь, что Володин в партию вступал перед боем: как все, написал,



*С сыном Алёшей.
Москва,
Патриаршие пруды,
1989*

чтобы в случае гибели считали коммунистом, но выжил, слава Богу, а после выписки из госпиталя получил пунцовую корочку. И вот её, кровь оплаченную, – на помойку? Пусть остаётся, хотя бы как память. Александра Моисеевича доводы вроде бы убеждали, но через несколько дней он с партбилетом все-таки расстался: шоу перед телекамерами не устраивал – просто отослал в почтовом конверте в райком. А потом наверняка выпил свои «окопные» сто грамм...

Многие годы Сергей Юрский все свои тчецкие концерты заканчивал исполнением «на бис» володинского стихотворения «Хобби»:

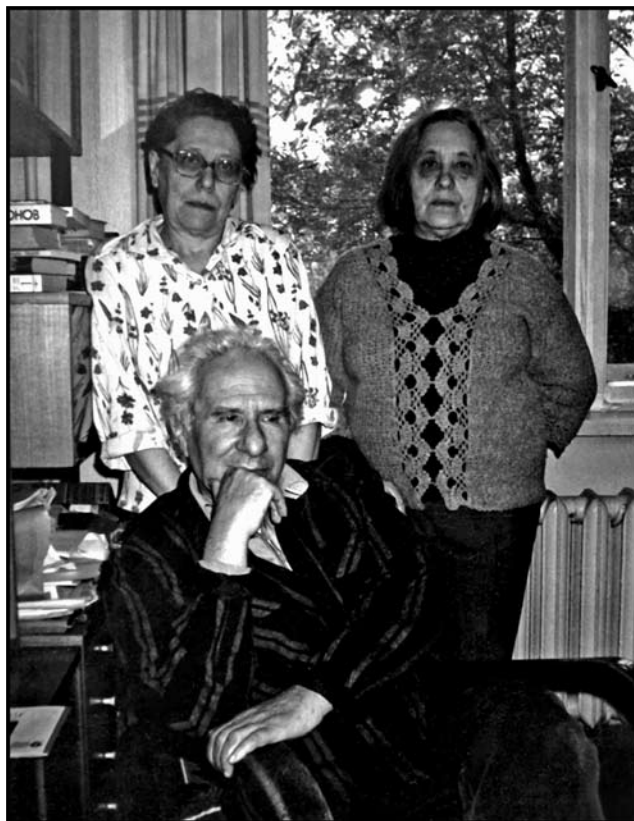
«...Оно появилось само по себе, и довольно давно уже, это хобби.

Тогда и названия такого еще не было,

и ни у кого, кроме меня, еще не было хобби!

А у меня уже было! Это хобби – с кем-нибудь выпить...»

«Хобби» Володин приобрел, как многие фронтовики – на войне, с пайковых ста грамм. К своей слабости десятки лет относился философски: уже не сопьюсь – возраст не позволит, да и организм будет сопротивляться. И как искоренить привычку, которая вошла в обмен веществ?



*Фрида,
Дифа,
Шурик*

Все двадцать лет, что мы общались, родня боролась с пристрастием Володина к выпивке. Он стоически сопротивлялся. Сопротивление тоже носило литературный характер: на кухонном календаре в московской квартире появился лозунг: «Я – свободный человек!». С подзаголовком: «Он в семье своей родной казался девочкой чужой».

В бой за трезвость родня пыталась вовлечь всех знакомых, тщетно рассчитывая на численный перевес. Наконец война закончилась мировым соглашением – Александр Моисеевич отстоял своё право на утренний «коктейль»: ложка растворимого кофе на сто грамм водки (без такого тоника он просто не мог раскататься).

В дни своей победы Володин ликовал – на той неделе 90-го получил я от него стихотворное почтовое послание с именованием посвящением (и припиской – «с любовью»), очевидно, в благодарность за нейтралитет:

Я узнал от людей, что завезены в лавку бутылки.

То ль «Столичной», а может «Пшеничной». Вскочил и побёг.

После тяжкого дня были мне необходимы бутылки!

Ровно две и не больше. Я больше б не смог.

Это была о попытке моей приобрести две бутылки!

Я в несметную очередь встал. И шагал с ней полдня.

Моя очередь вот подошла, завиднелись бутылки.

Еще шаг, еще два, еще три – обе две у меня!

Но когда подошел я к двум этим заветным бутылкам –

На прилавке уже! Две бутылки! Вот в этот момент

Вспомнил я, что нет денег со мною на эти бутылки!

Позабыл на столе! Денег нет!

Я проверил карманы. Нет денег на эти бутылки!

Вот запрут на замок, и до завтра закрыт магазин!

Все карманы пусты и нет денег на эти бутылки!..

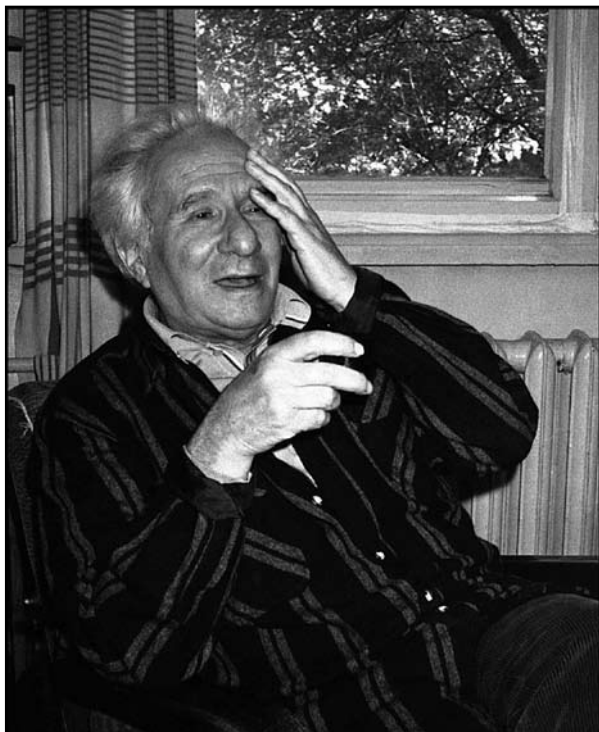
Проверяя карманы, побрел я обратно один.

Для «подкожных» денег у Александра Моисеевича существовала тайная сберкнижка, на которую приходили процентные отчисления из театров (наивный, был уверен, что Фрида с Дифой о ней не знают). Так что скромная заначка у него была всегда. Когда душа требовала долива – прогуливался до ближайшей рюмочной, в подвальчик на соседней с Большой Пушкинской улице. Как-то раз, зайдя туда с Володиным, в духоту, звон посуды и шум голосов, я на несколько минут потерял писателя из виду, столь органично растворился он в говорливой толчее. Здесь он был **свои** – завсегдатаи уважительно величали Александра Моисеевича «батей». Но Володин вовсе не был открыт всем и каждому без разбора, и тебе давал совет: «Никогда не пей с неприятными людьми!»

Всю жизнь Володин прожил «закадровым» человеком, узнавать на улице его стали после выхода огоньковской книжечки «Одноместный трамвай» с фотографией на обложке.

Составляя план библиотечки «Огонька», мы одну из первых книжек решили сделать автору «Пяти вечеров» и «Осеннего марафона». Просто восстанавливая справедливость – именно здесь, в «Огоньке», где верховодил графоман Софронов, всеми силами травивший ненавистные ему таланты. Вопрос лишь, из чего такую книжку составить – ни пьесы, ни сценарии в этой серии не публиковались. Попросил Александра Моисеевича присылать разные записки, фрагментики, которые ни на что не претендуют, и за полгода набралось их достаточно. В конце 89-го, в один из приездов Володина в Москву, сели с ним на кухне, вооружились ножницами, клеем – за вечер получилась замечательная книжка. Оставались несколько лакунов, которые хорошо бы заполнить: объяснить, почему прогорели герасимовские «Дочки-матери», что послужило толчком к «Матери Иисуса» (написал, когда книжка уже была в производстве, опубликовал в газете «Культура»).

Для ритмичности перехода от одного фрагмента к другому решили использовать стихи. Когда я сказал, что к первой публикации стихотворения про хобби стоило бы поставить посвящение Юрскому, Александр Моисеевич воспротивился: «Нельзя! – Миша Козаков обидится, он это стихотворение тоже читает». Настоял, и тут же получил условие: если так, то надо перечислить всех друзей, иначе обидятся... Через неделю список перевалил за полста, и тут уже взмолился я: невозможен в этой книжечке такой «поминальник». В конце концов – убедил (в какой-то из других книг он это все-таки сделает). Вообще Володин не выносил никакого диктата – когда



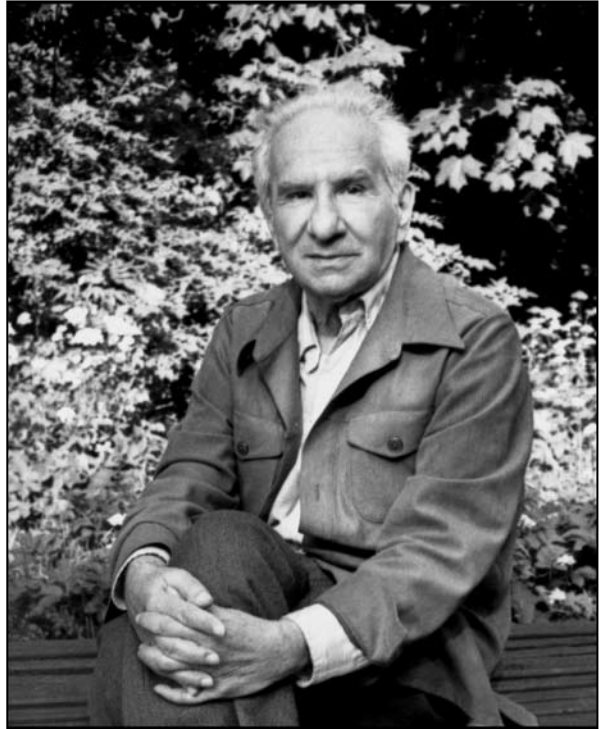
*В дни победы
на домашнем фронте*

ты пережимал, на подаренной книжке появлялась надпись: «...моей путеводной звезде и вождю». Спрашиваю: «Сильно вас достал?» – «Есть немного...» В таких случаях не беспокоил Александра Моисеевича какое-то время, и он звонил первым.

«Одноместный трамвай» вышел быстро и в общем-то без потерь, только подзаголовок «Записки нетрезвого человека» пострадал: «Огонёк» в то время уже был самым смелым, но ещё пребывал в силе Егор Кузьмич, по-партийному борющийся за всеобщую трезвость. Коротич предложил свою правку, и Володин согласился: «Ясное дело, раз нетрезвый – значит и несерьёзный».

Успех этой небольшой книжечки был феноменальным (полтора десятка переизданий выдержала), и через два года мы с питерским режиссёром

Валерием Смирновым сняли по ней часовой фильм. От первоначального названия отказались – на столе лежала новая книжка «Так неспокойно на душе...» Всё сделали «на коленке» – на фоне моих книжных полок Володин за один вечер начал текст, за две недели сняли городскую натуру в Москве и Ленинграде. Несколько эпизодов получились пронзительными само собой: когда Писатель уходил вглубь проходного двора на Никитском бульваре, следом за ним под арку протяжным рапидом полетел голубь, за ним другой... А стремительный проход Володина вдоль Большой Пушкарской – самые пластичные кадры.



*В ботаническом саду.
Ленинград, лето 1989*

Удивительный был... чуть не написал «дед» и спохватился: не знал человека моложе его. До круглых восьмидесяти он сохранял подвижность и лёгкость в каждом жесте, а знакомясь с молоденькими девушками, неизбежно представлялся: Шурик. По-юношески писал стихи (называл их полустихами, как бы подчеркивая, что на поэтические лавры всерьёз не претендует). С Володиным было легко дружить, и этой дружбой хотелось делиться. С ним хорошо было гулять – и по Москве, и по Питеру, выпивать, разговаривать. До самого конца ясностью ума мог дать фору иному двадцатилетнему.

Однажды позвонил чуть свет: «Слушай, можешь меня поздравить. Мне дали премию. Президентскую. В семь утра прибыл посыльный в форме и прямо с порога мне, сонному, прочёл Указ. При этом перечислил всё,

что я умудрился написать. Представь: стою в трусах у входной двери, а курьер читает вслух: «...Вы написали пьесы «Старшая сестра», «Пять вечеров», «Назначение», сценарии «Звонят, откройте дверь», «Фокусник», «Осенний марафон»...» Ну не бред?..»

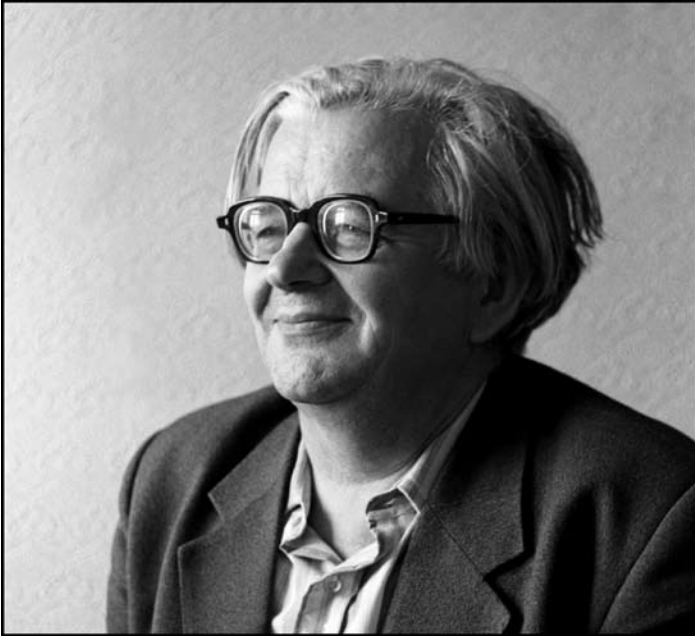
Прежде Президентской, Володина отметили премией «Триумф». В дом приёмов ЛогоВАЗа он приехал раньше других, утренней «Красной стрелой», и сразу угодил в объятия Ельцина. Тот панибратски сграбастал писателя, прижал к своему животу, и Володин благодарно выпалил: «Борис Николаевич, вы даже не представляете, как все рады тому, что вы наконец-то ушли!» Обалдевший БН от удивления развёл руками, уронил Володина на пол.

От обеих премий через полгода не осталось и гроша – деньги не держались у Володина катастрофически. Сначала его обокрали – наверняка не случайно: ТВ преуспело, аппетитно озвучивая сумму в пятьдесят тысяч долларов, демонстрируя портреты триумфаторов. Лихие лохотронщики взяли доверчивого писателя в оборот – на его плечах проникли в квартиру, где была лишь беспомощная жена, и вымели всё до копейки. Остатки (долларовую сумму перечисляли частями) успешно разобрала команда просителей – от бедствующих коллег до погорелого молодежного театра. Володин не умел говорить «нет» и вечно чувствовал себя виноватым: передавал через меня пятьсот долларов нищенствующему московскому драматургу с извинениями, поскольку тот просил тысячу. Естественно, о возврате «долгов» не могло быть и речи – Володин себя считал должником, давая деньги на квартиру медсестре Марьям.

Последний раз я слышал голос Володина за две недели до его ухода (в начале декабря 2001-го писателя увезли в больницу, откуда он уже не вышел). Он был уже очень слаб, но старался говорить бодро: «Знаешь, у меня был Витя Шендерович. Я ему пожаловался: совсем не пишется, сил почти не осталось. А Витя сказал: не казнитесь, вы написали всё, что было нужно написать. Скажи, ты тоже так считаешь?»

Да, Александр Моисеевич.

Незнаменитый классик (Валентин Берестов)



Однажды, спустившись в нижний буфет Дома литераторов, оказался в уютной компании трёх замечательных детских писателей. Вкупе они как бы символизировали живую преемственность поколений, в разбросе возрастов от тридцати до пятидесяти. Младший только что дебютировал в качестве ироничного сказочника и начал раздавать детям ехидные вредные советы. Средний уже считался мэтром и слыл непримиримым борцом с чиновными шапокляками, которые мешали ему зарабатывать деньги. Старшим был Валентин Дмитриевич Берестов.

Подошедшему гостеприимно даровали свободное место за столиком и участие в неторопливом разговоре за жизнь. Собственно, в основном беседа состояла из диалога мэтра и Берестова – младшим полагалось внимать и делать правильные выводы.

– Слышал, Валентин Дмитриевич, вы квартиру приобрели. Разумно поступили, надо вкладывать деньги в недвижимость, – похвалил Берестова предприимчивый мэтр.

- Оказалось, в большом кабинете рукописи теряются гораздо чаще.
- Могу рекомендовать находчивую домработницу.
- К нам ездить далековато.
- Что за вопрос! Купите машину.
- С моим-то зрением?
- Наймите шофера.
- Это трудно. И жена очень часто болеет.
- Самое время присмотреть маленький домик в Крыму.
- Мне кажется, вы приняли меня за директора Литфонда, – наконец не сдержался Берестов.

Этот разговор происходил в конце семидесятых. Не успел глазом моргнуть – двадцатый век пролетел. Другое время нынче за окном. Двое писателей из упомянутой сценки в 1998-м оказались в коммерсантовской «тысяче» самых преуспевающих людей России. Берестов тогда тоже попал в газеты – по случаю главного своего богатства – 70-летия. А через две недели после юбилея – в некрологи: его время кончилось...

Когда мы подружились, Валентину Дмитриевичу был без чего-то полтинник, и нам, двадцатипятилетним, он казался стариком – одышливый, усталый, абсолютно седой. Молодыми оставались только голос – высокий, по-мальчишески звонкий, и залиvistый смех. Да еще юношеский азартный интерес к новым людям, феноменальный талант находить друзей.

То было время кухонных застолий – общения на фоне бардовских гитар, политических анекдотов, стихов и вольных разговоров. Понятие «кухня» (элитарная, цеховая, интеллигентская – не суть важно) включало в себя и колоритную мастерскую художника Бориса Мессерера, где хозяйничала Белла Ахмадулина, и допотопную дворницкую, которую в качестве служебного помещения временно занимал при трудоустройстве в ЖЭК какой-нибудь отъезжант в ожидании визы, и нелегально обжитый богемой ничейный чердак с выходом на романтическую арбатскую крышу, и типовые пятиметровки в «хрущобах» или башнях–«скворечниках», где по ночам была ключом неподцензурная жизнь обитателей страны Советов. Понятно, круги общения были разными, равно как и правила игры: удостоившись визита на мессереровскую мансарду, уместно было принести бутылку «Хванчкары» и розу для Беллы Ахатовны, а отправляясь на Сходню к Новелле Матвеевой – прозаические сахар, чай и печенье.

На кухне Берестова царил стилистический разнобой: бутылка настоящего французского «Камю» артистично соседствовала с печёной картошкой и капустными пирожками из ближайшей кулинарии. Компания собиралась обычно цеховая: литераторы, музейные работники, книжные художники, вузовские преподаватели, студенты, объединенные, кроме гуманитарных интересов, еще и любовью к поэзии (если даже сами не рифмовали, то любили стихи наверняка). Принцип «дёшево и много» никого здесь не смущал – молодые поэты в гордой нищете жили от гонора до гонора, часто – на институтскую стипендию, и червонец представлялся вполне весомыми деньгами. Как-то раз, набившись под завязку в кабинет хозяйина, уже принялись читать стихи по кругу, а жена Берестова Татьяна Ива-

новна всё еще гремела чашками на кухне, и когда дошла очередь до Гриши Кружкова, он виновато вздохнул: «Поэзия, Валентин Дмитриевич, это замечательно, только давайте сперва покушаем...»

В те годы слово «тусовка» ещё не расплодилось по городам и весям из словарика хиппи и рокеров – все свои сбивались в прайд (буквально: львиная семья – поясию для поколения пепси и спрайта). Своих находили необъяснимым чутьём – и редко ошибались.



*С женой
Татьяной Александровой,
подарившей нам
домовёнка Кузьку*

Познакомившись с Берестовым, первые полгода собирались у него каждую среду – так давние друзья после долгой разлуки никак не могут поговориться. И первый же грядущий Новый год встречали вместе, шумно и радостно. Пришел Митя Покровский со своими ребятами (тогда его ансамбль народной музыки только-только пробивался на столичную сцену), и так они голосисто пели, что все соседи по подъезду сбежались – квартира оказалась мала: распахнули дверь на лестницу, сидели на ступеньках. Потом до рассвета играли в «чепуху» – версифицировали, пуская по кругу листочки с рифмованной «лапшой», покуда они совсем не скатывались в трубочку. И вашему автору пришлось изрядно попотеть – оказался по часовой стрелке за Берестовым, рифмы от него доставались богатые. Получив от Валентина Дмитрича строчку: «Он в луже увидел свинью» – дорифмовал: «Не баба, а все-таки «ню». За что был премирован «самиздатской» открыточкой – с картинкой Татьяны Ивановны (парящая на воздушных муза с лирой и золотым веночком) и автографом Берестова:

Ох, и рассмешил меня сынок!

Жора, подержите мой веноч!

Как-то Берестов приехал покопаться в моей домашней библиотеке – составлял антологию стихов о первой любви и не хотел пропустить ни одного мало-мальски стоящего автора. Посулил Валентину Дмитриевичу

полтора десятка метров поэтических книжных полок, еду в холодильнике и два спокойных дня взаперти (сам уходил отмечать день рождения любимой девушки, втайне надеясь, что культмассовая суббота плавно перейдёт в интимное воскресенье).

Перетаскив на тахту содержимое верхней полки, Берестов с ногами забрался под плед, пристроил рядом кружку с чаем и пакет пряников и занялся чтением. Задира л очки на лоб, близоруко упирался носом в книжку, поочередно шелестел губами и страницами, находил нужное, удовлетворенно говорил: «Ага!» и отрывал от листа бумаги очередной клочок на закладку. Иногда декламировал вслух какой-нибудь мадригал и включал в свою игру: «Как считаете, это будем печатать?» Невпопад бурча: «да» или «нет», я попутно гладил рубашку, выбирал галстук и упаковывал подарки. И тут поймал любопытный берестовский взгляд: что нынче дарит молодёжь избранным девушкам в День аиста? Поэтический вкус своей пассивности я надеялся уважить сувенирным томиком Вийона, а бытовой – куском югославского мыла на лохматом шерстяном шнуре (девица обожала русскую баню, и богатое юношеское воображение очень живо компоновало мыльный медальон на её трепетных персях. «Вы серьёзно хотите подарить Наташе мыло на верёвке? – недоверчиво спросил Берестов. – Тогда уж только с моим посланием:

Что сказать о верёвке и мыле?

Что верёвка и мыло дружили.

Ну а те, кто с ними дружили,

К сожалению, долго не жили».

Отсмеявшись, сообразили, что по случаю 18-летия такой экспромт не совсем уместен. «Хорошо, учтём торжественность момента», – согласился Валентин Дмитриевич и мгновенно написал на открыточке:

Что сказать о верёвке и мыле?

Наши беды их подружили.

Я считаю, что юный мой друг – обормот

И придумал подарок зловещий,

Ведь из жизни уход

И за телом уход –

Совершенно разные вещи!

Подписался, поставил дату. Добавил:

Но я ему выходку эту прощу:

Можно мыло использовать как пращу!

Уже в дверях, провожая меня, сказал: «Если вам вдруг не повезёт с ночёвкой – не огорчайтесь: вернётесь, и мы устроим потрясающий мальчишник. Пушкина возьмём в компанию, Лермонтова, Пастернака...»

Воротаясь домой через два дня, Берестова уже не застал – посреди книжного развала на диване лежала записка: «Все пряники съел. Кнута не нашёл».

Славы – громкой, «стадионной» – у Берестова никогда не было. Его просто знали, в чем Валентин Дмитриевич иногда убеждался.

Поселившись в Беляеве, Берестов долго пытался получить телефон. Тщетно обивал пороги, запасаясь весомым количеством казённых

бумаг – от Союза писателей, Литфонда, «Детгиза» и даже Дома дружбы с народами зарубежных стран, в которой изобретательно подчёркивалась необходимость регулярно созваниваться с Морисом Каремом и Джанни Родари. Чиновники почтительно перебирали рекомендации и в упрощённой для понимания писателя форме объясняли, что при телефонизации всего дома требуется подвести дорогой сорокажильный кабель, а ради одного номера, даже если по нему будет звонить сам господин Чиполлино, столь сложные работы не делаются. Наконец Берестов дошёл до Главного Телефонщика Москвы и тот, всей душой войдя в положение, тоже рассказал про кабель, но заверил: как только его, сорокажильного, протянут – писателя подключат первым. Наложил резолюцию и послал регистри-



*Под гитару
Григория Гладкова*

роваться. Рядовая регистраторша в окошечке, приняв от ходатая бумагу, осведомилась, не родственник ли он поэту Берестову, на стихах которого все её дети выросли. А услышав, что это он собственной персоной, изумилась: «Какая вам очередь! – купите телефонный аппарат и завтра будьте дома». Как честный человек, Валентин Дмитриевич предупредил, что к его дому не проложен очень нужный провод, но тётенька в окошке отмахнулась: слушайте их больше!..

На другой день Берестов уже названивал всем знакомым: «Записывайте наш номер!..»

Выросший буквально «на коленках» Чуковского и Маршака, Берестов унаследовал от своих учителей (кроме уроков ремесла, естественно) простые в общем-то вещи – бескорыстие, бесхитрость, бессребреничество... Он излучал мощную ауру доброты, оказавшись в поле притяжения которой, ты сам вдруг ощущал потребность отдавать. Берестов делал подарки виртуозно, не ставя тебя в положение должника. Однажды на моих глазах подарил шапку-ушанку (китайский кролик за 15 рэ – в то время жуткий дефицит) бедному поэту: гости шумно одевались в коридоре, готовясь

уйти в январскую холодрыгу, и молодой поэт безуспешно натягивал на отмороженные уши куцую кепчонку, когда хозяин с ловкостью фокусника заменил её чёрной новенькой ушанкой:

– Весной станет жарко – обратно на вашу кепку поменяемся!



Рисунок В. Лосева

Приходим как-то к Валентину Дмитричу, а он смеётся–заливается – получил почтовое уведомление из недр писательской организации, коим его официально извещали, что по истечении десяти лет «с тов. Берестова В. Д. сняты штрафные санкции», наложенные на него за подписание коллективного письма в защиту Даниэля и Синявского, и отныне он опять может «избираться и быть избранным в органы правления СП СССР, другие общественные организации...» (полный список подобной галиматьи). – То-то я все эти годы себя так спокойно чувствовал – на собрания не вызывали, по пустякам не дёргали! – радовался Берестов открывшейся ему загадке. И резюмировал: – Срочно нужно подписать какой-нибудь протест, чтобы еще лет на десять отвязались!

Весной 1985-го, когда над окоченевшей страной едва восходило солнце Горбачева, сидели с Берестовым на лавочке Цветного бульвара. Спросил, ждет ли он от очередного генсека чего-нибудь путного. «Не только жду, но и уже дождался», – довольно сказал Валентин Дмитриевич.

В тот год опять истекал срок аренды переделкинского дома Чуковского, а это означало, что писательская братия снова возобновит борьбу с семейством дедушки Корнея, намереваясь отдать мемориальную дачу очередному нуждающемуся литгенералу. Воспользовавшись приходом нового генсека, Берестов написал на его имя письмо, надеясь на участливый ответ (одновременно с Горбачевым учился в МГУ, и хоть с комсомольским

функционером университета знаком тогда не был, тот мог поэта помнить – имя Берестова в те годы уже пользовалось в стенах ликбеза достаточной известностью). Через неделю после отправки письма Берестову поздним вечером позвонил референт генсека – сказал, что его послание получено и прочитано, нужно уточнить некоторые детали. Например, представляет ли детский писатель все трудности, связанные с созданием музея, особенно в столь щекотливом случае, когда в экспозицию явно напрашивается дружба Корнея Ивановича с Солженицыным, да и прецедент создавать опасно – родственники Пастернака на очереди с такой же многострадальной музейной идеей... И тут Берестов подарил референту эпохальную фразу:

– А вы скажите Михаилу Сергеевичу, что если Пастернака ценят в основном люди культурные, то Чуковского в нашей стране знают все неграмотные! Очевидно, последовала томительная мхатовская пауза, пока референт переварил услышанное и переспросил:

– Разве в нашей стране есть неграмотные?

– Конечно, и очень много. Все дети!

Можно вообразить, с каким шиком на завтра же референт ввернул эту фразу генеральному секретарю – естественно, от себя, находчивого, заранее просчитав изумлённый вопрос Горбачева и красиво подав «свой» ответ. Результат не замедлил сказаться – аренду наследникам Чуковского снова продлили, а потом открылся и музей.

Случилось, у Берестова украли стихотворение. В общем-то неумышленно, по-дурачки все вышло: собрат-поэт нашёл в своём архиве восемь строк, поразивших его настолько, что он сочинил на их основе тематический цикл, немедленно опубликованный в «Литгазете». История примечательна ещё и тем, что плагиатор принадлежал к ученикам Сельвинского, которые яростно соревновались в самобытности с учениками Маршака. Я ненароком оказался рядом с Валентином Дмитриевичем, когда ему по телефону позвонил похититель. К разговору их не прислушивался, вообще вышел из комнаты, а когда вернулся, Берестов сказал:

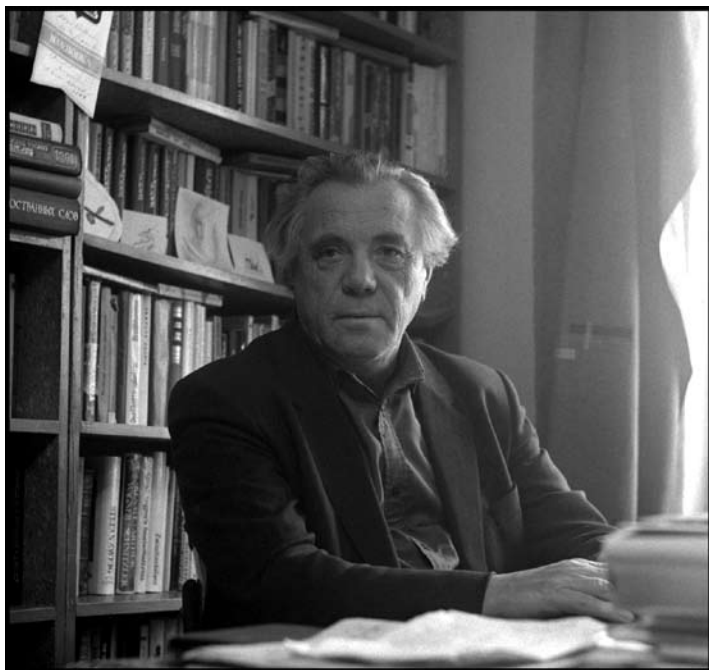
– Интеллигенту очень трудно не извиниться, а вот неинтеллигенту сам факт извинения кажется унижением.

– Лев Адольфович извинился перед вами?

– Извинился я. За то, что не могу подарить ему то самое стихотворение, потому что оно давно напечатано.

...Странно думать, что время Берестова – прошло...

Доверчивый ёрник (Виктор Астафьев)



Его доверчивость обескураживала.

На встречах с читателями, получив из зала очередную записку, никогда не просматривал заранее, не прятал неудобную в карман – сразу читал вслух и отвечал без оглядки. Такую мог написать если не идиот, то провокатор: «Как вы относитесь к коммунистической партии?»

Было это в Новосибирске, куда Астафьев приехал на семинар молодых писателей. В последний день организаторы не преминули воспользоваться случаем – устроили известному прозаику вечер для большой аудитории. Зал набился битком.

– Ну, как я к нашей партии могу относиться? – простодушно развёл руками Виктор Петрович. – Плохо отношусь. У меня с ней разногласия по очень многим вопросам...

И высказался от души.

Шёл последний год брежневского правления, страна пребывала в пофигистской апатии, и на своих кухнях редко кто не шерстил власть в хвост и в гриву, однако во дворе языки все-таки не распускали. А тут знаменитый писатель, недавний лауреат Государственной премии...

Когда вышла газета с Указом, автору «Царь-рыбы» резво позвонили из обкома – поздравили земляка с высоким признанием заслуг: отныне он включён в список номенклатуры – может получать продовольственный паёк и льготные скидки, пользоваться казенный автотранспорт. Возделенные для госчиновников коврижки подразумевали если не их отработку, то хотя бы лояльность. Отступников *наверху* не прощали. И когда за несколько месяцев до смерти Астафьев попросил у местных царьков прибавку к нищенской пенсии, на лекарства, они (ау, сколько в нынешних коридорах власти прежних обкомовских выкормышей?) старому писателю отказали. К такому отношению Виктор Петрович мог бы привыкнуть.

По возвращении из Новосибирска, Астафьева в аэропорту обкомовская машина уже не встречала. Прилетев в Красноярск на следующий день, я застал Виктора Петровича в пугающе возбужденном состоянии: мгновенная реакция властей сильно встревожила – на выходе новая книга, не отразилось бы. Только что ему привезли несколько пачек сборника «Затеси» – с огромными цензурными купюрами, со скрипом вышел. И все же – праздник: автор щедро дарил надписанную книжку каждому пришедшему, нашим общим московским знакомым передал с оказией полтора десятка экземпляров (для красноярского издательства стотысячный тираж огромен, а до столицы книжка почти не дойдёт).

Академгородок – дальний микрорайон на отшибе Красноярска, дом писателя – крайний в городке, в сотне метров от Енисея – пятиэтажная блочная коробка без лифта. Последний этаж, обычная тесная квартира с типовой планировкой. За окном – унылый зимний пейзаж: серая ледяная река, заснеженная даль (в хорошую погоду, уверял Астафьев, видно его родную деревню Овсянку).

Уйма народу, буйное застолье, мат столбом и дым коромыслом – жена Марья Семеновна на неделю уехала к дочери в Вологду, покой писателя охранять некому. Кроме хозяина, других литераторов (заезжий журналист не в счёт) за столом не было: страшный одорукий инвалид (в детстве удумал разобрать гранату), два хмурых рыбака, охотовед с Алтая, несколько бородатых соседей-итеэровцев. Все бурно выражали своё отношение к устроенной обкомом обструкции. Пафос незамысловат: плюнь, Петрович, без их пайков проживёшь, мы тебя голодным не оставим... Доказательство уже было явлено – в углу комнаты, накрытое влажной марлей, ведро красной икры, а на балконе, полутораметровым заиндевелым бревном, та самая «царь-рыба»...

Сам Астафьев говорил мало, и то будто лишь для того, чтобы направить разговор в иное русло. Крепких слов почти не употреблял, только когда взялся читать вслух самиздатский сборник матерных частушек («Это мне друг Коля Старшинов, поэт московский, прислал – много лет собирает»).

Читал с выражением, иногда смеясь заранее, особенно удачные – перечитывал, смакуя в отдельности каждую строку: крепко сколочено! И вдруг, без перехода, отложив самодельную тетрадку, сказал: «Я вам лучше другие стихи почитаю». И продекламировал – по памяти – сонет Петрарки, вконец добив гостей: «Ну, Петрович, ты даёшь!..»

Так продолжалось двое суток: кто-то уходил, появлялись другие (без звонка – телефон, кажется, вовсе был выключен). Когда Виктор Петрович уставал – шел в свой кабинет, спал несколько часов, потом так же неожиданно возникал, садился во главе стола, и все начиналось сызнова. Я с ужасом понимал, что командировочное задание – сделать с Астафьевым интервью – горит синим пламенем. Он успокаивал: да успеем, поговорим, только лучше бы без диктофона.

Несколько раз уединялись в кабинете, но работать все равно не получалось. На столе у Виктора Петровича лежали несколько АРДИСовских книг Набокова («Это мне артисты из Москвы привезли, просвещают. Мощный писатель, а у нас его никто не знает. Только про «Лолиту» и слышали, что там старый мужик с молоденькой сикухой милуется»). Сетовал на слепоту: «Долго читать не могу – один глаз совсем не видит, а другой устаёт быстро».

У себя в Красноярске оторванности от столичной жизни-суеты, в которой вовсе и не нуждался, Астафьев не испытывал. На стене висел зарубежный киноплакат запрещённого у нас тогда фильма Элема Климова «Агония» – его любимый актёр Петренко недавно приезжал. И о гостившей незадолго до того Нонне Мордюковой говорил много и хорошо – потому что *с в о я*, без всяких интеллигентских штучек – настоящая *ба ба*: и водки стакан опрокинет, и русскую песню споёт. Определения «баба» и «мужик» в устах Астафьева имели превосходную степень: Ульянов – свой мужик, а вот Табаков – хитрожопый, совсем не так прост, каким хочет казаться...

На третий день, когда и у тебя, молодого, голова шла кругом, Астафьев наконец-то шумную компанию спровадил. Распахнув, несмотря на мороз, все окна, отправились прогуляться по городку. Вышли на берег Енисея, постояли с разговором, пока не прогнал колючий злой ветер. Подняв воротник дублёнки, Виктор Петрович предложил:

– Давай к Зорьке Яхнину на чаёк заглянем, он рядом живет. Погреемся. Только вот что, ты при нём евреев не ругай, ладно?

– Вы слышали, чтобы я их ругал?

– А ты что, хорошо к ним относишься?

Сказал, что у меня в записной книжке таковых – фифти-фифти, и на кого могу положиться – это ещё посмотреть. Тут же напомнил Астафьеву двух «военных» писателей, которых он хорошо знал: и кто из них лучше, как человек?

– Сравнил тоже! – фыркнул Виктор Петрович. – Гриша святой, а Юрка порядочная сволочь, даже Гришу в свое время продал за здорово живёшь, глазом не моргнул.

– А у кого из них анкета на «пятый пункт» хромает?

Астафьев обезоруживающе отмахнулся:

– Гриша Бакланов такой хороший, что даже... не еврей.

С таким же простодушием Астафьев ответил и на письмо Натана Эйдельмана – попался, как пацан на яблоках, никак не связав автора с известным историком-романистом (книг которого тогда и не читал, кажется), а тот не преминул их переписку обнародовать, и сумбурная эта пикировка в середине восьмидесятых многочисленными копиями ходила по рукам, не делая чести обоим.

В своём восприятии истории и литературы Астафьев был сродни Виктору Шкловскому: у обоих образный ряд преобладал над фактологическим. Когда я печатал интервью со Шкловским, отдел проверки на три дня выпал в осадок, отыскивая цитату Достоевского, который-де написал, что стоя на эшафоте думал о Дон-Кихоте. И с Виктором Петровичем намучился: прислал он в редакцию предисловие к однотомнику скромного писателя конца XIX века, о котором сочинил, что за его гробом шли все выдающиеся классики: Чехов, Некрасов, Достоевский, Толстой... То есть образно они, может быть, и шли бы, только до того печального дня физически дожил один обитатель Ясной Поляны, но в его обширной библиотеке ни одной книжки сибирского автора не замечено. Во избежание неприятностей, в моей редакции сей пассаж из астафьевского текста тихо изъяли. А вот в провинциальном книжном издательстве, где каждое слово Астафьева принимали на веру, предисловие вышло без купюр, пришлось бедным коллегам отбиваться от вопросов дотошных читателей, которым ничтоже сумняшеся они отвечали, что в той панихиде участвовали... дети упомянутых классиков. Астафьев реагировал бурно: «Мало ли, что писатель в запале сочинит! А вы, в редакциях, за что деньги получаете? Проверяйте, правьте... Откуда, ядрена мать, у чахоточника Некрасова дети взялись? А мне теперь краснеть!..»

На Астафьева часто обижались. Когда вышел рассказ «Ловля пескарей в Грузии», грузины восприняли его как кровное оскорбление. Следуя их логике, русский читатель за астафьевскую повесть «Печальный детектив» вообще должен был подать на писателя в суд – такой жесткой правды об одичании советской России редко кто говорил нам в лицо. Но Астафьев умел быть столь целомудренным, что никакая брань на восток не вылетела. Его художественную эстетику в конце прошлого века старательно делали эталонной – по астафьевскому счёту, скажем, нашумевшие книги Сорочкина – вне Литературы. При этом сам Астафьев умел ценить чужое – не очень жалуя фантастику и юмор, первым поддержал молодого красноярского писателя Михаила Успенского, хотя его ироничную прозу воспринимал с трудом.

После книги «Прокляты и убиты» на Астафьева обиделись фронтовики. Я тогда работал в перестроечном «Огоньке», и первое, что сказал Виктор Петрович при очередной встрече:

– Здорово достаётся вам за очернительство? Тяжело это выдерживать, я на своей шкуре испытал, знаю.

И просил передавать привет Коротичу, что вполне могло показаться ренегатством: многим тогда Астафьев виделся человеком «по другую сторону баррикад».

Вопрос «с кем вы?» в то время был далеко не праздным – писатели-«заединщики» очень надеялись если не сделать Астафьева своим знаменем, то хотя бы видеть его в своих воинственных рядах. И ты всякий раз со страхом – неужели? – смотрел, как Астафьев выступал в компании с беловыми-прохановыми-куняевыми. А Виктор Петрович и тут умудрялся стоять особняком – не опускался до мрачной перебранки, отделялся шуткой:

– Меня вот спрашивают: как жить дальше? Да если бы я знал ответ на этот вопрос, так с утра до ночи сидел бы и писал о том страницу за страницей, а на все свои гонорары нанял бы вертолёт, и жена моя Марья свет Семёновна летала бы на нём над Россией и, как листовки революционные, эти страницы по стране разбрасывала...

В последние годы Астафьев всё чаще укрывался в Овсянке – только там ему жилось-работалось спокойно. И, как Толстой в Ясную Поляну, притягивал в свою деревеньку на Енисее многих, вплоть до первого президента России: факт, что Ельцину этот визит организовали его пиарщики, вполне знаменателен.

В Овсянке Астафьев и упокоился в конце осени 2001 года – на берегу реки, которую славил всю свою жизнь.

Левша по имени Боба (Борис Жутовский)



Солидности Жутовский лишён напрочь: на восьмом десятке, а всё Боба – первому встречному-поперечному так представляется. Будто остался в том пацанском времени, где его друзья – совсем седые сегодня или уже ушедшие – по-прежнему Тоник, Вовка, Мика, Дезик, Ньюма... Это для нас они – звезды отечественной культуры: Натан Эйдельман, Владимир Корнилов, Микаэл Таривердиев, Давид Самойлов, Наум Коржавин... А для Жутовского – соседи по московским дворам, сотрапезники в кухонных беседах, случалось – и «молочные братья» по любовным похождениям. Поколение их было такое: дети двадцатого съезда. Когда остались позади война и сталинская холодрыга, и вдруг потеплело, и с высокой трибуны сказали им *п р а в д у* (не всю и не полную, но – *с к а з а л и*), и приоткрыли перед ними двери, войти в которые они никогда не надеялись, это поколение вдруг как бы получило аттестат зрелости.

К тому историческому моменту Б.Ж. занимался в белютинской студии, где собрались молодые художники, объединенные общим паролем «неформалы»: экспериментировали, играли с цветом и разными материалами –

от гвоздей до мыла и губки, превыше всего ценя несхожесть друг с другом и столпами социалистического реализма. Б.Ж. увлекала игра с красками и лаком: разливал причудливые узоры по золотым и серебряным полям, упиваясь самим процессом естественной трансформации изображения. Искренне объяснял непонятливым, что его «Лаки» – возможность зафиксировать движение природы. Для тех же, кто считал себя вправе диктовать и регламентировать, что и как *надо*, подобные штучки были чуждым народу буржуазным явлением, абстракцией, от одного вида которой наизнанку выворачивало на знаменитой выставке в Манеже членов Политбюро.

Для Б.Ж., по его словам, Манеж стал векселем – на имя, качество, самостоятельность, который он честно оплатил. Ему после той разборки тоже порядком досталось. На Хрущева за несправедливую хулу обиды не держит. Ну да, топал ногами, обзывал «пидарасами» и сулил показать кузькину мать – интеллигентам, которых в нашей стране всегда ни в грош не ставили. Но при этом освободил народ из лагерей, забил осиновый кол в могилу усатого, начал строить свои «хрущобы», которые после подвалов казались хоромами, и впервые раздал колхозникам паспорта... За это и поблагодарил Б.Ж. Никиту Сергеича лично, когда вдруг представилась возможность побывать у бывшего генсека в гостях в его последний день рождения. Но отношение к нему всё равно осталось сложное, потому и надгробие на Новодевичьем, которое Жутовский сделал вместе с Эрнстом Неизвестным, получилось двухцветным – половина чёрного мрамора на половину белого.

В брежневские семидесятые, когда скулы сводило от новостей типа «всё о Нём и немного о погоде» и, казалось, в темноте просвета не видно, вариантов выбора оставалось немного. Те, кто активно не принимал державного маразма, пополнили ряды диссидентов. Иные отстранились и предпочли уехать, либо были насильно вытолкнуты из страны: хочешь поклевать и почирикать – лети отсюда на здоровье. Многие, кто остался, легли на дно («как подводная лодка, чтоб не смогли запеленговать», по Высоцкому) или нацепили гаерские маски – косить под шута (шутена) стало общей модой. Те времена у Б.Ж. отмечены офортом «Манифест болбесистов» (через «о» – с балбесами роднит лишь созвучие): шаржированные портреты любимых друзей – Натан Эйдельман, Сергей Ермолинский, Даниил Данин и сам Б.Ж. – в окружении девичьих грудок и попок, игриво увязших в эпохальных строках Манифеста: «В любви болбесистов нет возрастов», «Болбесист болбесисту друг, товарищ и болбес», «Общегосударственная болбесизация для болбесизма – гибель!»...

Б.Ж. тогда работал «в стол» – складывал штабелями изрисованные листы до лучших времён. Зарабатывал на хлеб (иногда с маслом), оформляя книги, обожая это занятие еще и потому, что «читать для болбесиста наслаждительно». Гора оформленных Жутовским в те годы книг – Хеопсова пирамида Безвременья. А для Времени Б.Ж. начал цикл портретов «Последние люди империи» (идею портретной галереи современников подарил Борис Слуцкий, название цикла – Фазиль Искандер, чьи лица были запечатле-

ны Б.Ж. одними из первых). Сегодня число портретов перевалило за две сотни: Пётр Капица и Аркадий Райкин, Виктор Шкловский и Владимир Войнович, Андрей Сахаров и Альфред Шнитке, Булат Окуджава и Андрей Синявский... Последние – первые в рядах интеллигентской элиты страны: ландшафты лиц, лбы сократовской лепки, глаза, одушевленные Верой, – люди, коим судьба уготовила взлёт и расцвет в одной из самых жестоких империй, рассчитанных на тысячелетия и не дотянувших до средне-статистической продолжительности одной человеческой жизни...



*Мгновенные рисунки,
которыми Б.Ж.
иллюстрирует каждый
день своей жизни,
сосчитать невозможно*

В безвременье жили дружбой и благодаря дружбе выживали – буквально. Когда после аварии Жутовский очнулся в симферопольской больнице, в гипсе от пяток до макушки, ещё не осознав, что выжил только чудом, и ещё не зная, удастся ли сохранить расколотую на пять кусков ногу, – первое, что он увидел, – лицо друга Володи Кассиля, врача-реаниматолога, вышедшего многих разбившихся летчиков, который и сердцу Бобы не даст остановиться, а потом, едва тот будет транспортабельным, прилёт за ним военный бомбардировщик. Потом на Жутовского навалится другая боль, многократно повторённая одним и тем же шоковым видением, как тщётно ждали машину скорой помощи, и не дождались, и тряслись тридцать кэмэ в набитом пионерами автобусе, а Боба держал на коленях окровавленную голову жены и, сам между жизнью и смертью, даже не заметил, как Люся перестала дышать. Тогда опять рядом будут друзья, собратя по цеху – Гороховский, Кабаков, Пивоваров, Неизвестный, Волович, и они, чтобы спеленутому Бобе лежать было веселее, разукрасят его гипсовый панцирь под стать Третьяковке. Этот шедевр поп-арта, бережно снятый врачами, пациенту отдали на память, и, будь Б.Ж. попрактичнее,

не сгноил бы художественный ландшафт своего тела за двадцать лет небрежного хранения в гараже, а загнал «инсталляцию» за приличные бабки какой-нибудь новомодной галерее.

Под поэтической формулой Ахматовой: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда», Б.Ж. может подписаться с чистой душой. Из какого «сора» растут его рисунки? Да из любого! Однажды, когда всерьёз не работалось, нарисовал свою правую руку (как все «правошарные» люди, Жутовский – левша) и вдруг понял: может рисовать её, не повторяясь, до бесконечности, что двадцать лет с успехом и делает – в цикле «Ландшафты правой руки» нынче десятки листов. Потом стал рисовать с закрытыми глазами, полагаясь лишь на внутреннее зрение, и его «Слепые рисунки», в работе над которыми рука художника становится как бы самописцем внутреннего состояния, графически абсолютно закончены – Б.Ж. их даже не поправляет, разве что раскрашивает. Так и растут рисунки Жутовского из любого «сора», абсолютно не ведая стыда (во всех смыслах) – их откровенная эротичность завораживает: влажной вульвой распускается алая роза на обложке книги «Гостевая виза», а ландшафты руки и ландшафты тела перетекают один в другой – не сразу и разберёшь, где фрагмент ладони Мастера, а где – потайная ложбинка на теле натурщицы...

Сегодня у Б.Ж., можно сказать, всё в порядке: и работается свободно, и выставляться не проблема – в последние годы едва закрывалась одна выставка, как открывалась другая. А живёт нелегко, как все. Хорошо, сохранил квартиру матери, которую можно сдавать, – без этих денег пришлось бы совсем голодно. И житейские драмы Жутовского не миновали: прозевали внука, подсевшего на героин, и у Люсиной дочери сдали нервы – надорвалась Ирка, жестоко распорядилась своей жизнью...

Хотя Жутовский ещё и косит под прежнего Бобу, время даёт о себе знать. Редуют ряды друзей, остающихся живыми в памяти благодарных потомков и на портретах Б.Ж. Год от года труднее становится ему выбиратья с друзьями в паводок на байдарках. Ген авантюризма у Жутовского в крови – Бобе шести лет не исполнилось, когда погиб в авиакатастрофе отец – в арктической экспедиции, посланной на поиски пропавшего лётчика Леваневского. И хотя Боба остаётся верен юношеским идеалам, путешествие с тремя рублями в кармане (Господи, неужели когда-то это были деньги?!) от Восточных Саян через Среднюю Азию и Кавказ до Москвы – в его байках выглядит почти неправдоподобно. Да и нынешний имидж Б.Ж. определяет иные маршруты: Иерусалим, Гамбург, Брюссель, Амстердам, Катманду... И сбылась детская мечта Бобы: посетив благодатную страну, где детей делают не палка и не палец, Жутовский облетел Эверест и вдоволь накатался на слоне.

Парадоксов друг



**Ностальгическая
эпиталама
Гению
Владимира
Голобородько –
классика литературы
застойных лет,
жертвы Перестройки**

Как бы предисловие

С грустью вынужден констатировать, что нынешнему читателю имя Владимира Голобородько скажет не больше, чем имена Иванова (Анатолия – не поэта-пародиста), Проскурина (Петра – не популярного киноактера) или Николая Задорнова (не путать его с сыном, эстрадным сатириком Михаилом Задорновым). Между тем, в 60-70-е годы XX века в бывшем СССР В.И.Голобородько, как и вышеперечисленные маститые собратья по перу, был одним из самых читаемых и чтимых авторов. Был живым классиком. Доказательства?

К началу 80-х перу Владимира Голобородько принадлежало более 800 (восьмисот!) законченных художественных произведений, по валу с ним не сравнится даже Дюма-отец.

Родив крылатое выражение: «Быть классиком – значит печататься больше, чем писать», сам Голобородько являл ярчайший тому пример: все свои

нетленки, подобно номенклатурным литгенералам, он переиздавал из года в год не один десяток раз кряду громадными тиражами. Но если благодаря этому названия романов Бондарева и Маркова вызубривали зубок даже те, кто их не читал, то произведения Голобородько такого эффекта были лишены, ибо попросту не имели названий.

Голобородько были открыты все издания бывшего Союза ССР – от «пролеткультовских», вроде многотиражки завода «Фрезер» или «Вечёрки», до таких интеллигентских, как «Литгазета», и специализированных, типа «Крокодил». Причем, если другие столпы соцреализма могли рассчитывать лишь на первые страницы или получали «подвал» в середине издания, то Голобородько, как всякий гвоздь номера, непременно придерживали «под занавес».

Гонорарной ставке Голобородько – от 3–5 до 10–15 рублей за одну строчку (в ценах 80-го года) могли позавидовать все ведущие поэты, а прозаикам (даже на уровне секретарей СП СССР Закруткина или Тельпугова) такие расценки просто не снились.

Наконец, если принять за чистую монету утверждение, будто краткость – сестра таланта, и вспомнить, что самые многотон... многотомные писатели-романисты с ростом мастерства неизбежно устремлялись к малым формам – «камушкам на ладони», «мгновениям» или «затесям», то и здесь Голобородько любому классику из классиков даст десять очков вперед – ни одно из его художественных произведений не превышает двух-трех строк! Признание и слава ходили за Голобородько по пятам, и вдруг всё разом кончилось.

Чтобы хоть как-то попытаться понять творческую драму Художника, вспомним несколько фактов его биографии.

Детство. Отрочество. Юность

Владимир Ильич Голобородько родился в 1940 году в Запорожье. Образование получил в трёх высших учебных заведениях, последним из которых (ох уж это имя-отчество – напророчили родители!) была Высшая партийная школа. Очевидно, что в годы, именуемые теперь застойными, его ждала блестящая номенклатурная будущность, однако по какой-то случайности наш классик одновременно с окончанием ВПШ был исключён из рядов КПСС, а в скорости и выдворен из Киева без права проживания на территории Украинской ССР. Так Голобородько оказался в Москве. В то время он уже писал...

Владимир Ильич ГОЛОБОРОДЬКО «ТЕЗИСЫ И АНТИТЕЗИСЫ»

ИСКУССТВО И ЛИТЕРАТУРА

- **Стоял за правду жизни: требовал, чтобы исполнитель роли Тараса Бульбы горел на настающем костре.**
- **Искусство миллионов: все поют лебединую песню.**
 - **Графоман – это настойчивость, трудолюбие плюс бездарность.**
- **Парнас был нужен для того, чтобы воспевать Олимп.**

НАУКА И РЕЛИГИЯ

- **Запрети религию, опиумом станет наука.**
- **Церковники радуются, когда атеисты работают по своим праздникам.**
 - **Любое зачатие непорочно, если рождается хороший человек.**
 - **Остановись, прогресс, ты прекрасен!**
 - **«Не убий, не укради, не лги, не бери взятку...» – выходит, нигде не работать?**
- **Догмы живут потому, что они мертвые.**

ЭТИКА. ЭСТЕТИКА. КУЛЬТУРА

- **Культурный человек никогда не заметит, как другой выругался, плюнул на ближнего или начал его избивать.**
- **Ему так мало платили, что от него требовалась сознательность.**
 - **Руководить – значит сдерживать эти склонности в других.**

Голобородько и Муза

Как и многие другие классики, Голобородько начинал со стихов. Однако высокая требовательность к себе и жалость к читателю не позволили Художнику вынести свою поэзию на суд широкой общественности.

Уже позднее, во время периодической творческой депрессии, которая знакома любому пишущему, Голобородько открыл для себя богатые возможности поэтического перевода, чему в огромной степени способствовала животворная его связь с украинским языком. Несколько лет в минуты душевной невзгоды он самозабвенно работал над переложением одного известного стихотворения К. И. Чуковского и, как уверял, даже напечатал свой перевод на/в Украине. Проверить сей факт не удалось, но в существовании перевода автор этих строк не сомневается, поскольку собственными ушами неоднократно слышал шедевр переводческого искусства в художественной декламации Голобородько и даже запомнил из него две первые строчки:

*Славный лыкарь Айболыт,
Вин пид дэрэвом сыдыт...*

Именно собственная переводческая работа, без всякого сомнения, вызвала к жизни один из ранних Голобородькиных афоризмов: «Бездарное литературное произведение станет лучше, если его талантливо перевести на другой язык». Так открылась новая – магистральная – линия в творчестве Голобородько.

- **Не читай на ходу – столкнешься с жизнью.**
- **Поднимаясь по служебной лестнице, стойте справа. Не мешайте идущим вниз.**
- **У выступающего по бумажке видна дурь не только его, но и того, кто это написал.**
- **Не плачь. Береги слезы для лучших времен.**

ВРЕМЯ. ПРОСТРАНСТВО. ПЕДАГОГИКА

- **Тишина: нет больше демографических взрывов.**
- **Потемкинские деревни – это подарок города селу.**

- **Фиговые листки нужны для того, чтобы люди не трогали статуи.**
- **Увековечивший себя при жизни рискует пережить свои памятники.**
 - **Когда дети достойны своих отцов, нет прогресса.**
- **Ребенок становится лучше, если его порет благородный человек.**
 - **При хорошем кнуте пряники не нужны.**

Голобородько как носитель традиций

Бесспорно, будущие голобородьковеды отметят, что дебют советского афоризмиста совпал по времени с уходом из жизни в 1966 году великого мастера этого жанра Станислава Ежи Леца, вспомнят о близости украинской и польской культур и наверняка кто-нибудь даже напишет что-нибудь вроде: «Как Лермонтов принял выпавшее из рук Пушкина знамя русской поэзии, так и Голобородько не дал упасть штандарту мирового афоризма, став достойным преемником Леца, автора бессмертной фразы «Женщинами не рождаются – ими становятся» и других прозорливых наблюдений...» Всё это ещё будет. От себя хочу сказать лишь то, что чуткий читатель и без наводки заметит: Голобородько никогда ничего не выдумывает – следуя испытанному методу социалистического реализма, он зрит в корень явлений с позиций народности и партийности и всегда называет вещи своим именами.

- **Ценность коррупции в том, что она разъедает старое общество и создает новое.**

БЫТ. ОБЫЧАИ. ПАТРИОТИЗМ

- **Если у вас прекрасное настоящее, то у вас будет прекрасным и прошлое.**
- **Считай, что ты отдал жизнь людям, даже если они этого не желали.**
 - **Все не могут попасть в болото мещанства. У многих не хватит на это средств.**
- **Нужно быть гением, чтобы вещи первой необходимости сделать далекой мечтой.**
 - **Это не пережитки, если их нельзя пережить.**
- **Ничто так не воспитывает патриотизм, как родная земля, случайно запеченная в хлебе.**

Партийность творчества В.И. Голобородько

Творчество В. И. Голобородько глубоко партийно: очевидно, что добрая половина его афоризмов родилась под тихое похрапывание аудитории ВПШ на лекциях по научному коммунизму. Муза Голобородько никогда не дремала, и результат не замедлил сказаться. Такие максимы, как «При открытом окне в Европу сон крепче» и «Чтобы не послали на передовую, в тылу творил чудеса героизма» – итог лекций по истории отечества. Фразы «Если бы не склероз, я бы чаще помнил о своем народе» или «Устами стариков, впавших в детство, глаголет истина» дышат радостью изучения трудов незабвенного товарища Леонида Ильича Брежнева и хороши даже в исторической ретроспекции. И неслабое замечание «Цены растут,

даже когда ничего не растёт», явно вынесенное с семинара по политэкономии социализма, сегодня по-прежнему играет всеми красками. Именно коммунистическая партия и ее виднейшие теоретики подарили Голобородьке не только яркие темы и образы, но и верные, подлинно партийные ориентиры, и именно партия создала ту атмосферу, в коей мастер афоризма черпал своё вдохновение.

Подлинная, а не показушная партийность В.И.Голобородько была высоко оценена его товарищами по рядам – коммунистическая участь нашего Владимира Ильича роднит его по финалу с первым прорабом перестройки и последним генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Сергеевичем. Неисповедимы пути Твои, Господи!

- *Если не будешь раскрывать рта, не будешь и есть.*
 - *Незлопамятен: сделает гадость – и забудет.*
- *Ни в одной революции молодежь не участвовала так активно, как в сексуальной.*

МЕДИЦИНА. ГЕРОНТОЛОГИЯ

- *В старом споре побеждает тот, кто дольше живет.*
 - *Самый лучший аппетит приходит без еды.*
 - *Внутренний страх улетучится, если раскрыть рот.*
- *Когда человек становится ценным капиталом, появляется необходимость держать его под замком.*
 - *Прогресс: вначале был простой стул, потом – электрический.*
 - *Молчание страшно, если за него получаешь гроши.*
 - *Береги чужое сердце. Его могут отдать тебе.*

Голобородько и цензура

Голобородько вполне мог претендовать на звание чемпиона СССР по выкинутым цензорами из редакционных полос произведениям, зачистую уже одобренным редколлегиями.

Уполномоченные «Мособлгорлит», как они именовались в первопрестольной, до мотивации купюр не снисходили, и лишь однажды мне в бытность редактором удалось услышать от нашего цензора нечто похожее на объяснение. Когда он сам позвонил в отдел литературы и, как бы между прочим, уведомил, что выкинул из полосы голобородькину фразу: «Пржевальский умер, но лошадь его живёт», а редактор начал было изображать непонимание проблемы: ну, лошадь, ну, живёт... – Ещё добавьте: «и побеждает!» – беззлобно буркнул цензор. И бросил трубку.

ГЕОГРАФИЯ. ПУТЕШЕСТВИЯ. ДОРОГИ

- *Чем медленнее идет поезд, тем шире просторы нашей Родины.*
 - *После грозы дышится легко, но недолго.*
- *В природе ничто не исчезает бесследно, а заносится в «Красную книгу».*
 - *При хороших средствах цели не нужны.*
 - *Хорошим матом можно покрыть большое пространство.*
 - *Рожденные ползать! Пользуйтесь услугами Аэрофлота!*

Голобородько как наставник

Голобородько всегда готов был поделиться опытом с другими писателями. Раз в писательском еженедельнике Владимиру Ильичу поручили написать несколько десятков мини-рецензий, проще говоря – ответить авторам, приславшим рукописи т. н. «самотёком». Короче, дали заработать: ответ на письмо стоил от 1 рубля (о, покупательная способность ТОГО рубля!) до трех-пяти, и таким образом многие внештатные литераторы кормились десятилетиями.

К ответам-рецензиям (в 99 случаях из 100 – с уведомлением об отказе в публикации) высоких требований не предъявлялось (главное – чтобы по-вежливее) и обычно в редакциях за рецензентами они не перечитывались. Совершенно случайно на глаза мне попала пачка копий Голобородькиных рецензий, когда первые их экземпляры уже были вложены в конверты и ждали отсыла. Рецензия, покоившаяся сверху, поразила лаконичностью: «Уважаемый тов. ..., – писал Голобородько. – Поздравляем Вас! – Вы законченный графоман и Вашу ахинею никто нигде никогда печатать не будет. Желаем Вам дальнейших творческих успехов!»

Фамилия адресата была знакома: автор нескольких десятков книг прозы, один из старейших прозаиков российской глубинки и секретарь областной писательской организации, он вдобавок ко всему был землей нашего главного редактора и большим другом газеты. Холодный пот прошиб, как представил лицо этого писателя, получи он по почте такую цидулю. В ужасе перелистнул – вторая дословно повторяла предыдущую. И пятая, и двадцатая... – все 50 были написаны Голобородькой под копируку, только фамилии и менялись. Почту вовремя удалось перехватить, рецензии Голобородько и все их копии спешно уничтожили, а самому Владимиру Ильичу пришлось в приработке отказать. К чему он отнёсся философски, сказав:

– Когда денег нет, они начинают пахнуть.

ЖИВОТНОВОДСТВО. ТРУД. ДИСЦИПЛИНА

- **Знал ли козел отпущения, что станет предком мальчика для битья?**
- **Волк, чтобы съесть овцу, должен с нею сблизиться.**
- **«Национальность, партийность и вероисповедание для меня не имеют значения», – говорил людоед.**
- **Чем лучше мы заботимся о животных, тем они вкуснее.**
 - **У работающей коровы молока не спрашивай.**
 - **Если бы не труд, был бы рыбки полон пруд.**
- **Происходит постепенное стирание граней между умственным и физическим бездельем.**
- **Чем ленивее человек, тем больше его труд похож на подвиг.**
 - **Очередь станет короче, если теснее сплотить ряды.**
 - **Молчание – золото. Так они вдвоем и дорожают.**
 - **Исчезнут очереди – начнется хаос.**
- **Производительность сизифова труда увеличится, если его механизировать и автоматизировать.**

Голобородько – мастер художественного слова

Как всякий подлинный мастер, Голобородько тщательно работал над словом, добиваясь предельной лаконичности и точности формулировки. Вспоминаю, как неторопко и вдумчиво оттачивал он свою крылатую фразу: «Прошёл славный путь от спермы до маршала». Услышав от редактора об-

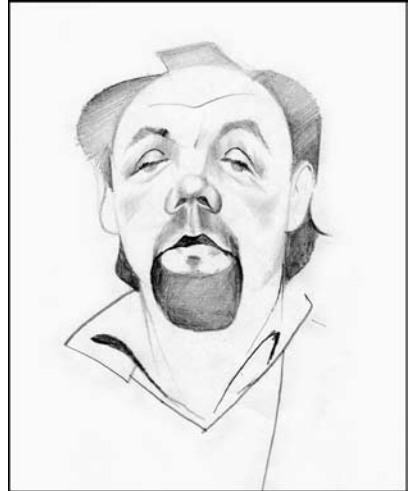


Рисунок В. Лосева

текаемый ответ, что столь незрелую вещицу он и предлагать редколлегии не станет, Голобородько уже через месяц принёс новый вариант – заменил маршала на фельдмаршала, уверяя, что такого воинского звания в СССР нет, а значит – никто не обидится. И только после третьей правки, когда Владимир Ильич вместо непроходного слова употребил эквивалент «зародыш», редактор был вынужден признать, что эта фраза доработке до публикабельного вида не подлежала изначально.

Нынче, когда перестройка и гласность дали редакторам право не утруждать себя обоснованием отказов, и само время позволило бывшей советской печати открыто называть экскременты говном, мы рады возможности вернуть читателю бессмертные афоризмы Голобородько в их первоизданном виде.

ИСТОРИЯ. МИРНОЕ ДЕЛО. ВОЕННОЕ ДЕЛО

- *На поворотах истории фланги меняются.*
- *Лишь тогда чувствуешь себя генералом, когда жизнь проходит мимо парадным шагом.*
- *Когда борется зло со злом, одно из них обычно считают добром.*
 - *Утопающий тонет медленнее, если уверен в правоте своего дела.*
- *Атомную бомбу и дурак сделает. Попробуй ее уничтожить!*
 - *За свободу можно бороться лишь там, где она есть.*
- *Демократам всегда не хватает единства, фашистам – разногласий.*
- *Каждодневная ложь теряет свою праздничность.*

Голобородько как критик и литературовед

Очевидно, что всякий подлинный дар перво-наперво оригинален. Во всём, за что бы Голобородько ни брался, он был непредсказуем и парадоксален. Так, сколочивая дома стеллаж для книг, Владимир Ильич вбил в самую середину абсолютную кривую, коромыслом выгнутую неструганную доску, заверяя ошарашенных видом стеллажа гостей, что такой изгиб позволяет ставить на полку книги разной высоты.

Аналогично поступал он и в литературных спорах. В памяти автора этих строк навсегда запечатлелись две гипотезы Голобородько, высказанные им в беседах со специалистами. В одном случае разговор шел о литпамятнике древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» – о поэтической организации текста, и Голобородько объяснил всем собравшимся, что «Слово» – перевод с украинского: «Це ж Чэрниговское писание...»

В другой раз, когда заговорили о Пушкине, «Истории пугачевского бунта» и Третьем отделении, Голобородько выдвинул вполне революционную идею: Пушкин-де отправился в Оренбургские степи по заданию Бенкендорфа, дабы осуществлять негласный надзор за Тарасом Григорьевичем Шевченко...

Обе версии, бесспорно, стоили отдельного разговора, но в первом случае специалист по древнерусской литературе ошарашенно ретировался, а в другом – славившийся невозмутимостью пушкинист запустил в Голобородько подвернувшейся под руку пепельницей, и спор на сей предмет тотчас стал беспредметным.

КРИТИКА И САМОКРИТИКА. ВРЕМЕНА И ПРАВЫ

- Женщины обычно критикуют снизу.
 - Обогнал мечту? Теперь жди ее!
- Женщин лучше освободить сверху, чем дожидаться освобождения снизу.
 - Если женщина не верит – значит мыслит.
 - Женщине, снявшей паранджу, легче раздеться.
 - Береги честь смолоду, а то в старости не до нее.
 - Мечта рабов – сытое бесправие.

Голобородько и голубой экран

Владимира Ильича несколько раз записывали для передачи «Вокруг смеха», но в эфир он так ни разу не попал – то ли телевизионщиков смущало его имя-отчество, усугубляемое окарикатуренным портретным сходством Голобородько с вождём мирового пролетариата, то ли другие какие контрдоводы помешали – теперь уже и не узнаешь. Так Голобородько и не порадовал телезрителей своими афоризмами и сам не порадовался, ведь он точно подметил: «Телевизор обычно отражает радость людей, попавших на экран».

- Прогресс: был один деспот, потом его заменили коллегией.
 - Чем страшнее тюрьмы, тем лучше из них музеи.
- Тюрьма не станет демократичнее, если ее наполнить демократами.
- Делил людей на заключенных, подсудимых и в настоящий момент находящихся на свободе.
 - Народ был спасен от медленного вымирания – его истребили.

- **Интеллекту нечего, а может он обрести цепи.**
- **Быть цензором – значит отсеивать разумное, доброе, вечное...**
 - **Когда любишь родину, власть не имеет большого значения.**
 - **Гибкая политика не может быть прямой.**

Голобородько и издательский процесс

Как читатель уже наверняка догадался, отношения нашего героя с издательствами складывались сложно. Печатать-то Голобородькины размышлизмы печатали (почти все восемь сотен его шедевров украсили поврозь страницы периодических изданий), однако собрать их воедино, во всей полноте в отдельном томике – так и не удалось. А какой бы получился томик! – увесистый

(в 800 страниц), с великолепной мелованной бумагой (неприменно мелованной, как у всяких других классиков!), прекрасный в своей лаконичности (на каждой полноформатной странице – отдельное законченное произведение!)... Голобородько даже название ему придумал – «Тезисы и антитезисы». И, как всякое академическое издание, снабдил книгу эпиграфами – крылатыми изречениями литератора В. И. Ульянова (Ленина) и философа Сковороды. И разбил книгу на циклы: Геронтология, Разоружение, Любовь... Почему эта книга так и не вышла в свет – предлагаем читателю догадаться самому.

РАЗНОЕ

- **Любой государственный орган отомрет, если перестанет работать.**
 - **Если на жену смотреть как на человека, то кто же рожать будет?**
 - **Служить был рад, прислуживаться – тоже.**
 - **Чем ты беднее, тем меньше твой долг перед родиной.**
 - **Выпивка без торжественной части теряет свое воспитательное значение.**
 - **«Плевал я с высоты своей мании величия на твою манию преследования!»**
 - **Если негде жить, живи в сердцах людей.**
 - **Сейте разумное, доброе, вечное: клубнику, гречиху, морковь!..**

Голобородько как зеркало

Голобородько всегда был полным...

P.S. На этом месте Автор наступил на горло собственной песне и выронил из рук борзое перо, ответственно осознав, что его, Автора, повело не в те дебри. Поскольку все сведения о нашем герое устарели – с начала Перестройки про Владимира Ильича Голобородько никто ничего не слышал: пропало его имя со страниц периодики, исчез он из своего московского дома (по прежнему номеру его телефона отвечают, что таковой здесь больше не живет). Поговаривали, что уехал Голобородько в свою ридну Украину, но и оттуда ни слуху, ни духу. В Союзах писателей о нём тоже ничего не знают (и прежде знать не хотели – лично С.В.Михалков с высокой трибуны некогда заявил, что так называемых «авторов фраз» ноги не будет в писательском братстве). Остались только бессмертные афоризмы В.И. Голобородько, которые сохранила наша благодарная память, и давайте просто воздадим должное Мастеру самого уникального жанра, своим беззаветным тру-

Не меценаты мы, не спонсоры...



*Андрей Чернов,
Владимир
Вигилянский,
Олеся
Николаева,
Александр
Сёмочкин.
Рождествено,
1981*

Заранее предупреждаю: насчёт современного меценатства и спонсорства – у автора полный компот в голове.

Меценаты? С детских поездок на дачу – пробег электрички мимо станции «Мамонтовская» Ярославской ж.д., и дальше – в Абрамцево, где мамонтовский (бывший аксаковский) деревянный особняк над цветущим прудом: изразцовая печка-лежанка Врубеля, автографы на скатерти, расшитой Верушей Мамонтовой, и сама она тут же – серовская «Девочка с персиками», а за домом, чуть дальше по аллее, – церковь, построенная по васнецовским эскизам и расписанная многими великими русскими художниками, наезжавшими сюда многие лета... Всё понятно, потому как образно и конкретно: литераторы, художники, артисты гостили здесь у богача-эстета на полном пансионе, а за постой и дружбу даровали хлебосольному хозяину свои творческие успехи. С любой стороны – пример, достойный подражания. В это же время другой не менее колоритный персонаж, мануфактурный король Морозов: строит МХТ, Ленина со товарищи деньгами на революцию снабжает, – тоже образец высокой щедрости (правда, омрачённый самоубийством «солнечного Саввы», как бы напоминающим: дорога меценатов не только лепестками роз устлана). Еще был состоятельный чудик по фамилии Щукин – спасибо ему за лучшую в мире коллекцию французских импрессионистов...

С благодарной памятью к тем именам и моё поколение выросло. У нас тогда царил ЦК КПСС – он тебе и меценат, и кормилец, и главный творческий возбудитель – в одном коллективно-безликом лице. Другие живые примеры надо было поискать: в стране равно нищенских финансовых возможностей меценатов заменили... – как бишь их? – подвижники-бессребреники. С несколькими даже был знаком.

Гатчинский архитектор Александр Сёмочкин вдруг презрел номенклатурную карьеру, переквалифицировался в плотники, сколотил крошечную строительную артель. И на своей малой родине Выре, что под Ленинградом-городом, он, в свободное от основной работы время, в крайнюю нужду загнав собственную жену с тремя чадами, двадцать лет по архивным чертежам и собственной генетической памяти возрождал из небытия старинное подворье – Дом станционного смотрителя. Фанатизмом одного человека создавался уникальный музей (музей литературного персонажа – пушкинского Самсона Вырина), а когда он уже начинал оформляться, местные жители одушевили его музейную экспозицию – понесли Сёмочкину всё, что что смог найти на своих чердаках и в чуланах: стол петровской эпохи, дорожные сундуки, каретный фонарь... Правление колхоза вдруг своей непричастности устыдилось, воспыало меценатством – помогло тёсом, брусом, кровельным железом. Как только музей был готов, и Министерство культуры решило не оставаться в стороне: даровало детищу Сёмочкина статус памятника архитектуры, навесило на фасад доску «Музей народного быта XIX века», включило остановку на Выре в платный экскурсионный маршрут, а в самом домике станционного смотрителя водрузили кассиршу-билетёршу...

Как у нас водится, Сёмочкина при раздаче коврижек забыли, ну да он, в силу русского незлобивого характера, не шибко огорчился. Потому как вниманием обделён не был: потянулись к нему, в его дом-теремок на берегу Оредежа, славные люди – без разборок, «левый» или «правый», эстет или почвенник, – историк Натан Эйдельман и литературный критик Валентин Курбатов, Дмитрий Покровский со своим ансамблем русской народной музыки и писатель-маринист Виктор Конецкий, режиссёр Владислав Виноградов, молодые поэты, философы, священники... Приехать к Сёмочкину – значило ощутить неимоверный сгусток энергетический: пушкинскую Выру, рылеевское Батово, набоковское Рождествено. Всю юность свою и потом ещё двадцать лет мы с друзьями у этого душевного комелька отогревались.

В 90-е годы Ксан Ксаныч без работы не остался: по недогляду сгорел унаследованный Набоковым рукавишниковский роскошный дом (последний деревянный ампир в Ленинградской области), и пришлось нашему Левше опять засучить рукава – еле-еле успел к 100-летию великого писателя управиться: отстроил, хотя бы вчерне. По телевизору даже благостный сюжет показали: два «спонсора-мецената» из местной администрации, сияя гладкими обкомовскими физиями, вылезли на экран – рапортовали: вот, навалюсь всем миром, да с Божьей помощью... Трогательно посетовали: денежек в казне кот наплакал, однако на святое дело – напряглись, наскребли по сусекам... Источник изысканных средств остался за кадром,

но и так ясно, что «сусеки» с личными карманами «меценатов» не ассоциируются. Да и откуда у них, служивых, личные «подкожные»? – разве что у крестьян, учителей, шахтёров... Чиновники говорили слова на фоне мемориального дома, и за их спинами сновали мелким планом строители – наверняка и Сёмочкин был среди них, да я не разглядел: они, мужики в телогрейках, все на одно лицо...



*Реставратор
Александр Сёмочкин.
Выра, 1982*

Теперь, по идее, нужно из собственной жизни пример привести. Как сейчас помню, на восстановление храма Христа Спасителя – давал (сколько – запамятовал, но вроде бы не жадничал). А вот старому другу своему, поэту Андрею Чернову, который год собирающему милостыню на раскопки древней Ладogi, – полюбился: допёк своим подписным листом, как хор цыганят-погорельцев в электричке, а у меня на гуманитарную агрессию естественная реакция: ступор. Может, и был бы сегодня помягче, не доведись самому походить в неудобной шкуре просителя.

Мы тогда, под новый 91-й год, ушли сплоченной командой из коротичевского «Огонька», флагмана перестройки и проч., – надумали собственный журнал делать. Зарегистрировали свою «Русскую визу» и озадачились поиском издателя (мецената, инвестора, спонсора, не очень-то их, по сути, различая), под крылом которого было бы нам комфортно и денежно. Существовал, правда, ещё один вариант, который с разной степенью успеха отработывали тогда многие наши коллеги: тряхнуть своей мощной, взять ссуду в банке... Эпоха первоначального накопления капитала только-только зарождалась, чем она обернется – ещё никто себе не представлял, все жили красочными фантазиями о будущем. Мы с друзьями, во всяком случае, к финансовому риску готовы не были – изначально ставили себя в положение наемной творческой силы на стабильной

зарплате у хозяина. И он не замедлил появиться – питерский предприниматель Марк Горячев, сделавший бизнес на изготовлении белых роялей, очень ценимых покупателями в понтовой Грузии, и производстве коллекционного хрусталя. Нашу команду Марк расположил к себе косвенным отношением к искусству (бывший музыкант, родственная душа) и трезвым подходом к делу: хотите самолично владеть своей «Русской визой», как интеллектуальным продуктом, – ради Бога, он же регистрирует одноименное коммерческое предприятие – как свою собственность, на которую мы, в свою очередь, не претендуем, и все дальнейшие отношения «редакция – издатель» строятся на жёстких юридических условиях. На том и поладили.

Хозяином Горячев, действительно, оказался жёстким – в том, что касалось бизнеса, с нами, лохами, не церемонился. А тебе всякий раз приходилось искать аргумент, доступный его пониманию. Например, когда в теледайджете «Русская виза» мы с режиссером Валерием Смирновым сделали фильм о драматурге Володине «Так беспокойно на душе...», Горячев мгновенно перепродал его «Лентелефильму». Нашу работу я увидел по телевизору, к вящему удивлению без своей фамилии в титрах, где вдобавок появился пяток людей, не имевших к фильму никакого отношения. Не собираясь вдаваться в тонкости коммерции, позвонил Марку с одним вопросом: что сей финт означает? Сути авторских претензий он вообще не понял: «Ты деньги получил? Значит, свой товар мне продал. А уж как я им дальше распоряжаюсь – мое дело». Пришлось объяснить доходчивее: «То есть, купив хрустальную вазу «от Горячева», могу с ней делать всё, что мне в голову взбредет? Например, перемаркирую клейма твоего заводика, продам как свою...» – «Э нет! Молотком разбить – твоё право, а попробуешь перепродать, как свою, – по суду ответишь!» – «Но ведь ты моё авторство в фильме «перемаркировал» и продал...» Марк помолчал, потом повесил трубку (чужую правоту он признавать не любил, и за то, что моя фамилия со временем в титры вернулась, – спасибо не Горячеву, а нашему режиссёру).

Был ли Марк Горячев добродетелем? По широте натуры – очевидно: издавал наш неприбыльный журнал, возил «машиниста» Макаревича по местам боевой славы ансамбля «Битлз», оплатил «Московским новостям» пятнадцать тысяч бесплатных подписок для малоимущих читателей еженедельника, а ведь мог вложить деньги во что-нибудь более практичное, сулящее хотя бы частичную отдачу.

Имел ли Марк свой интерес? Не без этого, конечно. Английская поездка с Макаревичем превратилась в бойкий саморекламный ролик, активно поработавший в кампании по выборам в Государственную Думу. Портрет Марка Леонидовича в белоснежных, под стать его роялям, одеждах время от времени появлялся на страницах нашего журнала, а тираж одного номера Горячев целиком раздал на встрече с избирателями, и в результате получил-таки необходимые ему для победы тридцать тысяч голосов. Да и концерт «МН» отблагодарил питерского спонсора дармовой «представительской» квартирой на Пушкинской площади. Так что Марк Горячев вовсе не был филантропом, тогда как меценатство все-таки подразумевает бес-

корыстие. Кучу денег – своих, кровных – Марк с лёгкостью пускал на ветер, а все его капиталы были – навар с огромной финансовой пирамиды, которую наш издатель с вызывающей откровенностью строил несколько лет, гася старые займы новыми. Когда же пирамида Горячева в одночасье рухнула, Марк попросту исчез, и версии насчёт его судьбы бытуют разные: то ли покоится с камнем на шее в тихом омуте, то ли благополучно живёт-поживает (на что я искренне надеюсь) в какой-нибудь тёплой небедной стране.

Расчёт на доброе слово потомков – тоже не наш случай. Про кинутых Горячевым партнёров просто промолчим. Тогдашний главный редактор «МН» Лошак, некогда с умилением смотревший на Горячева, как на удистую корову, мигом оказался забывчив – вытер о Марка ноги в своей честной газете.

Уподобляться Лошаку не стану – всегда помню, что у самого рыльце в пушку: на голубом глазу регулярно расписывался в зарплатной ведомости горячевского концерна, не обременяя себя лишними вопросами. Или просто надеюсь, что почивший в бозе журнал «Русская виза» зачтётся – и нам, грешным, и Марку Леонидовичу – как деяние светлое? Что ни говори, а порывы-то были прекрасны!..

Может, иллюстрации к нашему разговору в газетах поищем? Там призывов к меценатам-спонсорам пруд пруди: все у нас сегодня на них, в избытке владеющих «капустой», уповают. (Объявления типа «Совершеннолетняя блондинка 90 x 60 x 90 бережёт себя для надёжного спонсора» пропустим, как неоригинальные.) Патриоты-добровольцы ищут деньги на поездку в Югославию (политики их в окопы позвали, а дорогу на фронт оплатить забыли), московские иудеи изыскивают средства на ремонт синагоги, смоленский «кулибин» Ершов не может без финансовой поддержки воплотить в жизнь свои оригинальные изобретения... Некоторые алкающие – находят. Вот «Бритиш Петролеум» оплатил расходы по благоустройству Ботанического сада на проспекте Мира, доктор Левандовский от имени своих парализованных стариков благодарит зарубежных благодетелей за подаренные его богадельне цветные телевизоры... Увы, у нашей благотворительности – зарубежный лик. Чаще всего – лицо господина, чья палиндромная фамилия бесконечна, как вознесенские видеомы, с дуплетным значком доллара внутри, — СОРОС-СОРО**SOROS**СОРОС... Может, даруем нашему благодетелю российское гражданство, не дожидаясь, покуда свои доморощенные соросы объявятся? Пока их не очень-то видно, а если и возникают – лучше бы рта не раскрывали. Говорят красиво – страстно декларируют отказ от иностранных подачек, к гордости великороссов зывают. Ты уже уши развесил (ну, слава Богу, пришёл наконец новый Мамонтов-Щукин-Морозов!), а он тебе: «Наш народ – вот главный инвестор и спонсор, способный поднять страну своим трудом, своими кровными сбережениями!..» И то верно – говорят, у народа нашего миллиарды долларов без движения в кубышках томятся...

Чтоб вы так жили, господа хорошие!

...и помнИлась им Свобода



*Привстав на цыпочки,
долго не прстоишь.
Конфуций*

*Но какая цель была
редакции этого журнала,
какую задачу
предположила
она решить?
Николай Гоголь*

*Мыслят с в о б о д н о,
когда уже ничего,
никакой цели
не остаётся.
Андрей Платонов*

За три дня до нового 1991 года на общем собрании редакции журнала «Огонёк» (скучились всем коллективом, чтобы услышать праздничные поздравления Коротича) двенадцать «раскольников» положили на стол главного капитана-редактора «флагмана перестройки и гласности» незаполненные бланки контрактов, по которым должны были работать с 1-го января. Как того ни хотели, получилось довольно картинно: в гробовой тишине, нарушаемой только подсевшим голосом Виталия Алексеевича: «Ну, давайте, кто ещё?... пять... восемь... десять...» – гуськом шли к дверям, под осуждающими взглядами коллег, отныне ставших для нас бывшими. В тот предновогодний вечер мы навсегда попрощались с журналом, которому каждый из нас, как ни высокопарно это звучит, отдал несколько лет своей жизни, и, исполненные надежды и веры, пустились в самостоятельное плаванье...

На многочисленные назойливые вопросы, почему мы покинули престижный журнал, я за других отвечать не брался, а про себя говорил: за компанию. При этом вовсе не кривил душой – пришёл в редакцию к своим друзьям, с ними и покинул её, как только работа стала в тягость. К тому же исход был предсказан заранее...

Двумя годами раньше, уже написав заявление о переводе из «Литературной России» в «Огонёк», выключил две недели отпуска (знал, что на новом месте пахать придётся основательно, не до отдыха будет), поехал к морю. И в первый же день, в маленькой кофейне на сухумской набережной, старый грек-бармен, чьё питейное заведение я ритуально посещал в каждый свой приезд, вдруг решил предсказать мне грядущее.

Ранним утром, кроме примелькавшегося за несколько лет москвича, посетителей не наблюдалось, бармен сварил гостю черный напиток «за счёт заведения», и сел за мой столик: «Не говори «нет» – скажу, что с тобой вскоре будет». Всегда пользуясь фразой про гаданье на кофейной гуще только иронически и скверно относясь к прорицателям, отказать хозяину не мог – послушно размазывал по блюдечку опивки, водил большим пальцем по внутреннему краю порожней чашки. А грек потел от напряжения, читая одному ему понятные разводы и с трудом подбирая русские слова. Труднее всего он вычислял мою профессию (я заранее предупредил, что наводящие вопросы пропущу мимо ушей и вообще подсказывать ему не стану). «На своей работе много говоришь и пишешь, да? – сказал грек. – Похож на начальника, но – не начальник. Тогда почему много людей твоё слово слышат?.. Контора, в которую ты идёшь работать, – (тут кольнуло: как узнал?) – очень странная. Большая, как завод, но там народа совсем мало – (и ведь точно – завод: полсотни людей гонят продукцию тиражом в пять миллионов экземпляров). – Работаешь ты с друзьями, – продолжал грек, – вас четверо, и все вы равны друг перед другом. А над вами только один человек стоит... – (потом убедился: Коротич с каждым подчинённым держал себя так, будто ты отвечаешь только перед ним лично). – Но есть между вами и старшим двое людей, для которых ты с друзьями – кость в горле. Так два года работать будешь, а потом уйдёшь с друзьями свой завод открывать...»

Остановиться, оглянуться...

Сколько себя помнишь, ты выпускал журналы. Первый сохранился – сложенный четвертушкой тетрадный лист в ученическую клеточку, прошитый по сгибу белыми нитками, с каракулями-поздравлениями маме, тёте и бабушке по случаю Женского дня, усердно разукрашенный аляповатыми картинками. (Лет в шесть сделал, наверное.)

Журналов школьной поры, увы, не осталось. Каждый печатался в пяти экземплярах – воспетая Галичем гэдээровская «Эрика» брала четыре копии, а итальянская пишущая машинка «Оливетти» легко пробивала на один читаемый больше. С фотографиями не возился, слова «ксерокс» не знал – оформлял свой *дайджест иностранной прессы* понятными без слов кар-

тинками из журналов «Шпильки», «Ойленшпигель» и «Пшекруй» (других зарубежных, кроме как из стран Варшавского договора, юмористических изданий у нас тогда не продавали). Простенькие штриховые рисунки продавливал твёрдым карандашом сквозь копиру в заранее оставленные между строк машинописи «окна» – и журнал готов.

Были те журнальчики исключительно культуртрегерские – набивались заметками про «Битлз» и «Роллинг Стоун», новостями про книжки и кино. С политикой хватило ума не связываться – и без неё самопальное тиражирование любого текста попадало тогда под уголовную статью о «сам-издате». Для отмазки – на случай разоблачения – простодушно печатал под заметками название любого советского издания – «Наука и жизнь», «За рубежом» (не ссылаться же на радио «Би-Би-Си» и «Голос Америки»). Смутное ощущение риска придавало игре в журналиста–редактора–издателя необходимый кураж, и душа была чиста – кроме себя, ты никого под удар не ставил. Хотя услугами добровольных помощников пользовался: приятель-музыкант сделал для журнала нотную запись битловской песенки «Mishell», и любимую девушку, имя которой не выдал бы даже под пыткой, однажды задействовал – она училась на курсах стенографии и в качестве тренинга записала с радиоэфира часовую передачу про Шолохова. (То была одна из самых весёлых историй 1966 года: писателю Го Мо Жо не дали Нобелевскую премию, и «Радио Пекина» в отместку раздраконило советского «при-Нобеля» за его рассказ «Судьба человека».) Так и делал журнал, по случаю, – напечатал два десятка страниц, клеивал их по торцу резиновым клеем (держал достаточно крепко и не коробил бумагу) и в течение недели, выбрав удобный момент, когда в классе или гардеробе никого не было, распахивал экземпляры по портфелям и карманам пальто учеников, с которыми не прятельствовал, но считал их достойными такого читива (три девятых класса в новой школе-десятилетке сформировали из учеников разных школ, и мы еще не успели пере-знакомиться). Анонимность автора/издателя тоже была частью игры (как оговоренный в конце номера метод распространения: *прочти и передай другу*), все тщеславные моменты сводились к перспективе увидеть своё детище в руках соучеников. И творческое самолюбие было вполне удовлетворено, когда собственный журнал – основательно потрёпанный, дополнительно скреплённый тетрадными скобками, – сосед по парте дал почитать с условием вернуть номер на следующий день.

Школьному журналу ты обязан первым потрясением – месяца через три директор, вальяжный преподаватель географии со значком «Заслуженный учитель» на лацкане пиджака, отловил тебя в коридоре после уроков, пригласил в свой кабинет. Усадив напротив, разложил на столе все вышедшие номера журнала. Включая самый последний, который начал распространять накануне. Этот аккуратный ряд на зелёном судейском сукне обескуражил без наводящих вопросов – педагогический спокойный тон директора подразумевал, что иначе и быть не могло. Разговор наш протекал без посторонних, и свёлся как бы к разбору сочинения по литературе: директор сказал, что за текст про Шолохова он поставил бы «пятерку», даже обсу-

дил бы его на уроке, благо рассказ «Судьба человека» включён в школьную программу, а вот про музыку ему читать было скучно, он современную какофонию не воспринимает. Впрочем, он человек широких взглядов, но если в роно узнают о таком журнале, то наверняка порекомендуют воспользоваться привычной формой стеной газеты, в редколлегии которой столь активный редактор – указующий жест ладонью в твою сторону – вполне может проявить свои лучшие журналистские качества. И вообще, нажал, не нужно самодеятельности (только тут в голосе директора явственно зазвенел металл), незачем играть в подпольщика-литератора: «Приноси свои заметки сразу мне, будучи твоим первым, как царь-батюшка Александру Сергеевичу... – сделал паузу, пробуя слово на вкус, и не сказал: «цензором» – ...читателем».

Так эпопея с журналом закончилась – всякая охота делать его отпала, зато прелесть воспитательной кары познал сполна: очнулся в стенгазете «Наша школа» художником-оформителем, с обязанностью ещё и лозунги к праздникам писать.

...Ну, да – вислоух был в юные годы... Кое-как окончив школу и надумав учиться в Литературном институте, лишь в последний момент узнал про необходимый двухлетний производственный стаж. Ничтоже сумняшеся, тут же пошел устраиваться на творческую работу. А поскольку из всех советских печатных изданий видел лишь «Литературную газету» да «Огонёк», поблизости от дома, туда и направил резвые стопы. Начальник отдела кадров «ЛГ», полусонно глядя поверх очков, честно признался, что за двадцать лет сидения на этой должности он, кроме уборщиц и курьеров, сам никого в издательство не принял, каким образом набираются творческие сотрудники в «Литгазету» и «Литературную Россию» – ему неизвестно. То же услышал и от кадровиков «правдинского» корпуса, где кроме «Огонька» кучковались ещё полтора десятка разных журналов: никто им не требовался.

Как устраиваются в престижные редакции, узнал гораздо позже, уже перестав с замиранием сердца видеть свою фамилию под опубликованными стихами и рассказами, получив диплом по специальности «литературная работа» и вступив в Союз журналистов. Летом 80-го встретил в ЦДЛ институтского товарища Юру Стефановича (талантливого прозаика, рано умершего), и он, после традиционного вопроса: «как живешь-можешь?» – сказал, что в «Литературной России», в их отделе русской прозы, свободно место литсотрудника. Возможность оказаться в писательской газете прельщала: к тому времени работал в многотиражке часового завода, где вполне приличные финансовые условия (если учишься на вечернем или дорабатываешь предпенсионный стаж) граничили с перспективой дисквалифицироваться за два-три года.

Нынешним молодым журналистам растолковать трудно, что такое ФЗГ (не Федеративная Западная Германия – фабрично-заводская газета), а таких многотиражек тогда по всей стране выходило несколько сотен. Издавали собственное чтиво не только монстры, вроде автозавода имени Лихачёва, супермаркета ГУМ и киностудии «Мосфильм». Были среди них уникальные, как газета «Импульс» – орган секретного НИИ по имени

Почтовый Ящик. О её существовании мы знали лишь потому, что там некоторое время, укрываясь от армии, служил наш приятель, молодой поэт Андрей Чернов: совмещал в одном своём лице редакцию, типографию, отдел распространения, а заодно и службу утилизации. То есть сам сочинял все материалы, сам их печатал и верстал, клея полосы текста на стандартный лист, потом множил на ротаторе (прадедушке ксерокса) в количестве полусотни экземпляров, раздавал их под личную подпись начальникам отделов для ознакомления, а через какое-то время забирал газеты и уничтожал, под бдительным оком ребят из секретного отдела. На этом фоне твоя газета Второго часового завода «За точность и качество» (многотиражка Первого именовалась ещё звонче – «За советские часы») выглядела куда как солидно – выходила на четырёх полосах, числом в полторы тысячи штук и регулярно посылалась в газетный фонд библиотеки им. В.И.Ленина. Но суть всех была одна, сродни нищим районным газетам. Не только нашим – в начале XX века поэт Исикава Такубоку воспел их японское подобие в трогательном пятистишии:

*Напечатана
на серой бумаге
газета родного района.
Её разворачиваю утром,
привычно нахожу опечатки.*

Сегодня судьба многотиражек вполне соответствует судьбе страны: слабые умерли, с трудом выживающие – по-старинке размножаются на ксероксе, а разбогатевшие – преобразились в гляцевые корпоративные издания.

Тогда переход из заводской многотиражки в республиканский еженедельник, да ещё орган СП РСФСР, сулил широкие горизонты.

В редакции «ЛитРоссии» впервые узнал, что де-факто газетой руководит вовсе не главный редактор, а человек по имени Ответсек. Такой должности, как теперь понимаю, в западных изданиях просто нет, ответственный секретарь – явление исключительно советское, этакий душевный комиссар при самородке-командарме. Ведь как управлял «Известиями» пламенный большевик Бухарин? – скакал впереди полка на лихом коне, увлекал дремучего читателя в атаку за светлое завтра, воспевал ДнепрогЭС и Магнитку, клеймил гуляку Есенина и «есенинщину»... Проще говоря, осуществлял общее руководство. А всем редакционным процессом (то бишь рутиной, не стоящей внимания вождя) занимался некий человек-затычка, профессионал-газетчик, который единственный знал, где что лежит, и безропотно тасил на себе весь бумажный воз. В «Литературной России» таким человеком был Наум Борисович Лейкин: снимал и ставил в номер материалы, читал насквозь каждый, от ударных гвоздевых до любой крошечной заметульки, испещрял поля рукописей своими пометками, и ни один текст не мог уйти в набор без лейкинского автографа, энергично исполненного в левом верхнем углу титула коричневым карандашом (у главного была красная авторучка, у его замов – синие и чёрные).

«ЛитРоссия» 80-х – отдельная песня. Еженедельник этот (в отрочестве – «Литература и жизнь») создавался российским Союзом писателей как противовес «Литгазете» – изданию интеллигентскому, органу «большого» СП СССР. Даже поселена «ЛР» была – в пику «ЛГ» – в том же самом доме на Цветном бульваре. В московской читательской среде «ЛитРоссия» считалась газетой если не реакционной (каковой она в полной мере стала в 90-е перестроечные годы), то в любом случае одиозной, обречённой отрабатывать возложенные на неё функции. Функции были незавидные – воспроизведение стенограмм пустопорожних писательских пленумов, секретариатов и съездов, самохвalebных литгенеральских опусов по поводу и без, а среди всей этой приказной нудятины, разнообразя её (надо же, в конце концов, читателя хоть каким-нибудь чтивом потешить), публиковались рассказы, стихи и статьи на литературные темы. Статус литгазеты для российской глубинки имел свои преимущества – надзор за «ЛР» установился не очень жесткий, чем мы и пользовались. Скажем, записные книжки Андрея Платонова к «Чевенгуру» и «Котловану», изданным тогда только за рубежом, в «Литературке» тормознулись бы уже в секретариате и до цензора просто не дошли бы, а в «ЛитРоссии» выскочили двумя обширными подборками, стоило лишь убедить осторожного Лейкина, что запрет на публикацию неизданного Платонова касается целых произведений, а не таких мелочей, как разрозненные заметки. Ответсек наверняка подвох учуял, но в кои-то веки подыграл, рассудив, что ничем не рискует: откуда знать, о каких книгах идёт речь, коль они в СССР не напечатаны.

Творческий потенциал редакции был достаточно весом. Тон, понятно, задавали ветераны: писатель-фронтовик Колосов, литературный критик Идашкин, театральный рецензент Лейкин. Редактор отдела искусства Ася Пистунова-Святова выпускала культуртрегерские книжки и делала по ним телепередачи, за отделом очерка Георгий Долгов (лучший, после Левитана, дикторский баритон) вёл несколько авторских программ на радио и ЦТ, с театральными афиш не сходило имя драматурга Павла Павловского, молодой кинокритик Алексей Ерохин много писал не только для своего еженедельника. Фактически все сотрудники (средний возраст редакции был около тридцати) относились к литературному цеху – широко печатались, издавали собственные книги: стихи писали Александр Бобров, Геннадий Калашников и Юрий Гусинский, прозу – Вячеслав Сухнев, Сергей Баймухаметов, Алексей Бархатов и Евгений Некрасов, полосу «Ревизор» поочередно вели юмористы Владимир Владин, Александр Хорт, Виктор Коклюшкин. И совсем юные практикантки журфака, начинавшие в отделе информации «ЛР», не канули нынче в безвестность: Марина Каминарская десяток лет делает журнал «Домовой», Наташа Троепольская-Барбье руководит интерьерным изданием «Мезонин», а Женю Пищикову сегодня мечтает видеть своим автором любой элитарный столичный журнал.

На планёрках мнение молодых сотрудников выслушивали всегда, но учитывали редко. Для того, чтобы отстоять уязвимый или проблемный материал, требовался железобетонный аргумент, и чем абсурднее он был,

тем вернее работал. Статью Андрея Чернова о рифме в «Слове о полку Игореве» поставили на центральный разворот, однако полностью ему не отдали (молод еще), и хоть на полях висел двухколонный хвост – подверстали туда же рецензию на книжку стихов Равиля Бухараева. После того, как все хорошие слова о статье были сказаны, главред спросил, есть ли какие принципиальные замечания. «Только одно, – говорю. – «Слово...» – трагическая поэма о попанной свободе, о чести народа русского, а рядом – ля-ля про татаро-монгольское иго...». Колосов задумчиво протёр очки, распорядился: «Передвиньте-ка Бухараева в другой номер, а текст Чернова поставим целиком».

Подписав газету в печать, вечером спускаемся с главредом по лестнице, вдруг Михаил Макарович вопрошает: «Два дня из головы не выходит – какое отношение татары имеют к «Слову о полку...»? Не моргнув глазом, брякнул: «Так Фоменко и Носовский открытие сделали: половцы и печенеги входили в татаро-монгольский каганат!» (Хорошо, ответсека близости не было – его бы на месте кондратий хватил!)

Что Лейкин отслеживал с особым тщанием, так это национальную пропорциональность авторов, подтверждая аксиому: еврей в должности – всегда антисемит. Был очень внимателен к псевдонимам. Особенно после того, как на «Детской странице» сошлись три автора – Яснов, Пластов и Иртенев, которые в гонорарной разметке оказались – Гурвич, Пекелис и вовсе Рабинович. Неделю после этой выходки ответсек не подавал руки, а в итоге пострадал... Кир Булычев – мало того, что он Игорь Можейко, так еще и бороду носит! И мурыжили его маленький фантастический рассказик по самое не могу. Потому что к усатым-бородатым авторам в «ЛитРосси» тоже относились с предубеждением. С густой растительностью на лицах деревенца Василия Белова или исторического романиста Балашова со временем кое-как стерпелись, но уже Евгению Попову, молодому в до-«метропольские» годы автору, в лоб задавали вопрос, что ему дороже – борода или публикация, отвязались с дурацкими советами побриться только после веского довода: у него-де всё лицо картечью изувечено. Номенклатурных чиновников, чьей обязанностью было стричь всех под одну гребёнку, волосатые лица доводили до белого каления – им, повально страдающим комплексом неполноценности, вечно мерещилась скрытая в усах собеседника насмешка.

Карьерных амбиций я был начисто лишён, нежелание иметь партбилет напрочь исключало т.н. «производственный рост» – максимум, что беспартийному журналисту светило в любой советской редакции, это лет за двадцать дослужиться до кресла редактора отдела.

В «ЛитРоссии» в мою работу, то бишь «отдела по борьбе с молодыми писателями», никто сильно не вмешивался, также полагались на добросовестность и вкус процеживающих «самотёк» внештатных рецензентов (прозаик Николай Булгаков был чрезмерно придирчив, а литкритик Сергей Костырко в полусотне рукописей непременно находил двух-трёх авторов, прозу которых стоило почитать внимательнее). Никаких планов и норм

не было – если вдруг появлялся молодой талантливый автор, ему всегда находили место на полосах (в каждом номере «ЛР» печатались три рассказа, а в какой литературе пишется 150 отличных рассказов за год?). Собственный круг молодых писателей пестовали «Юность» и «Смена», все толстые литературные журналы, но при этом, как правило, принимали в свои объятия только тех, кто имел публикации в газетах и получил хорошие отклики.

Начинающими считались литераторы в возрастной вилке от 20 до 35. За пять лет в институте я узнал многих молодых прозаиков, через год работы в «ЛитРоссии» – имена всех авторов-москвичей, от которых что-то можно было ожидать. А три года спустя – прочитав уже не одну сотню рукописей, побывав на семинарах молодых писателей в Красноярске, Иркутске, Ставрополе, Минске (о совещаниях всесоюзных просто не говорю), познакомился почти со всеми даровитыми, кому «ЛР» могла обеспечить дебют.

К чему в «ЛР» относились с явным предубеждением, так это к женской прозе: больше месяца кочевали по столам членов редколлегии повести Людмилы Улицкой, с трудом выклянченный у Татьяны Толстой один из лучших её рассказов «Петерс» – говорили: да, талантливо, – и отказали в публикации. Но любимые писательницы у «ЛР» были: Татьяна Набатникова из Новосибирска, пишущая по-русски Этери Басария из Абхазии...

С началом горбачёвской перестройки, «ЛитРоссия» стала превращаться в бастион оппозиции (по другую сторону литбаррикад стремительно набирал популярность «Огонёк» Виталия Коротича). Тут давний большевистский вопрос: «С кем вы, мастера культуры?» – вновь зазвучал с маниакальной навязчивостью. Выяснилось, что все годы тебя считали в конторе чужим, но прежде терпели (по принципу: один такой погоду не испортит), а дальше терпеть не намерены. Жидомасоном, правда, не дразнили, однако в шпионы сионистов прозорливо записали – к тому времени все мои друзья работали у Коротича. Подозрения упрочились после того, как «Огонёк» напечатал репортаж с погромного пленума писателей-«патриотов», выправленная и завизированная стенограмма которого существовала всего в нескольких экземплярах и один из них, конечно же, в «ЛитРоссии» наличествовал. Каюсь: вступил в преступный сговор с секретаршей, и когда главред отлучился на четыре часа – выкрали из его сейфа стенограмму, отправили в «Огонёк» снимать копию (в «ЛР» даже ксерокса не было), едва успели положить документ обратно. Когда стенограмма стала достоянием гласности (в российском СП сперва закричали о фальсификации, но сверили тексты и заткнулись), заподозрили самого Колосова – больше просто некого. Михаил Макарович был человек мягкий и незлобивый, но сильно зависел от обстоятельств, в итоге пал жертвой междоусобной войны: по совковой привычке пытаясь лавировать, не выказал нужной жесткости, навлёк на себя гнев литгенералов-«заединщиков» Бондарева, Михалкова, Кузнецова и иже с ними, а те со слабыми не церемонились. Колосова выперли из редакции, мало – отобрали казённый паёк, писательскую дачу во Внукове, замордовали презрением, вогнали старика в гроб.

Так и получилось, что на переход в «Огонёк» я был обречён. Редактором отдела литературы там работал Олег Хлебников, вместе с историком-лингвистом Андреем Черновым, потом они переманили из института кино критика Владимира Вигилянского. Мы были знакомы полтора десятка лет: с Олегом – по семинару Бориса Слуцкого, с Андреем и Володей подружились ещё в литинституте. При встречах они всякий раз одолевали вопросом, когда наконец коллеги-патриоты проявят классовое чутьё, исторгнут из своих рядов отщепенца, а тут кстати открылась вакансия (Андрей Караулов перешел в новорожденную «Независимую газету»), и потребовалось срочно определяться.

«ЛитРоссия» избавилась от чужака радостно, друзья-коллеги даже выпустили прощальную стенгазету (естественно, с коричневым автографом Лейкина в углу ватманского листа), испещрённую душевными пожеланиями и напутствиями типа:

*Ты полетел на «Огонёк»...
Не сжег бы крылья, мотылёк,
Поскольку толстая свеча
Горит в окне Коротича.*

Вызываем «Огонёк» на себя

«Огонёк» конца 80-х был подобен тяжелому танку на боевом марш-броске через болото – безоглядно пёр напролом, подгоняемый перестроенной реальностью: остановишься – засосёт. Американский журналист Дэвид Ремник, частенько забежавший в наш отдел литературы, говорил, что такой темп производства видел лишь в «Нью-Йорк таймс»: всем бросалась в глаза скорость мельтешения огоньковцев, в сравнении с вальжным ритмом на других палубах издательского корпуса «Правда». Часто работа выплескивалась из кабинетов в коридоры. В холле возле лифта на полу раскладывали варианты обложек будущих номеров, и в их обсуждение вовлекалась не только вся редакция, но и каждый приехавший на пятый этаж – гуртом придумывали текст к обложечной фотографии. Этим мастерством славился Олег Хлебников – походя брошенные им фразы чаще других принимались на ура (нынче с его специфическим даром хорошо знакомы читатели «Новой газеты»).

Вопреки ожиданиям, приход Коротича в «Огонёк» не ознаменовался массовым увольнением сотрудников прежней софроновской редакции: в первый год ушли лишь те, кто не выдержал смены рабочего ритма, а одиозный зам. Софронова Николаев на своей должности и Коротича пересидел. Другое дело, что бывшие софроновские кадры ключевых ролей в редакции не играли. Николаев, например, традиционно дежурил по выходящим номерам, но с большим удовольствием водил по редакции многочисленных гостей, сопровождал телевизионные группы. При этом обожал комнаты нашего отдела – за колорит: стены украшены вьетнамским горельефом Ленина из коряги, вымпелом «Знатной доярке» и литературным иконостасом – портретами писателей-эмигрантов, от Набокова до Галича. Вводя в кабинет под локоток очередного зарубежного репортёра с камерой, Николаев

накатанно озвучивал для переводчика закадровый текст: «А здесь вы видите портреты людей, которых нещадно травил прежний режим...» – «...И сафронковский «Огонёк», при активном участии вашего экскурсовода!» – радостно подхватывали мы игривую интонацию. Николаев театрально округлял глаза, крутил пальцем у виска и поспешно увлекал гостей в кабинет напротив, в отдел писем – к Валентину Юмашеву, который только что выпустил книжку оппозиционера Ельцина «Исповедь на заданную тему».

Сам Коротич с собой никого не привёл (вопреки опасениям, что следом за ним потянутся украинские письмэнники), лишь первого зама Льва Гущина подобрал себе по номенклатурной кадровой картотеке ЦК КПСС. Отдел литературы обновился только благодаря случаю – бывший заведом Владимир Енишерлов начал делать «Наше наследие» (первый из гляцевых *валютных* журналов, открытый при Фонде культуры под личным патронатом первой леди Раисы Максимовны) и увёл с собой всех своих сотрудников. На освободившиеся места пришёл Олег Хлебников и сформировал собственную команду – кроме Вигилянского и меня, появился поэт Денис Новиков, тогда как Андрей Чернов стал собкорром «Огонька» по Питеру (ушёл писать ленинградскому градоначальнику Собчаку его книжку «Хождение во власть»).

Перенаселённость редакции сразу бросалась в глаза: в каждой комнате ютились от двух до пяти штатных сотрудников, а на реальный пересчёт «по головам» оказывалось вдвое больше – за счёт внештатников, тщетно ждавших хоть какой вакансии. Мест не хватало – полгода в тупике коридора, рядом с отделом общественности, за выкинутым из комнаты сломанным столом тосковал Николай Сванидзе, но ничего не высидел, перекочевал на телевидение к Олегу Попцову.

В кадровой политике Коротичу требовалась тонкая дипломатичность. Несколько лет в зарубежном отделе работали Артём Боровик и Дмитрий Бирюков – как бы на равных, поскольку ни один не был назначен зав.отделом, а значит и в состав редколлегии не входил. Первый был сыном известно кого, а другой – зятем Роберта Рождественского, оба мэтра приятельствовали с Виталием Алексеевичем, и сделать выбор, никого при этом не обидев, Коротич не мог.

Самым массивным оказался отдел писем – его численность определялась объёмом поступающей в редакцию почты: к концу 90-го года под началом Юмашева корпели два десятка девчушек, с оскудением потока корреспонденции и отдел сократился – до нуля, когда отвечать на письма все редакции практически перестали.

Количество творческих сотрудников от числа выходящих материалов не зависело. Наш отдел литературы заполнял текстами до половины 32-х полосного журнала. Меньше просто не получалось: рассказ занимал разворот-два, подверстывался «Антологией поэзии XX века», которую вёл Евгений Евтушенко, и странной стихов современника автора, пару разворотов съездили критика и публицистика – боевой перебрёх с неугомонными оппонентами из лагеря журналов «Молодая гвардия» и «Наш современник, плюс объёмистая публикация из приоткрывшихся

архивов Лубянки, разворот юмора с крестословицей и традиционными «анекдотами от Никулина»...

И все журнальные полосы в итоге сваливались на одного человека – Виталия Алексеевича Коротича.

Коротич был самым *моторным* редактором из всех, с которыми я сталкивался в своей журналистской практике. Каждодневно он утаскивал домой полный портфель рукописей и наутро приносил их прочитанными. То, что они были прочитаны *насквозь*, удостоверяли правка и замечания почти на каждой странице, ко всем материалам подкалывалась записка-резолюция насчёт их дальнейшей участи.

Виталий Алексеевич обладал феноменальной памятью – если ты восставлял какой-то кусок текста, вычеркнутый им в оригинале, это редко проходило незамеченным: вторично вымарывал в сверстанных полосах, а когда ловил в уже вышедшем номере – за такие штучки попадало отдельно (обычно главред вычеркивал лишь идеологически опасные моменты). Коротич контролировал журнал, в каком бы уголке мира ни оказывался, – пренебрегая разницей в часовых поясах, в десять утра по московскому времени звонил в редакцию на свой номер телефона, и все, у кого возникали неотложные вопросы, чуть свет занимали очередь в приёмной. Утро – самый болезненный момент: со времён своей врачебной практики Коротич остался «жаворонком», тогда как большинство его сотрудников были «совы». На своё рабочее место он приходил к восьми утра: читал полосы, давал многочисленные интервью, принимал иностранных визитёров. Весь же коллектив начинал подтягиваться к десяти и полз до полудня, потому, идя на работу, мы частенько сталкивались с главредом в дверях или на лестнице – вечно грызя яблоко или печенюшку, Коротич на бегу раздавал указания и устремлялся дальше, на ковры к высокому начальству. Всё, сказанное им на ходу, надлежало спешно учесть – в конце дня шеф непременно возвращался: заканчивал отложенные дела, набирал рукописи на завтра.

В дни, когда Коротича вместе с другими главными редакторами вызывал на кремлёвскую летучку САМ, вся редакция ждала шефа в томительном напряжении – по возвращении, как бы крепко ему там ни влетело, Виталий Алексеевич собирал нас на коллективный всеобуч: «Ну, что вам, хлопцы, сказать...» Страху обычно не нагонял, лишь перечислял публикации, которые особенно сильно прогневили партийную верхушку. Поскольку комментарий шёл под юмором и смятую улыбку, мы могли лишь догадываться, каково нашему главреду досталось на самом деле. И всегда из глубины зала под занавес раздавался неизменный вопрос: «Главное скажите – нас не закрывают?»...

Как приходилось Коротичу крутиться, в какие поддавки играть – только он знает. А юлинь Виталия Алексеевича обстоятельства вынуждали постоянно... В одно ничем не примечательное воскресенье у Хлебникова, Вигилианского и у меня с утра раскалились домашние телефоны: вдруг под разными предложениями прозвонилось множество знакомых, и о чём бы ни говорили –

повально любопытствовали, хорошо ли нам работается с главным редактором и всё ли у нас в порядке. Оказалось, в субботнем интервью газете «Правда» Коротич прошёлся по нашему коллективу. Сейчас, конечно, смешно говорить, что фраза: «есть у нас серьёзные проблемы с отделом литературы» имела угрожающий смысл, но в те времена после таких наездов главной партийной газеты неизбежно следовали людоедские оргвыводы. Сойдясь в понедельник на службе, сразу спросили Коротича: нам что, вещи собирать? Он сморщился, как от зубной боли, и ответил, что такие камешки в его огород Горбачёв кидает на всех совещаниях главных редакторов, а потом, под локоток поймав на выходе, шепчет: «Дальше, дальше, дальше...»

Коротич любил вспоминать при случае, как с юности учился держать удар, и, безусловно, ему мирволила удача – в любой ситуации умел набирать победные очки, каждая пакость недругов в его адрес оборачивалась достоинством. Стоило злопыхателям написать, что «в застойные годы Коротич салютовал брежневскому режиму не только лирой, но и высоко поднятыми боксёрскими перчатками», – на редакцию обрушился шквал звонков: «Правда, что ваш главный еще и чемпионом Украины по боксу был?.. Ну, молоток!»

Однако в «Огоньке» Виталий Алексеевич уже не был тем человеком, с которым я в начале 80-х познакомился в Киеве: прежняя его открытость выглядела слишком наигранной, чувствовалось, что он с трудом вписывается в московскую жизнь.

Что маниакально терзало Коротича, так это вопрос: кто в нашей редакции *информатор*? В воспоминаниях А.Н.Яковлева открытым текстом сказано: в «Огоньке» у *органов* всегда имелись собственные уши – любые внутренние разговоры через полчаса становились известны *наверху* (в осведомлённости Александра Николаевича можно не сомневаться). Свои подозрения Коротич разрешал примитивно – заманивал в кабинет и спрашивал в лоб: «Как, по-вашему, Хлебников может быть стукачом?.. А Вигилянский? Ну да, один поэт, другой из церкви не вылезит, и все-таки?..» (Потом узнавал: и Олегу, и Володе этот же вопрос задавался насчёт меня.) Оставалось только отшучиваться: «Вся редакция знает, что у нас два штатных гебиста – Коротич и Гуцин, вопрос лишь в том, кто работает на Первое управление, а кто на Второе». Виталий Алексеевич смеялся, игриво грозил пальцем: ах, фантазёры!..

К девяностому году четырехлетняя эйфория сменилась тревогой: тираж «Огонька» достиг шестимиллионной цифири и на ней завис, что предвещало неизбежный спад. На общередакционных «топтुшках» всё чаще начинался массированный мозговой штурм: как модернизировать журнал. Одни предлагали полистать первоклассные западные издания: «Штерн», «Пари-Матч», «Ньюйоркер». Другие – сменить оформление и перевести еженедельник на европейский уменьшенный формат. Дмитрий Бирюков подливал масло в огонь утверждением, что советскому читателю жизненно необходимы лишь программа телевидения с картинками и гороскопы (уже держал на примете толкователя знаков судьбы Финогоева, который

до сих пор разглядывает ладони в бирюковском журнале «Семь дней»). Артём Боровик просил дать ему в каждом номере два разворота на секретные журналистские расследования. А редактор отдела культуры Владимир Чернов (через несколько лет ему доведётся недолго порулить «Огоньком») окончательно добивал всех предположением, что вскоре нужно будет держать курс на иного читателя – выпускать журнал для богатых (понятие «новые русские» тогда еще только витало – возникнет через два-три года в анекдотах). Мы в своём отделе без долгих словопрений решили, что делаем журнал для семейного чтения, и регулярно вводили новые рубрики: открыли «Детскую страницу», пригласив ведущим Григория Остера, раздел «История в архивных фотографиях», обсуждали с Эдуардом Успенским тему блатного фольклора (не развернув её тогда в «Огоньке», отец Чебурашки разработает эту золотonosную жилу в радио- и телепередачах «В нашу гавань заходили корабли»). Мы потихоньку делали своё дело и в шумные дискуссии обычно не ввязывались. Тем более что Коротич, имевший уникальный шанс первым вынести на издательский рынок принципиально новый журнал, все идеи убивал на корню: «Ну что вы, хлопцы, – какие программы с картинками, скандалы недели, детективы, расследования?! Журнал на плаву, его читают, а на гребне успеха курс не меняют. Вот начнётся снижение тиража, тогда и будем крутиться...» И после успокоительной тирады обычно предлагал послушать Льва Никитича Гущина.

К тому времени «Огонёк» только-только стал самостоятельным – отмежевался от издательства «Правда» (оно в свою очередь спешно переименовалось в «Прессу»), громко декларировал свою независимость от ЦК КПСС, и председатель совета трудового коллектива Вигилянский скрепил своей подписью хартию о свободе.

В новой ситуации Коротич оставался знаменем журнала, благо харизматическая его фигура входила в первую десятку в тогдашнем рейтинге прорабов перестройки. А на первого зама Гущина легла обязанность подвести под журнал основательный экономический фундамент. Он и подводил, оперируя любимой присказкой: «Хотите и рыбку съесть, и ножи не замочить?»

Гарантировать материальную устойчивость «Огонька» должны были коммерческие проекты (под сурдинку «Анти-СПИДа» уже открылся на таможене свой бесконтрольный и беспошлинный «зелёный коридор», которым можно было пользоваться не только для завоза «гуманитарных» одноразовых шприцев) и основная копилка – рекламная. Первым рекламным блином стала история под названием «Мальчик с киской».

Игривое цветное фото солиста попсовой группы «Ласковый май», снятого в домашнем прикиде и с котёнком на руках, возникло на заседании редколлегии сперва на дискуссионном уровне: предлагаемая картинка претендует на заднюю страницу обложки, оплата гарантирована. Цена вопроса тактично не оглашалась, но в редакционном фольклоре бытовала байка о продюсере, принесшем в обычной спортивной сумке полумиллионную «деревянную» наличность (в то время СССР существовал только

в рублёвом пространстве, тяга к «капусте» еще каралась высшей мерой). Поскольку в редколлегию тогда, кроме Юрия Никулина, входили Елена Боннэр, Юрий Черниченко и священник Александр Мень, этические моменты еще имели место в обсуждениях: Юру Шатунова решили не прогадировать шестимиллионным тиражом ни за какие деньги. Однако, спустя недолгое время, Гушин снова вернул редакторат к увлекательному разговору про «рыбку» с «ножками», и финансовый аргумент ласковоймайского продюсера в конце концов возобладал.

Следующим шагом в неведомое, но прекрасное завтра «Огонька» должно было стать оформление нового статуса – редакции, которой надлежало быть самокупаемым производством, и её сотрудников, отныне заключающих с редакцией краткосрочные контракты. В коридорах замельтешили энергичные ребята-юристы, задачей которых было успокоить взволнованных бабушек-корректоров рассказами об их правах-обязанностях и ознакомить творческих сотрудников с вариантами персональных трудовых соглашений. И другие озабоченные лица – неких экспертов, проводивших независимый аудит, в чью кипучую деятельность вникать никому не хотелось. Большинство сотрудников журнала и не вникали (пусть себе считают-проверяют, если так принято), лишь сочувствовали Вигилянскому, который вынужденно вожжался с пришлым человеком, блюдя интересы трудового коллектива. Смысл происходящего в целом был понятен: в прекрасное далёко «Огонёк» должен был отправиться чистым и непорочным, аки агнец Божий. Однако Вигилянский день ото дня чернел лицом, от наших вопросов мрачно отмахивался, а вскоре написал коллективу журнала «Открытое письмо». Из коего следовало, что «Огонёк» – банкрот, огромные деньги исчезли незнамо куда, Коротич стал чисто номинативной фигурой, вся реальная власть – у Гущина и Юмашева, и молчать об этих безобразиях – значит потворствовать им.

Реакция Коротича была вполне предсказуема – всех примирить и не выносить сор из избы. Потому что случившееся инспирировали враги, хотящие потопить флагман перестройки и гласности, и нет способа вернее, чем взорвать коллектив изнутри. А весь этот якобы независимый аудит – расчётливая провокация, мелкая пакость – как пачка дрожжей, в жару кинутая в полный говна деревенский сортир.

Примирить не получалось – Валя Юмашев тут же смастерил альтернативную цидулю с незатейливым пафосом: «Не мешайте нам спокойно работать!» Расклад сил был арифметически прост – если под письмом Вигилянского подписались двенадцать сотрудников журнала, то Юмашеву для численного перевеса хватало подписей девочек собственного отдела. Дюжина несогласных действительно мешала «спокойно работать» тандему Гущина-Юмашева – впереди маячила приватизация, и делить «Огонёк» на равных с несуразным трудовым коллективом в их планы не входило. В этом случае нам оставалось лишь капитулировать, что было очень просто: с 31-го декабря 1990-го все сотрудники «Огонька» де-юре считались уволенными и, чтобы оказаться за бортом, всего-то и требовалось не подписывать контракты на будущий год.

От Коротича мы принятое решение не скрывали, и незавидность собственного положения он прозорливо понимал – накануне развязки, вечером спустился в наш отдел, плотно притворил за собой дверь, сделал обиженное лицо: «Чувствую себя, как обоссанный пень. И вы хороши – бросаете меня на съедение волкам...» В своём прогнозе Виталий Алексеевич не ошибся – в «Огоньке» он пережил нас на восемь месяцев: в дни августовского путча застрелял в Штатах, в его отсутствие родной коллектив избрал на пост главного редактора Льва Гущина – почти единогласно, при одном воздержавшемся: старый хитрец Николаев попытался съюлить, и первым же приказом нового главреда был уволен (отныне в «Огоньке» *воздержавшихся* не будет).

Нужно отдать должное мастерам подковёрные игр – свою партию они просчитали виртуозно (да и противники умели играть разве что в буриме). Перед тем как блеснуть искусством плести интриги и разруливать аппаратные ситуации в кремлёвских кулуарах, Юмашев по-гайдаевски «потренировался на кошечках».

Шла к закату эра Горбачева с её говорливыми «прорабами перестройки», наступала эпоха Ельцина и зубастых ребят, которые точно знали, кому принадлежит Россия. Эпоха, которую политолог Глеб Павловский хлётко назвал: *уникальные гастроли труппы уродов проездом*.

Виза, которую мы получили

Январь 91-го пролетел сумбурно и суетно: две недели всех нас, вместе и порознь, донимали коллеги из дружественных и враждебных – «от «Комсомолки» до газеты «День» – средств массовой информации: вопрос, почему же мы ушли из «Огонька», одних волновал искренне, другие хотели разжиться скандальной информацией. С Коротичем была достигнута договоренность о взаимном ненападении – мы обещали хранить молчание при условии, что в нас вдогонку не бросят камень. Стоило Гущину нарушить негласное соглашение (с его подачи в «МК» прошла реплика, что ушедшие не были готовы «к свободе и самостоятельности, а значит и к повышенной ответственности»), мы, чтобы впредь неповадно было, через два дня в той же газете тиснули ответ, который заканчивался ударом ниже пояса: после ухода неугодных сотрудников «редколлегия «Огонька», декларировавшего свою независимость от каких бы то ни было партий и организаций, становится на сто процентов партийной (КПСС)». То была абсолютная правда, а поскольку борьба с компартией уже вышла на смертельный рубеж, пинок оказался весьма болезненным – неделю в «Огоньке» обрывали телефоны: читатели грозились отказаться от подписки. На том наша пикировка с тандемом Гущина-Юмашева закончилась (лишь в конце года Володя Вигилянский с Михаилом Поздняевым в журнале «Столица» подробно разжевывали суть конфликта). А после 13-го января, когда в Вильнюсе при штурме телецентра разыгралась кровавая драма, нашей прессе стало не до мелких бурь в стакане воды.

Медленнее шла на убыль накатившая волна поддержки: многочисленные

друзья и авторы «Огонька» звонили домой, ободряли, говорили хорошие слова, что было одновременно и трогательно, и больно: приходилось выключать телефон. Не оставляя нас без внимания и Коротич, в чьих интересах было вернуть назад хотя бы одного человека – и сам звонил поначалу, и разные люди из редакции: увещевали вернуться (сколь важен этот момент для сохранения лица, потом наглядно проиллюстрирует НТВ, различными посулами возвращая ушедших с телеканала сотрудников). Одновременно до нас дозванивались литераторы, получившие предложение занять свободные места в «Огоньке», – многие, как Игорь Иртеньев, отказывались из солидарности с «эмигрантами». Ни один из ушедших назад не попросился.

Поскольку нужно было зарабатывать на жизнь, часть нашего коллектива, имевшая отношение к писательскому цеху, воспользовалась традиционной кормушкой – выступлениями по линии Бюро пропаганды советской литературы и общества «Знание»: поехали бригадой по дальним городам России. И там, на встречах с читателями в институтах, библиотеках, в клубных и концертных залах, не удавалось избежать вопросов про «Огонёк»: почему?.. Мы рисковали уподобиться неким комическим персонажам, вроде оголтелого попа-расстриги, колесившего по градам и весям с рассказом о том, как он порвал с религией, а когда в оружейно-мотоциклетном городе Ижевске нос к носу столкнулись с американским эмигрантом Локшиным, выступавшим перед публикой с идеологической лекцией «Почему моя семья хочет жить в СССР?» – впору было сквозь землю со стыда провалиться. Вообще все мы, скоропалительно уволившись, ни дня безработными не были – стараниями коммерческого директора Левона Айрапетяна, наши трудовые книжки лежали в маленькой коммерческой фирме, которая была готова участвовать в издании журнала и щедро оплачивала нам подготовительный период. И скоро оценили преимущество коллективного существования – то и дело звонили из разных редакций, приглашали на работу (одним из первых такое предложение сделал Егор Яковлев – позвал в «Московские новости», и через полгода мы этим вариантом воспользовались).

Поначалу редакционного помещения не было – собирались на свои планёрки поочередно на квартирах друг друга два раза в неделю, как привыкли в «Огоньке» – в понедельник и пятницу. Три других дня пролетали в хождениях по мукам – вели многочисленные переговоры с издателями, спонсорами, полиграфистами, рекламными менеджерами (в глазах рябило от огромного числа людей, среди которых были и яркие типажи, и просто оригинальные образчики человеческой породы). На самые ответственные визиты отправлялись всем «руководящим составом» в остальном чётко разграничили свои функции. Хлебников и Вигилянский, как мозговой и творческий центр, разрабатывали структуру будущего журнала и занимались комплектацией редакционного портфеля (вороха рукописей с согласия авторов мы унесли из «Огонька» – но основной задел предстояло создавать). Дипломатичные Бирюков и Клямкин взяли на себя хлопоты по обеспечению технической базы и поиску типографии. Айрапетян и Пекелис (единственные из нас, кто умел говорить о деньгах)

вели переговоры с инвесторами и спонсорами. Я же, как зануда и педант, с тёртым «коммерсантовским» юристом занялся буквоедством в уставных документах.

Уйму времени потратили, пока утвердили название журнала. Сначала считалось, что оно как бы есть, – «Э.М.И» (Эмигрант. Миграция. Иммигранты), поскольку это название отвечало не только концепции, но и нашему статусу «беженцев». Однако оно звучало довольно жеманно, сливалось с названием известной зарубежной фирмы звукозаписи и Американской академии ТВ, да и сама аббревиатура требовала расшифровки (то ли дело названия близких по замыслу изданий – «Пилигрим», «Иностранец»). Потом, эмигрантская тема сильно сужала поле для маневра, а сводить суть журнала только к проблемам переселения народов, хоть они и становились очень актуальными ввиду назревающего развала Советского Союза, большинство из нас не хотело, упорствовал один Айрапетян, изначально уповавший на поддержку армянской диаспоры. Как неточная рифма в стихах обычно выдает сбой поэтической мысли, так название «Э.М.И.» оголило уязвимость этой концепции. Всё начали с начала.

Сразу отменили то, что лежало на поверхности, а именно «Новый «Огонёк», – само словосочетание ужасало: тогда уж не «новый» – «другой». Впрочем, это не смутило следующих эмигрантов, открывших журнал «Новая «Юность» (то бишь вторая молодость?), газету «Новые Известия». Вполне отвечало замыслу нашего журнала понятие «Патриот», но оно чересчур замарано (фразу насчет патриотизма, как последнего прибежища негодяев, с институтской скамьи помнили). «Гражданин» – замечательно, однако за версту разит паспортным столом. Обращение к названиям журналов XIX века, будь то «Сын отечества» или «Московский наблюдатель», упиралось в преемственность, которую в случае воскрешения издания, по нашему общему убеждению, следовало соблюдать (тех, кто реанимировал тогда газеты «Телеграф» и «Русский инвалид», похоже, это вовсе не заботило). Накричавшись до хрипоты, разбрелись по разным углам – писали свои предложения втайне друг от друга, потом опять сходились, сваливали в кучу испещрённые названиями листочки и вновь поражались своей неизобретательности: «Постскриптум», «Европеец», «Голос», «Репортёр», «Обозреватель», «Белая ворона», «Зеркало», «Хронос», «Эксперт», «Nota Bene»... (Потом, когда открывались очередной журнал или новая телепередача, – каждый раз морщились: все по одному кругу ходим!) Возникшие варианты обсуждали подолгу, взвешивали все «за» и «против». Олег Хлебников зациклился на названии «1/6» – само начертание дробной цифири нравилось ему, экс-математику, даже больше, чем образ шестой части суши (о том, что эта величина отнюдь не постоянна, еще не думали, скорее вспоминали шахматный журнальчик «64»), и тут уже Володя Вигилянский, в котором по случаю просыпался киновед, ехидно вопрошал: а почему тогда не «8 1/2»? – по числу членов редколлегии (под половинкой, очевидно, подразумевался вполсилы работавший над журналом Андрей Чернов)...

Наконец, вслух было произнесено искомое слово: «космополит» (ассоци-

ация с известным западным журналом «Cosmopolitan» сразу отошла на задний план – подкупала сама перспектива позлить наших почвенников с их ярлыками насчет «безродного племени»). В конце концов – почему нет? Только лучше не «Космополит» – «Космополис»! Название приняли единогласно, под ним и решили регистрировать уставные документы журнала и одноименного ТОО. В начале июля отправились за благословением к Дмитрию Сергеевичу Лихачеву, и у него на даче «в комарином Комарове» получили напутственное слово для новорожденного (цитирую по автографу):

О «Космополисе»

Такого слова еще не было. Что такое «Космополис»? Это город **небесных людей**. Граждане Космополиса пишут с небесной точки зрения – самой широкой, доступной человеку; **лишенной корысти** – индивидуальной, профессиональной, классовой, партийной, национальной – **любой**.

У граждан Космополиса не должно быть ничего, что замутило бы их чувство справедливости и правды.

«Космополис» – это некое облако, проливающее влагу на иссушенную почву. Излить дух в мир вещественный – таков смысл существования «космополиса».

Наука, искусство, право, хозяйство, национальные движения подлежат сейчас многостороннему творческому обновлению, обновлению в духе свободы от догм – партийных, от штампов языковых, от предрассудков идеологических.

Идеологические государства потерпели крах в XX веке.

Крах потерпели **идеологическое хозяйство, идеологическая наука, идеологическое искусство**.

Идеи должны сменить собой идеологию, **красота** – направления и блуждания в искусстве, **свобода мысли** – принудительность «методологии» и «теорий».

Сказано: «Всякое совершенствование начинается с сердца и совершается в свободе».

Наш век опередил все века в опыте страданий, в опыте безверия, в опыте насилия и войн. Мы должны начать и открыть собой новую свободу – свободу творческую и истинно духовную. Мы должны помнить, что личины прикрывают ложь и сами лживы. Лицо же – слито с правдой.

Каждый из нас должен жить в правде своей **личности**, стремиться создать общество индивидуальностей, – новое общество, в котором нет одинаковости».

Д.Лихачев

Увы, напутствие почтенного патриарха осталось в архиве – по приезде нас ждал сюрприз: в наше отсутствие друзья-товарищи приняли новое название – «Русская виза». Под него Вигилянский уже разработал концепцию, где ключевыми понятиями были Книга судеб, человек в пограничной ситуации, жизнь на рубеже, пропуск в новый мир... Вообще-то жалко не

сам «Космополис», а что Лихачевский текст не пригодился. О похороненном названии вспомним потом еще раз – уже с иронией – когда выданный из «Огонька» Гуцин займётся созданием медиа-холдинга по имени «Метрополис» при столичном метрополитене.

Не без приключений искали полиграфическую базу: Сергей Клямкин с Бирюковым обошли столичные издательства, добрались до типографий в Красногорске, Можайске, Туле... Отпечатать журнал на европейском уровне могли многие полиграфические комбинаты, всё упиралось только в стоимость условий и услуг. Разброс цен был уже весьма ощутим: к тому времени почти все предприятия как бы стали собственностью трудовых коллективов, и пролетариат, по неискоренимому марксистско-ленинскому учению осознавший своё право на средства производства, стремился извлечь из грядущей ваучерной ситуации максимум житейских благ. В молодогвардейском издательстве, например, перспективе печатать новый журнал были рады всей душой, обещали свести наши затраты до минимума, но при условии, что причастные к выпуску люди будут поощрены персонально. О своих пожеланиях говорили открытым текстом, не краснея: начальнику производства требовалась московская прописка, лучший печатник лелеял давнюю мечту – двухкассетный «Шарп», главбух с дочерью очень любят путешествовать и еще ни разу не были в Греции... Мы прикидывали свои возможности: помочь с пропиской, имея надежный выход на департамент градоначальника Попова, вполне могли, стоимость двухкассетника казалась мизерной, а путевки для славных путешественниц намеревались получить рекламным бартером (сами тоже Грецию не видели, так пусть хоть скромные труженицы). Рассудили, что условия вполне приемлемые, попросили подсчитать себестоимость номера. А получив калькуляцию – поёжились: выходило дороже, чем в иногородних типографиях. К полиграфическим услугам Тулы и Можайска плюсовались транспортные расходы, получать тираж в Москве было дешевле, но никто не гарантировал, что у столичных издателей не разыграется аппетит – к прописке понадобится квартира, печатник-меломан возмечтает о стереокомбайне, а дамы после Греции вполне могут намылиться в Париж. Побегав еще немного, нашли вполне приличную типографию, где всё сделали недорого и без дополнительной смазки.

Обретение «Русской визы» обернулось первой потерей – от коллектива окончательно откололся армянин-администратор (новая концепция журнала его никак не устраивала), а значит, мы лишались и покровительства связанной с ним фирмы. Перебрав прежние приглашения, пошли на поклон в «Московские новости». Егор Яковлев своё предложение помнил, за полгода условия не изменились: на цветной журнал денег у «МН» нет – сами спонсоров ищите; единственное, чем они могут помочь, – оформить в штат редакции самостоятельной группой, с зарплатой по тарифной шкале «Новостей», и выделить небольшую комнатку с телефоном (в расчете, что потом авансы отработаем). Эту договоренность и скрепили казённой бумагой, юридически именуемой «Договор о намерениях».

Со спонсорами дело обстояло туго. За полгода повидали их достаточно –

велеречивых и вороватых, набитых апломбом и гонором. Приходили к нам двое опереточных юнцов – вчерашние пэтэушники, сделавшие быстрые деньги на продаже дешевых китайских товаров, – в новеньких костюмах от Армани, с бриллиантами в галстучных булавках (намеревались открыть магазин одежды на Тверской, а в собственном помещении готовы были разместить редакцию журнала – любого, неважно про что, но непременно толстого и глянцевого). Встречались с новоиспеченным владельцем целлюлозно-бумажного комбината – провинциальным нуворишем из меняющих окрас обкомовцев, который готовился перебираться в столицу и уже понимал, что, сидя на своей золотиносной жиле, разумнее всего назваться издателем (дотошно интересовался, что выгоднее печатать, – визитные карточки, рекламные буклеты или листовки «про депутатов»?). Они сменялись, как стекляшки в калейдоскопе, чинно вели разговоры, желая произвести хорошее впечатление, и были абсолютно разные, но роднило их одно – все понятия не имели о том, как издаётся журнал и сколько это удовольствие стоит. По мере того, как разговор переходил от заверений в готовности послужить демократии к прозаической конкретике (все предстоящие расходы уже были подсчитаны, и сумма в конце длинного перечня впечатляла), потенциальные издатели тотчас усыхали: единственное, что они могли потянуть, – выпуск одного-двух номеров, а дальше: «вы уж как-нибудь сами...»

Сами – мы не могли. Уже потому, что изначально этого *не хотели*. Когда будущий журнал только замышлялся, свой статус мы прояснили в первую очередь: ищем издателя и ему продаём себя в качестве наёмной творческой силы. Многие наши знакомые, которые с первых дней перестройки барахтались в пучине бизнеса, движимые известным лозунгом: «кто не рискует, тот не пьёт шампанское», – служили нам живым примером: открывали и закрывали многочисленные фирмы и фирмочки, перекачивали деньги из одной в другую, прогорали и, учась на своих ошибках, опять начинали всё с нуля, шли дальше... Они давали нам советы, дожимали: хватит уповать на чужого богатого дядю, собственным рублём рискните – совсем другое ощущение. Предлагали свою помощь – готовы были стать нашими гарантами при получении банковских ссуд (точно просчитывали девальвацию рубля, при которой к моменту возврата денег долг обесценивался вдесятеро). Не уговорили. После ухода из «Огонька», где Гущин с Юмашевым наглядно продемонстрировали нам не только профессиональное умение вести аппаратную игру, но и виртуозное искусство жонглировать огромными суммами денег, – наши смутные опасения оформились в окончательную уверенность: финансовые проблемы вешать на себя не станем. Самое большее, на что готовы были пойти, это на доленое участие в своём ТОО «Русская виза» – выступая в качестве соучредителей, рисковали только собственным паем в уставном капитале, равным сумме одномесячной зарплаты. Да и то лишь ради права голоса, а отнюдь не для возможности участвовать в распределении прибыли – так как основным видом деятельности нашего товарищества с ограниченной ответственностью был заявлен выпуск журнала, это заведомо сулило одни убытки. Потому большинство из нас (характерно, что наиболее платёже-

способные) вовсе не хотели вносить в общую кассу даже мизерные деньги – предпочли бы ограничиться интеллектуальным вкладом, но терялись в его оценке при пересчёте на денежный эквивалент. Что подобное отношение – чистый идеализм, процеженный «совковыми» мозгами, на пальцах объяснил предприниматель Марк Горячев, которого Чернов привёз из Питера в качестве будущего благодетеля.

Общий язык с Горячевым мы нашли довольно быстро: музыкант, артистичная натура. Марк понравился еще и тем, что не скрывал своих амбициозных планов – хотел делать свой бизнес не только в Питере, но и в Москве. Наша команда Марка вполне устраивала. С Черновым он был хорошо знаком – благодаря ему, вышел на питерского градоначальника Собчака и успел получить в результате этого сближения приличные дивиденды. Журнал уже мог подержать в руках: первый номер был оформлен и сверстан, оставалось зарядить «Русскую визу» в печатный станок. Наша договорная связь с «Московскими новостями» Горячеву тоже была на руку – поддержка влиятельной в политических кругах газеты Марку, при его бонапартистских замашках, приходилась весьма кстати.

Никаких иллюзий по отношению к Горячеву мы не питали – получить о нём «нефасадную» информацию не составляло особого труда. Продукция фирмы «Концерн «Горячев» жила в штучных экземплярах – конфетные белые рояли (оба – два, сфотографированные с разных сторон) украшали рекламные буклеты; хрустальные кубки в а-ля эрмитажном инкрустированном шкафчике ослепляли визитёров в горячевском офисе на Невском проспекте и служили наживкой для ловли инвестиций на новые суперпроекты. Всё же остальное – стеклозавод по выпуску дешевой бытовой посуды, собственная типография (неприменно самая большая в Европе!) и другие впечатляющие прожекты жили исключительно в раздаваемых Марком телеинтервью и разговорах, осенённых громкими именами Борового, Вольского, Черномырдина, под которые Марк умудрялся получать новые миллионные ссуды, чтобы гасить задолженность по предыдущим. Выявить реальных деловых партнеров Горячева никому не удавалось, близкое же его окружение было хорошо известно, и нравы в той среде царили вполне чикагские – когда одного из сокорытников заподозрили в неверности общему делу, ему в воспитательных целях перебили стулом обе ноги. Перспектива оказаться под крышей очередного темницы, после того как от жуликов ушли, никак не прельщала, потому альянс с «Московскими новостями» был выгоден и нам – гарантировал, что в случае каких-либо осложнений не останемся с Марком с глазу на глаз. В «МН» к тому времени тоже произошли перемены – после августовского путча Егора Яковлева сменил Лен Карпинский (сразу напомнил нам, что долги принято если не возвращать, то отрабатывать), и коммерческий директор Женя Абов затеял валютный проект – русскую версию газеты «Нью-Йорк таймс» в формате еженедельного дайджеста (журналистам «МН» заниматься этим не с руки, а бывшим огоньковцам – самое оно). Так и получилось, что мы два с лишним года выпускали переводную американскую газету семьи Сульцбергеров, тем самым оплачивая арендные счета редакции

«Русской визы». Другого варианта не было – ситуацию мы упустили безнадежно: конкуренцию «Огоньку» уже составлял журнал «Столица», тогда отметивший первую свою годовщину (из пяти лет, ему отпущенных). А наш еженедельник за год трансформировался в квартальный литературно-художественный альманах для образованного сословия.

Вечная память!

Сегодня уже не вспомнишь, кому первому пришла в голову эта затея. Сдав очередной номер «Нью-Йорк таймс», засиделись допоздна в редакции, прикидывая дальнейшие планы. Переводная американская газета доживала последние дни – под натиском Интернета господин Сульцбергер-мл. потерял интерес к неприбыльному проекту, да и мода на Россию в Штатах стремительно проходила. Перспектива «Русской визы» виделась крайне туманной: пообвыкнув в Госдуме, где Горячев прославился лишь тем, что в буфете подрался с Жириновским, он оценил достоинства депутатской неприкосновенности и загорелся новой идеей – деньги стал продавать, а этот новый бизнес Марка с нашим культуртрегерским изданием близко не лежал. Перед нашей поредевшей командой снова замаячили прежние проблемы: как сохранить от распада коллектив, и какой новый проект может иметь хотя бы скромную финансовую отдачу? Говорили часа два, настроение царило похоронное и сфокусировалось в мрачноватую шутку: осталось только некрологи печатать...

Тогда посмеялись и разошлись, но через некоторое время оброненная мимоходом фраза опять всплыла в разговоре. По случаю бродячего сюжета: рассказывали, некий скульптор за несколько дней сорвал приличный куш на специфическом заказе. Вышли на него заплаканные братаны – их товарищу «на стрелке» автоматная очередь разнесла буйну голову, и чтобы не хоронить его в домовине с закрытой крышкой, безутешную братву осенила идея изготовить покойному скульптурный портрет. Ваятель, на которого они вышли с заказом, имел богатый опыт – до перестройки лепил по фотографиям бюсты вождей и генсеков, а в последние годы – именитых личностей для галереи восковых фигур. Как водится в подобных рассказах, даже находились очевидцы пышных похорон, уверявшие, что покойник с лепной башкой лежал в гробу, будто живёхонький... Само собой возник вопрос: если однополчане готовы выложить за восковой портрет бойца невидимого фронта несколько тысяч баксов, то сколько они смогут отстегнуть за фотографию друга в траурной рамке на обложке специализированного издания? И действительно, почему в нашем городе-герое Москве, где редкий день обходится без стрельбы или взрыва, до сих пор нет газеты некрологов под скромным и неброским названием, скажем, «Московский некрополь»? (Особенно нравилась аббревиатура – логотип потенциального издания – «МН», ведь идея созревала под крышей «Московских новостей», и мы живо воображали реакцию главреда Виктора Лошака, в ответ на предложение сделать такую вкладку в его вполне пасмурном еженедельнике.)

Очередной разговор на эту тему проходил уже без шуток: Вигилянский,

как главный дока по разработке издательских концепций, вкратце изложил свои соображения по структуре нового издания. Суть сказанного была примерно такова: в нашей стране, где человеческая жизнь испокон стоила дешевле картошки, и миллионы людей ушли в небытие без креста и покаяния (обвинение Ельцина в геноциде русского народа коммунисты тогда еще не озвучили), о культуре смерти никто понятия не имеет. Потому в еженедельнике «Московский некрополь» основными разделами должны стать «История», «Философия», «Наука» и «Религия». И, конечно, «Культура» – здесь материал благодатный: эстетика надгробных памятников, поэзия русских плачей и эпитафий, мотивы смерти в творчестве наших великих поэтов... Еще, как ни дико это звучит, – раздел «Здоровье» (что ни говори, а момент неизбежного ухода в мир иной по возможности лучше отдалить). Это вторая половина газетной тетрадки, а в первой – никуда не денешься! – «События», «Происшествия», «Криминальная хроника». Центральный же разворот – траурный раздел «Мемориал», сплошь состоящий из некрологов: персональных, с фото и биографией ушедших (за деньги заказчика, как и возможность выноса на обложку издания), и общей колонкой бесплатного поминальника.

Затраты на редакцию – минимальные: пара редакторов, наборщик и верстальщик, корректор, секретарь на телефоне, плюс клерк для приема объявлений (тут же вспомнили общего знакомого, который вечно одевался в чёрное, никогда не улыбался и обладал способностью часами говорить о своих и чужих бедах). Помещение – самое скромное, 2–3 комнаты, в удобном месте, рядом со станцией метро. Распространение – куда проще: через районные загсы, кладбищенские конторы и церкви. Спонсоры проекта – да хоть непременно атрибут всех знатных похоронных процессий певец Кобзон, отец которого имел самое непосредственное отношение к погребальному бизнесу (Марина Влади в книжке о Высоцком вспомнила, как Иосиф Давыдович организовал Володе место на Ваганькове, только про большие деньги написала зря – наверняка все устроилось одним телефонным звонком). А если не Кобзон, так столичная мэрия вполне может заинтересоваться...

В разгар словопрений к нам в комнату заглянул Женя Абов. Посидел в уголке с полчаса, развесив уши и округлив глаза, мечтательно закинул голову: «Да-а, ребята... Это ж золотое дно!» И мгновенно исчез (подозревали – побежал пугать нашим авантюрным проектом Лошака).

Через неделю «Московский некрополь» (городская газета некрологов) был свёрстан набело: 16 полос формата «Московских новостей», с рубриками, текстами и иллюстрациями. Поскольку издание предстояло показывать потенциальным инвесторам, которые полуфабрикат не воспринимают, хотят видеть всё как по-настоящему, – закачали в набор не «лапшу» из букв, а реальные читаемые тексты. Открывался номер репортажем с похорон убитого банкира Лихачева, информацией о сороковиных кинодраматурга Габриловича, новостями недели (кладбище для животных как раз отстроилось, импортные лифты для спуска гробов «Ритуал» приобрел), исторической колонкой к годовщине ухода академика Шмидта. Разворот «Хроника происшествий» укомплектовали перепечаткой криминальной

информации из «МК» и журнала «Судебно-медицинская экспертиза», где были такие перлы, как «Клинок ножа в полости черепа» и «Полный отрыв головы от туловища посредством хобота слона». На следующих страницах велась дискуссия о перезахоронении тела вождя мирового пролетариата, оформленная знаменитым рисунком художника Сысоева, который заменил на мавзолее имя Ленина вывеской «Мақдональдс», и излагались юридические споры об эвтаназии (рубрика «Медицина»). В разделе «Культура» на читателей навели грусть поэтические эпитафии с надгробий Новодевичьего монастыря. Верстая центральный разворот некрологов «*Sit tibi terra levis*», имена-фамилии ушедших придумывать не стали (не дай Бог случайно «похоронить» кого-нибудь живого-здорового!), взяли список жертв кровавого октября 93-го. Последняя полоса отводилась для потенциальных рекламодателей – её украшала афиша фильма Евтушенко «Похороны Сталина», приглашение в принадлежащий нашему приятелю ресторанчик «Саят-Нова», где мы справляли свадьбы и юбилеи, и анонс увесистой книги стихотворца Лаврина «Энциклопедия смерти»...

По мере того, как «Московский некрополь» приобретал товарный вид, наш энтузиазм постепенно угасал: с одной стороны, газета даже начинала нравиться, но вместе с тем мы ясно понимали, что серьёзно делать её своими руками не сможем, разве что продадим идею вместе с дизайном. А слух о новом проекте по Москве пополз, и вскоре телеобозреватель печатной периодики с мрачной иронией прошёлся по адресу похоронного издания в своём ТВ-обзоре.

Так и нет в нашем славном городе газеты некрологов (а хоть в какой другой стране таковая имеется?). Однако обломки того проекта иногда всплывали: когда Женя Абов пришел в концерн «Совершенно секретно», в еженедельнике «Версия» с его лёгкой руки тут же появилась рубрика «Некрополь», но озолотила ли она эту редакцию – гадать не берусь.

Убрав газету некрологов в дальний ящик, с жаром взялись за другой еженедельник – «Книжный magazin» (все-таки бумажная продукция была нам ближе похоронных причиндалов). Концепцию этого издания разрабатывали более сдержанно, и обсуждение проходило спокойнее, разве что с названием повозились: латинская часть логотипа по норме правописания требовала добавления на конце буквы «е», а в таком случае русское прочтение этого слова приобретало кокетливо-дурацкий оттенок – что за магазин**Е**, в самом-то деле? В остальном проект шёл, как по маслу: заказали хорошему художнику дизайн-макет, оговорили совместные усилия с отцами-основателями только что родившегося издательства «Вагриус», убедили руководство «МН» в нашем книжном проекте поучаствовать.

Тем временем на «Московские новости» накатил волна эмиграции, на сей раз из «Комсомольской правды», шумная и обвальная, – около полусотни журналистов отправились искать своё место под солнцем. (По какой причине размежевался коллектив «Комсомолки» – другая история, у которой наверняка найдётся свой Нестор-летописец.) Заняв освободившееся после закрытия «Нью-Йорк таймс» помещение, новая

команда тотчас провозгласила содружество «Шестой этаж», быстро обжилась и опять начала делиться – по числу лидеров, которых в её рядах оказалось на порядок больше, чем в наших. Вскоре Дима Муратов уже выпускал «Новую ежедневную газету» (после ставшую еженедельником), Игорь Степанов зарегистрировал студенческую многотиражку «Латинский квартал», Юра Сорокин вёл переговоры с администрацией «Известий», которая вознамерилась влить свежую кровь в своё полумёртвое приложение «Неделя», а экс-капитан «Алого Паруса» Юля Будинас вынашивала планы создания информационного бюллетеня «Телескоп»... Процесс почкования проходил у них вполне миролюбиво (по крайней мере, на взгляд со стороны), рядовую творческую часть команды вообще не затронул – журналисты, юные и моторные, умудрялись сотрудничать одновременно со всеми новообразованными изданиями. Когда начала раскручиваться обновлённая «Неделя», литрабы-совместители с утра до вечера сновали между «Известиями» и «МН», из подъезда в подъезд, и в обеих редакциях шутили, что в подземном переходе под Пушкинской площадью надо бы поставить регулировщика, чтобы журналисты на бегу лбами не сталкивались. Через полгода от полусотни эмигрантов из «КП» в редакции «Московских новостей» остались человек 6–8, во главе с Сергеем Кушнерёвым (который тогда же по совместительству стал главным редактором телекомпании «ВИД»), и предприимчивый Женя Абов дипломатично провёл переговоры по слиянию кушнерёвской команды с уцелевшей огоньковской (после скандального ухода Бирюкова и Клямкина, не поделивших с «МН» проект «Нью-Йорк таймс», численность нашего коллектива сократилась до числа пальцев на одной руке). В итоге сложилась самостоятельная выпускающая группа, которую редакция «МН» предусмотрительно выделила в отдельное штатное расписание (так чужаков разгонять легче), и мы начали делать воскресный выпуск «Московских новостей» – маскультовский, в отличие от основной политизированной газеты, и «МН»-Коллекцию» – цветное рекламное приложение, в которое незаметно трансформировался проект «Книжный magazin».

Наша выпускающая группа спелась довольно быстро, едва преодолели неизбежную аритмию: пришельцы из «Комсомолки» жили в режиме ежедневного издания, с ежечасными «топтушками»-планёрками, а огоньковцы привыкли к еженедельному графику. Зато все оказались «совами»: кушнерёвские ребята были гораздо моложе и пестовали в себе комсомольский задор – понятие «трудоголик» в их рядах считалось не переменным качеством настоящего журналиста, а ночёвки в редакции – нормой. Мы, «старички», горели гораздо тусклее, но со своим богатым опытом ночных бдений могли дать молодняку десять очков вперёд, потому в дни авральных выпусков тоже засиживались в конторе до глубокой ночи – не столько из солидарности, сколько из подзабытого удовольствия покинуть редакцию последними и, проигнорировав такси, пешком прогуляться до дома по спящей Москве.

Другое дело – творческие разногласия: на стопроцентной для всей группы аполитичности наша общность и кончалась. Пойдя на выпуск воскресного

приложения, «Московские новости» намеревались таким образом увеличить число подписчиков, но вовсе не желали сменить сложившуюся читательскую аудиторию (в своё время в «Огоньке» перед Коротичем стояла именно такая задача). Если огоньковцы, соблюдая правила игры, предлагали в номер материалы, сделанные в расчёте на конкретного подписчика «МН», вкусы которого вполне просчитывались, то принцип Кушнерёва был иным: читателя непременно надо ошарашить, и пускай он на первых порах исплещётся – ничего страшного, со временем привыкнет. Так же и Сорокин со товарищи делали потом обновлённую «Неделю»: когда в новой версии старой газеты они стали публиковать расписания электричек, советы, как пить текилу и правильно есть палочками в китайском ресторане, многолетние подписчики «Известий» надолго зависли в недоумении.

Поскольку тексты в «Воскресном выпуске» зачастую соседствовали не очень-то органично, Кушнерёв поначалу ревностно вёл рейтинговые анкеты по материалам номера, но быстро бросил эту затею: читатели упрямо отдавали предпочтение литературным и культуртрегерским текстам, игнорируя «ужастики» про угрозу нашествия крыс на Москву или перспективу столкновения Земли с огромным метеоритом.

Если что и подкупало, так это упорство Кушнерёва в его стремлении оживить издание «долгоиграющими» материалами: сериалом типа «Женские истории», игровыми сюжетами с продолжением. Когда в Москву приехали вдовствующая великая княгиня Леонида Георгиевна с внуком, Кушнерёв зашел на них с дальним прицелом: юный престолонаследник был представлен читателям «Воскресного выпуска» как обычный мальчуган, лишённый царственного ореола: общителен, прост, мечтает стать нахимовцем. И в следующем номере появилось трогательное письмо провинциальной школьницы, которая с пионерским простодушием предлагала царевичу свою дружбу по переписке. В мечтах Кушнерёв уже предвкушал развитие грядущего почтового романа на страницах еженедельника, с забойно-трепетным выносом на обложку – что-нибудь вроде: «Их подружила наша газета!» И безуспешно целую неделю посредством факса бомбардировал дом Романовых в Париже. Увы, престолонаследник не отозвался: он просто не привык к обращению «Уважаемый Георгий!» – видимо, предпочитал консервативное «Ваше Императорское Величество!»

Не получилось и раскрутить в еженедельнике рубрику «Женские истории» – степень откровенности звёздных персонажей в то время еще не достигла нынешнего полового уровня, только три года спустя Кушнерёву удастся реализовать сей проект в программе Оксаны Пушкиной на ОРТ.

Всё-таки «Воскресный выпуск» за полгода обрёл привлекательные черты – во время подписной кампании на 95-й год подписка на приложение, проведённая отдельно с основным изданием, чуть ли не вдвое превысила спрос на «Московские новости». Уязвлённый таким раскладом, редакторат «МН» сделала то, чего никак не ожидали ни доверчивые подписчики, ни тем более мы, – вернул воскресный блок прежним вкладывшем в свою политическую газету и суммировал оба тиража. Потерявшей самостоятельность выпускающей группе осталось два варианта – уйти, громко

хлопнув дверью, или старомодно вызвать на дуэль Лошака (перспектива судебной тяжбы, после предъявленного Бирюковым иска по проекту NYT, представлялась заведомо неостроумной). Команда Кушнерёва разорвала с коварной редакцией дипломатические отношения – осталась в стенах «МН» на правах арендатора помещения, отгородясь от хозяев отдельной дверью и красивой табличкой с надписью «ВИД». И так, едва здороваясь при встрече в общих коридорах, соседствовала с вероломными коллегами до тех пор, когда «Московские новости», выждав, пока «ВИД» сделает на своём этаже дорогостоящий евроремонт, вынудили чужаков освободить помещение для редакции своей новой ежедневной газеты «Время МН». Через год и новорожденная газета, худо-бедно раскрутившись, покинула обжитые стены с не менее громким скандалом, а на их месте «МН» клонировали новый ежедневник с аналогичным названием, вывернутом в зеркальном логотипе.

Эта мышиная возня не могла не отразиться на самих «Московских новостях» – коллектив редакции треснул, без громких заявлений, но с плачевными последствиями. Сначала ушли под крыло «Коммерсанта» золотые перья «МН» Наталья Геворкян, Александр Кабаков, Андрей Колесников, и оказалось, что читатель искал в газете тексты любимых авторов, а не изложенную усреднённым языком информацию. Тогда же сменился коммерческий директор, навязавший новую «концепцию выживания», где главной статьёй дохода стала сдача помещений в аренду, в результате чего редакция вообще лишилась двух смежных домов на Пушкинской площади (новый владелец обещает превратить их в пятизвёздочный отель), и журналистов отселили на окраину Москвы. Попытка вывести «МН» из ступора, сделав главным редактором известного телеперсонажа, успехом не увенчалась – тираж газеты сокращался из месяца в месяц. А сейчас, когда версталась эта книжка, выпуск газеты вообще приостановлен – если в кои-то веки она и оживёт, одноимённое издание никаким боком не будет напоминать знаменитые в прошлом «Московские новости»...

И мы в 1995-м распались окончательно. Хлебников остался выпускать «Русскую визу»: Горячев решил создать собственную партию – ДНК (то бишь Движение Народной Консолидации), ему снова понадобился журнал, и Олег сделает еще один номер, в другом формате и по новому макету, – вполне хороший, но, увы, последний. Вскоре Марк Горячев, достроив свою финансовую пирамиду до критической точки, предсказуемо исчез среди бела дня, оставив на питерской улице машину с распахнутыми дверцами и разбитые очки. Вигилянский тогда принял сан и служит в университетской церкви св. Татианы, возглавляет пресс-службу Московской патриархии. Оставшись в одиночестве, я с полгода выпускал последнее детище Жени Абова – израильский выпуск «МН». Тоже не принесший желаемого коммерческого результата, этот проект был симпатичен самим технологическим процессом – каждый вторник сотрудники редакции брали подмышку пакет с плёнками-матрицами и отправлялись в трёхдневную командировку на Святую Землю.

Еще один пласт жизни оказался выработан.

Вроде заключения

Многие страницы истории отечественной журналистики конца XX века будут датироваться 1995-м годом. К тому времени у нас вчерне сложился издательский рынок, на котором образцами живучести служили концерны «Коммерсантъ» и «Совершенно секретно», а на пятки им уже наступала медиа-империя Гусинского, поначалу заявленная газетой «Сегодня», радиостанцией и телеканалом НТВ. Тогда же Издательский Дом «7 дней» возглавил Дмитрий Бирюков – единственный из дюжины покинувших «Огонёк» раскольников, верно знавший, в чем нуждается экс-советский читатель. И руководителем он оказался жестким: первым делом закрыл убыточную газету «Сегодня», не позволив ей кормиться за счет успешных проектов издательства, вроде «Каравана историй», а когда потерял общий язык с редакционным коллективом журнала «Итоги» – тотчас расстался с ним, не побоявшись тягостного конфликта, и спустя некоторое время возобновил выпуск с новой командой.

Всем аполитичным журналистам хотелось делать русский «Ньюйоркер» – с телепрограммой, репертуарными анонсами театров и концертных залов, новостями кино, обзорами книжного, ауди- и видеорынка. С этой целью ИД «Коммерсантъ» купил у писателя и бизнесмена Андрея Мальгина журнал «Столица», перепрофилировал его в информационный еженедельник для горожан (точное и соблазнительное название «Москвич», увы, никак не годилось). По этой же кальке потом делался и его преемник – «Новый очевидец», у которого уши «Ньюйоркера» торчали уже неприкрыто.

В светский журнал на какое-то время превратился «Огонёк», покинув хорошо освоенную политическую нишу (на которую претендуют все, кто так или иначе намеревается влиять на общественную жизнь страны), но после метаний из крайности в крайность вернулся к дореволюционному формату журнала для семейного чтения.

Прежние советские газеты и журналы с громкими именами и богатым прошлым, если не затевали собственные коммерческие проекты, захлёбывались в волнах издательского кризиса – им оставалось уповать либо на спонсорскую помощь (на это жили все литературные «толстяки» – «Новый мир», «Знамя»), либо уходить под власть тугих кошельков. Тогда при перерегистрации российских СМИ в Комитете РФ по Печати большинство прежних ТОО, то есть товариществ с ограниченной ответственностью, видоизменялись в ОАО или ЗАО – открытые или закрытые акционерные общества, контрольные пакеты в которых принадлежали конкретным людям и финансовым группам. Понятие «олигарх» еще не вошло в новоявленный быт, однако таких персонажей уже было достаточно, и каждый хотел иметь собственную карманную прессу – цена за раскрученные советские бренды измерялась десятками миллионов у.е. Те, у кого труба пониже и дым пожеже, довольствовались недорогими малотиражными изданиями – любое предложение находило спрос. Оценка издания производилась примитивно: стартовую цену определяла удвоенная сумма рекламных поступлений за два последних года. И, понятно,

стоимость наличествующего имущества, а она рознилась очень сильно: в случае ИД «Коммерсантъ», это собственный пятиэтажный дом, нашпигованный компьютерами и оргтехникой, а старик-«Крокодил» на момент продажи имел только арендованные у издательства «Пресса» комнаты с казёнными столами и стульями, десяток пишущих машинок, журнальные подшивки за 80 лет да украшавшие коридор линиялы шпалеры художников-«Ку-Кры-Никсов». В результате длительных переговоров с покупателем цифра ощутимо теряла нули: первоначально за старейший советский журнал просили миллион у.е., а через год торгов он стоил \$50 тысяч за бренд плюс выходные пособия сотрудникам-акционерам (которые, насколько знаю, своих денег так и не увидели). Вообще потенциальных покупателей «Крокодила» только бренд и интересовал: один из них мыслил под этим названием красочный юмористический журнал с двухнедельной программой ТВ, а Березовскому накануне президентской кампании он понадобился как журнал политической сатиры (в конце концов, БАБ предпочел открыть новый карикатурный еженедельник «Фас!», о котором забыл сразу после выборов).

Цена изданий сильно варьировалась в зависимости от политического момента. В ельцинский предвыборный «президентский» год на издательский рынок было закачено огромное количество денег – черного нала, скрытой от налоговых глаз «капусты», в расчете на которую в конце 90-х один за другим стали открываться дорогие, так называемые *и м и д ж е в ы е* – в рекламном многоцветьи и качественном глянце журналы. Причём, на любой вкус и на любую возрастную группу: раскручивался журнал для кислотной молодежи «Птюч», гламурный глянец «Алла» собирал поклонников клана Пугачевой (в противовес попсе, журнал «Стас» делал ставку на приверженцев отечественного рока). Хорошо просчитанный проект приносил точно просчитанный результат – эрнстовский «Матадор» летом 95-го оперативно выстрелил тремя номерами и предсказуемо получил ярлык «Лучший журнал года», с соответствующей планкой рекламной прибыли. О том, какие деньги круговращались тогда вокруг влиятельных СМИ, никто никогда не узнает: если редакция в Москве, типография в Италии или Германии, а рекламная служба и банковские счета во Франции или Швейцарии, – проследить финансовые потоки практически невозможно. Да если бы и возможно, они – только малая часть реальных денег, поскольку все предпочитали «зелёную» наличность: в 96-м, по глупости пьяных кремлёвских нуворишей, вся страна узнала, сколько «капусты» влезает в картонную коробку из-под ксерокса.

Собственно, последним некоммерческим изданием нашего коллектива была «Русская виза» – уже российский еженедельный дайджест «Нью-Йорк таймс» редакция «Московских новостей» затевала, имея не столько политическую, сколько финансовую задачу: с 92-го года сотрудники «МН» вдобавок к официальной «засвеченной» зарплате стали получать конверты с неучтенной наличностью, и с тех пор практика «бонусов» в порядке вещей во всех изданиях, с которыми я, так или иначе, сотрудничал. По-

началу этот момент выглядел весьма симпатично, пока не обнаружил, что благодаря ему твои легальные зарплаты и гонорары едва превышают прожиточный минимум. В приснопамятный год дефолта ситуация дошла до абсурда: гонорары почти достигли европейского уровня, а твоя справка о доходах показывала чуть ли не нулевой результат. Пределом изобретательности служил «Огонёк» – перед тем как получить в гонорарном отделе аппетитный конверт, ты писал расписку, коей удостоверял, что свой текст передал редакции *б е з в о з м е з д н о* (выглядело: расписывался в собственном абсолютном идиотизме).

На рубеже веков медиа-рынок российских СМИ, за десяток лет насладившихся свободой, вдруг как бы естественно устремился в объятия государства, строптивые олигархи Гусинский и Березовский оказались в эмиграции, а иные и за решеткой. По статистике, сегодня около трёх четвертей средств массовой информации в стране прямо или косвенно принадлежат государству. В этой ситуации, как всегда, судорожно смотрим по сторонам: а как *т а м*? По законодательству США, например, там государство не имеет права владеть СМИ, вещающими внутри страны, а в Британском королевстве много лет существует и нормально функционирует правительственный канал «Би-Би-Си», славящийся независимостью в подаче информации и смело свою власть критикующий. Ну да Америка с Англией нам не указ. Это у них пресса – «четвертая власть», которая должна указывать остальным трём ветвям власти на их недостатки, а у нас эти ветви давно переплелись, и в этих зарослях все себя отлично чувствуют. Понятие «продажная пресса» у нас не существует – разве только что *п о д к о н т р о л ь н а я*.

Чтобы не быть подконтрольными, нужно стать самокупаемыми, да вот изданий таких – по пальцам перечесть, а журналисты всегда вынуждены «питаться с рук» – равно рыскающие в одиночку фри-лансеры и целые редакционные коллективы.

Глядя на моря разлитые журнального глянца, соблазнительно обмануться: тошнит тебя от политики – кормись на этом рынке, где всё красиво и гламурно – ни войн, ни партийных образин, ни общественных катаклизмов. И журналы эти в большинстве частные, принадлежащие иностранным владельцам и холдингам. Но и на этом море постоянно штормит – то и дело слышишь: через месяц после открытия журнал «Вива!» приказал долго жить, в «Мулен-Руже» издатель сменил всю команду, в русском римейке журнала «Gala» целый журналистский коллектив оказался на улице... О причинах и голову ломать не нужно: у редакций и владельцев различные амбиции и цели. Журналисты всегда уверены, что знают своего читателя и то, какими способами его в свои тенёта завлечь, их в первую очередь заботят творчество, собственное лицо, читательский и общественный резонанс. А у владельцев иной интерес: раскрутка своего бренда, рост рейтинга и тиража, доля на рынке и связанные с ней доходы, заинтересованность рекламодателей – то, что в конечном итоге приносит деньги. И в глазах хозяина успешный бизнес-управленец десяти самых мастеровитых журналистов стоит...

Вообще-то, если быть честным до конца, публике абсолютно безразличны бурлящие на журнальном и издательском рынках страсти-мордасти – читателя интересует лишь продукт, который либо придётся ему по вкусу, либо нет. А ты самозабвенно готовишь свои оригинальные блюда из всего, что имеешь под рукой, – даже если у тебя нет ничего, кроме перца и соли. И если то, что ты в конце концов сварганил, окажется несъедобным – утешайся воспоминаниями: какие божественные ароматы в процессе готовки витали на кухне!

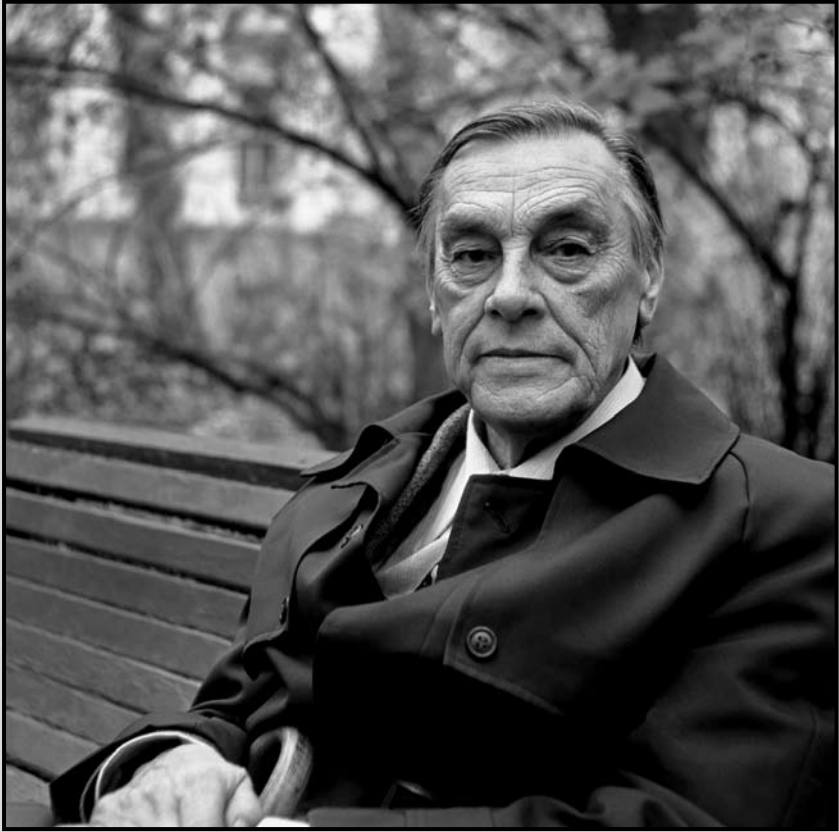


IV

Мои современники

Портреты
и всё, что осталось за кадром

Арсений Тарковский
Булат Окуджава
Новелла Матвеева
Борис Слуцкий
Валентин Берестов
Александр Межиров
Григорий Бакланов
Михаил Яснов
Андрей Чернов
Юрий Куклачев
Григорий Остер
Валерий Мишин
Юлия Гукова
В. Каверин
Виктор Шкловский
Виктор Конецкий
Виктор Астафьев
Игорь Можейко / Кир Булычев
Александр Володин
Геннадий Русаков
Дмитрий Лихачев
Давид Самойлов
Олеся Николаева
Андрей Синявский / Мария Розанова
Николай Булгаков
Юрий Нагибин
Владимир Войнович
Анатолий Рыбаков
Денис Новиков
Ксения Драгунская
Михаил Успенский
Татьяна Толстая
Л. Петрушевская



Арсений Тарковский / октябрь 1980

20.10.80. Уход от Тарковского мучителен – вися на костылях, он подаёт пальто, ты тщетно его вырываешь из старческих рук, а сдавшись – не можешь попасть в рукава.

При этом Арсений Александрович увещевает:

– Не волнуйтесь вы так. Когда я первый раз был у Бальмонта и он подал мне тужурку, мне тоже было крайне неловко. А Бальмонт сказал: «Не церемоньтесь – я член гильдии подавателей пальто». С той поры я тоже член этой гильдии.



Булат Окуджава / ноябрь 1975

12.11.75. Окуджава на семинаре сказал Дидурову:

– Алеша, вы карабкаетесь на очень высокую гору. Но гора уже кончилась, дальше лезть просто некуда. Прыгайте с нее и, если можете, – парите! Вечером хорошо выпивший Дидуров приставал ко всем и каждому с вопросом:

– Булат меня похвалил или унизил?

Так и не поняв, на всякий случай обиделся.

Стр. 304–305



Новелла Матвеева / Сходня, лето 1976

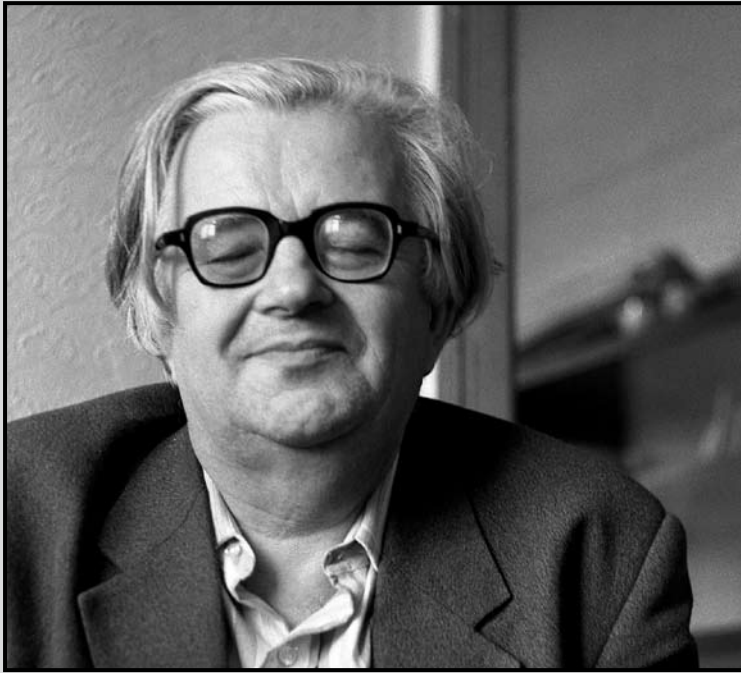
26.06.77. «Жалко, конечно, что пластинка вышла в конверте без фото. Все-таки мой первый большой диск, к сорокалетию... Но вы не огорчайтесь, в этом не ваше фото, а мое лицо виновато. Обещаю, через двадцать лет стану похожа на этот портрет...»
Стр. 309, 313



Борис Слуцкий / ноябрь 1975

Условие – наше любопытство не должно касаться лично его, Слуцкого (ни стихов, ни жизни), было нарушено лишь однажды: кто-то из нас предложил вспомнить судилище над Пастернаком, и Слуцкий холодно отрезал: «Об этом вы уж как-нибудь без меня!» Помолчал, преодолевая возникшую неловкость, сказал: «Трудно прожить жизнь, ни разу не оступившись. Да, за многое стыдно. Перед Межелайтисом тоже: взялся переводить его книжку «Человек», стихи не понравились, переложил их кое-как, едва причесав подстрочник. А потом эта книжка получила Ленинскую премию, и все зарубежные переводы принялись делать с моего русского текста...»

Стр. 146–156



Валентин Берестов / апрель 1981

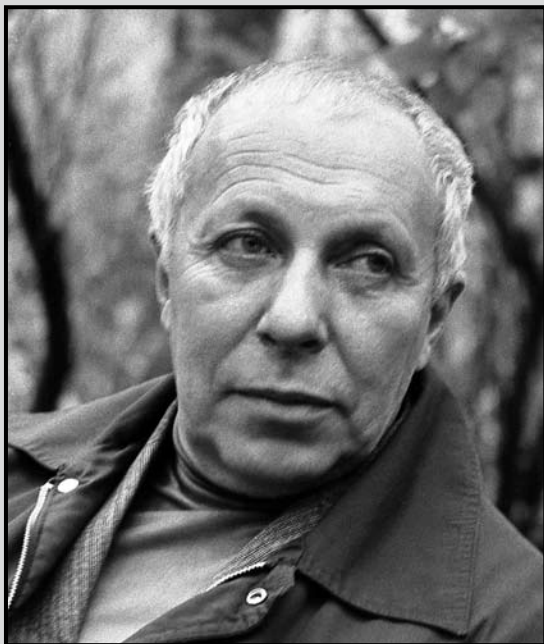
Случилось, у Берестова украли стихотворение. В общем неумышленно, по-дурацки все вышло: собрат-поэт нашел в своем архиве восемь строк, поразивших его настолько, что он сочинил на их основе тематический цикл. История примечательна тем, что плагиатор принадлежал к ученикам Сельвинского, которые ревностно соревновались в самобытности с учениками Маршака.

Я ненароком оказался рядом с Валентином Дмитриевичем, когда ему по телефону позвонил похититель. К разговору их не прислушивался, вообще вышел из комнаты, а когда вернулся, Берестов сказал:

– Интеллигенту очень трудно не извиниться, а вот неинтеллигенту сам факт извинения кажется унижением.

– Лев Адольфович извинился перед вами?

– Извинился я. За то, что не могу подарить ему это стихотворение, потому что оно давно напечатано.



Александр Межиров / октябрь 1980

*...турист немецкий «битте» произносит
и по-немецки рюмку шнапса просит.
Он хмур и стар, и взгляд его тяжел,
и шрам глубокий на лице помятом...
Ну да, конечно, он ведь был солдатом
и мог меня, голодного убить
под Ленинградом, и опять мы рядом.
За что, скажите, мне его любить?
Мы долго так друг друга убивали,
что я невольно ощущаю вдруг,
что этот немец в этой людной зале,
в «Национале» изо всех вокруг
понятней мне, как враг или как друг,
едва ли не единственный, едва ли...*

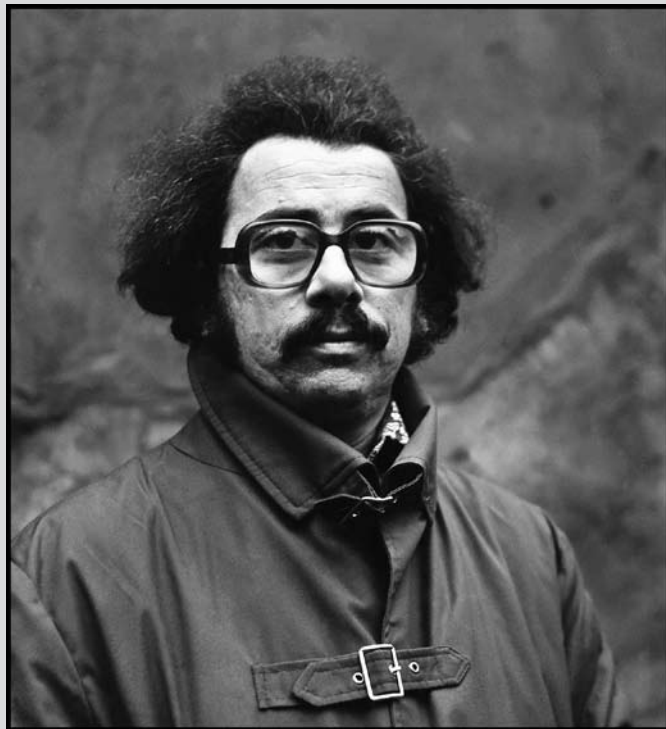
Стр. 342



Григорий Бакланов / февраль 1981

27.03.81. Приехав из командировки, обнаружил, что в мое отсутствие интервью с Баклановым вышло с купюрами: исчезла важная по смыслу фраза, а фотографию ополовинили, оттяпав руку. С текстом понятно: «Ад в нашей прозе описан подробно, потому что мы прошли через все его круги, а рая у нас пока никто не видел», – такое цензуре понравиться не могло. Но вот рука чем помешала?...

Стр. 336



Михаил Яснов / декабрь 1976

Едет Миша с шестилетним Митькой в питерском трамвае. Мальчишка, у которого с речью традиционные проблемы, кричит на весь вагон:

– Папа! Папа, а у трамвальчика хуль есть?

Народ справедливо возмущается:

– Такой мелкий мальчик, а уже матерщинник!

– Папаша, тут же приличные люди едут!..

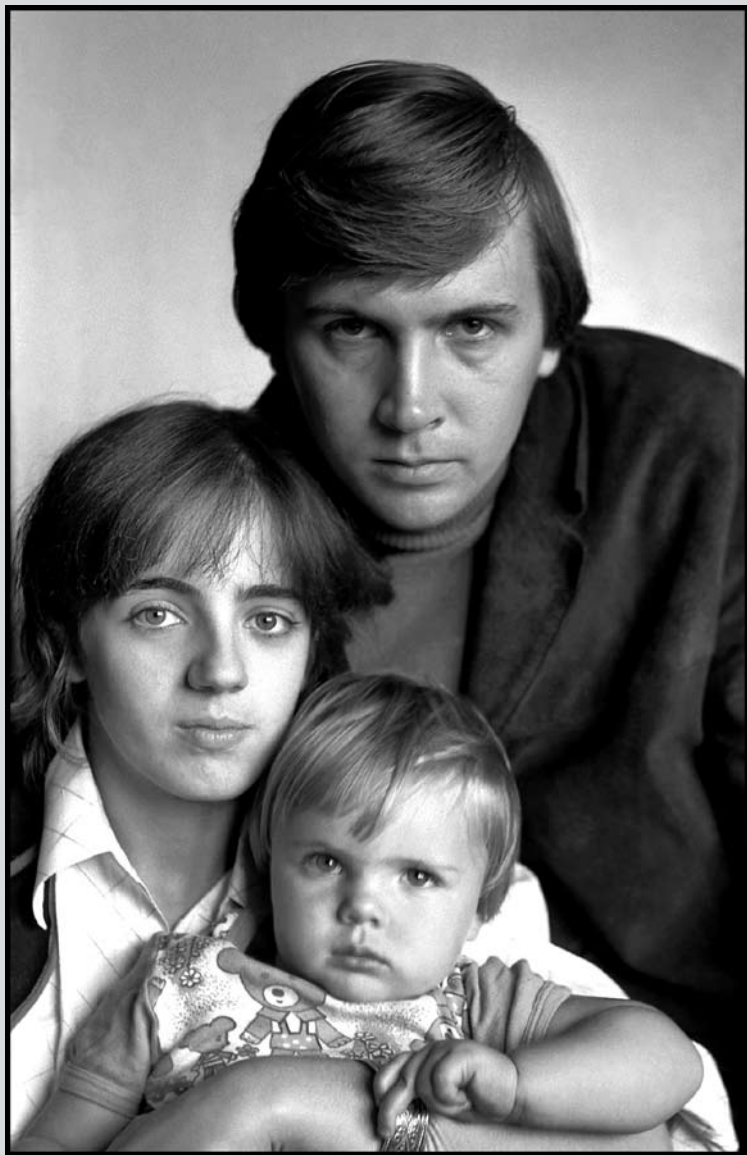
Тут Митька наконец-то выговорил:

– Папа, так есть у трамвальчика хххруль?..

– Нет у трамвайчика руля!

Когда Миша рассказал о происшествии жене, Лена отреагировала, как должно:

– Все-таки придется забрать Митю из детского сада.



**Семейство Черновых: Андрей, дочь Катя,
жена Майя с еще не явленным сыном Сашей**
Январь 1980



Юрий Куклачев и Марсель Марсо / Москва, 1977

06.03.76. Пока думал, как бы тактичнее сказать Куклачеву, что писать о нём не смогу, он ошарашил вопросом:
– Как получить Ленинскую премию, а?
– Сначала получи хотя бы Заслуженного, потом премию Комсомола или какую другую, попроще...
– Да это все у меня через год будет!

Стр. 307



Григорий Остер / февраль 1980

Пришел с мороза Гриша и застал у меня двух батюшек из киевской Лавры. Отцы Михаил и Николай уже устали доказывать, что всю христианскую линию в «Мастере» Булгаков списал из книжки Ренана «Жизнь Иисуса», и новому гостю очень обрадовались. Гриша отогрелся и взял батюшек в оборот:

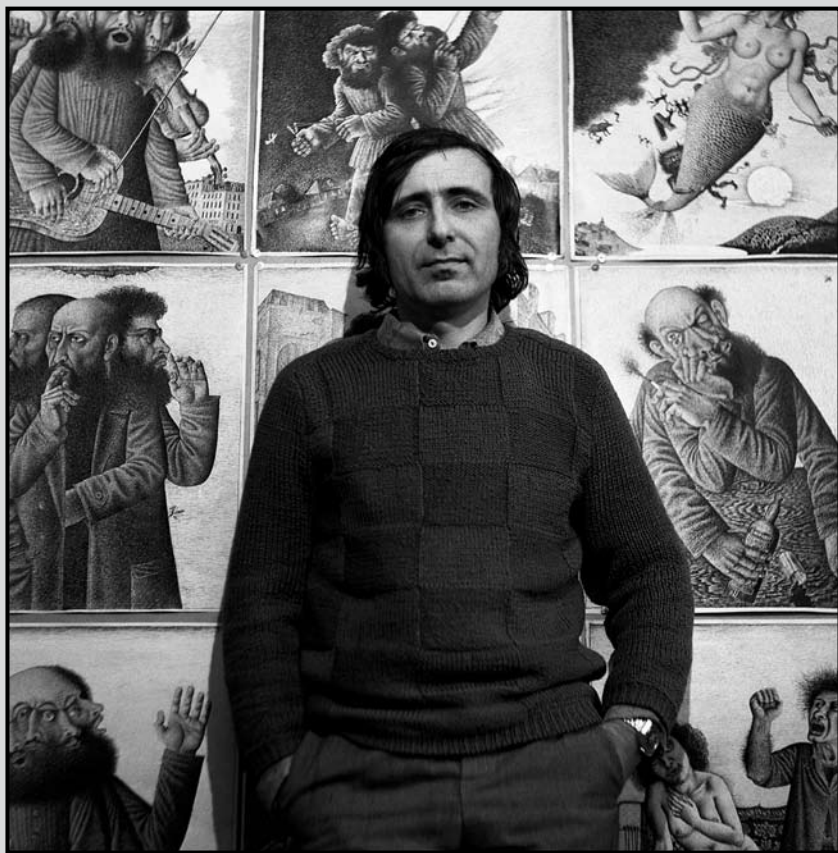
– Нужно срочно Библию переписать! У этой и перевод скверный, и вообще все в ней непонятно. Что такое: «В начале было Слово, и Слово было «Бог»? Что за Слово такое?

Батюшки хором:

– Троиное, триипостасное Слово...

– Да глупости! Напишем так: «В начале был Генетический Код. Код был у Бога...»

Батюшки поспешно бежали с поля ереси. Пообещали завтра прийти и окропить мой дом по всем углам.



Валерий Мишин / Ленинград, осень 1978

Октябрь 1980. В доме у Валеры и Тамары поэзией пропахли все углы, и теперь стихи пишет их шестилетний сын Даня:

*Раз пришла на кухню мышка,
На нее упала крышка.
Мышка думает: мне крышка!
Но пришла на кухню кошка,
Чуть не съела кошка мышку.
Мышка думает: немножко –
И была бы снова крышка!*

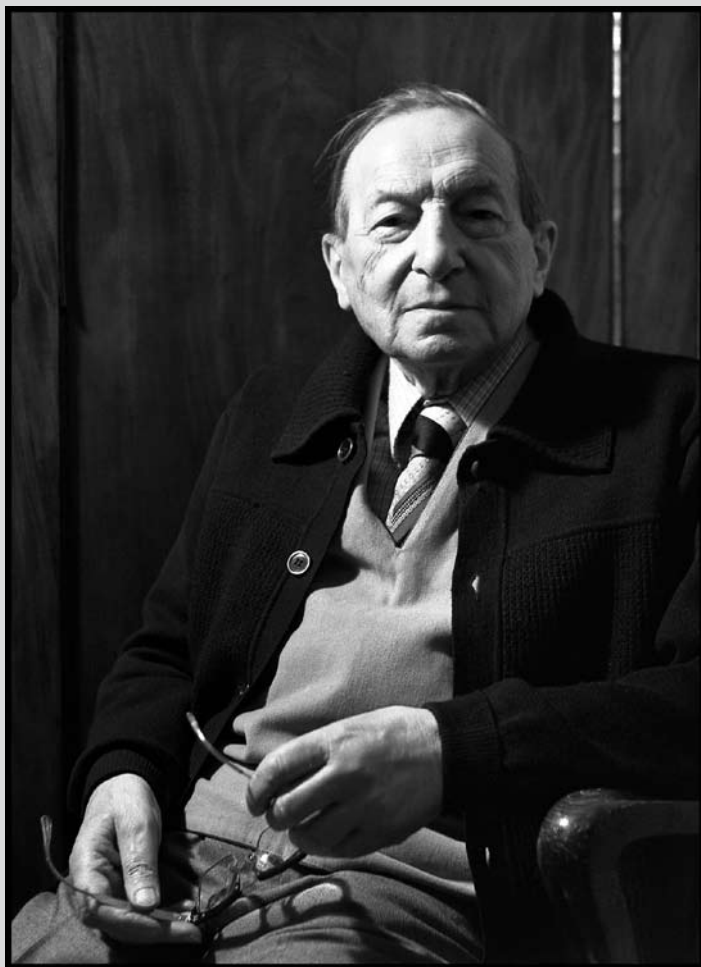
Стр. 332, 334



Юлия Гукова / январь 1980

14.10.94. На своей большой персональной выставке, где в основном представлена замечательная книжная графика, Юля дает интервью: – Когда я читаю любую книгу, мне не очень важно, что хочет сказать автор, какие цели он перед собой ставит. Волнует не его некая идея, а возникающие образы, цветовая гамма, свет... Хорошо, что писатели ее не слышат, – вот бы порезвились. А художнику в таком случае один совет: ты лучше не говори – просто рисуй!

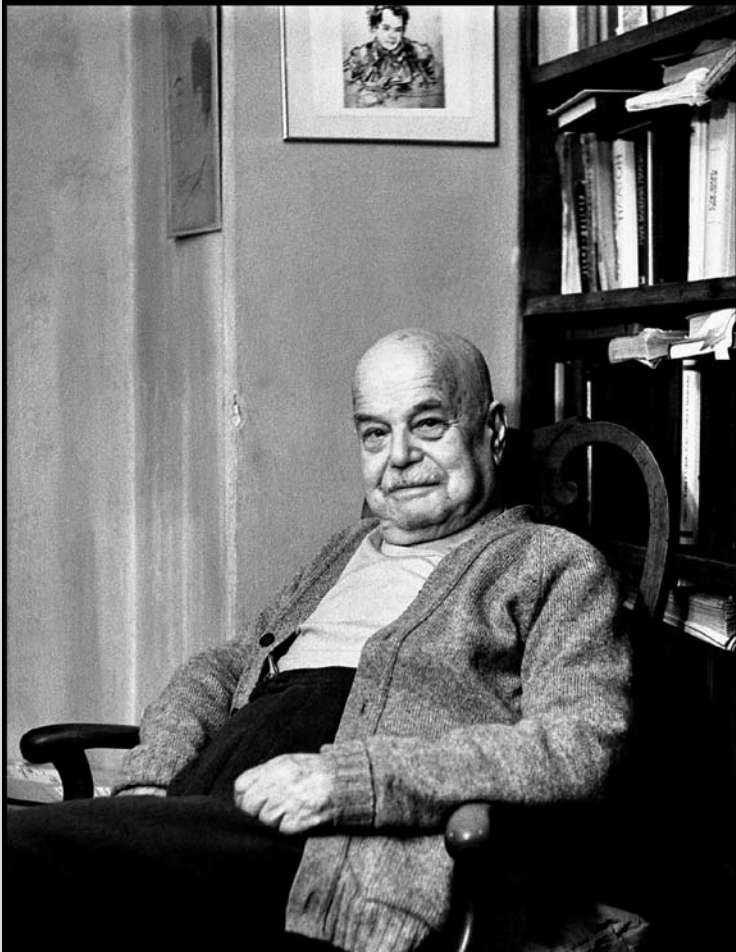
Стр. 425–426



В. Каверин / апрель 1982

– Когда я писал роман «Скандалист, или Вечера на Васильевском острове», я просто ходил за Шкловским по пятам, записывал его словечки, детали поведения... Сначала Виктор от меня бегал, потом махнул рукой: ходи, только под руку не суйся. И приклеил мне прозвище: «завод утильсырья имени В.Каверина».

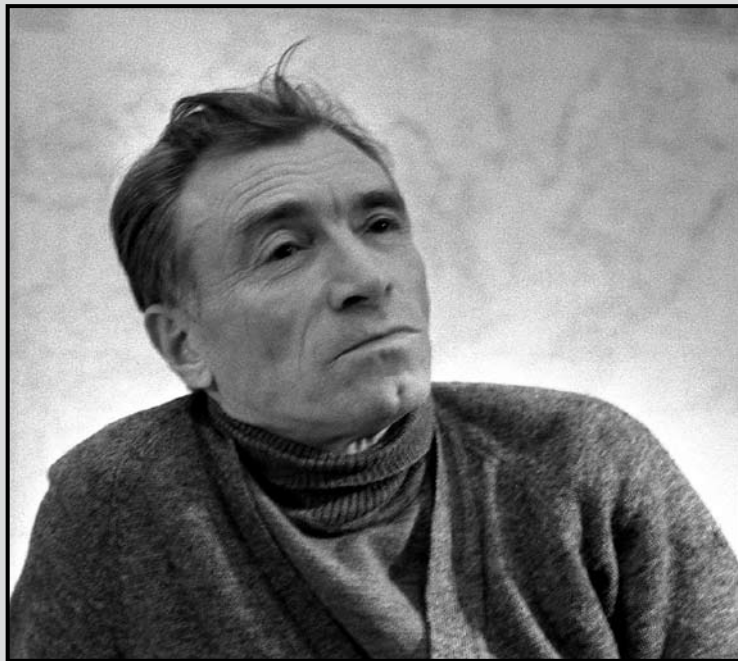
Стр. 343



Виктор Шкловский / январь 1983

«Знаю ли, что такое ничто, как закругляется сожженная сторона под названием жизнь? Пойму ли, как велика эта степь, и что будет за ней? ...Скажу пошлость. Есть только неумирающие деревья. Есть и будут после тебя. Они зеленеют и с каждым годом уходят от тебя... Найти свою жизнь человеку труднее, чем дереву. Понимание этого удерживает от зависти к ним... Жизнь – штука упорная. Смотрит глаза в глаза, вспоминает сама себя и даже ссорится сама с собой. Для того, чтобы полюбить кого-то, надо жить...»

Стр. 162, 348



Виктор Конецкий / порт Ленинград, январь 1985

– Юмор – свойство молодости. До тридцати лет из меня потоки острословия фонтаном били. И флот, конечно, сильно повлиял – он ведь одной ногой стоит в воде, а другой в юморе. Но с возрастом чувство юмора неизбежно трансформируется, это и по гениальным людям видно. Посмотри на Чехова, Зощенко, даже на Шоу. Как они любили смеяться в юности, и куда это к зрелым годам делось? Чехов в последние годы вовсе перестал быть смешным, Зощенко стал трагическим... Если верить Киплингу, когда смеются слоны, они вообще не издают звуков. Стоят в тени пальмы и просто трясутся от хохота. А я и пальмой для смеха не обзавелся...

Стр. 157–162



Виктор Астафьев / Красноярск, ноябрь 1982

Вышли на берег Енисея, постояли с разговором, пока не прогнал прочь колючий злой ветер. Подняв воротник дублёнки, Виктор Петрович предложил:

– Давай к Зорьке Яхнину на чаёк заглянем, он рядом живет. Погреемся. Только вот что, ты при нём евреев не ругай, ладно?

– Вы слышали, чтобы я их ругал?

– А ты что, хорошо к ним относишься?

Сказал, что у меня в записной книжке таковых – фифти-фифти, и на кого могу положиться – это еще посмотреть. Тут же напомнил Астафьеву про двух «военных» писателей, которых он хорошо знал: и кто из них лучше, как человек?

– Сравнил тоже! – буркнул Виктор Петрович. – Гриша святой, а Юрка порядочная сволочь, даже Гришу в свое время продал за здорово живешь, глазом не моргнул.

– А у кого из них анкета на пятый пункт хромает?

Астафьев обезоруживающе отмахнулся:

– Гриша Бакланов такой хороший, что даже... не еврей.



Игорь-Кир Можейко-Бульчев / 1985

Хотел Кир Бульчев получить гонорар, а деньги не выдают – выписали не на паспортную фамилию, а на псевдоним. Пошли к ответственному секретарю. Тот пожал плечами:

– Можейко так Можейко.

– Это еще не все, – говорит Бульчев. – По документам я не Кир, а Игорь Всеволодович.

– А Кир откуда взялся?

– Мою жену зовут Кира.

Тут ответсек не сдержался:

– Превратили литературу черт знает во что!

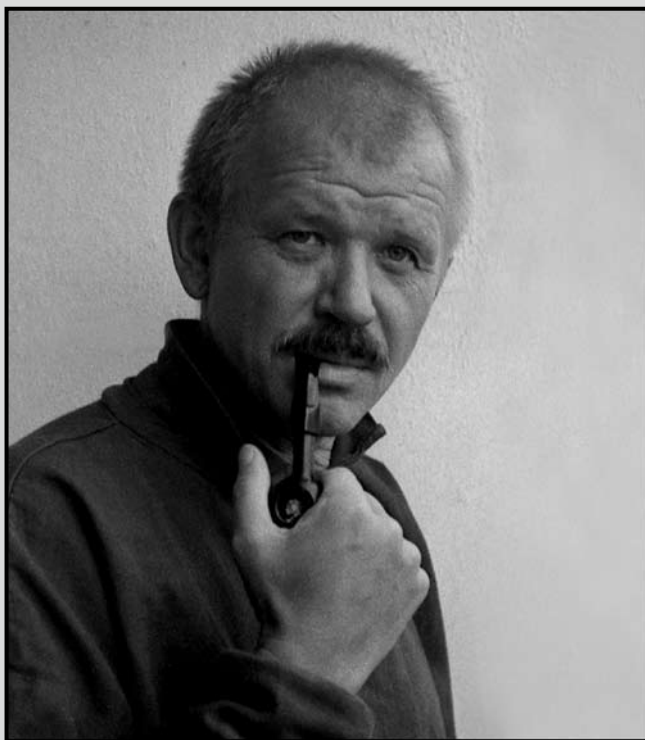
Стр. 209, 370, 388



Александр Володин / май 1988

Когда душа требовала долива – прогуливался до ближайшей рюмочной, в подвальчик на соседней с Большой Пушкинской улице. Как-то раз зайдя туда с Володиным, в духоту, звон посуды и шум голосов, я на несколько минут потерял писателя из виду, столь органично растворился он в говорливой толчее. Здесь он был *с в о й* – завсегда так уважительно величали Александра Моисеевича «батей». Но Володин вовсе не был открыт всем и каждому без разбора, и тебе давал совет: «Никогда не пей с неприятными людьми!»

Стр. 163–172



Геннадий Русаков / август 1988

* * *

*Славно мы на костях поплясали –
на останках, завещанных нам!
Колокольни врасхлыст отрясали,
били «бабой» по отчим стенам.*

*У грядущего стоя на стреме,
полбылого зачисля в старье,
мы потешились в собственном доме,
как чужое, корежа свое.*

*Чьи мы дети в десятом колене?
Кто запомнил родительский дом,
на его преждевременном тлене
воздвигая стеклянный Содом?..*

Стр. 373–374

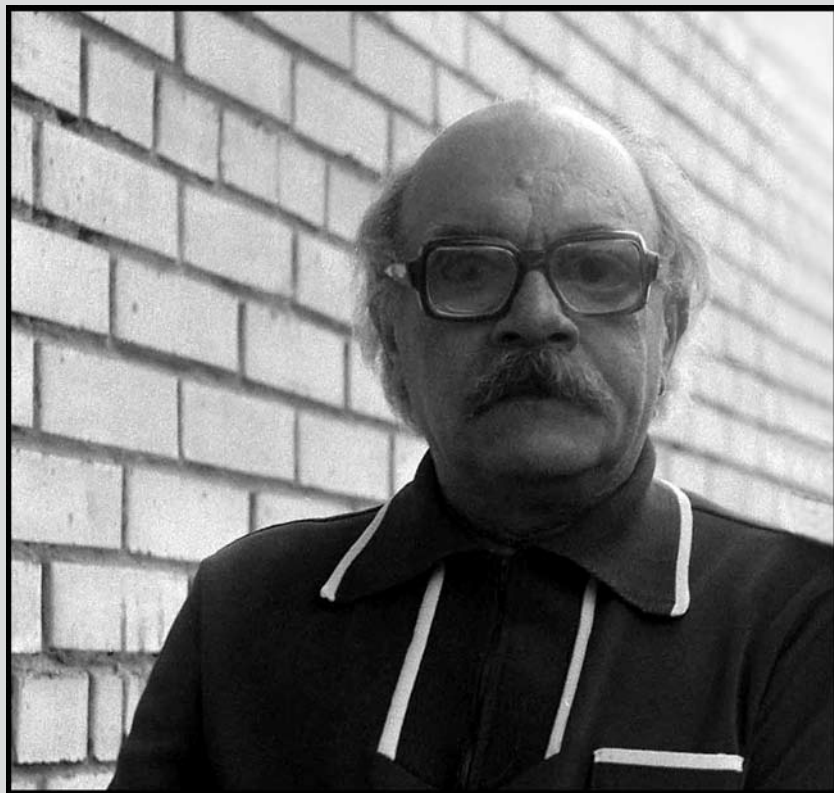


Дмитрий Лихачев / июль 1991

«...Сказано: «Всякое совершенствование начинается с сердца и совершается в свободе». Наш век опередил все века в опыте страданий, в опыте безверия, в опыте насилия и войн. Мы должны начать и открыть собой новую свободу – свободу творческую и истинно духовную. Мы должны помнить, что личины прикрывают ложь и сами лживы. Лицо же – слито с правдой.

Каждый из нас должен жить в правде своей ЛИЧНОСТИ, стремиться создать общество индивидуальностей, – новое общество, в котором нет одинаковости».

Стр. 220, 392



Давид Самойлов / октябрь 1982

– Недавно один известный критик предложил мне составить список поэтов, которых, по моему мнению, будут читать в XXI веке. Я ответил очень коротко: надо быть полностью лишенным чувства юмора, чтобы составлять рекомендательные списки нашим потомкам – как бы они над нами не посмеялись. Вкусы меняются, и прогнозировать достаточно трудно. Я тут думаю вот что. Сейчас происходит стабилизация поэзии. Очевидно, она будет происходить еще лет двадцать. Возможно, тогда и придёт очень сильное новое поэтическое поколение.

Стр. 346, 349, 351



Олеся Николаева / лето 1975

В феврале 1994-го в Москву приехали Синявские. Собрали на старой диссидентской квартире два десятка литераторов из различных лагерей – с одним вопросом: как разрешили Ельцину расстрелять Белый дом? Говорили резко, без обиняков. Когда очередь дошла до меня, сказал:

– Я, как русский обыватель...

Следующей говорила Олеся:

– Я, как русский писатель...

Стр. 294, 339, 402, 407



Синявский и Розанова в своей бывшей московской квартире / 1995

* * *

*В нашей прекрасной, великой, могучей стране созидания
жили два друга Синявский и Даниэль.*

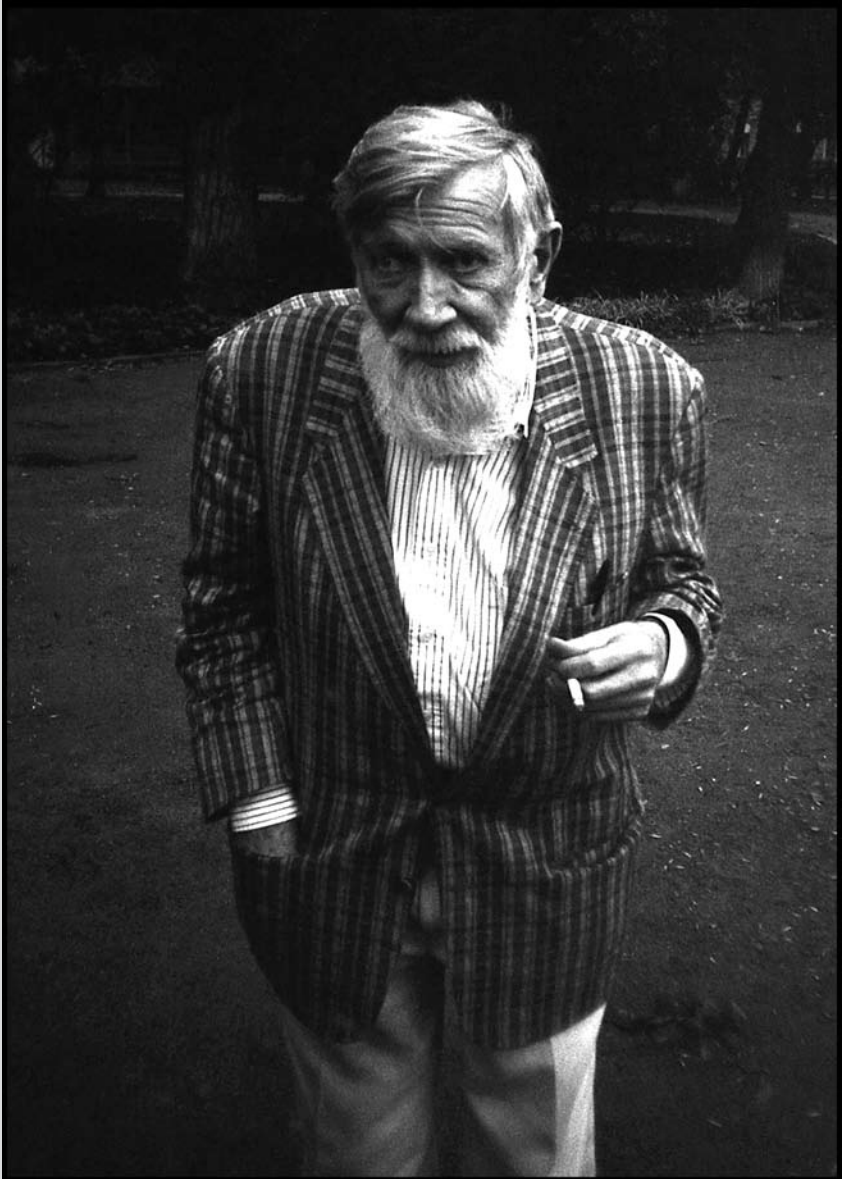
*От гидр капитала они получили задание –
поносИть и поноСить социализма светлое здание.*

*Они написали разные грязные пасквилы,
где о стране эССеСеР искаженный рассказ вели,
но тут их поймали так быстро, что даже не пикнули
(очевидно, преступники были очень опасны).*

*И суд наш гуманный, но одновременно карающий,
осудил тех товарищей (ну, нам-то они не товарищи).*

*И сказал им: «Уж раз вы, ребята, проштрафились –
поезжайте-ка, братцы, на самый конец географии...»*

(Студенческий фольклор 70-х)



Андрей Синявский / сентябрь 1995



Николай Булгаков / Гульрипш, ноябрь 1983

Утром плотник Нодар – большой поклонник всех живых писателей в Доме творчества «ЛГ» и Фазиля Искандера в отдельности, спросил:

– Писателя, который носом на Гоголя похож, как зовут?

– Булгаков, – говорю.

– Он что написал?

Хотел пошутить: «Мастера и Маргариту», но вспомнил, что родом Нодар из Сванети, и шутить передумал.

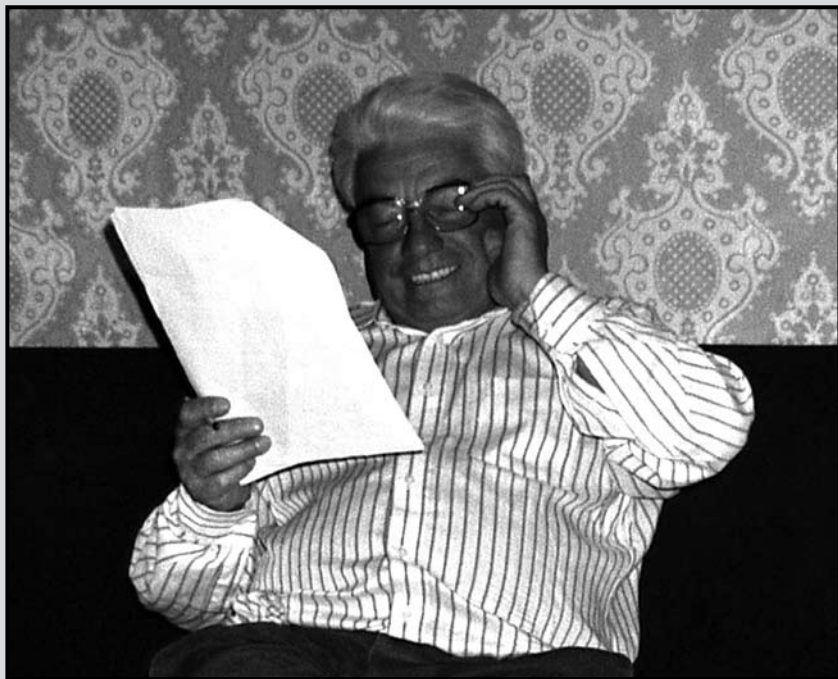
Стр. 355–356



Юрий Нагибин / На могиле Пиранделло. Италия, 1990

– Плевал я на союз таких писателей! Они все меня ненавидят, – говорил, и голос у него дрожал. – За то, что ни разу не был на их сучьих собраниях, не подписывал их групповых погромных писем, никогда гроша ломаного не просил. И свой юбилей я здесь отмечать не буду. Поеду на Сицилию, в Джирдженто. В Италии меня знают, там пять моих книжек вышло. Там и напьюсь в свой день рождения, на могиле Пиранделло... А назад проеду через Венецию – заберу своего «Золотого льва», которым меня горожане наградили. За все, что я за полвека в литературе и кино сделал. Пусть моим соплеменникам стыдно будет!..

Стр. 338, 386, 397–398

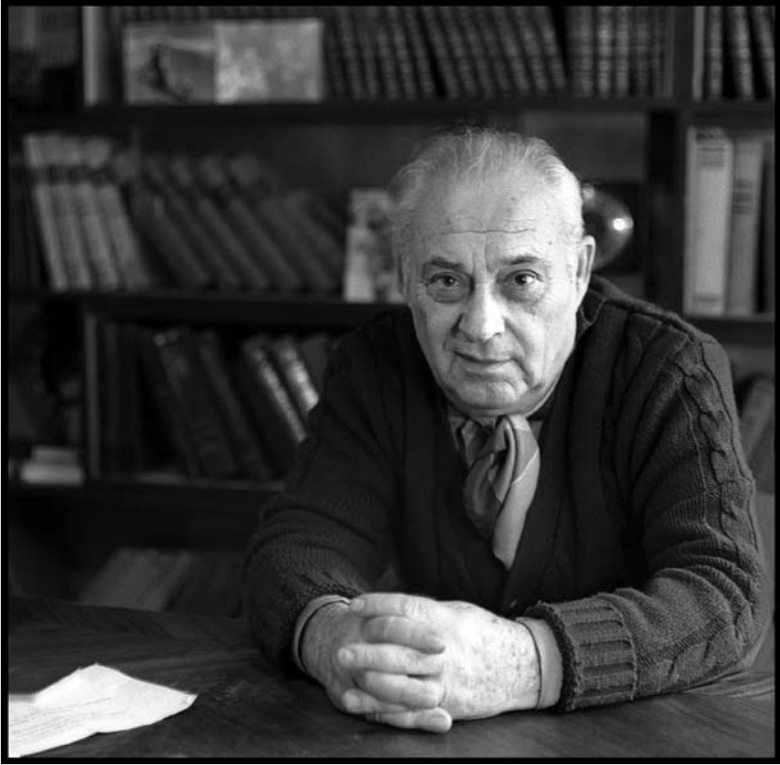


Владимир Войнович / май 1994

«Позвольте через вашу газету выразить мое глубокое отвращение ко всем учреждениям и трудовым коллективам, а также отдельным товарищам, включая передовиков производства, художников слова, мастеров сцены, Героев Социалистического Труда, академиков, лауреатов и депутатов, которые уже приняли или еще примут участие в травле лучшего человека нашей страны – Андрея Дмитриевича Сахарова».

Открытое письмо В.Войновича в газету «Известия»
(Январь 1980)

Стр. 125



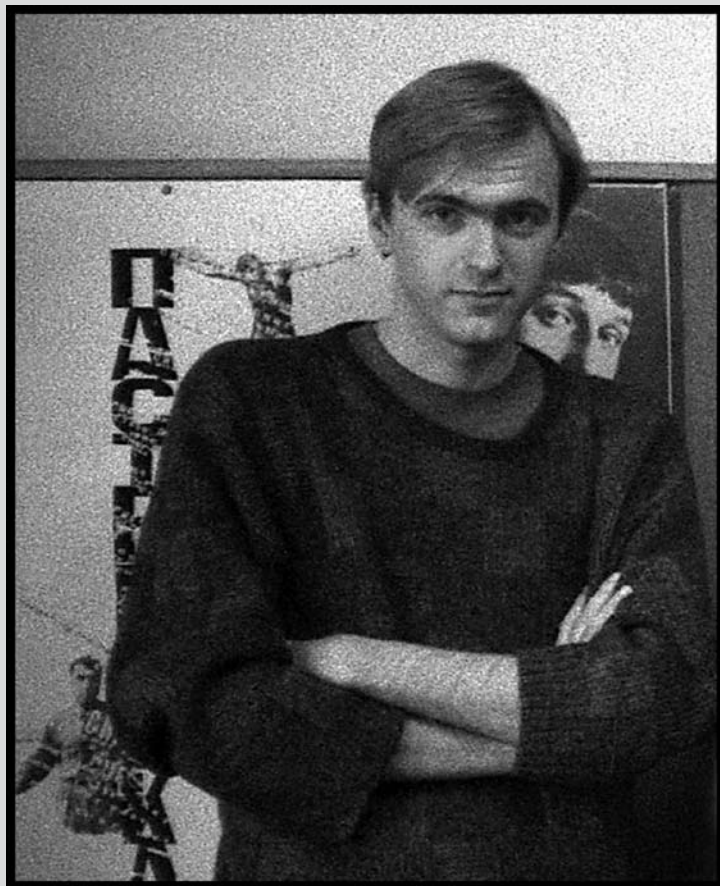
Анатолий Рыбаков / Переделкино, январь 1986

23.01.86. «Дети Арбата» – роман подчеркнуто автобиографический. Хотя, конечно, действительное в нем художественно трансформировано. Это моя главная книга. Прежде у меня не было автобиографических книг о войне, а тут, во второй части, я буду описывать события, в которых сам участвовал: битва под Москвой, Сталинград, форсирование Вислы и Одера, штурм Берлина...»

Весь этот абзац вылетел из интервью вместе с вопросом: «Над чем работаете?» Было без чего-то десять, я позвонил Колосову домой, и гнев главреда был страшен:

– Мало того, что вы звоните ночью, так еще и объяснений требуете! Это я требую, чтобы вы завтра же написали объяснительную записку, зачем хотели протащить в газету *антисоветскую* (!?) информацию!..

Стр. 362–363



Денис Новиков / 1990

Когда в 92-м Денис выпалил: «Ребята, купите мне два кило марихуаны, и я напишу гениальную книжку», все посмеялись. Шутка стала дежурной, а потом перестала быть шуткой. Тогда в жизни Дениса уже была другая англичанка, новые друзья, и лучшим городом Земли нарекся Амстердам. Через три года у него вышла первая книжка стихов – «Окно в январе», американская, с послесловием Бродского. Даря ее, Денис был горд и по-настоящему счастлив. И уже абсолютно без тормозов. Беря его на работу в обреченный на закрытие журнал «Стас», я прямо сказал: «И на дозу заработаешь, и на глазах будешь».

Стр. 383, 389, 391, 434–435



Ксения Драгунская / 1986

21.02.83. Первый молодой писатель, которого встретил на совещании в Рузе, – Ксюша Драгунская. Когда видел ее в последний раз, было ей лет 10–12, а теперь – вполне зрелая леди.

Поднимаюсь по лестнице, а она сидит на перилах и качает ногой.

– Слезь сейчас же! – говорю.

– Что, дяденька у нас морализатор?

– Нет. Но дяденька своими глазами видел, как человек навзначь падает в лестничный пролет.

Фыркнула, однако с перил тотчас слезла.

Стр. 350–351



Михаил Успенский / Ленинград, 1988

06.04.88. Пришел прозаик Станислав Г-рин – в прошлом алкаш, а нынче радетель Всесоюзного общества «Трезвость». Радостный: к нам Коля Бурляев примкнул (ожидаемо – читали, как Высоцкий ему в «Эрмитаже» первый стакан водки налил, и понеслось). Тут влетает Миша Успенский – услышал конец разговора и встрял по-простоте:

– Я как раз пишу одну штуку, там завязавшие мужики носят по зоопарку два ведра водки и суют под нос всем зверям – ищут, кого бы символом общества «Трезвость» сделать.

– Очень остроумно! – взорвался Г-рин и ушел, саданув дверью.

Стр. 386



Татьяна Толстая / июль 1991

12.07.91. Татьяна Никитична рассказывает:

– В Штатах сыновья стали отвыкать от родного языка. И теперь, вернувшись, читают все подряд, что русскими буквами напечатано. Едем в электричке, они крестословицу в «Огоньке» разгадывают. Алеша читает вслух:

– «Крушение всех надежд, провал всех планов, полное поражение». Слово из шести букв, вторая – «И».

Тёма, у которого мат – разговорный язык, до потолка подпрыгнул:

– Неужели?..

Оказалось, все-таки ФИАСКО.

Стр. 343



Людмила Петрушевская / январь 1991

08.03.2003. Людмиле Стефановне позвонила Токарева: нужен совет – завязла в новой повести и никак не сообразит, что ей делать с главной героиней.

За Петрушевской не заржавело:

– А знаешь, Вика, сделай-ка ты ее круглой дурой!

Тонкий совет, если помнить, что все свои книжки Виктория Токарева пишет от первого лица.

V

Из дневников
и записных книжек

«Жизнь есть упускаемая и упущенная возможность»

Андрей Платонов

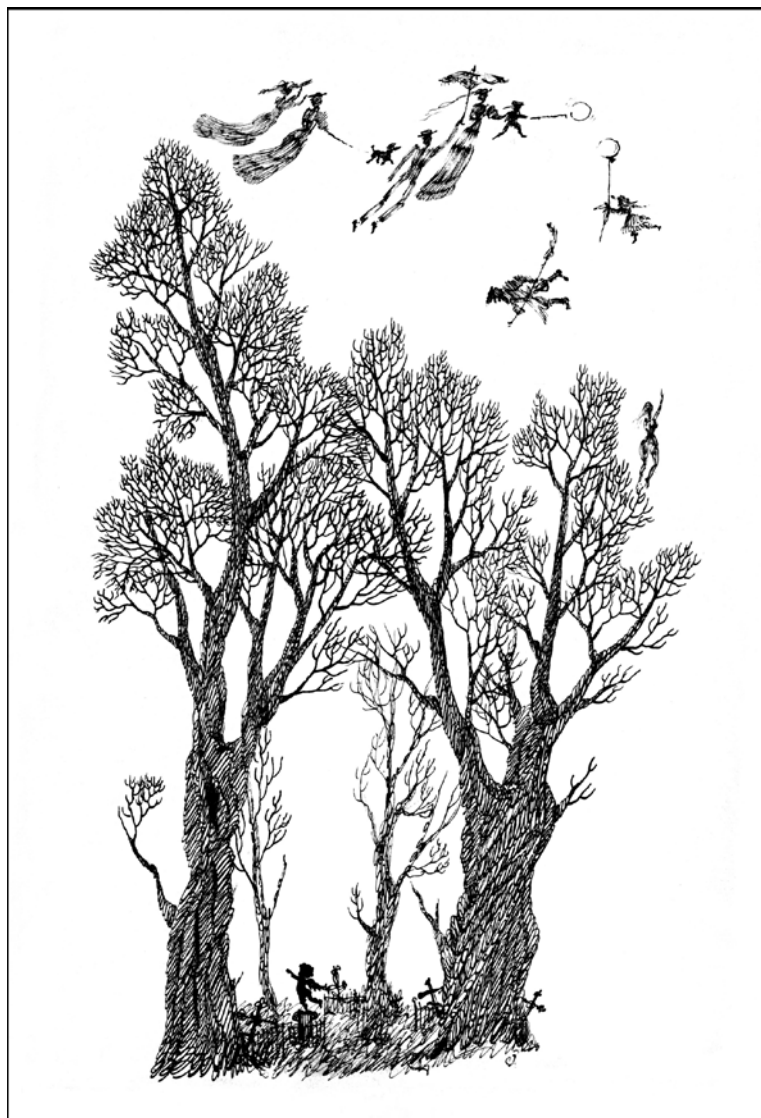


Рисунок И.Зайцевой, 1975

1967

03.01.67. В новой школе нам преподают историю искусства (эксперимент такой: нужна она или нет). Ведёт оную дисциплину Саша Лазарев, заодно учащийся на театроведческом ф-те ГИТИСа. У него завидные друзья, вроде барда Кима, которого он подарил нам под Новый год. Еще приходил актер Борис Хмельницкий из театра на Таганке. Яркий парень, все наши девчонки скопом повлюблились. Пел, подыгрывая себе на фо-но. Прощаясь, «пригласил приходиться» в их театр (с таким же успехом мог *пригласить слетать* в Париж).

Дома траур, со мной никто не разговаривает: полугодие закончил прискорбно – пять пятёрок (по русскому / литературе, истории, географии и истории искусства) и шесть двоек (по всем остальным), которые обязан исправить до начала лета. Иначе...

Школа окончательно обрыдла, ноги туда не идут – девять лет каторги! Понимаю зеков, которые бегут из зоны за месяц до конца срока.

07.01.67. Зашел в любимую «Книжную находку», за памятником Первопечатнику, и глазам не поверил – спокойно лежит на прилавке книжечка Голомштока и Синявского о Пикассо (зевнули товароведши, поскольку фамилии авторов на обложке не указаны). И ладно, что уже библиографическая редкость (семь лет назад издана), да за смешные 19 копеек (!). Но ведь едва год минул после процесса, из читален всё изъято, предисловие Синявского к тому Пастернака из большой серии «Библиотеки Поэта» повыдирали... Год – и всё уже забыто!

10.01.67. В Польше погиб Збигнев Цыбульский – сорвался с подножки поезда на рельсы, опаздывая на съёмку. Есть что-то фатальное: под стук колес умирал его Мачек в «Пепле и алмазе», по вагонам поезда мечется влюбленный Сташек в фильме Кавалеровича, поезд привозит из ниоткуда и увозит в никуда героя «Сальто»...

И Евгений Урбанский пророчески сыграл свою гибель в картине «Большая руда».

23.01.67. Приезжала мама подруга тётя Зина: гутен абенд унд зо вайтер... Хорошо, что она преподаёт немецкий, а не литературу. Впрочем, ей самой без разницы – она одинаково не любит и то, и другое. Бедные её ученики, то-то она их весь вечер ругает. Спрашивает, что я читаю. Цветаеву, говорю. Удивляется: – Цветаеву? Она же упадочница!

– Вы сами так решили?

– Зачем же сама, нам в институте усовершенствования говорили.

– Ну, тогда совсем другое дело.

24.02.67. В Останкино – на районной изоолимпиаде. Сильно раздражало, когда подходят и смотрят через плечо.

– Что вы рисуете? – Пейзаж. – А почему он желтый? Это осень? – Осень. – А на деревьях что висит? – Листья. – Конечно, листья! Очень хорошо передано их трепетанье на ветру. И этот костер... – Это клён. – Конечно, клён! Очень хорошо!.. Просто японская живопись... вернее, графика. Настоящее восточное искусство!.. Тема была произвольная (с оговоркой, что «социальные мотивы приветствуются»), пейзаж был только у меня – у других: космос, заводские цехи, полевая страда...

27.03.67. Занял первое место на районной изоолимпиаде, получил диплом первой степени на городской и вот пожинаю плоды – после уроков все бегут гулять, а я ползаю на коленках в актовом зале и вывожу белилами по красной тряпке: «И на Марсе будут яблони цвести!»

01.05.67. Чудом не остался сиротой. Вечером отец смотрел телевизор, а я ему мешал – втыкал в пол его старый финский нож. Он отобрал у меня ножик один раз, второй. На третий – вспомнил фронт: взял финку за кончик лезвия, другой рукой оттянул за рукоять и, не глядя, метнул через плечо. Едва ножик воткнулся в дверь, она отворилась, и в комнату вошла мама – спросила, почему мы так галдим. Папа бровью не повёл, сказал: у сына спроси. А я потом полчаска раскачивал нож, воткнувшийся на уровне моего горла, пока его вытащил. Не представляю: *совсем один.*

02.05.67. «Неуловимые мстители» – вполне приличный вестерн, зачем-то посвященный «юным героям гражданской войны». У Крамарова роль самая маленькая, но золотая: «А вдоль дороги – мёртвые с косами стоят! И тишина!..» – лучшая фраза юбилейного революционного года.

10.05.67. Вчера у отца собрались фронтовые друзья, позвали за стол. Попросил налить и мне что-нибудь настоящее – уже можно: через три месяца шестнадцать стукнет, да и не пойду я из дома никуда. Фронтовики пили спирт, налили и мне треть стакана. Проинструктировали: набери полные легкие воздуха, глотни залпом, выдохни – не то слизистую сожжешь, и сразу закусывай. Выпил, как научили, говорю:

– Спирт у вас какой-то не такой – рот вяжет.

Отец:

– А ты его водой разбавил? Нет? Съешь что-нибудь и мигом спать!

– Погодите, – говорю, – я сперва тост скажу!..

Встал за столом (ноги уже были ватные, но голова работала хорошо), задумчиво повертел в руках пустой стакан:

– Помню, до войны дело было...

Что хотел рассказать – не знаю, потому что меня сразу унесли.



24.05.67. Летом прошлого года заглянул в свою бывшую школу, где было пусто и вовсю кипел ремонт. И увидел на стене... Джоконду: те же – спокойный взгляд, едва заметная полуулыбка. Наличие бровей и пионерский галстук совсем не мешают: такие лица вне времени. Леонардо на неё нет!.. Недолго думая, оторвал портрет с доски отличников вместе с гвоздями и отправился искать модель. Год искал, а нашел под боком – оказалось, дочь наших соседей по старому дому в Малом Кисельном, теперь тоже рядом живет – в соседнем подъезде. И я встречал её чуть ли не каждый день, никак не выделяя из толпы.

Итак, она звалась Татьяной...

29.06.67. Женим троюродного брата Серёгу. В загсе на Щепкина, переделанном из китайского посольства (год назад мы в него пузырьки с чернилами, в ответ на хунвейбиновы происки, кидали), вся процедура уложилась в десять минут. Вышли, забились в «Юность». Водитель завёл машину и врубил радио: – ...Раздвиньте ноги по ширине плечь!.. С хохотом, под марш утренней спортивной гимнастики, тронулись в новую жизнь.

01.07.67. Обитаю на Правде и каждое солнечное утро езжу в Абрамцево. Там тишина, тлен и запустенье, обращенная к пруду веранда ничем не напоминает ту, которая живет на коровинском этюде. Но стоит войти в гостиную ярким утром – часов в 10–11, когда Серов писал здесь Верушу Мамонтову, – увидишь тот же свет, те же краски. «Девочка с персиками» оживает на миг, но солнце уходит, и жухнет в углу деревянный гренадер. Волшебство кончается.

30.07.67. Серёга где-то раздобыл закордонный двухтомник Мандельштама, я умыкнул и за месяц перепечатал. В трёх экз. (заодно и машинопись освоил).

06.08.67. Отец часто оговаривался, называл меня Игорем, а сегодня я узнал, что так зовут моего сводного брата, и у отца давно есть другая семья. Дома это называется: я стал взрослым – меня посвятили в многолетнюю семейную тайну.

05.09.67. Мама вызвала отца, который месяц как переехал на другую квартиру, и он застал меня лежащим на диване: из предыдущей школы выгнали, а в прочие второгодника не берут. Отец с иронией выслушал мою одиссею, спросил:

– В соседней, которая на шестом проезде Марьиной Рощи, был?

– Там же одни головорезы!

– Среди них тебе самое место!..

Пока отец был у директора, дремал на пригреве, и когда они вышли на крыльцо – седые, с одинаковыми орденскими планками, – понял, что моя участь решена. Директор осведомился, в какой класс я пойду (можно и в 10-й, если за месяц исправлю «двойки» на «тройки»). Минуту подумав, спросил отца:

– Прокормишь меня лишний год? Я потом отработаю.

– Придётся, что с тобой поделаешь...

07.09.67. Возвращаясь вчера с дачи, увидел на Комсомольской пл. объявление о приёме в Молодёжный театр-студию. Зашел в ЦДКЖ, спросил, где Левин сидит. Показали. Там как раз все были в сборе, говорят: читай стихи. Начал с выражением декламировать «Послушайте!..» – все хохочут, и чем дальше, тем сильнее. Оказалось, это не театр, а литературное объединение «Магистраль», и Левин мне нужен другой – этажом выше. Поднялся наверх (там тоже полна коробочка), рассказал, как приняли меня за поэта, – все от смеха попадали со стульев, и трепача взяли в труппу. И ещё Нину Чуб, в которую я тут же влюбился: звезда!



Нина Чуб

07.11.67. Премьера «Большевиков» Шатрова в «Современнике»: гениальный Евстигнеев-Луначарский – только за ним и следишь. А Вертинская-Крупская на поклоны вышла в мини-юбке (это здесь называется: «свято чтим мхатовские традиции – не разрушаем целостность спектакля»?). Вершина режиссуры: хором с залом петь «Интернационал».

28.11.67. Чудовищный «Джон Рид» в Малом театре. В роли Ленина – Ильинский! С гримом Анджан преуспел, но всё сходство пропало, едва Игорь Владимирович раскрыл рот, – вылитый «инвалид» из «Праздника св. Иоргена». Интересно, как отнёсся Рубен Николаевич Симонов к провалу своего отпрыска и дерёт ли его ремнём? Право, стоило бы.

Сценка в метро на «Комсомольской»: вагон полон, двери уже поползли, как в них протиснулся, всех растолкав, энергичный мужик с пакетом молока за пазухой – утрамбовал задом пассажиров, и когда двери закрылись, из вагона раздался пронзительный визг: все стёкла в брызгах молока. Доехал ли мужик живым до следующей станции?

1968

11.01.68. В «Москве» премьера фильма «Святослав Рихтер» – музыканта минимум, зато человека слишком много: кушает на природе черную икру и угощает коньяком птичек, раздаёт автографы и утомлённо загораживается ручкой, строит на крутом берегу Оки то ли баню, то ли сторожевую башню... Сам маэстро в кинотеатр не приехал, зато жена выступила за двоих – отобрала у киношников врученные им цветы и сказала в микрофон, что будет справедливо передать их великому Святославу Теофиловичу.

02.02.68. Если бы не громоподобный голос из матюгальника на крыше гаишной «волги», бабульку вовсе никто б не заметил – шла себе неторопко от «Националя» к Александровскому саду. А тут на всю площадь: – Гражданка с мешком, вернитесь! Она уже на середине Манежной, никакого резона ей нет ворочаться, а гаишник из своей машины опять: – Гражданка с мешком!.. Теперь уже вся улица остановилась и глядит, чем цирк кончится. И мент взорвался: – Стой, бабка, твою мать!.. Покраснела милицейская бибика, сорвалась с места, а бабка так и учапала прочь.

14.03.68. «Сто четыре страницы про любовь» в полумёртвом «Ленкоме». Уверяют, Радзинский очень талантлив, но верится с трудом (пробивной – да, но и только): примитивно и фальшиво всё, от ситуации до текста, который звучит пародийно донельзя: «У вас самые красивые глаза в СССР...» – бррр! Говорят, в роли Наташи Сидоркина на голову выше, однако еще раз посмотреть этот ужас с Сидоркиной...

28.03.68. Погиб Гагарин – разбился в простом учебном самолёте. Повальное ощущение всенародной потери. А в молочном магазине шамкающая бабка ведёт в очереди религиозную пропаганду: – Вот Юрочка слетал в космос, говорил: никакого Бога там не видел. А Боженька возьми да и брякни его об землю: не подымайся!

04.04.68. Ночь отстояли за подпиской на четырёхтомник Хемингуэя. Весело: жгли во дворе костер, травили анекдоты. Вечером я был 313-м, после утренней переклички стал 128-м, и к полудню получил заветный квиточек. Когда уходил – у входа в магазин несколько парней продавали подписку за 100 рэ.



12.04.68. Был у отца – просил прочитать, что он про войну написал. Пришел к нему днём, когда его жена на работе, а мой сводный брат на продлёнке в школе. У папы диабетический приступ: едва встаёт, выглядит хуже некуда. Странно видеть родного человека в чужой квартире, где и запах не такой, как в нашем доме, среди несвойственных ему вещей и предметов, которые выдают полное отсутствие вкуса. На стене красуется абсолютно идиотический портрет Ленина, вышитый жёлтыми крестиками на голубой тряпочке. Отец проникновенно сказал: – Это Вера вышивала! Я вдруг чётко осознал, что больше в этот дом приходить не буду, и отец это понял: – Звони хотя бы... иногда...

Отец

16.04.68. Нина Чуб принесла пьесу Володина «Пять вечеров» – удивительный текст, живой и бездонный. И у меня есть шансы играть с Ниной – если она Катя, то я Славка. За неделю переписал пьесу – вся поместилась в обычную общую тетрадь. Оказалось, зря – у Левина свои планы: намеревается ставить давно умершую дешёвку Горбатова – **нужно!** – про «коммуна номер раз». Тоска!

23.04.68. Неделю назад лишился часов. Возвращаясь ночью с репетиции, решил срезать дорогу напрямик от Рижского вокзала, через свалку, где и нарвался на шайку пацанов: шестеро – убежать и драться глупо. Денег было мало, а «котлы» мои им приглянулись (дорогие – отец подарил на 15-летие). На другой день после уроков Болихов повел меня к марьинорошинским паханам Буратино и Маэстро – оба в один голос: первый раз слышим, но разузнаем. И позавчера какой-то шкет подвалил на перемене: твои? (ремешок уже успели поменять на браслет). Сегодня в первом часу ночи иду той же дорогой – опять базланят на том же месте: – Привет, Жорик! Сколько времени на твоих золотых?..

28.04.68. «Три тополя на Плющихе»: из банального рассказа Лиознова сделала прелестный фильм, поэтичный и нежный. Когда Доронина пела в машине – дыханье перехватило, такие у Ефремова были глаза. А когда она металась по квартире в поисках ключа, соседка слетела с резьбы – завопила на весь «Ударник»: – Да вон же он, на углу чемодана лежит!..

08.05.68. Бедная словесница со мной вконец измучилась – писали сочинение о лирической поэзии (ясно, по классикам), а я накачал по Евтущенко, Окуджаве и Ахмадулиной, в конце ещё и Высоцкого добавил – про «украл весь небосвод и две звезды кремлёвские впридачу». Кончилось тем, что Эсфирь Пална всему классу сочинения вернула, а мне нет – топала ножкой, кричала: не знает, что ставить. Сегодня задержала после уроков: – Я в рону ездила, советовалась. Сказала, что следует оценить на «двойку» – не на тему ведь, список поэтов странный. А там прочитали и велели поставить «пять»... Давайте, поступим по-справедливости, сойдёмся на «четвёрке»? – Давайте, я покладистый.

24.06.68. Собачья выставка в Краснопресненском парке: Нина Чуб со своими фоксами Пегги и Капитаном Флинтотом, я с нашим дурным японским хином. В итоге мы получили мелкие алюминиевые побрякушки, а Флинт ещё и чашку без блюдца. Вообще здесь тоже блат: пуделёк с перебитой спиной и волочащимися задними ногами удостоился «золота», потому что его хозяйка – Валентина Терешкова (у чумного пса такая надменная морда, будто и он осознаёт великую важность космических полётов).

Разговоры на выставке очень смешные:

– Посмотрите, какой экстерьер у кобелька Богословского...

– Что ни говорите, но сука Новосельцева...

Кругом музыка и собаки: собачий вальс.

27.08.68. Отец приехал на Правду с запоздалым поздравлением – первый раз пропустил мой день рождения (в Крыму отдыхал). Подарил роскошный этюдник, набор масляных красок и два десятка кистей – не теряет надежды, что я в художники пойду. Выпили бутылку вина и тут же поругались (из-за Праги – отец считает, что мы там всё делаем правильно). Потом взял меня за шиворот и увёл в поле. Сказал:

– Ты знаешь, что тебе нельзя идти в армию? Потому что ты оттуда живым не вернёшься – забудь тебя за твой язык сапогами в казарме.

– Другого варианта нет?

– Есть, ещё страшнее. Едва тебе дадут автомат, ты или замполита застрелишь, или положишь всю свою роту.

Да, перспектива.

06.11.68. Нынче Эсфирь Пална на своём уроке выдала: «Посмотрела «Доживём до понедельника». Ну почему в кино – как словесник, так дурак?»

А фильм замечательный (после позорного прокола с «Героем нашего времени», от Ростовского уже ничего путного не ждали). Конечно, всю картину сделали Тихонов с Печерниковой – о таких Учителях можно только мечтать.

09.11.68. В Пушкинском музее сидел в зале импрессионистов, напротив чудной картины «таможенника» Руссо «Поэт и его Муза»: лубок ведь, а чем-то завораживает. И вдруг вспомнил: сегодня же Аполлинер умер, ровно полста лет назад... Бывают странные сближенья.

14.12.68. В десятый раз сыграли железнодорожную пьесу «Анна» Майи Ганиной. Всем первым составом, и Нина Чуб прибежала после занятий из Щукинского, едва не опоздав. Сказала, что пришла в последний раз. Да и я приходится сюда уже не хочу – вырос из этого самодеятельного театра.

1969

25.01.69. Три дня назад у Кремля стреляли в Брежнева (не в космонавта же!), и уже на эту тему анекдот гуляет: притаскивают незадачливого стрелка на Лубянку, генерал закрывает дверь и ему: «Что ж ты, твою мать, попасть не мог!» – «Попадёшь тут! Только прицелился – все, кто рядом был, ствол отнимать стали: дай мне!.. дай я!..» Наш народ неисправим.

24.02.69. Мама Димыча делала передачу с Мансуровой. Рассказывает: четыре часа без перерыва говорила – уже камеры укатили, софиты выключили, а она не замечает. Когда спохватилась – уже всё? – спросила: «А можно, я рваные чулки народу покажу? – и задрала подол: – Я от театра не взяла ничего!»

Теперь Димыч ходит к великой первой Турандот домой: он играет ей Моцарта на фо-но, а Мансурова пичкает его жирной ветчиной, от одного вида которой Димыча мутит. Умоляю его: хоть раз возьми меня с собой! – ты играть будешь, а я за тебя всю ветчину слопаю (зажмурясь, конечно). Если нужна культурная программа – я, так и быть, свои стихи почитаю.

В нашем Марьинском мосторге за маленьким прилавочком торчит здоровенная деваха – продаёт «сопутствующие товары». Её тут нечасто беспокоят – сидит и дремлет. Подходит тщедушный дедушка, долго трясёт-будит сплюху, покупает десяток рулонов туалетной бумаги. Пока он сооружает гирлянду, нанизывая рулоны на верёвочку, продавщица снова засыпает, но едва дедушка удаляется – поднимает сонные веки и с ласковым удивлением говорит на весь магазин: – Засранец!

21.03.69. Книжка Владимира Солоухина «Письма из Русского музея» – вопль души русского мужика, у которого отнимают последнее, – самая скандальная публицистика позапрошлого года и абсолютный раритет – стотысячный тираж канул, как в бездну, ни за какие деньги достать не смог. А сегодня отправился на «Риголетто», и в книжном киоске Дворца съездов – стоит на витрине, никто на неё даже не смотрит (не иначе, как от спецобслуживания завалаялась). Спрашиваю у киоскера, сколько стоит. Говорит: «Тридцать две копейки. Только она не продаётся – это образец» (!) Попросил посмотреть, положил на лоток железный рубль и смешался с толпой. До конца спектакля тряся, как цуцик: вдруг поймают? Обошлось.

02.05.69. В праздники от одиночества хоть волком вой! Вчера совсем паскудно было – взял бутылку «Столичной», попил на Тверскую, ноги сами принесли к театру Станиславского. Зашёл за кулисы к Володе Зиновскому, предложил ребятам выпить. А они отказались – работа. Раз так, говорю, мне больше достанется. Спустился в тёмный буфет (спектакль уже начался), купил эклер, одолжил у буфетчицы пустой стакан... Зиновский поймал меня в коридоре, схватил за руку, затащил в зал и усадил в первом пустом ряду. На сцене – круг поворотный: пока он со скрипом едет, сменяя декорации, в зале полностью вырубает свет. Когда свет зажёгся, и началась новая картина – понял, что идёт... «Анна» (ну куда мне от неё не деться!) Через минуту поймал себя на том, что разговариваю с актёрами на сцене – пьесу-то наизусть помню. А в зале уже смеются. Только свет погас, на новом повороте круга, – два пожарника меня впотьмах подхватили под руки и в коридор... Потом шёл посередине улицы Горького до Белорусского вокзала (на тротуар подняться не мог – бордюры там очень высокий). Идиотское состояние: весь народ идёт тебе навстречу...

04.05.69. «Служили два товарища», ага! Я до просмотра читал сценарий Фрида и Дунского – из фильма много чего пропало (пытались сместить акцент с сочувствия Белой гвардии на героизм Красной армии). Гениальная картина, где центральная роль не у Янковского и Быкова – у Высоцкого.

17.05.69. Посмотрел в Щукинском все учебные показы первого курса (очень сильного, как оказалось). Вроде и отучились всего ничего, а уже с каждым всё ясно. Нина Чуб мечтает работать у Ефремова и своего наверняка добьётся (а кино она терпеть не может). Оля Науменко, несмотря на обманчивую хрупкость, тоже ломит упрямством – настырная, и сцену, и экран возьмёт штурмом. Жене Герасимову предстоит переиграть всех ударников труда и парторгов,



если же что-то не задастся – перекарасится в театральные функционеры (сейчас он пока в комсоргах). А настоящей звездой, конечно, станет Ленка – Думчая (как она числилась в музыкальной школе у Димыча), или Юргенсон (каковой была в 9-м классе, где мы с ней полгода вместе учились), или Мозговая (по фамилии режиссёра с 3-го курса, которого обоженила через месяц после поступления). Она уже в прошлом году озвездилась – одновременно прошла и в Щепкинское, и в Щукинское, и в школу-студию МХАТ. Ректор Захава от неё чуть с ума не сошёл, такую слёзную легенду ему сочинила про несчастную судьбу и тиранов-родителей. Сейчас она будет сниматься с Мишулиным в «Малыше и Карлсоне», так что и театр Сатиры скоро по ней заплачет.

Думчая-Юргенсон-Мозговая

02.06.69. У меня теперь есть привод в милицию. Пошли с одноклассниками в кафе «Белый медведь», на проспекте Мира, где уже три десятка ребят с утра гужевались, отмечая окончание школы. Ну и организовали общие посиделки – сдвинули столы, собрали всех вокруг нашей гитары. Тут возник администратор с бумагой, в коей писано, что его заведение только по вечерам кафе, а днём – рядовая столовая, где ни пить, ни курить, ни петь не разрешается. Впрочем, за 10 рублей... Когда я сказал, что обирать детей в их светлый праздник непорядочно, он ушёл и вернулся с милиционером по фамилии Гудошник, который живенько препроводил меня в околоток, как зачинщика беспорядка (все ребята пошли следом, встали под окнами). Дежурный позвонил на работу отцу: – Есть у вас такой сын?.. Ничего страшного, мы его арестовали! Потом завёл на меня карточку и отпустил восвояси.

На дверях ЖЭКа – объявление на полноформатном листе нотной бумаги:
ЖЭК закрыт на неопределённое время, поскольку повешен новый замок и срочно следует найти ключ!

25.06.69. Кое-как закончил школу: впридачу к аттестату, мне и комсомольский билет выдали. Принимать лоботряса и второгодника в ВЛКСМ не собирались – отец без моего ведома заявился в комитет, принёс рекомендацию. Там все дара речи лишились. Спрашиваю папу: как ты до такого додумался? – говорит: – Я тебя рекомендовал не как отец – как член партии с 45-го года. А кто тебя лучше знает, как не отец!

Просил маму не приходиться на последний звонок, но она не удержалась – у неё праздник – не чаяла, что я десятилетку домучаю. Их родительский комитет выглядел весьма солидно: вручала нам аттестаты звезда советского кино Алла Ларионова (повод был – её младшая дочь, первоклассница, трезвонила «последний звонок», носясь по залу с колокольчиком). Жаль, не было главы семейства Николая Рыбникова – напомнил бы ему, как он меня чуть заикой не оставил. Мне едва десять лет стукнуло, когда мы переехали в Марьину Рощу, а Рыбников с Ларионовой тогда же купили в новой восьмизэтажке две квартиры

(на последнем этаже – камин сделать удумали). Квартиры уже соединили, а вторую входную дверь ещё не замуровали. Пошёл я в тот кооперативный дом макулатуру собирать, поднялся наверх, звоню в дверь – на пороге стоит ударник из фильма «Весна на Заречной улице»:
– Нет у нас никакой бумаги!
Звоню в соседнюю – а там в дверях опять Рыбников...
Ух и улепётывал же я!..



С мамой в день
окончания школы

22.07.69. Влетаю в квартиру с воплем: «Человек по Луне ходит! Своими глазами телехронику видел!» Бабушка невозмутима:
– С нашей телебашни ещё не то показать могут!

28.07.69. Купил «на сдачу» сборник рассказов Василия Шукшина «Там, вдали». И влюбился по уши – давно не читал ничего подобного: совсем другая языковая среда, иное восприятие жизни. Кинофильм «Живёт такой парень» – просто хорошая картина, а тут по слову сразу ясно, что Шукшин – писатель-классик. С поправкой на кино – все детали и подробные описания опускает, рассчитывая «дорисовать» их камерой.

11.11.69. На нашей киностудии всего один телефон, и тот односторонний. Стоит он в холле второго этажа, над ним дюралевая табличка:

Ведение секретных переговоров по телефону ЗАПРЕЩАЕТСЯ

В дни худсоветов здесь не протолкнёшься, а нынче никого не было. Назначено свидание девице, объясняю, как найти нашу проходную. Вдруг, незнамо откуда, материализовался замполит, положил руку на рычажки: нельзя про это! – мы же секретный объект!

Говорю: да спросите у метро любого прохожего, где тут военная киностудия, – каждый дорогу покажет. Евгений Николаевич неубедим:
– Всех болтунов не переловишь. А если тебя об этом спросят – отвечай: нет здесь никакой киностудии!

15.12.69. Наконец удалось посмотреть «Страсти по Андрею» (авторскую версию Тарковского). Баскаков сказал, что пока Андрей Арсеньевич не вырежет голую жопу Быкова и еще десять минут, фильм в прокат не выйдет. Очевидно, при этом мы должны заклеить капризного режиссёра, не хотящего идти к зрителю, и воспеть чиновников Госкино, зорко блюдущих нравственность нашего народа.

1970

01.01.70. Новый год встретили в музыкантской компании Димычевых друзей, в роскошной «генеральской» квартире на Кутузовском. Под утро принялись вспоминать, какое событие было в прошлом году самым ярким. Сошлись на том, что вовсе не хождение американцев по Луне, а жуткое выступление Аркадия

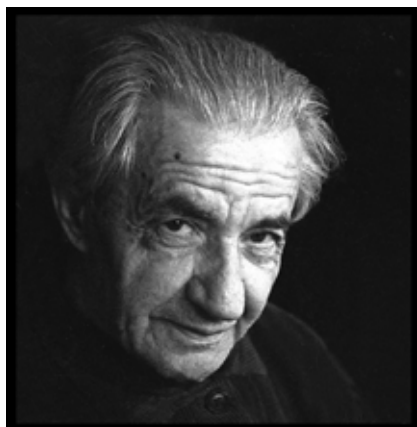
Райкина на съезде колхозников, когда он – в гробовой тишине – рассказывал залу и правительственной ложе политические анекдоты, и шок был такой, что объявленный за ним Муслим Магомаев не получил порцию обязательных рукоплесканий, и телетрансляцию тут же прервали «по техническим причинам».

10.01.70. Когда я во что-то (в кого-то) влюбляюсь, появляется потребность делиться этой любовью со всеми, и если человек моей любви не разделит – тотчас к нему охлаждаю. Неделю назад затащил кандидатку в любимые девушки на Таганку (упиралась всеми конечностями – она, видите ли, верная мхатовка). Давали «Павшие и живые», и подругу проняло: когда у края сцены вдруг вспыхнул живой огонь – вскочила с места, вытянула шею (я в эту минуту её почти полюбил). Сегодня пошли на «Антимиры» – иззевалась, а когда на поклон вышел автор, сказала: «В Малом Островский, во МХАТе Чехов, а здесь, значит, Вознесенский? Мельчают театр!» И так захотелось ей по шее треснуть!..

04.03.70. Очаровательный фильм Кошеверовой «Старая, старая сказка». Этуш и Даль очень хороши. И умопомрачительная Неёлова – с этим дебютом она сразу в первом ряду наших кинозвёзд.

13.03.70. Чудовищная «юбилейная» выставка в Манеже: керамический горшок «По долинам и по взгорьям», панно из аляповато разбросанных по холсту лепестков – «Все цветы – Ленину!»... В центре зала – фанерная инкрустация: на сломанной берёзе сидит Владимир Ильич, рядом прислонено ружьё, а у ног вождя лежит дохлая лисичка и... улыбается!

С «брежневианой» – еще хуже: поскольку генсек никому не позирует, художники явно пишут свои автопортреты, придавая им абы какое сходство с персонажем по открыткам и фотографиям, в итоге все Брежневы тут не похожи друг на друга.



21.03.70. Опять (по слабости своей) играю в «Анне». Одна радость – пока гримёр подгоняет на мне парик с лысиной, слушаю его рассказы про Комиссаржевскую, Шаляпина, Южина... Единственный сын Алексея Михалыча в начале войны погиб под Бобруйском, и с тех пор у деда ничего нет, кроме театра. Когда я уходил от гримерского столика, старик сказал, просто и буднично:
– Умру я скоро...

Гримёр Казаков

15.04.70. «Белое солнце пустыни» – !!! Вышел из клуба МГУ и сразу купил билет на следующий сеанс. Контролёрша сказала: «Десять раз уже смотрела и еще пойду». После этой картины Мотылю можно «Тёркина» экранизировать – как былинку, чем он – героический эпос – по сути является.

25.05.70. Сергея Юткевича в Студенческом театре МГУ давно нет, труппу Марка Розовского, вероятно, разгонят совсем – их постановка «Сказа про царя Макса-Емельяна» тоже под запретом. Появились молодые режиссёры, объявили

новый набор. Пошёл за компанию со своей девушкой (одна робела). Её не взяли, а я попал в группу к какому-то Васильеву, про которого все шепчут: гений! гений! Но тут же подошел кудрявый напористый человек, сказал, что его зовут Иосиф Райхельгауз и он берёт меня к себе.

30.05.70. Десять лет как ушел Пастернак. В Переделкино – всюду звучат стихи: на могиле под тремя соснами, в ближнем лесу... Приходят люди к дому Поэта, кладут цветы вдоль забора, точно зная: однажды – через 10, 20, 30 лет, вопреки всем и всему, распахнёт свои двери Дом-музей Бориса Леонидовича...

16.06.70. Два молодых автора читают у Райхельгауза свои пьесы. Я на слух литературные тексты воспринимаю с трудом, о качестве судить не берусь, а навскидку – абсолютный непроходняк. Спрашиваю Иосифа: они залитованы? – Нет, конечно. Среди залитованных ничего интересного нет!

13.07.70. Отловил меня в студийном коридоре витиеватый человек – сказал, что он режиссёр Матвеев, а я – вылитый идиот, точно такой, какого он ищет. Он снимает фильм про салагу-первогодка, который в армии служить не хочет и всё делает шиворот-навыворот. Прозорливо разглядел во мне белобилетника! Ответил, что всегда готов, и Матвеев убежал оформлять мне командировку.

21–29.07.70 / Наро-Фоминск

Неделю прожил в Кантемировской дивизии, снимаясь в дуэте с «мастером эпизода» Женей Дубасовым (в «Неуловимых мстителях» он из-за бочки стреляет в Васю Васильева, и его тут же кончают кинутым ножом, а в «Большой руде» Урбанскому гаечный ключ подаёт). Неугомонный человек – закончил актёрский факультет ВГИКа, теперь опять там учится – на операторском.

Я чудом уворачиваюсь от падающих предметов, наступаю на мной же выброшенные в кусты взрывпакеты, а когда заглядываю в пятилитровую бутылку – оттуда в морду мне вылетает струя вонючей жижи. Законченный идиот! А сегодня посмотрел проявленную плёнку – вполне киногоеничный. Но в актёры не пойду, поскольку кроме ролей Швейка и рогатого Бонасье мне со своей физией вряд ли что светит. И мастером эпизода быть совсем не хочется.

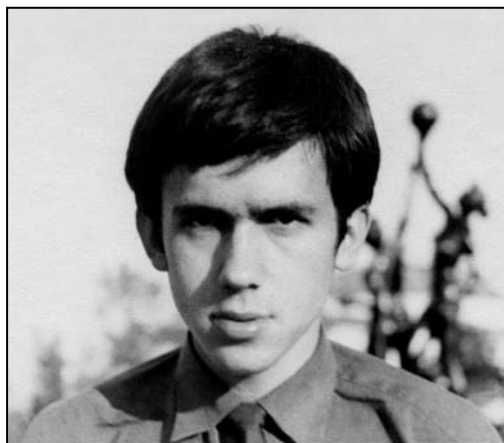
17.09.70. Жил тихо и спокойно, любил прелестную женщину, занимался своими причудами, как месяц назад на меня свалилось нечто сумбурное и феерическое. Просто **И.** (из Ростова-на-Дону казачка, в чьих жилах не кровь, а коктейль Молотова). Собирается быть актрисой мюзикомедии (от которой меня наизнанку выворачивает). Требуется, чтобы я тоже поступал в ГИТИС – на что угодно, хоть на театроведческий, лишь бы вместе. Слава Богу, в этом году уже поздно, а там посмотрим. Но вдруг объявили донабор – Сергей Образцов открыл новый факультет: режиссура театра кукол.



Просто И.

И. не отходила от меня ни на шаг, собственноручно втолкнула в комнату, где сидел Образцов. Подкупил его рисунками (он сам замечательный художник), прочитал «Раскас» Шукшина («Надо же, этот киношник ещё и рассказы пишет!»), отказался декламировать стихи (сказал, что пишу их сам, потому дико подвываю), спел «иду-шагаю по Москве» (Сергей Владимирович лично подыграл на фо-но, подлаживаясь под моё соло, и я с ужасом услышал, как безбожно вру), и получил «пятёрку» (думал, выгонят не дослушав).

21.09.70. Утром приехал в ГИТИС (сегодня финал), но там девушку **И.** не нашел. В дверях столкнулся с Образцовым: «Куда же вы, мы решили с вас начать!..» – буркнул в ответ что-то невнятное и побежал к телефонной будке. **И.**, конечно же, спала: «А что за тебя волноваться, ты с тремя пятёрками вне конкурса!»... Посидел на завалинке, покурил и вдруг понял: ни учиться здесь не хочу, пася свою пассию, ни в куколки играть... Когда поднялся наверх, секретарь сказала, что Образцов меня *наказал* – пойду последним, тринадцатым. Через два часа вошел в комнату, честно посмотрел в глаза Мастеру и выпалил всё, что думаю. Оторопело выслушав мой монолог, Образцов в лице переменялся – он-то сам всю жизнь «в куколки» играет... Вечером позвонил Сергею Владимировичу домой – извинился за своё пацанство.



Стас Садальский. 1-й курс ГИТИСа

и кино, где Садальский уже успел отличиться: крошечный, почти без слов, эпизодик в никаком фильме «Город первой любви» на фестивале в Болгарии принёс ему приз за лучшее исполнение мужской роли. Стасу явно нравится **И.** – в неловкой нашей ситуации он принялся хохмить и балаганить, но сразу становился серьёзным, когда говорили о сцене и ремесле. Всё же *харизьма* – великая штука: за вечер Садальский настолько очаровал мою маму, что она тотчас записала его в круг своих симпатий, вкупе с Вячеславом Тихоновым, Марчелло Мастоляни и Муслимом Магомаевым.

20.11.70. Два месяца компота и сумбура: фильм «Всё на продажу» Анджея Вайды, концерт Клаудио Вилла, «Граф Люксембург» со Шмыгой (и ещё три оперетты, на которых уснул), творческий вечер Образцова, «Восемь с половиной» Феллини, две книжки вологодского поэта Николая Рубцова, полный «Гамлет» в чтецком исполнении Рецепттера, учебник академика живописи Чистякова, «Земляничная

07.10.70. И. притащила ко мне домой потрясающего парня – Стаса Садальского: долговязый, худой, неуклюжий, с виноватым нервным лицом. А талант распирает изнутри так, что он по швам трещит. Но судьба у Стаса – сплошная драма: шансов получить актёрский диплом почти никаких, как его взяли в Щукинское с таким жутким прикусом, вообще непонятно. Год он бегал-прятался от речевика и Захавы, пока встретил Конского, и тот перетащил Стаса к себе в ГИТИС (потерял год, зато хоть какой-то шанс появился). На худой конец, остаются ВГИК

поляна» Бергмана, «Декабрь» Ярослава Смелякова, вечер Сергея Юрского в Зале Чайковского, премьеры «Эдит Пиаф» в холле театра Моссовета (с потрясающей Ниной Дробышевой, никаким боком на певицу не похожей, но убедительной неимоверно), славная выставка покойной Нади Рушевой в Пушкинском музее, концерт лицедея Ираклия Андроникова... И постыдное бегство от **И.**, которая выжала меня, как лимон. Сколько буду очухиваться – не представляю.

05.12.70. **И.** зазвала в кафе «Морозко» – уже утешилась: познакомила с Валерием Усковым (режиссёр, снял в паре с Краснополским дивную короткометражку «Стюардесса» – киношный дебют Аллы Демидовой). Всё-таки кинорежиссёры – особая каста: тирания заложена в основу их профессии изначально. О своём творчестве Валерий Иванович говорит с большим самомнением: уверен, после того, как они экранизируют сибирскую эпопею «Тени исчезают в полдень», всенародная любовь им гарантирована (и гос.коврижки, само собой). Кстати, про «Стюардессу». Усков рассказал: Юрий Нагибин подарил Ахмадулиной (в бытность Беллы Ахатовны его женой) крошечную новеллу. Ничтоже сумняшеса, БА сделала из нее сценарий и тут же продала под своим именем (в титрах картины так и значится: сценарий Б.Ахмадулиной). Тут Нагибин взорвался – его авторские права ущемили. От судебного иска писателя всё-таки отговорили: подарил так подарил... Когда прощались, Усков пригласил на съёмочную площадку. А **И.** сказала: – Пожалуйста, не смотри на меня так. Я же не блядь – я влюбляюсь...

1971

25.01.71. Провинциальный сборничек стихов Николая Майорова, убитого на войне. Читая его, четко понимаешь: не сгори то поколение молодых поэтов – вся картина советской поэзии была бы иной:

*«Я шел, весёлый и нескладный,
Почти влюблённый, и никто
Мне не сказал в дверях парадных,
что не застёгнуто пальто»* – абсолютный Евтушенко.

А вот с эстетикой у Майорова обстояло туго, что, в общем-то, понятно: «безумный страшный Врубель» – не иначе как от Горького, оказавшего на это предвоенное поколение огромное влияние.

01.02.71. Погиб поэт Николай Рубцов. Конец его нелеп и жуток: мертвецки пьяным был задушен женой, которую довел до сумасшествия своими садистскими привычками (тушил об неё сигареты, бритвой полосовал). Её и судить-то вряд ли будут – упрячут в психушку до конца дней. А из Рубцова сделают великомученика и жертву жизненных невзгод, благо биография позволяет. Человек он был наверняка тяжелый, но поэтический голос его свеж и звонок (права Цветаева: в жизни сорно – в тетради чисто).

22.02.71. «Начало» Глеба Панфилова – фильм в фильме – очень хитрый: конечно, гениальной Инне Чуриковой роль Жанны Д'Арк в советском кино заказана, а в таком варианте получилось (почему-то считается, что Чурикова с её внешними данными – пародия на советских женщин-тружениц, как Ролан Быков – шарж на гармоничных строителей коммунизма).

13.03.71. Органный концерт Гарри Гродберга в Зале Чайковского. Завело так, что не утерпел – проник за кулисы. Музыкант сидел среди цветов на диванчике, смешно вывернув ноги, и мой ошалелый вид не возмутил его спокойствия: «Вам

что-то нужно? Автограф?» Нет, говорю, вы мне можете внятно объяснить, почему Бах и Моцарт – гении? Он поднял на меня грустные еврейские глаза: «Потому что они делали невероятное. У Паганини есть несколько этюдов, сыграть которые возможно лишь имея тринадцать пальцев. Сегодня таких скрипачей в мире нет».

29.03.71. Когда писателя годами не печатают – можно работать «в стол» (бумага и карандаш всегда найдутся). Кинорежиссёрам труднее (необходимы техника, плёнка, актёры), но и они выкручиваются. Элему Климову после картины «Добро пожаловать!..» перекрыли кислород, так он за копейки сделал документальный (читай – перемонтажный) фильм «Спорт, спорт, спорт!» – потрясающий!

По Есенинскому бульвару шкандыбал феноменальный тип – в синих джинсах, синей рубашке, синем пиджаке, синюшных ботинках, синих носочках и галстук. Даже стёкла здоровенных очков, через которые модник взирал на мир, тоже были синие. Он вразвалочку шел нам навстречу, запихнув ладони в карманы внатяжку сидящих на нём штанов, и за десять шагов было видно, что молния расползлась, и в ширинке светится что-то голубенькое. Когда парень поравнялся с нами, Юра Бабийчук сказал ему:

– Старичок, у тебя зиппер полетел!

– А я знаю! – кокетливо отвечивал парень.

И мы долго глядели ему вслед, раззявив рты.

27.04.71. После субботника замполит порадовал нас фильмом «Воспоминания о будущем»: «По Деникину этому, жизнь на Земле произошла от командировочных марсиан!..» А тут заходит к нам в комнату:

– Хочу к 9 мая устроить встречу с хорошим военным писателем. Кого посоветуете?

– С Ремарком я бы встретился, а больше ни с кем не хочу, – сказал Бабийчук.

– Читал, хорошо про войну пишет. Фамилия только плохая, а с евреями сейчас...

– Юра шутит, – пожалел я замполита. – Эрих Мариевич в прошлом году умер.

– Вот незадача! – искренне вздохнул Лебедев. – Так и уходят они, недооценённые.

И в Чехословакии почему безобразия случились? – перестали уважать военных...

21.05.71. На дне рождения Димыча – весь его гнесинский курс, с которым я за несколько лет успел подружиться. Нынче центром внимания были милая Танечка (у неё дома мы этот год встречали) и смурной Саша (из глухой провинции мальчик, приехавший столицу покорять). После той новогодней ночи юноша подвинулся умом – внезапно влюбился. Понятно, я циник, и никогда не поверю в то, что Саша, три года Таню в упор не видевший, вдруг воспыпал страстью к ней, а не к её номенклатурному жилищу. Но с января он начал дурнеть и сохнуть, а два месяца назад подошел на переменке к объекту вождения и попросил отдать ключи от её супер-квартиры – будто бы они к дверям Консерватории подходят. Таня отшутилась, послала сокурсника с этим вопросом в ректорат, откуда его прямиком увезли в Кащенко. Теперь Саша кое-как вышел на волю (с диагнозом «прогрессирующая шизофрения»), и друзья уговаривают Танечку выйти за него замуж: *счастливая* – не из-за каждой с ума сходят.

А может, это взаправду любовь?

12.08.71. Сделал «разведку боем» – прокрался в Литературный институт. Познакомился с двумя славными ребятами – Виктором Коркия и Андреем Богословским. Витя пытается перейти из МАИ (наверняка не получится – здесь таких не любят), Андрей поступает к Льву Ошанину (и наверняка поступит, хоть после школы, без двухлетнего трудового стажа сюда не берут). Богословскому-мл. всего 18, а он уже не дебютант – в «Мелодии» продаётся двойной альбом его

рок-оперы «Алые паруса» (не только стихи, и музыку сам написал). Спросил, почему он не пошел в композиторский институт, – Андрей пропустил вопрос мимо ушей, а потом я заметил, что два маленьких пальца на его правой руке не разгибаются, и ботинки ортопедические (очевидно, дефекты позднего ребёнка).

Весь вечер втроём слонялись по Тверскому бульвару, читали стихи, свои и чужие. Поэма Коркия «Пустая квартира» оказалась такой прилипчивой, что я её с первого прочтения на слух целиком запомнил.



Андрей Богословский
и Виктор Коркия

09.11.71. К октябрьской годовщине с помпой запустили на экраны уникальную лабудень – фильм «Молодые». Что называется, социальный заказ – правильное кино о праведных парнях. Которые – рабочая косточка, прочны душой и телом: Джигарханян, Киндинов, их бригада коммунистического труда. На другом полюсе – захравшаяся, холёная несоветская шобла: Ларионова, Тихонов-мл. и убогий тщедушный бард (пародия на Окуджаву), который поёт про Пушкина и цыган, а его все гонят, только что не взащей. Венчает нагромождение штампов – Родина-мать, в лице Нонны Мордюковой (великая актриса, она в этой мёртвоорождённой агитке – единственный живой человек).

20.12.71. Умер Твардовский. Он уже в юности стал классиком – на экзамене в институт вытянул билет по своей поэме «Страна Муравия», а после «Тёркина» – действительно народным поэтом (по каноническому определению, поэт – тот, кто пишет именно поэмы, а все остальные – лирики). Но главное его детище последнего десятилетия – «Новый мир», и то, как с ними (редактором и журналом) разделались власти, заткнув одну из немногих (наряду с «Юностью» и «ЛГ») либеральных отдушин, – национальная трагедия.

Другой разговор, что «Новый мир» при Твардовском прославился публицистикой, прозой и критикой, но отнюдь не поэзией, которую главерд отбирал по своему вкусу. Сейчас, над свежей могилой, об этом говорить никто не решится, но через какое-то время будут вынуждены признать очевидное: для развития современной поэзии Александр Трифонович не сделал ровным счетом ничего.

1972

15.01.72. На экраны вдруг выпустили «Страсти по Андрею»: пусть и под названием «Андрей Рублёв», и ощутимо порезанный, но *вышел*. Никаких особых решений принимать не понадобилось – появился на «Мосфильме» новый директор, сам засел в монтажной и всё сделал так, как счёл нужным. Публика валом валит в кинозалы и выходит в недоумении: из-за чего был многолетний сыр-бор?

06.04.72. Коркия завлék в новую литературную студию (в школе напротив филиала МХАТа базируется). Пошли на семинар к Вадиму Сикорскому – огромному краснолицему мужику, с ручищами кузнеца и голосом оглохшего

артиллериста. Обсуждали тихого паренька, стихи которого Сикорский за полчаса в порошок стёр. А парень не без искры Божьей – мне понравилось стихотворение про то, как солдаты едят арбузы, с отличной строкой: «От погона до погона ходит корка, как ладья». Семинаристы своего товарища в обиду не дали – хорошо говорили о нём Боря Камянов и Саша Тихомиров.

В этой студии десяток семинаров, и список руководителей соблазнительный: Катаев, Аксёнов, Амлинский, Трифонов, Винокуров, Евтушенко... Стоит подумать.

13.04.72. В Щукинском идут дипломные спектакли. Вся театральная Москва здесь – у каждого выпускника уже есть свои поклонники, которые потом потянутся за ними в те театры, куда ребята распределятся. Лучшая постановка – «Идеальный муж», где блистают Нина Чуб, Оля Науменко и Юргенсон-Мозговая-Думчая. Борисовский выпуск считается женским – ребята у него куда скромнее, и какая-то перспектива есть лишь у Жени Герасимова, которого зрители уже узнают по голосу (дублировал Ромео в очень красивом фильме Дзеффирелли).

18.04.72. Очередная встреча в литстудии была всеобщей: пришёл Константин Симонов. Призыв старосты поучить молодёжь уму-разуму Константин Михалыч понял буквально:

– ...Дело в том, что поэзия тгебует постоянного гогения. Когда я гогел, у меня получались отличные стихи. Но вечно гогеть невозможно. Поэтому я говохию: пишите пгозу. Пгоза не тгебует постоянного гогения – за день можно написать десять, двадцать, тхидцать стханиц. Я увеген: если человек умеет писать стихи, то он может писать и пгозу, и ххитику, и дгаматухгию. Но уметь писать мало, нужно уметь это пходать. Не дегхите гхукописи в столе – несите их в теахт, на хгадио, на телевидение...

И так поучал нас два часа:

– ...Как вы пишете, чем? Кагандашом, автогучкой на бумаге?.. Пгохо, очень пгохо! Послушайте совет: габотайте с диктофоном – купите магнитофон и диктуйте, диктуйте, диктуйте...

Вообще эта мысль неплохая, но к ней хорошо бы иметь опытную машинистку, а лучше целый штат считывальщиц с магнитофона.

Поскольку Симонов – это ещё и комиссия по литнаследию Булгакова, ему задали вопрос, когда же будут видны результаты. КМ ответил, что составляет однотомики, куда войдут «Белая гвардия», «Театральный роман» и «Мастер и Маргарита». Ему сразу напомнили, что есть ещё и «Роковые яйца», и «Собачье сердце»... Ответ Симонова был прям и лукав: «Я недавно пегечитал эти повести и убедился: они столь слабые, что сам Михаил Афанасьевич, доведись ему составлять своё избганное, их туда не включил бы...»

25.04.72. Критик Огнев так долго представлял Вознесенского, словно он только вчера на свет появился. Представлял витиевато. В зале фыркали – многие Вознесенского на дух не переносят, однако уходить не торопились: интересно. Наконец слово получил Андрей Андреич: рассказал про Канаду и Австралию, откуда недавно вернулся, потряс в воздухе свежим салатным журналом «Юность», называя этот номер историческим: в нём его большая стихотворная подборка соседствует с ещё большей Евтушенкиной, чего прежде не было. Говорил сумбурно, то и дело перескакивая с пятого на десятое, часто ляпал что-нибудь эпатажное, вроде:

– Секс – не просто мужик с бабой легли переспать, они ищут новое измерение мира! Или, начав про австралийскую поэзию, сразу отвлётся:

– В Австралии нам показывали фильм, как любят крокодилы. У них в акте нет нежности – они буквально раздирают друг друга!..

В моменты таких лирических отступлений на сидевшего в углу инструктора райкома комсомола всякий раз нападал приступ безудержного кашля.

В основном же Вознесенский говорил о громадной роли телевидения в будущем, своих *изопах* и мечтах перенести стихи на телеэкраны. Во время его очередного «я пробую», из зала вылетел вопрос:

– Андрей Андреевич, а на ежа вы садиться не пробовали?

Насмешку Вознесенский проигнорировал, однако настроение у него испортилось, больше ничего не рассказывал, принялся читать новые стихи, которые зал слушал куда как серьёзно.

Засиделись почти до полуночи, проводили Вознесенского от переулка Москвина до начала Пушкинской, и он всю дорогу недоумевал, отчего многие молодые относятся к нему с небрежением. И хотя поэту любовь толпы до фени – про ежа он запомнил и обиделся надолго.

Простились у Театра оперетты, где не теплилось ни одного огонька, но зато была открыта дверь, в которую АА и юркнул.

05.05.72. ...Мэтр явился, разодет, как и подобает яркому поэту в прозаическую серую эпоху: плащ цвета «морской волны», сиреневый костюм, вишнёвая кофта, вместо галстука – ботиночный шнурок, продёрнутый в грузинскую чеканку. Дополнял его портрет огромный рыжий портфель из грубой свинячьей кожи. В «семинаре имени Евтушенко» самые заметные фигуры – Люба Гренадер, Виктор Гофман, Егор Самченко, Борис Камянов, переводчик-испанист Сергей Гончаренко.

Обсуждали давно вышедшего из поэтического возраста человека Лёву Ф-на, стихи которого ужасали: что-то про войну, Арину Родионовну и гениальность. Жалостливый Гофман, явно тронутый красным от волнения Лёвиным лицом, говорил экивоками, старался отыскать в стихах какую-нибудь хорошую деталь, однако ничего не нашёл. Зато выступающая следом Люба Гренадер выражений не выбирала:

– Давайте скажем Лёве прямо: это же сплошная графомания! В этой вот кучке я наша стихотворение, если его так можно назвать, о приходе лирического героя, то бишь автора, на могилу Паустовского... Ага, вот оно: «По Оке да прокатиться к Паустовскому...» Скажи, Лёва, откуда здесь этот разухабистый мотив, из какого кабака? И что значит «прокатиться»? – прокатиться к Паустовскому, прогуляться к Пушкину... Это же кошунство! А дальше ещё хлеще: «Пахнет хлебом и стихами, пахнет Родиной здесь!» Признайся, Лёва, что за «песнь исполнить» намеревался ты на могиле советского писателя? И какой «Родиной» там пахнет? По-моему, на могиле может пахнуть только падалью!..

Во время этого монолога Евтушенко то мрачнел, то светлел, а на слове «падаль» встрепенулся:

– Люба! Сейчас я распалюсь, разделюсь, из меня получатся два полицейских, и они выведут вас из класса!

В общем, обсуждение Лёвы кончилось смехом.

Во время перекура Евгений Александрович вдохновенно рисует:

– Знаете, что мне больше всего запомнилось из поездки по Латинской Америке? Когда я, устав от всех приёмов и банкетов, весь день провёл в приятнейшем общении с простым чилийским портным... (При этом ЕА, как бы невзначай, проводит ладонью вдоль лацкана сиреневого пиджака, очевидно, сшитого портным во время беседы с полпредом советской поэзии.)

Чтение стихов по кругу обернулось бенефисом Егора Самченко: действительно мастеровит, и мэтр на комплименты не скупились:

– ...«Вода полногруда в стеклянном кувшине» – отличная строка! «Занавеску зазнобило» – пятёрка! «Глаза закрыла фотокарточка твоя» – просто здорово!..

А это вообще гениально: «...и шумел сосновый стол!» Такую смелость мог взять на себя только Заболоцкий!..

Прощаясь, Евтушенко заверил, что с октября у семинара начнётся новая жизнь: он больше никуда не поедет, сядет писать прозу и каждую свободную минуту отдаст молодым. Собрал наши стихи, с трудом утрамбовал рукописи в рыжем портфеле и – росносиреневый, громокипящий – мгновенно испарился.

Июнь-июль

Весной на киностудии меня сократили за ненадобностью, устроился художником-графиком в «Воениздат». А поскольку сваял глупость, сказав, что имею «допуск на секретность», – попал в самый престижный отдел, где трудились пятеро ветеранов, проверенных на этом участке четвертьвековой беззаветной службой. Понятно, варианты моего у них появления всего два: либо я чей-то «блатной» отпрыск, либо посажен для того, чтобы *всё слушать и записывать*. Когда видят у меня в руке не кисточку, но авторучку – тут же осведомляются, про что пишу. Раз неосторожно пошутил – спросил самого любопытного, через «о» или «а» пишется его фамилия, так бедного Сафошкина полчаса отпаивали валерьянкой. А вообще мои новые коллеги – народ вполне симпатичный. Работают вместе двадцать лет, называют друг друга только по имени – Роза, Коля, Женя, Нинка, их постоянно захлёстывают воспоминания о том времени, когда мороженое было холодней и слаще, в «любительской» колбасе было меньше жиринок, а эклеры были длиннее и целиком набиты кремом. Все двадцать лет они говорят друг другу одни и те же шутки и колкости и, как ни удивительно, всякий раз на них свежо реагируют. Если Роза Константиновна говорит, что отлучается по делу, Сафошкин традиционно уточняет: по-большому или по-маленькому? А если Егоров от скуки хочется завести Нину Борисовну, он кидает ей дружную фразу: «Когда ты, Нинка, померёшь, мы с Колей тебя не понесём», и все дружно хохочут, слушая ответную брань. И в этот коллектив мне предстоит теперь вписаться.

Заманил Нину Чуб и Женю Герасимова в Домжур на самодеятельный спектакль «Вёрстка и правка». Вышло – обманул ребят в их ожиданиях: никакого актёрства здесь нет, есть только *с л о в о* – постановка держится на голом сатирическом тексте (Курляндского и Хайта). Сегодня в Москве это самый злободневный спектакль, которого, скорее всего, в новом сезоне уже не будет – после смерти худрука Полевого (незабвенного седовласого генерала в «Гусарской балладе» Рязанова) прикрывать непрофессиональному коллективу тылы больше некому.

Воениздатовский сюжет с забавным финалом. Когда наш корабль стоял на рейде в Гамбурге, сбежал кок: через иллюминатор, вплавь ушел. Санкции последовали зверские – погоны полетели, команду расформировали. А через два года трое матросов с того корабля оказались в том же порту и, гуляя по городу, встретили своего друга-кока – хозяйничал в собственной таверне! Патриоты начистили ему морду и ночью на свой борт беглеца притащили, рассчитывая если не на ордена, то уж по крайней мере на новые лычки. И получили дома... грандиозный ататуй: советский кок-разведчик только-только адаптировался, укоренился в стане врага и вышел на связь, а эти идиоты такую хитроумную операцию провалили!..

В Щукинском разразился небывалый скандал: малоприятная во всех отношениях выпускница, отец которой весьма крупный функционер, с какого-то перелаяку надула в уши родича слухи о полном моральном разложении курса, и ректора Захаву партийные доброхоты довели до ручки: все намеченные договорённости с театрами отменены, варианты трудоустройства – туда, где «есть рабочие места». Чудом пофартило Нине Чуб – распределилась на Таганку (на пару

с дочерью функционера), Олю Науменко захихнули в умирающий театр Гоголя, а Мозговую и того хлеще – в областной театр драмы, который даже своего помещения не имеет...

Под вручение дипломов я срезал на даче все бабушкины роскошные пионы, и ребята (спросив, не обижусь ли я) завалили Захаву цветами. Впрочем, дед всё равно пребывал в жуткой ипохондрии, выпускной вечер походил на поминки.

До слёз обидно, что четыре замечательных года закончились так глупо.

*Ректор
Борис Захава
на вручении дипломов*



Август

Високосный год чуть не каждый день напоминает о себе: в начале мая ушли Мартирос Сарьян и Виктор Драгунский, потом в авиакатастрофе под Харьковом погиб элегантный пародист Виктор Чистяков, благодаря уникальным голосовым связкам мгновенно ставший звездой эстрады, а 17-го августа в Байкале утонул драматург Александр Вампилов...

Для нашей семьи этот год тоже печален: умерла бабушка, тяжело заболела мама. Мы с отцом всё дальше и дальше расходимся: мои литературные увлечения ему претят, хотя, казалось бы, он должен относиться к тому с пониманием. Гены вылезают: графомания у нас в роду – дед всю жизнь вёл дневники, которые после его смерти родня оперативно сдала в макулатуру, да и папа на старости лет сам занялся писаниной – фронтовое прошлое давит, требует осмысления. Рисовать мне уже не хочется совсем, забытый этюдник пылится в углу. С отцом условились не говорить о политике, от которой меня тошнит, а другие темы найти не получается: о чем бы ни говорили – непременно в итоге ссоримся. Маму наши размопки выматывают вконец, и привязавшаяся к ней астма, как заключают врачи, это не болезнь лёгких – нервы.

На перроне станции метро «Площадь революции» топчется гермафродит – мужчина-женщина лет сорока. На удивительно красивом лице его, с мужскими крупными чертами, ярко выделяются пунцовые нежные губы и агатовые глаза, которые совсем не вяжутся с косматыми бровями и густой чёрной щетиной. У него крепко сбитая мускулистая фигура с широкими плечами и большие женские груди, распирающие клетчатую рубашку-ковбойку. Стоит посреди перрона, держа за ножку новенький табурет с магазинным ярлыком на днище, и напряженная поза его выдаёт скрытую агрессивность – одни стараются обойти дядьку-тётку стороной, хотя в час пик в метро свободного места не сыщешь, другие пялятся на него с неприкрытым любопытством...

Октябрь

Как в общем-то и подозревали, Евтушенко нашим / своим семинаром больше не руководит – теперь с нами занимается Слуцкий. Собираемся по четвергам в эжковском подвале за Елисейевским магазином, в комнатухе, дверь которой украшает табличка «Товарищеский суд».

Подружился с Гофманом, и после занятий мы пешком возвращаемся по домам, благо до середины пути нам по дороге. Витин рост вполне соответствует его

фамилии – я ему, двухметровому, со своими ста семьюдесятью пятью, прихожусь по плечо, и со стороны мы наверняка выглядим комично (ей-ей Пат и Паташонок), а когда на ходу ещё и стихи вслух читаем – точно сбежавшие от Кащенко пациенты. Москва тесна – оказалось, наши семьи жили совсем рядом: мы в Малом Кисельном, а Гофманы – на Трубной, в угловом трехэтажном доме с гастрономом, где за десять копеек взбивали замечательные молочные коктейли. Витин отец учился с моей тётёй Женей в одном классе, а мама моя – в соседнем, и мы с Витей выросли на Рождественском бульваре, где наверняка не раз играли вместе, в компании с жившими по-соседству Нинкой Чуб и героем «Денискиных рассказов»...



Виктор Гофман

11.12.72. Стильная и умная картина Отара Иоселиани «Жил певчий дрозд». Не по себе становится, когда спотыкаешься на мысли, что фильм-то этот – про тебя: так можно прокрутиться всю жизнь, в мелкой суете и пустых заботах, ничего не поняв и ничего не сделав, мечась меж девиц и приятелей, и в лучшем случае останется от тебя полезного лишь вбитый мимоходом в стенку гвоздь...

1973

Январь

Слуцкий на семинаре:

– Я настоятельно требую – это относится ко всем – чтобы вы точнее определяли своё отношение к Богу. А то вы рады стараться повесить икону на одну стенку с портретом Хемингуэя.

Отвечая на вопрос, мог ли Безыменский быть причастен к смерти Дм. Кедрина: – Не думаю. Человек был премерзейший, но убить... даже для этого он слишком был труслив...

17.02.73. По субботним вечерам добрая половина семинаристов Слуцкого собирается в доме на Большой Садовой (рядом с «нехорошей квартирой» Булгакова) у Владимира Михайловича Зверина. Одиноким стариком, во внешности которого ещё не стёрлись черты прежнего Д'Артаньяна, он всю жизнь прожил возле литературы, как говорится, «был другом многих», а теперь перенёс свою любовь на молодое поэтическое поколение. В крохотную его комнатёнку набивается до 10-15 человек. Все знакомы – если не очень хорошо, то по крайней мере шапочно. Верховодит здесь приземистая и зычная переводчица Ольга Чугай, называющая эти сборища «мой зверинец». Постоянные «прихожане» – Алёша Бердников, Гриша Кружков, Алексей Цветков. Пьём только чай, читаем стихи и о них же говорим – другие разговоры в доме Зверина не в чести.

Устроил коллективный культпоход на фильм Вайды «Всё на продажу» – купил на вечерний сеанс весь 10-й ряд в кинотеатре «Варшава». После просмотра идём, разбившись на пары, по заснеженной аллее через парк (так путь короче – напротив метро в железной ограде два прута выломаны), и чувствую, что Олеся

Николаева на моей руке виснет, давится смехом: перед нами движутся Гофман с женой, и на подходе к дырке в заборе стало ясно, что Ася в неё по габаритам не проходит. Наконец и она это заметила – обернулась: «Ребята, ведь мы никуда не торопимся – прогуляемся до метро вокруг парка!» На Ленинградке Витя норовит поймать такси, но Ася его останавливает: «Давай, как все, на подземке». Он с неудовольствием соглашается и застревает возле турникета: сначала сунул пятак левой рукой, и его прищемило, потом монета и вовсе закатилась промеж фотозэлементов. Мы уже прошли внутрь, а Витя так и мялся растерянно у входа. Наконец билетёрша его пожалела – за рукав подтащила к своему свободному проходу, подтолкнула в спину:
– Иди уж, деревня!..

Евтушенко говорит о своем диалоге с критиком Сидоровым в «Литгазете»:
«Конечно, мои враги и завистники будут надо мной смеяться. Конечно, снобы, вроде вас, скажут, что я низко пал. Но зато основная масса, народ, который меня любит, примут эту беседу с восторгом...» Ради этой *лю б в и* ЕЕ на всё готов.

03.04.73. Оля Чугай намерена играть роль Гертруды Стайн (даже внешне на неё походит); уверяет – до встречи с ней год назад Гриша Кружков был абсолютным графоманом, а теперь под её материнской опекой... Сегодня Гриша читал стихи в «зверинце» – замечательные! Спрашиваю его, когда написаны, – говорит: три года назад, четыре... Когда расходились, Чугаэсса закатила на улице форменную истерику, суть которой – наши у Зверина встречи прекращаются, ибо мы стали дедушку сильно утомлять. Вдвойне жаль, поскольку это неправда, но...

В метро, на переходе с «Краснопресненской» на «Баррикадную», бойкий мужичок продаёт билеты мгновенной книжной лотереи:
– Спешите купить билет – проверить себя! Выигрывает тот, кто лучше подготовлен!.. В отличие от других лотков, у этого всегда очередь – соблазнительно считать, что ты хоть к чему-то хорошо подготовлен.

09.07.73. Посмотрел Геннадия Бортникова в «Петербургских сновидениях» (по «Преступлению и наказанию» ФМД). Сцену убийства старухи-процентщицы Завадский гениально решил киношным «покадровым» приёмом: Раскольников-Бортников долго восходит в высоту кулис по многоярусной скрипучей лестнице (абсолютный Хичкок), а в момент топорного удара – вниз, в углу сцены, у самой рампы – на секунды вспыхивает прожекторный круг, крупным планом высвечивая две фигуры и рубящий топор (даже не замечаешь, кто из артистов там занят), потом опять кромешная тьма и протяжный скрип ступеней под ногами уходящего с места убийства героя...

Достал Нине Борисовне билеты на «Гамлета» с Высоцким, и накануне похода в театр она неделю не работала: сшила новое выходное платье, перманентом закружилась. В день спектакля на час заглянула в контору – показаться сослуживцам во всей красе. Тут Сафошкин и заметил, что у НБ только один чулок надет. С визгом и хохотом уложили несуразную на стол (времени искать чулки уже не оставалось – муж поджидал в машине) и карандашом нарисовали шов прямо на ноге.

На следующий день Нина Борисовна кипела возмущением: ну и театр! – зрители одно рваньё-драньё, даже на полу сидели, спектакль так вовсе ужас – вместо красочных декораций пыльная хламида под потолком мотается, могильщики бутылки сдают, Гамлет хрипит: «Быть или не быть?..» под свою балалайку... Чтобы утешить тётку, обещал её во МХАТ, на «Соло для часов с боем» сводить.

19.07.73. Пришел Витя – серо-зелёный, помятый, рука грязным носовым платком замотана. Вопит: «Бог не хочет, чтобы я разводился с Асей! Золото – благородный стерильный металл, а у меня под обручальным кольцом палец гниёт. Это мне вещий знак – Господь не хочет, чтобы я разводился!..» Снял с его руки платок – и впрямь страшное зрелище: безымянный перст почернел и распух настолько, что уже и самого кольца не видно. Не слушая вопли Гофмана, намотал на его палец нитку, намылил, кое-как свинтил злосчастный предмет. И Витя с Богом тотчас переменяли своё решение.

30.07.73. Гофман перевёлся на дневное отделение и сосватал меня на своё рабочее место – в многотиражку Второго часового завода. Что очень кстати – в «Воениздате» вконец допекли, да и обилие офицерских погон в коридорах стало непомерно угнетать.

Четырёхполосную заводскую газету два раза в неделю делают две славные тётки-редакторши, плюс машинистка, которым я вроде бы приглянулся: договорились, что месяц, пока сдаю экзамены, они кое-как втроём управятся, а с сентября... Экс-коллеги по «секретной комнате» хором задали вопрос, куда именно ухожу, и я откровенно признался, что *моя организация* перебрасывает свой ценный засекреченный кадр на более важный и ответственный участок. (Немая сцена.)



06.08.73. В очередной день рождения обнаружил, что у меня в третий раз обновился круг друзей: художники сгнули давно (за пять последних лет никого из старых знакомых не видел), театральные приятели и подружки тоже сходят на нет, а нынешняя компания уже сплошь литературная: Наташа Старосельская, Витя Гофман, Олеся Николаева, Сережа Мнацаканян, Гарик Гордон. С ними и отметил свои двадцать два.

Наши поэтические пристрастия рознятся весьма сильно (при том, что общих точек пересечения достаточно много), и если начинаем спорить – кричим до хрипоты, однако дружеские симпатии от разнокусицы ничуть не страдают. А мне казалось, что так невозможно.

Олеся Николаева

27.08.73. Накануне мы с Олесей приватно узнали, что приняты (официальные списки вывешат 29-го), и по такому случаю всей нашей компанией устроили сабантуй. К полуночи были уже хороши, начали расходиться, и тут на пороге возникла мама – прилетела с юга раньше времени (поскольку дозвониться до меня не могла, заподозрила неладное). Из Ялты мама привезла дыню и две бутылки крымского портвейна – все вернулись за стол, и «черный доктор» с «голубыми глазами» добили нас окончательно: перебор!

Днем позвонил Наташе, к телефону подошла её ироничная мама и первым делом осведомилась, что мы вчера пили: дочь спит до сих пор, абсолютно голая, но почему-то в зимних сапогах...

01.09.73. Вчера, проходя у Исторического музея, заметил, что Красную площадь перекрыли. Думал, кино какое сымают, а нынче говорят, что какой-то идиот, явно решивший уничтожить мавзолей, самовзорвался на подходе к коммунистическим мощам. Отличный повод утверждать, что мощи не только нетленные, но ещё и взрывоупорные.

16.09.73. Едва сдали экзамены – уже «установочная» сессия. Для адаптации: читают две-три лекции по всем предметам и сразу принимают зачёты. А мы знакомимся с преподавателями, конспектируем их байки и сочиняем свои.

Профессор Водолагин – из патриархов. Когда Хрущев закрыл здесь дневное отделение и студенты двинулись на деканат, Водолагин выскочил на крыльцо, выкрикнул историческую фразу: «Коммунисты – назад!» Полон шуток и баек: – Училась тут одна студенточка, Беллочка Ахмадулина. Ничего знать не хотела! На экзамене положит в парту книжку и ждёт, пока я отвернусь. Подкрадываюсь сзади – юбочку задрала, на коленках учебник пристроила и списывает. Я ей: – Как это называется, Белла? – Коленка!

На лекции по теории стихосложения критик Володя Гусев, убаюкивающе слоняясь по классу, монотонно бубнит: – Рифма должна быть полная, глубокая, сочная и богатая. – Как женщина! – мечтательно вздыхает кто-то на «камчатке».

Аза Аликбековна Тахо-Годи, жена и соратница академика Лосева, преподаватель античной литературы: – Зарубите на своих носах! На пятёрку античную литературу знает только Лосев. Я – на четверку с плюсом. А вы – в пределах от тройка до единицы. Кто в этом сомневается – к доске!

Я напросился, получил вопрос: что Прометей дал людям, кроме огня? – взопрел, десять минут перечисляя всё, что пришло в голову, и был с позором поставлен на место: – Прометей дал людям возможность не думать о смерти! – (!?)

Сдавая зачёт пушкинисту Ерёмину, подсев к нему, все передают старику приветы: от папы, от мамы, от мужа... Едва я начал отвечать по билету, Ерёмин оборвал: – А вы, почему ни от кого привет не передали? – Тоже могу передать. От своей школьной словесницы и вашей сокурсницы по ИФЛИ, Эсфирь Павловны Фельдман. Минутная пауза, потом – крик, сотрясший стены: – Фирочка!.. Как она?! Сколько лет!.. Зачет был сразу же поставлен.

18.09.73. Семинар Винокурова, в котором я оказался, в Литинституте один из лучших, но по сравнению с уроками Слуцкого – скучен невероятно. Евгений Михайлович не говорит – вещает. То и дело выдаёт сентенции, большей частью – как у всех любителей вкусно покушать – гастрономические:

– Вознесенский – это стеклянные макароны! Они красиво лежат на тарелке, но есть их невозможно! При удобном случае – убегаю на занятия к Трифонову, но Юрий Валентинович, впервые набравший курс, преподавательского опыта не имеет, типичный его приём – найти в рукописи студента какую-нибудь удачную фразу и сделать из неё эталон: вот если бы так всё, вот если бы на этом уровне и дальше...

09.12.73. Из-за института и новой работы совсем забросил семинар Слуцкого. Который теперь перебрался на Таганку – во дворец атеистов. Организаторы считают, что студия сделала первых двухгодичный выпуск, но Слуцкий заявил: он работал один год, и его семинар едва сформировался. Борис Абрамович не гонит никого, на Таганке я застал полсотни человек, едва разместившихся в огромной зале роскошного старинного особняка.

Среди хороших знакомых – одессит Гарри Гордон, который летом окончательно перебрался в Москву. Благодаря ему, семинар получил идеальный камертон: у Гарика абсолютный слух на слово и острый язык, его шутки коллекционируют. Дама из новых на полном серьёзе читает стихотворение: к мужчинам-поэтам приходят музы, они общаются и на свет появляются дети-стихи, а она – женщина, к ней ходит мужчина по имени Муз, и как ей теперь быть, что делать?..

– Выходи-ка ты, матушка, заМУЗ, – советует Гарик.

Слуцкий говорит о скором выходе Мандельштама в большой серии «Библиотеки поэта». Вездесущий староста Лёва и тут желает вложить свои пять копеек:

– А я слышал, что в Грузии уже издали двухтомник Мандельштама!

– Ага, издали, специально для тебя, – затыкает его Гарик. – Один том правый, второй – левый.

После семинара, когда едем с Гордоном и Гофманом в машине, рассказываю, что мой сокурсник Саша Плахов написал цикл акrostихов – в стихотворении описывается цветок, а по торцу читается его название.

– Это легко делается, – говорит Витя. – Могу на спор за час написать десяток акrostихов о чём угодно: о партии, о родине, о земле...

– О земле не получится, – замечает Гарик. – Это уже будут АГРОстихи.

15.12.73. В Пушкинском – сокровища гробницы Тутанхамона! Главный экспонат – золотая маска (действительно потрясающая), но и простой алебастр впечатляет не меньше: светится изнутри. Настоящий подарок для невыездных советских граждан, вроде меня, – вот и в Египет незачем ехать.

1974

25.01.74. Слуцкий привёл на семинар Василия Катаняна – того самого, которого Маяковский постоянно гонял то за колбасой, то за папиросами: «Пошлите Катанянчика, он сбегает». Теперь Василий Абгарович утешает в старости Лилию Брик и, естественно, пишет воспоминания. Маленький, сухонький, очевидно застенчивый, он без предисловия принялся читать, приподнимая бровки над оправой массивных очков и разводя руками так, будто сматывал пряжу. Сразу охаял замечательные записки Лавинской, нажимая на то, что она состояла на учёте в психдиспансере. Потом стал бранить Пастернака, променявшего ЛЕФ на скит и переводы, а затем «скатившегося до откровенной пачкотни». Слушать Катаняна было тоскливо: что-то видел, что-то слышал, а больше домыслил.

С аудиторией он явно просчитался, и по нулевой реакции зала Слуцкий это понял: – Если вопросов к Василию Абгаровичу нет, поблагодарим его за выступление. Ни одного вопроса не было, и дедушка поспешно удалился.

02.02.74. Наконец открыли комнату-«лодочку» Маяковского в доме на Лубянке, который целиком отдали под музей. Реконструировали – выпотрошили дом целиком, оставив только пустую коробку с кабинетом поэта под крышей; больше всего жалко, что не сохранили подъезд и замечательную «мемориальную» лестницу, которая ещё год назад была в целостности и сохранности.

А экспозиция заканчивается поэмой о Ленине, будто после 1925 года Маяковский и не жил, и не писал. Теневая сторона этого официозного музея: квартира

Бриков в Гендриковом постепенно будет умирать, в конце концов, все экспонаты перекочуют сюда, и желаемый портрет ВВ можно будет рисовать сообразно сиюминутным идеологическим потребностям.

14.02.74. Утром, когда открывал дверь в редакцию, вовсю трезвонил телефон. Звонили из райкома: срочно нужны два отклика от рабочих на вчерашнюю высылку из СССР Солженицына – матери двоих-троих детей и ветерана войны, хорошо бы – воевавшего с бандеровцами. Мурлыча под нос Галича, принялся сочинять тексты: «Как мать вам говорю и как женщина...». Написал гораздо быстрее, чем в отделе кадров нашли подходящие кандидатуры.

27.02.74. Весь день проторчали в ЦДЛе – старшие товарищи собрали молодняк на писательский пленум, скликанный по поводу 13-го февраля (не только для полноты зала, но и в воспитательных целях – готовят смену для будущей молотбы). С трибуны Михалков, Наровчатов, Медынский и иже с ними крыли «Архипелаг ГУЛаг» и Александра Исаича, Чуковскую, Галича и «поссорившую СССР с Генрихом Бёллем» Лидию Чёрную, а в зале по рукам ходил листочек – язвительное письмо Войновича в московскую писательскую организацию, датированное 19-м числом. В президиуме очень хотели видеть Евтушенко – каждые полчаса к микрофону подходил человек и докладывал: ему звонили... собирается... вот-вот приедет... В отсутствие ЕЕ старики разогревали зал – Михалков вопрошал: «Доколе он будет продавать Россию за вонючие доллары?», Наровчатов требовал: «Пора наконец снять Евгения Александровича с его политических качелей и призвать к ответу: с кем вы? – с ними или с нами?» К семи вечера выступавшие выдохлись, Евтушенко так и не приехал, и публика расходилась с чувством глубокого неудовлетворения. Обсуждая взмугительную выходку Лидии Корнеевны, которая заявила на секретариате СП, что однажды в Москве будут проспект Сахарова и площадь Солженицына.

13.03.74. После ухода Ефремова, «Современник» так и не обрёл нового лица, и Анджей Вайда в роли приглашенного режиссёра здесь тоже кстати. Давно любя его фильмы, ни одной театральной постановки прежде не видел: оригинальных режиссёрских находок в спектакле «Как брат брату» не заметил, зато финал компенсирует всё – Вайда буквально залил сцену морем крови (что никакому советскому режиссёру не разрешили бы), шок зрительному залу гарантирован.

Воспользовавшись двухнедельной болезнью редакторши, напечатал в газете призы ко всем, кто пишет стихи, тащить их в редакцию. Эля Ивановна за голову схватилась: Гофман год с ними вожжался, а теперь опять по новому кругу... Первым пришёл мальчик-осетин из сборочного цеха, где на триста девчонок два десятка парней, – стихи соответственные:

*Рука легла на плечо, Нежно, ласково, горячо,
И так та рука дрожала, Как будто не на плече лежала...
Просто руке казалось, Что сердца она касалась!..
Девчонка вскинула бровь: Ты хочешь играть в любовь?
По телу пронёсся ток: Нет, я в любовь не игрок!*

Слесарь Груздев из 6-го механического своих стихов не пишет – переделывает классику: «Памяти космонавтов Волкова, Добровольского и Пацаева, схожо с песней «Журавли»:

*Мне кажется, что наши космонавты,
С задания не вернувшись – прям как быть,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в космическую пыль!..*

Представительницы прекрасного пола тоже не отстают:

*Я не хочу, не трогай мои губы! Не хочу, слышишь, не хочу!
И не потому, что ты грубый, А потому что нежный чересчур! ...
Вот и не подумай так, что я шучу! Просто я... хочу и не хочу!*

Разбираться с авторами просто: Груздеву говоришь, что событийный момент давно упущен, девчонке – чтобы разобралась-таки, хочет она или нет. Труднее с чайником, который принёс в тетради на семьдесят страниц поэму, где воспел всех своих женщин (с гениальной концовкой: «*И я с тех пор люблю всех женщин Мира, за то, что есть у них и нету у меня*»), но и его кое-как спровадил. Наконец мои поиски увенчались успехом – двадцатилетняя сборщица, одинокая кормящая мать, жутко раскрашенная, с пропитым низким голосом. Стихи такие, что оторопь берёт:

*Все мужчины сволочи, все мужчины гады!
Покупают женщину за плитку шоколада.
Покупают, бедную, за трояк изжёванный,
В парке или скверике – самую дешёвую! ...
Что мне все приличия, если ночи терпкие,
Если груди тёплые – под руками крепкими.
Если сердце тешится, о любви не думая.
Если рано вешаться ночью златолунною!
...Я такую кроткою становлюся полночью!
Дорогою водкою напою я сволоча.
Гада симпатичного задушу в объятиях...
К чёрту все приличия, если жизнь проклятая!*

Межиров сказал, что это не поэзия – контузия, а Евтушенко – что пришла вторая Римма Казакова. Мнацаканян обещал послать Вихлянцеву на совещание молодых писателей, которое будет следующей осенью, – только с условием, что за год она напишет хотя бы десяток стихов, пригодных для печати.

20.04.74. Познакомился с легендарным Николаем Тарасовым – симпатичным человеком и хорошим поэтом. Который, работая в спортивной газете, первым выделил из толпы школьника Женю Евтушенко. Чем подкупал? – просьбами не править его стихи, а только отметить недостатки (переписывал себя сам).

07.06.74. Началась сессия. В институтских коридорах почти пусто – иногородние студенты, успевшие перезнакомиться и соскучиться с прошлого года, с ранья предпочитают пьянствовать в общаге или Доме литераторов.

Занимаемся в правом флигеле, который примыкает к стене редакции журнала «Знамя», – окна открыты, сквозь них льётся манящий аромат улицы и свободы, а в сквере, вокруг неказистого памятника писателю-революционеру, слоняются друзья-приятели, выманивают наружу. Здесь только Герцен и серьёзен – свысока взирает на нас, прижимая к груди чугунные шпартгалки. Из-за него появляется Богословский – подходит к окну, и мы тихо переговариваемся, пока лектор бубнит про политэкономию капитализма. Дождавшись, когда Волоагин отворачивается, я вылезая в окно, идём с Андреем в конец Тверского бульвара, где вокруг памятника «борцу и мыслителю» уже расставлены столики под брезентовыми зонтами, и асфальтовая площадка украшена мозаикой из втоптаных бутылочных крышек; Андрей читает новые стихи (про телефоны-автоматы – вполне напевные), а мне и прочесть нечего – за год пары строк не срифмовал...

Познакомился с поэтом Андреем Черновым. Глупо вышло: на подоконниках второго этажа, возле редактора, курили Наташа Старосельская и Олеся, я стоял спиной к коридору, уткнув нос в украшавшую простенок фанерную доску «Наши публикации», читал вслух стишок в «Алом парусе» некоего токаря с авто-

завода Лихачёва, ехидно его комментируя, тем временем автор стоял у меня за плечом и тихо внимал моей говорильне. Ничего, теперь здороваемся. У Чернова роман с художницей Зайцевой, чьи рисунки в «Алом парусе» (прелестные!) обещают яркого книжного графика.

Андрей Чернов
и художник
Ира Зайцева



26.06.74. Вчера улетел Александр Галич. Одни говорят, что в Париж, другие – что в Австрию. В любом случае – в чёрную дыру, откуда разве что потусторонний голос долетит «по голосам».

15.07.74. «Тиль» в Ленкоме – яркая претензия на то, что театр намерен занять в Москве первые позиции. Шансы есть: уже народилось новое поколение, для которого Таганка через три-четыре года станет допотопной архаикой.

15.08.74. Редакторша Эля отметила мою кипучую трудовую деятельность дармовой парткомовской поездкой в Питер и Таллин, и я на три дня с радостью отвлекся от домашних проблем (настаиваю на размене квартиры, потому как намерен жить один, а мама из последних сил упирается).

...Стою на Мойке, опершись на парапет, насвистывая мотивчик из «Шербургских зонтиков», и подходит ко мне ленинградский дедушка, весьма интеллигентный: – Простите, вы, случайно, не из Москвы?

– Да! – отвечаю гордо (столичную штучку сразу видно). – А вы как догадались? – Так свистят только в Москве и в лесу.

16.09.74. В Сокольниках разогнали художественную выставку «диких». Просто и без затей – подкатили бульдозеры и... В глазах властей, художники как были окрещены «пидарасами» на «оттепельной» выставке в Манеже, так ими навсегда и останутся, существуя лишь для удовлетворения партийных потребностей.

21.09.74. Наш институтский семинар пополнился: пришли Алёша Дидуров и Петя Кошель, Олеся Николаева перебежала из переводческой группы (на венгерском язык сломала). Винокуров удручает: по второму кругу – слово в слово – повторяет всё, что мы в прошлом году уже слышали. Похоже, у Евгения Михайловича совсем дырявая память – когда в сотый раз говорит, что «Вознесенский – это стеклянные макароны», уже и я чесаться начинаю...

07.10.74 / Похороны Шукшина

Утром два десятка студентов собрались в сквере у Герцена (остальные, как потом оказалось, чуть свет стояли в очереди, тянувшейся от Дома кино до Тишинского рынка). Венок от Литинститута постыдно убогий – еловые лапы с бумажными цветами; хорошо, кто-то из ребят принёс охапку калины. На Васильевскую еле пробилась – оцеплена, милиционеры на взводе (один сказал: «Чего пришли? Хотите отправиться к тому, кого хоронить припёрлись?!»). Мы с Богословским

подхватили оставшийся без присмотра венок, с ним нас кое-как пропустили. Страшно это всё: навзрыдная музыка, деревянный ящик с человеком, истошный вопль поминутно теряющей сознание вдовы... И когда вниз поплыли отрешённое желтое лицо, скрещенные на груди руки, написавшие «Чудика» и «Охота жить», сухой комок в горле застрял... А на прокуренной лестнице уже кто-то говорил: убили Макарыча – как Есенина, Маяковского... Бред, конечно.

Летом в литинститутском сквере подошёл ко мне какой-то абитуриент, спросил: москвич? – знаешь, где улица Бочкова? Оказалось, он с Алтая, привёз посылочку Шукшину. Я согласился показать – при условии, что меня с собой возьмёт. Шукшин был на съёмках, дочери в деревне – дома оказалась одна жена (всего на два-три дня вернулась), простецкая, весёлая и словоохотливая. Пригласила в квартиру (ещё не совсем обжитую, в следах вялотекущего ремонта), провела в кабинет мужа: «Наконец-то у Васи личная комната есть, а то все свои книжки на кухне писал...».

Что, кроме порядка на рабочем столе, поразило – целый склад растворимого кофе: штабеля банок под столом, на подоконнике, на полу возле балконной двери. Очень много, даже для привычного к заначкам кофемана. Заметив любопытный взгляд, Федосеева сказала: «Вася, слава Богу, почти совсем пить бросил, теперь алкоголь кофеином заменяет. Всё лучше, чем водку-то. Ему одной растворимой банки на день-два хватает...» Грешен – подумал тогда: это какой же мощный «мотор» иметь нужно!?

Вечером в новостях показали фрагмент последнего интервью Шукшина, снятого для «Кинопанорамы» за несколько дней до конца: в гриме и солдатской форме, сидит под деревом, говорит. А вот **как** говорил – до сих пор мурашки по коже: микрофон, прикреплённый к вороту гимнастерки, оказался возле рта, и слов почти не разобрать – тихий голос напрочь заглушало надсадное, с тяжелым присвистом дыханье. Не нужно быть медиком, чтобы понять: здоровый человек **так** дышать не может.

Конечно, Шукшина убили – огромный, выжигающий нутро талант, азарт работать до издоха.

02.11.74. В переделкинском Доме творчества повесился сценарист Геннадий Шпаликов. На шарфе, который не снимал ни зимой, ни летом. В последнее время он люто пил, но тут вроде бы оказался трезвым. Обнаружили его Горин с Аркановым – через окно влезли в номер, однако их медицинских познаний хватило только для констатации смерти.

07.11.74. Благодаря знаменитому слепому адвокату Торбану (зрение Михаил Григорьевич потерял на войне, в горящем танке) моя двухмесячная эпопея с разменом квартиры кое-как закончилась: с жуткой нервотрёпкой, угодившим под поезд обменщиком, хождением по исполкомам, чиновникам и депутатам... Позавчера перебрался в свою отдельную нору (переехал с одной стороны улицы на другую, а всё хлопотно), и теперь тупо смотрю в потолок – на полном нуле. Прощай, марьинорощинский паноптикум – соседи Собакины и Животягины.

17.11.74. 21-летие Андрея Чернова отмечали у него дома в Тушино. Половина гостей – поэты: Олеся Николаева, Сергей Мнацаканян, Саша Аронов, Вадим Черняк, приехавший из Питера Миша Яснов. Половина – журналистский цех: Паша Гутионтов, Вадим Марин, Геннадий Жаворонков, Лёня Загальский.

07.12.74. Мама припозднилась и осталась ночевать, а ночью ей стало плохо: начала задыхаться, терять сознание. Приехала одна «скорая», потом другая – трое медиков суетились до четырёх утра, пока один сказал: «Не справимся,

пусть приедет Борода». Через полчаса явился неказистый реаниматолог с чеховской бородкой – не как на работу, а будто бы в гости: «На портрете кто? – Станиславский? И этого знаю – Цыбульский. А вот и больная...» Пересчитал в пепельнице использованные ампулы, сказал, что десятую колоть глупо – подождём, пока эти дадут результат. Минуту поговорил с мамой, которая сразу успокоилась и вскоре задремала, выудил с полки томик Мандельштама и попросил сварить кофе. И до половины шестого читал на кухне стихи, пока получил очередной вызов. Уходя, пощупал мамин пульс (она даже не проснулась) и сказал, чтобы я не волновался. Признаться, я думал, что **т а к и х** врачей нынче уже нет.

«Деревянные кони» на Таганке – по трём новеллам Фёдора Абрамова. В третьей – «Алька» – в главной роли Нина Чуб (замечательная, на равных с Демидовой и Славиной). После спектакля проводил Нину домой, недолго поговорили: ей всё-таки грех пенять на судьбу, и с этого спектакля её положение в театре более чем заметно. Верно говорят, что в Любимова женщины влюбляются неизбежно: спросил у Нины, по-прежнему ли хочет работать с Ефремовым, и она посмотрела на меня, как на сумасшедшего.

1975

01.01.75. Решили с Черновым встретить Новый год вчетвером – он с Зайцевой, которая вроде бы уже как невеста, и я со своей пассией. Но моя дама застряла на институтском карнавале, в результате чего мы тут же разругались, а гости под бой курантов появились... втроём: кроме Арины, Андрей привёл девушку Галину Погожеву. Чьё стихотворение, вышедшее в «Московском комсомольце» неделю назад, – точный портрет нашего поколения:

Мы иронически умны. Взлетаем трудно, но однако

Мы приземляемся без страха – К кому-то прямо на блины.

Потом мы спим и видим сны, Как что-нибудь создать могли бы...

Но это глупость, братец, ибо Мы иронически умны.

Мы друг для друга рождены, Но дружно порознь вязнем в деле.

И две недели, три недели – Мы иронически умны.

Когда мы будем сметены, Не может быть, чтоб нас забыли

Под слоем пыли – мы же были Так иронически умны!

Прочитав, сразу подумал: наш человек. Так оно и оказалось.

11.02.75. С уходом от Винокурова у меня освободился вторник, потому снова могу посещать семинар Слуцкого (теперь собираемся в Доме народного творчества на Маросейке). Сегодня я привёл на занятия Погожеву, которая безбожно опоздала, и в зал мы влетели, когда всё давно началось. Читал стихи незнакомый юноша в очках с большими диоптриями, а в углу я заметил волчьи уши Гены Жаворонкова, и стало ясно: он привёл к Слуцкому Олега Хлебникова из Ижевска. У Бориса Абрамовича был недовольный вид, что происходит всегда, если почему-либо ломается заранее намеченный распорядок, и к юному соискателю славы он отнёсся сурово. Обсудили Хлебникова хорошо (очевидно – поэт), Слуцкий смягчился и взял его подборку домой. После семинара мы с Погожевой умыкнули Олега – несмотря на холодрыгу, до полуночи таскались по городу, пока он не прочитал всё, что им на сегодня написано.

13.02.75. Хлебников отвозил в «Комсомолку» предисловие Слуцкого к его стихотворной подборке (которую Щекочихин обещает напечатать послезавтра), из редакции заехал ко мне. Борис Абрамович выдал Олегу щедрый аванс:

«...В его стихах совсем мало, собственно, совсем ничего нет «18-летнего», студенческого, провинциального. Это – зрелые стихи. Между тем их автор – 18-летний студент-второкурсник из самой что ни на есть, по былым меркам, провинции – Ижевска, города, в российской поэзии куда мало отмеченного...» После того, как сей текст напечатают, Хлебникову домой лучше не возвращаться – на вокзале его с дубьём будут встречать местные рассвирепевшие пииты, мало чем прославившие свой город, и тут жалости не жди.

09.04.75. Три дня опекал немецких коллег из многотиражки гедеэровского часового завода. Заодно подтянул и свой немецкий, ненавистный со школьной скамьи. Оказалось, вполне могу объясняться без переводчика – когда вёз гостей из Шереметьева и проезжали противотанковые «ежи» на Ленинградском шоссе, немцы оживились: варум? Пришлось объяснить: «Дорт ди фашистен... вашим, значит, ...по дас коф клопфен, унд отсюда вы нах Берлин цюрюк геен!» Поняли! – попросили доехать до Кремля и время засекали, так я сказал шофёру: домчи-ка их до Манежной за двадцать минут, благо пробок нет. И домчали! (Потом узнал – Хайнц в детстве в гитлерюгенде состоял, и Хасси тоже маршировал бы, но ещё пешком под стол ходил.)

Вообще немцы оказались забавные. Но очень хлипкие – редакторша традиционно повела их во Дворец съездов (на «Бахчисарайский фонтан»), так они, приняв в антракте по фужеру шампанского, приставать к венгерской актрисе Эве Рутткай, а потом и вовсе уснули – Эля Ивановна еле разбудила их после спектакля.

Когда отвозил гостей в аэропорт, немцы попросили тормознуть у мемориала и сфотографировать меня на фоне «ежей». Что я великодушно разрешил – как представитель народа, который им тут «по дас коф клопфен».

10.04.75. В «Таганском» неафишированно идёт «Зеркало» Андрея Тарковского. Пригласил маму – интересно было, ощутит ли она то время, которое в её памяти лежит на отдельной полочке. Прониклась: сразу подхватила раздавшиеся в зале аплодисменты. Высшая её оценка: «Надо же, какое простое и понятное кино».

03.05.75. Вечером пошёл на Таганку (на «Обмен» по Трифонову), полчаса ждал свою пассию в толчее возле входа, и тут же кого-то ждал Высоцкий (он в этом спектакле не занят). Мягкое закатное солнце уже зашло за шпиль высотки на Котельнической, рельефно высвечивало лицо ВВ – кадр был феноменально хорош. Полез в сумку за «Флексаретом», достал его и – ступор: актёр не на сцене, сейчас он часть толпы, а тут я со своей фотокамерой. Конечно, нужно было просто отступить согласия (наверняка разрешил бы), но пока я медлил, Высоцкий ушел. Теперь мучась: точно знаю, что никогда себе этой оплошности не прощу.

17.05.75. В конце прошлого года между мной и Олесей чёрная кошка пробежала – она вдруг перестала со мной здороваться, а я не стал доискиваться причин. Впрочем, догадаться несложно: общий музыкантский круг, охочий до сплетен, несостоявшийся роман с Владимиром Виардо, случайным свидетелем которого я невольно был. Теперь Олеся – жена критика Володи Вигилянского, на сносях и вполне благостна. Под вечер мы в ожидании троллейбуса столкнулись на остановке, под чугунным институтским балконом, выяснили, что оба едем к Чернову в Михалково, и дальше поехали вместе. По дороге и помирились. На черновской даче застали десяток гостей, среди которых были детские писатели Валентин Берестов с женой Татьяной Александровой (месяц назад познакомились, на свадьбе Чернова и Зайцевой). Похоже, у Берестова – судьба Михаила Светлова, оставшегося не столько стихами, сколько аурой, которую

излучал. И за Чернова тревожно – он влюбляется в Валентина Дмитриевича с потрохами, а это вряд ли пойдёт Андрею на пользу.

19.05.75. Чуть не завалил экзамен по русской литературе XIX века: сел отвечать доценту Кедрову, с которым до этого были «на ты», и билет достался отличный – полемика вокруг «Отцов и детей» и творчество Фета, но Костя вдруг схлестнулся со мной на предмет Аф-Афа, будто бы тот «повышее Пушкина будет», равно как и Брюсов, а будущее нашей поэзии – «через оживление мрамора». Кончилась наша перепалка ссорой: я в глаза назвал Кедрова дураком, получил от него закономерный «трояк», и мы разошлись навсегда с взаимной ненавистью.

24.05.75. Вечер Олеси и Гофмана вёл Давид Самойлов: про обоих говорил равно хорошо, однако сквозь слова явственно проступало, что если Олесина поэтика ДС близка и понятна, то Витины стихи он вообще не воспринимает.

15.06.75. Дорогой Леонид Ильич на избирательном участке в очередной раз нас порадовал – когда охреневшая от восторга девчужка попросила у него паспорт, генсек обвёл толпу оловянным взглядом и тыкнул пальцем в свои брови: «Вот мои документы!» (каким плебейским смехом залилась свита – пером не опишешь). Редакторша Эля, как истинный коммунист, принялась защищать партлидера, имея только один веский аргумент: «Конечно, стыдно, но его можно простить – он же старенький!» Ну, а коли так, пускай пенсионером в лифтеры идёт.

31.10.75. Неделю назад наши друзья из школы-студии МХАТ устроили у себя вечер Окуджавы. Камерный, для своих, чтобы вся Москва к ним не набежала. В тот день на город пролился жуткий ливень – мы созвонились и решили, что по дождю тащиться лениво. За час до начала в Камергерский приехала Погожева, из нашей компании никого не нашла и позвонила мне с паническим воплем: как внутрь пробраться? Понятно, как: дождишься БШ, сошлись на общих друзей – наверняка проведёт. Так и вышло: Окуджаву юную коллегу в зале пристроил, а она в благодарность сунула мэтру в карман свой стишок, сочинённый от нечего делать, пока концерт ждала. Булат Шалвович узнал Галкин телефон, позвонил ей той же ночью, напоролся на вредину-сестру, которая сказала, что никакого Окуджаву не знает, и так называл неделю – Погожева, точно почуяв неладное, от БШ успешно пряталась. Когда она спросила: что происходит-то? – говорю: а прочти-ка мне этот стишок.



Галина Погожева

узнал Галкин телефон, позвонил ей той же ночью, напоролся на вредину-сестру, которая сказала, что никакого Окуджаву не знает, и так называл неделю – Погожева, точно почуяв неладное, от БШ успешно пряталась. Когда она спросила: что происходит-то? – говорю: а прочти-ка мне этот стишок.

*Запоминать тебя такой? – Будь лучше призраком прозрачным
Над сном, над мятым ложем брачным, Соседним домиком барачным
И серой сумрачной рекой.*

*...Как притворяется живой, Когда её встречаю где-то! –
Она отчаянно одета... Моя случайная победа,
Что ж получается с тобой?*

*Ты почему теперь не та, Ребёнок, крашенный и бледный,
Что ходит куколкой балетной В квартиру чью-то на Каретной?
Я сам толкнул тебя туда.*

*Я был талантлив и умён, Считал, мне можно всё на свете...
Ах, эти девочки – как дети: Заплачут горько на рассвете
И канут в зеркало времён.*

Стишок как стишок, «без звезды», как говорится, и что в нём зацепило Булата Шалвовича – понять трудно. А сегодня, зайдя в «МК», в кабинете Аронова застал Зураба (сына брата Окуджавы, но по фамилии Налбандян), и тот огорошил: «Ваша Погожева вконец с глузды съехала? Пронюхала, что у Булата есть женщина в Каретном, так зачем ему стихи об этом в карман совать?» Вечером отчихвостила Погожеву, а она: «Надо же... Да ничего я не знала! Рифма к слову «балетной» понадобилась, а кроме Каретного ничего не нашла...» Никакой мистики – чистое поэтическое наитие.

11–16.11.75 / Софрино

На Московское совещание молодых писателей попали мы все, кроме Погожевой, которая предпочла оказаться на Всесоюзном. И прожили в Софринском доме кинематографистов славную неделю.

Я пошел к прозаикам – рецензировали мои рассказы Искандер и Нагибин, но оказался в семинаре Николая Воронова, где самыми интересными были Андрей Яхонтов, Гера Баженов, Феликс Ветров и Юра Тёшкин. А поскольку я ещё и прессу представлял, то получил возможность перемещаться из семинара в семинар: к Слуцкому и Окуджаве, Самойлову, Соколову, Солоухину, Казаковой.

Первый же семинарский день отметился скандалом: Солоухину укомплектовали группу «пролетарскими» поэтами (у него и сборщица Вихлянцева с моего Второго часового оказалась), Владимир Алексеевич это понял и рассердился. Сказал, обращаясь ко всем: «Поэзия – это не игрушка, а тяжелый труд, поэзии нужно целиком отдаваться. И вы, ребята, бросайте это баловство. Ты, Смирнов-Фролов, экскаваторщик, вот и делай с душой это дело, котлованы под фундаменты рой. А ты, Вихлянцева, собираешь часы, в этом и найди своё призвание, а стихи оставь профессионалам...» Потрясённый Смирнов-Фролов в слезах вышел из комнаты, в коридоре столкнулся с Сашей Ароновым, упал ему на грудь: «Как жить дальше, Аронов!? Евреи проклятые, русскому человеку в поэзию пробиться не дают!..» Саша отчасти крёстный отец поэта-экскаваторщика (когда тот пришел к нему в «МК» и сказал, что его зовут Смирнов-Фролов, Аронов пошутил: «По мне, так хоть Рабинович-Таврический!»), и какие-то слова утешения нашёл, уведя Смирнова-Фролова в буфет. Где, сославшись на нехватку помещений, шумно гудел семинар сатириков, руководимый Аркадием Аркановым, Андреем Кучаевым и Ксан Ксанычем Ивановым.

Окуджава озадачил Дидурова советом, который обидчивый Алёша воспринял как оскорбление, однако Булат Шалвович тут же ему и комплимент сделал – сказал: – А вот эту вашу песню я бы спел!

Обсуждения длились до шести вечера, потом желающие отправлялись смотреть кино (показали прелестные картины «Не болит голова у дятла» Динары Асановой и «100 дней после детства» Сергея Соловьева, американскую ленту «Бумажная луна» – с гениальной девочкой Татум О’Нил и виртуозной операторской работой Ласло Ковача, грузинский фильм «Пловец»). Или встречались с интересными людьми (приезжали Митя Покровский, пианист-импровизатор Чижик). Заканчивался день – в холле на первом этаже, возле единственного на весь дом творчества бесплатного телефона, у которого вырастал длинный хвост.

Тут я основательно застрял между Аксёновым и Сашей Ивановым – овладев трубкой, Василий Павлович взялся пересказывать жене краткое содержание фильма «Не болит голова у дятла», а желчный пародист изнывал в ожидании и поминутно бормотал: «Скорей бы дятел дал дрозда!..»

В последний день с ранья разбудил парадно одетый Петя Кошель – потребовал, чтобы взял фотоаппарат, повлѣк по тѣмным коридорам и вломился в комнату к Самойлову. Бормоча: «На память, Давид Самойлович, для истории!» – оттеснил готовившую чай Татьяну Глушкову, поднял с постели Владимира Соколова и пересадил на кровать к Самойлову, сам втѣрся между ними, спросонья оторопевшими, и мне: «Давай-давай, снимай скорее!»...



*Давид
Самойлов,
Пѣтр
Кошель,
Владимир
Соколов*

Прощальный вечер провѣл в своей компании. Слуцкий поднял первый тост: «За успех нашего безнадѣжного дела!» (непрямой тост Анны Ахматовой), а последний произнесла Люба Гренадер: «Думаю, в этой комнате нет людей случайных – все мы взялись за дело, зная, что оно для каждого значит, чего от каждого потребует. А насколько у каждого получится – знает только Господь, которого нет!»

Окуджава приехал в Софрино без гитары, но её, конечно, раздобыли – битую, с торчащим из-под грифа карандашом, и отступить Булату Шалвовичу было некуда – спел полтора десятка новых песен...

Утром, когда рассаживались по автобусам, ко мне подошла Вихлянцева: «Знаете, я больше стихи писать не буду...» Оказалось, какой-то скот предложил ей переспать, и это Люду добило окончательно: ладно, на заводе чего под стакан водки не сделаешь, а ведь тут – ПОЭТЫ...

21.11.75. Собрались у Погожевой: Женя Блажеевский вышел из армии, читал последние стихи. Стихи талантливые и жуткие – о «неразделѣнной к родине любви». В армии Блажеевского сломали муштра («хочу быть камнем под ногой у старшины») и отсутствие женщин («тяжёлые бѣдра еврейки устало к себе притяну»), выходить из этого состояния ему будет непросто.

В отличие от Блажеевского, Гриша Остер, с которым сегодня познакомился, человек не рефлексирующий, и служба ему только на пользу пошла: вернулся с флота автором книжки ура-патриотической лирики, но со стихами, говорит,

завязал – намерен стать детским писателем (и проблем меньше, и денежнее). Обещал Грише, что хвалебная рецензия на первую его детскую книжку – за мной.

07.12.75. Выходные провели с Черновым в Питере. Погуляли по городу, навестили Люсю в Доме книги, повидались с Мишей Ясным и Колей Голем.

Забавная сценка в Русском музее: в зале академиков, возле огромного полотна, изображающего мучения иудеев в Колизее, стоят мальчик лет семи и его отец: – Папа, куда их тащат? – Истязать. – А кто их будет истязать? – Колизей. – А кто такой этот Колизей? – Оставь меня в покое!..

25.12.75. Навестили Сашу Аронова, который с сердечным приступом угодил в Боткинскую. Вышел: растянутые рейтузы жалко болтаются на тонких ногах, волосы торчат во все стороны – лев после химчистки. Что здесь делает – неясно: уже подоффе, и в кулаке пятерку держит, намереваясь послать меня за водкой. В таком состоянии общаться с ним тяжело – восторженно вопит на весь коридор, слушая стихи Погожевой, то и дело бьёт меня по плечу: «Вы все дурака валяете, одна Галка дело делает! И ты стихи не бросай! – жаль, я тебя три года назад не встретил!..» (Что было бы, познакомься мы с Ароновым три года назад, когда дня не проходило без выпивки, даже предположить страшно.)

1976

01.01.76. Новый год встречал у Берестова, а моя любимая девушка – по-домашнему, с родителями. Приготовил ей подарочек: в коробку из-под телевизора положил юбилейный трёхтомник Пушкина, а для эффекта – приладил изнутри четыре хлопушки «пушечного серпантина», привязал все нитки к пятой, чеку которой вывел наружу, с игривым пластмассовым колечком. По пути в Беляево, завёз коробку – поставил у двери, позвонил и скрылся (убедясь, что дар забрали). Сегодня узнаю: водрузили мой «сюрприз» на праздничный стол, с боем курантов потянули за колечко, а когда громыхнуло и повалил дым – папа сорвал крышку, и сработали остальные хлопушки... Шампанским пожар кое-как потушили, к утру успокоились и теперь гадают: чья идиотская шутка? И правда – кто бы?!..

02.01.76. У нас есть новое новогоднее смотриво – двадцать лет откупоривали шампанское под «Карнавальную ночь», а отныне будем тащиться от рязановской же комедийки «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»

Фильм в одночасье озвездил Ахеджакову с её минутными эпизодами, Аронова –

теперь ни одно застолье не обойдётся без его песенки «Если у вас нет собаки...» А вот Оле Науменко, хоть и соблазнительно сняться у мэтра Рязанова, от роли рыбообразной невесты лучше было бы отказаться – очень велик риск, что она навсегда останется злой и занудливой девушкой Галей, от которой обаяшка Женя Лукашин из бани в Питер сбежал...



Ольга Науменко

06.03.76. В цирке лет сто не был, уж пятнадцать точно. А тут пришлось – заказали текст про клоуна, который кошек дрессирует. Советский цирк, он цирк и есть: программа посвящена XXV съезду КПСС и венец её – надувающийся и вот-вот готовый лопнуть гигантский красный пузырь. Про клоуна ничего не скажу: ну да, кошки – по его словам, впервые в истории цирка. Пока думал, как бы тактичнее сказать Куклачёву, что писать о нем не смогу, он ошарашил вопросом:
– Как получить Ленинскую премию, а?
– Сначала получи хотя бы Заслуженного, потом премию Комсомола или какую другую, попроще...
– Да это всё у меня через год будет!

07.03.76. Днём позвонил Чернов: про Масленицу забыл? Решили, пусть вечером приходит все, кто встретится или прозвонится. Покопавшись в загашниках, нашел пакет блинной муки, бутылку кефира. Тут и в дверь звонок – первой заявила Наташа Геккер из аროновского отдела «МК»: предложила помочь, да мне на своей кухне самому сподручнее. Села девушка в углу, и по мере того, как у меня росла гора блинов, её глаза становились всё живей и маслянистей... К вечеру собрался десяток гостей, и каждый второй не преминул шепнуть: старик, поздравляем тебя с новым назревающим романом!

15.03.76. В полночь снежным комом скатился Куклачёв с бутылкой коньяка: – Садись за машинку, будем мне речь писать на съезд цирковых деятелей!.. Пиши: на моих представлениях семь раз был товарищ Леонид Ильич Брежнев!... Говорю: на фига тебе это?
– Хочу, чтобы мне цветной буклет напечатали в Мюнхенске, а без Брежнева не получится! Такой только у Олега Попова и наездников Кантемировых есть, а я чем хуже? Я даже придумал, как заяву на буклет Брежневу вручить. Когда он в следующий раз, как всегда, с внучкой за кулисы придёт, я сразу кошечку на ладошку поставлю и прямым к нему. Охрана расступится, чтобы кошечку не повредить, тут я свою заяву и вручу...

25.03.76. Моя уютная нора неотвратимо превращается в проходной двор. В семь утра позвонил Блажеевский – спросил, найдутся ли рубль и чистый конверт. Через минуту появился (звонил из автомата у подъезда), получил желаемое, пожелал мне досмотреть свои сны и сел на кухне, намереваясь писать кому-то письмо... Когда я через два часа продрал глаза, Жени уже не было, но след его не простыл: в пепельнице дотлевали обрывки письма...

17.04.76. Нынче «праздник в рабочей спецовке», то бишь коммунистический субботник. Так как Второй часовой, с моей лёгкой руки, теперь побратим Союза писателей, Серёжа Мнацаканян привёл к нам «агитгруппу» – Андрея Богословского, Лилию Наппельбаум, Иру Хургину и Серёжу Юрьенена. Которые собрались как раз к тому часу, когда весь завод устремился домой. Поскольку свою лепту хотелось внести, я раздобыл в гальваническом цехе нитрокраску (красную, черную, синюю и белую) и писатели раскрасили редакционный шкаф. Жуткое зрелище: творчество дальтоника-шимпанзе.

22.04.76. Вчера приехал из Ижевска Хлебников, пошли к Слуцкому на семинар (Олег надеялся свои новые стихи почитать). Борис Абрамович был явно не в духе, говорил скупко, и обсуждение очередного автора закончилось быстро. Когда Слуцкий спросил, о чём поговорим, и я предложил послушать Олега, он меня оборвал: «Если неймётся послушать Хлебникова, вы вполне можете это сделать с друзьями у себя дома!» И такая реакция у Слуцкого уже не в первый раз.

17–21.05.76 / Казань

Куклачёв напугал меня рассказами, как во время казанских выступлений у него кошки чуть с голодухи не померли, ну я и набрал с собой чемодан консервов. А приехал – тут юбилей Казани отмечают, продуктов на каждом шагу – завались. Хороша татарская столица, как себе и представлял: кремль, будто торт с кремовыми финтифлюшками, над Волгой возвышается. Стояла жара – грех в волжской воде не искупаться. Когда выгреб на берег, вокруг толпа зевак собралась. Говорю: ну и грязная же у вас Волга! А они мне хором: – Так это река Казанка! А Волга – на другом конце города.

23.06.76. Во время нашей последней встречи отец нашёл, что выгляжу я хуже некуда, а черные подглазины его вконец огорчили. На правах медика дал совет: каждый день должен съедать кусок мяса, морковку и луковицу. Всё, что угодно, только лук есть не могу – я же весь день людям в лицо дышу, а на ночь тем более: все девушки мои разбегутся. «Девушек среди недели вообще принимать вредно, – сказал папа. – Отдай им субботу: и энергии накопишь, и они соскучиться успеют!» Попробовал – и впрямь эффективно. Только вот друзья забавляются – звонят: – У тебя щас что? – утренняя морковка, вечерняя луковка или субботняя девушка?

25.06.76. Всю ночь пили шумной компанией, расходились под утро. За полчаса всех кое-как рассадили по такси и левакам. К половине четвертого осталась

только Старосельская, а Сущёвка уже опустела – мертвый час начался. Говорю Наташке: иди на другую сторону, лови все равно что, а я тут буду. Только она ушла, выезжает из переулка свободное такси – распахнул дверцу, кинул на сиденье сумку Старосельской и говорю водителю игриво: – Подбросишь даму в Останкино!

А он вдруг сумку выкинул наземь и мне:

– Слушай, **д а м а**, валил бы ты на...

И уехал.

Когда Наташка подбежала, машины след простыл, а я от смеха по асфальту катался: представляю, **ч т о** шофер в своём таксопарке расскажет! Хорошо ещё, разводным ключом меж глаз не засветил (ну не любит он возить голубых).



Наталья Старосельская

01.07.76. Днём пошел на мультфильмы в «Россию». Перед началом сеанса сижу на лавочке в сквере за спиной Пушкина, рядом со мной две пенсионерки – одна, именуемая на киностудиях «трёшницей», рассказывает подружке, как она в кино (в массовой телесериале «Двенадцать стульев») снималась:

– ...Декольте, веер – красота! В перерыве мы, конечно, болтали с Мироновым и Папановым, а как съёмка началась, я за ними в партере сидела. И так – в сторону, в сторону, чтобы голова моя за их спинами видна была...

– Господи, счастливая вы какая, – восторженно шептала её подружка, – такой интересной жизнью живёте. Вот повезло!

– Да уж, навсегда на плёнке запечатлелась!.. Хотите посмотреть фотографии? Это так, фотопробы...

06.08.76. Как говорит Гофман, вот тебе уже и четвертак, а ещё ничего не сделано для бессмертия.

Куклачёв с Ленкой приехали раньше других, потому как вечером представление, и мы никого ждать не стали – сели за стол. Через час гости были в комплекте, и Юра, ни капли не пивший, решил поработать на публику – показал свой коронный номер: полный по кругу поворот туловища под прямым углом на одной руке. Когда он взгромоздился на изумлённо крякнувший стол, и его девяносто пять килограмм поплыли над тарелками и рюмками, все от страха за клоуна рты раскрыли, а мама в дверях схватилась за сердце, не сводя глаз с любимого обеденного сервиза. Продемонстрированный десятку гостей номер был чересчур щедрым подарком, потому что из-за нас зрители цирка сегодня вечером его не увидят: дважды в один день Куклачёв исполнить сей трюк физически не может. Пока он, багроволицый и взмокший, приходил в себя, а друзья вежливо выражали восторг, мама как бы незаметно собрала сервизные тарелки на поднос, и тут Юра ожил – подхватил поднос, поставил его на большой палец, крутанул вокруг оси и, чудом не грохнув, отнёс на кухню. (О, мамма миа! – после отбытия Куклачёвых, Нинушка весь вечер сосала валидол.)

26.08.76. Хлебников, которого по приезде в столицу тягают к себе в стан все – от «Юности» до «Молодой гвардии», всерьёз переживает, что компании эти никак не пересекаются. Нынче, придя провожать Олега, застал на Казанском вокзале новых его друзей – поэтов Игоря Селезнёва и Ефима Зубкова (прораба со стройки, смурного парня, рисующего буквами «видеомы», на манер Вознесенского). Стоя у вагона, Олег выдал монолог: ребята, хватит вам жить разобщённо, будьте терпимее друг к другу, общайтесь и т.д. И призвал нас обменяться рукопожатием. Мы послушались – три руки одновременно столкнулись, отдернулись, снова ударились пальцами, и третьей попытки мы не сделали. Символическая сцена.

30.08.76. Ночное дежурство с реаниматологом Юрием Селеновым (на даче опального уфолога Спиркина познакомились) в оперативной хирургии 36-й больницы. Приготовился к тому, что дежурная бригада до утра будет спасать умирающих, и фактуры на очерк наберу с лихвой. А Юрий Ильич со своими орлами лениво играли в «го», травили анекдоты и гоняли чай. Тем временем во двор одна за другой въезжали машины «скорой помощи», а реаниматологи бровью не вели. Оказалось: если машина приезжает без моргалок, и врача в кабине нет – больному срочная помощь не нужна, если врач сидит рядом с шофёром – тем более всё в порядке, только когда «скорая» пугает ночной город сверканьем огней, а то и сиреной, – бригада бежит навстречу на всех парах. Эта ночь оказалась спокойной. Под утро, проигрывая очередную партию, Селенов крикнул: «Я агонирую!» и предложил, если мне очень хочется «фактуры», спуститься в «Освенцим», то бишь приёмник для травмированных алкашей. Однако отделу очерка «Молодой гвардии» такая чернуха не нужна.

05.09.76. Ездили с Берестовым на Сходню – у Новеллы Матвеевой на выходе первый большой диск, а ни одного подходящего портрета у неё нет. Очень старалась выглядеть лучше, новую косыночку надела. Результат, увы, предвижу заранее, но если об этом думать, так фотододело вообще нужно забросить.

05.10.76. Позавчера сидим в второй паре, в класс вошёл ректор, пошептался с доцентом, нащупал глазами меня и вызвал в коридор. Ничего не объяснив, велел срочно ехать домой, ещё и сокурсника в сопровождающие навязал. Не зная, что и думать, поймал машину, через десять минут добрался до своей квартиры, где обнаружил распахнутую настежь дверь и полную коробочку милиции. Оказалось,

едва уехал утром в институт, ко мне забрался вор-домушник – аккуратно пошарил по ящикам, также и у соседа, пройдя к нему через общий балкон. Сосед, лишь на полчаса отлучившийся за хлебом, кражу и обнаружил – вызвал милицию и позвонил в Литинститут. Виноват, конечно, я – вор открыл квартиру моим ключом, который вечно лежал под ковриком у двери. Пожива его оказалась незатейлива: комплект фломастеров, зажигалка, коробка старинных монет, флакон одеколona, блок сигарет, бутылка водки. В секрете заглянул, однако не взял ни обручальные кольца, ни пачечку денег (накануне я приличный гонорар получил), только 34 рубля, рядом отложенные на карманные расходы. Деньги интересовали вора специфически – у соседа из нескольких рассортированных по номиналу стопок взял по одной бумажке: 3, 5, 10, 25. И, окончательно выдавая румянощёкий возраст, оставил в пишмашинке бумагу: **здесь был Фантомас** («Я думал, это вы напечатали», – хохотнул сыскарь).

Вечером прикинул: в запертый тамбур, где три квартиры, случайный человек зайти не мог, и ключ под ковриком тут ни для кого не тайна, а соседскому парню 15 лет. Вытряс его в коридор, припугнул: сам колись, не то хуже будет. И сегодня милиционеры привели в наручниках вора – 17-летний хмырь Игорь Сороколат, за месяц три десятка квартир обчистил. Сегодня же мне украденное вернули, остальным пострадавшим хуже: добычу пацан раздаривал друзьям-пэтэушникам – авторитет себе зарабатывал.

27.10.76. Вышел «МК» со статейкой об Остере (обещал так обещал). Оказалось, что напечатать о молодом писателе хорошие слова – намучаешься: пришлось прилепить над текстом цитату из постановления ЦК о работе с творческой молодёжью и поставить ещё одну подпись – редакционной журналистки (с которой меня, похоже, уже поженили). Тоже спасибо Саше Аронову – подтолкнул.

06.11.76. У Юры Щекочихина на его «Очакове». Приехали с Остером и наконец раскачали Гришу прочесть его хулиганскую флотскую поэмку (хохот до оргазма). Кончился вечер мрачно: Хлебников, который никак не может прийти в себя после самоубийства Ефима Зубкова, вздумал обсуждать статью Вознесенского о нём – «Муки музы» в недавней «ЛГ», и все переругались. Когда АВ пишет, что затянуло де «читательским невниманием свежие голоса Аронова и Губанова», он явно передёргивает: о каком невнимании читателей можно говорить, когда его просто нет – по причине отсутствия у обоих собственных книг. И надежда Олега, будто бы после этой публикации лёд тронется, – надежда зряшная: ничего само собой не сделается – всё нужно проламывать лбом и кровью. Как еле-еле пробили пластиночку с песнями Веры Матвеевой, которая её уже не увидит...

Едва лётчик Беленко, обманув пограничные радары, угнал за рубеж боевой «МиГ», тут же пошла бытовать шутливая реклама: **«МиГ»-ом – в Японию!**

07.11.76. Приехал отец, снял с полки свежий альманах «День поэзии», полистал, открыл на списке авторов: «Мама сказала, ты тут напечатался». Да, говорю, на 57-й странице. Прочитав, спросил: «Ты о чём отце стихок написал? – своего сына я тут не вижу». Мог только плечами пожать: сам говорил, что в нашем роду профессиональных бумагомарак не было. И потом, под этим псевдонимом у меня уже полста публикаций... Тут стали подходить гости, я занялся готовкой и, увлечшись, даже не заметил, когда отец ушёл.

24.11.76. Семинар Слуцкого, совсем заглохший в последнее время, теперь решили «оживить» под абажуром «Зелёной лампы» – в редакции журнала «Юность». Сразу вылезла изнанка: в журнале поэзией заправляет Натан Злотников, и в семинаре

он намерен играть ведущую роль – увидев Гену Калашникова, Погожеву и Гарика Гордона, тут же сказал Слуцкому, что никого из них в его списках нет. На это Борис Абрамович ответил: двери его семинара открыты для всех желающих, а новый список составить нетрудно. Злотников стушевался и исчез, однако настроение было испорчено, разошлись быстро.

14.12.76. Новелла Матвеева согласилась на свой вечер в редакции «Московского комсомольца» с условием: если опубликуют стихи Ивана Киуру (Аронов обещал). От её дома на Малой Грузинской до новой редакции рукой подать, так что кое-как дошла (машины не переносит). Через час после концерта спохватились, что охалка цветов так и осталась в ведре под столом: жалко, решили отнести. У запертой двери столкнулись с милиционером и дружинником, которые тщетно давили на кнопку звонка (он давным-давно не работает). Когда подходили к дому Матвеевой, то видели, что свет в окнах погашен, и честно сказали об этом блюстителям порядка: ясно же, никого нет. Подозрительно скосясь на цветы, милиционер сказал: «Третий раз приходим с проверкой – здесь тунейдец Киуру проживает...» Цветы для Матвеевой мы отдали соседям.

На стене в бюро пропусков «Московского комсомольца» висит феноменальный телефонный список. Когда типографский наборщик не уверен в правильности текста, то набирает неясное слово 2-3 раза – пусть корректура уточняет. А в «МК» подмахнули вёрстку не глядя, и теперь тут красуется шедевральный лист: по нему выходит, что в одном отделе, по одному и тому же телефону враз отзываются три Павла Семёновича – Гутионтов, Гутнонтов и Гутнотеев.

1977

09.01.77. Все мы ходим под Богом: вчера Чернов ехал выступать в Измайлово, я возвращался от мамы со Щёлковского шоссе, и оба мы проскочили станцию «Первомайскую» с получасовым интервалом около того времени, когда там прогремел взрыв. Сегодня узнали: одновременно взорвались урны на Лубянке и Никольской – возле часового магазина «Тик-Так», но вроде без жертв. Поскольку официальной информации нет, то и думать о причинах и «авторах» нечего.

30.01.77. Полтора года встречал этого жильца с последнего этажа то в лифте, то во дворе: с виду вполне интеллигентный, иногда с гитарой в чехле, перегаром разит постоянно. А тут приехал Гриша Остер: «Как, ты с бардом Сашей Смогулом не знаком?» – поднялся на 15-й этаж и спустился вместе с ним. Гриша скоро уехал, зато Саша засиделся до утра. И теперь приходит каждый день – на завтрак, на обед и на ужин (циклично, потому как три дня пьёт и ничего не ест, а с бодуна на него нападает жор).

За две недели услышал от Саши Смогула, что про него сняли кино «Семь шагов за горизонт», а сам он сделал сценарий фильма «Двое» (я знаю, что сценарий для Богина писал Юрий Чулюкин), что воевал во Вьетнаме, где потерял обе ноги, и потому не работает (от предложения продемонстрировать протезы я кое-как уклонился), что Высоцкий зовёт его петь дуэтом... Поскольку, как всякий вун, Смогул постоянно путается, получить из потока слов какую-то реальную информацию всё-таки можно: учился в суворовском училище, год или два сидел, на лесоповале повредил ноги, был женат на немке, а теперь на иждивении жены-портнихи, обшивающей актёрскую тусню. Зарабатывает квартирными концертами, за которые обычно платят не деньгами, а выпивкой. Песни поёт на собственные стихи, которые глазами читать просто невозможно, а коронный его цикл – «отъезжантский» – перекрой советских песен, вроде:

«С чего начинается Родина? – с подачи заявки в ОВИР», или «Вы слышали, как поют жиды, вечные изгнанники России?» – с трогательной строчкой: «вот они расселись по вещам...» Боюсь, что мне вскоре опять придётся менять квартиру.

09.02.77. В «Ленкоме» – «Гамлет» Андрея Тарковского. Тот самый случай, когда на вопрос: «как?» – пожимаешь плечами: скорее понравилось, чем нет, а больше сказать нечего. Хотя и понятно, откуда ноги растут, и все фрейдистские штучки давно известны, а целого всё равно не видишь. Остаётся обсуждать актёрскую работу Солоницына, Чуриковой, Тереховой. И сожалеть, что разыграть их не дадут – больше двух-трёх спектаклей не будет: Захаров спохватился, что пустил в свои стены чужаков, Янковский зудит: Гамлет – *его* роль... И Тарковский к своей постановке уже охладел: замысел реализован – у него новая картина в голове.

11.03.77. Три дня потерял в Перовском суде, где слушалось дело прошлогоднего воришки Игоря Сороколата. Заглянул он в 26 квартир, по-мелочи набрал барахла на 5 тысяч 305 рублей («Ронсоны» и «Паркеры» дорого стоят), и эта цифирь на семь лет потянула. Поразила мать пацана: у неё трое сыновей, старшие уже сидят, а теперь и младшенький следом. В каждой квартире он брал духи или одеколон – любимой маме, которая ни разу не спросила сына, откуда эти дорогие флаконы: открытые, иногда полупустые, без коробок...

06.04.77. «Мастер и Маргарита» на Таганке. Любимов, как всегда, на высоте – сделал феерическое зрелище из самой несценичной вещи Булгакова. Пострадали ли при этом великий роман? Да, поскольку без потерь перевести его на сцену и экран не удастся никому. И сразу стало видно, что актёрский состав Таганки весьма бедноват, особенно в отсутствие Высоцкого.

14.04.77. Очередной банальный и пошлый сюжет «из жизни звёзд»: отсиявшая кинозвезда Малявина в подпитии прилюдно убила ножом своего юного сожителя Стаса Жданько – белорусского парубка, приехавшего Московию покорять. И ведь мог – ваханговскую сцену ему прочили... Комментировать в общем-то нечего.

23.04.77. Подхожу к дому – навстречу Смогул: «Привет, старичок! У меня сегодня почти что день рождения. Немедленно поднимайся к нам, все друзья из кадетки уже за столом. Я тоже сейчас, только хлеба куплю, и обратно...»

Через полчаса звонок в дверь – на пороге жена Смогула: «У тебя Сашеньки нет?..» Поиск начали с булочной – кассирша сказала: «Тоший такой, в тёмных очках и кепке с бубочкой? Заходили, да, трое их было. Хлеб купили и ушли».

Прикинули варианты: пивная на Трифоновской, Рижский гастронорм, бар в бывшем кинотеатре «Горн»... Идём на Трифоновскую, издалека видим – стоят: у Санечки на носу оправа без стёкол, огромный фингал залил оба глаза, подмышкой торчит фрагмент батона без горбушек, а рядом – два алкаша передают друг другу бутылку водки и закусывают, отщипывая хлеб. Смогул долго всматривается в жену, наконец узнаёт: «Людочка, познакомься, это мои новые друзья, и мы вместе идём к нам!..» Она взвилась: «Урод, тебя дома друзья ждут!», и алкаши её поддержали: «Саша, друзья и жена – святое дело!..» Они провожают нас до подъезда, долго целуются, прощаясь навеки...

Когда вечером поднимаюсь на последний этаж, Смогул спит в коридоре, открыв глаза и раскинув руки, как расстрелянный партизан в кювете, выставив из штанин бледные ноги с голубыми лодыжками...

27.04.77. Очередная «Зелёная лампа» в «Юности». После долгого перерыва пришёл Слуцкий, на что мы уже не надеялись (в феврале у него умерла тяжело болевшая

жена). Почитали по кругу новые стихи, а потом Алёша Бердников втравил Бориса Абрамовича в спор о Маяковском.

– Поэты-созерцатели всегда умирают в своей постели, и только поэты типа Маяковского, желающие изменить мир, сгорают быстро, – сказал Слуцкий. – И вообще эпигоны Маяковского навредили поэзии меньше, чем эпигоны Фета... Закончился разговор обсуждением книги Чухонцева «Из трёх тетрадей», которую Борис Абрамович оценил очень высоко, и других мнений не было.

26.05.77. На пленуме ЦК КПСС Н.В.Подгорный покинул своё президентское кресло, освободив его понятно для кого... Захожу в «МК», застаю Аронова в глубокой мерихлюндии. Увидев мою весёлую физию, Саша вскипает: – Ну и чему вы все радуетесь?!.. Жалко ведь человека! Вообрази: выходит он из Кремля: куда ехать, не знает – куда-то с сиреной возили, номер своего домашнего телефона не помнит – секретари соединяли, денег в карманах нет – всегда всё было оплачено... Так и стоит...

15.06.77. Все разговоры о театральном школах и концепциях, о путях развития театра – пустопорожнее ля-ля! Есть только личность Художника, нарушающего табу и ломающего стереотипы. Нужно быть Товстоноговым, чтобы осмелиться перенести на сцену тяжеловесную прозу толстовского «Холстомера», и Лебедевым, который играет ЛОШАДЬ так, что ты в изумлении своим глазам не веришь.

19.06.77. Утром у газетного киоска возле кольцевой-«Белорусской» миниатюрный дедушка в смешной старомодной панамке спрашивает продавца про новую пластинку Новеллы Матвеевой: ещё не поступала? Решил сделать старику подарок (неделю назад привезли НН из «Мелодии» 15 коробок, и у меня с собой был лишний диск), спрашиваю: любите её песни? Дедушка – весьма надменно: – Люблю, не люблю – какая разница? Я ей просто горжусь – это моя дочь! А по рассказам Матвеевой об отце можно подумать, что они в многолетней ссоре.

27.06.77. Вчера были у Матвеевой на Сходне. Киуру мне страшно обрадовался, поскольку обычно я сам вызываю натаскать им воды из колодца, и Новелла Николаевна подыгрывает: «Шесть вёдер – шесть песен». Иван Киуру – злой гений Новеллы Николаевны: она даже не замечает, как постепенно «окиуривается», стихи её становятся всё тяжеловеснее и неповоротливее. Ставит условие: «Я спую, но только пусть Ванечка сперва свои стихи почитает». А «Ванечку» нужно долго уламывать – весь на понтах: считает, что после Сумарокова и Тредиаковского лишь он один верно лабает на лире. Но кое-как уговорили: НН поёт пять песен – Киуру читает десять стихотворений.



*Новелла Матвеева
с Иваном Киуру*

Вернулся не поздно, до утра печатал фотографии. Днём приехала мама – увидела сохнувшие на полу карточки, подняла снимок Киуру: «А это что за сутенёр?» Говорю, что он совсем не то, а самовитый поэт и любимый муж Новеллы Матвеевой. Она упорствует: «Я и говорю, сутенёр...» (по-милицейски пронизательная у меня мама).

04.07.77. В Швейцарии умер Набоков. Который в представлении абсолютного большинства наших читателей – автор «порнографического» романа о нимфомане, в изобилии разноможемом от руки. Я тоже, кроме «Лолиты», читал только «Дар», «Машеньку» и переведённое с английского эссе о Гоголе (Наташа Старосельская на одну ночь дала машинопись Голышевой). Конечно, стилист он был от Бога – по одному абзацу виден (чего, например, не скажешь о Булгакове), и когда однажды вернётся в нашу страну... Вопрос – когда? Слуцкий говорит, что на его веку этого точно не произойдёт, а наше поколение, быть может, дождётся.

22.07.77. Предстоящая женитьба вынуждает знакомиться с новой роднёй: вчера был представлен дедушке – профессору минералогии, ровеснику века, корню рода и проч. В огромной квартире знаменитого дома на Мархлевского, битком набитой камнями, прилежно осмотрел семейные раритеты (умилила грамота о даровании дворянства, выданная... в январе 1917 года). Заблудившись, нашел кухню, где душевно пообщался со славной тётушкой, напоившей меня кофеом с ватрушками (за что был потом сурово отчитан – прислугу за хозяйку принял). А дедушка оказался вполне живым, хоть и живёт среди бездушных каменюг.

12.08.77. День рождения Гарика Пинхасова. Я нечасто сталкивался с восточными людьми, их жизненный уклад мне вновь. Перед тем как сесть за стол, Гарик меня предупредил: папа садится первым, еду по тарелкам раскладывает тоже он, если захочешь что-то сказать – спроси у него разрешения... (Теперь понимаю, почему Гарик так часто убегал из дома.) Венец вечера – урок мастерства, с каким папа-тиран на глазах гостей разделал необъятную дыню.

У Гарика абсолютный фотографический глаз, мир он сразу видит кадрированным. Недавно выбирал из сотни фотографий Куклачёва две-три лучшие, еле нашёл, а Гарик сделал всего пять кадров – все пять пошли в печать. Снял Романа Кармена (последний кадр на плёнке чистым оставался), так режиссёр этот фотопортрет растиражировал стотысячным тиражом. Работая на «Мосфильме», Гарик показал фотографии Андрею Тарковскому, и тот взял его фотографом в свою киностудию. Сегодня посмотрел весь пинхасовский архив: там есть полсотни работ, которые могли бы сделать честь любому мастеру, от Антипенко до Плотникова, но сам Гарик отобрал для дебюта лишь семь фотографий, которые хочет напечатать только одной подборкой и только в журнале «Чешское фото».

16.08.77. Тёща в этом году возглавляла в Щукинском приёмную комиссию, и всё лето я имел удовольствие лицезреть экзаменационное закулисье – что ни день, на дому объявлялись мальчики и девочки с конвертами. Конверты складывались на комод по кучкам: от Ланового, от Ульянова, от Яковлева... Вложенные в них бумажки можно не читать – однотипные: «Уважаемая Светлана Владимировна! Я лично прослушал абитуриента N и считаю, что он (она) достоин учиться в нашем институте...» Проблема, потому что количество конвертов вдвое превысило численность курса. Без рекомендаций тоже шли: неделю назад влетел плечистый сибиряк – громкий, белозубый, похожий на Урбанского (заявился, когда уже всё закончилось). Тёща его послушала, послала во ВГИК, хотя актёрский курс там тоже укомплектован. Сегодня пришёл – с букетом цветов, счастливым: приняли! Очень расстроился, что не застал СВ (она на юге), благодарил, а уходя признался: – Мне дома говорили, что в Москве без блата никуда, а вот как-то получилось...

27.08.77. Обнаружив, что из двух десятков наших семейных гостей половина – журналисты, Куклачёв решил задействовать всех: «Кто ещё обо мне не писал?..» Поскольку желающих как-то не нашлось, наслел на Остера: «Иди ко мне репризы сочинять. Хорошие деньги – полтинник за страницу!» Гриша оторопел, однако отбилсь – сказал, что за работу нужно браться в двух случаях: либо она приносит радость, либо за очень большие деньги, а в данном случае нет ни того, ни другого (сценарий для мультика – две страницы, а стоит он в сорок раз дороже). Юра обиделся, полез доказывать, что арена – это высокое искусство, а его кошки так вообще новая эра в истории цирка, и нам стоило большого труда погасить назревающий скандал: Остеру тут же приспичило рассказать свою любимую серию цирковых анекдотов...



Куклачёва кое-как успокоили, но втолковать ему, что друзей использовать в корыстных целях нехорошо, всё равно не удалось («На кой ляд они тогда нужны?»), и остаток вечера Юра доставал Валеру Сухорадо вопросом, почему тот не проьёт лично для него комсомольскую премию...

Юрий Куклачёв.
Фото Г. Пинхасова

26.09.77. После того, как тувинский актёр-самородок Максим Мундзук сыграл Дерсу Узала в фильме Куросавы, у нас спохватились, что ему нужно где-то работать, а в Туве даже национального театра нет. Оплошность исправили, и тёща набрала первый в истории «Щуки» тувинский курс. Собственно, набирать никого не пришлось – училище получило готовую актёрскую труппу, в которой студентов с фамилией Мундзук ровно половина. Дети природы, ага: поскольку они полигамные, то живут одним прайдом, где вожаком становится самый сильный, а когда в семье рождается общий младенец, он первое время живёт безымянным, лишь через год, едва ребёнку лицо чуть-чуть оформится, – смотрят, на кого он больше похож, в тот род и записывают.

Когда тёща передала, что её студенты просят познакомить их с дочерью и зятем, я напрягся, но уклониться не вышло... Маша Мундзук с порога оценила: «Жора красивый – лицо круглое», и щедрый комплимент согрел меня весь вечер. Девушки сразу отправились на кухню: вывалили прямо на стол мешок муки, залили эту кучу водой и сели у плиты катать на коленках лепёшки, кидать их на стенки докрасна разогретой духовки. Чтобы не нюхать эту гарь, увёл ребят на балкон, но и там дышалось с трудом. Парни симпатичные, мускулистые, у двоих руки забинтованы по локоть (резались, выясняя, кто сейчас в прайде самый крутой). В разговоре узнал, что тувинский фольклор до сих пор только устный – за шестьдесят советских лет никто записать не потрудился. Услышав сказку про мудрого Кота-Башки, пока все садились за стол, я напечатал её на машинке. Коля Мундзук с выражением вслух прочитал мою лизапись, обвёл собравшихся серьёзным взглядом, объявил: «Жора – Башкы». И все согласились: Башкы! Так я стал третьим Башкы, после худрука-тёщи и ректора Этуша.

17.10.77. Смогул принёс смешного беспородного щенка, но у меня на всех собак аллергия. Тогда у Санечки возник вариант: «Дмоховские сейчас опять разводятся, им нежности как раз недостаёт!» В дождь и темень, поймали машину, поехали на Грановского. Саша пребывал в хандре: открыл нам дверь и снова лёг на тахту, под огромной афишей Магомаева с автографом: «Дмоху – от Муслима». Мрачно сказал: «Надо бы ещё один шлягер написать, а то «Синий лён» уже ни хрена не приносит...» Щенок забрался к нему под плед и сладостно засопел. Смогул достал купленную у таксиста бутылку водки, а поскольку мы пить отказались, уговорил её один, вытащил из-за шкафа гитару... За полночь, после репетиции в «Современнике», пришла Светка и, заземляясь, закатила мужу скандал. Мы со Смогулом под шумок сбежали, но едва миновали два лестничных марша, Светка крикнула вслед: «Эй, щенка своего заберите!..» Теперь псина спит под моим столом, а я глотаю супрастин.

27.11.77. Межиров сказал, что Слуцкий лежит в Первой Градской, но к нему никого не пускают, да и сам он видеть никого не хочет. Прогноз врачей неутешительный: нервное истощение, вызванное многолетней бессонницей, плюс синдром одиночества. У Александра Петровича свой диагноз: «Невозможно думать так, как думает Борис, и при этом писать **такие** стихи...»

06.12.77. Поскольку Чернов и Майя два месяца назад расписались, конспирация забыта и можно открыто приходиться в квартиру родителей на Цветном бульваре. Майкина бабушка была танцовщицей в школе Дункан, и её любили художники – гостиная шпалерно увешана картинами Коровина, Врубеля, Нестерова, Малявина, тут же и бабушкин торс, вырезанный из коряги Конёнковым. Придя в квартиру Щербаковых первый раз, Андрюша сказал: «Я хочу, чтобы мои дети выросли в этом доме», и я его вполне понимаю.

25.12.77. Две степенные дамы в автобусе обсуждают новости. Одна говорит: – Слышала, Чарли Чаплин умер? – А я думала, Чарли Чаплин до революции умер! – удивляется другая.

1978

03.01.78. Чернов с Фоянковым сегодня отбыли во Вьетнам. Всю предыдущую неделю пребывали в мандраже: вроде бы там идёт война с красными кхмерами, а в наших газетах информации на эту тему – ноль, и есть риск, что два пиита прилетят не экзотику вкушать, а на театр военных действий. В неведении пошли на крайний вариант – позвонили Николаю Шишлину, он сказал: летите спокойно.

13.01.78. Старый Новый год в хорошей компании (в доме, где самые любимые персонажи – приятели с фамилиями Тургенев и Виардо). Заодно отмечали проводы Тургенева в длительную загранкомандировку: наказав нарушителя дипломатической этики двухлетней ссылкой в театральную кассу «Интуриста», (где Володя отлично себя зарекомендовал, доставая нам билеты на Таганку и в «Современник»), решили, наконец, что он исправился, и простили. Молодая жена Тургенева пребывала в сильном напряжении, поскольку за столом говорили чёрт-те что, для ушек девочки из дипломатической семьи совсем непристойное, а когда Смогул взял гитару, она и вовсе с кухни ушла.

06.02.78. Днём заехали Куклачёв с Ленкой – после четырёхмесячных гастролей по Штатам и Канаде (Юра там «Золотую корону клоуна» получил). Перед этой поездкой Куклачёва особенно рьяно мурыжили: вдруг пошли разговоры, что он

вознамерился остаться, и по приезде за кошачьим клоуном смотрели в десять глаз. Остался... мим Борис Амарантов, всех укатавший здесь своим коронным номером «Американская атомная угроза», жонглируя кеглями в виде бомбы с буквой «А». С этим же номером (только перекрасив кегли в красный цвет) он ринулся покорять Штаты, ещё советский цирк оттуда не уехал. Судя по всему, именно Амарантов и распускал слухи про кошачьего клоуна, отвлекая внимание от себя в другую сторону.

25.02.78. Концерт Покровского в Знаменском соборе. В ансамбле новые лица – потомственная плакальщица Евдокия Ивановна с 16-летней внучкой Катей. На бабке – двухсотлетний парчовый сарафан, а возраст кокошника и просчитать невозможно. Митя расщедрился – целиком показал свадебный обряд, в котором сам пел за жениха, Катя за невесту, а бабушка Евдокия – за всех остальных. Когда шестнадцатилетняя девчонка начала причитать, она мгновенно впала в такой экстаз, что всерьёз стало страшно за её психику. Понятно, почему Митя редко показывает это представление: после концерта Катю трясло полчаса – вокруг неё восторженно пели дифирамбы, Боков и Чухонцев говорили хорошие слова, а девчонка никого не видела: вся была **т а м**, не в песне даже, а расстающейся с невинностью невестой...

09.03.78. В «МК» позвали Жванецкого, и вышла глупость – узнав о его приезде, «Московская правда» настояла, чтобы языкатый одессит выступил в большом актовом зале: пусть и другие редакции послушают. В итоге – зал пустой (только три десятка ребят из «МК» и сидели), и весь концерт насмарку: Михал Михалыч был в напряге, даже свой коронный текст про министра мясной промышленности читать побоялся, закрутился через сорок минут.

16.03.78. В субботу (11-го) в «Правде» вышла подлая статья Жюрайтиса «В защиту «Пиковой дамы» (как Любимов со Шнитке и Рождественским в Париже «готовят акцию»), а вчера Ростроповича и Вишневу лишили советского гражданства. Под эту идеологическую сурдинку молодым литераторам организовали конференцию в ЦДЛ, чтобы «точно расставить акценты». Перед началом Андрюша Чернов «устроил акцию» – взорвал в зале вьетнамскую петарду, изрядно напугав билетёрш. А идеологического взрыва не произошло – все выступавшие писатели говорили о чем угодно, только не о политике: Юрий Трифонов призывал не копировать жизнь, но чаще заглядывать в собственную душу, ему вторил Виктор Розов: «Не стройте из себя писателей всерьёз, просто играйте!..» Чтобы заесть эту тошноту, пошли посмотреть новый фильм Даниила «Мимино», по очень смешному сценарию Виктории Токаревой и Резо Габриадзе.

01.04.78. Ночь хохота накануне Дня смеха: Коля Булгаков привёл «афоризмиста» Владимира Голобородько, и он к утру нас вусмерть укатал своими «тезисами и антитезисами», из которых составил целую книгу – абсолютно непечатную.

05.04.78. С опозданием, из-за гастролей ребят, только вчера обмыли в ВТО присуждённую воздушным гимнастам Вите и Ларисе Шемшурам премию Ленинского комсомола. Которую вообще-то должен был получить Куклачёв (под него Сухорадо и продал в список эту позицию), однако на БАМ он ехать отказался, и концерты на заводах сорвались – привыкшие к пространству арены, кошки работать в цехах отказались. Потому Юра весь вечер был злой – ворчал, что это происки врагов-чиновников, которые побоялись первую в истории цирка комсомольскую премию дать клоуну. Сухорадо клятвенно пообещал – осенью в списке у цирка уже две премии, и одна Куклачёву гарантирована:

– Даже отрабатывать её не нужно, – утешил Сухорадо. – Деньгами оброк с тебя возьмём: гонорар какой-нибудь в комсомольскую казну перечислишь...

09.04.78. В Переделкине спалили уникальную библиотеку Корнея Чуковского – не мытьём, так катаньем выживают наследников с дачи. Всем понятно, но...

20.04.78. В зоопарке слониха Сидеви (Брежневу «индийский народ» подарил) хоботом оторвала голову рабочему транспортного цеха: регулярно колотил её, толстокожую, дворницкой метлой, а тут верно попал ей по глазу или другой какой болезненной точке, вот животное и не стерпела. Теперь слониху собираются усыплять, якобы у неё проснулся звериный инстинкт. Про инстинкты знаю мало, но ветхозаветный принцип «око за око» в этом разе точно работать не должен.

03.05.78. Поскольку две недели назад мы с женой поругались, и она, как обычно, отбыла к родителям, ныло предчувствие, что на майские праздники Наталья приедет мириться. Тратить три выходных на семейные разборки не в жилу, а тут Аня Пугач устроила для своей редакции автобусную поездку – всей «Юностью» в Болдино, через Владимир, Горький и Арзамас, и я тоже соблазнился. Про то, как съездили, отдельно писать нужно (нищета и мрак там удручающие), в качестве сувенира своровал в лучшем арзамасском ресторане концептуальную табличку: **«В четверг у нас не мясной день»** (рыбы в этом убогом городишке тоже нет). Вернувшись вчера ночью, обнаружил, что благоверная ко мне таки приезжала, только поцеловала пробой и снова отбыла домой. А сегодня утром позвонила: «Разведка донесла, что ты в компании с одной нашей знакомой путешествовал по «золотому кольцу» России...» Буркнул, что сплю, и повернулся на другой бок. Однако через пять минут опять звонок – теперь уже Вова Вишневецкий: «Знаем-знаем, разведка донесла, как ты с нашей общей подружкой...» Уж его-то я послал от души! Сразу Вову из друзей вычеркнуть, или чуток подождать: вдруг исправится?

07.05.78. Встреча Юрия Кузнецова с читателями в магазине «Поэзия» – тот самый случай, когда результат уходит в минус: ни читать стихи, ни говорить с людьми ЮК не умеет. Мрачный, сел за стол, подписал все свои нераспроданные книжки...

15.05.78. У моей жены феноменальное чувство юмора! Ночью прихожу домой, собираюсь поужинать, открываю кухонный шкаф – чайного сервиза на шесть персон как ни бывало, лишь сахарница стоит одиноко. Заглянул в мусорное ведро – весь фарфор там, разбит на мелкие кусочки.

Ем, выходит сонная Наталья. Спрашиваю:

– Честно скажи, зачем сервиз грохнула?

– Я была такая злая, что ничего не соображала.

– А сахарницу почему оставила?

– Так она же у нас одна...

Очевидно, насчёт нашего брака мама права: царевну-несмеяну брать в жены чревато, и я женился не на ней, а на теще.

04–11.06.78 / Пенза, Тарханы. Загадочная у нас страна, и образчики людей в ней встречаются уникальные. Поездка кончилась тем, что на обратном пути намертво застрял в Пензе: в Москву билетов нет, вокзал завален спящими пассажирами, транзитные поезда мимо идут полнёхоньки. Взял на испуг начальника, потрясая журналистской ксивой, выбил билет на необъявленный дополнительный поезд. Отправлялся он в три часа ночи, и когда я загрузился в вагон, то поразился его пустоте. В купе оказался один, а едва состав тронулся, пришла проводница – сказала, что в соседнем вагоне тоже один пассажир, ему в одиночестве страшно.

Ладно, подселился ко мне. Поведал, что навещал старшего брательника в тюрьме (за воровство чалится), и достал из рюкзака бутылку водки. Я пить не стал, сосед выдул всю до дна, забрался на верхнюю полку. Свалился он с неё через минуту, трахнувшись башкой об столик (я испугался, что ему хана), снова полез наверх, и так падал ещё три раза, пока я смикитил сложить столешницу...

Утром, когда возвращался из санузла, сосед попался навстречу, и я почти сразу повернул назад – спохватясь, что оставил там зубную щетку в стакане, однако опоздал: дверь в сортир была распахнута настежь, из отсека летели брызги, а мужик остервенело драил зубы... моей щёткой.

– Надо чего? – не вынимая санитарный предмет изо рта, спросил он.

– Уже нет, – говорю, – проехали.

– Твоя зубная щетка, что ли? А я думал, она вагонная...



18.07.78. Фотографировал укротительницу львов и тигров для Наташкиного интервью в «МК».

Квартира Бугримовой в высотке на Котельнической отлично упакована, при этом у кресла сломана ножка (вообще её нет – стопа книжек подсунута: хозяйка предупредила, чтобы я был осторожнее). По-моему, это очень по-русски: сидеть на бриллиантах и не найти рубля, чтобы табуретку починить.

Ирина Бугримова

05.08.78. Выпив снотворное, покончила самоубийством Лиля Брик. Бабушке было 86, а вела она себя, как девочка-кокетка. Будто бы до последнего часа влюблялась в нестандартных людей, вроде Параджанова, и отчаялась только, когда перелом приковал её к постели. С похоронами ничего не ясно: то ли урну увезут во Францию и погребут рядом с Эльзой Триоле, то ли по ветру развеют прах, но в любом случае соседствовать с Маяковским Лиля Брик не пожелала.

20.08.78. С дня рождения Вовы Вишневого волоку к себе домой пьяненького Аронова, благо близко, а он всю дорогу пытается, сколько я найду ему подушек. Стеля постель, шуточно положил Саше три перьевых и две атласные, а он: и всё?! Ладно, нашёл ещё четыре, а ему опять мало... Когда Аронов был маленьким, его папа давал домашние уроки музыки, и мама накрывала сына подушками с головой. Сорок лет минуло, а привычка осталась... Утром бужу Александра Яковлевича – туловище целиком торчит из-под одеяла, но все подушки кучей лежат на голове.

30.08.78. Подарил Черняку книжку его стихов, и Вадима Григорьевича она тронула, совсем как настоящая: «Избранное» за двадцать лет – всё, что удалось собрать по рукописям и штучным публикациям. Перелистав её от корки до корки, Черняк бережно исправил ошибки и разночтения, авторизовал мою копию. Место для

автографа нашел сообразно своему характеру – на самой последней странице, под сноской: *издано в количестве 3-х экз. для личного пользования.*

06.09.78. Как никогда хочу в Италию: в Турине до ноября публично демонстрирую Плащаницу. Говорю Эле: порадей, пропихни меня через партком в поездку – комитет комсомола опять тургруппу собирает. Комсорга механического цеха спрашиваю: тоже едешь? «Да ну его в задницу, этот сапог, – говорит. – Я там уже был. Скукотища, смотреть не на что – одни церкви!»

Эля, отзывчивая душа, затрясла кудряшками, побежала. Обернулась через полчаса: «Всё на мази, с тебя шоколадка!» А сегодня её в партком вызвали, возвратилась злая: «Почему не сказал, что у тебя допуск на секретность был? Начальник Первого отдела так кричал, так кричал! Тебе даже в советскую Болгарию ехать нельзя». Попытался освежить в памяти хотя бы один секрет, который заинтересовал бы зарубежную разведку, – ни одного не вспомнил.

18.09.78. Анна Терентьевна хвастается, что разбирает двести почерков, и лупит на редакционной «Оптиме» вслепую с невероятной скоростью. Притом почти



без опечаток, но уж если ошибается... Сегодня вдруг спрашивает: «А скажи мне, Жора, кто такой динозавр?» Я ей: «Терентьевна, нам номер через полчаса сдавать, а у вас в голове глупости всякие!» Обиделась: «Это не глупости, а по работе. У тебя в статье через строчку: динозавр, динозавр, динозавр...» Это она так слово «дизайнер» прочитала.

*Эля Ивановна
и Анна Терентьевна*

28.10.78. Куклачёву дали комсомольскую премию – на пару с Сергеем Игнатовым (единственный в мире одновременно семнадцатую кольцами жонглирует). Говоря о нём, Юра у виска пальцем крутит: «С прибабахом парень – все в Штатах на машину заработали, а он – книжку купил!»

Спросил у Игнатова, что за книжка такая золотая? – «Не устоял! – монография Леонардо да Винчи, коллекционное издание».

В той же «КП» с Указом – стихотворное послание октябрят дедушке Брежневу:

*«Верны вы долгу своему, и если отдыхаете,
то и на отдыхе в Крыму работать продолжаете.*

Скажите, Леонид Ильич, когда вы отдыхаете?» – (Автора!!!)

07.12.78. В пять утра без задних ног возвратился из недельного вояжа в Питер, лёг спать, а в десять разбудил телефонный звонок: сегодня защита диплома (забыл). Прочитать отзывы на дипломную работу уже не успевал – услышал их из уст Егора Исаева и Вадима Дементьева: поверить им – живой классик! Всё плыло в тумане, но свой благодарственный спич помню слово в слово: – Когда я поступал в Литинститут, мои стихи были сыроваты, незрелы, местами

недоработаны, а кое в чём и вовсе неудачны. И сегодня я счастлив услышать, что за пять лет лежания на кафедре творчества они созрели, заиграли рифмами, а некоторые и вовсе стали достойны включения в антологию советской поэзии... Владимир Германович Лидин уронил очки, но быстро взял себя в руки:

– Простим студенту эту ересь... его волнение нам понятно. И поздравим: с такой экспрессивной душевной организацией его наверняка ждёт бурная и насыщенная творческая жизнь...

1979

11.02.79. Скандал вокруг бесцензурного альманаха, затеянного Аксёновым со товарищи, наконец получил долгожданную развязку – в погромной статейке Феликса Кузнецова «Конфуз с «Метрополем» все точки над *i* поставлены: ах, мерзавцы, что учудить вздумали! – ужо им!..

Что последуют карательные меры – очевидно (сильнее, чем другим, достанется молодым поэтам и Евг. Попову с Виктором Ерофеевым), только А.А.Вознесенский в белых одеждах: когда отдавал в альманах свои стихи, они были якобы зарублены цензурой, а нынче – все легальным образом напечатаны.

05.04.79. Почему мы так невнимательно смотрим кино? – в картине Вайды «Без наркоза» всё сказано открытым текстом: в образцовом хозяйстве главного героя (ангажированного политического журналиста, класса нашего Генриха Боровика) только газовая плита неисправна, и она в фильме – то самое чеховское ружьё, которое в финале бабахнет. Яснее предупреждения о том, что назревает в Польше, не придумаешь.

Спускаюсь на первый этаж – у лифта стоит восьмилетний сосед Алёша, мальчик серьёзный и рассудительный. Спрашивает, не мог бы я подняться с ним наверх – он ещё слишком лёгкий, лифт его одного везти не хочет. Едем, Алёша извиняется: – Вы наверняка спешите и огорчены, что пришлось возвращаться. Не переживайте сильно и не торопитесь никогда – жизнь дороже, чем сэкономленные минуты!

29.05.79. Звонит Коля Булгаков: чем занят? Говорю, что пишу заказной текстик про деревенскую прозу (ворчливый), перечисляю авторов. Коля даёт совет: – Только Виля Липатова не ругай. Не совсем удобно, когда он в таком положении. – А в каком он положении? – Да в общем-то в незавидном – он умер.

19.08.79. Подруга завлекла в странную компанию (решила меня приодеть, и её знакомые как раз кожаный пиджак из «Берёзы» толкают). Зашли, а там пьянка гудит, нас тут же за стол усадили. Пока ели-пили молча, я думал, что коллектив – из модельного подругиного окружения: стол от дефицитной еды ломился, все ребята одеты с иголочки. А когда они рты раскрыли – трое парней оказались грузчиками, а их подружки кассиршами и продавцами. Получил ворох ценной информации. Оказывается, у нас на все продукты, от яиц до коньяка, заранее заложен процент потерь на разгрузку-перевозку, за счёт чего грузчики и живут-процветают: пришёл товар без боя – весь остаток (уже списанный) делится меж своими, и обидеть грузилу – не приведи Господь: так может откантовать привезённое, что его сразу в ликвид переводить придётся. Коронной назидательной байкой, под визг и хохот, шел рассказ хозяина дома, как он одному жлобу два ящика коньяка о бетон пола грохнул, и с него ничего не возьмётся: тара слабая оказалась (ау, товарищ Зощенко!). Он, парень лет 20–22-х, грузчик в магазине «Чай» (историческом, на Мясищской), поведал, что место это купил за полтора куса, а главная его мечта, как только бабки поднакопит, – в ресторан грузилом

устроиться. Я не различил карьерной перспективы: не один хрен? Все вылупились на тупого: разницы не просекаешь? – в магазине чай да сахар с конфетками, а в ресторане – в с ё, от хлеба до икорки!..

После моего вопроса за столом возникла пауза – насторожились на пришлого: журналист? часом не из «Советской торговли»? Но быстро успокоились, даже рассказали, что все они стоят в очереди на посадку – магазины регулярно и основательно трясут, кому-то нужно за всех отдуваться: статьи не лютые (года на два-три), но почти все с конфискацией имущества, и тут работает свой кодекс чести: по выходу ущерб компенсируют, и место в торговой сети гарантировано. Пиджак я так и не купил – забыл, зачем пришел.

25.08.79. Завершился трёхдневный телесериал про измену балеруна Годунова: будучи на гастролях в Штатах, ломанул от соглашения, попросил политическое убежище, фэбээровцы годуновскую жену Власову мурыжили в самолёте, и три дня мы с американцами перетягивали канат, но всё кончилось компромиссом – боевая ничья! А какая конфетная статья про Годунова недавно в «Студенческом меридиане» была! – семьянин, комсорг театра, образец для нашей молодёжи...

10.09.79. Секретарь парткома отловил в заводском коридоре, схватил за локоть своей железной слесарской лапищей и – шепотом: «Что, эмигрировать надумал?» Я хоть и привык к его панибратству, глаза выкатил: куда мне, костромскому, в родной Буй, что ли? А он: «Кончай финтить! Зачем на итальянские курсы пошел? Я специально узнал: на этом языке только Италия и пол-Марокко разговаривают!..» Оказалось, в Первый отдел пришли сведения, что я записался на курсы иняза (перед Олимпиадой на языковые курсы приёма нет, но членов творческих союзов берут), и там запросили справку о моей персоне. Не думал, что контроль над всякой мелочью пугатой стелью у нас тотален.

13.10.79. В буфете «МК» за столом напротив едят двое взрослых мужиков – один от изумления рот открыл, а другой, с синяком под глазом, лапшу на уши вешает: – ...Летали с Лариской в астрал. Перед тем, как закинуться, она говорит, что если обидел кого, лучше сразу признаться, не то бед не оберёшься. Да вроде бы никого... Легли на кровать, и в улёт. Полный кайф!.. И тут вылетает из бездны Машка, деваха институтская, которая из-за меня два аборта сделала. И со всей силой мне ногой по морде фигачит!.. Проморгался – башка гудит, а под глазом фингал. Потом еще с Лариской объясняться пришлось...

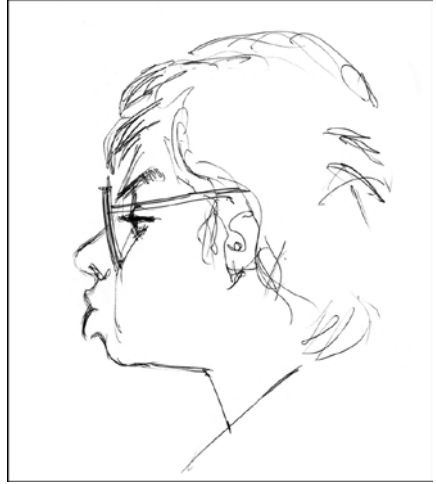
02.11.79. Наш развод оформляла Любовь Иннокентиевна Соколова: поднимала усердную бровь, выводила казённое слово. Говорю: и не скучно вам тут? Говорит: поскучаешь – одна я. Хоть не очень-то радостный труд, по субботам зато выходная. По субботам машины в цветах, а развод оформляется в будни. И проходит вся жизнь её так: разводить – не ахти как и трудно. Подышав, придавила печать – бледно-синюю по голубому, посмотрела печально, как мать, протянула – чужой и чужому. Так написано было красиво: буква к буквке, ровненько в ряд. И хотелось сказать ей: «спасибо» (её редко здесь благодарят).

03.11.79. Когда в иностранных фильмах кажут, как легко их полиция открывает огонь по любому врагу правопорядка, это ясно: кинематограф – мир условный. Оказывается, у них в жизни, как в кино – капиталистический реализм. Давеча французская полиция обложила в людном парке неуловимого гангстера Жана Мезрина, который кучу народа замочил, и поскольку тот находился вне закона, брать живьём не стали – изрешетили прямо в машине: изверг даже не успел схватиться ни за автомат, ни за гранаты... Кино!

23.11.79. Стихи Кати Горбовской – одно из самых примечательных событий в нашей поэзии за последнее время. Понятно, что отроковица пишет возрастную лирику, которую в редакциях не берут принципиально, но то, на каком уровне она это делает, не может не подкупать. И слух у неё абсолютный:

Мечется баба Меж двух Мужиков – уМная баба Меж двух М-дураков...

Поскольку до авторской Катиной книжки ещё далеко, а увидеть её каждому молодому поэту не терпится, мы с Черновым поднесли подруге подарочек – самиздатский сборник: Андрей набрал стихи на веритайпере, а я сделал переплёт. Цену поставили символическую: пять поцелуев.



*Екатерина Горбовская.
Рисунок Кира Булычёва*

30.11.79. Приехал Берестов – копаться в книжках, а мне в гости уходить нужно. Пока я собирался, посмеялись над Озеровым – всю жизнь воровал у Берестова строчки: у Валентина Дмитрича – «Нет ничего прочней, чем битая посуда», у Льва Адольфыча – «Нет ничего прочней, чем песня позабытая». История, как ЛА украл у ВД стихотворение, – вовсе цирк. У Берестова износилась лента на пишущей машинке, и он воспользовался красной копировальной бумагой, а Озеров всегда печатает свои стихи красным шрифтом, и когда они составляли альманах «День поэзии» – положил берестовскую страничку в свой архив, где потом и нашел...

28.12.79. Жаль, что нет у нас скандальной/светской хроники – Вова Вишневский из неё не вылезал бы. Артамонова развелась-таки с Ригиным, тот вошел в штопор, и Вишневский подсел к нему на совещании молодых в кабаке – сказал Саше, чтобы о Ларисе не беспокоился, он готов её взять в жены *и такую*. Ригин как сидел с пивной кружкой в кулаке, так без затей и двинул ею по вишневскому глазу... Наутро, конечно, раскаялся, а теперь замаливает вину – печатает Вовины вирши в каждом своём «Сверстнике».

1980

01.01.80. В «Голубом огоньке» с поздравлением советскому люду: «Спелого вам колоса!.. Полновесной лозы!..» – вылез Егор Исаев (надо же познакомить публику с будущими лауреатом Ленинской премии). Мои гости увидели великого мэтра впервые и ничего не поняли: он пьяный, что ли? Таки да – поэзия его пьянит.

03.01.80. Пошел на Таганку без особой надежды, что «Вишнёвый сад» не отменят, поскольку у Высоцкого здесь дублёра нет, а он в новогоднюю ночь устроил автоаварию – протаранил на своем «мерседесе» троллейбус (сам отделался синяками, но сильно разбил Севу Абдулова, который три года назад после такой же передрыги еле-еле выкарабкался). Синяков на Высоцком из зала заметно не было, а то, что он вышел не в лучшей форме – очевидно. Впрочем, спектакль держится всё-таки на Демидовой, она и тянет.

06.01.80. Во Дворце пионеров на Воробьёвых горах знакомился с режиссёром, который делает там детский драмтеатр. Парень вполне симпатичный, со своей концепцией: все взрослые идиоты, ради них пахать вообще не в кайф, а дети – совсем другое дело: вложенное в них сегодня – завтра вернётся сторицей и т.п. Ну да, порывы благие. Но когда в ответ на вопрос, что именно он хочет ставить с 10–12-летней ребятнёй, я услышал про носорогов Ионеско, впору было усомниться в здравом рассудке «новатора». Посоветовал юноше для начала поставить «Декамерон» или «Царя Эдипа», а после, если всё получится, – взяться за более серьёзные вещи – про Аленький цветочек, Белоснежку...

22.02.80. В Питере. В музее Достоевского Виктор Топоров читал свои переводы западных немцев. На слух запомнил лишь одно двустишие:

К своим вождам мы относимся одинаково:

Сначала ждём, пока поумнеет, потом – когда сдохнет.

Как говаривал тов. Ленин, насчёт поэзии не знаю, а по сути всё абсолютно верно.

25.03.80. У Чернова сын родился. Счастливый отец хотел назвать мальчишку Прохором или Пахомом, но Майя сказала, что наше общество к таким именам пока что не готово, потому будет просто Сашка.

01.04.80. День дурака в фотографиях: начальник всех писателей Карпов вручает «писателю № 1» Ленинскую премию (скопом, за «Малую землю», «Возрождение» и «Целину»). Оного события ждали без малого год, и вот Леонид Ильич собрался с силами (или ему придали товарный вид). Лауреат благосклонно премию принял и заверил, что, «если выкроит время», свои эпохальные воспоминания продолжит... И ведь продолжит: очередь страждущих жмётся у кормушки, горя желанием присовокупиться к этой мертвящей пустоте.

17.04.80. Неделю назад на дом принесли повестку-вызов: в «Молодой гвардии» скликают всех пишущих на открытие литературных курсов. Забавно: наших «кураторов» с головой выдают вывешенные в коридоре списки семинаристов – чуть дополненные, но пятилетней давности, и ребята славно прошли по ним с авторучкой – пофамильно: уехал, вступил в СП СССР, спился, повесился (наши органы за всеми следить не успевают – даже мёртвых не вычеркнули). Народу всё-таки собралось много – хоть так пообщаться, благодаря «предолимпийской» перекличке. Юра Поляков ходит гоголем – у него вот-вот книжка выйдет. Петя Кошель прихромал – нашел в списке своё имя, напротив написал: «член Союза» и гордо удалился. А Женя Бунимович по-прежнему преподаёт математику, едва-едва публиковаться стал, и первую книгу еще ждать и ждать...

13.05.80. Утром с фотографом Колоколовым на заводском филиале в Беляеве снимали сборщиц – бродили из цеха в цех, смущали девчонок, ища по списку тех, кого указали комсорг, мастер или начцеха. В 22-м сборочном дали двух ударниц среднего возраста, мы решили не шастать по цеху – по радио их вызвать: сказал начальнику фамилии – тот вдруг глазами по потолку забегал... Оказалось, мастер сосватал нам... подруг-лесбиянок: давно вместе живут, а «саморазоблачились» они, когда съехались в одну квартиру и захотели объединить лицевые счета. Фотографировать их для газеты строжайше запретили.

25.05.80. Спросонья даже не понял, зачем Гриша Кружков звонит: «Ты только ничего не подумай, у меня эта буква была просто выделена, а они её заглавной сделали...» Днём развернул «Комсомолец» – там Гришины фразы напечатаны – читаю: *ПластЕлин свой судьбы*. Смешно, ага.

26.05.80. Прибежал взмыленный Юра Поляков – радостно размахивает только что вышедшей книжечкой стихов «Время прибытия» (моё соседство с «Молодой гвардией» имеет таки свои преимущества). «Поздравляю – лети за бутылкой!» Пока он ходил в магазин, я аккуратненько на титуле срезал бритвой три буквы из написанного в две строки названия – совсем незаметно получилось. Вернулся Поляков, наполнили рюмки. «С почином тебя! Дай Бог, не последняя, – говорю. – И название хорошее: «Время БЫТИЯ»...» Юра до потолка взвился: «Твою мать!.. Не могут без опечаток!..» Насилу успокоил и едва не получил по загривку.

29.05.80. Вечером у меня совпали Остер с Юлей Гуковой: Гриша почитал новые вредные советы и другие стихотворные штучки, Юля мигом нарисовала картинку к стишку про маленькую пчёлку, в которой спрятана иголка – обычная швейная, с ниткой в ушке. Гриша с восторгом картинку забрал, надеясь куда-то пристроить. Желание что-нибудь сделать вместе на всех нас периодически нападает, однако дальше фантазий пока не продвинулись.

18.06.80. 25-летний юбилей журнала «Юность», сходка молодых и не очень юных писателей в ЦДЛе. В холле мосфильмовский помреж цепким глазом отсматривал персонажей (Хуциев и Митта уже десятый год вынашивают замысел фильма про Пушкина, где всех его современников должны играть писатели, а самого Александра Сергеевича – стихотворец Пётр Вегин). Схватил меня за рукав: «Поэт? Хотите сыграть Дельвига?» Нет, говорю, потому что если на кого и похож, так на Пущина, а вот Гоголь у нас имеется один в один – прозаик Коля Булгаков, только ростом высоковат.

Повстречал уйму приятелей, сто лет не виденных. Подошёл Юра Стефанович: «Не надоело летопись часового завода писать? Иди к нам в «ЛитРоссию», будем вместе русскую литературу взад и вперёд двигать!» Соблазнительно, да.

20.06.80. Едва вернулся с дачи, звонит Юра Поляков: «Леонид Мартынов умер. Не повезло старику: не в сезон, некролог только в «Вечёрке» да в «ЛГ», похороны очень скромные, у чёрта на куличиках, и Москва пустая, даже литинститутские студенты разъехались на каникулы, гроб вообще нести некому...» Пожелал Юре умереть в бархатный сезон, с портретом в «Правде», и положил трубку.

24.06.80. Похоронили Мартынова. Поляков с партийно-погребальным поручением кое-как справился: кроме Чернова, отловил Богословского, ещё пару несчастных, а чтобы те не шибко ныли, решил напоить гробоносцев шампанским. Ну, они и выдали комсоргу по первое число! – Андрюши сказали, что их предки поили игристым исключительно цыганок, и сами потребляют оный напиток только с девицами да в Новый год (вот и делай таких заштатными могильщиками СП). Едва Чернов выпустил пар, Поляков прозвонился: «Ну и дружки у тебя! Я человек с понятием, из комсомольской кассы чирик ужухал, две бутылки «шампуньского» взял, в холодке держал, чтобы напиток по жаре в помой не превратился, а эти ханурики мне просто в душу плюнули! Ишь, дворяне хреновы! И знаешь, что мне Чернов сказал? Чтобы я, пока Тарковский не умрёт, вообще с такими просьбами к нему не обращался!..» Объяснил Юре, что у Андрея мышление образное – Тарковский бессмертен, вот и не звони Чернову никогда.

03.07.80. Друзья из «Комсомолки» донесли, что в завтрашней газете про Гришу Остера убойный материал выходит – Василий Иванович Белов решил задать вопрос, доколе всякие остёры будут портить наших русских ребятишек? Гриша всерьёз озабочен: останавливать уже поздно, и что делать? Как что? – позвонить в Вологду, сказать Белову спасибо за рекламу: полностью стишок «Про смелого

повара» миллионным тиражом – лучше не придумаешь. А сколько родителей в итоге выловят из супа свои ботинки – после публикации узнаем.

Около полуночи позвонил Поляков: вкрадчиво осведомился, свободен ли я завтра и могу ли заглянуть в ЦДЛ. Прикинул, что свежих некрологов вроде бы не читал, брякнул, что могу, и тут Юра огорошил: Галина Серебрякова нынче преставилась. И завёл: «Выручай, старый, опять нести некому, а тебе сам Бог велел – ты в «Литературную Россию» устраиваешься (всё уже знает, стервец), а покойница у них в редколлегии числилась, и я о тебе первом подумал – учти, очень важно уметь в нужный момент появиться у гроба: многие тебя заметят, подумают, что в дружеских отношениях состоял...» – «А сам-то будешь?» – спрашиваю. «Куда денусь, – говорит, – на мне же все похороны!» Тогда ладно, так и быть, только в первый и последний раз!..

Когда Старосельская услышала, каким делом я завтра буду занят, вразумила: «Ну давай-давай... Серебрякова так хорошо себя вела, что её все нормальные люди вообще хоронить отказались, один на один с покойницей останешься...» До трёх ночи у Полякова было занято, а потом он телефон отключил...

04.07.80. Затянутый чёрным крепом, Дом литераторов и впрямь был непривычно пуст. Я измерил прислоненную к колонне крышку гроба – как меряют лыжи: едва дотянулся пальцами до верхнего края и покрылся липким потом – Серебрякову живём увидеть не сподобился, а была она явно не маленькая. Мальёв зал тоже был безлюден, только в изголовье алого гроба понуро мялся мелкий человек моего или чуть старше возраста, но его я заметил позже, а первым делом – заглянул в ящик, где из зелёных листьев выступала серая голова, в ужасе показавшаяся огромной. Тупо спросил у одинокого человека (вероятно, сына), куда подевались все люди, он лишь плечами пожал, не поднимая глаз, и его раздавленность толкнула на поиск живых – пошёл в нижний буфет, надеясь увидеть гробососцев и потчующего их «шампунем» Полякова. В тёмном углу действительно узрел своих поделщиков – Кружкова, Иванушкина и Селезнёва. Три худосочных поэта смиренно потягивали жидкий кофе за свой пяточок, несказанно обрадовались приобщению физической силы, и на вопрос, почему не вижу нашего комсорга, огорошили: так ведь Поляков нынче утром с Тяжеленьниковым и всей их шоблой «поездом дружбы» в Будапешт отбыл – прибарахлиться к Олимпиаде. Тут же подлетел дятлообразный человек в траурном кожаном пиджаке, дирижёр всех писательских похорон: зло констатировал, что нас почему-то четверо, тогда как требуется хотя бы шесть несунув, посулил Полякову партийную кару и повлёк нас наверх. Возле гроба в прежнем одиночестве каменел родственник покойницы – увидев нас, он встрепенулся, с надеждой попросил подождать: «Может, всё-таки придёт кто-нибудь?..» Но человек-дятел уже командовал: «Беритесь, мальчики!» Я сразу встал в ногах, прикинув, что нижний угол легче, ощутил руками мокрую даже сквозь ткань древесину, и тут накатила волна нервического смеха – глядя, как узкогрудые Селезнёв с Кружковым, пунцовые от натуги, тщётно пытаются оторвать гроб от постамента, закусил губу и кое-как сдвинул ящик в сторону тщедушного Иванушкина, рискуя сломать ему пальцы. Дятел лез под руку, шипел: «На плечи, мальчики! на плечи!» – мы выжали гроб, как штангу, а дальше я думал только о ступеньках за дверью зала: не хватало оступиться и погибнуть посмешищем под трупом советского классика. Нас заносило из стороны в сторону, а сбоку семенял дятел, бормоча несусветное: «В «Советском писателе» сейчас готовится сборник о пламенных коммунистах, и если вы прозаик или очеркист...» Но сюр на этом не кончался! – до катафалка оставалось несколько шагов, а прямо в дверях, попереёк тротуара, юная мама с коляской как раз надумала менять своему обкаканному чаду пелёнки. Дятел спас – откатил мамашу, помог запихнуть в люк неподъёмную домовину и явно

решил назначить меня старшим – озадачил: «Как четвером-то в Переделкине управитесь?» Живо представив, как мы с гробом штурмуем скользкий глиняный косогор, я заметил свободное такси, кенгурой запрыгнул в машину и был таков...

25.07.80. Сильно проспал и к трещавшему всё утро телефону не подходил – некогда. Вышел в полдень, по пути в Потаповский заехал в киоск у «Метрополя» (месяц журналы не брал). Киоскер дал целую кучу, в которой почему-то оказался апрельский номер «Америки», с великолепным портретом Высоцкого почти во всю страницу. Попросил ещё один журнал (этот изрежу), и тут стоящий рядом субъект, сильно разивший перегаром, хмыкнул: «Бери-бери, откинул коньки ваш балалаечник!» Шлёпнул его журналом по губам, и алкаш, к моему удивлению, драться не полез – сразу упятился.

В типографии просидел до вечера, прогулялся до дома пешком: день выдался пасмурный и душный, сильно парило (к дождю, которого до ночи так и не было). У своего подъезда встретил жену Саши Дмоховского – она заводила машину, мы поздоровались, и Светка сказала: «Володя Высоцкий умер. В три утра. Обширный инфаркт...» И мы поехали на Таганку.

28.07.80 / Прощание



01.08.80. Поляков привёз мне из Венгрии трубку (их там, похоже, на трубочный завод водили) и строго отчитал за похороны: «Ничего серьёзного доверять нельзя!»

06.08.80. Сначала компания за столом была камерная, а посреди вечера позвонил из Домжура в прах пьяный Щекоч – предупредил, что свалится не один. И к девяти привёз начальника некоей МВДэшной структуры и его любовницу, личного врача тов. Суслова. Мент сразу вытащил меня на кухню, скрытно сунул в руку презент – подмышечный «кОбур» (извиняюсь, что у них на Петровке с подарками туго, но должен подойти под мою «пушку», а если с ней нарвусь на неприятности – он всегда отмажет). Пока, матеря Щекоча, отбрыкивался от кобуры, краля мента тешила гостей байками про личную жизнь Михаила Андреича. Юра тем временем заперся в ванной, вышел оттуда тверёзый, как не пил (наглотался милицейских спецтаблеток из чистого кофеина), и только посмеивался из угла над своим колоритным соратником. Решив показать, насколько он «в теме», мент начал пугать окружающих: Чернову посулил уютную камеру окном на юг и паёк на рубль двадцать в сутки, Погожевой и прочим рифмоплётам – экскурсию по ихнему дому на Петровке, а натешившись – принялся декламировать наизусть «Казнь Стеньки Разина»... Утомившись, вызвал машину (предупредив, чтобы сирену не врубали), мы нацепили на мента подаренную кобуру, на шею повесили его врачиху, и Юра кое-как обоих спровадил. Станиславский называл такие действия «театр для себя».

18.08.80. 10-го Стефанович высвистал в «ЛитРоссию» – главный решил со мной поговорить. Поскольку аудиенция назначена с глазу на глаз, Юра меня проинструктировал: Трифонова, Искандера, Битова не поминать, спросит про любимых писателей – говори: Астафьев, Белов и Носов; про Литинститут тоже лишнего не рассказывай – достаточно назвать Егора Исаева; что бы ни предложил, даже если покажется полным абсурдом (?!), соглашайся – потом тебе всё объясним... Озадачил и втолкнул в начальственный кабинет.

Юрий Тарасович Грибов – маленький чернявый человечек в больших очках и черном пиджаке мягкой кожи – поднялся мне навстречу, цепко пожал руку и, не выпуская её из своей сухой лапки, заворковал:

– Лицо хорошее, а усы-бородку отпускать не пробовали? И правильно, а то отрОстят очёсье до пупа... – Сел за стол, сунул нос в мою анкету, пожевал губами и заключил: – Это хорошо, что журналист, не чураетесь социальных тем, и печатаетесь много, и в Литинституте тоже... Но ведь у нас газета не простая – писательская газета, мы писателей, значит, печатаем. Потому дадим вам задание... на пробу, значит, и если получится – возьмём на работу.

Протянув через стол рукопись, сказал, что сей рассказ нужно прочитать, потом забросить за шкаф и написать его заново. Только втрое короче – чтобы не больше пятнадцати страниц. При этом можно менять имена персонажей, сюжет, даже название, – всё, кроме фамилии автора. Так как человек он исключительно замечательный – главврач литфондовой поликлиники...

Отсмеявшись при виде моей обалделой физиономии, Стефанович и Геннадий Калашников хором признались, что за доктора Вильяма Гиллера каждый из них тоже написал по рассказу, а драматург Павлок даже два, да ладно рассказы – какой-то больной прозаик за врача-графомана целым романом разродился.

Засев за художественное словоизлияние медика, я еще надеялся, что совет главреда, насчёт кинуть рукопись за шкаф, не более чем шутка, и что из сорока-страничного текста удастся сделать удобоваримое чтиво, обойдясь сокращением и жесткой правкой. Зря надеялся – на первой же странице застрял на фразе: «Войдя в ресторан, Катя, в смысле бывалой женщины, а не в смысле опытности, оглядела ресторан», и буксовал на ней полчаса, пытаюсь понять, о чём речь. И вдруг понял: **ни о чём!** – он просто пишет и пишет: 10, 20, 40 страниц, балдея

от самого процесса... Как же я матерился! – биндюжники охерели бы, услышав. Спустя три дня принёс Стефановичу полтора десятка страниц, Юра прочитал их тотчас же, сохраняя на лице свойственную ему каменность, молча развёл руками, тут же приклеил к рассказу «собаку» и отнёс начальству. Буркнул: будем ждать решение синклита. Синклит, то бишь редколлегия, обсуждал очередной номер утром в понедельник, я позвонил Стефановичу около полудня, и Юра кратко изложил общую тональность выступлений: все дружно отметили, что Гиллер стал вполне прилично писать. Так всё и устаканилось: мне велено выпустить рассказ уже в качестве штатного сотрудника редакции.

20.08.80. Вечером возник Игорь Селезнёв – спросил, может ли заехать: звонит от радиальной «Белорусской», скоро будет. Ждал его час, два, три, и во втором часу ночи наконец заявился: босой, лицо белое, рта не раскрывает. Сразу заперся в ванной, открыл воду и стал плеваться. Кое-как я к нему вломился – раковина полна крови, а Селезнёв по-прежнему молчит; рот ему разжал – там от зубов одни обломки... В панике налил бедняге стакан коньяку, но сразу и отобрал – ни одна «скорая» пьяного не примет. Тут Игорю худо-бедно речь вернулась, промычал: под мостом у метро мимо него пацаны ватагой пробежали, один махнул ногой – свет погас, ничего больше не помнит: ни куда ботинки делись, ни как до моего дома добрался... На подбородке у него чернел кровоподтёк – удар каратиста, от которого, как при таране машиной, обувь с ног слетает. Вызвать врача Игорь не захотел (от него вином вообще-то попахивало), и ночевать не остался – дал ему какую-то обувку и на такси посадил...

29.08.80. День моего дебюта в «ЛитРоссии». Единственное, чего по-настоящему хотелось, так это посмотреть в глаза Гиллеру (хотя бы за газетой *со своей* публикацией он приедет, полагал я, наивный), но главврач сохранил дистанцию с редакцией до конца – за авторскими экземплярами прислал казённого шофера. Потому ответной выходкой я смог поделиться только со Стефановичем – злорадно развернув перед ним вышедшую газету, фломастером обвёл зашифрованное в рассказе главврача своё имя. И как высшую похвалу расценил Юрино резюме: – Ну ты и мерзавец!

Обустраивая себе рабочее место, передвинул письменный стол из тёмного угла к окну, впритык к столу Павловкла (драматург Павловский – автора пьесы «Элегия», театрального хита конца 60-х). И сразу же осознал опрометчивость переезда: говоря по телефону и одновременно куря, Павел Исаакыч зажигает спички одной рукой, чиркая по торцу стоящего на столе коробка, – вспыхивая на лету, отломленные спичечные головки посыпались на меня, как шрапнель. В ящике стола обнаружил анкеты предыдущих претендентов на моё место – восемь штук: вполне приличный конкурс.

01.09.80. Забастовка в Польше закончилась победой «Солидарности» со счётом 26:0 (столько условий забастовщикам удалось забить правительству). Поражает не сам факт якобы неожиданных волнений, а близорукость вождей, пребывающих в счастливой уверенности, что «само рассосётся».

02.09.80. Гуляем с Малгожатой по Москве, она прохожих с авоськами апельсинов считает: «...Три сеточка... Пять сеточка...» (у них в Польше покупать больше двух-трёх штук не принято). Говорит:

– Смешно у вас кошек подзывают: «кыс-кыс-кыс!..»

– А как несмешно подзывать?

– Кичу-кичу-кичу!..

И огромный рыжий котяра вдруг вынырнул из кустов, потёрся о Гошкины джинсы.

03.09.80. Утром влезаем с Щекочем в 13-й троллейбус, он довольно толкает в бок – у троих пассажиров в руках «ЛГ», развернутая на страницах, где Юрин очерк «Деловые люди». Когда подходим к подъезду «Литгазеты», нас обгоняет, с крутым разворотом у самых дверей, чёрная «волга» – под скрип тормозов, из обеих задних дверей стремглав вылетают два опера и, как на задержание, устремляются в холл (за газетами для Рыжего Москвича). Собственно, вот и вся журналистская радость: твои читатели, твои герои...

07.09.80. Щекочихин в Очакове – местная знаменитость: пока шли от станции, несколько человек с нами поздоровались, а возле дома скамеечные старушки хором предупредили: «Ждать вам долгонько придётся – их дома нет, они бутылки возят». На звонки дверь и впрямь не открыли. Обогнули дом – в кухонном окне была открыта форточка, ей и воспользовались: долгорукий Шурка дотянулся до шпингалетов, распахнул окно, спустил табуретку, и мы проникли в Юрину квартиру. Кухня была завалена пустой стеклотарой, люк в подпол дырой зиял – Щекоч до заначки на чёрный день добрался. Расселись в комнате – наши девушки с Малгожатой на диване напротив двери, мы сбоку, незаметные. Вскоре хлопнула входная дверь – Юра с Лёней Загальским сразу на кухню протопали, принялись громко считать, сколько получится, если оптом по гривеннику... Тут девчонки не выдержали – расохотались, голоса на кухне стихли, и в дверь всунулись две обалделые головы...

К вечеру ещё подошли с десяток гостей, в том числе и любимый Юрин персонаж, Рыжий Москвич – опер лет тридцати, и впрямь очень рыжий, тихий, смущающийся. Выпили в итоге много, спьяну начались рискованные шутки: вздумали разоружить оперативника – трое напали на него, сидящего, полезли ощупывать подмышки и ничего не нашли, а он сразу, как только все уселся, вынул табельный «макаров» из-под куртки сзади. Щекоч попросил «пушку», мент протянул пистолет через стол, предварительно выщелкнув обойму, и тут Юра нагнал на него страху – прицелился в лампу, потянул за спусковой крючок: «В казённом девятый патрон оставил?» По мгновенному испугу на веснушчатом лице стало ясно, что привычка ментов иметь, кроме полного магазина, лишний патрон в стволе – непоборима, и Рыжий Москвич не исключение.

21.09.80. Мой первый блин в «ЛитРоссии», как и следовало, получился комом. Сдал в производство хорошо написанный рассказ Дмитрия Дурасова: утро в деревне, на ограде осталась ослепшая с ночи сова, дети выбежали во двор, стали играть с птицей, но тут вышел на крыльцо мающийся с бодуна отец – застрелил совушку, и всё в доме пошло наперекосяк: сначала детей довёл до слёз, с женой поцапался, потом на соседа с кулаками полез... Кончается рассказ на тревожной ноте: успокаивая трясущиеся руки, мужик мрачно чистит двустолку, и как он ей распорядится в следующий раз, читателю остаётся лишь догадываться...

На планёрке Грибов сказал: «Хороший рассказ, но неправильный. Потому что автор еще молодой и заканчивать, как надо, не умеет... Значит, пусть Стефанович и Елин скоренные, в четыре руки, его перепишут. До середины всё годится, а дальше, когда отец с ружьём на крыльцо выскакивает, сделайте так: сосед перемахивает через плетень, отбирает дробовик и разбивает его об угол дома, после чего дети уносят сову в лес, а мужики, значит, сидят на крыльце и дружно беседуют – про колхоз, озимые, продовольственную программу...»

После нескольких минут могильной тишины Стефанович встал, убрал в карманы кулаки (зловещий в поведении Юры момент) и сказал, что автор хоть молодой, но с характером, и на такую правку наверняка не согласится.

«Ну и зря, мы же о его росте заботимся!» – миролюбиво резюмировал ответсек.

12.10.80. В нашем кругу изначально так повелось: вся жизнь друг друга на глазах, а то, что есть «за кадром», – не обсуждается. Сегодня говорили с Черновым (как обычно, обо всём и ни о чём), а в конце Андрей осторожно спросил, не могу ли («ненадолго!»?) достать ему пару исправных дуэльных пистолетов? Соврал, что не могу, но если понадобится секундант – к твоим услугам.

17.10.80. Прелесть нашего великого и могучего, как языка межнационального общения, в полной мере ощущаешь на рынке – полчаса с восторгом слушал разговор грузина с узбеком. Украл ценник: САЛАТИ ЗЕЛЕНИ ОСЕНЬ УКУСНИ /4р.

22.10.80. На ощупь узнал, что есмь «генеральская проза».

Позавчера главред срочно послал к Юрию Бондареву – показать ему вёрстку главы из нового эпохального романа «Выбор», чтобы классик верность текста завизировал. Правки серьёзной там нет (отрывок взяли в журнале), но ежели Юрий Васильевич лично соизволяет мелочи какие уточнить – это ради Бога... Наивно рассчитывая быстро освободиться, просьбу ЮВ «подождать чуток» воспринял спокойно. Классик ушёл в кабинет, я сел в гостиной читать рукописи, но через час насторожился, через два стал слоняться по дому, а через три просто испугался: да не помер ли Бондарев над своей бессмертной прозой? Потрясенье ожидало впереди, когда ЮВ, с почерневшим от творческих мук лицом, наконец-то вынес три злосчастные полосы. Живого места на них не осталось – набор чернел сокращениями, все поля и приклеенные к ним бумажки сплошь покрыты мелкими буквами. Обалдев от увиденного, поинтересовался: не черновик ли нам дали? На это классик нравоучительно сказал, что он начинает «видеть вещь» только когда текст набран в типографии. В ответ на вопрос идиота, давно ли мэтр практикует столь оригинальный творческий метод, Бондарев поведал, что с юности – уже во время публикации романа «Горячий снег» из-за него три корректора уволились. Моя реплика – насчёт замечательного почина измерять писательский путь трупами корректоров – Бондарева вконец разозлила: сухо напомнил, что меня ждут в редакции, и вообще моё дело – аккуратно доставить текст по назначению... Пока ехал, классик успел нажаловаться на молодого хама – главред до десяти вечера благоговейно ждал экземпляр вёрстки и, вырвав полосы из моих рук, посоветовал впредь не дерзить Юрию Васильевичу. Поутру отыгрался – позвонил Бондареву, чтобы уточнить, знают ли в «Огоньке» и «Нашем современнике», где «Выбор» уже всю печатается, что писатель перелопатил целую главу, а заодно и фамилию главного героя изменил? Пауза на другом конце провода повисла минуты на две, потом раздалась мат, и Юрий Васильевич трубку кинула. Я закурит не успел, как Стефановича вызвали на ковёр. Отсутствовал Юра недолго, вернулся с мрачной миной: маразм крепчает! Принесли перевёрстку, стал её вычитывать и обнаружил: когда герой заглянул в Галерею Уффици, «его щёку ожгла «Спящая Венера» Джорджоне»... Тут я впал в кому: с одной стороны, какого рожна лезть к классику с правкой – пусть сам за свои фантазии краснеет, а с другой стороны – я редактор и пропускать ошибки не имею права... Звоню Бондареву: так и так, но эта картина в Дрезденской галерее висит. Классик – с нескрываемой злобой: «Вы сами-то в Галерее Уффици были?.. Не сподобились? Ну так и сидите себе, я эту Венеру там своими глазами видел!» Облаянный, снова уткнулся в полосу, а тут Павловский нашёл ошибку в немецкой фразе – опять набираю бондаревский номер: занято... Вдруг влетает Лейкин: «Прекратите над Юрием Васильевичем издеваться! Нашли ошибку, так мне скажите, и незачем писателя дёргать! – Вырвал у меня из-под руки полосу, но в дверях обернулся: – Спасибо за Венеру... Бондарев велел передать...» А сегодня, когда я и Лейкина ошибками достал, даже он к вечеру взвыл: «Хватит! – пусть этот распрекрасный «Выбор» выходит, как есть!..»

23–30.10.80 / Ленинград

В Питере поселился у приятеля на проспекте ГДР (Гражданка Дальше Ручья – питерская шуточка). В доме Рудика – ни радио, ни телевизора, ни газеты какой: только тут обнаружил, что я без новостей жить не умею. Говорю ему: транзистор купи, а то как узнаешь – может, советская власть уже сгинула? Рудик: «Посмотри в окошко – фанерный герб СССР посередине проспекта стоит? Значит, всё тут по-прежнему!» Его отовсюду уволили – кормится домашними уроками: высшую математику недорослям преподаёт. Пока мы дребездим на кухне, каждые два часа сменяются ученики – получают задание и согбенно решают задачки за письменным столом, над которым висит фотография голой жены Рудика в полный рост. Лоно лежащей Татьяны закрывает откиннутая крышка магнитофона, но если его подвинуть – крышка падает. Пьём и считаем долетающий из комнаты стук: раз упала крышка...три...пять... – так никакая математика на ум не пойдёт.

Целыми днями хожу по квартирам: знакомлюсь с местным андеграундом (большая часть – Кривулин и компания). Потом ночные посиделки – в сводчатом подвале Фонтанного дома: с двухвековой историей дворничка, куда набивается два-три десятка гостей. «Дворничиха» – дама по прозвищу Графиня Разумовская – томная, волоокая, с тонкими пальчиками, которые тяжелее авторучки сроду ничего не держали: непрестанно грызёт яблоки, близоруко щурится и сетует, что у неё в жизни два кошмара: листопад и снегопад. Потому плата за гостеприимство – перед уходом взять лопату, почистить дорожки на огромном заснеженном дворе.

Познакомился с Фёдором Абрамовым. Внешне вылитый Каин XVIII-й, и говорит так же, с гаринской обиженной интонацией. Сказал, что к беседе сейчас не готов – пусто на сердце, разве что после, как в Италию съездит – энергией подпитается, да на своей малой родине побывает – глядишь, о чём-нибудь порассуждать и захочется... Рассказ для «ЛР» дал с условием, чтобы никакой правки, слово в слово. Хорошо про Нину Чуб в «Деревянных конях» отозвался: лучшей Альки вообразить не может – абсолютное попадание в образ. Позвал 3-го на спектакль «Дом», а когда я сказал, что до первого в Москву вернуться должен, удивился: разве не питерский? и редакция ваша разве не здесь располагается?.. Честно говоря, во время разговора возникло подозрение, что Фёдор Александрович под вологодского простачка канаёт, а за этой маской – хитрая иезуитская личина. Как «домотканая» сорочка «а-ля рюс» под его роскошным английским костюмом. После напыщено-кокетливого Абрамова, Вадим Шефнер показался мне эталоном интеллигентности, а Виктор Голявкин так просто само естество.

У художника Валеры Мишина по дому носится шестилетний мальчишка Дана и без устали говорит стихами:

*Хочу я жить в свободе и покое,
хочу я жить с душою за спиною,
но не могу я жить с гнетущей раной,
которой пуля сделала толчок!*

Что за стих такой, спрашиваю. Говорит: – По лермонтовским мотивам! – Сам так назвал? – Нет, мама сказала. – Хочешь свои стихи в газете напечатать? – Какой настоящий поэт не хочет!..

8.11.80. Позвонила Гукова, скукающая дома с двумя подругами из Полиграфа: привези какого-нибудь приятеля из своей компании, только не Чернова и не Остера. Спустился к Щечкохину, но их с Ростом уже не было. В буфете встретил Юрчика Полякова: хочешь к девчонкам? Он сразу оживился: водку берём? Когда я сказал, что эти девчонки из другой оперы – искренне удивился: а такие еще остались?

Желая понравиться, ЮП вспомнил все свои казарменные байки, и девושковый хохот воспринял как дань своему искромётному юмору. Через час Юля вытащила меня с кухни: кроме политрука, никого лучше не нашел? Пришлось сказать Юре что пора по домам: уехали вместе, а по дороге я сбежал от него и вернулся.

18.11.80. Драматург Павловский возвратился из Вены, куда ездил по случаю премьеры на радио его пьесы «Бетховен», полный впечатлений:

– Это счастье, что я смог преклонить колени на святых могилах Моцарта, Гайдна и Бетховена!

Полюбопытствовал, как ему это удалось, если прах Моцарта безымянно покоится в Зальцбурге, а Бетховена в Веймаре (про Гайдна, честно, не знаю).

– У них в Вене всё очень удобно: вышел из оперы – и тут же три могилы рядышком, с красивыми памятниками.

Кроме нашей аллеи космонавтов, ничего другого мне в голову не пришло.

05.12.80. Звоню Абрамову, говорю, что из рассказа «Бабилей» вычеркнули только одно слово «выблядок». Реакция Федора Александровича:

– Конечно, разве можно печатать такие слова в день сталинской конституции!

17.12.80. Вечером звонок приятеля: возьмешь на месяц живого пингвина? – хозяева уезжают в отпуск, а животину оставить не с кем. Предложение, понятно, платное: 200 рублей за беспокойство и еще 300 – на кормёжку экзотического хмыря. Во-первых, ему необходима в безраздельное пользование ванна, куда он будет по надобности нырять. Там же хмырюга может и жить, благо, что спит стоя. Но лучше бы дрых на балконе – пингвину на морозе комфортнее. Трудность только в процессе кормления – ест он в воде, а всухомятку необходимо рыбёшек и замороженные пельмени (хозяева приучили), заталкивать в клюв особой резиновой палкой (прилагается). И необходимы дом с лифтом, либо квартира на первом этаже, поскольку по ступенькам эта сволочь шагать на лапах не умеет, а выгуливать хмыря на снег требуется по нескольку раз на дню – не по нужде (сфинктером пингвинов обделили), а чтобы от инфаркта бегал, мотор укреплял... Такое предложение – будто бы из первых рук – ступило всем нашим друзьям, но увидеть пингвина живьем никому не удалось – обещали перезвонить, и с концами. Хотел бы посмотреть на шутника, запустившего в народ эту утку.

26.12.80. Тарковский рассказал:

– Перед вами приходила журналистка из «Литгазеты». Очень странная дама. Увидела, что я зажигаю свечу.. я часто при свече сижу – когда свеча горит, она табачный дым как бы укрощает. О, говорит, я так и начну наше интервью: «Свеча горела на столе, свеча горела...»! Я ей сказал, что к Пастернаку хорошо отношусь, но так начинать нашу беседу не хотел бы. И потом, знаете, что в этих стихах дальше происходит? – башмачки падают на пол, ноги-руки скрещиваются... Конечно, я человек немолодой, но мало ли что про нас с вами подумать могут...

1981

03.01.81. Похоронили Над. Як. Мандельштам. Сначала говорили, что друзья заперлись в её квартире и пускают только хорошо знакомых. Потом – что друзья еле получили тело из морга («чужим» не отдавали «за отсутствием родственников»). Реальность – нищенское погребение под кураторством ребят из Большого дома, но всё же честь по чести, с отпеванием.

Воспоминания Надежды Яковлевны, конечно, хороши – как документ, читать который следует весьма осторожно: неприязни и глупостей там немерено.

09.01.81. Вышла «Детская страница» со стихами Дани. Встретили хорошо – редакторат визжал пороссячим визгом, а забежавший в столовую Остер сказал, что стихок:

*«Любознательные мышки
по ночам читают книжки.
Как прочтут одну до корки –
отнесут остатки в норки»* – он бы с удовольствием украл.

Лейкин верен себе – напомнил, что Данина публикация безгонорарная: нельзя-де мальчика развращать, для него стихи в газете уже подарок. И на том спасибо.

Щекочихин заказал по своим каналам справку о Королёве – насчёт тюремного заключения будущего космического академика, пока его не перевели в ЦКБ – 29 НКВД, знаменитую «шарашку» Туполева.

Ответ на запрос пришел краткий, абсолютно в стиле одной организации:
«Гр. Королёв Сергей Павлович, 1906 г.р., находился в системе ГУЛАГ с сентября 1938 г. по ноябрь 1940 г. О дальнейшей его судьбе ничего не известно».

15.01.81. Давно не видел Колунцева, заглянул к нему на семинар. Обсуждали какого-то банального паренька, и от чтения графоманской прозы настроение совсем испортилось. Сыпался снег, было довольно холодно, но Фёдор Авиосович предложил погулять по Арбату, и я согласился. Колунцеву хотелось поговорить – спросил, не рассказывал ли мне, как ездил вдвоём с Леонидом Леоновым в Югославию? Соврал, что нет, и в очередной раз услышал длинную, но занятную историю, как он, молодой писатель, впервые выбравшись за кордон, не устоял перед соблазном пойти на стриптиз, а Леонов пытался отговорить («Не смей! – в СП всё будет известно!»), не удержал и потащился следом (и верно – когда вернулись, об этом аморальном поступке в Союзе писателей сразу все узнали). Месяц назад во властные структуры пришёл новый назначенец, как нынче водится – с богатым лубяньским прошлым. Я знал, что Колунцев знаком с этим товарищем много лет, и спросил его: что за человек нарисовался? Характеристика Фёдора Авиосовича лаконична и убийственна:

– Замечательный! Честный, прямой, принципиальный. Только характер тяжеловат: единственный сын, двадцатилетний студент, завалил сессию и, не зная, как сказать отцу, застрелился...

16.01.81. У Олеси Николаевой в «Совписе» наконец вышла первая книжка стихов – «Сад чудес». Обложку оформил Борис Мессерер – очень лаконично: красный круг в центре белого поля, изящный тонкий шрифт, который на расстоянии вытянутой руки едва читается. А ведь это дедушка Фрейд вылез! – тест на догадливость: в какую восточную страну эмигрировал родственник Бориса Асафьча?

29.01.81. Поскрёбся на ночлег подвыпивший Щекоц – разводится с Лебедевой-Кумачихой и места себе не находит. Пока Юра был в командировке, экс-жена увезла из его дома половик, ножницы, книжную полку и кофейное ситечко. Эта анекдотичная мелочность Щекоца особенно забавляет: «Всё понимаю, но – ситечко!» А насчёт своего куцего кожана, который нашёл на антресолях в мемориальной квартире, залатал и покрасил: «А это мой боевой трофей, в память о священной войне, – никому не отдам...»

06.02.81. Три дня пробивали в «ЛР» некролог Саши Тихомирова: то нам говорили, что такого поэта никто не знает, потом – что надо еще уточнить, каким образом он попал под электричку (не пьяный ли?), наконец – что если «ЛГ» напечатает, так и мы следом... Только когда вышла «Литгазета», всё и разрешилось.

09.02.81. Писал интервью с Баклановым. Долго не мог подобрать к нему ключик, пришлось провоцировать – попросил оценить свои сочинения по пятибалльной шкале, он взвился и стал перечислять: это у меня хорошо получилось, и это... У Бакланова славная семья: тихая дочь Шурочка – студентка Литинститута, жена Эльга Анатольевна – абсолютный словесный портрет актрисы Гундаревой. За чаем жена принялась вспоминать, как ГЯ начинал: маленький сын, жили втроём на её учительскую зарплату, а он писал «Пядь земли». В итоге, говорю, всё окупилось? Григория Яковлевича моё замечание задело, но Эльга Анатольевна его успокоила: «Что ты, Гриша, кипятишься! Правда ведь, окупилось...» Спросил, есть ли у них общие симпатии, и угадал: Наталья Гундарева – любимица семьи, ни одной её новой роли не пропускают.

23.02.81. Брежневу стало плохо прямо во время его судьбоносного доклада, трансляцию съезда прервали, но главные моменты генсек осветить успел: «Польшу врагу не отдадим!» и «Экономика должна быть экономной!» (Очень точно! – мясо должно быть мясным, рыба рыбной, литература литературной и т.д.) Вот вам, ребята, и «исторический XXVI-й»...

28.02.81. На прошлой неделе по учебному каналу ТВ шла поэтическая передача, а в студии сидела на кубиках стайка славных девчушек – студенток 3-го курса журфака МГУ, как следовало из титров. Переглянувшись с Черновым, сразу же позвонили Наде Ажгихиной: доколе таких симпатичных сокурсниц скрываешь? Нынче она исправилась – привела троих подруг. Посмотрели мы на них, напоили чаем и выпроводили восвояси. Отчитав Надю за непонятливость: мы просили привести самых хороших, а она привела самых умных...

06.03.81. Бакланов назначил встречу днём, а когда я приехал – вылетел из дома, на ходу застёгивая плащ: – Срочно вызвали в издательство – из новой повести целый абзац выбрасывают! А вы непременно дождитесь, Шурочка с Эльгой вас пока развлекут... Вернулся Григорий Яковлевич уже вечером – довольный: отстоял абзац!

17.03.81. На Таганке сбились с ног – ищут Смогула. Санечка выступил в своём амплуа: заявился в театр, рассказал, как Высоцкий умирал чуть ли не у него на руках, а перед смертью завещал ему высоко нести знамя авторской песни и проч. Короче, нёс обычную свою лабуду. Поразительно, но ему поверили (после смерти ВВ Таганка до сих пор в коме, а «друзья» Высоцкого плодятся, как кролики), даже устроили Смогула в театр рабочим сцены, но он сразу пошёл требовать аванс, и его в тот же день уволили. Еще месяц-два Санечка торчал за кулисами, назанимал у всех денег и... пропал. Теперь артисты, светлые души, всерьёз обеспокоились: уж не случилось ли с ним чего? Единственное, что мог сказать Вене Борисовичу, – посоветовал забыть и о Смогуле, и о своих деньгах. Озадаченный Смеховым, подумал: вдруг с нашим бардом и взаправду что случилось. Сел на телефон, через полчаса получил полную информацию: у Санечки всё тип-топ – живёт в своей комнатке на Чистых прудах, увешал стены портретами Высоцкого, таскает к себе доверчивых на слёзные байки пацанов, а те его поят, за воспоминания *про Володю* под гитарные переборы.

27.03.81. Вернувшись из командировки, обнаружил, что в моё отсутствие интервью с Баклановым вышло с купюрами: исчезла важная по смыслу фраза, а фотография ополовинили, оттяпав руку. С текстом понятно: «Ад в нашей прозе описан подробно, потому что мы прошли через все его круги, а рая у нас пока никто не видел», – такое цензуре понравиться не могло. Но вот рука

чем помешала? Пошел к ответственному секретарю за объяснением. Лейкин был предельно вежлив:

– Про ад и рай пусть Григорий Яковлевич в своих книжках рассуждает. А фотографию перекадрировали по решению редколлегии – было высказано мнение, что это портрет не лица, а руки.

Вечером, когда отдавал Бакланову его портреты, Эльга Анатольевна заметила: – Правильно, что на этом снимке руку отрезали. Она здесь у Гриши получилась слишком *загребущая*.

У редакционной и семейной цензуры разные оценочные шкалы, но в результате они совпали. А по-моему – красивая писательская рука.

01.04.81. Прощание с Трифоновым. Помня недавние похороны Даля, власти ожидали в этот день толчею ходынкую – с утра всю площадь Восстания оцепила милиция на кобылах, а людей в ЦДЛ пришло совсем немного (некролог в «ЛГ» вышел только сегодня).

Вечером собрались у меня: помянули Юрия Валентиновича. Последним приехал Щекочихин, уже хорошо принявший, – добавил стакан водки, и его понесло:

– Скоро никакой литературы... никаких там Трифоновых, Нагибиных, Шукшиных – вообще не будет. Вообще! Вся писанина, которая из головы, от вымысла – фигня! Только документ, только журналистика!.. Будущее литературы – за Ваксбергом, за Аграновским!.. Спорим на литр – через десять лет вся ваша долбанная проза, вся слюнявая беллетристика окажутся в полной жопе! В полной!..

При упоминании Аграновского вспомнили аграновско-брежневскую эпопею «Малая земля», где и впрямь есть одна гениальная фраза: «Всё смешалось в Цемесской бухте», но вставить реплику в монолог Щекоча, когда он говорит в подогретом состоянии, дело зряшное. В доказательство своих слов Юра не нашел ничего лучше, как потясти своим последним текстом, про который ему все говорили: замени фразу: «перед глазами стоит замок Пхакадзе» – она последняя и ударная, запоминается, а у тебя уже было: «Юра Полянов стоит перед глазами»...

– Ты и прозу так писать собираешься?

Щекоч жутко обиделся и ушел не простившись.

07–15.04.81 / Пахра

Неделя приобщения к культуре на тусовке в пионерлагере «Зорька» в Пахре. Соседи за обеденным столом – поэты Женя Бунимович и Аня Гедымин, актёры Николай Денисов (любимый студент моей экс-тёщи) и Виталик Москаленко: перекрёстно просвещаем друг друга на предмет литературы и кино. Фильмы для споров нам привезли сюда вполне достойные: «Скромное обаяние буржуазии» Бунюэля, «Кагемуша» Куросавы, «Полёт над гнездом кукушки» Формана...

Когда Бунимовичу скучно, он рисует шариковой ручкой в блокнотике жуткие рожи в орнаментах из шахматных клеток – точные иллюстрации для книги Карпова «Творчество душевнобольных» (не обладай Женя ясным математическим рассудком, я счёл бы его помутившимся). Сказал ему это, воруя очередной рисунок в свою коллекцию, и Бунимович переспросил: «А ты себя считаешь нормальным? Как же ты тогда стихи пишешь?»

Опять бегая с семинара на семинар: с писателями в этот раз неинтересно (лучшая группа у Бакланова, но, подозреваю, у ГЯ от меня оскомины), а у киношников – патриархи Сергей Герасимов, Андрей Попов. Познакомился с Игорем Ицковым, который доделывал 20-серийный фильм Романа Кармена «Неизвестная война», – его рассказы о работе над картиной очень тонкие и смешные, а воспоминания о Кармене и Берте Ланкастере – просто готовая книжка. (Во время съёмки

в Сталинграде Кармен поутру выгонял на берег Волги свою молодую киногруппу, заставлял всех раздеться и строил в ряд – хлипконогих, обрюзглых, с пивными животами, когда из воды, поигрывая мускулами, выходил поджарый старик Ланкастер: «Краснейте!») Едва Ицков упомянул, что с американской стороны сериал продюсировали бывшие советские граждане с нерусскими фамилиями, дремавший в углу райкомовский соглядатай проснулся:

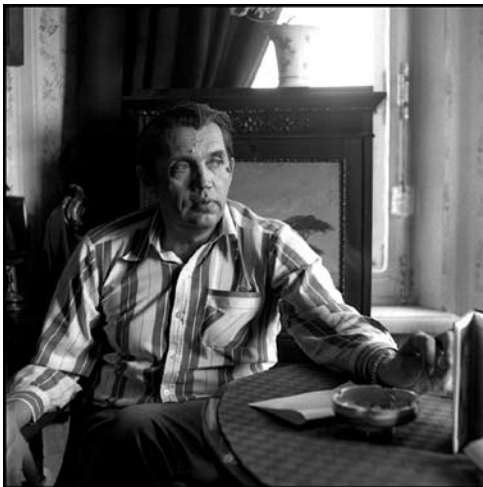
– Вам дали Ленинскую премию не для того, чтобы вы мазали грязью нашу страну! Тут из зала ему посоветовали пойти в коридор – по телевизору как раз шёл «Ленинский университет миллионов», и румяный комсомолец убежал стучать. Надеюсь сделать с Ицковым беседу о военной хронике, и повод есть – сорок лет как война началась.

23.04.81. Поскольку три десятка книжных полок заставлены впритык, напечатал в газете объяву о покупке, в любом количестве. В первый день позвонили сорок человек – нужного не предложил никто, все задавали однотипные вопросы: какие книжки собираю? готов ли продать? что есть на обмен?.. Поначалу всех посылал, а потом любопытно стало, как у звонящих мыслительный процесс развивается. Интересно, какие вопросы задают Павлу и Зое (молодой чете?), давшим в этом же номере объявление: «Купим стенку, палас и гитару»?

14.05.81. Вчера на площади возле собора св. Петра стреляли в римского папу, который «из наших – из поляков, из славян». Сразу заговорили о политической подкладке покушения, но я не удивлюсь, если убийца окажется таким же психомгеростратом, как религиозный фанатик Чепмен, застреливший Джона Леннона.

04.06.81. Телефонное знакомство с ИГрековой (Павловский устроил, дав мне вести её рассказ «Скрипка Ротшильда»). Кроме того, что она закончила соседний МИИТ и до сих пор кормится преподаванием, я про неё ничего не знаю, читал лишь повесть «Кафедра», но мне заранее интересны писатели, живущие в стороне от т.н. «литературной жизни». Мы хорошо поговорили, однако от интервью Ирина Сергеевна уклонилась: никогда не говорит о себе (тем интереснее будет добиться).

08.06.81. Когда договаривался с Рождественским об интервью, он попросил прислать вопросы за неделю до, а сегодня категорически отказался говорить



на диктофон. Но за полчаса дожал Роберта Ивановича на свободную беседу, и в листок с вопросами он больше не заглядывал. Спрашиваю Рождественского, почему у него нет учеников? – Пожалуй, действительно нет, – признаётся, – сам удивляюсь. С риском получить от поэта по шее, я предположил: не потому ли, что от боковой ветви ничего не родится? – Наверное, так, да. Но я еще подумаю над этим... Те, кто считает, что Роберт Иванович *танк*, ошибаются – человек он тонкий и очень одинокий.

Роберт Рождественский

29.06.81. Юра Стефанович познакомил с Нагибиным – он никуда не спешил и пробыл в отделе часа два. Я не удержался – признался Мастеру в любви: еще мальчиком, поняв, что большого литературного дара мне Господь не дал, определил свой потолок – добротный беллетрист, на твёрдую «четвёрку», уровня Нагибина. Стефанович укоризненно покачал головой за спиной Юрия Марковича, а тот меня поправил: «Я всё-таки беллетрист с натяжкой на крепкую «пятёрку». Заговорили о Платонове, который у нас до сих пор полностью не опубликован. Нагибин сказал, что вдова сохранила коробку записных книжек – после выхода на западе «Котлована» у семьи все рукописи изъяли, а эту мелочь не тронули. Но Мария Александровна боится (не столько за себя, сколько за дочь) и никому ничего в руки не даёт. А хорошо бы к этой коробке подобраться, там очень много интересного. Я-то не прочь – было бы поручительство. Нагибин обещал порадовать.

08.07.81. С боем еле прошёл в «Ленком» на премьеру «Юноны и Авось» (такого столпотворения Москва давно не видела – всю Дмитровку от «России» оцепили. Захаров сделал фантастический спектакль. По якобы поэме Андрея Вознесенского, которая в публикации показалась если не абсолютной графоманией, то уж точно полной неудачей почивающего на лаврах мэтра (два приличных стиха не в счёт – целого не видно). А что такую полупустую безделицу можно на театре ставить, вовсе в голову не приходило – там вроде играть-то совсем нечего. Но в качестве либретто – оказалась вполне. Конечно, при гениальном даре Марка Захарова, Алексея Рыбникова и балеруна Васильева, поставивших среди нашего серого дня не просто рок-оперу, но феерическое действо, до слёз доводящее зал. Обсуждать Караченцова и Шанину – никаких слов не хватает: играют (и поют – без всякой фонограммы) на разрыв аорты.

Таганка давно брошен серьёзный вызов, и нынешняя премьера решила вопрос в пользу «Ленкома» окончательно: в Москве это театр № 1. Жалко Любимова, родной дом моей юности: с уходом Высоцкого Таганка потеряла главное – нерв.

В «ЛГ» и «ЛР» два дня в месяц – 10-го и 25-го – нерабочие, то бишь *гонорарные*: начиная с трёх часов, косяком идут авторы, при каждом шаге звеня бутылками. Поступь опытных писателей уверенна, дебютанты еще робуют. Виктор Веселовский, редактор отдела «Клуб 12 стульев», рассказывает:

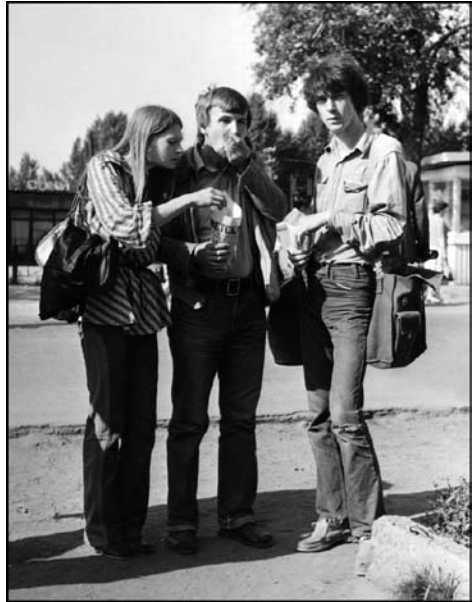
– Напечатал в «Рогах и копытах» три фразы чайника, выписал ему аккордно десять рублей. И входит он ко мне... с коробкой «Наполеона» – за сорок рэ! На пороге достаёт бутылку и на вытянутой руке к столу. Я ему: «Ты мне взятку предлагаешь?» Гляжу, олух бутылку в коробку спрятал и задом к двери пятится – так ведь он совсем уйдёт! Ну и пожалел чайника: «Ладно, иди сюда – на твоё счастье, я взятчик!»

01–27.08.81 / Выра. Чтобы не отмечать свой тридцатник, сбежал из столицы. ...Подхожу к дому Сёмочкина – хозяин сидит на крыльчке, посасывает мундштучок, на гостя ноль внимания. Сажусь рядом, закуриваю, и полчаса сидим молча, пока Ксан Ксаныч наконец произносит: «Зря Пугачёв на Московию идти собирался, не так ему свою кампанию завершать нужно было...»

Первые дни вдвоём с Сёмочкиным копошился в музее: хоть и на подхвате, а целую переборку в конюшне сделал (генетика, конечно: от деда краснодеревщика мне плотницкие руки достались). В среду вечером приехал Чернов, следующим утром Володя с Олесей, и получилось, что мой побег оказался зряшным: юбилей зажать не вышло – пропили его с деревенским шиком.

В субботу Ксан Ксаныч устроил славную пешую экскурсию – Шишкиным лесом, по дороге от Выры в Рождествено. В рукавишниковский особняк с нами не пошёл (у него с администрацией музея отношения напряженные), потому экспозицией любовались без автора. Правила игры Сёмочкин учел: фотографии из семейного

альбома Набоковых выложил без имён и фамилий – просто бывшие владельцы усадьбы; откопанные возле дома ржавый «максим» и трёхлинейку Мосина назвал *оружием революции*... Бабушка экскурсовод (лицом – вылитый Сергей Образцов) мигом нас расколола – едва Володя заикнулся о набоковском фотоальбоме, сразу ощетинулась: «А вы, такие бойкие, часом, с Сёмочкиным не закомы? Или вас кто-то другой подослал?» 9-го, проводив Володю с Олесей, реализовали с Андреем его идею – выбрались в фамильное черновское Заречье. Сёмочкин нас предупредил: рассчитывать на попутку не стоит – туда и в будни никто не ездит, а в выходные тем более. Добрались кое-как, и хоть ничего не нашли – много интересного узнали. ...После отъезда Чернова, оставшиеся две недели отпуска провалялся на сеновале: Вигилянский привёз Сёмочкину роскошный подарок от «Ардиса» – пять книжек Набокова, «Остров Крым» и брошюру Автарханова про смерть Сталина, так что чтивом я был обеспечен.



Олеся, Андрей, Володя

28.09.81. Кое-как помирились с Щекочем, и второй месяц на пару, аки Ильф с Петровым или братья Вайнеры, пишем документальный детектив, обречённый стать бестселлером. Правда, детектив не сдвигается с первой страницы, хотя каждый вечер, вырвавшись из своих контор (если Юра не в отъезде), запираемся у меня дома с благим намерением сесть за работу. По замыслу Щекоча, он, как ходячая энциклопедия преступлений, наполняет будущий бестселлер фактурой, а всякими характерами, стилем и образами (для Юры – абсолютная хренотень) пусть занимается кто-то другой, в нашем случае – я.

Глотнув для дневной разрядки (оба мы водочники, но я свою жизненную дозу выпил в литинституте, потому Щекочу достаётся львиная доля), разогревшись разговорами, к полнучи дозреваем до дела. То есть я усаживался за машинку, а Юра, уговорив поллитровку, начинает накручивать сюжеты, раздражающе слоняясь по комнате из угла в угол, и вскоре всё окончательно стопорится: трезвый пьяному не соавтор.

Подозреваю, что «детектив века» останется ненаписанным, а мы окончательно разбежимся с жуткой аллергией друг на друга.

10.10.81. Во Франции произошло эпохальное событие: отменили допотопное изобретение доктора Гильотена (и вообще смертную казнь). Французы столь долго и дотошно обсуждали эту проблему, что весь мир тоже стал воспринимать её, как свою собственную. Советские люди не остались в стороне – во все глаза смотрели фильм «Двое в городе» с Габеном и Делоном, и когда на фоне ножа гильотины герой Алена Батьковича в последний раз оборачивался к рыдающему кинозалу – участь «машин, которая убивает» уже была предрешена (в 76-м, между прочим). А у нас, по словам Щекоча, годовой лимит – 1200 расстрельных приговоров.

03.11.81. В завтрашней «Литгазете» мерзейший опус Машовца «Кто усыновит Чебурашку?» Не имеющий ничего общего ни с литкрикой, ни с детской литературой: цеховые функционеры не могут существовать в мире, где царит естественный порядок вещей, – для оправдания своей нужности, им необходима вечная борьба с кем/чем угодно, а поскольку реальных врагов нет, их следует придумать.

07.11.81. Поскольку наш с Щекочем детектив окончательно накрылся медным тазом, я освободился и месяц штурмовал Марию Александровну Платонову. Признаться, я рассчитывал увидеть вариант Елены Сергеевны Булгаковой, но с МАП случай удручающий. То и дело слышу от неё: другие писатели оставляют вдовам квартиры, дачи и машины, а мне... и т.п. И разговор сразу начался с условия: все деньги за публикации – нам с Машей. – Да ради Бога, мне только в радость. Маша при этом стоит молча рядом, и на лице ее ничего, кроме раздражения. Она жутко похожа на отца, но те некрасивости в лице Андрея Платоновича, которые придавали ему очевидное мужское обаяние, в лице дочери скомпоновались на редкость неудачно.

Самое скверное, что Мария Александровна, вроде бы и занимаясь тридцать лет делами мужа, на удивление дремуча. В первый же день знакомства (Нагибин дал мне роскошную характеристику) достала заветную коробку: «Вот они – записные книжки Платоновы, здесь их около пятидесяти». Спрашиваю: что значит около? – давайте пересчитаем, ведь минутное дело. Пересчитали – ровно 25!

Дальше – хуже: в руки ничего не даёт, сама открывает книжку, читает: «Месяц как **рыцарь** над миром». Эту фразу я уже видел в публикации Тюльпинова и сразу споткнулся: абсолютно чуждый Платонову образ. Смотрю МА через плечо – **р ы д а т ь**, конечно же! Записи в ужасном виде – карандашом и почти все полустёртые, почерк у Платонова жуткий – нужно составлять словарь букв... Короча – работы пропасть, и приходиться каждый день на Малую Грузинскую неразумно. Прошу: дайте в руки, под залог головы. Ни в какую! Ладно – приехали вдвоём с Юрием Марковичем, в две глотки уговорили: стала выдавать по книжке под залог паспорта – возвращаю одну, получаю другую. За месяц считал три книжки. Если и дальше такими темпами – до лета мне заделёе обеспечено.

19.11.81. Поляков поймал в буфете, сказал с важной мордой: «Будем собирать собрание, Чернова клеймить. Как ему это вообще в голову-то взбрело – жену с двумя детьми бросить?» Спрашиваю: ты уверен, что не жена сама ушла? – «Конечно, разве баба может в таком положении?..» Напомнил Юре, что не член его комсомольского вертепа, а на такое собрание приду: «Сяду в первый ряд, полюбуюсь, с какой физией ты Андрюшу обличать будешь. А то и расскажу всем, как поутру, забросив благоверную в 9-й марьинорощинский роддом, ввалился ко мне с её пальто и сапогами подмышкой и предложил денёк-другой, пока жена не опростается, погулять под выпивку с девицами: потом-де не до того будет». Юра обиженно губы надул: «Ну ты и сволочь!.. Всегда знал, что с тобой дружить себе дороже! Ладно, сам поговори с Черновым – тише жить нужно, тише...»

27.11.81. Никогда не думал, что наша пресса забита эротическими объявлениями – спасибо зам. ответсека Саше: просветил. Поскольку он из секретариата звонить не рискует, то по-соседски приходит ко мне с исчерканными карандашом газетами и по полчаса висит на телефоне. Находит туманное предложение: «Сдаётся помещение. Можно использовать для физических занятий» – уточняет: «Занятия индивидуальные или групповые?» Другое объявление ещё забавнее: «Даём-берём уроки пения. Таня, Марина». Дозванивается, спрашивает: «Вы, девочки, даёте или берёте? По желанию клиента? Давайте устроим прослушивание. Хотите, на моей территории, а лучше у вас. Диктуйте адрес...»

15.12.81. Колосов собрался на торжества по случаю юбилея Фадеева, велел составить справочку: где родился, что написал. Обложился книжками, а тут Юра Поляков влетел в кабинет, заглянул через плечо в лит.энциклопедию, похвалил: – Молодцы, что старика решили вспомнить! Жизнь Бульги достойна подражания! Я напомнил Юре, как Фадеев свою жизнь закончил.

– Нам такой конец не грозит! – уверенно сказал Поляков и сел на краешек стула. Неделю назад уезжая в Питер, он спросил, не нужно ли там чего. Нужно: Рудик месяц назад мне юбилейное издание Библии достал, а привезти некому. Дал Юре номер телефона – позвонишь, тебе к поезду свёрточек принесут. Рудика предупредил: упакуй книжку получше, в разговоры с курьером не вступай – отдал, и дело с концом.

– Так ты привёз? – спрашиваю.

– Привёз... Что это было, а? – Юрины глаза зажглись любопытством. – Позвонил, прибежали – носатые, с бородами. И такую штуковину мне всучили... всю дорогу слушал – не тИкает она там?..

Тут Поляков извлёк из портфеля «штуковину» – увесистая, как кирпич, в жирной вощёной бумаге, да ещё и чёрной изоляцией накрест перемотана – ей-ей бомба! Спасибо сказал, а он не уходит – от нетерпения чуть не лопаётся. Пришлось распаковать посылочку. Увидев Библию, Юра красными пятнами покрылся: – Я же член МГК ВЛКСМ!..

– Самый надёжный вариант, – говорю. И сдохмил: – Не тревожься, канал верный, ребята свои – из Лиги защиты евреев.

Юру как ветром сдуло.

19.12.81. В очередной приход к Платоновым (четыре дня назад) сваял большого дурака: под вешалкой лежали две стопы журналов, МА сказала, что на помойку снести некому, у Маши руки не доходят. Я взял два десятка, сколько в портфель влезло. Дома посмотрел внимательно: почти все журналы прижизненные – со статьями Платонова экземпляры, присланные ему из редакций. Пять исписаны его рукой: в одном исчеркал чужой рассказ – с комментариями на полях, на последней странице другого – замечательный афоризм, на третьем просто подписал публикацию... Сегодня прибежал за остальными – под вешалкой пусто, дошли-таки руки у Маши. И вспомнил, как после их переезда с Тверского бульвара на Малую Грузинскую по двору литинститутскому ветер бумажки гонял... Сколько же безвозвратно потеряно!

1982

07.01.82. В новогоднем номере вышел мой Платонов (сделал по записям из тех книжек, которые уже успел разобрать, публикацию на разворот), а нынче новый главный редактор Колосов, вернувшись откуда-то чёрен ликом, на ходу сорвал полосы «Труд есть совесть» с доски лучших материалов и затребовал меня для объяснений. Попросив закрыть за собой дверь поплотнее, сказал жалобно: «Зачем вы это сделали? Меня сейчас вызывали... влетело по первое число. Половина этих записей – для романов, которые у нас запрещены... Только не убеждайте меня, будто не понимаете, о чём речь. Всё вы отлично понимаете...»
В общем, главный мотив: как посмел?

12–19.01.82 / Киев

Неделю собирал материалы в украинский спецномер. Пообщался с Мыколой Баханом, Драчом, Коротичем; надыбал каких-то рассказов, стихов и картинок, но все это бездарно, серо и просто скучно – литература там не ночевала. В пещерах Киево-Печерской Лавры познакомился с двумя молодыми батюшками:

Олег готовится поступать в семинарию, отец Михаил её только что закончил – экс-чемпион Украины по фехтованию, бывший хиппи. Рисковые ребята: пока милиционер на входе охраняет их обеденный перерыв, они внизу службу служат. Я их так и вычислил – носом: спустился, а там дух свечной стоит (туристы дывятся: сколько лет музей, а запах ладана не выветривается).

Рассказ о. Михаила о церковном воре по прозвищу Схима, на которого полгода назад *снизошла прелесть* – утаился в ближних пещерах на ночь, вскрыл четыре десятка саркофагов и у всех мощей отсёк десницы. За этим занятием его поутру и застали. Схима на коленях умолял не сдавать его в милицию, прощения у братии просил – мол, движим был благим намерением, собственную обитель открыть хотел. Длани вернули, каждую на свое место (хорошо, что вор на них клеил пластырь и писал, какая откуда). Схиме не поверили (если бы ему видение такое было, да еще и троекратное, тогда понятно, а так – бес попутал), сдали вандала в милицию, однако судить не стали, два месяца лечили в нервной клинике.

20.01.82. Когда был на Украине – умер Варлам Шаламов: всеми заброшенный, в спец-психушке (читай – *на зоне*, из пут которой он так и не высвободился). Страшная судьба – *неизбежная*: должен был явиться очевидец, который бы от первого лица поведал миру об ужасе советского ГУЛАГА, и Шаламову выпал жребий стать бытописцем сталинской Колымы.

23.01.82. Наконец нашли время – обмыли нашу великую книжку «Современная вьетнамская поэзия»: собрались с Черновым, Поздняевым, Кружковым, Мариной Бородинской и Аллой Шараповой, редактора Женю Руденко позвали. Положа руку на сердце – халтура это, конечно. Да ведь исходняк-то ужасающий: половина стихов – перепевы всей советской поэзии. Миша Поздняев не утерпел – свои пять строчек родил:

Перевожу вьетнамского поэта.

Перевожу и думаю: откуда

мне это все так хорошо знакомо? –

«Враги спалили хижину солдата

И всю семью его солдатскую губили...»

25.01.82. Утром забежал в редакцию Володя Крупин. Копаюсь в портфеле, извлёк скомканные белые хризантемы. Любопытствую, куда спозаранку с цветами? – На могилу Высоцкого еду. Там вся Таганка собирается, а я теперь их автор! – Ну так достань, не уродуй букет. – Никак не можно. Сейчас мне ещё в «Наш современник» зайти нужно, а если там цветы увидят – решат, что я вконец рехнулся!

27.01.82. Мини-поэма Межирова «Прощание с Юшиным» (Поздняев с трудом пробил в первом номере «Сельской молодёжи») по энергетике не уступает его великим стихам «Коммунисты, вперёд». Когда история поэта, работавшего мясником на Центральном рынке, вдруг перебивается экскурсом в войну, встречей с немцем-фронтовиком, – этот приём сперва озадачивает своей неуместностью, но закольцованный финал оправдывает всё: оба персонажа – повод для важного поэту разговора, и только. И мой фотопортрет Александра Петровича очень удачно подошел по настроению.

Новые межировские стихи сейчас абсолютно непечатные – из последних:

Идёт разговор воспалённый о нашей грядущей судьбе

Работает дистанционный прослушиватель КГБ...

Кажется, всё происходящее в стране поэты военного поколения воспринимают острее и болезненней, чем поколение «шестидесятников».

23.02.82. К Юре Кублановскому нагрянули с обыском. Что хотели обнаружить – нашли сразу: свою АРДИСовскую книжку стихов автор изобретательно прятал на кухне – в банке с крупой. Больше ничего не изъяли, хоть прокопались до вечера. Повезло, могли ведь и подбросить какую-нибудь антисоветскую гадость. Но чем эта история кончится, и какие последствия будет иметь, всё равно неясно. Однако прецеденты есть: когда так прессуют – хотят из страны вытолкать.

04.03.82. Сдавал рассказ Нагибина «Болдинский свет», нумеровал страницы – в середине пяти недостаёт. Обошел по цепочке всех, кто читал рукопись: куда могли деться? Не найдя никаких концов, в ужасе звоню автору. Юрий Маркович невозмутим: «Это моя вина. Уже по дороге к вам, в машине посмотрел рассказ и понял: пять страниц абсолютно лишние, утяжеляют повествование. Выбросил, и между кусками даже связку делать не нужно. Вот и вы, читая, не заметили...» Вспомнил, как Бакланов год назад бежал в редакцию, чтобы абзац восстановить: сколь разное у них отношение к своей прозе, притом что оба – писатели в общем-то одной качественной категории.

24.03.82. Вконец измотанный астмой и угрозой потерять ненаглядную Зайку, покончил с собой Юлий Теодорович Дунский. Всё сделал обстоятельно: снял со стены коллекционные железки, чтобы милиция не конфисковала, из любимых ружей выбрал старенькую тулку, оставил записку жене: не входи в ванну, я там застрелился...

Почти у всех, кто сидел, навсегда остаётся в глазах лагерная тоска. А по виду ЮТ это и предположить было невозможно: чувство юмора его не покидало. Фрид такой же, на том и спелась – все свои сценарии они на поселении писали в уме, на бумагу перевели только вернувшись.

02.04.82. Встретил у «Новослободской» Николая Старшинова – довольный: книжку Горбовской в печать подписал. Повезло Кате – прожди она в общей «молодогвардейской» очереди, как все, пять лет, получила бы свою подростковую книжку после двадцати, а теперь – пусть и под общей обложкой с постаревшими многострадальными очередницам Славоросовой и Зуевой, но скоро выйдет.

05.04.82. Днём завёз Каверину в Лаврушинский наш материал, и Вениамин Александрович прочитал его весьма придирчиво. Задержись у него еще на час, имел бы возможность познакомиться с молодой прозаичкой, о которой Каверин говорит с большой теплотой: – Внучка Алексея Толстого и Крандиевской пишет рассказы, сейчас начинает печататься. Очень талантлива... Нет-нет, ваш еженедельник в её дебюте задействован не будет – только толстые литературные журналы первого ряда.



В.Каверин

23–30.05.82 / Элиста, Ставрополь, Черкесск, Теберда, Домбай, Пятигорск
Дни советской литературы на Ставрополье асфальтовым катком прокатились по хлебосольному краю: полсотни писателей нагрянули с дружеским визитом. А поскольку почти все классики взяли с собою жён, делегация получилась и вовсе безразмерной.

Открылось действо в Ставрополе – грандиозным концертом: Яков Шведов спел для зачина своего «Орлёнка», Алим Кешоков дважды прочитал (на родном языке и в переводе на русский) стихотворение о том, что единственная армия, в которой он может служить, это поэтический полк под командой поручика Лермонтова, потом отчитались полтора десятка поэтов, представляющих союзные республики, а завершил вечер Михаил Матусовский – хоровым, вместе с залом, исполнением бессмертного шлягера «Подмосковные вечера».

В Ставрополе писатели разделились на кучки: ветераны с жёнами отправились к целебным источникам в Кисловодск и Минводы, писатели-деревенцы – в совхоз «Изобильненский», а любители гор, к которым и мы с Тарошиной примкнули, – в Теберду и Домбай, чтобы через неделю встретиться в Пятигорске и лицезреть почётного пятигорца дедушку С.В.Михалкова, открывающего очередной памятник поэту М.Ю.Л., изваянный скульптором Аникушкиным.

Почти всё, что удалось за неделю посмотреть, мы видели только в окна авто, бешено летевших под гаишные трели по равнинным и горным дорогам. По утрам мы долго-долго завтракали, потом четыре-пять часов переезжали с одного места на другое, где долго-долго обедали, прежде чем выйти на сцену очередного театра или партийного дворца, а после долго-долго ужинали, так что сил оставалось ровно на столько, чтобы заползти под душ и в постель. Больше всех в этой ситуации было жаль словацкого стихотворца Яна Замбора: бедняга победил на лермонтовском конкурсе (образцово перевёл стихотворение «Кинжал»), за что его премировали поездкой на родину любимого поэта. Однако вместо мемориальных мест Ян Зубр видел только концертные залы (там его непременно показывали аплодирующей публике), да закрытые для простых смертных едальни с ломящимися от всевозможных блюд столами. Хорошо, в Ставрополе мне удалось полтора часа поводить словака по старому городу, попутно переведа на русский его коротенький стишок, который он и читал потом на концертах, а до Пятигорска мы такой возможности больше не имели.

Жутковатое впечатление оставил Черкесск: обкомовские царьки старательно изолировали гостей от местных жителей. Пока писатели давали концерт в новом шикарном Дворце культуры, я вышел продышаться на улицу, миновал глухой милицейский кордон, и тут на меня буквально свалился с неба молодой прозаик Иса Капаев – утащил в какой-то глухой угол и начал жаловаться. На то, что ему даже в приглашении на концерт отказали, что печататься здесь не дают, что три брата-абрека захватили всю литературную власть, а в СП принимают только людей из своего тейпа... Увы, в моей весовой категории разве что помочь Копаеву с публикацией в «ЛитРоссии», да передать его жалобу главреду, который сразу и похоронит эту неудобную эпистолу в недрах казённого стола.

Чего насмотрелись с лихвой, так это номенклатурных интимных гнёздышек, замаскированных под турбазы и дома отдыха: снаружи – обычный советский *раздрай*, вроде ветеринарных клиник, но сбоку всегда есть невзрачная дверь, за которой скрывается вполне буржуазный быт: сауны, бильярдные, будуары... На одной такой турбазе, скрытой в живописных зарослях на берегу реки Марухи, гостям – уже после Теберды и Домбая – устроили прощальное застолье. Три десятка тостов, с соответственным обновлением блюд, и нас, привычных, свалили

с ног, а Замбор-Зубр так вовсе решил умереть над тарелкой. Тамадой блистал незаменимый Кешоков, а пиком пиршества – делёж бараньей головы. Когда Алим Пшимахович, откручивая баранье ухо, вещал, что сей дар адресован самому молодому за этим столом: «чтобы внимательно слушал старших и мотал на ус, если хочет правильно прожить свою жизнь», – я смотрел на опекавшую меня Раису Ахматову, и она суфлировала: ладони лодочкой и марш за лакомым куском в согбенной позе. Пока все внимали, как второе ухо адресовалось председателю областного кагебэ («чтобы чутко слышал любую крамолу»), а глаз – секретарю по идеологии («не только в корень зри, но и умей видеть грядущие перспективы»), я незаметно завернул «сувенир» в носовой платок, и вспомнил о нём только утром, узрев пропитавший брючный карман бараний жир...

Пробуждение, как ни странно, оказалось лёгким: целебный высокогорный воздух бодрил, и глазу открылись луна и солнце, одновременно висящие над головой...



*В Черкесске:
в первом ряду
второй слева –
Алим Кешоков,
Раиса
Ахматова,
четвертый
справа
в верхнем
ряду –
Ян Замбор*

В Пятигорске я наконец взбунтовался – покинул опухших от пьянства собратьев и утащил с собой уже не упиравшегося Яна Зубра: пошли в саманный домик Лермонтова, оттуда – на старое кладбище, где поэт был похоронен, пока бабушка не вытребовала его гроб в Тарханы. Отходя от пятидневного обжорства, легко перекусили в дешёвой чайхане, а на закате кремнистой тропой взошли к Эоловой арфе. Потом спустились ко гроту Веры, сели на невысокий парашют. Глубоко внизу таял в вечерней дымке город Пятигорск, за полтора года в этом секторе почти не изменившийся, а из динамиков на крыше театра долетали до нас голоса гужующихся писателей. И когда услышали, что сейчас горожан поприветствует словацкий поэт Ян Замбор, он в ужасе вскочил, чуть было не ринулся напрямик вниз, но спохватился, развёл руками, и мы освобождённо рассмеялись...

04.06.82. Пока ездил в Ставрополь, в редакции полностью обновили всю мебель: столы, диваны, стулья. И украшением кабинета теперь – трёхдверный красавец-шкаф с тонированными стеклами. А прежде на его месте торчал фанерный уродец на раскоряченных ножках – скособоченный, без стекол и дверец, с расплзшимися по швам ящиками.

У меня та старая рухлядь была – **напримр.** Приходил законченный графоман, мялся, канючил: «Вы только помогите, наверняка ведь можно тут поправить, там подлатать...» Говорил ему, указывая на шкаф: «По-вашему, этот хлам – предмет

искусства?.. Очевидно, что нет. Мы его, конечно, можем отремонтировать: склотим заново, ящики починим, вставим стёкла, дверцы на новые петли повесим и лаком покроем, но будет ли он после этого музейным раритетом? Так и с вашим рассказом, увы...» А что теперь чайникам говорить буду?

17.07.-15.08 /Одесса. Медовый месяц с женой Леной: благодный, бездумный, в отлучке от московской суеты. Жили на 13-й станции Большого Фонтана, в двух шагах от моря, периодически выбираясь в город (а из города – на день в Белгород-Днестровский), тупея на пляже под местный шлягер из динамиков:

«...Остался у меня на память от тебя

Портрет, твой портрет работы Пабло Пикассо!»



01.09.82. Вечер у Давида Самойлова дома на Астраханском. Пришел Миша Поздняев, потом Ирина Глинка. Каждого входящего хозяин встречал вопросом: «Принесли?» На что, не моргнув глазом, надлежало ответить: «Потом сбегает!» (с минуты на минуту ждали съёмочную группу, и телеперсонажу надлежало быть в респектабельном виде). В ожидании людей из ящика, пили чай и Давид Самойлович подписывал книжки – всем как под копирку: «Имяреку на память о...» (глаза видят уже совсем плохо, писать Самойлову трудно). Чтобы скоротать время, пошли с фотоаппаратом на балкон.

Михаил Поздняев и ДС

Самойлов выпытывает у Поздняева его родословную: очевидно же, и не еврей, и не татарин... Миша рассказал: когда у отца появилась возможность копаться в архивах, Константин Иванович навёл справки и выяснил, что их прапрадед родился в сельце Кистенёвка Болдинского уезда в 1833-м году и был наречен Емельяном. Возможность считать Мишу потомком даёт Давиду Самойловичу веский аргумент: за это следует выпить! Мы с Поздняевым *идём в магазин*, то бишь выходим на лестницу с портфелями, устраиваемся на подоконнике и курим. Через полчаса извлекаем из портфелей бутылки и звоним в дверь... Оказалось, наконец-то приехавшая телегруппа только привезла аппаратуру и поставила свет, протянув в квартиру силовую кабель от огромного фургона с надписью «ЦТ», а съёмка назначена на завтра. Больше ничто не держало, сели за стол. И через пять минут *ДС вошёл в норму*. А когда Самойлов *в норме* – он фонтанирует. Стало так весело и демократично, что один из осветителей переступил грань: «Ты, дед, артист! А нам сказали, что стихи пишешь...» В доказательство тут же была надорвана новая пачка книг, и Самойлов взялся за перо. И когда я увидел, как ДС, каламбура, строчит дарственную надпись стихами... Перехватив Мишин взгляд, прочел в нём аналогичное желанье: будь мы в лесу, а не в центре Москвы, обладатель такого автографа живым бы не ушёл...

11.11.82. Славный выдался день, морозный и солнечный. Утром обегал книжные магазины, до конторы добрался, когда все уже всё знали. Тем не менее, после обеда коллектив собрали в кабинете главного, включили телевизор. Когда пошёл некролог: «Политбюро, Центральный Комитет КПСС с глубоким прискорбием

извещают...» – Лейкин патетически воскликнул: «Не верю!..» Я не сдержался, хохотнул, и Ася Пистунова постучала указательным пальцем по моей коленке: – Учитесь властвовать собой!

Потом разбрелись по комнатам и мрачно квасили. Мы с Юрой Стефановичем скрылись в отделе очерка у Жоры Долгова, пить с которым, как говорил Фадееву Маршак, всё равно что играть на скрипке в присутствии Паганини. После второго стакана Георгий Георгиевич обратил взор в окно и узрел непорядок – над Театром армии гордо реял алый стяг. Долгов набрал номер служебной справочной, узнал телефон директора ЦТСА и тотчас с ним соединился – только одну фразу озвучил своим густым дикторским баритоном: «По всей стране траур, а у вас?..» Через минуту флаг пополз вниз по древку, и третий стакан мы выпили за здоровье директора театра – чтобы его инфаркт не свалил...

...Вечером литконсультант принёс ворох рукописей, и лик его сиял: я гения нашёл! Сказал ему, что в самодёке гениев не бывает, но готов посмотреть. Молодой прозаик из Красноярска, очередной Успенский в нашей литературе. Прочитал два рассказа и возопил: гений! гений!..

Ринулся с рассказом к ответсеку.

– Никакой он, конечно, не гений, а таланта не лишён, – охладил меня Лейкин. – И проблем с цензурой у него будет много. Но такого крепкого автора «Литгазете» мы не отдадим. Через неделю полетите к Астафьеву в Красноярск, и с Михаилом Успенским познакомьтесь – отштейте конкурентов!

18–23 ноября 1982 / Красноярск

Двое суток провёл у Астафьева. Он только что вернулся из Новосибирска, где выступил весьма неосмотрительно, и местная власть отреагировала скоро: в аэропорту обкомовская машина Виктора Петровича уже не встречала. Боится, как бы скандал не отразился на книжке. От интервью отказался категорически, но обещал дать новые рассказы. Нагрузил «Затесями» – для всех наших общих московских знакомых (до столицы эта книжка не дойдёт).

На совещании познакомился с Олегом Корабельниковым, Романом Солнцевым, Сашей Бушковым. И с Михаилом Успенским, само собой.

Михаил Глебович занятый – типичный сибирский увалень, заторможенный и сумрачный, как все настоящие сатирики. Говорю:

– Ты знаешь, что ты гениальный писатель? – Ну.

– И публиковаться ты замучаешься. – Ну.

– Но готов поспорить, что буду редактором твоей первой книжки. – Ага, давай.

Дождался...

Мечта любого (даже самого нетщеславного) писателя – увидеть своего живого читателя. Не на встрече в библиотеке, не надписывая свою книжку в толчее магазина, а – *в натуре*, чтобы сидел в автобусе-трамвае-метро с горящими глазами, в нетерпении перелистывая страницы: чем там дело кончится?

Володе Крупину на днях повезло. Рассказывает: встретил-таки – в первом часу ночи, в полупустом вагоне метро. Деваха лет под тридцать, с виду вполне разумная. Читает его «Живую воду» с явным интересом. Володя сел напротив, приосанился в ожидании, когда узнают (внутри фото лица автора имеется).

Читательница скользнула по нему взглядом – ноль внимания. Володя решил ускорить процесс – спросил: нравится книжка-то? Деваха ответила: нормальная книжка, жизненная, а ты, дядя, не лезь, я в метро не знакомлюсь. Писатель пошел напролом:

– Да это ж я написал, ты на фотку-то глянь!..

Посмотрела, сравнила. Изрекла:

– Пропись, дядя!

18.11.82. У Вити Гофмана кое-как вышла книжка стихов «Медленная река» – совсем тонкая, но с портретиком на обложке. В тридцать два года – первая, со стихами десятилетней давности. Конечно, можно утешиться более «солидными» дебютами: Слуцкий в 38, Тарковский в 55, только примеры эти – удручающие: жизнь прошла.

15.12.82. Девяностолетний Шкловский почти бестелесен: в юности он играючи сгибал кочергу, а сейчас его рука совсем невесома. Говорит фрагментами, которые хаотично живут в его лобастой голове:

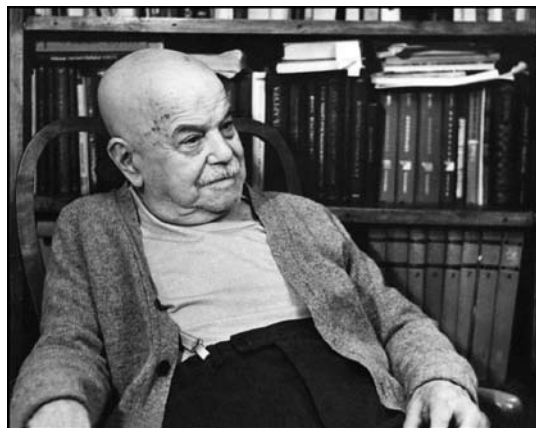
– Ленинская революция в октябре могла бы вообще не получиться. Я командовал дивизионом броневиков, охранял Зимний дворец. Броневики – это большая огневая сила. В ту ночь я остался ночевать у своей барышни. Знаете, молодые любовники крепко спят. Проснулся, когда за окном стреляли. Проспал, и мои бронемшины так и остались в гараже. Керенский меня хотел за это расстрелять. Я вообще остался жив по ошибке...

1983

12.01.83. Прощание с вдовой Платонова в крематории Донского монастыря: тихое, малолюдное. Коля Тюльпинов сказал над гробом, что мир знал только двух великих женщин – Елену Сергеевну Булгакову и Марию Александровну (кажется, он искренне так считает). Кроме дочери Марии Андреевны, был поразительно похожий на Андрея Платоновича внук Саша (судя по облику, безнадежно спивающийся). Спросил у Тюльпинова, как мне быть с очередной публикацией, и Коля сказал: «Делай, что считаешь нужным, – здесь не до мелочных разборок, а Машу я как-нибудь нейтрализую».

14.01.83. У Шкловского – визирую интервью, безрезультатно выбиваю сноски: – Виктор Борисович, отдел проверки не может найти, где Достоевский пишет, что стоя на эшафоте он думал о Дон-Кихоте. – Я верно знаю, думал! – Нужна точная ссылка, иначе вычеркнут. – А место, где рассказываю о броневиках, выкинули? – Да, – говорю, – без вариантов. – Ну и довольно с них! Всё бы им вычёркивать!..

21.01.83. Беседу со Шкловским на топтушке похвалили, но тут же и замечание сделали: слишком много пишу материалов «с ненашими авторами». Сказали, что мне следовало бы составить списочек предполагаемых персонажей, среди которых редакторат хочет видеть писателей «другой ориентации» (?) – Маркова, Алексеева, Проскурина. Обещал подумать. В конце концов, составить список не проблема, да и побеседовать не грех: мне они по-человечьи любопытны.



В болгарском журнальчике «ЛИК» перевод интервью с ВШ озаглавлен: **Само животът остава в изкуството.** Шкловский веселится: – Ничего подобного не говорил! Выговорить невозможно!

Виктор Шкловский

21.01.83. Вечер Саши Аронова в каминной ЦДРИ (Жуховицкий вёл). Как ирония, если не издёвка, – фраза на приглашительном билете: «Судьба книги – судьба поэта»: книги у Аронова нет, и не предвидится, только такие вечера для нескольких десятков поклонников – единственный бальзам для его Музы. И для его жены Тани, которая, сдаётся мне, периодически сомневается, настолько ли талантлив её Саша, как все о том говорят.

...Вообще лицо поэта – интонация:

*Не надену шапку, никого не буду
слушать
мне нужна совсем другая,
а не эта ерунда.
Пойду на улицу, отморожу себе уши –
пускай отвالتها,
вот вы узнаете тогда!*



Александр Аронов

25.01.83. Аполлинер у нас пока вообще неизвестен – единственный сборник стихов в «Литпамятниках» целиком переведён добротным толмачом Кудиновым. Из которого вроде бы и следует, что Аполлинер поэт небесталанный, только вот переводы в том не очень убеждают. Ну разве же это стихи?! –

*«Привет вам, солдаты, бутылки,
в которых бродит горячая кровь»,* – абсолютно голый подстрочник.

Кудинов блестяще знает французский и старофранцузский, только вот с поэзией у него напряг. Самойлов владеет французским в пределах учителя средней школы, но он большой поэт и переводит не слова, а образы. И те же строчки у него мускулисты и звонки:

*«Спешите, спешите, солдаты, –
бутылки с кровавым шампанским!»*

Самойлов перевёл их для беллетристической книжки польки Юлии Хартвиг, которая нашпиговала свой текст фрагментами стихов и строчками Аполлинера. Десять лет я ждал, что эти переводы выйдут отдельной книжкой, а её нет и нет. Сегодня сказал Давиду Самойловичу, что хотел бы иметь стихотворение «Вино-радарь из Шампани» в его переложении целиком. А он огорошил:

– Я ведь только эту пару строк и сделал...

03–10.02.83 / Иркутск

Прилетел в Иркутск, забросил вещи в гостиницу и пошел в больницу к Распутину. Палата оказалась пуста – ВГ на несколько дней сбежал домой. Оставил на его кровати подарки от московских друзей, апельсины «из Марокко» и «Собеседник» с публикацией Платонова. Вечером заехал Толя Кобенков – увёз к себе в Ангарск, на его кухне просидели ночь за бутылочкой вина.

5-го открылось совещание молодых литераторов Сибири. Конечно же, самый многочисленный семинар – у Распутина: его мнение особенно ценно. В первый день обсуждали очень сырые рассказы, где были только ирония и грусть, но Валентин Григорьевич вдруг заговорил не о конкретной прозе, а о тенденции:

«Это всё от Зощенко, а нам такой литературы не надо. Я сейчас читаю «Затеси» Астафьева – вот это книга, вот как надо писать!..» Тут я не сдержался – сказал, что если вся наша литература будет состоять из одних «затесей», на ней можно сразу крест ставить. На мою голову, зал шумно захопал, и это вывело Распутина из себя: не дождавшись перерыва, вытащил меня за дверь – в глазах неподдельные слёзы: «Как вы можете хорошо отзываться о Зощенко! Ведь Платонова читаете, а он автора «Голубой книги» ненавидел!..» Володя Крупин попытался встрять: «Не обижайся на Валу, он сейчас в очень нервном состоянии. Я вас помирю». (Собственно, мы не ссорились – сразу и окончательно разминувшись.)

За два дня набрал кипу рассказов для газеты, выклянчил в обкоме машину и 8-го чуть свет укатил «во глубину сибирских руд». Ощутить протяженность сибирских дорог можно лишь проехав по ним: на карте всего-то 4-5 сантиметров, а в реале – четыре-пять часов езды (в Нерчинск вообще самолетом лететь нужно). На моё счастье, навязанный обкомом инструктор выхлебал бутылку водки, храпел всю дорогу, и удалось тормознуть – сфотографировал действующий Александровский централ. В Урике – у деревянной школы и развалившегося Преображенского собора 1776 года – могила Никиты Муравьева. В Олонках, где упокоились Раевские, – только три плиты посередине снежной пустыни...

На обратном пути в бурятской деревне купил молока: колченогий старик с топором зашел в сарай, откуда донесли чудовищной силы удары, и вынес белую ледяную глыбу, кило на три, которая у меня на гостиничном столе таяла до утра.

9-го весь день провели на Байкале. В живописной церквушке, которую Мотыль снял в «Звезде пленительного счастья» (никакого отношения к декабристам она не имеет), застал батюшку из Киева – он только-только сюда распределился, хорошо знает отца Михаила, и доверительно поплакался: как на каторгу сослан – прихожан нет совсем, разве что с началом туристического сезона появятся... После прощального банкета, пошли на Байкал – на место, где погиб Вампилов. Оказалось, он не утонул: сам выгреб на берег, и тут прихватило сердце – его шевелить нельзя было, а местные мальчишки принялись искусственное дыхание делать, давили на грудь...

В конце своих воспоминаний, Распутин выдавил: «Хорошо, Саша вовремя умер – не видит, что с его страной сделали. Ему бы больно было...»

18.02.83. Вечером у Володи и Олеси, Чернов бубнит: денег нет, заработать приличным способом не получается. Вигилянский советует: займись переводами – сотни национальных поэтов по всей стране сидят и ждут, когда их откроют русскому читателю, – всякие Пысины, Сакины...

Звонит телефон, Олеся снимает трубку – и, с квадратными глазами, сползает по стенке: «Алексей Васильевич Пысин... ищет хорошего молодого переводчика для своей новой детской книжки...» За минуту всё и разрешилось.

21–24.02.83 / Руза

Пятое московское совещание молодых писателей в Рузе: полное обновление лиц, имён. Семинарами руководят Нагибин, Колунцев, Бакланов, Старшинов, Грушко, Чухонцев и Мориц, то есть выбор на любой вкус.

Нагибин был предельно мягок, хвалил всех. Когда обсуждали рассказы Ксении Драгунской, Юрий Маркович вдруг ни с того ни с сего заметил, что нынешняя мода называть дочерей простецкими именами – Дашами, Глашами или Настями – вызвана тоской русского барства по горничным (Ксюша очень обиделась).

Я поселился с Лёвой Новожёновым, который первым делом прояснил, как мы используем комнату в любовных целях: чётные часы его, нечётные мои, а если

свет в окне не горит, то в комнату ломиться не нужно. Сказал юмористу, что может распоряжаться ключами по своей надобности, но только до полуночи, поскольку предпочитаю спать в покое, и Лёву такой вариант вроде бы вполне устроил. Но в последнюю ночь он условие нарушил: приволок инструкторшу райкома... Блюдя нашу нравственность, устроители в десять вечера запирали корпуса, сочтя эту меру вполне эффективной. В итоге пострадали Колунцев и Старшинов – их лоджия была первой от входа, и балконная дверь всегда распахнута, поскольку Фёдор Ависович вечно курит трубку: захожу к ним в полночь – Старшинов, лёжа в пальто на кровати, бабьим диском поёт частушки, Колунцев невозмутимо посасывает чубук, а мимо толпой снуют семинаристы с бутылками и девицами. Познакомился с Юнной Мориц, Сашей Ерёменко и Вероникой Долиной, чьи песни прежде не слышал (действительно хороши – и по слову, и с голоса).

24.02.83. По дороге на Украину, Самойлов на несколько дней приехал из Пярун, принёс ему газеты с нашей беседой. У Давида Самойловича живут-хозяйничают Олег Хлебников с женой, сели ужинать. К полуночи влетела раскрасневшаяся с мороза Варька (я думал, дочь Самойлова давно спит – ей же в школу чуть свет). Оказалось, забежала домой на полчаса, поест и погреться, – до утра за билетами на концерт Пугачёвой коченеть. Набивая еду за щеки, Варвара восторженно верещала, какая Алла Борисовна гениальная, и на сцене, и в быту. Когда она ушла, говорю Самойлову: позвали бы Пугачёву в гости – глядишь, познакомься с заземлённой кумирихой, пацанка излечится. Давид Самойлович отмахнулся: всё это уже проходили – после вечера в компании со звездой Варька окончательно на неё запала, а Пугачёва теперь на всех концертах, узрев в толпе у сцены огненные Варькины патлы, кричит ей: «Давай, рыжая, давай!..»

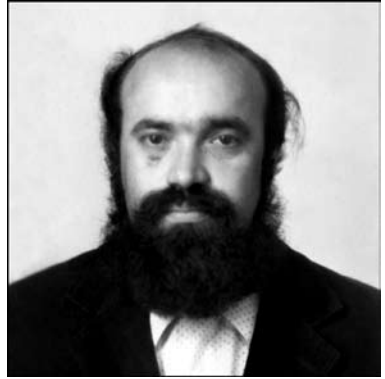
12.03.83. Андрей Черкизов устроил у себя в Нагатино вечеринку – весь нагибинский семинар собрал. Хозяина перебивать неудобно, и он этим воспользовался – всех укатал своими монологами (большой частью про Юлиана Семёнова, с которым вроде как в дальнем родстве состоит). Когда курили с Драгунской на кухне, говорю: «Сейчас напьюсь и закачу Черкизову сцену ревности!» Ксюша смеётся: «Только ты не знаешь, что Андрюшу девушки не волнуют!» Я вспомнил привычку Хемингуэя представлять своих знакомых в постели, живо вообразил папу Хэма в содомских утехх с Черкизовым, и мне тоже смешинка в рот попала. Сразу и ушёл. И Ксюшу уволок из этого свинарника.



Ксения Драгунская

24.03.83. Появился Женя Попов – весёлый, хоть и сильно помятый (три года расплаты за участие в «Метрополе» даром не прошли). Отчитался, что за это время написал полсотни рассказов, и хорошо бы их куда-то сосватать. Легко сказать, только с «метропольским» ярлыком по редакциям ходить бесполезно. Зная трусоватость «ЛитРоссии», мог предложить лишь один вариант – попросить врез у Феликса Кузнецова: он метропольцев травил, ему их и отмазывать.

Идея Жене понравилась – тут же натюкали письмо в СП Феликсу Феодосьевичу. Не держа камень за пазухой, я извещил об этом Лейкина, и он мудро заключил: «Даже если ФФ такую бумаженцию подпишет, пусть Попов с ней в «ЛГ» идёт, и если там получится – мы тут же следом...» Глядя на Попова, убеждаешься: настоящий прозаик – не только луженая задница, но и ангельское терпение: у кого другого руки опустились бы, но у Жени сибирский характер – любую травлю переможет.



Евг. Попов

26.03.83. Приехал Семочкин, собрались у Вигилианских. Володя рассказывает, как учительница на уроке задала Николке вопрос, что он ел на завтрак, и мальчишка стал перечислять: хлеб, картошку, капусту... Классная дама была в шоке: а масло, сыр, колбасу родители тебе не дают? Николка растерялся, тогда девятилетняя Александрина (они в одном классе учатся) ринулась выручать младшего брата: кто же в пост такую скоромную пищу ест?.. Понятно, отца вызвали для объяснений, и Володя учительницу добил:
– У всех семей разный достаток, и незачем такими дурацкими вопросами выявлять социальное неравенство.

15.04.83. Олеся спросила, как назвали дочь, а она почти месяц безымянной живёт: кроме героини фильма «Летят журавли», у меня других вариантов нет, но родня на дыбах: будут дразнить Вероникой Маврикиевной. Говорю: загляни в святцы – если даже окажется какая-нибудь Фёкла или Хавронья, так тому и быть. Олеся полистала книжечку – на 16-е марта ни одного имени, а рядом – только Вероника. Что и требовалось...

27.05.83. Маша Платонова накатила на меня телегу: хитростью проник в их дом, воспользовался доверчивостью вдовы, поправ этические нормы... (не получилось у Тюльпинова удержать её от глупостей).

Колосов сначала потребовал объяснительную, а сегодня вызвал на беседу. Говорили нудно и долго – незаметно свечерело, а мы всё сидели в потёмках, как два дурака. – ...Три года у нас работаете, а мы про вас ничего не знаем.

– Что мешает? Вам известно, где я живу, вот и заехали бы как-нибудь на чаёк или водочку. Не как генерал к рядовому – как к собрату по цеху...

Эта незатейливая мысль показалась Михал Макарычу столь абсурдной, что он не сдержался: «Почему вы ничего не боитесь? Ладно за себя, так у вас дети есть, надо о них думать».

Тут уже я не стерпел: «Самое большее, что вы можете, это уволить меня, даже с волчьим билетом. Но я умею делать руками массу полезных вещей: плотничать, книжки переплетать. И работу всегда найду. А вот вы чего боитесь – не понимаю. У вас и детей-то нет...»

Последнюю фразу сказал зря – больная для Колосова тема. Он процедил сквозь зубы, что больше меня не задерживает, и я понял: еще одним врагом прибавилось.

31.05.83. Как же огорчает небрежение к молодым поэтам! – на программке вечера «Юности» в Политехническом: Вероника Домина, Евгений БОКимович. Ну да, «не надо заводить архива», но элементарная память о начале...

03.07.83. За два последних года церковь в Отрадном стала у нас «базовой» – и венчаемся, и детей здесь крестим без всякой оглядки. Наверняка местные прихожане догадываются, что после того, как двери в храм закрываются изнутри, там происходит некое неафишированное таинство, но верующие люди всё-таки особые, лишних вопросов не задают. Сегодня, когда Поздныев с Олей вышли из церкви обвенчанными мужем и женой, местная старушка спросила:

- Откуда вы, такие красивые?
- С небес, бабушка, – ответил Миша.
- То-то и гляжу, неземные вы.



Миша и Оля в Отрадном

31.07–06.08.83 / Рязань

Прибавление семейства побудило искать дополнительный заработок – рязанский прозаик Толя Овчинников организовал нам с Черновым чёс по своим окрестностям. Наша бригада выглядит вполне эстрадно: сначала Толик рассказывает о своей писательской организации и над чем работает местный классик Матушкин, потом Андрей читает кусочки из своего перевода «Слова о полку Игореве», а я под занавес исполняю номер: «В юмористическом портфеле «ЛитРоссии».

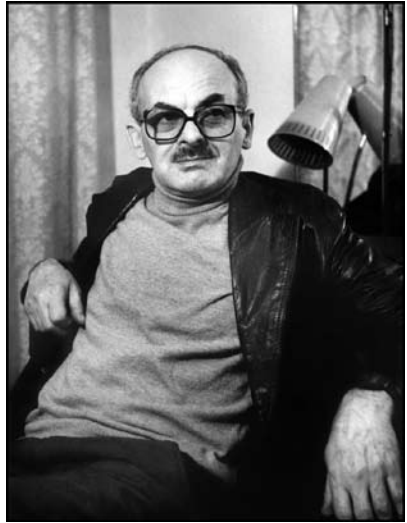
Слушают нас, где как, но проза жизни тут сурова, на интерес к художественной литературе не шибко сподвигает. Когда выступали на Спас-Клепиковской ватной фабрике (столетний деревянный барак с земляным полом), милая девчушка, радуясь неожиданному перерыву, вышла на улицу, села на завалинке, закатала край юбочки и вытянула голые ноги, зажмурилась на пригреве...

Время остановилось в есенинском Константинове, Клепиках, Екшуре, Криушах, и места здесь просто платоновские – возвращаясь после выступления пешком по шпалам заброшенной узкоколейки, читаем клейма на рельсах: *1887 – Hute... 1896 – Кн. Белосельского завод... 1907, 1914 – Krupp...* (Соседнюю Орловщину после войны отстроили заново, а сюда немец чуть-чуть не дошёл.)

Перед отъездом, по традиции, посещаем обком – отмечаемся у инструктора по культуре. Пока Овчинников челомкается в других отделах, комсомольских лет девица дотошно нас спрашивает: «Окуджава песни больше не пишет, окончательно на прозу перешёл?.. А роман «Вечный зов» Иванов продолжать будет?..» Заходит Толик: «Кончай, мать, лапшу на уши вешать! Давай-давай, накрывай стол! Не видишь, что ли? – свои ребята, муходавские!...» Глядя, как девица послушно извлекает из шкафа яблоки, тарелку со сливами и бутылку портвейна, Чернов оброняет неосторожную фразу: «Ну, ребята, это же просто разврат!» Услышав контрольное слово, инструкторша мигом раскрепощается: «Разве ж это разврат? Разврат – когда раз-в-рот, раз-в-зад!...»

Мы с Андреем, давясь хохотом, на четвереньках ползём в коридор...

23.09.83. Едва начал писать интервью с Окуджавой у него дома в Безбожном, как на стройке за окном включилась циркулярная пила, и визг её забил на диктофоне всю нашу двухчасовую беседу. (У Николая Грибачева похоронный оркестр играл.) Договорились, что расшифрую запись, как услышу, потом сядем и все ответы вместе выправим. Не думал, что БШ очень памятливым – когда прощались, спросил: «Вы с той девушкой, которая про меня стихотворение написала, по-прежнему дружите?.. Тогда скажите ей, что я на неё не сержусь. Пусть появится, я свою новую книжку подарю...»



Булат Окуджава

24.09.83. День с утра не задался, так же и кончился. Приехал к Леониду Леонову – думал, что обрадую его свежей совписовской книжечкой «Evgenia Ivanovna», и будет старик разговорчивее, а он в ярость впал: почему в мягкой обложке?! (опять отодвинул нашу встречу на неделю). Потом два часа в «Знамени» у Вадима Кожевникова: то Вознесенский статью принёс (минус полчаса), потом Давид Кугультинов читал новую поэму на 500 строк (еще час), и моё время вышло...

12.10.83. Заказная книжка к юбилею «Советского писателя» у меня горит синим пламенем: только Бондарев, Кожевников и Грибачёв говорят правильные слова, а звёздные старики ершятся и сводят счёты друг с другом. И полоса невезения не кончается: позавчера Леонид Леонов свой текст кое-как подписал, а дальше – опять приходится ходить и канючить.

Говорю Катаеву: может быть, вспомните что-то еще не напечатанное о Горьком? – Только непечатное. При Горьком, например, было невозможно рассказать антисоветский анекдот. Он был абсолютно твердокаменный большевик! Как и Есенин, которого все обожали, он дверь в Кремль ногой открывал...

Осторожно высказываю просьбу совписовского начальства:

– Может быть, погуляем по переделкинским дорожкам? – как бы между прочим, позовём с собой Каверина, я ваш диалог запишу, сфотографирую вместе?

Валентин Петрович серьезно спрашивает:

– А что, разве есть такой писатель? У меня за забором живет какой-то пенсионер Каверин, я с ним изредка здороваюсь.

От Катаева – к Каверину: поговорим про «Два капитана», «Исполнение желаний»?..

– Сколько можно!.. Готов рассказать про Серапионовых братьев, обэриутов, но только если вы заранее заручитесь согласием литначальников – они о настоящей литературе слышать не хотят...

В издательском архиве, куда я временно допущен, лежат замечательные записки покойного Исидора Штока: «Когда взяли автора «Конармии», я побежал к Катаеву: – Валя, что случилось с Бабелем? – Кто вы такой и зачем задаете провокационные вопросы?! – Валентин Петрович вскочил из-за стола, побелел лицом: – Я вашего Бабеля не знаю, мы вообще виделись один раз, и то случайно!...»

Увы, пока Катаев и другие герои той эпохи живы, напечатать это не получится.

24.10. - 20.11.83 / Абхазия, Гульрипш

Женщина из обслуживающего персонала (абхазка) рассказывает, как её в 15 лет украл будущий муж. – Утром родители уехали на похороны в горы. Вечером приезжает дальний родственник, говорит: мама с папой в аварию попали, в больнице лежат. Села к нему в машину, поехали... Так и украли – подкупили родственника, привезли в другую деревню. Мать потом удар хватил – еле-еле оправилась. А она так и живёт с похитителем: двадцать лет уже, двое детей...

Поскольку Дом творчества «ЛГ» с осени до весны пустует, издательство отдаёт путёвки на сторону: в прошлый мой заезд тут отдыхали шумные молдавские колхозники, а сейчас – мрачные донецкие шахтёры. Угодить которым тяжело. В день приезда персонал устроил постояльцам ужин при свечах, так шахтёры потребовали весь свет включить – они в столовую пришли, надев парадные костюмы с орденами и медалями, а впотьмах наград не видно.

Сосед за столом, мужик с вьвшейся под ногти угольной пылью, два дня ворчал, что в номерах даже радио нет (телевизора ему мало), и достал директора – во все комнаты принесли репродукторы. И что, теперь доволен? – как бы не так: – Ты их радио слышал? – по-русски ни слова, песни грузинские до полуночи горланят! И зачем ты сюда столько лет едешь?

За обедом дулся, дулся, а потом пошел к директору – требовать... домино!

03.11.83. Две недели работал в одиночестве, а сегодня приехал Коля Булгаков. Как настоящий писатель – с семью чемоданами: один с одежкой, в двух рукопись новой книги и пачки чистой бумаги, в четвертом записные книжки, в пятом словари, в шестом стальной «Ундервуд», в последнем – церковных размеров Библия (карманного формата – Колю не устраивает: глаза сломаешь).

Поскольку в одноместном номере Булгаков со своим багажом не поместился, а Дом творчества в это время полупустой, Коле без проблем дали двухместный, окнами в горы. Когда я вечером зашел к нему – посмотреть, как устроился, то застал впечатляющую картину: из поставленных одна на другую банкеток Булгаков соорудил аналой для Библии, из постельных тумб – что-то вроде конторки (как Гоголь, пишет стоя), но более всего поразила кровать – сэндвич



из четырёх матрасов, четырёх одеял, восьми подушек, еще и с инкубатором (меж матрасов был засунут плоский масляный электросогреватель).

Соседство с Булгаковым идеальное – он спит с десяти вечера до пяти утра, а я ложусь в пять и дрыхну до полудня. Договорились, что обедаем за разными столиками (когда пишешь, лучше бы ни с кем не разговаривать), но вечерами можем на часок встречаться в баре.

Никаких свежих литературных новостей Коля не привёз. Вообще, сказал, даже читать ему не хочется – еле-еле осилил «Пушкинский дом» Андрея Битова.

Отзыв был краток и всеохватен: – Что-то такое в нём есть, – сказал Коля. Подумал и добавил: – А чего-то и нет.

Николай Булгаков

17.11.83. Булгаков сидел в баре с бутылкой «Ахашени» – повод был весомый: – У меня сегодня юбилей – двадцать лет писательской работы.

Вычел из Колиных 33-х означенное число и вспомнил: точно! – ноябрьский номер журнала «Юность» за 1963-й год, на одном развороте – справа начало повести Василия Аксёнова «Апельсины из Марокко», а на левой полосе рассказ школьника Коли Булгакова.

Засиделись в баре до сумерек. Глядя на дальнюю чёрную гору, где мерцал одинокий огонёк, Коля сказал:

– Родись мы на той горе, только к двадцати годам узнали бы, что есть какая-то художественная литература. А что можно самим книжки писать, нам бы вообще никогда в голову не пришло!

21.11.83. Всё-таки личные отношения – момент весьма щекотливый. Два месяца назад дал Чернову на рецензию книжку Юры Гейко «Сайга». Андрюша писать отказался: на «троечку» повесть. Потом у меня дома застал автора с женой, и Марина Дюжева своим актёрским обаянием Чернова проняла: перечитал он книжку – не такая уж и плохая.

Нынче рецензия вышла в «ЛР», идём с Андреем по коридору – навстречу Щекоч, издали кулаком грозит: «С ума сойти! – мои друзья хвалят моих врагов!..»

18.12.83. Нагибина последнее совещание молодых, похоже, доконало: за месяц получил от него рукописи пятерых авторов – с одинаковыми записочками: «Помотрите, и если соберётесь печатать – напишу врез». Все рассказы пустые, бессюжетные, со множеством огрехов, и по отсутствию пометок на полях машинописи, которые прежде Юрий Маркович делал в изобилии, понятно: не читал, не смотрел даже. И в разговоре посетовал, что стареет, сил мало, и нужно успеть ещё со своими делами разобраться...

1984

22.01.84. Не дожив двух лет до восьмидесяти, выбросился из окна больницы пловец и актёр Джонни Вайсмюллер. Наверное, ощутил себя прежним Тарзаном, решил перепрыгнуть с лианы на лиану...

Этой допотопной старине я обязан первыми своими словами: не говорил до двух лет (все уже думали: глухонемым уродился), а летом на Правде ребятёнка взяла в клуб на фильм «Чита и Тарзан», и потрясение моё оказалось столь велико, что на выходе из зала я произнёс два иностранных имени.

И рта с тех пор уже не закрываю.

06.02.84. У Матвеевой и на новой квартире в Камергерском – неприкаянность, нищета, болезнь. И в каждом пыльном углу – несуразная тень Ивана Киуру. Даря прошлогоднюю книжечку «Закон песен», НН написала на 124-й странице:

«Лит.викторина! Какая строфа – Ивана Семёновича?» Ткнул пальцем, наобум, и попал, да можно было не тыкать – вся книжка пронизана интонацией «Ванечки». Прихожу, когда Киуру нет дома (у нас взаимная аллергия). И даже спрашивать боюсь у Новеллы Николаевны, как она живёт-выживает в этом мраке.

10.02.84. Пришёл давно не появлявшийся Голобородько. Он по-прежнему канает под дурика, и пока это ему вполне успешно удаётся. Дождавшись, пока останусь в комнате один, шепчет: «Меня вызывали т у д а ! – (указательный палец к губам и в сторону Лубянки). – Потребовали назвать всех, кто мне в Москве помогает печататься. Конечно, говорю, всех выдам! Дали бумагу и ручку, ну я и написал – со всеми регалиями: Михалков Сергей Владимирович, Бондарев Юрий

Васильевич, Чаковский Александр Борисович... Как увидели они мой список, так бумагу сразу же порвали и взашей меня вытолкали: чтоб ноги моей у них никогда не было!.. Будто я к ним сам напросился!»

14.02.84. Была надежда, что у Андропова есть хотя бы лет пять, десять, чтобы как-то разгresti эти авгиевы конюшни. Зря надеялись, и теперь при власти совсем никчемный человечек, у которого и кличка соответствующая: Кучер. Похоже, он без подсказки шага сидел не может – когда стоял на траурной церемонии на мавзолее, спросил прямо в микрофон: «Шапку снимать?..»

15.03.84. Все годы, что живу в этом доме, сосед – архитектор Лёня Кривов – вырезал из дерева парусный корабль. Который в основе каравелла Колумба, а по сути – авторская фантазия, даже не привязанная к общепринятым в модельном деле масштабам. Мне корвет нравился настолько, что всех своих гостей на 15-й этаж перетаскал. А тут прихожу – на телевизоре вместо кораблика ваза стоит. Спрашиваю Кривова, куда дел? – говорит, неделю назад жена в художественный салон отволокла. Оценили десятилетний труд в гроши – пятьсот рублей, две мои месячные зарплаты, из которых салон забирает себе сорок процентов, но и за эти деньги не уходит – до сих пор на полке пылится... Я взорвался: обматерил Кривова, всучил ему пятьсот рэ, благо деньги дома были, поймал такси и поехал на Кутузовский, в «Русские узоры», не представляя даже, что буду делать. Приехал, смотрю – стоит *м о й* корабль на самой верхней полке. Сразу прошёл к директору, ткнул ему в нос журналистский билет и припугнул, что он принял в салон краденую вещь, и если мы сейчас же не поладим миром – через полчаса здесь будут МУР, МВД и ОБХСС на одной сворке... Каравеллу мне сразу принесели, я написал расписку в получении и дал совет, если вдруг за вещь кто-то явится, немедленно задержать преступника и звонить мне... Завтра Нике год, вот и будет ей замечательный подарок «на вырост».

26.03.84. Вечер Олега Чухонцева в музее Маяковского. Возник Михаил Козаков со своим замечательным актёрским талантом стянуть одеяло на себя, и уверенно превратил поэтическое действие в собственный бенефис: тихоому Олегу Григоричу, у которого такие вечера просто редки, оставалось безучастно сидеть в уголке. В зале некий плешивый зритель принял тещу Миши Поздняева за... Юнну Мориц – весь вечер не отлипал от неё ни на миг, а когда Лора сказала, что он ошибся, вскипел: «Так какого чёрта вы мне два часа голову морочили!..»

15.04–09.05.84 / Абхазия, Гульрипш

Закончил заказную работу на неделю раньше срока и позволил себе развлечься: попросил друзей познакомить меня с каким-нибудь сухумским миллионером. Нашли подходящего: мальчик двадцати лет, инструктор по езде на моторной лодке, с окладом 85 рублей. Отец его, давно умерший, в середине 70-х открыл в Сухуми три завода – наладил выпуск целлофановых пакетов с картинками Нового Афона, резиновых купальных тапочек на один сезон (все пляжи здесь каменистые) и тёмных складных очков с логотипом «Феррари», и сын до сих пор живёт на оговоренные проценты (платят ему уже не совсем охотно, однако свита мальчика контролирует сей процесс физически). В городе у парня три дома: в хоромах отца доживает свой век вдова предпринимателя, в другом – сидят взаперти его жена и младенец, а сам миллионер обитает в особняке, который забрал в счёт долга у отцовского партнёра. Понятно, всё у него – «самое-самое»: весь второй этаж застелен леопардовыми шкурами (кто всучил ему контрабандную партию мехов, я так и не выяснил), стерео- и видеосистема – по самой последней моде, равно как и телевизор в треть стены (естественно,

«Шарп» – другие в Грузии не котируются). Хвастается: «Видак у меня – второго такого во всём Сухуме нет! У всех на кассету один-два фильма влазят, а у меня – полные три! – (это ему американскую систему NTSC втюхали). – Вот фильмами меняться не с кем, я за ними в Москву езжу – мне их прямо в Госфильмофонде, в Белых столбах пишут!» Про фильмы не врёт – на полках классика, от Чаплина до Феллини. Попросил показать, что сам любит, и он поставил документальный фильм «Жуткое лицо смерти» – «Вах, четыре часа ужаса, все казни мира! – только настоящий мужчина выдержать может!..»

15–21.05.84 / VIII Всесоюзное совещание молодых писателей

Почти все имена участников хорошо известны, самые яркие среди дебютантов – Михаил Успенский и Татьяна Толстая (её дебют подготовлен лучше других, прав был Каверин).

На подведении итогов замечательно сказал Бакланов:

– Было время, когда руководители нашей страны цитировали писателей. Теперь – наоборот. Так пусть нынешние молодые всё поставят на свои места.

И примечательно оговорился литгенерал Георгий Мокеевич Марков:

– Мы, писатели старшего **по хваления**...

28.06.84. На прошедшей неделе вдруг ощутил повышенный интерес к своей персоне. Сначала в семь утра пришёл участковый с каким-то дружинником – якобы проверка паспортного режима: «Почему у вас жена без прописки живёт?» Пока объяснял милиционеру, что это не семейное бунгало, а моя творческая фанза, «дружинник» ненароком осмотрел квартиру и книжные полки, особо заинтересовавшись литературой про оружие: «А само боевое железо собирать не пробовали?» (Нет, говорю, а если надумаю – сразу к вам за разрешением обращусь.) Я спронею соображаю туго – только потом понял, что главным в этом дуэте был «дружинник», которого без ордера на порог не пустил бы, а с участковым – почему нет?

Через день позвонила Эля с завода: «Что ты опять натворил? – начальник Первого отдела а тебе информацию собирает!»

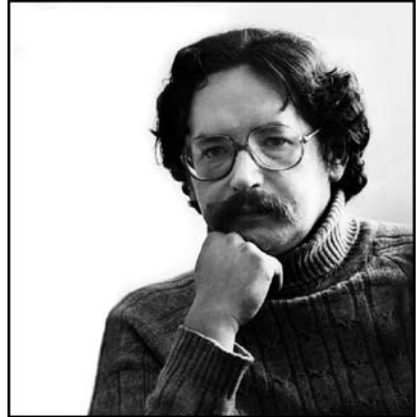
А сегодня главред затаячил к себе в кабинет: «Мне звонили... не скажу, откуда... наводили о вас справки, и я дал вам хорошую характеристику». После чего опять сказал, что ничего обо мне не знает, а это непорядок.

А я вдруг понял, откуда ноги растут: в Сухуми *наследил* – пообщался с пацаном-миллионером, ничего не продал, ничего не купил, выпил с ним чачу да ужастик посмотрел... А приходил-то зачем?

02.07.84. Французы вернули стране восходящего солнца её славного сына Иссеи Сагаву, который три года назад в Париже убил и слопал свою любовницу-иностранку. Странные эти французы: лягушачьи лапки для них деликатес, а гурманство свежими филейными частями молодой голландки они сочли сумасшествием и упрятали лакомку в дурдом. Сагава же, наглядно доказавший свою приверженность древним самурайским традициям, воспринял парижскую психушку как дом творчества и накропал в заточении книжку с недурственным названием «В тумане». Знать бы, как его встретили на родине.

12.07.84. Три дня назад Андрей Тарковский дал в Милане пресс-конференцию – заявил, что остаётся на Западе. При сем присутствовали Ростропович, Максимов и Любимов (которого на следующий день лишили советского гражданства). Такие поступки спонтанно не делаются – наверняка АТ всё продумал: у него в СССР заложники остались, и сына как-то придётся выцарапывать. При таком раскладе больше всего жаль Арсения Александровича: непременно отыграются на старике.

15.07.84. В рядах писательской гвардии один из самых родовитых – Митя Дурасов: его пращур с Малютой-куратором бояр на Москве-реке живьём под лёд спускал, прапрадед написал «Дуэльный кодекс», прабабка с К.С.Станиславским МХТ начинала. И потомок их – барин и сибарит, живёт себе без колготни и спешки: пишет дымчатые рассказы а-ля тургеневские «записки охотника», собирает старинные ружья, а как утомится от городской суеты – вдвоём с таксиком Мушкетом уходит в тайгу на месяц-два. Но жизнь и его поприжала – голодно писателю на вольных хлебах, согласился пойти в штат, в «Наш современник» (в отдел очерка, где он любимый автор и многократный лауреат). Всё вроде бы решилось, осталось лишь с главредом побеседовать... Возвращается – глаз погас, усы обвисли: не взяла! Посмотрел главный его анкету и опечалился: – Ты, оказывается, в Московии родился. Значит, в российской глубинке ты чужой – командировочный. Не прикипел душой к русской землице... По Викулову, подлинными таланты токмо на селе рождаются, особливо в его родной Вологодской губернии.



Дмитрий Дурасов

25.07.84. В патологической ненависти к Высоцкому наши «патриоты» вконец потеряли и стыд, и здравый смысл: в июльском номере «Нашего современника» запредельная по идиотии статейка Куняева – пишет, будто поклонники покойного барда затоптали соседнюю могилу советского героя-майора Петрова. Даже фото нарыли: на одном снимке табличка с именем погребённого имеется, на другом – пропала, только циничные ноги вокруг. И ведь это не монтаж, не фальшивка: вполне похоже на изобретательность могильщиков, которые часто устраивают «кенотаф» в престижном месте, чтобы продать его подороже.

06.08.84. Самый забавный подарок, полученный в день рождения, – польский кружок для унитаза, с афоризмом Ежи Леца на крышке: «Зады тоже носят маски. По вполне понятным соображениям». Вопрос: а дозволено ли это нашей цензурой?

07.09.84. Опять облом: у меня слетела из номера рецензия на фильм «Чучело». Лейкин сразу предупредил: фразу насчёт того, что когда с церкви сбиты кресты – там всегда поселяется нечисть, он вычеркнет. Равно как и финальную: старик и девочка покидают свой город не глядя назад, потому что обернуться – значит превратиться в соляной столп. Я сказал, что текст без этих строчек подписывать не стану, его пустили по членам редколлегии, и общее мнение, естественно, оказалось единодушным.

20.10.84. Умер Вадим Кожевников. Год назад в нашем интервью обыграл его рассказ, как редактор «Советского писателя» Гангнус правил роман «Щит и меч» (целиком переписал), и по младой неопытности понёс автору на визу, чего Вадим Михайлович просто не понял. А тут сообразил сразу – вычеркнул весь этот кусок целиком, бормоча: «Неужели я мог такую глупость сморозить?..» Потом всучил мне для «ЛитРоссии» главу из своего нового шедевра «Корни дуба» и с этим бредом наш друг Павел Исакович Павловский месяц провозился.

17.11.84. Телефонный звонок домой: «Говорит редактор «Молодой гвардии» Николай Машовец...»

Я хохотнул и положил трубку – шуточки, ага: не может мне звонить Чебурашка, травитель Остера и Успенского. Однако он перезвонил:

– Почему-то разъединилось... Мы перепечатаваем ваш рассказ в коллективный сборник «Категория жизни». Хороший рассказ, одна к вам просьба: там дважды встречается слово «пацаны», так вот чтобы его не было.

Сказал Машовцу, чтобы исправили на «мальчишек», и полюбопытствовал:

– А чем, кстати, это слово плохо?

– Мы с ним боремся.

– И с фильмом Динары Асановой «Пацаны» – тоже?

– Это отдельный разговор! – брякнул Машовец и положил трубку: ни здарсьте, ни досвиданья.

Новое поколение молодогвардейцев – борцы со словом *пацаны*.

05.12.84. Критик Андрей Мальгин спохватился, что благодаря его кистеню «Литгазета» рассорилась со всеми молодыми поэтами, и устроил в редакции большой поэтический вечер. Собрал всех, с кем всё-таки нужно дружить, и в списке оказались Парщиков, Жданов, Ткаченко, Ерёменко, Кудимова, Чернов, Поздняев и Хлебников.

Вечер начался с того, что на трибуну взошла жена Парщикова – хрупкая девушка-танк Ольга Свиблова, положила перед собой пухлую папку со своей диссертацией о благоверном и принялась доходчиво объяснять, почему он гений. Когда её наконец согнали аплодисментами, вышел Костя Кедров с обычным монологом: гений он один, но среди молодых тоже есть неслабые ребята. Саша Ерёменко – к всеобщему восторгу – перепел Некрасова и Тютчева, но едва стал пародировать Маяковского и Мандельштама – взорвался Ештушенко: нельзя же так! Голос ЕЕ утонул в общем гаме, а когда он возмущённо крикнул: «Где вы все были, когда я за вас боролся!?» – хохот зала вылился в истерику. Чернова с Поздняевым просто никто не слушал – зрители переваривал услышанное до них, и только Хлебников своими новыми стихами сорвал вполне заслуженные аплодисменты: очевидно, что Олег серьёзнее и глубже других.

В свою «группу поддержки» я смог завербовать лишь Женю Пищикову и Ксюшу Драгунскую – чтобы лёгкими перстами утирали побитым друзьям слёзы и сопли, но это не потребовалось – все расплзлись, кто куда, с жуткой головной болью.

27.12.84. Как и следовало ожидать, маразм крепчает: нынче Кучер (помпезные похороны соратника – маршала Устинова – ему не помеха) раздал Гертруда «выдающимся советским писателям» – Маркову (вторично озвездился), Иванову, Ананьеву и Сартакову (?!). До кучи отметили академика Храпченко, выпустившего 20-томного Толстого без его вопля: «Не могу молчать!» Похоже, наши партлидеры и впрямь уверены в своём «величии», над которым открыто смеётся вся страна. И не видно ни края, ни конца этому беспробудному мраку...

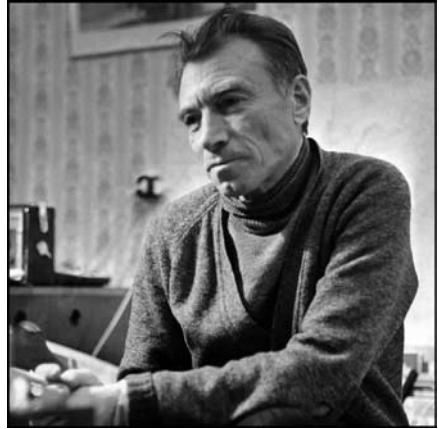
29.12.84. Зашли с Аней Гедымин на новоселье к Аркаше Сарлыку (вообще-то он Блиновский, но степной псевдоним к его внешности очень подходит). Он снял в Измайлово комнату на пятом этаже «хрущобы» и почти создал там некое подобие домашнего уюта. Вторую комнату хозяева, как водится, заперли, но Аркаша придумал свою историю: на самом-то деле, там лежит мёртвая старушка, про которую все давным-давно забыли, и чтобы она правильно мумифицировалась, он лыжной палкой разбил соседнее окошко, а щель под дверью законопатил, дабы запах не тёк по квартире. Кончился вечер бурной истерикой поэтической девушки, принявшей трёп за чистую правду. Сила шутовства – в убедительности.

1985

02.02.85. За шкафом в кабинете Конецкого торчком стоит рулон корабельных карт. Когда этажом ниже жил Олег Даль и навевывался к Виктору Викторовичу выпить, а его жена прибежала искать исчезнувшего мужа (далеко ведь в домашних тапочках не ушел), артист прятался от благоверной в этом рулоне. Сегодня я попробовал сделать то же самое – не вышло: там и мальчик-с-пальчик не уместится. Как удавалось Далию – уму непостижимо.

Конечкий мытарит, как я понимаю теорию Шкловского о сходстве несходного и его термин «энергия заблуждения». Уже почти поссорились, когда Виктор Викторович примиряюще сказал:

– Я сам половины того, что Шкловский написал, вообще не понимаю.



Виктор Конецкий

07.05.85. За Берлинскую операцию быть бы Павловскому Героем Советского Союза, но при штурме вокзала он проворонил фауспатронника в своём тылу и потерял весь орудийный расчет, так что удостоился лишь пятого ордена. Накануне 40-летия Победы получил из ГДР открытку-поздравление от пионеров-эфдеёдлеровцев, с прелестными грамматическими ошибками: *«Дорогой Пиня Исаакович. Поздравляем Вас! Мы знаем, что Ваша пушка обеспечила подход советских танков к Рейхстагу в результате чего был целиком разрушен Берлинский вокзал. Такие солдаты, как Вы, обеспечили Победу над гитлеризмом. Желаем Вам крепкого здоровья и успехов в труде!*

Берлинский вокзал досих пор не восстановлен».

Ай да Павел Исаевич!



Драматург П.И.Павловский

18.05.85 / Гульрипш. Горбачев начал, как Наполеон, зная, что драконовские меры нужно применять на заре правления – потом будет не до них. И вчерашнее постановление об ужесточении борьбы с пьянством ничего хорошего не сулит. Поскольку я сейчас в Доме творчества «ЛГ» единственный журналист, ко мне с утра явилась депутация Верхнего Гульрипша – принесли замусоленную газету в карандашных вопросах и попросили объяснить всё, чего не понимают:

– Тут написано, что запрещено производство и хранение в больших количествах домашнего вина и чачи. А большое количество – это сколько? Вот у меня дома сейчас восемьсот литров вина и двести бутылок чачи, на всякий случай, – много?

И ни только не разобрались, но вообще запутались. Старый грузин сказал: – Мы не о вине беспокоимся. Мы боимся, что виноградники вырубать начнут. После ухода депутации, в углу комнаты остались две канистры с вином и пять закатанных «под боржоми» бутылок с ртутно блестящей жидкостью, которые увезти в Москву теперь наверняка не получится.

27.06.85. С Поздняевым навестили Чухонцева. Увидев Олега Григорьевича в домашнем халате с кистями, Миша не сдержался «Ну вылитый гоголевский старосветский помещик!» и ОГ в долгу не остался: «То-то и гляжу, Добчинский с Бобчинским пожаловали!» Был в хорошем настроении – без всяких уговоров прочитал новые (пицундские) стихи. Когда говорили о литературе, предложил своё определение советского метода: «Социалистический реализм – это попытка создать реальность на основе второй реальности» (теоретиков вряд ли устроит, но по сути абсолютно верно).

22.10.85. 4-го октября Чернов пошёл в ДК Горбунова на литературный вечер «Москва, я думал о тебе!», а попал на сборище общества «Память», где едва не был бит за длинный язык. Шум поднялся большой, и сегодня с Андреем встретился человек с площади Дзержинского – поблагодарил за информацию (будто бы ничего они не знали) и предложил... сотрудничать. Кода.

07.12.85. В понедельник прилетел Марсель Марсо, сегодня должен был делать с ним беседу, а он позавчера угодил в больницу с прободением язвы желудка (Погожева в роли толмача с Марсо в Боткинской днюет и ночует). Не везёт великому миму в СССР: восемь лет назад за балаган на Красной площади его отсюда буквально выперли, а теперь не знают, как живым во Францию отправить.

1986

04.01.86. Архив у Рыбакова в идеальном порядке – всё аккуратно, по папочкам: рукописи, рецензии, отзывы коллег, письма читателей. Положил передо мной пудовую папку с откликами на рукопись романа «Дети Арбата» и сказал, что не начнёт разговор, пока я это не прочитаю. Наедине с чтивом не оставил – два часа терпеливо сидел напротив, следил за выражением моего лица (пришлось включить все свои мимические способности). Представление о последнем романе смог получить весьма относительное, но Рыбаков писатель крепкий, а его «Кортик» и «Бронзовая птица» – классика подростковой литературы.

23.01.86. С утра написал главреду объяснительную – каяться не стал, а вопрос задал: почему из уже прошедшего цензуру интервью с Анатолием Рыбаковым оказался выкинут весь абзац о планах писателя и его ответ про «Детей Арбата». К полудню собрался редакторат «Литературной России», плюс парторг Юра Гусинский и профорг Слава Сухнев. Когда заходили в кабинет, Гусинский шепнул: «Не дрейфь, поборемся. Не сорвись только!»

Отчихвостили меня по полной программе:

– Вся беседа с Рыбаковым – с идеологическим душком...

– Это провокация, цель которой – столкнуть лбами...

– И не надо делать вид, будто ничего про «Детей Арбата» не знаете!.. Наверняка читали рукопись, Рыбаков её всем суёт...

Последним говорил Колосов:

– Из этой наглой объяснительной записки вытекает, что не он, а мы виноваты. А почему я должен отчитываться перед своими сотрудниками, каким образом принимаются решения? Вот у меня на столе два телефонных аппарата без диска...

куда надо аппараты... так что, я свои разговоры по ним должен на весь коридор транслировать?..

Наговорившись, стали думать, что с провокатором делать.

– Нужно вынести строгий выговор с предупреждением.

– И повесить его в коридоре, чтобы все спрашивали, за что именно? А он будет гоголем ходить?.. Выговор дать, но пусть просто распишется, что с приказом ознакомлен.

– И какой в этом резон?.. Глупо давать такой выговор.

Долго молчали. Тогда инициативу перехватил парторг:

– Время сегодня такое, что нужно быть очень гибкими. Рыбаков, конечно, свой роман скоро напечатает. И мы опять закажем Жоре интервью с Анатолием Наумовичем, да еще и премию за лучший материал дадим, – проникновенно сказал Гусинский. – Полагаю, наш сегодняшний разговор, прямой и дружеский, пойдёт ему на пользу. Скажи всем, как ты себя у нас чувствуешь?

Меня колотило, я себя не контролировал:

– Как Рихард Зорге у японцев. С одной разницей – он понимал, о чём они говорят, а я нет.

– Пошел отсюда прочь! – сказал Славка Сухнев. – Вон отсюда, кому говорят! И я вышел. И ничего мне в итоге не было, даже выговора.

15.02.86. Диссидента Щаранского обменяли на нескольких чекистов. Похоже, такой товарообмен может стать хорошей традицией.

24.02.86. Вчера утром в Туле умер Слуцкий. Сегодня тело привезли в Москву, в 71-ю больницу, где и предстоит прощание (в ЦДЛе церемонии не будет).

30.04.86. Три дня назад на «чердаке» Мессерера писал интервью с Ахмадулиной. О том, что случилось в Чернобыле, мы еще не знали. Говорили о литературном ремесле, о поэтическом дебюте, о любимых поэтах, о «счастливой звезде».



Белла Ахатовна:

– Мне с самого начала сопутствовало сочувствие читателей, слушателей. Люди ко мне вообще были очень благосклонны, очень помогали старшие писатели. Но я думаю, что та звезда, если принять это как вымышленный образ, смотрела на меня с некоторой тревогой и, может быть, даже с сожалением. Всегда ведь как-то нечаянно полагаешься на некую опеку, дескать твоя звезда не даст тебе пропасть.

Но и собственная деятельность души должна этому соответствовать, чтобы перед своей звездой не провиниться, а не то в какой-то момент увидишь, что она уже не сияет...

Белла Ахмадулина

А сегодня, когда правили текст, то и дело отвлекались, снова и снова возвращаясь к зловещему библейскому пророчеству: *Третий Ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику... Имя сей звезде «полюнь»...* Весь абзац про «свою звезду» Белла Ахатовна из текста вычеркнула.

19.05.86. Спешно вызвали в корректуру «Совписа» – вопросы у них по моей книжке. Приехал, говорят: нет такого слова – *йогнутый*. Отвечаю, что оно уже вполне употребимо. Ладно, цензор всё равно вычеркнет. И слова *кохуток* в словарях тоже нет.

– Да моя бабушка всегда так говорила!..
Промурыжили два часа и всё оставили, как есть.

15.06.86. Бедный сельский погост на окраине посёлка Братовщина, одинокая могила с краю – розовый мраморный обмылок с фотографией на керамическом овале, на снимке мужичок лет сорока: удивлённый вид, безвольный подбородок, бровки домиком, доверчивые глаза. И нет на плите ни имени, ни фамилии, ни дат рождения и смерти – только три слова чёрной краской:

Зверски убит женой

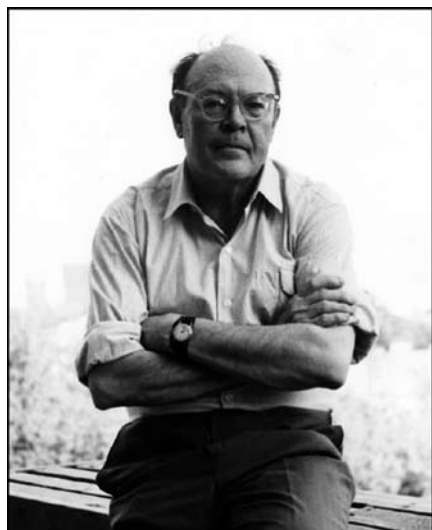
24.07.86. Поскольку на любом собрании, длящемся больше четверти часа, я непременно засыпаю, придумал себе индивидуальный будильник: вешаю на палец ключи, и едва клюю носом, они тут же падают на пол. Думал, что никто этой моей хитрости не замечает. А сегодня засиделись на редколлегии, и Колосов говорит:

– Давайте закружляться, а то Елин уже в пятый раз ключи уронил.

14–17.10.86 / Воронеж

Очередная командировка в Воронеж началась с конфуза. Заранее, за две недели до поездки послал Ивану Евсеенко большой конверт с текстами на адрес журнала «Подъём». Утром являюсь в редакцию – секретарша при моем появлении странно гыкнула. Я в кабинет к Ивану – он тоже ведет себя как-то игриво, что ему вовсе не свойственно. Спрашиваю: не получил мое письмо? «Доставили... – кидает на стол фирменный конверт «ЛитРоссии», грязный и замусоленный, с огромным красным вопросительным знаком. – Но вообще-то в нашем городе такого журнала нет». Смотрю – на конверте моей рукой чётко написан адрес: редакция журнала «Посев». «Интересно знать, о чём ты думал, – смеётся Евсеенко. – А командировку, случайно, не в Мюнхен оформил?»...

Никогда ещё Штирлиц не был так близок к провалу.



В воскресенье с Юрием Даниловичем Гончаровым съездили в Эртелевку: развал и запустение полное – ничто не напоминает о дворянском гнезде, только старый пруд и сохранился. И сколько по России таких святых мест умирает?

Гончаров – самый сильный прозаик в Воронеже, а всесоюзной известности у него нет. Могла бы писательская судьба сложиться иначе, опубликуй Твардовский в своём «Новом мире» гончаровский рассказ «Хлеб палача» (об исполнителе расстрельных приговоров в 37-м). Не успел АТ, а наша в «ЛитРоссии» (четверть века спустя!) публикация – воздаяние должного, но и только.

Юрий Гончаров

В последний день Олег Ласунский устроил мне встречу с Натальей Штемпель – той, о которой писал Мандельштам:

*Наташа спит. Зефир летает
Вкруг гофриро'ванных волос...*

От тех волос остались лишь одни воспоминания, но своё обаяние Наталья Евгеньевна сохранила: ироничная, смешливая – живая. Поразительно, что, бежа из Воронежа от наступавших немцев, она из всех вещей взяла лишь книжечку стихов опального поэта с его автографом. И сохранила её до сих пор. Пока пили чай – интересовалась, что почитать в периодике. Мне же распрашивать её в общем-то не о чем (что помнила – всё написала), но альбом (специально для прихожан склеила) из приличия посмотрел. Главное – благодаря Штемпель, я ауру того времени ощутил.



Наталья Штемпель

05.12.86. Тяжелый прощальный разговор с женщиной. Несколько часов сидели в кафе, в десятый раз терзаясь одним и тем же вопросом: почему? В какой-то миг показалось, что начинаю сходить с ума: стол был застелен клетчатой скатертью, и световой зайчик возле ножки фужера ритмично перескакивал с одной клетки на другую. В воздухе не наблюдалось ни малейшего движения, массивный стол стоял недвижим, а блик знай перескакивал с клетки на клетку... – Это не фужер – люстра качается, – сказала Она. – Всё просто, если понять причину.

Последний Герой литературы социалистического реализма – Павлик Матросов: закрыл амбразуру телом своего отца.

Поздний заиндевелый троллейбус, пассажиров по пальцам пересчитать. У задней двери стоит симпатичная юная пара – судя по новеньким обручальным кольцам, супружеская. Слов из-за шума и лягза не разобрать, да и говорит только он: по сердитой мимике ясно – пилит, пилит подругу вполголоса, а она лишь кивает, кивает и рисует ногтём на морозном стекле человечка. Неумело, как дети, рисует: носик, ротик, «огуречик»... Наконец, они вышли – он, как и положено, первым, девчонка за ним следом, но вдруг быстро обернулась, мгновенно пририсовала своему человечку рожки – и выскочила.

Семь десятков слов, а сцена-то минутная. И ведь гениальная: с интригой, развитием и катарсисом. И с закадровым финалом – очевидным настолько, что добавить тут нечего.

Любые **слова** здесь излишни – это не проза, а **кино**.

15.12.86. В поезде «Москва-Новгород» соседи по купе оказались душевные: Сергей Есин, Руслан Киреев, Игорь Дедков (давно мечтал с ним познакомиться, вот и предоставился случай). И поездка обещает быть замечательной – под знаменем «Нового мира», которое Сергей Залыгин решил развернуть в старых русских городах: перестройка там идёт со скрипом, и без писателей никак...

16–20 декабря 1986 / Новгород, Старая Русса, оз.Ильмень, Псков

Залыгин оказался ещё тот хитрый лис: бригаду писателей в поездку набрал фифти-фифти – «деревенцев» Белова, Крупина и Балашова уравновесил «урбанистами» Есиным и Киреевым. Сам Сергей Павлович как бы парил над схваткой, а себе в оппоненты пригласил Игоря Дедкова. Так что на встречах с читателями писатели потели поочерёдно: в институтах и библиотеках на ура шёл Сергей Есин (кого же он имел в виду под «Имитатором» – Шилова или Глазунова?), а в рыболовецких совхозах витийствовал Василий Белов («доколе голям глумиться над русским народом?»). И Залыгин менял окрас по ситуации: то являл себя ярым сторонником Горби, то предрекал Перестройке скорый каюк. Игорь же Дедков, как человек аналитический и мудрый, большей частью отмалчивался. А я все дискуссии прилежно диктофонил, стараясь даже не думать о том, какой текст из этой жуткой лабуды в итоге сварганится.

*Василий Белов,
Владимир Крупин,
Игорь Дедков
в музее Ф.М.Достоевского
в Старой Руссе*



Дедков уехал, а в Пскове откуда-то вынырнули на полдня дедушка Михалков и чукча Рыхтэу. Пока мы томились в ожидании автобуса, Рыхтэу заговорщицки обошёл всех по кругу: гоните по рублю! Я сказал, что по утрам не пью, но рубль вынул. Рыхтэу убежал в магазин и вернулся... с пачкой своих книжек, которые тут же и раздал. Поистине, чукча и не писатель, и не читатель – он книгопродавец. А вообще поездка славная: за казённый счёт в душевной компании по любимым местам. В конце вояжа я бригаду покинул – через Лугу уехал на Выру к Семочкину.

1987



23.01.87. Как и подозревал, Залыгин продержал текст три недели и вернул с резолюцией: «Всё это дело закрыть! Если есть нужда – надо начать всё сначала».

В «ЛитРоссии» радостно вздохнули: отвергнуть текст главного редактора «Нового мира» не с руки по табелю о рангах, а выступать реакционером уже становится скучно. И опасно – сегодня никто не предскажет, как аукнется то или иное слово.

Сергей Залыгин

11.03.87. После воспаления лёгких у Ники начались проблемы с бронхами, врач выписал *zaditen*, который есть только в Швейцарии. Написал Гене Русакову в Женеву – вчера лекарство привезли. Что бы мы делали, не будь друзей?

13.03.87. У Аронова наконец-то вышла книжка стихов – первая, долгожданная (в 53 года). Саша даже ещё не осознал произошедшее в полной мере – даря «Островок безопасности», шутит: «Про историю этой книжки скажу замечательной послыщей: как ни болела, всё же умерла!» Явно обескуражен нынешним своим положением – много лет ходил в непечатавшихся поэтах, а теперь предстоит обживаться в новом статусе: «Тебе это тоже грозит, когда осенью свою книгу получишь: целый кусок жизни остаётся за спиной... Я о прозе не очень много знаю – я про стихи всё знаю. В стихах нельзя делать две вещи: врать и говорить правду, в смысле банальные истины. Наверное, это же и к прозе относится...»

10–30.05.87 / Абхазия, Гульрипш

Гроза на море – зрелище величественное и страшное: пять-семь молний одновременно били по волнам на кромке горизонта. Чудовищной силы ветер срывал крыши, валил заборы. Всю ночь не мог заснуть, а утром встал с дубовой головой – с предчувствием, что дома что-то случилось. Позвонить в Москву не смог (все провода оборваны), пешком отправился в Сухуми (дороги завалены деревьями). Отстояв на почтамте часовую очередь, дозвонился – жена сказала: «Случилось – у Поздняевых новорожденный сынишка умер». Не думал, что мы с Мишей близки настолько, что я ощутил его боль за сотни километров.

Поскольку в Гульрипше сейчас из литцеа никого нет, а Римма Фёдоровна без общения чахнет, я произведен в пажи. Ежедневно после обеда мы совершаем пешие забеги от моря до шоссе, в Агудзери и вдоль берега обратно. Скорость, с какой Казакова перемещается в пространстве, неимоверна – еле-еле за ней поспеваю. Говорим, конечно, о стихах, и говорит большей частью Римма Фёдоровна. Сильно ревнует к Ахмадулиной:

– Белла абсолютно непонятная – душевного слова в простоте не скажет: всё с вывертом, с надрывом. Образы громоздит так, что к смыслу через них не продерёшься. А вот читателей у неё куда как больше, чем у меня. Странно: я ведь такая простая, такая доступная...

Римма Казакова



08.09.87. Сегодня «свежей головой» носился с полосами по коридорам, надолго завис в отделе проверки и корректорской. В это время в редакцию заглянули Гриша Кружков с Маришей Бородицкой, с полчаса прождали в моём пустом кабинете и ушли, оставив на столе записку:

*Однажды к свежей голове пришли ещё примерно две.
Точней, примерно полторы (подсчёт закончим длинный),
поскольку это был Кры Гры с своею половиной.*

Нынешние молодые поэты совсем не умеют шутить, каламбурить, писать стихи «на ветер» – играючи сорить рифмами, как Пушкин, Маяковский, Мандельштам. Гриша Кружков – из последних могикан.

08.10.87. День рождения мамы. Подарочек ей приготовил неожиданный – утром у неё родилась вторая внучка. Услышав новость, мама выпила рюмку валокордина, потом рюмку коньяка. Спросила: «Родительницу я когда-нибудь видела?» Когда уезжал от неё, сказала: «Боюсь, моей любви на всех твоих детей не хватит...» Восьмого февраля пошли с Екой в «Россию» на «Покаяние». Билетов в кассе не было, в толчее купили с рук один и до начала сеанса искали второй, а когда не нашли – разыграли свой билет с другой парой, у которой тоже был один на двоих, и они выиграли. Погода была слякотная, поехали ко мне домой... Так что до появления Шуручки на свет оставался ещё целый месяц, но звёзды зачем-то сошлись так, чтобы жизнь бабушки и внучки началась с одного дня.

23–27.11.87 / Рязань, Спас-Клепики. Опять отправились за длинным рублём в «культуртрегерский» рейд на Рязанщину – с Аней Гедымин и тем же Толей Овчинниковым. Обошлись без фабрик-заводов: средние школы в сёлах Гребнево и Мелешино (старая, бывшая церковно-приходская, где сегодня в 8-м классе лишь два ученика), автохозяйство, три общежития, Старожиловский конезавод... Двадцать пять выступлений измотали нас настолько, что к концу недели у поэтессы сдали нервы – за неуклюжую шутку выплеснула на меня стакан компота (в Москву возвращались в разных вагонах и мириться пока не намерены).

04–12.12.87 / Белоруссия: Минск, «Ислочь»

Приехав в Минск, предложил Пете Паламарчуку посмотреть картинную галерею и пробежаться по букинистическим магазинам, и он согласился (в отличие от меня, хорошо знает город). С книжками тут не лучше, чем в первопрестольной, и цены в общем-то такие же. Зато магазины игрушек куда как богаче: самая роскошная кукла, конечно же, Раиса (Максимовна, ага?), как во времена Хруща – Нина, при Брежневе – Виктория и Галина. И только тут нашёл игрушку своего детства – лошадиную голову на палке-скакалке (увы – резиновую), а к ней – соответственно – суконную будёновку, каких в Москве я вообще не видел.

Подозрение, будто совещание молодых писателей специально устроили в Белоруссии, чтобы вернуть в опустевшую «Ислочь» постояльцев, быстро забылось: радиацией тут совсем не пахнет. Семинары идут по накатанной колее – в бурных спорах о талантах и бездарях, с раздачей соответственных ярлыков. По вечерам Глеб Горышин с Георгием Семёновым пропадают в бильярдной, молодёжь шумно пьёт по комнатам. Только Сергей Николаевич Есин являет образец здорового образа жизни: не пьёт, не курит, лёгкой поступью свершает вечерний променад. А по утрам – показательные макания в навозную речушку. Зазывает зрителей: – Все идём смотреть, как я голым моржую! Трепетно, да: литгазетовская рубрика «Неожиданный ракурс» отдыхает.



Сергей Есин

1988



01.01.88. Женя Пищикова отчего-то стесняется собственной фамилии и свои публикации подписывает либо девичьей материнской, либо псевдонимами. Запоздало поздравляя ее с замужеством, спросил, не взяла ли она фамилию супруга. Говорит:
– Будешь смеяться, но одним Пищиковым больше стало – благоверный мою взял! Похоже, теперь Женя отношение к своей фамилии переменит.

Женя Пищикова

04.01.88. Вечер Жени Попова в ВТО. Вёл «приспускатель оргазма столетий» Витя Ерофеев. Народу много (рекламный запас «Метрополия» не иссякает). Повидал почти весь семинар Слуцкого – от Гены Калашникова до Погожевой. Познакомился с Федотом Сучковым: поблагодарил за публикации Платонова, позвал в свою скульптурную мастерскую.

Когда прощались, я поцеловал Ахмадулиной руку и сильно покарябал нос об её массивный перстень.

– Не волнуйтесь, – успокоила Белла Ахатовна, – я не Лукреция Борджия.

07.01.88. Вероника утром:

– Мне снилась Африка и верблюды. Много верблюдов!

– Ты на них каталась?

– Как же я могла кататься, я ведь спала!

11.01.88. На ловца зверь бежит: два дня звонил Абдулову насчёт публикации, а сегодня нос к носу столкнулись в 18-м троллейбусе (Сева ехал из «Огонька» с вёрсткой текста о Высоцком). Договорились 20-го встретиться на Таганке, взять фотографа – из Мытищ привезут скульптуру ВВ (к дню рождения во дворе театра установят). 23-го прилетает Марина Влади – открывать мемориальную доску на доме по Малой Грузинской, где они жили. А 1-го февраля выйдет номер «Советского экрана», целиком посвященный Высоцкому. Лёд тронулся!

18.01.88. Дожили – в Доме архитектора вечер Галича. Первый официальный – с афишей и портретом на пригласительных билетах (Слава Лосев постарался). Друзья Александра Аркадьевича в наличии: Ким, ИГрекова, Рязанов и ЕЕ, конечно. Получился перебор: вечер оказался таким тяжеловесным, что мы с Черновым сбежали после антракта. По лёгкому снегу вышли на Тверской бульвар, и тут Андрей удивился: «Когда ты вечер Галича у себя дома устраивал в 79-м, сказал бы нам кто, что доживём до такого концерта в Москве и до конца не высидим...»

05.03.88. Юру Полякова во «Взгляде» спрашивают: – В «100 днях до приказа» что-то вырезали? – Господи, да что там резать!..

Резать и впрямь нечего, а вставить можно – дав солдату, которого под поезд толкнул, мою фамилию, Юрий Михалыч за все вытертые об него ноги отыгрался. Вообще у всех коммунистов сильно языческое сознание: *убить врага словом.*

13.03.88. Встретил в овощном магазине Колю Булгакова: давно не виделись, зашли ко мне. На кухонном столе лежала газета со статьёй Нины Андреевой «Не могу поступаться принципами!» – Коля на полчаса уткнулся в неё носом: «Да, ...да, верно... так...» Надо же, говорит, какие нынче мудрые статьи печатают, а я ничего теперь не читаю. – Совсем ничего? – Так... «Историю» Карамзина, из журналов «Молодую гвардию», «Москву» иногда просматриваю...

На том и простились: того живого, бурлескного, ироничного человека, которого я знал десять с лишним лет, больше нет.

Вечером в теляшнике – встреча детей с бессмертным классиком С.В.Михалковым. Дедушка сверкал чувством юмора:

– Записочки складывайте сюда, к подножию памятника.

– Какое у меня самое удачное стихотворение для взрослых? А вы сами как думаете? Конечно же, «Гимн Советского Союза»!

– Где я был? Везде я был! Ткните пальцем в глобус и, если в океан не попадёте, там я тоже был!

– Вы ведь впервые видите живого Михалкова!.. (И т.д., и т.п. – до тошноты).

22.03.88. В «ЛР» пришла телеграмма из Оренбурга: 18-го умер поэт Илья Елин. Несколько лет назад Илья Михайлович позвонил мне в редакцию: «Однофамилец, давайте познакомимся». Я ответил, что познакомлюсь с удовольствием, а вот однофамильцы мы относительные: он от своей настоящей фамилии Елинсон отнял три последние буквы, а я от своей – три первые. Мы с ним так никогда и не встретились, но сегодня стало горько, будто потерял родного человека.

07.04.88. Нынче «чистый четверг»: до полудня прибрался в квартире, а потом поехал на Тишинский рынок – мясо на разговление купить. У дверей павильона встретил Олега Чухонцева, и мы с полчаса проговорили на тёплом солнышке, а когда стали прощаться – рядом тормознула машина и вылез Смехов. И еще полчаса слушал Веню Борисыча, который с Таганки почти ушел, намерен свою собственную студию открыть и прозу писать... Листая подаренную ВВ книжечку «В один прекрасный день», вернулся домой и уже на пороге спохватился: а зачем я на Тишинку-то ездил?..

08.04.88. Заглянул к Абдулову за книжкой Высоцкого «Я, конечно, вернусь...» (самой полной и качественной из всех, на сегодня изданных). Севы долго не было, два часа славно беседовал с его мамой, вдовой Осипа Наумовича. Она, конечно, тоже пишет воспоминания, где будет много о Высоцком и Влади: в этом доме начинался их роман, в простенке у окна пролетел «медовый» месяц, здесь ВВ едва не умер от разрыва горловой аорты. Вот и спорь с утверждением, что Поэт – наполовину Судьба: без Колдуньи жизнь Высоцкого была бы абсолютно иной, а то и вовсе оборвалась бы на взлёте.

10.04.88. Ходить с Булычёвым на тусовку нумизматов никак невозможно. Только приценился к «медали мороженого мяса» (за зимнюю кампанию 41-го года), Игорь подошел из-за спины и развалил сделку:

– Зачем тебе фашистская атрибутика?

Начал торговать ополченческий крест 1812-го года – опять отговорил:

– Не стоит он таких денег. И вид нетоварный – я тебе в лучшей сохранности найду. Так и ушел я пустой. А Булычёв в метро похвастался – показал должностной знак «Старший дворник Исаакиевской площади № 5». В идеальном виде, даже булавка цела. Восторгается:

– Не будь таких жетонов, как бы ты сегодня узнал, что пять старших дворников одну площадь мели! А им в помощь еще и младших работников метлы десятков!..

01.05.88. Дождлся выхода всех журналов с романом Гроссмана и прочитал книгу «Жизнь и судьба» целиком. Роман незаурядный, хотя по уровню отнюдь не «Война и мир», как считают многие. Стало понятным желание нашей критики объявить «Жизнь и судьбу» романом века, поставить в один ряд с «Тихим Доном», «Чевенгуром», «Мастером и Маргаритой» – когда эпопея Гроссмана столь же гениальна, то оценочная шкала советской литературы более-менее упорядочена, но если эта книга – второй ряд отечественной прозы, где «Пушкинский дом», «Сандро из Чегема», «Дом на набережной», «Чонкин», «Верный Руслан» и др., (что и очевидно, и почётно), то в каком ряду Бондарев, Проскурин, Алексеев?..

12.05.88. Митя Покровский позвал на Таганку – на репетицию «Годунова» (его ансамбль весь спектакль «озвучивает»), но в последнюю минуту Любимов всё переиграл – пустил прогон спектакля «Высоцкий» с Николаем Губенко. Что и понятно: за семь лет игравшийся от случая к случаю спектакль замылился, боль ушла – осталось голое ремесло. Мне сильнее всего жаль «Баньку по-белому», где Золотухин прежде пел, вторя Высоцкому, на манер погребального плача, и это была кульминация спектакля, а теперь акцент переместился на сцену «Дом», которую вытягивает только пронзительный надрыв Аллы Демидовой. Поставив «Годунова», Любимов через неделю улетает в свой зарубеж: вопрос его возвращения до сих пор не решен, да и в театре к отцу-основателю не все относится с прежним пиететом, как принято считать.

15.05.88. Актёр Гребенщиков, которого Межиров сбил на машине, вчера умер. Теперь Александру Петровичу тяжело придётся – ВТО и киношники жаждут ответной крови и намерены идти до конца.

16.05.88. Позвонила мама: год назад умер отец, а нам его жена удосужилась сообщить об этом лишь сегодня. Уходил тяжело, кочуя из больницы в больницу, потерял исколотые инсулином ноги... И ведь тогда в Гульрипше – на девятый день – я отца, а не Мишу Поздняева, почувствовал!

...Из детских воспоминаний самое яркое – времени нашего житья в Иваново, как я, пятилетний, лежу перед сном в кровати, вслушиваясь в приближающийся к нашему дому грохот марширующих солдатских сапог, и когда от него начинают звенеть стёкла, отец, ведущий свою часть с учений в казарму, запекает за окном песню «Ласточка-касаточка» – и теперь у меня в ушах мягкий папин баритон, тонуший в припеве, который подхватывает сотня голосов...

Мы с отцом так и не смогли помириться, и с этим грехом мне жить до конца.

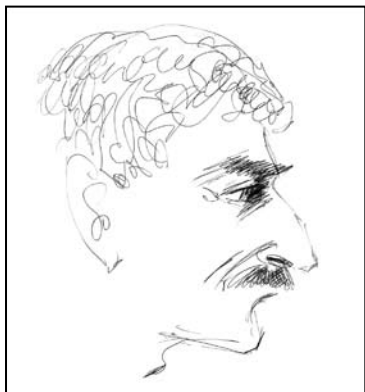
20-23.05.88 / Ленинград

На три дня приехали в Питер – ратовать за «ЛитРоссию». Свободного времени совсем мало, так что повидать всех питерских друзей не получалось. Может, оно и к лучшему, потому как Миша Успенский в тутошних компаниях не в своей тарелке, хотя Рудик и постарался не смущать сибиряка «жидовскими штучками». Поселились с Успенским в одном номере (уверял, что не храпит). Вечером вздумали заварить чай – Миша заметил, как я выдернул вилку телевизора за провод, и сурово отчитал: «Никогда больше так не делай!». Минуту молчали, потом начали ржать. Теперь это наша *коронная фраза*.

24.05.88. Вечер «ЛР» в Ленинской библиотеке кончился досадным провалом Успенского – ему пришлось выступать после Задорнова, доведшего зал до колик своим «Письмом генсеку», а у Миши эстрадный опыт нулевой, юмор «бумажный» (для глаз). И хоть Задорнов потом засыпал Успенского комплиментами, он сильно переживает неудачу. Это зря: его рассказы даже Хазанову рассчитать не удаётся.

25.05.88. Ушел академик Алексей Лосев (на 95-м). Тахо-Годи рассказывала на институтской лекции по античке: чтобы не отвлекать будущего академика от науки, решили ему про войну не говорить. Однако же пришлось – когда начались авианалёты на столицу, и в Вахтанговский театр попала бомба, философ поинтересовался-таки, отчего в доме стёкла звенят (в кабинете Алексея Федоровича шторы и в мирное время не раздвигались). Услышав про нашествие фашистов, Лосев отмахнулся:

– *Никакие войны после Второй пунической меня совершенно не интересуют.* (Правда, потом Великая Отечественная и до него достучалась: дом Лосева на Волхонке уничтожила бомба (есть фото философа на развалинах).



02.06.88. Колосов позволил-таки мне провести вечер редакции в ДК Ильича со своей компанией (но зама своего навязал – проследить, чтобы наши ля-ля имидж «ЛитРоссии» не опозлили), и всё получилось тип-топ. Позвал Булычёва, Иртеньева, Чернова, Макса Кривошеева, Веронику Долину и Катю Горбовскую, так что зал, несмотря на жару, пустым не был. Всё действо Игорь-Кир рисовал на обороте своего рассказа шаржи на выступающих, а поскольку рассказ был принесён мне, я получил еще и семь замечательных рисунков.

*Игорь Иртеньев.
Рисунок Кира Булычёва*

03.06.88 Ливанов говорит, что у меня лёгкая рука: послал его многострадальную повестушку про Ивана, не помнящего родства, Никольскому в питерскую «Неву» («ЛитРоссия» печатать наотрез отказалась), и там её через месяц опубликовали. Сейчас Василий Борисович затеял свой личный театр – «Детектив». Под крышей кагебэ, который пустил пробивного шерлохомса в свой клуб на Большой Лубянке. Ливанова застал в возбужденном состоянии: кипит. – «Возможен ли такой «жанровый» театр в принципе?» – «Конечно, народ обожает детективы! Аншлаг предсказан 100-процентный». Худрук и главреж в наличии – сам Василий Борисыч и Виталий Соломин. Еще есть главбух (денежки счёт любят). И пять актёрок – самых-самых. Которых ВБ тут же построил шеренгой – ну, как? Хороши, ага: рыжая, шатенка, русая и две блондинки. Которых роднила одна весьма пикантная деталь – их бюсты колебались в амплитуде от пятого до девятого номеров. Через час разговора с Ливановым возникла чёткая уверенность, что суть творческого поиска – проба актрис, и тем дело кончится.



Василий Ливанов

05.06.88. Давно заметил за собой: если нужно выбирать из двух вариантов – предпочитаю третий. Два последних года, когда разрывался между двух семей и двух женщин (жён, уже нелюбимых), измотали вконец: жил в какой-то апатии, машинально, не думая даже, куда кривая вывезет.

В середине апреля обедал в литгазетовской столовой, а за столиком в углу шумно гужевалась киношная молодёжь – Андрюша Титов, сын Юры Чулюкина, еще пара ребят из их «детской» тусовки. Девушка в этой компании была одна, сидела ко мне спиной, не обернулась ни разу. Очень она мне понравилась – осанка, рассыпанные по плечам русые волосы, тугое терракотовое платье, и я вдруг реально ощутил – каким-то необъяснимым чутьём *понял*, что эта девушка, лица которой не вижу, – **м о я**, и что у нас будет всё: яркий роман, вместе прожитые годы, дети... Даже смешно стало: сейчас уйду, так и не узнав, как она выглядит и как её зовут, и никогда мы с ней больше не встретимся...

Ушёл, забыл сразу о том случае, а неделю спустя эта девчушка принесла в мой кабинет подписные полосы (только по волосам и терракотовому платью и узнал). Я про себя назвал её Фыфкой, месяц мы присматривались друг к другу, а вчера она не оттолкнула моих рук, осталась до утра, и все преграды рухнули в небытие – её жених Макс, все мои перед кем-либо обязательства...

07.07.88. Рассказываю о молодых писателях в институте Патриса Лумумбы. Иностранцы студенты любознательны: записывают имена, названия книг. Говорю: замечательная книжечка вышла у Виктора Коркия – «Чёрный человек, или Я бедный Сосо Джугашвили». Тут в зале встаёт огромный негр: «О каком чёрном человеке вы говорите?» Кожей ощутив приближение катастрофы, начал мямлить: «Это такой поэтический образ... вот в поэме Есенина...» Ничего они не поняли – теперь встала негритянка: «В книге Коркия рассматриваются проблемы расовой дискриминации?» – «Не-е-е-т!», – завопил я дурным голосом, но и третий, и пятый вопросы были про негров. Тут критик Идашкин, человек дошлый и тёртый, принял огонь на себя: «Сейчас я вам всё объясню. Есть у нас понятие: чёрное золото...» Что Идашкин рассказал неграм про уголь, я уже не узнал – под шумок бежал постыдным бегством.

25.07.88. До четырёх утра с Ниной Крейтнер и Валерием Аркадьевичем готовили публикацию Галича для «ЛитРоссии». Уломать Колосова на этот раз оказалось проще простого – только и спросил главреда: «Хотите «ЛГ» дорогу перебежать?»

01.08.88. Утром разлепил глаза, и первая мысль: не хочу в редакцию ехать – снова деньги на венок собирать...

Добрался до конторы, а там все в зелёной тоске: выбросился из окна редактор отдела поэзии Диомид Костюрин. Он полгода пролежал в психушке с диагнозом «канцерофобия», но кроме боязни умереть от рака, внешне у него всё было в порядке: женат на внучке/дочке Гулиа, книжки исправно выходят, Пугачёва несколько его песен поёт... Вот уж точно, чужая душа – потёмки.

18.08.88. Вышла подборка стихов Русакова (очень крепкая и кстати – три дня назад у него был день рождения). В конце дня Гена с женой заехали за газетой и мной на Цветной бульвар, и мы отправились гулять. Пешком дошли до моего дома, по дороге накупив разных вкусностей, и тут Люда увидела пельменную. Смотрю, и у Гены глаза загорелись: зайдём? К моему предупреждению, что у них есть реальная перспектива закончить день в реанимации Склифа, супруги-поэты остались глухи. В неаппетитной липкой духоте они выбрали самый обширный стол, с ностальгическим любованием расставили на пластике тарелки с синими пельменями в лужах уксуса, гранёные стаканы с кофейной бурдой и блюдечки

с резиновыми беляшами. И – жмурясь в лучах закатного солнца, поминутно обмениваясь лирическими взглядами – принялись всё это уплетать... Очевидно, чтобы проникнуться прелестью советского общепита, нужно десять лет прожить в стерильных Соединённых Штатах.

01.09.88. В редакции появился Юз Алешковский – розоволицый, солидный, почти серьёзный. Стоял в коридоре в окружении друзей, шумно вспоминая, когда здесь был в последний раз. Тут закончилась редколлегия, из кабинета вышел Лейкин: – Юз, какими судьбами? Совсем не изменился! – А ты, Няма, постарел, морда пархатая! – Когда ж ты, наконец, изменишься? – всплеснул руками Лейкин. – Ничего святого у тебя нет! – Тут, Няма, ты ошибаешься! – Юз воздел палец к небесам: – Во мне святого до хуя! Потом принёс к нам в отдел свою – народную! – песню «Товарищ Сталин, вы большой ученый» в авторской версии, распорядясь перечислить гонорар «Мемориалу».

02.09.88. Когда ты неуч, при встрече с человеком знающим оторопь берёт. Благодаря шмелёвской статье «Авансы и долги», у нас половина читателей прозрела: оказывается, вся мудрая экономика – проще пареной репы. Конечно, это не так, и говоря с Николаем Петровичем в полной мере осознаёшь, сколько там подводных камней. Теперь то и дело слышишь: почему Шмелёв обречён читать лекции сотне спецов, а не призван руководить Госпланом или Минфином? – Да потому, что он теоретик, а там нужны практики.



Николай Шмелёв

06–12.10.88 / Дагестан, Махачкала

В «Совписе» навязывают переводить роман о Батырае (дагестанский Лермонтов, тоже в 27 лет умер). Написала его праправнучка классика Сарат – сорок печатных листов (мрак – сплошной набор случайных слов). Ладно, поехал по батыраевским местам, благо что в этих краях пока не бывал. А в дорогу, видимо, надлежало прихватить роман лже-классика Нурпеисова, на котором спёкся Юрий Казаков, переписавший его от первой страницы до последней. Вообще литературное донорство – не такое безопасное дело, как считается: не счастье, сколько талантливых писателей на нём сгорело.

Сарат подготовила мне «культурную программу»: экскурсию по Махачкале (от бюста Гамзата Цадасы до виллы Гамзатила Расула, где мы как бы «случайно» встретили Абу-Бакара) и приглашение на свадьбу «с национальным колоритом». Приезд столичного журналиста местные акыны восприняли с жаром – на второй день мне в гостиницу принесли шесть доносов, на всех скопом и каждого в отдельности. Принимая эти писульки, сразу осведомлялся: вы за Расула Гамзатова или за Абу-Бакара? (расклад – 50 на 50). Чтобы не вникать в эти пошлые дрязги, плюнул на всех и на три дня уехал в горы, в сторону Чечни.

13.10.88. Вернувшись из поездки, в ворохе почты нашёл письмо от Кати. С фотографией Шурочки и надписью на обороте:

«Слабо на полку поставить?..»

Не слабо – поставлю, да, но это единственное, что могу сделать, – семьи у нас не получилось, и теперь это уже непоправимо: за минувшие полгода в моей жизни появилась женщина, которую я с каждым днём люблю всё сильнее и безоглядней.



Катя и Шурочка

31.12.88. Год закончился на печальной ноте – умер Юлий Даниэль. В литературе он не оставил глубокого следа (стихи на «троечку», проза лучше, «День открытых убийств» останется), но их с Синявским процесс стал тем рубежом, который окончательно размежевал наших писателей, породил правозащитное движение.

1989



11.01.89 / Ленинград

...От Гранина отправился к Конечкому. Вик. Вик. в ярости: вчера у него была Надя Аж-на – два часа писала интервью для «Литгазеты» и сразу же уехала в Москву, а утром позвонила – обе плёнки абсолютные чистые. Поскольку за Надю ручался я, мне и влетело по первое число: – Зачем присылаешь профнепригодных дурёх!?

На самом-то деле, всё закономерно: не хотел Конечкий этого интервью (между ним и «ЛГ» давно черная кошка пробежала), вот ничего и не получилось. Конечкий суверен, как все моряки, – если сразу что-то не задалось, значит, так и должно: не судьба!

Виктор Конечкий

14.02.89. Принёс новый рассказ Николай Шмелёв. Был мрачен, но говорлив, уходя напропалую:

– Если мы сейчас что-то не предпримем, через два года Горбачёв будет смещён силовым методом, и мы вернёмся на прежние позиции.

О возвращении «на прежние позиции» сейчас говорят всё чаще: и «левые», и «правые» – с одинаковой тревогой, поскольку в этом случае гражданской войны не избежать (хлебнувших глоток свободы назад не загонишь). Как молитву, талдычим: нужно продержаться десять лет, чтобы процесс стал необратимым. И всё чаще вспоминаем Моисея, сорок лет водившего свой народ по пустыне...

15.02.89. Сегодня день исторический – последний день войны в Афганистане. Наши официальные потери: 15 000 убитых, 37 000 инвалидов. Когда статистика округляет цифры плюс/минус тысяча – ясно, что они в разы больше. О потерях афганцев не говорится: тут счёт миллионный. И никто никогда за это не ответит.

17.02.89. Днём «на пять минут» заглянул Пляцковский и просидел до вечера – всему песенному цеху кости перемыл. Рабочий день кончился, я пошел в магазин, так Михаил Спартакович и туда за мной потащился. В гастрономе на Цветном извивалась очередь за сосисками, мы пристроились в хвост за Юнной Мориц. И полчаса говорили о молодых поэтах. Из которых Юнна Петровна выделяет только Катю Горбовскую.

Я сказал, что в Англии она совсем бросила писать, как и ожидалось – возрастная наивная лирика кончилась, а взрослая не началась. Но Мориц убеждена: что даровано небесами, уйти в песок не может.



*Прощай,
«Литературная Россия»!*

04.03.89. В «Советской культуре» под рубрикой «Есть мнение!» напечатали мою заметочку, которая после редактуры стала «откликом о кооператорах». Убили финальную фразу, ради которой сей текст явлен: чем считать деньги в кармане Артёма Тарасова, сказали бы ему «спасибо» за уплаченный миллион партвзносов.

29.03.89. Пока ждал своего представления на редколлегии «Огонька», пробовал понять, у кого какая роль. Что в общем несложно: Алесь Адамович – бродильное вещество, Черниченко – всепробивающий таран, о. Александр Мень – третейский судья. А Юрий Никулин – элемент буферный: как только разговор переходит на повышенные тона – тотчас встречается:

– Рассказываю очень смешной анекдот!..
Наконец дошли до меня: новый сотрудник отдела литературы, переводом из газеты «Литературная Россия». Тут же вопрос: а не шпиона ли мы берём из враждебного стана? Я рта не успел открыть – Никулин: – Правда смешной анекдот! – «Из пунктов А. и Б. навстречу друг другу по одной колее одновременно вышли два поезда. И никогда не встретились – не судьба!»

Переждал, пока все отсмеялись, и мне: – Поздравляем! Идите на свое рабочее место, вас там друзья заждались.



Юрий Никулин в «Огоньке»

07.04.89. Утром в холле редакции некролог – погибла Ира Лобанова из «Смены»: её с мужем (ножом и гантелью) убил сын – не разрешали мальчику жениться!

24.04.89. Представление книжки Высоцкого в ДК Горбунова. Хорошая компания собралась: Карякин, Смехов, Говорухин, Аронов, Женя Попов и вездесущий Туманов, конечно. Отец ВВ – злой, высокомерный, принимающий происходящее как воздание дани ему за великого сына, которого, если верить Марине Влади, считал антисоветчиком и на порог своего дома не пускал. Имя Колдуньи здесь не произносится: сыновья Высоцкого намерены подать на неё в суд за книжку об отце (что зря – суд с удовольствием перетрясёт грязное бельё, но и только).

03.05.89. Коротич привёз из Америки подарок от сына Хемингуэя – куртку, в которой отец прошел всю войну: она-де по плечу только «Огоньку». Все принялись примерять, а наши тётки так просто с восторгом: хлебом не корми, дай напялить какую-нито тряпочку. Потом повесили на стенку. На летучке Коротич вспоминает, как приехал в Москву и пошел в мавзолей смотреть на Сталина – рыжего, маленького, нестрашного: «...Очень он меня, мёртвый, удивил!» Смех в зале: «Живой – он удивил бы вас еще больше!»

10.05.89. Днём Нагибин – согласовывал правку рассказа «Афанасьич». Коротич вычеркнул несколько абзацев, Юрий Маркович напрасно просил не делать купюр, так как аргументацию выбрал неверную: «Старый я уже, время против меня работает». И Коротич Нагибина дожал: «Как врач говорю, вы, как минимум, на девяносто лет запрограммированы!» Когда провожал Нагибина, ЮМ сказал: «Вовремя вы из «ЛитРоссии» ушли – после прихода Сафонова и Рыбаса газета вконец испакостилась. Она и прежде была кондовой, но какие-то приличия соблюдались, а теперь и они отброшены».

12.06.89. В мастерской Федота Сучкова. Его рассказ о том, как во время, когда здесь жил Женя Попов, к ним нагрянули с обыском: унесли кучу бумаг и все рукописи Жени, а они потом гадали – по чью именно душу к ним приходили? (ордер на обыск оба не посмотрели). Подарил гипсовый горельеф Шаламова, который сделал для его надгробия: похожий и жуткий, как посмертная маска. И фотографию доски Платонова – на обложку книжки «Деревянное растение».

24.06.89. Поразительный все-таки человек Евгений Александрович! Поскольку весь съезд народных депутатов я смотрел по телевизору в Гульрипше, видел только то, что показывали, а закадровые подробности и байки узнаю лишь теперь (забавную книжку можно составить). На первое заседание Евтушенко (едва успевший в Харькове получить депутатский мандат) явился в шортах, канареечной рубашке и сандалиях на босу ногу. Когда оглашали список президиума, объявили и его имя – очевидно, доброжелатели хотели, чтобы ЕА явил телезрителям свои загорелые мослы, и просчитались: через пять минут он вышел из-за кулис в отличном фирменном костюме (всегда с собой парадную униформу в машине возит). Звонит вечером: «Срочно нужен журнал с моим стихотворением про афганца! Ни Вигилянского, ни Хлебникова застать не могу, а у вас наверняка есть. Сейчас заеду, буквально на минуту!..» Я был не один, в абсолютно нетоварном виде, однако отказать не получалось. ЕА появился через час, взял номер «Огонька» и осведомился, есть ли у меня сыр. Сыра было достаточно, но за полчаса он кончился – под разговор ЕА с девушкой, которая ему явно приглянулась. На беду Евгения Александровича, моя пассива к поэзии абсолютно безразлична, к Евтушенкиным стихам тем паче, и классика это раззадорило: он принял

эпическую позу, опершись на холодильник, и так, не сходя с места простоял на кухне час, рассказывая, как мучительно снимал фильм «Похороны Сталина», про великую Ванессу Редгрэйв, и что записал весь исторический съезд на две сотни кассет, оставляя дома запрограммированный видик. У Евтушенко тлела надежда, что его хоть кто-нибудь узнает на улице, но полуночный двор оказался тёмным и пуст (даже все собаки давно были выгуляны), и мы с полчаса зряшно топтались возле его машины. В качестве утешения сказал ЕА, что моя дочь учится в мемориальной 607-й «школе неисправимых», где своего выдающегося ученика всегда вспоминают и любят. Он воспринял это как должное.



Евг. Евтушенко с женой Машей

27.06.89. Январский сюжет Конецкого с Аж-ной превратился в долгоиграющий: утром позвонила Надя – пожаловалась, что Вик. Вик. вчера выгнал ее чуть ли не матом, попросила как-то посодействовать. Не вышло – если Конецкому что-то не по душе, его танкером не сдвинешь:

– Баба на корабле – ужас, а в журналистике и вовсе чума. Если «Литературка» хочет получить нормальный текст – пусть мужика ко мне присылают!

20.07.89. С утра в ЦГАЛИ – сдал в архив 1-й экз. машинописной копии записных книжек Платонова (с правкой Марии Александровны), в надежде, что кто-нибудь это дело добьёт до конца. Разговор с Сиротинской о двухтомнике Шаламова для «Библиотеки «Огонька», который она уже подготовила к печати (и теперь сопротивление публикации «Колымских рассказов» чудовищное – слишком страшна эта правда, и те, кто сажал и расстреливал, до сих пор при власти).

01.08.89. Вчера Юру Стефановича выпихнули из госпиталя Бурденко – с опухолью в голове, метастазами в обоих лёгких – умирать дома (чтобы статистику им не портил). В чудовищном состоянии – ничего не слышит, говорит с трудом, пишет плохо. Накануне операции (неделю назад) Наташка подарила отцу оловянного солдатика, которого Юра тут же уронил на пол, и у фигурки отлетела голова. Тогда еще тлела надежда, что диагноз не подтвердится, и эта случайность стала дурным вещим знаком...

03.08.89. Превращаюсь в банальную сваху: заманил Гену Русакова к Чухонцеву, заранее накачав Олега Григорьевича его стихами. Двухчасовой разговор за чаем замечательных поэтов стоило записать целиком: рассказы Гены о своём детстве, шуточки Олега Григорьевича с ироничными комментариями Иры Поволоцкой (пожалел, что не пришла мысль сунуть в карман диктофон). С трудом удержался от соблазна подглядеть, что Русаков и Чухонцев написали друг другу на книжках, которыми обменялись.

Ушли за полночь, в проливной дождь. Когда прощались у метро, Гена сказал: – Очень интересный человек. Поразительно похож на свои стихи. Только одного не понимаю: откуда такое стремление видеть трагедию даже там, где её нет. И я понял, что Русаков с Чухонцевым друзьями не станут никогда.

05.08.89. Навестили в больнице Булычёва (еще очень слаб, но второй день как встаёт и ходит – страшное вроде бы позади). Порадовался публикации рассказа «Старенький Иванов», и мы недолго погуляли по дорожкам больничного парка. О предыстории своего инфаркта сказал кратко: «Хруцкий, плюс водка, плюс видАк с кучей трупов!»... Когда подписывал Ф-ке книжку про Алису, ошибся и датировал вчерашним числом – спохватился, но исправлять не стал: – Я вас со вчерашнего вечера ждал...

10.08.89. Рязанов выпускает свой рассказ о том, как собирался снимать и не снял «Чонкина», и за три дня всю редакцию на уши поставил. Понятно, что режиссёр – тиран по определению, но такого напора никто не ожидал: Эльдар Александрович явил всю радугу своего несносного характера, от истерии до жесткого диктата. В конце концов, Рязанов взял на себя Вигилянский, а я сбежал из редакции и когда через три часа вернулся – Володя мрачно вычитывал вёрстку, бормоча под нос: «До чего же мерзкий старикашка оказался...»

13.08.89. Позвонил Володин: сказал, что соскучился и хочет в гости. Застал у меня маму, которая тут же надела на Александра Моисеевича с призывом на меня *повлиять*: тридцать восемь лет, а серьёзности никакой... Володин маму озадачил: «Я хотел бы стать таким, как ваш сын, только уже поздно – не получится». Через час родительницу кое-как проводили, зашли в магазин... Услышь мама разгоряченные монологи Володина, она бы сильно огорчилась: – В 56-м году я был венгром. В 68-м – чехом. В 80-м... хотел стать афганцем, но не получилось. Очень уж они жестокие. Да и мусульмане к тому же...

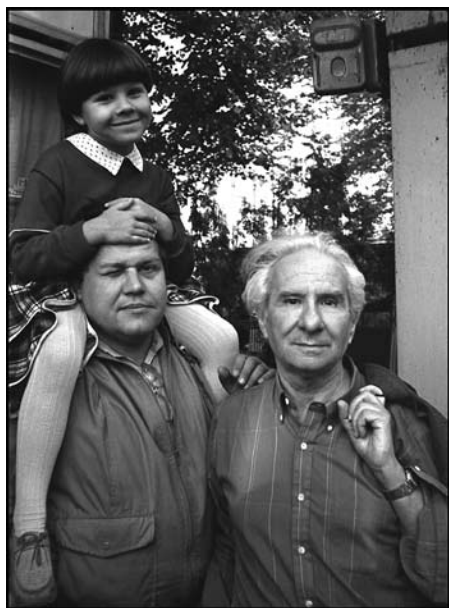
15.08.89. Гуртом пошли на американский балет, прихватив П-ву с её французом Филиппом. Посмотрев на весьма колоритную пару, Русаков осторожно спросил, не боится ли Галя появляться на публике с этим голубым балетмейстером. Я сказал Гене, что вообще-то они намерены пожениться, и понял его опасение: если П-ва станет *бородой*, то во многие дома не будет вхожа (щепетильность и ханжество французов Русакову хорошо известны).

16.08.89. Отвёз Стефановичу в больницу диктофон – писать он уже не может, а желание сделать книгу – последнюю – поддерживает Юру в его безнадёжной ситуации. Взял несколько номеров «Огонька»: журнал с моей платоновской публикацией посмотрел внимательно (вспомнили, как эта работа – благодаря и Юре, на полгода освободившему меня от редакционной текучки, начиналась восемь лет назад), остальные мельком пролистал и засунул под край матраса: – Меня ваша будущая жизнь уже не интересует...

17.08.89. По ТВ – сюжет про Солженицына: очень хорошо выглядит – ничего старческого, дряблого. Прекрасные семья, жена, дети. Первый шаг к возвращению в Россию сделан: вчера принесли «Новый мир» с «Архипелагом ГУЛАГом».

30.08.89. Из-за редакционной тесноты, приходящие авторы у нас буквально сидят друг на друге: сегодня за одним столом одновременно вычитывали вёрстку своих материалов Лариса Богораз (про события в Чехословакии 68-го года) и Вадим Кожинов (реплику на статью Адамовича), при этом матёрая диссидентка всю смолила вонючие папиросы, и некурящий критик нынешнего режима смотрел на старуху с нескрываемой ненавистью. Тем временем в углу кабинета Олега Евтушенко невозмутимо лопатил гору отработанных рукописей, выбирая оттуда страницы со своими врезками к поэтическим публикациям, бормоча, что ему за каждый автограф Британская библиотека по три фунта платит...

01.09.89. Наконец-то открыли мемориальную доску на доме Андрея Платонова. У флигеля на Тверском бульваре собралось с полтысячи человек, славословили Евг. Сидоров, Ал. Михайлов, Евтушенко. Федоту Сучкову вовсе слова не дали – закруглились на выступлении студента-литинститутовца (в полчаса уложились). Потом фотографировались на фоне доски – отдельно литгенералы, отдельно Нагибин, Субботин и Боков. Когда дочь Платонова, наговорившая про меня гадости во вчерашней «ЛГ», ненароком оказалась рядом – сказал ей про ЦГАЛИ и что вторую копию машинописи записных книжек послал в комиссию по литнаследию отца (Маша окатила меня ненавидящим взглядом). Подошёл Субботин – с добрыми и грустными словами о Стефановиче (Юра его любимый ученик). Утешил: «Из-за «ЛГ» не расстраивайтесь, Машин характер всем известен». Да я и не в обиде: последняя платоновская публикация в «Огоньке» укомплектовала книжку, которая уже стоит в плане выпуска, и с её выходом я для себя закрою эту тему навсегда.



09.09.89. Первый Булгаковский праздник на Патриарших. С нашей газетой «Мастер» (за неделю с Сашей Кабаковым сделали), которую следовало разрезать и сложить заново, как замыслил художник, но ошибся в расчётах – правильно собрать искромсанную «раскладушку» не удалось никому. Сценарий праздничного действия если и предполагался, то о нём сразу же забыли: сумятица царила полная. А по-моему, всё получилось: настроение у всех нас было с чертовщинкой.

*С дочерью Вероникой
и Володиным
у перехода, где Аннушка
масло пролила*

12.09.89. Утром поехали с Володиным на ВДНХ, на открытие книжной ярмарки. У стенда «Огонька» уже давали интервью Вероника Долина с Диной Рубиной – увидели Александра Моисеевича, зацеловали, растрогали до слёз. Пошли к Элендее Проффер – прилавок «Ардиса» на выставке один из самых лакомых: роскошное, на верже и в коже, собрание сочинений Булгакова (три тома успел подготовить к печати покойный Карл), фотобиография Цветаевой, Окуджавы... К вечеру вернулся в редакцию, где Олег и Володя принимали Юру Милославского. Поехали ужинать в ЦДЛ, и Юра вдруг заметил за нами хвост. Решили, что помнилось (у всех эмигрантов пунктик насчет гэбэшной слежки), однако когда попросили шофера развернуться – белая «волга» повторила наш маневр и возле Дома литераторов тормознула напротив, на другой стороне улицы Герцена. Ресторан был полон, нам поставили какой-то посудный ящик, а через пять минут еще один втиснули – через проход, где и расселись топтуны. Едва мы начали жевать – засверкала фотовспышка...
– Ничего у вас, ребята, не изменилось, – кисло усмехнулся Милославский.

18.09.89. Весь день – разговоры с Элендеей Проффер. Ей и Карлу стоило бы поставить в России памятник – издательству «Ардис», которое они создали в Штатах на свой страх и риск, наша литература обязана за полного Набокова, Платонова и Булгакова, сохранение неподцензурной прозы и поэзии 70-х, за Бродского, который благодаря их поддержке смог вырваться за рубеж. Энергии в Элендее – воз и маленькая тележка. Когда умер Карл, оставив ей кучу детей, издательство и ворох своей недоделанной работы, у юной ирландки ни только руки не опустились, но будто новый выброс энергии случился: всё смогла вытянуть. Теперь «Ардис» умирает естественной смертью – издательство немислимо без русской программы, а нужды в ней больше нет. Элендея готова передать «Огоньку» все плёнки-матрицы из своих архивов – печатайте. Конечно, Коротич понимает, что такие подарки слишком роскошны, но Элендея о деньгах не говорит – исключительно о литературном отдарке: ей необходимы словари языка Гоголя, Достоевского, Бунина, а что стоит такая работа – даже вообразить трудно.



Элендея Проффер

26.09.89. Сошлись в коридоре «Огонька» Анатолий Гладилин и Анатолий Злобин. Разговор тёзок – Гладилин:

– Вы здесь, ребята, давайте работайте, пишите, боритесь...

Злобин:

– А ты в своих парижках покушай за нас!

29.09.89. «Чёрный человек, или Я бедный Сосо Джугашвили» в клубе МГУ. Коркия дописал в пьесу новые куски: очень смешное обращение отца народов к народным депутатам. У Жени Славутина хороший вкус и отличная труппа – спектакль идёт с аншлагом, билеты распроданы на месяц вперёд.

Володин пошёл на спектакль, не горя большим желанием (к нынешнему театру относится скептически), но тут его захлестнуло: несколько раз кричал из ложи «браво!», а потом наговорил ребятам кучу комплиментов.

Расставаться не хотелось – гурьбой проводили Александра Моисеевича до Малой Грузинской.

30.09.89. День с Мих. Роциным. Хворости навалились на него давно и разом – с операции на сердце, не пошло на пользу и расставание с Ек. Васильевой, которая «подарила» мужу свою товарку (на ней Михал Михалыч от одиночества и женился: теперь пятилетний пацан оголтело носится по коридору). В последние годы он живёт камерно. Выглядит плохо: ходит только с палкой, через каждые полчаса ложится, постоянно растирает немеющие руки. В такой ситуации лучшая терапия – общение с друзьями, а приход Володина и вовсе праздник (мы даже бутылочку токайского принесли – вообще-то нельзя, но иногда можно). Чтобы не слишком путаться под ногами старших, я на два часа отвлек мальчишку, мы замечательно поиграли. В четыре к Роцину пришел брат, и кстати – на вечер у нас была намечена встреча с о.Александром Менем в школе на Пресне.

Володин познакомился с о.Александром на съёмках фильма «Мать Иисуса» (Мень был консультантом картины), но в киношной суете пообщаться толком им не удалось. Сегодня тоже не вышло – информация оказалась кривой: батюшка встречался со школьниками позавчера. Володин расстроился: лучше бы с Мишей лишний час побыли. Пошли в его пустое однокомнатное убежище, до полуночи проговорили о житье-бытье. При том, что видимся мы довольно часто, все разговоры обычно сводятся к чему угодно, только не к личной жизни, и нынче у Александра Моисеевича пробилась потребность выговориться.



Роцин и Володин

04.10.89. В этом году почти каждый месяц отмечен возвращением тех, кого здесь увидеть уже и не чаяли: в марте приехали Вл.Войнович и Михаил Шемякин, в апреле – Лев Копелев, в июне – Эрнст Неизвестный... Вчера у нас был Юрий Мамлеев, сегодня пришел Саша Соколов. Худой, в каком-то затрапезном стёганом ватнике (ей-ей бушлат эковский). Уводя Соколова к Коротичу (обсуждать выпуск в нашей библиотеке «Школы для дураков» и «Между собакой и волком»), Вигилянский сказал: «Может, снимешь свою телогрейку?» Саша обиделся: – Я эту «телогрейку» за две штуки баксов в бутике на пятой авеню купил! – Где-где? – переспросили мы хором. – Бутик – это такой элитный магазин, в котором вы сможете когда-нибудь одеваться, если издательский бизнес вас озолотит! – серьёзно объяснил Саша.

18–23.10.89 / Воронеж

Оставив Вигилянского в лавке, вчетвером (с Олегом Хлебниковым, Денисом Новиковым и Андреем Черновым) поехали в Воронеж – за «Огонёк» агитировать. В газете «Молодой коммунар» вышла заметочка о нашем визите – с анонсом: «билеты продаются», но все концерты нам успешно сорвали – везде, где мы должны выступать, неожиданно начался ремонт: подъезжаем – дверь на замке, стоит ведро с масляной краской, из него кисточка торчит. Да воронежцы без зрелищ не скучают – в городском цирке шоу лилипутов, самое оно. И летающие тарелки, опять же, именно над Че-Че-О барражируют.

На нашем этаже в гостинице «Брно» тоже ремонт – в коридоре баррикада из мебели, через которую в крошечной тьме протискиваемся к своему жилью. Хорошо, по пути одна дверь всегда открыта и там рассажены смурные мужики в плащах и шляпах. Один из них поскрёбся к нам в первое утро – предьявил восьмигранную фотографию отрезанной головы и спросил, не встречались ли мы с этим человеком. Вряд ли, говорю: этой карточке лет двадцать, пожелтела вся, а уголки отрезаны, потому что в какое-то досье была вклеена. Больше они к нам не приставали, но с поста не ушли. Да и нам под охраной спалось спокойнее. Впрочем, спать получалось мало: селясь в гостинице, взяли два одноместных номера и большой полулюкс, где фактически и расположились вчетвером – каждый день встречаясь на службе, дружеским общением мы там обделены, потому здесь компенсировали недобранное: до утра читали стихи, пели песни...

Город я знаю достаточно хорошо: поводит ребят по бунинским и платоновским «мемориальным» адресам, до «улицы Мандельштама», которая и впрямь *яма* под железнодорожным откосом. Свои концерты мы в итоге отработали – главреж молодёжного театра отменил спектакли, отдал нам на два вечера свой роскошный зал в центре города, и зрителей собралось под завязку.



Андрей, Денис, Олег

25.10.89. Беседа с Мамлеевым (ЮВ остановился в пустой квартире Нагибина на «Аэропорте»). Говорили весь вечер, и чем дальше – тем ощутимее, что зашли в тупик. Не то чтобы я не воспринимал такую прозу, просто Юрий Витальевич – «певец вампиров и патологических ситуаций» – оказался человеком малоталантливым и абсолютно пустым. Мировосприятие Мамлеева – патриархально-народническое: не окажись он волею судьбы в эмиграции, где понахватал буржуазной якобы культуры, так преспокойно обрёл бы у нас свою скромную нишу и писал что-нибудь назидательное, вроде «деревенских детективов». Понятно, мнение интервьюёра – десятое: я должен связно изложить сказанное персонажем, а уж читатель сам разберётся, что к чему. Но в этом случае мне от задания придётся отказаться – не смогу сделать ничего путного. От силы – полторы странички, в качестве преамбулы к новой рубрике «Поверх барьеров», которую у нас будет вести Виктор Ерофеев.

07.11.89. Раздавая в этом году Государственные премии, Комитет вознамерился исправить прежние «генеральские» перекосы и качнул маятник в другую сторону: в списке лауреатов Белла Ахмадулина, Фазиль Искандер, Давид Самойлов и – посмертно – Арсений Тарковский. В конце концов, это не им – нам нужно.

18.11.89. Яцек Попшечко – из руководства польского еженедельника «Polityka» (литературно-политический, вроде нашей «ЛГ», и по листажу такой же). Приехал делать репортаж про один рабочий день «Огонька» и неделю сидит у нас в отделе. Умеет быть абсолютно незаметным (замечательное для журналиста качество). Отлично говорит по-русски, ничего не записывает и обычно молчит. Иногда вдруг что-нибудь спрашивает: «Одной фразой – какой ты человек?»
Говорю: «Жены друзей как женщины для меня не существуют».
Серьёзно кивает: «Для меня тоже».



Яцек Попшечко

Сегодня вечером повёл Яцек тусоваться с неформальной молодежью – Щекоч договорился по своим каналам, чтобы собрали десяток нестандартных ребят. Набор оказался весёлый: бомж, сторожиха, хиппи, проститутка, элитная пара номенклатурных «детей», супружеская чета экс-лагерников, валютный фарцовщик плюс «девушка, у которой всё в порядке», – всем от 16 до 18 лет.

Яцек был в восторге от разговора. А Юра с нами пойти не мог – улетел на встречу с избирателями (1-го ноября Щекочихин прошёл в Верховный Совет – нагадай ему кто-нибудь такое лет десять назад, вот шуток было бы).



Алексей Козлов, Василий Аксёнов и Виталий Коротич в редакции «Огонька»

24.11.89. Неделю назад прилетел Василий Аксёнов: 17-го его с помпой принимали в «Спасо-Хаусе», а позавчера добрался до «Огонька» – с женой и саксофонистом Козловым: отдали дань вежливости Коротичу, после чего замечательно посидели у нас в отделе. Нынче встреча с Аксёновым продолжилась в «Табакерке», где по такому случаю играли «Затоваренную бочкотару» (с гениальной Дусей Германовой): в крошечном зальчике едва разместились звёздные столичные персоны – от Вознесенского, Окуджавы и Фазиля Искандера до американского посла Мэтлока. Кончились проводы ВП домой грандиозным застольем, которым на правах хозяина виртуозно дирижировал Олег Табаков.

Я встретил Виталика Москаленко (сто лет не виделось), третьим в свою мини-компанию взяли славного парня Дэвида Ремника и душевно выпили/поговорили в тихом уголке.

30.11.89. Главное, что произошло за прошедший месяц, – окончательно рухнула в прах так называемая «система социализма»: встали с колен Венгрия, Польша, Чехословакия, ГДР, Болгария... Поразила скорость перемен в Чехии – 20-го взорвалась студенческая Прага, и сразу сдетонировала вся страна. И немцы двух Германий дружно разбирают ненавистную берлинскую стену. Только Куба, КНДР и Румыния упорствуют, что и понятно: Фидель, Ким Ир Сен и Чаушеску – ребята жесткие и без крови свою власть не отдадут. Наша партийная верхушка в полном ауте: всё, что годами держалось на ржавых болтах, распалось мигом. И все понимают, что на очереди – «братские» союзные республики... Наша История в эти дни лишилась одного из самых мудрых историографов – умер Натан Эйдельман (завтра прощание).

09.12.89. Вчера утром проснулся в холодном поту – нехороший сон разбудил: пришёл в какое-то пустое казённое заведение, брожу по бесконечным гулким коридорам, ищу ребят – и не нахожу...
На работу потащился с тяжёлым предчувствием, но редакционная суета отвлекла от дурных мыслей, а к трём опять неприятно потянуло под ложечкой. Хотел уйти домой – Олег сказал: «Забыл? Нам сейчас в Дубну ехать» (и впрямь забыл). Дорога была обледенелой, но шофер оказался классный – доехали скоро, даже перекусить успели, пока зал смотрел «огоньковский» ролик про сапёрные лопатки в Тбилиси. Выступили тоже резво – к десяти уже освободились. Под Дмитровым вышли на перекур, на морозце глотнули из взятой в Москве бутылки коньяка, после чего Чернов залез на переднее сиденье, я оказался между Вигилянским и Хлебниковым, и все тотчас задремали – сморило. Вдруг на колдобине разом проснулись, я зачем-то надел ушанку, и тут по глазам резанул свет встречных фар – шофер тормознул, машину крутануло, и мы юзом, вспарывая снег, полетели под откос. Спасли нас упругая снежная подушка в неглубоком кювете и то, что шофер каким-то чудом успел сбросить скорость. Когда еле-еле выкарабкались на шоссе – увидели вдребадан пьяного водителя грузовика, который, поминая мать и Бога, радостно вопил: «Живы, бля?.. Токо морду не бейте! – щас вытащу...» В час ночи доехали до ВДНХ, зашли домой к Олегу и до четырёх утра в трансе опустошали пивной бар (хорошо, что Анька в Австрии), стараясь не говорить о некрологе, который завтра мог красоваться в вестибюле у лифта. Тут Чернов признался, что ждал аварии по дороге туда. А я ничего не ждал – свой выбор сделал, когда решал, ехать или не ехать. ...Значит, живём ещё какое-то время.

28.12.89. В восемь утра – с Захаровым у Коротича: Митя вяло бубнил, вещая, как рубили их новогодний «Взгляд», а Виталий Алексеевич советовал: «Вопите, визжите, пока вас к обрыву только тащат, а когда в омут кинут – кричать поздно будет!» Дал Захаров полосу во втором номере – под рубрику «Прошу слова» (последний в этом году «Взгляд» завтра в эфир не выйдет).

1990

19.01.90. Собрались с Митей Захаровым, адвокатом Андреем Макаровым и теледееателем Лысенко лететь в Барнаул (на выездной «Взгляд»), но опоздали в Домодедово на регистрацию и никуда не полетели. Суеверный Митя нашёл причину: обычно в его отлёты жена ставит на подоконник зажжённую свечку, а тут забыла. Конечно, Ленка во всём виновата.

23.01.90. Пришла Петрушевская – в слезах: «Что происходит с Колей Булгаковым? Совсем чужой, общего языка найти уже не удаётся. Русопяцтво его на грани патологии – он даже осквернить язык словом «еврей» не может – говорит: *эти...* Знаете, что он бросил литературу и собирается уйти в церковь?» Уже все знают.

25.01.90. Володя Вигилянский говорит: Олесья, которая к его работе в «Огоньке» относится без особого пиетета, после выхода номера с лагерными рисунками Евфросинии Керсновской вдруг прониклась: «Делая такой журнал, можно быть спокойным и перед людьми, и перед Богом – *это зачтётся*».

Вечером всем отделом и с Коротичем выступаем в ДК МИИТа. Зал набит битком, наэлектризован предельно: 80 из 100 записок – про разгул Осташвили и его «Памяти» в Доме литераторов неделю назад.

Собирать записки я мог только пятясь задом – днём в буфете Иодковский вылил мне на спину чашку кофе, времени переодеться не было. Наконец из зала пришла записка: «Просьба, повернитесь хоть раз – у вас на спине что-то написано?»

29.01.90. В редакцию принесли фотографии побоища в Баку, о котором у нас не то что писать – говорить запрещено: типичная акция устрашения. Снимки жуткие: убитый старик, в упор застреленный ребёнок, раздавленная гусеницами танка девушка... Кроме того, что это преступление государственного масштаба, и оправдания ему не может быть никакого, неизбежно возникает вопрос: неужто обошлись без санкции Горби? А если он, как царь Николай Кровавый, *не в курсе*, то грош цена и его правлению, и всему, что под его началом затевается.

04.02.90. Звоню Наталии Ильиной: «Если «Белогорскую крепость» еще не всю раздали, заскочу за книжечкой?»

Она свирепо хохочет: «О, как бы вам досталось от Реформатского! – «заскочу», «подскочу»... И это русский литератор!.. Ладно, скачите во весь скок, скакун...» И через полтора десятка лет после смерти Реформатского для жены и соратницы он по-прежнему живой камертон.

12.02.90. Ростропович с Вишневской привезли в «Огонёк» столетнего дедушку Арманда Хаммера. Абсолютно мифологический персонаж! Рассказывают, однажды он чуть свет надумал посетить мавзолей, а когда караул заартачился – показал записку: «Пропускать ко мне в любое время. Ленин». Но возможности спросить, правда это или нет, у нас не было – никаких интервью!

Ростропович выглядит отлично: подтянутый, румяный, душистый. Стыдит: – Вы что без нас с Москвою сделали? – город жалкий, грязный, дурно пахнущий...



15.02.90. При том, что у Миши Успенского всегда был *зелёный свет*, тем не менее первые книжки (в Красноярске и в Москве) выходят только сейчас – через семь лет после дебюта. Вчера подписал в печать сборничек «Из записок Семёна Корябеда» в «Библиотечке «Огонька» (почти все рассказы в нём – восьмилетней давности). Звоню Мише Глебовичу:

– Помнишь, как обещал, что выпущу твою первую столичную книжку?

– Ну.

– Жди, скоро тираж будет.

– Ага, давай.

Михаил Успенский

16.03.90. Из Союза писателей заехал Нагибин – в ярости: чинуши СП над ним откровенно издеваются – открытым текстом известили, что если он рассчитывал получить к юбилею орден или грамоту, то хлопотать об этом надлежало заранее. Причина нелюбви к нему банальна: всю жизнь слишком независимо себя вёл, а плебеи небрежения не прощают.

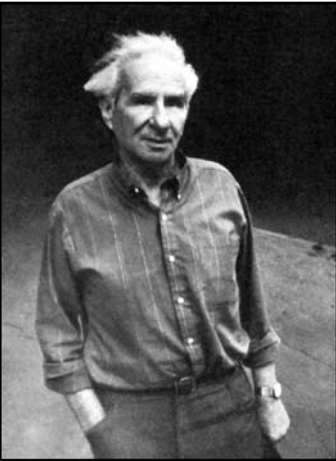
– Плевал я на союз таких писателей! Они все меня ненавидят, – говорил, и голос его дрожал. – За то, что ни разу не был на их сучьих собраниях, не подписывал их групповых погромных писем, никогда гроша ломаного не просил. И свой юбилей я здесь отмечать не буду. Поеду на Сицилию, в Агриженто. В Италии меня знают, там пять моих книжек вышло. В Джирдженто поеду, там и напьюсь в свой день рождения, на могиле Пиранделло... А назад проеду через Венецию – заберу своего «Золотого льва», которым меня горожане наградили. За всё, что я за полвека в литературе и кино сделал. Пусть моим соплеменникам стыдно будет!..



14.04.90. Утром не стало Юры Стефановича: упорно боролся с болезнью, все средства испробовали – тщетно...
К сорока пяти годам Юре удалось издать только две небольшие книжечки рассказов. Третью (по оставшимся рукописям и магнитофонным записям) доделают друзья, и однажды она будет издана, но уже ничего, увы, не изменит – когда Бакланов на восьмом съезде российского СП задал залу вопрос, не потеряли ли мы в лице Стефановича писателя, он жестоко напророчил: потеряли.

Юрий Стефанович

20.04.90. Сломив упорное сопротивление правых (280 голосов – за, против – 162), избрали московского мэра – Гавриила Харитоновича Попова. Впервые пришел интеллигентный человек с умными глазами (таких съедают в первую очередь).



25.04.90. Две недели Володин звонит каждый вечер, и первая фраза всегда одна:
– Ты не представляешь! – меня опять узнали на улице!.. (Представляю: портрет на обложке книжечки, изданной 150-тысячным тиражом, делает своё дело.)
– Даже в рюмочной, ты знаешь, где я пью, меня узнала наливальщица. И не думала, говорит, что вы писатель, ну инженер или учитель... Как же она это здорово сказала!..
Спрашиваю: обиженные есть?
– Один, не по делу... Не хочу о нём говорить...
И до сих пор горд своим поступком: перед самым днём рождения вернул горькому партийный билет.

Александр Володин

03.06.90. За месяц в Гульрипше дочь влюбилась в Абхазию и уезжала со слезами. Прощалась:

– До свидания, ласточки!... До свидания, дядя Норик!.. До свидания, свиношки!.. До свидания, море!..

И выгребла из моих карманов всю медную мелочь, чтобы кинуть в зелёные волны.

09.06.90. Вчера утром позвонила Маша Русакова, попросила передать Юмашеву, что её несколько дней на работе не будет: мама умерла.

Как-только освободился в конторе, поехал к Русаковым. Гена будто окаменел – его сложистые убивало: голос совсем бесцветный, а руки живут сами по себе – бесцельно перебирают мелкие вещи, вертят трубку, глядят поверхность стола... Всю ночь вдвоём просидели на кухне. Гена не может себе простить, что болезнь Люды не сразу заметил – думал: стихи нахлынули, в таком состоянии он тоже сам

не свой, а когда спохватился – лечить было поздно... В углу нераспечатанными лежат пачки новой книги Людэ Копыловой, где сквозной темой – птица, полёт... Под утро заглянул в комнату к Маше – сидела на полу и что-то читала. Успокоила: – Я-то ничего, главное – папа.

02.07.90. Зашли с Булычёвым к Коротичу, и Виталий Алексеевич выдал монолог: – Игорь, будьте моим союзником! Хотя вы объясните этим орлам (кивок в мою сторону), что фантастику и детективы читатель любит, ждёт, ищет. А вот они (опять мне в нос пальцем), если писатель *не сидел*, дорогу в «Огонёк» ему сразу перекрывают!..

Игорь:

– Да я всё время *сижу*.

– Вот и давайте нам такие рассказы, с прорывом в будущее, такие, чтобы...

Потом спустились с Булычёвым в отдел, и я отдал ему пачку рассказов, которые Коротич забраковал полностью: «Никакой фантастики в «Огоньке» не будет!»

10.07.90. Чернов уломал-таки Собчака: будет писать за него книжку. В день, когда ударили по рукам, собачий помощник тов. П. привез к шефу для этой же цели... Юру Полякова: тот спешил в свою мичуринскую норку с ведром гвоздей, было ему недосуг, и облом с денежным заказом привёл последнего классика соцреализма в тихую ярость. Вдобавок у Собчака в Москве не оказалось машины, и ЮП был вынужден возить всю компанию по их делам на своей тачке. Зная злопамятность Юрия Михалыча, очевидно, что Андрей Юрьич получил врага до конца жизни.

19.08.90. Гибель Виктора Цоя потрясает ещё и тем, что он был голосом нового поколения, у которого, казалось бы, всё впереди.

12–17.09.90. Прибыв в Питер и бросив вещи в гостинице, на два уехали на Выру, откуда домой не позвонишь. В моё отсутствие мама по ленинградскому телеканалу услышала в криминальной хронике, что неподалёку от Марсова поля найден неопознанный *труп хорошо одетого мужчины без головы*. Ясно, встревожилась, позвонила жене. которая её успокоила: «Если вы думаете, что ваш сын хорошо одет, то сильно заблуждаетесь».

О, теперь благоверная познает гнев свекрови в полной мере!

18.09.90. Ирония судьбы: в день похорон Анатолия Софронова, который управлял «Огоньком» 33 года, нам вручили новый паспорт независимого журнала.

01.10.90. Позвонила Ф-ка, сказала, что скоро будет, а через полчаса пробилась её подруга – Макс выведал мой адрес и бросился следом, прихватив финский нож и два фальшфейера. Клинок, конечно, вещь неприятная, но другой предмет ещё хуже – эбонитовая трубка с чекой, вроде гранаты, и когда этот факел начинает гореть, потушить огонь невозможно ничем. (Помнится, когда Чернов в своё время не нашёл дуэльных пистолетов, он раздобыл ракетницу – тоже предмет убойный, но дело кое-как уладилось без пальбы.)

Ф-ка приехала первой – втолкнул её в соседнюю квартиру, наказав не открывать дверь никому, пока меня в глазок не увидят, и через пять минут по домофону объявился Макс. Я согласился поговорить, но только если он свой арсенал под вешалкой оставит. Положил, и ещё больше был озадачен, поскольку застал меня в одиночестве. Говорил он долго, и во всём сказанном имела доля правды, а я мог ответить одно: с девушкой не расстанусь, а жениться нам или нет – это мы как-нибудь сами решим. В том же, что однажды я за всё расплачусь сполна, не сомневаюсь... За сим и простились (фальшфейер мне оставлен *на память*).

12.11.90. В редакцию приехали Синявские, а нам как раз привезли бесплатную картошку, всех мужиков мобилизовали таскать мешки. Глядя, с какой радостью огоньковцы получают дармовую еду, Андрей Донатыч констатирует:
– Эта страна и продуктовый паёк неразделимы.



*Денис Новиков,
Марья Васильевна Розанова,
Владимир Вигилянский,
Андрей Донатович Синявский,
Олег Хлебников*

15.11.90. Наконец-то встретился с родоначальником детской «чернушной» поэзии Олегом Григорьевым: заочно мы знакомы давно, а живьём пообщались впервые. Он утром приехал из Питера, к нам добрался около четырёх, когда контора совсем опустела. Я из вежливости спросил, где он остановился, – Олег ответил, что с жильём у него проблем нет (хорошо, потому что если бы поехали ко мне, то наверняка напилась бы, а в пьяном виде Григорьев невыносим). О стихах не говорили, зато душевно вспомнили ту пору, когда считались художниками и думали кормиться этим ремеслом всю жизнь.

01.12.90. Четыре месяца как официально отменена цензура, а отвыкнуть от её векового надзора не получается – то и дело ловлю себя на мысли: а это можно?..

04.12.90. Одна из настольных книг юности – солоухинские «Письма из Русского музея»: двадцать лет периодически перечитывал – откровение, да. А сейчас неделю работал с Солоухиным над его статьёй «Прощание с Богом» (добрался таки он до Ильича), ничего в душе не осталось ни от текста, ни от живого общения. Свою раздвоенность Солоухин всегда ощущал очень остро («Между мной и моей дочерью пропасть – я сын крестьянина, а она дочка писателя»), но теперь это приобрело черты гипертрофированные: классовая ненависть к «мальчишкам из тёплых сортиров» у него патологическая.

15.12.90. За две недели после моей публикации частушек в 48-м номере, «Огонёк» завалили письмами: половина читателей просто матерится, другая половина ударилась в словотворчество. Всех как прорвало:

*На словах-то перестройка,
а кругом – инерция.
Обменять бы Горбачёва
на Бориса Ельцина.*

Коротича с чем только ни рифмуют, и публикатору тоже досталось:

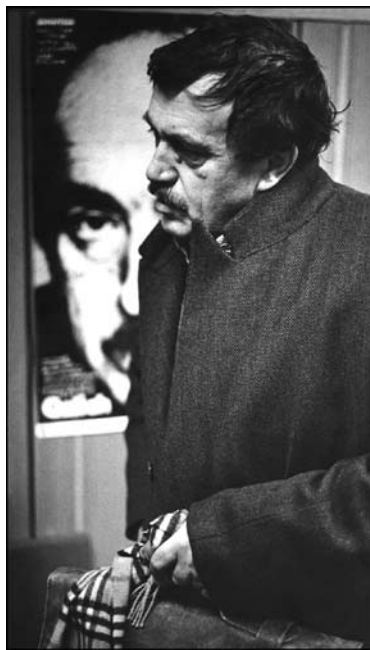
*Землю людям раздавать
партией повелено.
А чем землю ту пахать?
Может, х... Елина?*

Я в списке лауреатов «Огонька», но эта публикация в перечне не упоминается.

21.12.90. В общей сложности нас, решивших покинуть «Огонёк», набралось 12 человек. Валя Юмашев подошёл ко мне, спросил, не хочу ли подписать его *альтернативное* письмо «Дайте нам спокойно работать!» – Нет, конечно. – Мы в общем-то и не сомневались, я просто уточняю – для полной ясности картины.

24.12.90. Шумная презентация «огоньковских» книг «Остров Крым» и «Ожог» (с АРДИСовских матриц, дарованных Элендеей) в Доме кино. Полный сбор: Ахмадулина, Рыбаков, Элем Климов, Лиснянская с Липкиным, Табаков... У нас радости нет: эти книги – последнее, что мы успели сделать в журнале. Играть в аппаратные игры мы не обучены, а Юмашев с Гущиным в этом деле доки, и с нашим уходом «Огонёк» целиком в их руках. Заявления об уходе писать не нужно, просто положим на стол Коротича неподписанные контракты на следующий год. И можно засекают время, когда Виталий Алексеевич уйдёт вслед за нами.

29.12.90. Вчера ушли из редакции *совсем* и до пяти утра просидели у Вигилянских. Дважды Володе звонил Коротич: осуждал, мурыжил уговорами вернуться, уверял в готовности найти компромисс, (о чём никто из нас не просил). В полуночных новостях на ТСН Татьяна Миткова сообщила о скандале в «Огоньке», и тут гора с плеч свалилась: спектакль кончился, у нас начинается новая жизнь, и как всё сложится дальше – ?!



Василий Аксёнов в «Огоньке»

1991

09.01.91. Зашел в «Огонёк» за оставшимися вещами и был отловлен Коротичем, который завёл ту же песню: «Может, всё-таки вернётесь? – набрали бы новых ребят...» и т.п. (в его интересах, чтобы хоть один из нас проявил слабость). Вечером и ночью по радио «Свобода» Дейч дважды комментировал ситуацию в «Огоньке», а Виталий Алексеевич щедро развешивал политические ярлыки, особо подчёркивая, что все ушедшие – беспартийные («Сатурн гласности пожирает своих детей»), и заключил: «Мы *вписались* в тот сумасшедший дом, который *происходит* сегодня в советской печати» (?)

14.01.91. Киношники – народ корпоративный: когда на середине съёмок фильма «Униженные и оскорблённые» посмотрели отснятый материал, и стало ясно, что картина разваливается, худрук Никита Михалков тут же спас положение: записал в сценаристы Володина, взял на себя главную мужскую роль, жену режиссёра переместил с ведущей роли в эпизод, а на её место пригласил мировую звезду Настасью Кински. И постановку вытянул: большой кассы фильм не сделает, но и провала не будет.

Настасья – абсолютной русская девочка. Володин рассказывал: когда первый раз встретились – с порога кинулась ему на шею, целовала щетинистую щеку, шепча на ухо: padre!.. pat!.. (Александр Моисеевич чуть не разрыдался).

Едва начался показ, утащил звезду из кинозала – нашли в Доме кино дальний тёмный угол, сели на пол. Переводчица опять напомнила, чтобы никаких вопросов о папе Клаусе, Поланском и проч. (об этом Настасья вообще никогда не говорит), да у меня и тема другая: дом, дети, муж. Кински так раскованна, что на её простоту легко купиться: давай, говорю, сбежим отсюда, побродим по сугробам. Лена аж воздухом подавилась: – Идиот, у неё же после премьеры банкет, муж-египтянин из тебя мумию сделает!..

Уходя из ДК, налетел на Щекочихина. Тот был уже хорош – закричал, чуть не плача, на весь гардероб: – Ребята, охститесь! Вы что, «Огонёк», флагман перестройки, потопить хотите? Не волнуйся, говорю, под руководством друзей, которые уверены, что «знают, как надо», он скоро сам на дно пойдёт.

Настасья Кински



22–27.01.91 / Ижевск. Конец января провели в Ижевске, родном городе Олега. Как бы творческая гастроль – с рефреном: почему же мы ушли из «Огонька»? Комедийный момент усугублялся синхронном вояжа экс-американца Локшина, который чесал столицу Удмуртии под соусом «почему я хочу жить в СССР?» Калашникова мы не посетили, Кулакову не видели. Но жили здесь хорошо. Тем более, что успели сбросить все полусотенные купюры, прежде чем ижевляне прознали про грабительский Павловский указ. Перемены уже докатились сюда: памятник Ленина заляпан масляной краской, вдоль дебаркадера тянется оборванный в конце алый транспарант:

«Товарищ, перестройке нужен твой...» (?) Парторг ИжМаша умолял перед выступлением: «Бога ради, не трогайте КПСС!..»

Возвращались втроём (Олег остался дома), и в купе с нами оказалась очень говорливая дама (номенклатурная, поскольку билеты бронировали через обком). В Ижевске Дениса продуло, у него ныли зубы – всю дорогу мрачно молчал над книжкой, жевал анальгин и часто выходил курить. Обычно я тащился следом, поскольку соседке хотелось общаться, и наконец она полюбопытствовала, почему такой



Денис Новиков

славный юноша все время молчит и зачем я его фотографирую. Шепнул ей доверительно, что г-н Дэннис англичанин, по-нашенски только читает, а я его, резидента британских спецслужб, *сопровожаю*. Дама понимающе кивнула и больше с вопросами не лезла, а когда, на подъезде к Москве, Денис вдруг заговорил на русском и без акцента – в её глазах отразился нешуточный страх.



16.03.91. Маленький междусобойчик по случаю дня рождения Вероники. Оставив девушек за столом, ушли с Митей Захаровым на кухню, принялись разбирать и чистить ржавый «Смит-Вессон». За этим занятием нас и застал припозднившийся Гена Русаков – сказал: – Наконец-то понял, что у вас общего. – Я здесь в общем-то проездом, – педантично возразил Митя. – Общего у нас только одно: наши жёны дружат.

04.07.91. Способность Дмитрия Сергеевича работать в любых условиях поразительна: едва в его руках оказывается текст – точно отключается от реальности. За десять минут написал напутственное слово нашему недоношенному «Космополису».

Д.С. Лихачёв

21.07.91. Поскольку «Космополиса» пока не видно, а без дела я сидеть не умею, в компании с Кабаковым, Иртеньевым и Лёней Прудовским втравился делать журнал «Литературные записки». Выпустили один номер и встали – не то чтобы продукт получился плохой, но браться за следующий номер отчего-то не хочется.

19–22.08.91. В полдень разбудил Лёня Прудовский: «Срочно нужно встретиться – берём кассу, делим бабки и разбегаемся, пока не поздно...» Напомнил Лёне, что вообще-то все наши деньги – Серёжи Юрьенена, отказавшегося от гонорара за свою книжку в пользу «Лит.Записок», и потом – с чего такая спешка?

«Ты что, в окно не выглядывал и новостей не слышал?» – трагическим шепотом спросил ЛП, и телефон сразу вырубился. Включил телевизор – кажут «Лебединое озеро», вышел на балкон – у светофора урчит настоящий бэтээр...

Посмотрев новости, где что-то несуразное мямлила кучка траченных молью типов, позвонил Эле на часовой завод – она: «Всё спокойно, работаем, как всегда, в цехах тишина и порядок».

Позвонил в «Огонёк» – трубку взяла Надя Ажгихина: «Щекочихин второй день в Белом доме, под окнами редакции три бронемшины стоят. А сейчас на броню вскарабкался Остер, говорит с танкистами... Нет, уже слезает, к нам бежит...»



Гриша, как обычно, фонтанировал идеями: «Срочно нужен депутат, любой, но лучше бы известный! Я сказал старшОму в жестянке, что если он не дурак, хочет завтра проснуться полковником – пусть снимается с якоря и катит к Белому дому. Он вроде бы готов, но только если ему такой приказ отдаст кто-нибудь из Думы...» Пока мы с Остером говорили, бэтээры исчезли – то ли впрямь



отправились к БД защищать демократию, то ли смылись от греха подальше... Оставалось ехать в «Московские новости».

В редакцию еле-еле прошли, поскольку ребята завалили письменными столами оба входа. В предбаннике Егора Яковлева было не протолкнуться, в дверях стояли Бакланов и Адамович – смотрели телевизор, где как раз светился Коротич: вещал, что в такой ситуации возвращаться в Россию не намерен – остаётся в Штатах и там будет бороться (?). На что Бакланов сказал: «Кажется, Виталий Алексеевич подписал себе смертный приговор».

Сидеть в «МН», где все ожидали штурма с разгоном или даже арестом, было глупо – мы с Черновым взяли по пачке ксероксных листовок и поймали машину до Красной Пресни.

У Белого дома охватил стыд – вопреки ожиданию застать огромное число людей, увидели только хлипкие цепочки «ополченцев» – тысячи три-четыре, не больше (это на всю-то миллионную Москву!), а легкомысленный вид баррикад из брёвен и помойных баков просто удручал. Много студенческой молодежи с живыми, просветлёнными лицами (ком к горлу подкатил: «как прекрасно мы умрём!»), но еще больше – крепких парней с армейской выправкой, которые как бы гуляли по площади, ни к кому не примыкая, и на чьей стороне они окажутся, начнись тут заваруха, – можно было лишь гадать...

Встретили Толика Головкова, холодно поздоровались (после ухода из «Огонька», между нами отныне ничего общего); он сказал, что здесь не по заданию редакции, а сам по себе. Отдали ему часть листовок, которые у нас мгновенно расхватали.

Прослонявшись на площади до сумерек, увидели девчонок на балконе углового дома, Чернов крикнул им, чтобы пустили журналистов, и мы получили отличный наблюдательный пункт. Хозяин квартиры (дипломат) был с женой в отъезде, дома остались только их малолетние дочери и две бабушки, которых наше появление вполне успокоило. У них мы и провели два тревожных дня, время от времени совершая вылазки на улицу, когда там начинало что-то происходить. Через реку, на последнем этаже в доме напротив, работали репортёры «Си-Эн-Эн» – едва на их балконе загорался свет, через минуту на экране телевизора появлялась их заставка на фоне картинки БД и сразу же шел очередной комментарий. Андрей алкал крови – лучше бы малой, но обязательной (чтобы режим замарался). И только когда она пролилась, вздохнул с облегчением. В два часа ночи мы пошли в злосчастный тоннель: увиденная картина была ужасающей...



А утром хлынул дождь, смывая все следы, и привычная жизнь потекла своим чередом.

Главное – в эти дни мы впервые увидели потрясающее единение людей, готовых умереть ради той эфемерной Свободы, которая нам уже давно и не снилась. Не только готовых, но погибших – троих парней, принесших себя «на алтарь Отечества» (перст небесного режиссёра выбрал русского, украинца, еврея). Многого мы ещё не знаем, а чего-то не узнаем никогда, но для тысяч людей эти три августовских дня наверняка станут самыми яркими дня в их небогатой на события жизни.

...22-го августа в народных гуляньях вокруг Белого дома отметились все!

Виктор Гофман

03.09.91. Вчера состоялся внеочередной – чрезвычайный – съезд народных депутатов – вполне фарсовый: делегатов сразу же отправили прочь из зала на четыре часа – чтобы **подумать**. Покурили в кулуарах, подумали и... занялись прежней говорильней: все пытаются делать вид, будто ничего не произошло, и Горби по-прежнему в силе и при власти.

Союз писателей тоже не сидел сложа руки – со второй попытки (31-го базар не удался – кворума не было) Бондарев и компания набили полный ЦДЛ своими сторонниками и наговорились от души, чуть было у Евтушенко писательский билет не отобрали. Всем понятно, что раскола не избежать, а для «усиления рядов» вчера же секретариат скопом принял в СП СССР полсотни как бы молодых

писателей, десяток лет стоявших в очереди (и меня до кучи, хоть я в этот балаган и заявления не подавал). То есть все стараются получить с подавления путча хоть какие-нибудь дивиденды, даже носы не затыкая, а пахнет всё это весьма дурно.

06.09.91. В «Московских новостях» с нами решили серьёзно поговорить: если Егор Яковлев пришлый экс-огоньковский коллектив под своей крышей как-то терпел, то с его уходом эта лафа кончилась, и Лен Карпинский подвёл итог: журнала нашего не видно, что мы в их редакции делаем – не совсем понятно, но у нас есть шанс отработать полученные авансы, если возьмёмся за новый коммерческий проект – переводную американскую газету. А пока предложили перебраться с Пушкинской площади в любую из трёх служебных квартир «МН». Посмотрев адреса, я убедил всех, что и выбирать не будем – переселяемся в дом, который в Лазаревском переулке, по соседству с моим. (Кроме того, что это всем удобно транспортно, сбывлась моя многолетняя мечта идиота: ходить на службу в домашних тапочках.)

Сразу поехали смотреть нашу новую «штаб-квартиру», которую радостно и обмыли, благо еще один замечательный повод сегодня был – **Ленинград снова стал Санкт-Петербургом.**

15.09.91. Подозреваю, что в Гульрипше нам больше не жить: грузины объявили о национализации госсобственности на своей территории, и Абхазию своей вотчиной они всегда считали, а это уже пахнет войной. Помнится, грузинская делегация покинула зал, когда их Сахаров «обидел», а ведь АД у нас провидец.

08.10.91. Получил письмо из Сиднея, от нашего «австралопитека» Рудика – меньше года хватило ему, чтобы взвыть: «Жить можно только в России!» Что в общем-то и следовало ожидать – уезжал он вовсе не из страны, где жил не то чтобы припеваючи, но вполне независимо и сытно, а от всяких бытовых обид, вроде той, как во время аттестации на учёном совете десять коллег хлопали его по плечу: «Старик, тебя решили бортануть, но мой-то белый шар за тебя!» – и все десять оказались чёрными (голосование, понятно, тайное, но оставшийся шар надлежало лично вернуть в деканат). Заокеанские вопли Рудика тонут в восторгах жены и детей, которым после Питера на австралийском солнце куда как теплее.

18.10.91. Наконец-то у нас с Игорем Иртеневым и Сашей Кабаковым дошли руки – собрались вместе, чтобы задать Лёне Прудовскому вопрос насчёт перспектив нашего общего детища – журнала «Литературные записки». В том, что после первого (апрельского) других номеров так и не вышло, – общая вина, скудно прикрываемая оговорками: у всех нас, кроме «Литзапа», есть другая работа, один Лёня свободен. Но вопрос, каким образом за полгода опустела редакционная касса, мог прояснить лишь Прудовский. Прояснил: все деньги ушли на зарплату ему, двоим его родственницам и бабушке-бухгалтеру. Ладно, эту тему проехали, но тут Кабаков попросил показать нам паспорт журнала, который с момента регистрации так никто и не видел. А когда Лёня извлёк документ, обнаружилось, что в графе учредителей только одна его фамилия и стоит (объяснил: на бумажке четверо никак не поместились). Стало так скучно, что сразу и разошлись, сочтя дальнейшие разговоры бессмысленными. Выходит, прав Митя Захаров, который не устаёт повторять, что **в бизнесе друзей нет.**

27.10.91. Гена Русаков возвратился из командировки (уезжал в сентябре, задавая вопрос, в какую-то страну вернётся) и приехал вдвоём с Машей. Читал новые стихи – *разговор с Людой* (в «Знамени» вышли большой подборкой: оч. сильные). Маша считает, что папа зря их опубликовал: *это должно остаться в столе.*

03.11.91. Полгода спустя наконец вышла передача Мити Захарова о Совнарком: накануне очередной годовщины Великого Октября дали в эфир – финальный аккорд зауспокойной мессы по КПСС, последний гвоздь в крышку её гроба. Всё это мы в общем-то знали, но когда тебе являют не байки, а конкретные документы, разговор сразу переходит в иную плоскость. Вообще единственный живой Коммунист – киношный Василий Губанов, гениально сыгранный Евгением Урбанским в одноимённом фильме.

18.11.91. В полном отпаде, полчаса «любовался» продавцом газетного киоска на Курском вокзале – абсолютный урод, он в глаза хамил всем покупателям: – Зачем тебе, дед, «Крокодил»? – придёшь домой, в зеркало на себя посмотри! – Перед тем, как журналы лапать, ты ручки свои чумазые помой! – Тебе, гражданочка, «Здоровье» ни к чему, там про тебя ничего не написано! – Ты мне свои драные деньги не суй, в банк их неси, в банк их неси, но тебя и там пошлют... Вероятно, он так шутил – с обычной мелкой сволочью, зряшно кишащей в метро, на вокзалах, на улицах. Пришло Время Хама, и мы приняли его, как неизбежность.

23.11.91. В самоубийстве Юлии Друниной удручает не только драма честной фронтовички, не пережившей крушение советских идеалов, но и то, **как** она это сделала, превратив свою машину в натуральный фашистский «газенваген».

26.11.91. В Марьинском универмаге отгородили половину прилавка в отделе игрушек – под так называемые «коммерческие товары», которых пока немного: два автомобильчика на батарейках – по 750 и 900 руб., кровать для Барби за 2.900... Дети тычат пальцами и просят купить, родители не верят своим глазам, удивляются изустно и площадно негодуют. На прошлой неделе имел удовольствие наблюдать, как отец уступил нитью своего неслуха, после долгих колебаний наскрёб семь с полтиной на машинку, а когда продавщица попыталась ему втолковать, что нужно доплатить еще 740 с мелочью, в магазине среди бела дня возникла революционная ситуация. Вчера у Мурзика в классе троица юных вундеркиндов, один из которых накануне вытащил из папки бумажника стодолларовую купюру, сделали буржуазные покупки. Продавщица блеснула щедростью – на голубом глазу приняла у ребят зарубежную денежку и на треть её стоимости отоварила их детской мелочёвкой. Двое, включая добытчика денег, вчера же были избалованы и под поркой выдали третьего, который свою покупку домой нести не решился, захватил в сугробе у школы. Сегодня имела место вторая серия игрушечной трагикомедии: отец юного воришки устроил в магазине разнос, вернул свою кровную валюту, а магазин – конфискованный у пацанов товар, однако не полностью – когда забирал Нику из школы, дворник с охранниками еще лопатили сугробы, надеясь отыскать ребёнковый склад....

07.12.91. Включил телевизор на фразе: «Я защитник Белого дома и не намерен...» Очевидно, говоривший вырос в семье, где дедушка гордо заявлял: «Я штурмовал Зимний дворец!..» Сразу и выключил.

10.12.91. Утром Чернов привёз из Питера «спонсора» Горячева. Наш благодетель неделю назад вернулся из Рима, где ему устроили аудиенцию с папой, что Марк считает очень важным знаком. После разговоров на явочной квартире, поехали в «Московские новости» – там у Марка есть собственные интересы, и там нас ждал человек по имени Женя, которому Горячев поручил опекать журналистов на месте. Женя сразу саморазоблачился: когда я рассказывал анекдот, где фигурировали КГБ и его сотрудники в серых костюмах при коричневых ботинках,

наш опекун неожиданно возопил: «Ребята, я там на самой безобидной работе, в общем отделе состоял!..» Мы сначала ничего не поняли, а пригляделись – у Жени из-под серых брючин коричневые туфли выглядывают...

25.12.91. Четыре дня назад Ельцин «приватизировал» Кремль, то бишь подписал великодержавный договор – уничтоживший страну СССР и де-факто, и де-юре, а сегодня МСГ публично объявил о своей отставке и ушёл руководить институтом собственного имени...

Хотя Горбачёв с Ельциным – суть односортные обкомовские мозги, а взаимная их вражда – обычные для этой среды подковёрные разборки, по-человечески Горби всё-таки жаль: открыл дверь, которую не смог закрыть.

1992

06.01.92. Два последних месяца ушли на обкатку идеи прожекта русскоязычной версии «Нью-Йорк таймс», в виде дайджеста с десятидневной периодичностью. Подразумевается, что этот проект озолотит «МН» – как прежде газета «Правда» непременно лежала на углу стола любого советского чинуши, так теперь пухлый номер «NYT» на русском языке будет украшать офисы «людей, принимающих решения», а редакционный коллектив начнёт получать валютные «бонусы». Самым простым оказалось организовать быстрый перевод проходящих из Штатов статей – Гена Русаков мобилизовал лучших коллег-синхронистов МИДа и сам возглавил переводческую группу. А поскольку никто из нас английским вообще не владеет, взяли толмачом Машу Русакову, дабы она сидела на параллельном телефоне при переговорах с американской стороной. Нам же при таком раскладе остаётся оживлять редактированием буквальные переводы и придумывать к ним вкусные русские заголовки. Короче, скука смертная, но худа без добра не бывает – теперь у нас, кроме трёхкомнатной квартиры, для «Русской визы» есть и половина шестого этажа в доме на Пушкинской.

08.01.92. Прошла весьма странная информация: Смоктуновского задержали в аэропорту с «духовым» (!?) пистолетом. Тут неясно всё – и зачем народному артисту везти сюда игрушку, которую в Москве без всяких разрешений купить не проблема, и кому приспичило позорить великого нашего современника. Скорее всего, обычная глупость – какой-нибудь мелкий таможенник вздумал власть свою показать, но такие инциденты стараются спустить на тормозах, а не раздуть до вселенских размеров.

16.01.92. Один из самых позорных дней моей жизни.

В конце недели позвонил Нагибин: ему предлагают открыть и возглавить новую писательскую газету «Литературные новости», которой он сам заниматься не намерен, но если я с друзьями возьмусь, то готов быть нашим прикрытием. Ребятам идея понравилась, назначили встречу.

Нагибин кое-как взойшёл на мой девятый этаж (из-за клаустрофобии на лифтах не ездит), вкратце обрисовал ситуацию и спросил, что мы сами думаем.

Тут у Вигилянского с Хлебниковым разыграли прежние амбиции – стали выяснять, кому быть главным редактором (в «РВ» они поладили на том, что будут руководить журналом попеременно), затем взяли лист бумаги, бурно принялись составлять штатное расписание...

Юрий Маркович ушёл в другую комнату, с полчаса полистал книжки, потом мы с ним перебрались на кухню, выпили чаю за мелкими разговорами. Через час сказал: – Пойду я, пожалуй. А вы позвоните мне, когда они кресла поделят. Одно слово: стыдоба.

19.01.92. Нагибин позвонил сам – сказал, что с газетой его достали: звонят все, кому не лень, спрашивают, будут ли в «Литературных новостях» печататься интервью, хвалебные рецензии... Потому от предложения он отказался – через неделю улетает в любимую Италию. Просил передать друзьям свои извинения и горячий привет. Что и следовало...

18.02.92. Второй раз с Черновым и Горячевым торчим на Старой площади – у тов. Усикова, в архиве ЦК КПСС. Тихий ужас: тухлый и чванливый партократ, он прежде был горд, охраняя партийные тайны, а теперь с лёгкостью готов продать всё, но как можно дороже. На торги уже и папочки подготовлены: скандальное письмо Фадеева, письма Высоцкого с просьбой выпустить его за рубеж... Марк говорит, что готов заплатить, но за то, что нам нужно, например, за протокол заседания Политбюро, на котором было принято решение ввести советские войска в Афганистан. Тут на тов. Усикова нападает необоримый кашель, переходящий в непробойную глухоту... Когда уходили, столкнулись с ребятами из «ЛГ» – вот благодарные покупатели, эти всё заберут.

17.03.92. Вчера Толя Кобенков звал на презентацию своей эротической книжки (на седьмом небе от гордости – «Луку Мудищева» без точек напечатал!), но мне не того было – день рождения дочери отмечали. А сегодня Кобенков появился в редакции в абсолютной прострации и с фингалом под глазом – что у них там приключилось, не говорит, однако накал кипевших страстей налицо...

12.04.92. Годовщина Стефановича, собрались у него дома (у Карины с Наташей). Пришли полтора десятка Юриных друзей (некоторых я впервые увидел), и очень быстро забыли, по какому поводу собрались. Вдруг начались политические дебаты, которые навязала дочь Шафаревича, вполне достойная своего отца: величала себя шовинисткой, поносила Америку и Коротича... (говорилось это в явном расчёте на мою несдержанность). Ругаться не хотелось, я ушёл (глупо, но...).

28.04.92. Поскольку в своей «Русской визе» все мы выполняем любую работу, мне доверили привезти из типографии «Воениздата» бумагу для журнала. Женя-куратор раздобыл огромный грузовик, дал какие-то накладные. Короче, поехал. Чего-чего, а распорядиться я умею – по приезде мобилизовал грузчиков (всем обещал по бутылке), они радостно нагрузили полный кузов, и к полудню я гордо вернулся в редакцию. Где все уже лежали в обмороке: в типографии хватились, что мне должны были дать пять рулонов, а я увёз... 13 – все, что были во дворе (не гонять же грузовик порожним).

01.05.92. Десять лет соседствую по дому с Игорем Ледогоровым, шапочно знакомы (благодаря Старосельской), но только и раскланиваемся при встрече – ни разу не пришла в голову мысль сделать с замечательным артистом интервью. Нынче, встретясь на праздничном дворе, я вдруг устыдился – спросил, есть ли что в его жизни нового. Говорит: в кино интересных ролей не предлагают, а в театре – да: звонил драматург Павловский, написал специально для меня пьесу о Бетховене, по его глухонемым тетрадам. Я тут язык проглотил – пьесе полтора десятка лет, Исаакыч её на моих глазах Джигарханяну сватал, Виктюку... Время остановилось!

06.05.92. Георгий Витальевич Семёнов – один из тех немногих писателей, с кем хотелось если не дружить (по возрастной разнице было затруднительно), то хотя бы часто общаться: всегда был открыт, дружелюбен. Встречались мы постоянно – и на Пахре, и в Ислочи, несколько раз ездил к нему во Внуково, снимал его портреты, беседу – про любимую Москву – для «ЛитРоссии» сделали...

Отпевали Семёнова в церкви на Воробьёвых горах. Тот район знаю плохо, поехал наобум, и когда на «Киевской» встретил Евгешу Некрасова – успокоился: вместе быстрее найдём. Церковь нам показали, но она оказалась не та, а когда добрались до нужной (возле смотровой площадки), только еловые ветки лежали на пороге. Положил цветы у алтаря, поставил свечечку за упокой души, вышел из храма на яркий солнечный день и только тут понял – не хотел я Георгия Витальича бездыханным увидеть... Вечером в записной книжке две фамилии крестиком пометил: день в день с Семёновым в Питере умер штучный поэт Олег Григорьев.



Георгий Семёнов

26.05.92. Далеко за полночь позвонил из Лондона Денис Новиков – сказал, чтобы 8-го мы его не ждали, ещё на месяц застрянет в Англии. Поскольку их с Эмили помолвка расстроилась окончательно, и если что-то не придумается, он вернётся *совсем*. Жаль, но этот красивый роман изначально был обречён. Эмили двадцать – возраст познания, и благодаря шепутному русскому поэту аглицкая леди овладела матом без словаря. Предки Мортимеры – телезвёздный дедушка-адвокат и модный папа-драматург приняли Дениса, как экзотику, но и только. Кроме того, Эмили сперва предстоит получить оксфордский диплом и решить, кем она хочет стать – актрисой или учёным-славистом, а нужного мужа ей потом подберут...

15.06.92. Презентация «Русской визы» в Доме кино на Васильевской. Пришли Левитанский, Аронов, Есин, Арк.Вайнер, Чупринин, Рейн, Иртеньев, Остер и Петрушевская. Не пришёл Коротич (Вигилянский ему звонил – Виталий Алексеевич плачется, что его все забыли, однако же увидеть нас не захотел). Из редакции «Огонька» были только Саша Минкин и Настя Ниточкина – с новым



мужем, который оказался нашим старым приятелем Максимом Ненарокомовым. Горячев с удовольствием принимал поздравления и снисходительно обосновывал свои щедрые траты на заведомо неприбыльный журнал:
– Люблю поддерживать интеллигентных людей!.. Рассказывал, как оказался в Ватикане, и папа лично благословил «Русскую визу».

Папа Иоанн Павел II
и бизнесмен Марк Горячев

15.08.92. Сегодня Русакову 54 года, по этому случаю он с утра пребывал в серой хандре. Сдал мне ворох свежих переводов, признался, что домой ноги не идут – Маша вторую неделю в Штатах, все друзья в отпусках. Взяли бутылочку коньяка, поехали ко мне и посидели до вечера. Когда Гена уходил, сказал, что в свой день рождения правильнее всего делать подарки другим – оставил стихотворную подборку (по-прежнему, все стихи – *Люде*).

Купил замечательную книжку «Разговоры Пушкина» (репринт с издания 1929 г.). Кн. Вяземский вспоминает: «После июльской революции 30-го года Пушкин говорил: «Странный народ! Сегодня у них революция, а завтра все столоначальники уже на местах, и административная машина в полном ходу».

13.10.92. Как обычно, возвратился из Питера простуженный, и вылез у меня на глазу ячмень. Пока одни советовали греть глаз варёным яйцом, а другие – прикладывать к нему мешочек с гречкой, нашёл я в сборнике сибирского фольклора занимательный заговор, который требуется серьёзно произносить, направив на ячмень фигу:

*На тебе, ячмень, кукиш, на него топорик купишь!
Руби, топорик, этому ячменю голове
по самое корневище!*

Попробовал. И к вечеру от ячменя следа не осталось.

18.12.92. Неделю с Валерой Смирновым снимали в цековском подмосковном санатории фильм про Петра Егоровича Патрушева, уроженца сибирского городка Калпашева, который летом 62-го эмигрировал из СССР весьма рискованным образом – вошёл в море на грузинском пляже и через день вплавь добрался до турецкого берега. Когда увидел Патрушева в первый раз, поразился его сходству с героем формановского фильма «Полёт над гнездом кукушки» – как внешнему, так и внутреннему: с сумасшедшиной в глазах человек, необоримый. В этом году у Пловца-эмигранта двойной юбилей – возрастной «полтинник» и тридцатилетие побега. О том, что он не утонул, а благополучно удрал, наши органы знали – до недавнего времени над ним висел расстрельный приговор за измену Родине. Да, изменил: вещал по «вражеским голосам» в Европе и Англии, потом перебрался в Австралию, где безбедно живёт последние десять лет. Первый раз прилетел на конгресс соотечественников летом 91-го, и попали они аккурат под августовский путч. Сейчас официально приехал с гуманитарной, как теперь принято говорить, миссией – вести уроки по выживанию в экстремальных условиях. И плавает он до сих пор: всю неделю ежедневно окунался в прорубь, собирая вокруг себя стучащих зубами на морозе зевак.



Пётр Патрушев

1993

27.03.93. Гуляя с Никой по городу, зашли в «Лавку писателей» на Кузнецком мосту. О, этот Храм Книги, с некогда закрытым для простых смертных входом на второй этаж, по лестнице которого восходили Тынянов и Пастернак, Олеша и Андроников, и куда ты сам, одолжив на час писательский билет у Колунцева или Евдокимова, проникал нелегально, в надежде на благосклонность Киры Викторовны, перед коей лебезили не только простые классики, но даже секретари правления СП. О, эта сказочная фея КВ – Хозяйка Книжной Горы (ворчливо вопрошавшая: «Чей сегодня ты внук или племянник?»), которая одним мановением руки могла извлечь из только ей известных заглавных щёголевскую «Дуэль Пушкина», «Молот ведьм» или томик Рильке, и совсем уж расщедрившись, пускала за деревянный барьер – разрешала самому копаться в книжных завалах... Ныне раскопанный книжный станок обесценил акции Киры Викторовны в прах, мы с Никой были единственными её прихожанами, и когда мышеподобная старуха спросила, купим ли мы хоть что, в её голосе не было даже надежды...

03–04.10.93. Красные спохватились, что их в 91-м не стали скопом гнобить, встrepенулись – закон о люстрации у нас пройти не может (99 процентов нынешних начальников не у дел остались бы), и решили взять реванш. И когда с баллustrады Моссовета Гайдар с его золотушной командой опять призвали москвичей на баррикады, появилось лишь одно желание – хорошего ремня им всыпать...

Моя позиция здесь на сто процентов обывательская: два года назад нынешние ребята пришли к власти при нашем пофигизме, и сегодня я вправе спросить, готовы ли они защитить меня от бунта маргиналов, равно как и свои тугие зады, а если не могут – копейка цена такой власти, и мне остаётся лишь покрепче запереть свою дверь, приготовить своими зубами перегрызть горло всякому, кто посягнёт на мой дом и покой моих близких...

Сегодня я чуть грех на душу не взял. Подписывали мы в печать газету, полосы идут с опозданием, и наша вечная «свежая голова» Зоя Григорьевна измаялась: чем заняться? куда стопы направить?. Жутко раздражал её зудёж, вот я и говорю: – Погода отличная стоит, так сходите погуляйте куда-нито, хоть бы и на Красную Пресню, там сейчас самое интересное!..

Проходит часа полтора, газета уже в комплекте, а корректорши нашей нет как нет: и где её носит? А мне:

– Вы же послали Зою Григорьевну посмотреть, как танки с моста стреляют! Точно – возвращается наша бабушка ни жива, ни мертва, шепчет белыми губами: – Ну и страху я там натерпелась!..

И впрямь ведь хватило тётёхе ума пройти весь мост под пулями снайперов, как воробьёв отстреливавших москвичей...

13.12.93. Так называемая «Встреча Нового политического года» на ТВ – самодеvolmente глупая, закономерно закончившаяся крахом «ельциноидов» и торжеством шута Жириновского, даже осмыслена не будет: власти и впредь намерены вертеть этой страной, как им вздумается. И когда вытаскиваю из почтового ящика шпаргалку – каким образом мне зачёркивать клеточки в бланке референдума: ДА – ДА – НЕТ – ДА – только стыд одолевает за людей, подписавших сию туалетную бумажку, – Рязанова, Кинчева, и Караченцова, подклевывшихся к этой мышиной возне. Как и за Андриюшу Чернова, лезущего в Думу с щенячьей уверенностью, что он, как интеллеktуал и переводчик «Слова о полку Игореве», сможет перешибить харизму «сексота секунд» Невзорова.

1994

12.01.94. Обилие публикаций на кровавые темы столь высоко подняло у читателя болевой порог, что все чувства притупляются. В сегодняшнем «МК» потрясающий текст «Спасите наши души!» – с жуткими фотографиями убитых в армии ребят. Будь такой материал напечатан в конце 80-х (а все фотографии датированы теми годами), это была бы социальная бомба. А в нынешнем номере «Комсомольца» самый читаемый материал – игривое интервью со Стасом Садальским.

25.01.94. Американцы уведомили нас, что с 15-го февраля сворачивают русский проект «Нью-Йорк таймс» как нерентабельный (в США мода на Россию прошла, у Сульцбергера-младшего новое увлечение – интернет, и 30 тысяч русских подписчиков не в счёт). Теперь под угрозой и все наши собственные журналы – «Русская виза», «Книжный магазин», «Мир Божий»... И опять нужно крутиться, еще и потому, что за несколько лет, прошедших после ухода из «Огонька», у нас сложился автономный трудовой коллектив, терять который попросту глупо.

08.02.94. Приехали Синявские. Вчера собрались у меня дома (с Вигилянскими, Черновым и Жаворонковым) и до двух ночи говорили о мраке 3–4 октября. При всей своей жесткости, Марья Васильевна очень слезлива – несколько раз плакала, когда смотрели хронику тех окаянных дней. Андрей Донатович, по обыкновению, тихо сидел в уголке, только когда агрессия МВ переливала через край – выкрикивал нечто гуманно-толстовское. Вообще разговор шёл на повышенных тонах, а Марья Васильевна снова и снова вопрошала: «Как вы позволили Ельцину расстрелять из пушек Белый дом?» Сегодня с этим же



вопросом диспут продолжился на «Соколе» – на квартире Уваровой, куда набились два десятка «респондентов». Андрей Донатович пытался переместить разговор поближе к литпроцессу, однако бабку Марью перебить невозможно – её волновали только танки. В итоге все окончательно размежевались, ни о каком согласии даже речи быть не может.

Синявский и Розанова

22.02.94. Придя на могилу Слуцкого, увидел в снегу табличку с именем Юры Болдырева. Поделил пополам букетик цветов, разломил одну свечечку на двоих и вздрогнул: занимаясь публикациями Бориса Абрамовича, Юра много лет жил на «кусочек» от его стихов, вот и после смерти...

23.03.94. Вчера под Новокузнецком разбился аэробус «А-300». О причинах лишь догадки, самая поразительная – из уст лётчика, товарища погибших: за штурвалом лайнера вполне мог быть малолетний сын пилота. Из вечернего выпуска «Вестей» этот фрагмент вырезали – вероятно, сочли абсурдным, а скорее всего затем, чтобы не пугать пассажиров наших авиакомпаний: если эта бредовая версия подтвердится, то отечественную гражданскую авиацию нужно серьёзно лечить.

22.04.94. Едва узнал на улице Лену Захарову, так изменилась после развода. Говорит: «Кто-то выгодно выходит замуж, а я выгодно развелась – Митя купил мне машину и квартиру в Митино...» Женская логика: хоть как-то обрести утешение.

09.05.94. Идя в «МН», на Пушкинской очень кстати встретил Фогельсона, шедшего в театр на Трубной, где нынче отмечали юбилей Окуджавы: отдал Виктору букет для Булата Шалвовича, с поздравлениями (сам из редакции выбраться не мог – подписных полос прорва).

Ночью наслушался сплетен, в которых фигурировал Поздняев: Миша отбросил-таки конспирацию, привёл на вечер Веру Павлову и прилюдно представил её Окуджаве, как **гениальную эротическую поэтессу** – реинкарнацию Сафо. Мне можно кол на голове тесать – не покидает подозрение, что Миша с Верой затеял такую же мистификацию, как некогда Юра Влодов с Марой Гриезане. Если Поздняев решил донорствовать, он стену пробьёт. Бог в помощь, лишь бы собственная Мишина муза при этом не пострадала.

23.05.94. Наконец крестили Ф-ку: Вигилянский собрал нескольких страждущих и договорился с батюшкой переделкинской церкви. Накануне окунуться в купель решил и Вознесенский, но в назначенный час не появился (очевидно, Андрей Андреич встретил Далай-ламу и решил, что его религия покруче православия будет). Потом трапезничали в доме священника за вполне светским разговором. Батюшка рассказал: местные мафиози подарили его храму колокола и медную доску «от солнцевской братвы», а куда её вешать – ума не приложит. Когда прощались, пообещал обвенчать меня с новообращённой, ежели Ф-ка решится связать наши души навечно (пока ни одна жена и на этом свете больше трёх лет меня не выдержала).

27.05.94. Возвращение Солженицына – через двадцать лет хулы и ненависти – триумфальное, с помпой, отсылающее памятью к встрече Толстого и Горького, всё-таки не избавляет от мысли, что Александр Исаевич безнадежно опоздал.

23.08.94. Наша беседа с Войновичем для «Литгазеты» тянется с середины марта: уже и Боба Жутовский его портрет сделал (по-моему, не очень-то похожий), а мы всё с текстом возимся. Со времени возвращения (частичного, поскольку живёт на два дома, в Москве и Мюнхене) оптимизм Владимира Николаевича заметно истощился: с выпуском книг дело обстоит плохо, пиратство издателей удержу не знает, и этот факт удручает писателя не меньше, чем опека КГБ и идиотия нашего руководства. О том и говорим.

В третий раз с начала года вижу одну и ту же, до деталей повторенную картину: на асфальтовом пятачке возле нашего дома, рядом с мусорными баками вдруг вырастает гора скарба. Чудовищный натюрморт, где громоздятся пружинный продранный матрас, чугунная станина зингеровской швейной машинки, фанерная калошница, позвоночник торшера, помятые кастрюли и общепитовские тарелки-чашки, утонувшие в тюках пёстро го тряпья, еще нечто, чему и названия не подобрать, а венчает пирамиду непременный стул из гнутых водопроводных труб с фанерными сиденьем и спинкой – типовой атрибут столовых-«стекляшек» советской давности... Значит, умер очередной одинокий жилец, и некто (дальние родственники? соседи? участковый?), освобождая жилище, выбрали что поновее, а остальное сволокли на помойку.

Куча пролежит под нашими окнами неделю. Не тронут ее ни мусорщики, в семь утра с душевным грохотом заменяющие полные контейнеры на порожние, ни дворник, периодически окучивающий ее метлой, чтобы по двору не растрепалась.

И всю неделю – утром ли мимо идёшь, в сумерках ли – наблюдаешь неизменную сцену: какие-то люди деловито и безоглядно ворошат кучу – что-то сосредоточенно перебирают, откручивают-отвинчивают, рассматривают придирчиво хозяйским глазом. Свои ли, пришлые – не приглядываешься, да и не узнать все равно – только спины видны. Впрочем, что я говорю, не могут свои: дом наш ведомственный, министерский, на сто квартир два десятка иномарок, а возле соседнего, кооператива валютного, и того больше. Да и район у нас не окраина заводская – центр столицы. Так откуда?..

День ото дня куча постепенно истаивает, а когда почти сровняется с землей, подпалят ее мальчишки, и останется на асфальте лишь чёрная проплешина – последнее напоминание о том, что нажил за свою жизнь человек.

...Остановился, оглянулся. Одна стена картинами завешана, другую за книжными полками вовсе не видно. И мебельная стенка есть (дзэспз, понятно, но с фасада вполне деревянная), и музыкальный центр, и телик-видик – всё вроде как у людей. На собственный взгляд, конечно. Другое дело, что картины и рисунки – работы друзей, славы Глазунова и Шилова не знающих, потому антикварный рынок им не светит. Библиотека большая, но вполне рядовая – всё за последние двадцать лет переиздавалось. Занятных безделушек пропасть – тоже штамповка, дороги лишь памятью, где купил и откуда привёз. Из явного старья (на уровне железного стула из кафетерия) разве что письменный стол, а как его, обшарпанного друга, выкинешь, если с первого класса за ним уроки учил?.. Короче – комплексов никаких. Как нет их и у того академика, у которого как-то интервью брал: сидел у него на кожаном диване, словно турок на колу, все пружины задом сосчитать мог, и не просто терпел – шалел от одной мысли, что на этом инквизиторском троне Пастернак и Генрих Бёлль так же себя чувствовали. А у всемирно известной укротительницы тигров чуть сотрясение мозгов не получил, в забывчивости (предупредила ведь!) свалившись с кресла, у которого отломанную ножку заменяла стопа журналов...

А где то болото вещизма, грозящее засосать нашего человека, о чём не столь давно множество копий было переломано в дискуссиях на страницах советской печати? И что думал о том пресловутом вещизме семнадцатилетний пацан, забравшийся однажды через балкон в мою квартиру, где только и поживился зажигалкой, фломастерами и коробкой старинных монет? Когда его судили (а суд был «весёлый», поскольку воришка умудрился за месяц побывать в тридцати квартирах), публика в зале стонала при зачитании реестра похищенного: орден «Знак Почёта», фаянсовая статуэтка композитора Чайковского, «макулатурное» издание «Трёх мушкетеров», флакон «Шипра»... Из последней по счету квартиры, после визита в которую воришку повязали, он почему-то не унёс ничего, и когда судья допытывался – что помешало, парень простодушно брякнул: там-де и брать-то нечего было – бедно живут. Как же взвился над рядами пострадавших тот обиженный: «Это я плохо живу? Да у меня три ковра, пять ваз хрустальных!..» – пожалел, что весь дом не вынесли.

Болото мещанства нас явно не засосало (недешевое было удовольствие), а при нынешней дороговизне и подавно не засосёт. К стати, железный стул с помойки исчез в первую очередь, и обнаружил я его на кухне у приятеля в соседнем «валютном» доме – квартиру он ещё кое-как потянул, а с обстановкой пока... Своё дармовое приобретение он ласково величает: «ретро».

Все знавшие Ахматову вспоминают, как она относилась к вещам. У Анны Андреевны их просто не было, любая попытка подарить ей что-нибудь заканчивалась либо мгновенным передариванием навязанного предмета, либо пресекалась снисходительным наставлением: поэту должно обходиться без вещей.

В последнее время всё чаще убеждаюсь, что живу в стране поэтов.

«Московские новости» № 38, 18 сент. 1994

03.11.94. Григорий Левин руководил литературной студией «Магистраль» при ЦДКЖ почти полвека. Через его лито прошли очень многие – от Окуджавы и Коржавина до Берестова и Аронова. И я ведь тоже мог стать его студийцем, когда в сентябре 67-го, в поисках молодёжного театра ошибся дверью, повеселил руководителя и семинар декламацией строк Маяковского, но своих стихов читать не стал, хотя к шестнадцати годам написал не один десяток. Как знать, может быть, вся моя жизнь сложилась бы иначе. Ученики Левина становились профессионалами, улетали из гнезда, обретали тысячи своих читателей и всенародную известность, а он так и остался скромным служителем Поэзии – ни на что не претендуя, никому не завидуя, не представляя себе другой жизни...

09.12.94. Мальгин продал свою «Столицу» империи по имени «Коммерсант». Если так пойдёт дальше, то к началу нового века вся российская пресса окажется в руках нескольких семейных кланов – Яковлевых, Боровиков, нуворишей типа Березовского. А «Столицу» просто жаль – у журнала было своё лицо, тогда как в «Коммерсанте» авторский стиль рерайтеры нивелируют в ноль.

17.12.94. Полгода как нет Нагибина. Когда мы последний раз мельком виделись в коридоре «МН», и я попросил у Юрия Марковича прозу для нашего журнала, он сказал, что ничего нового не пишет, занят своими дневниками, но распечатывать их в периодике не станет – выпустит отдельной книгой. Теперь узнаю: за неделю до смерти он передал рукопись издателю, вот-вот его последняя книга выйдет в свет. Алла Григорьевна говорит, что скандала не избежать, и обиженных будет не счесть: для Юрия Марковича дневники были сбросом отрицательных эмоций – *заземлялся* на родных и друзьях, которым теперь предстоит прочесть массу малопривлекательных характеристик, а то и просто гадостей...

1995

21–25.01.95 / Казахстан

...Миновали горный перевал, шоссе из Бишкека в Алматы покатило под уклон, и уши заложило от перепада высоты, а водитель то и дело крутил свободной рукой колёсико настройки радиоприемника, ловя ускользящую волну. Сетовал: передатчик слабоват, да и антенна оставляет желать... В Казахстан меня вёз Сергей Дуванов – некогда крутой диссидент, зубная боль алматынского руководства и организатор местной социал-демократической партии, а теперь владелец собственной телерадиокомпании. Начинал ее в рамках проекта популярной в Москве программы «Радио-Максимум», но отпочковался, сам встал на ноги, и сегодня у Дуванова львиная доля русскоязычного эфира на информационной территории Казахстана. В черте города УКВ-эфир очистился от помех, и программу новостей «Радио-М» сменила музыка, перемежаемая абсолютным по выговору американским английским. Не сдержал удивления: кому? для кого? – в нынешней Алматы, переименовавшей даже улицы Пушкина и Гоголя, где и русский-то великий-могучий в жутком загоне. Дуванов только отмахнулся: и с русским всё в порядке, и на английском есть, кому слушать. У них из восьми ди-джейев трое – стопроцентные янки: Марк Хеннинг, Тайсон Доэрты и Джош Браун – можешь познакомиться. Правда, профессионал со стажем только Марк: ему за сорок, из хиппи 60-х, фанат рок-н-ролла, много лет работал диск-жокеем в Лос-Анджелесе. Сюда приехал с женой, командированной в Казахстан по делам своей фирмы. Сам предложил «Радио-М» свои услуги – вёл часовую программу новостей на английском, потом начал собственный музыкальный марафон. Марк – первая ласточка, следом за ним на «Радио-М» появилось еще двое американцев, уже из другого поколения, с иными музыкальными пристрастиями.

Работают бесплатно: ставка ди-джея – доллар за час вещания, и для американцев, выходящих в эфир 2–3 раза в неделю, это не деньги.

По пути к ажурной телебашне, мерцающей красными огоньками на окраине казахстанской столицы, собрали по городу ночную дежурную бригаду; последним прихватили Джоша Брауна, вконец заочневшего в ожидании машины. Джошу – 23, два года назад окончил университет в Миссисипи, по специальности политолог. Он доброволец Американского корпуса мира – государственной некоммерческой организации, которая ежегодно рассылает по всем странам несколько тысяч своих посланцев с гуманитарной, как теперь говорят, миссией: сеять разумное, доброе, вечное. Джош мог оказаться в Сербии или Сомали, но в числе восьми десятков американцев приехал в Казахстан. Корпус мира платит своим миссионерам минимальные деньги, права прирабатывать они не имеют. Так в конце прошлого века здесь шли в народ российские разночинцы: учили казахов грамоте, обречённые бороться с нуждой, осесть среди бескрайних степей и сгореть до срока от пьянства или бубонной чумы...

Школа, где Джош преподаёт казахским детям английский язык, выделила американцу жильё и обед в учительской столовой. Комнатёнка оказалась в отдалённом районе с дурной репутацией, и за день до моего приезда Джоша обокрали (надеюсь, не его ученики): всё унесли, от плеера до джинсов. Очень хочет выучить русский язык, но за два года это ему не удалось. На радио пришёл в поисках общения: здесь уютно, здесь говорят на его языке и вполне его понимают... Джош исчез в аппаратной, а в студии уже вживается в роль Тайсон: на голоса разговаривает сам с собой – хрипит, завывает, сходит на доверительный шепот и вдруг взрывается словесным крещендо. Разогревает себя – нахлобучил на голову нечто войлочное, с оранжевым панковским гребнем. В отличие от Джоша, свободно говорит по-русски. Ему 24. Работал гидом в Колорадо, потом закончил университет. Случайно познакомился с крупным фермером – тот решил завязать сельхозотношения с Казахстаном и предложил Тайсону быть посредником: оплатил билет, дал денег на первое время. Через полгода Тайсон к сельскому хозяйству охладел, открыл собственную фирму в Алматы, переводческую. Да это всё неважно, главное – есть музыка: может слушать её 25 часов в сутки, всю свою фонотеку из Штатов привез с собой. Мечта? Жить в музыке и получать за это деньги, играя на гитаре. Хотел бы создать свой центр общения, где будет много музыки и много разных ремёсел – стеклодувы, резчики, гончары... Ему в жизни нужны только музыка и кислород. И ещё конечно девушки. Говорят, в Казахстане они 150 национальностей. Почти всех попробовал, только две остались. Узнает всех девушек здесь – поедет дальше: мир большой...

Марка Хеннинга я в студии уже не застал, на память смог сфотографировать только Тайсона и Джоша, который наконец согрелся, ожил в общении и улыбнулся в объектив кроткой улыбкой Алёши Карамазова.

P.S.

Через месяц позвонил друзьям в Алма-Ату. Марк Хеннинг и Джош Браун по-прежнему вели на «Радио-М» свои передачи, а вот Тайсона Доэрти с ними уже не было – махнул в Австралию. Можно не сомневаться: тамошние девушки и радиослушатели от Тайсона в восторге.

«Стас» № 1–96

Тайсон и Джош



29.01.95. В конце года Хлебников с Черновым выпустили номер «Русской визы» – вполне хороший, если бы его не портили портрет Марка (естественно, весь в белом) на первой странице и реклама их с Андреем мертворождённой партии ДНК (Движение народной консолидации). Горячев позвонил сам: сказал, что очень жалеет о нашем с Вигилянским отступничестве, потому что журнал выходит на новый виток («теперь его даже в Думе не зазорно показать»), и спросил, как оцениваю номер. Честно ответил, что для меня «Русская виза» – не карманный журнал Горячева, и на этом мы попрощались (думаю, навсегда).

13.02.95 / Рукоположение Вигилянского в диаконы

Володя хотел уйти в Храм в конце 70-х, когда от мирской советской жизни тошнило всех (но почему-то не получилось), потом в 80-е (однако началась Перестройка, а с ней «Огонёк»), и теперь это всё-таки произошло (думаю, равно по причине разочарований последних лет и под сильным нажимом Олеси). Рукополагал сам Алексей; Володя просил поснимать службу, но у меня ничего не получилось – не учёл темень и тесноту в церкви на «Рижской», да и охрану патриарха, которая оттеснила всех за пределы света фотовспышки. К тому же эта церемония произвела на меня тягостное впечатление: глаза были на мокром месте, и ушёл, не дождавшись конца.



Олеся теперь матушка

15–21.02.95 / Израиль

Наташа написала мне, безъязычному, кучу записочек на иврите и английском – транспорт по маршрутам, куда намеревался добраться, и так я благополучно доехал из Тель-Авива в Иерусалим, Вифанию и Вифлеем. Обычно водитель автобуса, прочитав мою цидулку, задавал пару наводящих вопросов, в ответ на которые я мог лишь мычать, и, обернувшись к салону, спрашивал: «Русские есть?» Такие всегда откликались, а по пути в Назарет моей попутчицей оказалась огненно-рыжая девчонка из Харькова, боевито сжимавшая коленями винтовку «М-16».

Оставалось увидеть ветхозаветные места – Кумран, Иродион, Мосаду. И, конечно, Иерихон, который в списке детских мечт соседствовал с египетскими пирамидами и Стоухенджем. Туристическое агентство напротив моей гостиницы завлекало обещанием: «Возим по всему Израилю», однако насчёт Иерихона там сначала сказали, что такого города здесь вообще нет (ну да, трубы иерихонские были, должны быть и иерихонские стены), а когда выяснили, что он называется Джерико – заявили: это уже *территории*, и они туда не ездят. В конце концов, позвонил частному gidу Игорю (половину моих друзей по этим местам катал, последний раз – Макаревича с его «машинистами») и зафрахтовал его с машиной на весь день: влетело мне это удовольствие в полтораста долл., зато путешествие удалось на славу. Гид предупредил, что никаких стен в Иерихоне давным-давно нет, однако без осложнений доставил меня к невысокой горе посреди плоской, как ладонь, пустыни и, сидя на краю библейского шурфа глубиной в восемь тысяч лет, я выкурил сигарету, думая о родителях, которым не довелось увидеть Святую Землю, и о том, что хотел бы снова приехать сюда со своими детьми.

01.03.95. Заехали во двор под «кирпич» – прямо в объятия постовых, которых сегодня раскидали по городу в превеликом количестве. Те были настроены очень сурово, но увидели на ветровом стекле бирку «Пресса» и штрафовать не стали – нынче их другое волнует: «Журналисты, так кто вашего Листьева грохнул?» Говорим: сами прикиньте, кому это больше всех нужно? – Менты хором: «Ельцину! Мы так сразу и подумали...»

16.03.95. Валера Смирнов перемонтировал наш фильм про Володина – из полу-часового ролика дайджеста «Русской визы» сделал полнометражный, под формат «Лентелефильма». Понятно, динамичность лента потеряла, но включённые монологи писателя это отчасти компенсируют – за Володиным всегда интересно наблюдать. Благодаря вставкам, в картину вернулась тема «одноместного трамвая» (под рассказ про «Осенний марафон» и я в кадре оказался – зачуханный, мающийся зубной болью Бузыкин).



*Кадр из телефильма
«Так беспокойно на душе...»*

29.03.95. Выставка Игоря Сокола в редакции журнала «Наше наследие». Не узнал ни самого автора (15 лет не виделись), ни его руку – того гениального мальчишки, которого Остер называл «Привет Сальватору Дали от Босха», увы, больше нет.

18.04.95. Неделю назад почти дотла сгорел рукавишниковский (набоковский, если бы ВВ вступил в права по завещанию) дом в Рождествено, последний деревянный ампир в ленинградской области. Сутки горел, при большом скоплении народа и на глазах пожарных: ничего сделать не могли – колодец опустел быстро, шланги с высокого обрывистого берега до реки не доставали. Похоже, опять умышленный поджог: ровно год назад местный народец отметил день рождения писателя – спалили хозяйственные постройки в имении его родителей на Выре. В нынешней драме есть и Сёмочкина вина – сколько раз говорили Ксан Ксанычу, чтобы водопровод сделал, так нет: исторически-де в этом доме без воды обходились. Осталось утешаться, что сильно перестроенный особняк теперь можно будет восстановить по чертежам в первоначальном виде, чем Сёмочкин и займётся. Хотя новодел – он и есть новодел.

07.06.95. Желая модернизировать своё еженедельное приложение, «Известия» отдали его на откуп команде эмигрантов из «Комсомолки» под началом Юры Сорокина, который намерен превратить «Неделю» в информационно-справочную газету, слизанную с нью-йоркского таблоида «Voice» (такого я пока ещё не выпускал). «Известия» расщедрились – открыли новой редакции музейный кабинет Бухарина, с малахитовым камином и балконом, где Горький и Роллан фотографировались, куда часто приходил Маяковский (а теперь дух Грибова не выветрился). В огромной комнате, кроме одежного, еще два загадочных шкафа: в одном – личный рукомоиник Бухарина (сообразно его низкорослости – на уровне биде), в другом... Вопрос, что скрывается в шкафу возле окна, нужно

задать игрокам клуба «Что? Где? Когда?» – пусть головы поломают. А находится там заводной механизм часов, украшающих фасад старого корпуса «Известий». Попробовали их завести – пошли, но грохот раздался такой, что только лишь пламенному революционеру вытерпеть впору (сразу и остановили).

09.06.95. Первый раз выбрался на службу о.Владимира в храме Сретенского монастыря (закончилась рано – удушающая жара стоит). Потом за мужем заехала Олеся, и мы посидели в кафе на Рождественском бульваре, под столетним тополем, который еще на картине Перова «Тройка» изображён. Разговоры были грустные: Синявский смертельно болен – через месяц с Розановой собираются в Витебск, проездом через Москву (с желанием со всеми попрощаться).

Взял у Олеси для газеты рассказ «Агент страхования» – как поэт Крольчатников с приятелем вознамерился ушедшую супругу вернуть, и кончилось всё дракой с гостем, коего приняли за любовника жены. История реальная, как и персонажи, анекдотичные и весьма узнаваемые, а зная обидчивость Олега и Дениса, очевидно, что после публикации рассказа о дружеских с ними отношениях мне с Олесей придётся надолго забыть.

04.07.95. Презентация журнала «Стас» в «Рэдиссон-Славянской» – бурливая, с купеческим размахом. В центре круговерти Стас Намин (лидер группы «Цветы», внук кремлёвского Микояна), на которого шутливо насаждает Леонид Ярмольник: – Стас, признайся, ну почему у тебя всё получается? У БГ нет своего журнала, у Макара нет, у меня тем более, а у тебя – пожалуйста!

– Веди себя, как звезда, и у тебя всё будет! Когда нас знакомили, Намин спросил, отчего мы раньше не встречались? Потому что мы из разных деревень: я марьино-рощинский, а он за рекой, в Нескучном саду вырос.

Все ждали Аллу Борисовну (её портрет без грима на обложке – главная фишка номера), хотя точно знали – не явится примадонна (на всех углах рассказывает, как Намин башибузуком влетел с ранья к ней домой, сорвал со стены интимное фото и был таков). Тусовочный список и перечислять скучно – завсегдатаи дорогих банкетов слетелись, от Мамышева-«Монро» и цирюльника Зверева, до Лимонова и ЗК Церетели. Но и приличных гостей было достаточно: Волчек, Резо Габриадзе, Соловьёв (который САС), Градский, Сенкевич...



Стас Намин

10.08.95. Два часа в бухаринском кабинете мытарил Мотыля на тему его «Белого солнца пустыни» (Сорокин хочет раскрутить в «Неделе» бумажное продолжение, но как оно должно выглядеть, никто не представляет). Оказалось, что сценария фактически нет – есть литзапись картины, импровизированной по ходу съёмки. Про доставшийся ему сценарий «Пустыня» Владимир Яковлевич сказал, что там была одна гениальная деталь – авторы поили воевавших с басмачами стариков, раскопчаривая их на ветхие байки, и один дедушка вспомнил: вошли в Хорезм, а вдоль дорог брошенные гаремы сидят. На этой детали всё и замесилось.

28.07.95. Синявские опять в Москве, зашли к нам в «Неделю». Весь день моросил гадкий дождик, но к вечеру чуть распогодилось, и я потянул их смотреть открытый



позавчера памятник Высоцкому (ВВ учился в школе-студии МХАТ как раз в то время, когда там перед посадкой преподавал Андрей Донатович, пел Синявскому свои первые песни). Пошли на Петровку. Достигнув памятника, синтаксисты молча обошли его по кругу, не выражая никаких эмоций. И только потом возмутились: ну хоть бы гран фантазии! – теперь из Высоцкого распятие сделали!

*Розанова и Синявский
у памятника Высоцкому*

29.10.95. Неделю назад, под материалы для «Недели» и «Стаса», с Алёшей Свердловым сделали большую фотосъёмку Синявских: начали с дома в Хлебном переулке (зашли в бывшую свою квартиру, изрядно взбудоражив нынешних жильцов), потом отправились на Сретенку – побродили по переулкам, заглянули в 610-ю школу, где Марья Васильевна не отказала себе в удовольствии собрать в кучку рослых школьниц, объяснить отроковицам преимущества отдельного с мальчишками обучения.

...Сегодня – грустные проводы Синявских в Париж (следующий приезд, ясно, не обсуждается) и царский подарок бабки Марьи – все 35 номеров альманаха «Синтаксис», последний выпуск которого наполовину посвящён октябрьским событиям 93-го.

27.11.95. Вчера утром позвонила мама – сказала, что всю субботу возилась по хозяйству и нынче неважно себя чувствует, побудет дома. День и впрямь был тяжёлый – сам еле раскачался к обеду, поехал на дачу. Поезд пришел во Внуково около четырёх, и когда я пересёк пути – будто порыв ветра наотмашь ударил в грудь. За городом было сыро и неуютно, ночевать там не хотелось, вернулся в Москву. В двери торчала написанная соседкой записка: «Срочно позвони Лене», и я вдруг сразу понял, что у меня теперь нет мамы...

...Мама с восковым лицом лежала на тахте (рука не поднялась целиком накрыть её простыней), а я до утра читал её послания, оставленные на верхней полке книжного шкафа. Она и прежде писала многословные письма на темы, которые я отказывался обсуждать, и теперь на десятке тетрадных листов выговорила накопленное, будто хотела регламентировать всю мою оставшуюся жизнь. Последнее письмо кончалось строчкой: «...И женись наконец на своей Фыфке – невозможно семь лет морочить голову молодой женщине».

Нинушка никогда не узнает, что через неделю мы с Ф-кой узаконим наши долгие отношения (не говорил ей – сюрприз хотел сделать), а я уже никогда не узнаю, почему вчерашнее число на кухонном календаре мама обвела кружочком и поставила рядом с ним вопросительный знак.

01.12.95. Перспектива редактировать журнал «Стас» вблизи оказалась не столь радужной, как представлялась: за полгода вышли только два номера, третий же висит под вопросом, поскольку отпущенные на него деньги иссякли, а бухой арт-директор потерял портфель со всей эксклюзивной съёмкой. Теперь имел счастье

два часа слушать перепалку г-на Издателя с г-ном Редактором: Бондаренко грозился вмиг «абортировать проект», если каждый номер не будет приносить ему сотню тысяч рекламной зелени, ибо не намерен за кровное бабло создавать имидж Намину, а Стас невозмутимо отвечал, что его вклад в проект – личное звёздное имя, и если есть сомнения: «назови свой журнал «Витя» или «Жорик» и посмотри, какой навар получишь». Мне в их матерной перепалке оставалось следовать старой китайской мудрости: когда дерутся два дракона, не путайся у них под ногами – залезь на гору повыше и подожди, чем схватка закончится. Кончилось тем, что Виктор отпустил нам полгода на оправдание надежд, Намин отдал мне должность главреда и свою зарплату, сам отныне именуясь шеф-редактором, и функции мы поделили замечательно – я делаю журнал руками, а Стас пиарит эту дорогую игрушку на тусовках, что ему куда как привычнее.

1996

13.01.96. Гриша Гладков позвал в Киноцентр на премьеру фильма «про себя, любимого». Пошли с Мурзиком (давно хотел познакомить дочь с Берестовым). Фильма хватило на пять минут – до кадра, когда Гриша перед выходом на сцену надел шляпу и перекрестился (мы тут же и ушли). А Валентин Дмитриевич был, как всегда, в ударе: пел песни под гладковскую гитару, лицедействовал, читал смешные штучки-дрючки про нынешнее время, вроде:

*Женщиною быть довольно гадко –
сверху перхоть, а внизу прокладка.*

28.01.96. Три дня назад не стало Левитанского, а сегодня вечером сообщили о кончине Бродского (утром, во сне остановилось сердце). Пожалел, что не купил у Марка Штейнбока хотя бы один эксклюзивный портрет поэта для фотоархива «Стаса», а теперь, подозреваю, это будет нам не по карману.

В жизни я его ни разу не видел – лишь однажды поговорили, когда из «Огонька» Вигилянский позвонил ИА с просьбой уточнить нужную нам цитату, и он обещал посмотреть книжку сразу же, едва приедет домой: разговор шёл по громкой связи, Бродского было слышно так, словно сидел рядом с нами, а он в это время катил в машине по американскому шоссе...

Тогда Иосиф Александрович стал директором библиотеки конгресса США, отвечал за комплектацию фонда и заверил, что наличие нашего журнала на полках читального зала гарантирует.

Невозвращение поэта в Россию в общем-то понятно – написав: «на Васильевский остров я приду умирать», он этим суеверно исключил такую возможность – поэтические самопророчества имеют привычку сбываться.

31.01.96. Шеф решил наехать на рекламщиков – вызвал к себе на ковёр пяток директоров успешных столичных агентств (от нашего журнала пришел отец «LBL» Саша Балковский). Виктор умеет быть разным, а тут почему-то стал изъясняться на лагерной фене. И речь его была странна – слоняясь взад-вперёд по кабинету, испуская вонючий сигарный дым, сразу взял быка за рога:

– Во всём мире издательский бизнес приносит огромные башлы! Только в этой стране, чтобы попасть в струю, я должен у всех отсосать, моя жена должна отсосать, моя дочь...

Умолк, обнаружив, что забрёл куда-то не туда, и в гробовой тишине прогремел изумленный вопрос Балковского: – А зачем?

На том разговор и закончился – рекламщики вышли покурить-посоветоваться и не вернулись. Когда проважол Сашу, он сказал, что сражён нашей выдержкой. Сам не устаю удивляться.

26.03.96. Влетаю в редакцию: «Где эту Гурченку носит? Срочно позвоните ей – если занята, мы её текст без редактуры поставим!» Вдруг из-за компьютера всхлип: «Я уже давно здесь!..» Не думал, что Людмила Марковна так миниатюрна.

15.04.96. Наши «звёзды» готовы зарабатывать на чём угодно и пиарить себя любыми способами. На прошлой неделе объявилась Анастасия Вертинская – сказала, что готова рекламировать натуральные русские меха, только с условием, что после фотосессии шуба останется у неё.

Сегодня в редакцию пришла Наталья Медведева (экс-Лимонова), час обсуждала возможные варианты сотрудничества: она ведь не только певица, но и писатель, и в журналистике хочет своё слово сказать – готова к любому заданию, непременно *с сумасшедшинкой*. Отлично, говорю, – сделайте беседу с Людмилой Зыкиной (ничего безумнее не придумал). «Гениально, она мне как раз по плечу! – возопила Медведева. – Только разве Зыкина жива? Я думала, она давно на небесах поёт!» Уходя, спросила в лоб (уверен, за тем и приходила), когда с ней кто-нибудь беседу делает? (Сделаем, конечно: давно в плане стоит).

23.04.96. Отправились с Дегтярёвым в Питер, полночи проговорили за бутылочкой коньяка. Рассказ Якимыча, как, навсегда покидая в августе 91-го свой кабинет на Старой площади, он захватил – на память – коробку штемпелей из горбачёвской приёмной: «на подпись», «обсудить», «согласовать» и т.п., с факсимиле МСГ, а на выходе всех выходящих обыскивали, однако этот сувенир, посмеявшись, не отобрали.

У Якимыча дома занятная коллекция партийных святынь, включая медный флюгер-флаг с кремлёвской башни. Очень жалеет, что не смог забрать из Смольного оконное стекло, на котором некая курсистка алмазом перстенька нацарапала вензель императрицы и дату её приезда в пансион благородных девиц.

Я не поверил, что стекло могло уцелеть в блокадных артобстрелах, и вдруг понял: выходит, по Смольному фашисты не выпустили ни одного снаряда – была-таки какая-то договорённость с врагом. Впрочем, и другие соображения могли работать, как в случае с Исаакиевским собором: когда обсуждали план защиты города, спец-артиллерист высказал уверенность, что немцы детище Монферрана не тронут – для прицельного огня им необходим заметный ориентир, и в подвалы собора перенесли сокровища Эрмитажа.

25.04.96. Презентация «Стаса» в питерском Домжуре. Пришёл Володин, и мы мгновенно надрались: абсолютно дурными, с высунутым языком и обезьяньей жестикуляцией, нас щёлкнул местный папарацци. Сказал ему, что мне такие фотографии до фени (я человек закадровый), а вот Александра Моисеевича публиковать в непотребном виде не стоит вообще, в родном городе тем паче. Поскольку парень уже отщёлкал на тусовке целую плёнку, засвечивать её было глупо, и он вечером честно принёс мне в гостиницу три выстриженных кадра (признавшись, что в своём архиве эти фотоснимки всё-таки оставил).

04.05.96. Приехали Синявские: попросили не устраивать шумных сборищ и тихо посидели у меня с патриархальными разговорами. Накануне из старого дивана выскочила пружина – Марья Васильевна поёрзала на ней минут пять, приказала: «Синявский, ну-ка садись на моё место!». Андрей Донатович послушно выбрался из кресла и недвижимо просидел на пружине весь вечер, ничего не заметив (что значит лагерная выучка!)

29.05.96. Юбилей издательства «Ардис» (в «Иностранке» на Котельнической). Элендея по-прежнему полна энергии и замыслов, но ничего реального в России

у неё не завязывается. И альянс с «Огоньком» после нашего ухода не сложился. Выставка получилась славная (Вигилианский три дня со стендами провозился), и все свои собрались – от Попова до Войновича, а вот зрителей в залах почти не было: увы, для нынешней нашей публики это всё вчерашний день (иначе – История).

05.06.96 / Италия, Верона

Два дня гуляли вдвоём с Ф-кой по уютной вечерней Вероне, и тут появился Генрих Боровик, составил нам компанию. Невероятно артистичен: в китайском ресторанчике собирает всю обслугу вокруг нашего стола и терзает их английским языком, гуляя по городу – приветствует жителей на балконах, пугает любовные парочки на семисотлетнем мосту Кастьевеккио. Предельно убедителен – когда сказал, что абсолютно все деньги запер в гостиничном сейфе и тут же забыл шифр, так и хотелось воскликнуть: верю! верю!.. Но и переигрывает явно: глядя, как я вынимаю лиры из уличного банкомата, воспел хвалебную оду пластиковой карточке: «Надо же, до чего удобно и просто! – непременно заведу себе такую!» Обожают давать полезные советы: «Когда снимаете фильм, не водите объективом туда-сюда, кинокамеру нужно держать статично – пусть картинка изменяется сама по себе, так мне Роман Кармен советовал». Заговорив о Кармене, вспомнили покойного Игоря Ицкова – с удовольствием сделал бы его книжку, но даже не знаю, опубликованы ли где-нибудь его потрясающие рассказы. Других общих тем у нас с Боровиком не нашлось.



Генрих Боровик в Вероне

13.06.96. За неделю – через Флоренцию, Пизу и Рим – добрались до Неаполя. Забавно наблюдать, как по мере перемещения с севера к югу меняется менталитет итальянцев: если в Милане и Венеции горожане останавливаются, чтобы не попасть в объектив камеры, в Риме не реагируют никак, а в Неаполе – машут руками, кричат. Сегодня сбылась мечта детства – день бродил по улочкам Помпеи. Напротив лупанария, рассевшись на мостовой, галдела кучка русских тинэйджеров, что было слышно за версту по отборному мату. Свернул от них в первый же переулочек и, пройдя десяток шагов, услышал вслед милый девичий окрик: – Куда пошёл, не видишь – я снимаю! – Хули ты ему кричишь, он же иностранец, ни хрена тебя не понимает! – урезонил подругу мальчишеский полубасок. Хотел ответить юным соотечественникам, да ни одного подходящего слова не вспомнил: отвык.

21.06.96. Надесь «корректора» Лисовского и Евстафьева (с ОПТ?) отловили при выносе из Кремля полумиллиона долл. налом – отняли бабки за акцию «Голосуй, или проиграешь!» (похоже, Стас и его рокеры тоже без гонорара за предвыборное турне по России остались). Подлянку кинули Коржаков с братвой – в подпитии, для куража, а как теперь заминать скандал – башку сломаешь. Зато вся страна отныне знает, сколько «капусты» помещается в коробке из-под ксерокса.

27.07.96. Вчера в полночь убили племянника Никиту. В подъезде своего дома, ни за что – просто шёл 20-летний парень, хорошо одетый и наверняка весёлый, а на лестничной клетке гужевалась пьяная компания: свернули мальчишке шею, как цыплёнку. В милиции даже заявление принимать не хотели – заведомый висяк, и вообще случайность: упал неудачно. Только после того, как Митя Захаров (Никита в его телегруппе работал) пригрозил ментам грандиозным скандалом, они со скрипом оформили бумагу, хоть всем ясно – никого искать не станут. Читай, убили троих – родители Никиты от этой потери уже не оправятся.

16.08.96. Смотрим с Наминым готовый номер: когда доволен – старается быть вежливым, при случае любит напомнить про филфаковский диплом: «Что такое метонимия, забыли?» Привыкший лидировать, тянет одеяло на себя: «Мажем на сто баксов, я вас круче? С детства никому спуска не давал! Меня в суворовском училище как-то наказали – заперли в классе на верхнем этаже, так я нашел кирпич, привязал к нему верёвку, высунулся в окно и до утра все стёкла в доме разбил. И ничего мне за это не было!» Тут возразить нечего: внук Микояна был крут.

24.09.96. И года спокойной работы не получилось – сегодня Виктор и Стас расплевались вконец. Началось всё вроде бы с мелочи: надумал наш издатель выпустить сувенирные кружки-ручки-брелочки с логотипом «Стаса», и тут выяснилось, что товарный знак Намин оформил в свою собственность (как зарегистрировал на себя названия «Парк культуры», «Зелёный театр», каждую строчку песни «Мы желаем счастья вам!»). Стас был с утра вызван на правёж, и у него имелась своя парфьянская стрела – в регистрационных документах журнала его фамилия тоже отсутствует. Собственно, мне при начавшейся сваре вообще не пристало хлопать ушами, я и сбежал через полчаса. Намин уехал под вечер, в редакцию не заглянув, а потом секретарша Издателя принесла приказ – убрать имя Стаса отовсюду... кроме обложки. Без вариантов, это начало конца.

31.10.96. Идём на выставку Кирилла Данелия в ЦДХ – во весь фасад бетонного сарая на Крымской набережной тянется плакат спонсора – «МОЁТ & CHANDON». Идущий рядом человек вдруг встал, как вкопанный: «Моет гандон – это что?!»

05.11.96. Войнович вдруг увлёкся живописью, которой набралось достаточно, чтобы устроить выставку. Компания в крошечной галерее «Асти» (за углом Телеграфа на Тверской) собралась знатная: Таня Бек, Ахмадулина с Мессерером, Бен Сарнов, актриса Лидия Смирнова (совсем старушка, с годами она вдруг обрела некую аристократичность). Белла Ахатовна сказала вдохновенную сумбурную речь, где ключевым словом фигурировал позвоночный столб, и в её устах это прозвучало мило и торжественно. Вообще-то можно было ничего не говорить – ясно, что это дилетантизм чистой воды, но и слабость большого человека на большее, как фильмы Евтушенко и стихи Примакова или Рязанова.

04.12.96. Летний «круглый стол» в «ЛГ» должен был столкнуть лбами толстые журналы с глянцевыми, и разговор оказался нервным, однако никакой ясности не внёс, равно как и сегодняшнее изложение в газете той говорильни. Очевидно: друг друга они и не заменят, и не вытеснят, и смерть у каждого будет своя.

09.12.96. Есин сделал нам эссе про Илью Глазунова (с прелестным названием «Гений с кисточкой»). Нынче Женя Попов принёс текст про Сысоева и его рисунки. Едва я отвлёкся, Чернов увёл Попова – втюхивать своё новое открытие. Вернувшись, Женя сказал: «Я всегда считал себя человеком, который знает кратчайшую дорогу в сумасшедший дом, но Андрей даст мне фору в сто очков вперёд!»



16–27.12.96 / Британия

Славная поездка в рождественскую Англию – в Оксфорд и Лондон.

Я не большой поклонник «Алисы в Стране чудес», ненавижу игральные карты и зеркала, к шахматам безразличен, а прелесть математики мне вовсе недоступна. Но стоило пройтись по сумрачным залам колледжа Крайст Чёрч, чтобы ощутить природу нонсенса Кэрролла, его тягу к нимфеткам и фотографиям в стиле ню – грешные чудачества английского профессора-педанта, чьи книги – продукт хронической бессонницы. Гриша Кружков говорит, что невозможно разделить две составляющие англичан – рациональность и эксцентричность, но в моём представлении диакон Доджсон из колледжа Христовой церкви и озорной автор «Охоты на Снарка» совсем никак не пересекаются, и который из них ровно сто лет

назад ездил в Москву и Троице-Сергиеву лавру, лазал по Воробьёвым горам и дремал в Малом театре – для меня загадка. Поговорить на оную тему с сопровождавшим нас г-ном Горстом тоже не получилось – Ричард честно признался, что книжек про Алису не читал (достаточно того, что фильм видел), и в его офисе лишь одна девушка способна поддержать разговор о литературе: не только Мильтона, но даже и Шекспира – великомудряя! – знает.



Класс Байрона



Местный «Сёмочкин»

В отличие от музейного Царскосельского лицея, класс Байрона в лондонской школе Харроу официально закрыт для всех, однако Хранитель Ключа от этой консервной банки Времени со скрипом распахнул тяжёлую дверь и, явно не избалованный вниманием, устроил нам замечательную экскурсию. Надо было видеть, с каким благоговением он открывал шкаф, где хранятся мемориальные розги, демонстрировал запечатлённые на деревянной панели имена Байрона и Черчилля (традиция вырезать имена учеников на классных стенах – отсюда). Английский Сёмочкин, в своей мастерской он бережно хранит извлечённые из стен трёхсотлетние гвозди, а гвоздь его коллекции – мячик для игры в сквош, два века назад закатившийся под половицу сарая на школьном дворе.

Рождество отметили с Серёжей Брилёвым, в штаб-квартире «Вестей», которую за полтора года работы он обжил основательно. Умилила построенная на камине коллекция открыток – рождественских поздравлений от жильцов, обновляемая сообразно праздникам (эти будут пылиться до Пасхи). Как истинный лондонец, Брилёв заранее оповестил соседей о том, что у него будет небольшая вечеринка, и предусмотрительно заказал кэб на два часа ночи – чтобы, не дай Бог, гости не вздумали заночевать. Кроме нас, были две московские приятельницы, явно влюбленные в Серёжу, смотревшие одна на другую с нескрываемой ревностью.

Последний день провели с Катей Горбовской. В её новом коттедже – необжитом ещё, где мебель затянута транспортировочной плёнкой, а по углам и во дворе следы основательного ремонта.

Новых стихов она уже не пишет, а полтора десятка последних, сочинённых три-пять лет назад, до сих пор не смогла никуда пристроить. В утешение сказал, что фильм, в котором Гурченко поёт её песни, у нас регулярно крутят по ящику, и что Юнна Мориц говорила: «Горбовская поцелована Богом, а значит, талант ещё даст о себе знать».

На это Катя благодарно улыбнулась: она теперь взрослая девочка и знает, что Поэт – не столько талант, сколько судьба.



Екатерина Горбовская

1997

07.01.97. Порядком надоело всякий раз прикидывать, кто и как у нас относится друг к другу, и на рождественскую вечеринку позвал тех, кого хотел видеть: Гену Русакова, Дениса Новикова, Настю Рахлину, Алёшу Ерохина. Все пришли, и внешне политес был соблюден. Но и только. Пока ели и пили – разговор за столом шёл вполне оживлённо. Тут Чернов попросил Дениса почитать стихи, и он прочёл два очень давних. А когда свои новые стихи стал читать Русаков, Новиков тут же вылез из-за стола и скрылся на кухне. Следом за Денисом отправился Алёша, с кухни сразу потянуло травкой... Гена, конечно, обиделся – ушёл в другую комнату, принялся листать книжки. А Чернов предложил Рахлиной рассчитать синусоиду жизни – десять минут чиркал карандашом по бумажке и сказал Насте, что лучшим её годом был 85-й, а самым плохим временем – февраль 88-го. Заподозрить Андрея в подлоге не получилось – он вообще не знал, что Настя вдова Башлачёва, и уж точно не помнил дату самоубийства Саш-Баша. Рахлина едва не расплакалась и сразу собралась домой, и Русаков оделся вместе с ней, сказав, что им по пути. Уже стоя возле лифта, Гена не сдержался: «Симпатичный он парень, Денис, а вот стихи его – абсолютная пустота». Хотел напомнить Русакову, что у Бродского на сей счёт было другое мнение, но сдержался: для Гены Бродский вовсе не авторитет. К тому же рядом стояла Настя, для которой существует лишь один очевидный гений – Башлачёв, и в сравнении с ним все прочие стихотворцы – ничто.

21.02.97. На прошлой неделе второй раз посмотрел в «Современнике» «Крутой маршрут». Неёлова по-прежнему играла с мощным драматическим накалом, но давнюю силу воздействия спектакль потерял: общественные эмоции конца 80-х уже в прошлом. И стало ясно, почему книга сильнее инсценировки: сила текста Гинзбург – в описательной части, а вовсе не в диалогах.

Сегодня Петрушевская повела во МХАТ на предпремьерный прогон спектакля «Три сестры», и я полтора часа пытался понять, что побудило Олега Ефремова поставить нынче эту пьесу. Наконец Мягков подошёл к самому краю сцены и, глядя в зал, проникновенно сказал: «Богатые должны делиться с бедными!..» На этих словах сидевшая передо мной Петрушевская вздрогнула плечами и обернулась – в её глазах блестели слёзы.

05.03.97. Случилось то, к чему всё и шло – вчера в центре Питера похитили Марка Горячева: посреди Лиговки осталась его машина с распахнутыми дверцами, рядом валялись разбитые очки...

Конечно, Марк – авантюрист высшей пробы, и коммерческая хватка у него железная. Начал с того, что скупал в питерских комиссионках старые рояли, кое-как обновлял внешний вид (до ремонта нутра не опускался), красил в белый цвет и втюхивал представителям солнечной Грузии. А сколотив первоначальный капиталец, сразу принялся строить финансовую пирамиду, причём лохов выбирал среди элиты. Как он вёл дела, я несколько раз видел: очаровывал потенциального партнёра размахом планов, серьёзностью и предельной открытостью, и как только наживка была заглочена – сразу исчезал: «Отлично, мы договорились, купеческое слово сказано, готовьте все необходимые бумаги на подпись моему коммерческому директору!» То, что два его директора (молодые энергичные мужики) скоропостижно умерли от инфаркта, Горячева ничуть не смущало. В шоу Марка задеивствовалось всё:

народные умельцы, ушедшие из редакции «Огонька» журналисты, Государственная Дума, в которую он прошёл под лозунгом борьбы с красными директорами, римский папа, редакция «МН», Вольский и Черномырдин... В конце концов, втянутая им в оборот денежная масса достигла критической точки, а буквально на днях он получил очередной гигантский кредит... Я никогда не брошу камень в Марка, благодарный ему за то, что он для нас сделал, и Господь ему судия.



Марк Горячев

01.04.97. В День дурака потешили «Вести» – сообщили, что англичане просят Госдуму клонировать Чубайса, а в Тайнинском взорван клыковский памятник Николаю Кровавому. Потом поправили: Чубайс занят, а про памятник – правда.

04.04.97. Утром обнаружил на рабочем столе интервью с балетмейстером Шерлингом – какой он потрясающий танцор, сердцеед и душка. Без подписи, что означает: либо сам про себя, любимого, писал, либо проплатил эту писанину безымянному негру. Настя Рахлина сказала: «Поздравляю, теперь ждите текст про его уникальную дочку, которая в четырнадцать лет вдруг запела, ничему не учась, ну просто как Элла Фитцджеральд». Смеялись мы, однако, недолго – в полдень позвонил Шерлинг, осведомился, насколько хорош текст и в какой номер я его поставлю. Ответил Юрию Борисовичу, что до июня у нас все номера спланированы, а там видно будет. И услышал, что вообще-то он с понеделника

новый гендиректор, а потому просит подняться к нему на этаж – поговорить про «Стас» и вообще... познакомиться. Осталось поздравить коллектив с ценным приобретением – теперь мы знаем, чьими руками Виктор намерен нас удивить.

16.04.97. Мы зря думаем, что машинистки не вникают в текст, который печатают, – нынче издательские наборщицы подарили список перлов, выловленных ими в пяти наших журналах:

«Гормонально буйный мужчина»

«Царь почувствовал в Пушкине гения»

«Продолжающееся невежество»

«Отгремели война, эвакуация, Победа...»

«Порядковый номер рождения ребёнка»

«Зарубежные страны разной ориентации»

«Индивидуальное лицо»

«Мавзолеей детской радости им. С.В.Образцова»

«Необходимо свести отбросы до минимума!»

Поистине, язык и стиль Платонова бессмертны! А фраза: «*Любовь протекает смутным ощущением растущей нежности*» – будто выписана из его записных книжек.

24.04.97. Положа руку на сердце, никогда не озадачивался вопросом, во что одет. И тут вдруг осознал душевные страдания Маши Цигаль, вынужденной делать моду в редакции, половина которой отоваривается на вещевом Измайловском рынке. Когда Маша, округлив глаза, шепотом предложила: «Давайте я вас одену, как нужно», – впервые испытал нечто подобное детскому стыду, если дежурный в пионерлагере ловил в дверях столовой с невымытыми руками.

28.04.97. Днём встретились в Пен-центре у Саши Ткаченко с Михаилом Веллером и отправились на пятилетний юбилей «Вагриуса» в Дом литераторов.

Саша Кабаков – с нескрываемым недоумением – смотрит, как надписывает свои дефективные книжки «Бешеный»: «И у такого уroda – миллионные тиражи!»

Вика Токарева и Алла Сурикова с писателями не сочетаются – они из мира кино.

Спросил у Богословского, почему сто лет нигде не вижу его сына Андрея, Никита

Владимирович моментально оглох, и я понял, что влез туда, куда не надо.

Уходя, столкнулся в дверях с Борисом Немцовым – вице-преьера весь вечер ждали с благодарным словом за «Провинциала», и он под занавес явился. У входа в ЦДЛ красовалась немцовская «Волга», на которую он хочет пересадить чиновников, в окружении четырёх фордовских джипов. Едва я вынул фотокамеру – охрана меня мигом сдула.



Михаил Веллер

21.05.97. Позвонил Шерлинг: «Июньский номер в Италию отправили?» Уже неделя как в типографии. Второй вопрос: «А интервью со мной там на какой странице стоит?» Услышав, что его текст редакцией отклонён, Юрий Борисович сказал, что печать журнала он останавливает. Жаль, но мы к этому готовы. А Шерлингу нужно готовиться к обвинению в том, что он своей кипучей деятельностью развалил издательство, и через два-три месяца его ноги здесь тоже не будут.

02.08.97. В своём стремлении переплюнуть друг друга наши СМИ достигли предельной степени кретинизма: сегодня Юра Сорокин заказал мне в свою «Неделю» **РЕПОРТАЖ С ПОМИНОК РИХТЕРА**. Спрашиваю: как ты это себе представляешь? – вдова при смерти, но какие-то старые друзья семьи, конечно, соберутся, выпьют – и тут я с диктофоном?

Смеётся:

– А что? – *прикольно!*..

22 сентября – декабрь 1997 / Русский «Пари-матч»

По протекции Наташи Геворкян оказался в команде Глеба Пьяных, делающего русский «Пари-матч». Журнала ещё и в помине нет, а французы уже всерьёз обсуждают сценарий презентации: всё действие – на Красной площади, сажаем на брусчатку виртуальный «Конкорд», из него выходят Аллен Делон и Бельмондо и направляются к трибуне мавзолея, из которого навстречу им выбегают чемпионы мира – вся наша футбольная команда... Спрашиваю: разве у Франции есть мировой футбольный кубок? – В будущем году точно будет!

Давая нам конкретные задания, французы тут же засекают время – за сколько часов мы справимся. Говорят: Жан-Мишель Жарр требует, чтобы ему предоставили открытый брежневский лимузин – не похожий, а именно брежневский. Выкурив сигаретку и подумав, звоню на «Мосфильм» Шахназарову: в вашем гараже, случайно, нет? Карен Георгиевич – не задумываясь: «Именно тот самый брежневский, на котором Леонид Ильич Рейгана (!) встречал. А вам с почётным эскортом, или без? – есть шесть мотоциклистов, в той же форме...» Посмотрел на часы – двадцать минут прошло. Говорю французам: можете звонить – колымага подана.

Глеб Пьяных требует от своих юных журналистов, чтобы в каждый свой приход в редакцию приносили как минимум одну сенсацию. Они и прыгают выше головы. Нынче милая девчушка принесла сногшибательную инфу: оказывается, Андрей Платонов до конца своей жизни соорудил на литинститутском чердаке вечный двигатель. Сказал ей, что такую новость реально продать, только имея в наличии обломки того перпетуум-мобиля, а за неимением таковых – почитай-ка Андрея Платоновича, он ещё в 28-м году написал про фантазёра, который изобрёл вечный двигатель, действующий мочёным песком, и тем дело кончилось.

Пришёл Бардин-Рябчук, которого я сватаю Пьяныху на роль одного из замов. Посмотрел рассудительный Серёжа, как мы с «Пари-Матчем» кочевряжимся, и высказал Глебу свое мнение обтекаемо: «Как вы думаете, если мы возьмём бутылку, скажем, «кока-колы», нальём в неё компот, который сварили на своей кухне, придём к руководству фирмы и предложим продавать собственную бурду под их торговой маркой – это им очень понравится?» Глеб отмолчался.

Издатели перетрясли всю редакцию. Первым вылетел Андрюша Добров – сочли, что он слишком валяжен и барствен, а «Пари-матч»-де издание демократичное. Следом за ним ушёл Глеб Пьяных со всей своей командой: прав оказался Бардин – коммерсантовскую школу, выпускники которой пишут исключительно «заметки», французы не оценили. В конторе остались четверо: мы с Бардиным, арт-директор Илья Климов и бильярд-редактор, но и эти – пока, поскольку с Нового года появится главный редактор (француз), и поладим ли мы с ним – неизвестно.

Пока в выигрыше один Климов – каждую неделю к нему приезжает арт-директор «Paris-Match», учит отбирать из фотосессии десяток лучших снимков, размещать их на трёх-четырёх журнальных разворотах. Такая школа дорогого стоит.

1998

15.01.98. Воспитанный в семье медика, с детства знал и чтит понятие «врачебная тайна». Похоже, её теперь не существует: Бардин показал ксерокопию истории болезни художника Серёжи Шерстюка (вскоре после саможжения жены, у него нашли рак в последней стадии), в таком состоянии больше полугода не живут. Уже вся Москва это знает, кроме... самого Шерстюка. Сейчас он опять лежит в больнице, а его домашний автоответчик по-прежнему отвечает покойным голосом Лены Майоровой: «Нас нет дома, оставьте своё сообщение...»

23.01.98. Общего языка со Стефаном не нашлось: три недели он ежедневно напоминал: «редактор» – французское слово, а в русском «Пари-матч» редактор один, то бишь он. Чем занимаюсь я, Стефан не понимает, но признаёт, что у меня богатая записная книжка, и она ему нужна. Хорошо, говорю, покупай. А я ушёл.

24.05.98. Утром позвонили: умер Макс. Не от диабета, что первое пришло в голову (с детства жил на инсулине), умер от чахотки. Ему едва исполнилось тридцать. Я не видел Макса семь лет, после нашей несостоявшейся «дуэли», но какая-то



информация доходила: в детстве сыграв десяток ролей и озвездясь в «Ералаше», после шестнадцати в кино не снимался, учился на оператора во ВГИКе, занимался фотографией, женился... Болезнь получил, простудившись на съёмках, а узнав диагноз больше у врачей не был – в больницу попал в предагональной стадии, когда от лёгких уже ничего не осталось, и на кислородной подушке протянул едва неделю.

Вообще история странная: несколько лет жил с открытой формой туберкулёза, заразил жену (которую лечили и вылечили), но почему Макс не хотел жить, и куда смотрели врачи – на эти вопросы вряд ли кто ответит.

Максим Пучков

21.06.98. Столица подсчитывает последствия вчерашнего урагана: восемь погибших, полтораста покалеченных, город напоминает казацкую засеку – все дороги завалены дровами, с кремлёвских стен зубцы полетели... И нашего уютного детского парка больше нет – двухсотлетние деревья не выстояли...

23.06.98. У Мурзика роман – приходит с мальчиком Вадимом, целуются, едва уйду из комнаты, отслеживая моё появление в зеркале напротив двери. Смешные: не кумекают, что если в зеркале видно меня, так я их одновременно тоже вижу.

14.07.98. К своему нац. празднику французские футболисты разбили бразильцев (3:0), впервые стали чемпионами мира. В «Пари-матч» это знали ещё зимой – ?!

19.07.98. По случаю «круглой» годовщины расстрела царской семьи, кажется, все газеты и журналы что-нибудь да напечатали. Накануне и телевизионщики поспели – приятель взял камеру, спустился на Пушкинской в подземный переход, опросил горожан: студента, учительницу, продавца. Остановил опрятного дядьку:

– А что с царём-батюшкой случилось?.. Большевики расстреляли? Со всей семьёй? Ни детишек, ни врача не пощадили?.. Так что же вы, журналисты, молчите?!..

25.07.98. Доделываю книжку, попутно распечатывая её в «Огоньке» (через месяц сдавать), и с утра до вечера (как по заказу) по ящику крутятся ностальгические сюжеты, мелькают любимые персонажи – Виардо, Остер, Неёлова, Щекоч...

29.08.98. Жена присмотрела кухонные стулья. Давно подыскивала, а тут зашла в соседний магазин буржуазной мебели и – вот они, о каких мечтала: с мягким нубуковым сидением, высокой спинкой, на стройных хромированных ножках. Ручной работы, по 300 долл. штука.

Я честно сказал, что морально к таким покупкам не готов и в ближайшее время вряд ли до сякой цены дозрею. Думал, что вяла. Ан нет – втайне отправилась торговаться: лето, сейл, да и царापинки, приглядевшись, обнаружила. Короче, срезала цену на треть. И меня уломала: восемьсот у.е. – гораздо симпатичнее звучит. Опять-таки, на транспорте экономия – в двух шагах от дома.

Идём, таща в руках по стулу. И налетает, разбрызгивая лужу, бухой мужик:

– Напротив стуло брал? Почему такие дают?

– По двести, – говорю.

– Ну, ты переплатил! – они же и сотни не стоят!..

И ведь прав мужик, *рублёвым* пространством мысля.

20.09.98. ...Очнувшись вечером в палате, укорил анестезиологиню: «Зачем передний зуб сломала?» Говорит: «Сам виноват, три раза на операционном столе коньки отбрасывал». Зато дедушка-профессор Пальчун доволен – не только вернул на свет Божий, но и слух частично сохранил...

Повеселил я Господа своими планами, ага: книгу не доделал, застудил в жару свои последние мозги, на две недели загудел в Боткинскую, откуда еле сбежал, и профессор Пальчун напорочил: куда от него не денуть, если жить захочу... Теперь десятый день прихожу в себя. А за окном творится чёрт-те что: деньги рухнули, у всех на языке чужеродное слово «дефолт», издатель мой в прах обанкротился, французы спешно сворачивают свой «Пари-матч», не выпустив ни одного номера... Сказал бы кто-нибудь месяц назад!

1999

23.01.99. Спросонья договариваясь о встрече с Борисом Химичевым в Доме кино, ляпнул: «Я толстый, в очках и с портфелем... А вас я, наверное, узнаю». Актёр только хмыкнул: «Надеюсь...»

Посмотрел фильмографию: Химичев снялся в 90 картинах, а я мельком видел только одну, про Юрия Долгорукого, и ту до конца не осилил. Его творческий путь «Караван историй» вообще не волнует – только тот интригующий читателя этап, когда он жил с Татьяной Дорониной. Которая о трёх своих мужьях отписалась одним абзацем: *Басилашвили – интеллигент, Радзинский – близкий и родной, а Химичев – хозяйственный.*

29.01.99. К тому, что однажды на пороге появляются незнакомые взрослые мальчик или девочка и говорят: «Здравствуй, папа!» – мы в общем-то привыкли. «Здравствуй, мама!» – говорят куда как реже. А если мама ещё и Майя Плисецкая, тут кто угодно лопнет от любопытства: как так? – родила и не заметила!? Сегодня в «Коммерсанте» Майя Михайловна публично отреклась от своей новоявленной дочери, но позавчерашняя публикация в «Московском комсомольце» своей цели достигла: три дня лишь об этом все и говорят.

13.02.99. Володя Кошевой устроил мне интервью с чересчур занятой Амалией Мордвиновой: встретились в Домжуре, и три часа незаметно пролетели за разговором. Друг про друга мы всё поняли с первого взгляда: я – что из этой девушки, которая и впрямь «виртуоз разговорного жанра», нужную информацию придётся вытягивать клещами; Амалия – что я с неё живой не слезу, пока не услышу того, что мне требуется узнать для «Домового». И Володино присутствие оказалось очень кстати: сначала он вёл себя, как журналист, подбрасывая свежие идейки и не давая девушке уходить в сторону от моих неудобных вопросов, а потом вспомнил, что сам актёр, и тогда они с Амалией на полчаса ушли в цеховые разговоры, дав мне возможность отдышаться и собрать себя в кучку (энергии в ходе беседы мы оба сожгли основательно). Прослушав дома две полуторачасовые кассеты, обнаружил, что Амалия меня всё-таки переиграла: слов наговорила на рубль, а необходимой информации едва на пятак...



Амалия

22.02.99. Похоже, сотрудники всех нынешних редакций относятся к авторским текстам, как к подстрочным переводам с иностранного, которые им надлежит перевести на примитивный русский. Когда говорил с актёром Борисом Химичевым про семейную жизнь с Дорониной, спросил: с характером женщина, наверняка могла и запустить чем-нибудь сгоряча? Отвечает: «Да, мелкие предметы у нас в доме по воздуху летали постоянно. Только вот на книгу у Татьяны Васильевны рука никогда не поднималась». Сегодня «Караван историй» поступил в продажу, и утром по четвёртому телеканалу запустили анонс: «Доронина швыряла в меня всем, кроме книг». Я чуть со стула не упал, в ужасе звоню бедняге (наверняка кондратий хватил), но Борис Петрович спокоен: «А что? Вполне эффектно!»

12.03.99. Делая с Аркановым большой материал для журнала «Домовой», наслушался баек про его партнёрство с Гориним. Увы, почти все непечатные, разве что одна-две... Когда соавторы снимали на двоих однокомнатную квартиру, перегородив её для удобства шкафом, Арканов всю ночь слушает шепот горинской девушки: – Только не в меня!.. только не в меня!.. Наконец Горин не выдерживает: – Но в кого же, родная, если, кроме тебя и Аркаши, тут больше никого нет?!..

14.03.99. По ящику показали сногшибательный сюжет: отставной солдафон написал книжку, в которой все слова начинаются на букву «о». Без сомненья – чушь собачья, зато в российскую книгу рекордов попал (чего явно и добивался). Теперь этот графоман из Нижнего Новгорода собирается засесть за новый шедевр – про разведчиков, где будут использованы только слова на букву «р». Фамилиа рекордсмена вполне соответствующая: Культяпов.

27.05.99. Начал читать книжку Скорятина о загадке гибели Маяковского и сразу бросил: еще бы не загадка, когда автор не видит разницы между револьвером, браунингом, маузером и наганом: всё свалил в одну кучу. И ведь не он первый – Ал. Михайлов, помнится, предположил, что Маяковский вздумал («на судьбу») сыграть в русскую рулетку, а это с любым *пистолетом* даже пробовать не стоит.

06.06.99. Читаю Воннегута, незаметно съезжаешь с ума. Стою в магазине «Океан» за рыбой, уткнув нос в «Колыбель для кошки», подходит моя очередь, протягиваю продавщице чек:
– Килограмм филёвого окуне!
– Чего-чего?!?!...

03.07.99. «МК» потчует чернушной «бытовухой»: одуревшая от жары, жена потребовала у мужа кондишн (который был ему вполне по карману), тот ушёл в магазин, но принёс... вентилятор, а получив очередную взбучку – сорвался: для начала сунул пальцы благоверной в лопасти, потом разбил ей вентилятором башку, «отбивную» запихнул в холодильник (с юмором человек: пусть наконец порадуется прохладе), а сам ударился в бега...

10.07.99. Проезжая через Переделкино, наудачу свернул к Щекочу и застал его дома – сидел на крыльчке, играясь новым ноутбуком, а рядом примостились два подростка. Хозяин изумлённо поднял брови, ребята тоже с удивлением уставились на меня (явно никого не ждали), и когда Юра серьёзно спросил: «За мной?» – сыграли с ним в нашу давнюю игру, которой обычно тешились на работе, когда требовалось выставить из комнаты занудного визитёра. «Да, Юрий Петрович, собирайтесь, машина у калитки, – говорю. – Полагаю, человек вы степенный, обойдёмся без погони и стрельбы... А вы, мальчики, пока можете быть свободны, мы вас потом вызовем...» Забавно, но ребята поверили – окликнули их, когда они были уже за калиткой, вернули пить чай.

12.08.99. Антошка родился ровно в 8.30 утра – последним, 21-м по счёту. Мальчишка упрямо не хотел появляться на свет, весь извертелся (пуповину дважды на шею намотал), но когда его освободили – закричал во весь голос, не дожидаясь шлепков. Фантастическая картина: крохотный человек парит в воздухе – в смазке, будто в алом скафандре, и перламутровый жгут тянется от него к матери, как к космическому кораблю...
Ф-ка спала под наркозом, то морщась, то улыбаясь во сне, а младенец лежал рядом на лотке и серьёзным – взрослым! – взглядом скользил по комнате, по мне, ещё не знакомому, как всё вокруг. Рядом с ним тикали мои наручные часы (снял, когда поддерживал жену под спину) и отсчитывали первые минуты жизни сына: 5... 10... 15...

27.08.99. «Новые песни придумала жизнь!..» – сообщение о смерти артиста Александра Демьяненко (всенароднолюбимого Шурика) «МК» напечатал с подачи... магазина «Электрический мир», для которого актёр **делал рекламный образ**: *«Тяжелой утратой стала его кончина для нашей компании...»*

08.10.99. Люблю камин: пощёлкиванье поленьев, мерцанье огня в топке, объединяющей любовников, друзей, родных. Дурак, кичащийся своей якобы неординарностью, соорудил агрессивный камин-утюг, с двумя продувными топками. Над которыми так и подмывает написать две буквы: **М** и **Ж**.

05.12.99. Все газеты напечатали отчёт о позавчерашнем приезде ВВП в Пен-клуб, ответ его на вопрос поэтессы Николаевой: «Я горд, что работал в КГБ, к этому периоду моей жизни отношусь положительно». Только вот слова Олеси ни одно СМ не воспроизвело буквально, а вопрос её был сформулирован вполне чётко: мы с вами ровесники, в одно время вступали в жизнь, а тогда для многих людей нашего поколения КГБ был преступной организацией, в которую, тем не менее, вы сознательно пошли служить...

09.12.99. Пятеро подростков-анархистов бегом залезли на трибуну мавзолея с транспарантом «Против всех!» Что бы с ними сделали лет двадцать-тридцать назад, нечего и говорить, а теперь за всё удовольствие – 30 руб. штрафа. А тошнит уже действительно ото всех, и в первую очередь от БН. У которого, похоже, такое же размягчение мозга, как у Леонида Ильича в последние годы правления: на подписании договора с Лукашенко, Ельцин потерял конец своей речи, долго искал его, пьяно гримасничая, а не найдя – вторично прочитал последний абзац.

2000

10.01.2000. Неделю подумав, втравился-таки в «крокодильский» проект. Все нормальные люди от него отказались, а по мне – почему нет? Тем более, всего-то десять номеров. Я так устроен, что, предложи мне сделать один-единственный выпуск «Нового мира», без раздумий бы согласился.

Как и рассчитывал, победила экономика: Пьянов предлагал громоздкую редакцию из полусотни человек – семь отделов («Ревизор», «Подорожная грамота», «Ревизская сказка»...), в каждом – редактор, корреспондент, фотограф. А мне нужно всего 12. Хозяин не поверил: так мало людей будут еженедельно выпускать журнал в 48 полос? А в штате больше и не требуется – все остальные с удовольствием заработают по совместительству.

Утром позвонил Игорю Иртенев, уже похоронивший свой «Магазин Жванецкого», но от «Крокодила» тактично устранившийся: какая у тебя концепция? Сказал, что изложил её издателю на десяти страницах, которые пересказывать скучно, а в двух словах – журнал о смешном. Не сатирический, не юмористический – просто обо всём смешном, что есть в нашей жизни. Игорю такой ответ показался лукавым: темнишь? – вовсе нет.

А Женю Попова волнует другое: какой слоган на обложку вынесешь? Говорю, что ещё не решил. – Но ты ведь платоновский человек, а Андрей Платонович что, по-твоему, написал бы? – Есть у него такая мысль в записных книжках: для жизни нужны живые. – Ну так и напиши прямо под шапкой «Крокодила»: ЖУРНАЛ ДЛЯ ЖИВЫХ. – Не жутковато? – Ты сам пять минут назад, когда рассказывал про сына, сказал, что забавный растёт, **ж и в о й**...

Значит, пусть так и будет.

02.02.2000. Две недели прошли в разговорах с г-ном Банкиром, который хочет сделать гешефт на «Крокодиле». Его только-только назначили олигархом, и он постепенно вживается в роль: принимает меня без пиджака и галстука – в старомодных «домашних» подтяжках, по ходу беседы только что ноги на стол не кладёт.

Банк, которым он рулит, весьма специфический: с частными вкладчиками дел не имеет, спонсирует некие загадочные проекты, которые сотрудники в разговорах называют обтекаемым словом «объект №...». Едва я взял в руки внутренний телефонный справочник, Банкир заметил моё удивление и оперативно прояснил ситуацию:

– Да-да, у нас в штате иностранцев нет – только Ивановы, Петровы и Сидоровы. Обещает, что в редакционную работу лезть не будет, с одним условием: его дочери 12 лет, и он хочет, чтобы девочка, открыв «Крокодил», не была смущена пошлостью и развратом. Обещаю и говорю, что сегодня меня беспокоят только сроки: журнал ещё и верстать не начинали, а ресторан для презентации уже зафрахтован на третье марта – успеем ли? Когда стоя в дверях я напомнил г-ну Банкиру о неоплаченных счетах, он радостно просяял:

– Штирлиц знал, что лучше всего запоминается последняя сказанная фраза!

02.03.2000. Приезд Володина на вручение новой Президентской премии обернулся скандалом: сам пришел с вокзала в Кремль, что не принято, сцепился с охраной, в милицию попал, а туда мигом нагрянули телевизионщики... Полученные деньги он сразу отдал кому-то в долг, теперь Ефремов покупает ему билет до Питера... Никогда не видел Володина в таком жутком состоянии.



Володин в «Крокодиле»

Самое трудное, на чём мы с дизайнером Илюшей Климовым буксовали неделю, это уйти от прежней обложки журнала, которую всегда украшала политическая или бытовая карикатура. Сошлись на том, что нужно отдать её не карикатуристам, а лучшим книжным графикам, в которых у нас недостатка нет: Любаров, Тишков, Пивоваров... Главным художником (Володя Мочалов обиделся, но тут без вариантов) позвал Гукову, и она сразу согласилась. Сегодня Юлия работает на таком высоком уровне, что иметь с ней дело – сплошное удовольствие. Звонит: – У тебя факс включен? Лови эскиз обложки!.. Нормально? Покупаешь? Теперь говори, какой цвет должен быть – день солнечный или дождливый? А солнечный – какой? Ранний, в утренней дымке, или в полдень, с резкими тенями?.. Ясно, завтра получишь обложку в цвете...



Эскиз обложки «Крокодила»

03.03.2000. Презентацию в «Лимпопо» (в отличие от предыдущей, по которой от души проехала березовская «Независька») мне вовремя удалось «отредактировать» – позвал тех, кого хотел видеть: Женю Попова и Булычёва, Витю Шендеровича и Остера, Аллу Боссарт с Игорем, Женю Бунимовича, Амалию...





04.03.2000

Вчера скандал с Володиным показали по двум новостным программам, и все, кто это видел, говорят, что Александр Моисеевич был страшен. Народ попроще смотрит в ящик другими глазами – нынче таксист рассказал: вечером какой-то дед-алкашник в телевизоре всем кремлёвским уродам по мудям надавал!..

08.03.2000

Погиб Тёма Боровик – самолет на взлёте рухнул. Ровно день в день через десять лет, как инсульт разбил его крёстного отца Юлиана Семенова. Сразу всплыла версия убийства – накануне выступал в ночной передаче Диброва, и в эфир прорвался урод с вопросом: «Почему вы еще живы?» (Тёма сказал, что удвоил охрану). Но тогда кого убирали – Боровика или Бажанова? Даже если это случайность, то и её вероятность ничтожно мала: такая удача – одним ударом два шара, а «двойной карамболь» редко какой виртуоз сделать может.



13.03.2000

Простились с Тёмой. Сразу прошел на сцену, положил цветы, обнял Генриха Авизеровича. Смотреть на старика было страшно. А Тёма лежал такой целый и безмятежный, что хотелось ему сказать: вставай, зачем ты тут разлэгся?..

Спустился в нижний буфет, еще пустой, лишь Евтушенко бодро корпел над бутербродами. После прошлогоднего нашего интервью про Лубянку и Политехнический мы с ним так и не увиделись. ЕА довольно сказал, что этот прилёт в Москву для него халявный – за десять полетов по внутренним линиям в Штатах положен один дармовой, куда хочешь. Стал расспрашивать про «Крокодил»: как же его Пьянов профукал? Через полчаса народ начал прибывать, а к нам подсел вечно мятый Черкизов. Принялись с ЕА вспоминать, как они в подпитии шумно слонялись по Переделкино... Наконец Евтушенко решил подняться в траурный зал, спросил: как Генрих, держится? Я предположил, что смерть сына он вряд ли переживет.

– Не волнуйтесь за Генриха, такие люди чувствами не живут, – сказал Евгений Александрович. – И выдержит, и выпустит книжку «Мой сын Тёма», и бизнес его в свои руки возьмёт...



18.03.2000

Хотелось бы сделать «Крокодил» совсем аполитичным, однако не получается – нельзя же выборы стороной миновать. Обошлись минимумом слов – Гукова нарисовала обложку с выпрыгивающим из коробки бонапартиком. И художник Гоша Острецов постарался – показал ему плакат Моора, с тем, чтобы исполнил картинку в той же старой технике, на два цвета, и Гоша сделал то, что нужно.

21.03.2000

На любимовской сцене Таганки – так называемый Первый всемирный праздник поэзии. Который мог бы стать если и не «всемирным», то хотя бы «столичным», но оказался в руках стихотворца Кедрозавра, чей потолок – литературный кружок при ЖЭКе, хоть амбиций там немерено. Козырная карта в этом убогом по именам мероприятии – Вознесенский, поскольку в сей замусоленной колоде оказались одни шестёрки. Тут и фельетон писать глупо – незачем рекламу создавать.



Рисунок Гоши Острецова

23.03.2000. Встретились в Останкино с Лёвой Новожёновым после его эфира, пошли в ресторан и напились до положения риз. В невменяемом состоянии Лёва довёз-таки меня до конторы, дважды чудом ни в кого не впилившись, и сам поехал спать. В редакции Зоя Григорьевна, осудив мой нетрезвый вид, велела исчезнуть с глаз, что я и сделал. Дома ткнулся носом в подушку, через два часа встал с дубовой башкой, включил ящик, а на экране – Лев Юрьевич: трезвый, подтянутый, и говорит как по писаному... Профи, одно слово.

01–05.04.2000 / Одесса

Одесская Юморина выродилась в некое формальное мероприятие, наподобие празднования Первомая: отцы города читают по бумажке восторженные речи, по Дерибасовской маршируют колонны демонстрантов – скука неимоверная. И на открытие памятника Жванецкому сам виновник торжества не пожаловал – бронзового карлика открыли-отчествовали в телеграфном темпе.

Не был в Одессе восемнадцать лет – с того времени, когда мы с женой Леной прожили тут свой медовый месяц. Поехал на 13-ю станцию Большого Фонтана, но во двор дома на Львовской улице зайти не получилось – соседи сказали, что старики-хозяева давно умерли.

На Старом кладбище долго блутал по аллеям, пока нашел могилу профессорской четы Дикисов (помнил, что рядом с отцом Романа Кармена, а зрительная память подвела). Когда возвращался к машине, мой попутчик уже стоял рядом, злясь на стучащий счётчик, и таксист сказал: «Ваш товарищ собрался идти на поиски, а я не разрешил: не торопи человека, он там плачет».

С одессизмами в городе совсем плохо – только одно лишь объявление прочёл на столбе возле вокзала:

«Ищу место смотреть больного ребёнка или старую женщину».

12.05.2000. Вся моя жизнь – на одних и тех же площадках: Антошу крестили в той круглой комнате Студенческого театра МГУ, где я танцевал у Райхельгауза фламенко. И видеть Вигилянского в рясе мне по-прежнему трудно. Отстраняясь от обряда, занял себя видеокамерой, забился в угол. Отец Владимир состояние моё понял – выключил из шествия, а проходя мимо, приговаривал вполголоса: – Язычник!.. язычник!..

17.05.2000. Сто лет не был на Центральном почтамте – почитай с тех пор, как он переехал из здания Биржи в дом на углу Мясницкой. Зашел, поднялся на второй этаж, где переводы отправляют. Всунул голову в окошечко, подавая заполненный бланк. Улыбчивая девица взглянула на меня и сразу сделалась суровая-суровая.

– Что-то не так? – спрашиваю.

– Вы же клялись, что ноги вашей тут не будет.

– ?!

– Ну, и чего вы своей выходкой добились? Кричали, ногами топали, грозились всех уволить... Весь рабочий день людям испоганили!

– Я? Когда?!

– На прошлой неделе. Забыли уже?

– Право же, вы меня с кем-то путаете.

– Такого спутаешь! Я вас на всю жизнь запомнила..

Короче, переубедить девицу, что я – не тот, не удалось.

Выходит, у меня есть двойник.

И судя по всему – с характером гораздо хлеще моего.



Из жизни котов

Голубой перс Масяка начал дачный сезон – приехал во Внуково, а там хозяйский Белый котик все углы пометил. Неделю коты гоняли друг друга, шипели при встрече. Тут Белый котик принёс пойманную птичку и положил возле миски недруга. Масяка – для приличия – птичку немного покусал, потом унёс в сад и зарыл. А вечером положил возле миски Белого пойманную мышку-полёвку... Поскольку коты мимикой обделены, нужно было видеть, с какой поразительной грацией исполнялись церемониальные пантомимы.

Масяка Второй

10.06.2000. Полтинник Щекоча обмывали на даче в Мичуринце. Подарил Юре зковский нож, который он десять лет назад из аэропортовского спецхрана выцарапал. Гостей было много, и за столами в саду все расселись «своими» кучками – отдельно мы с Хлебниковым, Головковым, Загальским и Ростом (компания 70-х), своим кружком «афганцы» и «чеченцы», «думские» ребята сами по себе... Возлияния начались с полудня, но Щекочихин держался до вечера – ждал поздравлений от президента/тов, и они наконец поспели с курьерами – и от Горбачёва, и от Путина. Но этого славного момента я не дождался (сбежал).

«Гости съезжались на дачу...»

«Всё смешалось в Цемесской бухте...»

«Когда мы с бабушкой жили в Рио-де-Жанейро...»

25.10.2000. Похоже, становлюсь суеверным. Когда в «Крокодиле» директриса по рекламе влетела ко мне с вопросом, действительно ли я намерен взять на работу человека с фамилией Погорелый? – просто к чёрту ее послал. А тут зашел в «Вечерний клуб» (идти туда работать не хочется, но других предложений нет), увидел на двери табличку: В.Пьянкова, и подумал, что после неудачного альянса с Пьяновым и Пьяныхом меня и тут ничего хорошего не ждёт.

09.08.2000. От вчерашних телерепортажей и сегодняшних газетных фотографий тошно: ад творился на Пушкинской площади, сущий ад! Вероятность оказаться рядом с сумкой динамита в миг взрыва у столичных горожан максимальная. Среди погибших – девушка из рекламного отдела «МН», как раз шла с работы. В списке пострадавших – Илья Елин 13 лет и Наташа Елина 9 годков...

06.09.2000. Просматривал последние газеты, в «НГ» материал Ерохина – памяти Валерия Приёмыхова: «Привыкнуть к смерти трудно. Утраты идут чередой и выматывают душу. Единственное утешение – ты не умрёшь, если не жил...» Алёша – ж и л, потому в сообщении на автоответчике поверить невозможно.

05.11.2000. Стараясь настроить Анатолия Гладилина на интервью, вывез его в Переделкино. На сельском погосте, возле могилы Пастернака говорили больше часа. Когда вконец закончили, пошли греться в Дом творчества к Рошину. Большой вид давнего товарища окончательно вогнал Анатолия Наумовича в мерихлюндию – принялись с Михал Михальчем перетирать все старческие темы: давление, сахар в крови, виагра... Потом спохватились: что это мы? Воспоминания оказались веселее: футбол, первые влюбленности, бега...

Гладилин рассказал прелестную историчку про Горина:

– Затащил Гришу на ипподром, он сделал всего одну ставку и взял приличный выигрыш. Спрашиваю: как тебе удалось точно вычислить фаворита? Говорит:

– Никак не вычислял. Прочитал, что лошадь зовут Комедия, на неё и поставил.



*Анатолий Гладилин,
Михаил Рошин*

10.12.2000. Позвонил Володин: жена в больнице, медсестра Марьям стажирруется в Швеции, и он впервые предоставлен сам себе. Восторгается: «Как здорово без надзора! – хочешь – «Свободу» слушай, хочешь – книжки читай». Научился омлет готовить: сейчас, говорит, придёт переводчик Джад, я ему омлет сделаю. А в остальном всё по-старому. Иногда мальчики звонят: Володя с внуком Сашей (ему уже 25) по-прежнему в Сан-Хосе, а вот Алёша со своей девушкой Венди переехали в район Больших озёр. Где эти живописные озёра, Володин вообще не представляет, ему само название нравится.

25.01.2001. Вышел 1-й (очень богатый) номер воскресшего журнала «Вокруг света», который возглавила моя экс-жена Лена (с лёгкой руки «Гурвицека» Мити Захарова). Теперь могу писать в личном послужном списке: в своей многожённой семье взрастил актрису, журналистку, арт-директора, главного редактора...

07.04.2001. Полтора десятка лет не видел Пинхасова – с тех самых пор, как он пошел работать в «Магnum» и перебрался в Париж. А тут узнал, что Гарик в Москве, в «Наутилусе» снимает Аню Гаврилову для ее гламурного журнала, и не отказал себе в удовольствии свалиться ему как снег на голову. В отличие от большинства старых знакомых, Пинхасов сильно изменился – от прежней провинциальной зажатости не осталось и следа, он и в разговоре стал раскованней (сказалась привычка давать интервью). Сейчас Гарик частично



возвращается в Россию – здесь у него образуется семья. После съемки встретились с его новой женой, вскорости готовой родить, и с ностальгическими разговорами погуляли по центру. Хотелось бы вместе сделать книгу-альбом – стихи друзей с фотографиями Гарика, но пока он в «Магнуме», себе не принадлежит.

*Георгий Пинхасов
и Анна Гаврилова*

11.09.2001. Во Внуково приехал Вигилянский, настроились спокойно посидеть за бутылкой вина. По ящику беззвучно крутился какой-то фантастический боевик – самолёт врезается в нью-йоркский небоскрёб, потом ещё один... Вдруг заметили в кадре заставку Си-Эн-Эн, и когда поняли, что это не кино – сидели, онемев, до ночи, вперясь в экран... Любая писательская фантазия перед реальностью – ничто.

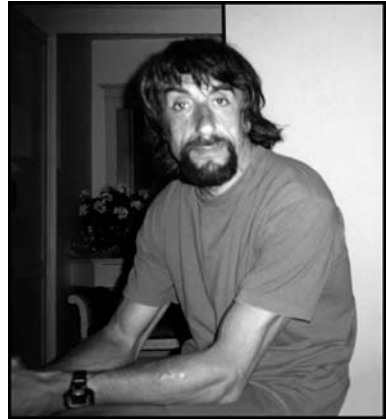
17.09.2001. Поговорили по душам с женой и поняли, что за тринадцать лет наши отношения исчерпались до дна, что накопившийся отрицательный груз перевесил все положительные эмоции. Ко всему прочему, у неё – кризис среднего возраста, у меня – седина в бороду, бес в ребро (месяц назад отметили её 31 и мой полтинник). Конечно, можно и дальше пытаться играть в счастливую семью, только вот на сколько нас при этом хватит? Решили резких решений пока не принимать – живём как живём, стараясь мальчишку подольше уберечь от стресса, но я всё это проходил не раз и знаю: в один прекрасный день разбежимся в разные стороны навсегда, с такой взаимной аллергией, что и видеться не будем...

21.12.2001. Утром в БДТ застал у края усыпанной цветами сцены Игоря Иртеньева и Витю Шендеровича – не сговариваясь, сами по себе приехали.

...Потом долгая дорога в Комарово – прежде там покоилась одна Ахматова, теперь возле неё Лихачёв, Илья Авербах, Сергей Курёхин и вот Володин тоже. Сын сказал, что мама неадекватна, но смерть Александра Моисеевича скрывать от неё не стали, и это она, кажется, поняла. Отдал Володе все фотографии, которые у меня за двадцать лет накопились.

Валера Смирнов мелькал с кинокамерой – намерен перемонтировать за два-три дня наш старый фильм, добавив туда погребальную съёмку, чтобы первым его на телевиденье пристроить. А по мне, спешка – дело зряшное: чем в третий раз лопатить неплохую картину, лучше доснять новые интервью с последними друзьями Александра Моисеевича, подобрать архивную хронику, сделать о Володине принципиально новый фильм.

20.01.2002. Позавчера ночью убили Аркашу Блинцовского. Пятидесятилетнего мужика (невероятно сильного – он легко бы справился с двумя-тремя пацанами) забили насмерть железной арматурой: в куски изрубили кейс, которым он пытался закрываться, раздробили пальцы и ребра, пробили голову... Конечно, милиция «по горячим следам» никого не нашла, хоть все скинхеды в Кузьминках хорошо известны. Лишь констатировали: чернявый, за внешность поплатился.



Аркадий Сарлык

Аркаша по натуре был авантюристом: вдоль и поперек обошел пол-России, странствовал без гроша в кармане по миру, ночевал под парижскими мостами и на островке, где статуя Свободы, тусовался с клошарами и кришнаитами... Выросший на волжских берегах, обожал Азию, не без основания ища там свои корни, и псевдоним себе выбрал степной. Писал стихи и прозу, но печатался с трудом, однако не помню, чтобы за двадцать лет нашего общения он хоть раз пожаловался на судьбу. Впрочем, был весьма тщеславен: всю жизнь занимаясь спортом, бегал спиной вперед и всерьез намеревался попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Не попал. И других рекордов уже не будет.

15.03.2003. Раскачиваю Амалию сделать книжку (вроде втянулась – во всех интервью рассказывает, что вот-вот бестселлер напишет). Сначала согласилась на литературную запись, даже надиктовала часа два, но сейчас решила сама сочинять, ноутбук купила.

Вышли с Амалией из редакции на Лубянку, машину ловим. Едва махнула рукой – подруливает навороченный джип, из машины холёный мэн выпрыгивает:

– Привет! Вы – та самая?

– Да!

– Вот повезло так повезло, живую увидел! – радостно крикнул мужик. Прыгнул в свой броневик и умчался. Не сообразив: подвези он звёздную девушку, ему бы повезло ещё больше.

Обедая с Никой в её любимом японском ресторанчике, открыл Японию: ложкой – жрут, вилок – едят, а гурманствуют – только палочками.

05.08.2003. Проходя мимо тестя (ровесника), который по обыкновению, зад переверня, развалился на крыльчке с потрёпанной книжкой, спросил:

– Дед, отчего такой мрачный?

– Потому и мрачный, что я дед, а ты – молодой отец.

Так за чем дело стоит?

20.04.2004. В магазине молодой парень рассказывает друзьям, какое классное кино на дивиди смотрел – судя по сюжету, типичное американское мочилово: – ...год не могли эту базу взять!.. Тогда сделали вид, что ушли, а сами сделали деревянную лошадь, посадили в неё спецназ, а когда её на базу затащили, спецназ ночью из лошади вылез и всю базу подчистую сделал...

09.04.2005. Невербальная коммуникация

Курю на остановке. Нарисовался костлявый панк в черной коже с железками и встал напротив, нос к носу, засунув руки в карманы, качаясь с пяток на мыски. Повибрировал, свел зрачки к переносице и просительно свернул губы трубочкой. Я прикинул: христосоваться рано, менять ориентацию поздно...

Со стороны, мы точно напоминали пару голубков с пасхальной открытки.

На протянутую десятку панк и косым не повёл.

На вынутую пачку сигарет – колебнулся, но рук из карманов косухи не вытащил.

Я прикурил сигарету и вставил ему в рот-мундштучок.

И панк попилил своим путём, высоко воздев хаер, – гордый, не опустившийся ни до просьбы, ни до благодарности.

04.07.2005. Галина Погожева в Центре «Русское зарубежье». Время для поэтических вечеров сегодня не очень подходящее, однако старые друзья отозвались: небольшой актёрский зальчик оказался полон.

Увы, стихи Погожева читала старые – то ли решила придать своему вечеру ностальгический флёр, то ли новые у неё уже не пишутся.

*Анатолий Кобенков,
Галина Погожева*



Сто лет не был на поэтических читках. Когда друзья зазывали послушать стихи поэта N. – уверяли, что очень интересный и перспективный (в 30 с лишним лет – ?). Хватило меня ровно на пять минут – ушел, едва дослушав первое стихотворение, где была (то ли про закат, то ли про восход) строчка:

«...с алым по белому полю...»

Следом – пулей – вылетел Женя Рейн: не иначе, и ему помнилось нечто... не вполне кошерное.

Теперь всю неделю, как очумелый, бормочу: *САЛОМ по белому полю...*

Друзья упорствуют: вообще-то N. талантливый, только вслух читать свои стихи не умеет. А по мне – он просто глухарь. И это непоправимо.



*Александр Смогул,
Евгений Рейн*

А Саша Смогул всё такой же: получает в Германии пенсию, как сын потерпевших от оккупантов, на неё и живёт, катаясь туда-сюда. Удивительный человек!

Встретил давнего приятеля: замечательно выглядит, в отличном настроении, всё у него в порядке (имеет свой бизнес – маленький, но стабильный). Говорит: одно плохо – другим стал. Спрашиваю: сильные перемены в себе замечаешь? – В общем-то нет. Только теперь оцениваю всех людей по их автомобилям.

27.07.2005. Случилось недопустимое: сын доверил мне страшный секрет, я (не придав тому никакого значения) рассказал о нём матери, а она ненароком дала Тоше понять, что его секрет ни для кого не тайна.

Обнаружив, что мальчишка два часа со мной не разговаривает, спрашиваю:

– На что дуешься, Антоний?

Сын – протяжно глядя мимо меня за окно, где в голубизне тает аэродинамический след улетевшего самолёта:

– А зачем за самолётом такая полоса белая? Рассказываю про разреженный воздух и снова повторяю свой вопрос.

Сын – демонстрируя выборочную глухоту:

– А как лётчик там дышит, этим разрезанным воздухом?

Объясняю, что он в специальной маске, кислородом питается, и в третий раз:

– Так все-таки, что случилось, Антон?

Мальчишка – выдержав мхатовскую паузу:

– Знаешь, папа... Если мама ещё раз узнает, что я сказал только тебе, тогда я вам обоим никогда в жизни больше ничего не скажу!



Андрей Платонов писал в записных книжках, что восточные женщины непохожи на русских, потому что «у них другое устройство судьбы».

Очаровательная грузинка Нина – девушка от княжеских корней, всю жизнь верно живущая с горячо любимым мужем Гоги, мужланом и хамом, девочкой взявшим её в жены по денежномуговору с родителями, рассказывает:

– Неделю дома не появлялся – отправился за хлебом и пропал, женщину встретил. Потом друзья позвонили, сказали: завтра жди. Жду – лобию приготовила, себя и дом в порядок привела. Думала: как войдёт – убью! А он... свежий лаваш принёс... Вернулся грязный, пьяный, другой женщиной пахнет... Я на кухне бельё глажу, он рядом на диван упал, захрапел сразу. Лежит – небритый, в слезах, в соплях, пузыри изо рта пускает... Смотрю на него, думаю: за что мне такое наказание? Так бы и ударила утюгом!.. А не могу – **красиво** спит! Какая русская женщина способна на такой монолог?

05.08.2005. Аккурат к своему Дню Аиста получил сигнальный экземпляр книжки «Наука искушать». Которую сварганил не токмо озорства ради и денежков для... С конца 70-х, когда от совковой тоски все на стенку лезли, хотелось написать такую книжку. В пик многочисленным брошюркам академши от минздрава Хрипковой, вроде её опуса «Разговор на трудную тему». Не инструкцию, куда и как, а нужную мальчишкам книжку, дабы они себя уверенней чувствовали и не делали глупств и ошибок. Всему своё время: когда лета всё чаще наводят на мысль, не пора ли поменять практику на теорию, нарисовался Искуситель, содержатель сайта ПРО ЭТО, со своим богатым заказом. Как раз послел – ничего серьёзного в этом году не пишется, да и жанры менять полезно.

Конечно, вышло не совсем то, что желалось, – пришлось поиграть в поддавки. Всё, о чём самому говорить претило, – надыбал-слямзил в интернете, основательно поправив. А некоторые главки очень даже весело писались. Ладно, что вышло, то вышло. Поскольку все имущественные права я продал г-ну Издателю от имени придуманного автора, но авторства лишаться не приучен, – в оглавлении книжки зашифровал своё бескорыстное имя (с 80-х годов в этом удовольствии себе никогда не отказывал).

27.11.2005. Назвать очередь к газетному киоску очередью трудно, поскольку она состояла из одного меня. Но для подошедшего гражданина это была именно **очередь**, в которых он стоять не привык.

Высокий статный старик, в почтенной седине, с лицом без индивидуальных черт, какие мы привыкли лицезреть на портретах, украшавших наши грады и веси по первомайам и великим октябрям. Наверняка в его кармане хранилось пунцовое удостоверение пенсионера союзного значения, некогда волшебное для казённых учреждений, магазинов и городского транспорта.

Он отстранил мою руку от окошечка и повелел обслужить его таким приказным тоном, что киоскер не посмел ослушаться. Неспешно перечислил всё, что ему нужно, неторопливо расплатился – копейка в копейку, вяло перебрав содержимое своего бумажника. Действо это было столь сонным и нарочито ленивым, что я не вытерпел – спросил:

– Вы уверены, что ваше время стоит дороже моего?

– Да! – ответил он с неимоверным чувством собственного достоинства.

Оставалось лишь почтительно снять перед ним шапку.

Похоже, их время не кончится никогда.



31.12.2005. Год как не стало Дениса... Когда мы познакомились весной 1985-го, Новикову было 17. Стихи, которые он тогда позволял себе читать вслух, исчислялись одним десятком, однако для серьёзной претензии на яркий поэтический дебют их вполне хватало.

Жаль, но фотографии Дениса той поры у меня нет – в то время юные лица в качестве объекта не вдохновляли, предпочитал снимать *уходящую натуру*. С началом т.н. «перестройки» Хлебников стал комплектовать отдел литературы в «Огоньке» Коротича, и мы с Новиковым недолго проработали вместе.

В редакции «Огонька» сделана первая коллективная фотография, на которой с краю притулился Денис: из Парижа приехали Синявские, под рукой оказалась «мыльница» с плохой свемовской пленкой.

Начало 90-х в жизни Дениса было вполне успешным: ему хорошо писалось, он легко обрстал друзьями и женщинами. С товарищами по цеху – Приговым, Кибириным, Гандлевским, Ковалём – оказался под общей обложкой альманаха «Личное дело»: этот коллективный сборник Денис считал собственной первой книжкой.

Работа в «Огоньке» была отличной школой журналистики, и когда мы в 91-м всем отделом покинули прославленный еженедельник, начали делать собственный журнал «Русская виза», Новиков напечатал там несколько больших материалов: интервью с советским разведчиком-перебежчиком Виктором Грегори и радиоведущим Севоём Новгородцевым, статью о подлинном авторе песни «Я в весеннем лесу пил берёзовый сок...» В одном из первых номеров «РВ» – стихотворный цикл Дениса «К Эмили Мортимер». В то время он всерьёз намеревался жить за рубежом, влюбившись в элитарную англичанку, в чьём фамильном лондонском доме познакомился с Иосифом Бродским, Полом МакКартни, Салманом Рушди... Сегодня соблазнительно сказать, что нынешнюю звезду британского кино мы

разглядели уже в 91-м, однако ничуть не бывало – в памяти осталась лишь милостивая девчушка, часто забегавшая с Денисом в буфет «Московских новостей». Эмили тогда едва исполнилось двадцать – самое время учиться, и заморская леди брала уроки актёрского мастерства в московском театральном училище, а благодаря долговязому шепотному поэту узнала вкус русского мата и конопки. Увы, этот стремительный роман в нервной вольтовой дуге между Москвой и Лондоном был изначально обречён...

Когда в 92-м Денис выпалил: «Ребята, купите мне два килограмма марихуаны, и я напишу гениальную книжку», все посмеялись. Шутка стала дежурной, а потом перестала быть шуткой. Тогда у Дениса уже была другая англичанка, новые друзья, и лучшим городом Земли нарётся Амстердам. В то время Новиков становится неадекватным, всё чаще уподобляясь Есенину эпохи «Москвы кабацкой»: его подкайфные выходы развлекают столичную тусовку, он превращается в некий комедийный персонаж, вполне узнаваемый в рассказе Олеси Николаевой «Агент страхования». Апофеоз балаганной идиотии – история с посольской штаб-квартирой (нашпигованной, как принято, подслушивающей аппаратурой), куда Денис звал кучу очумелых приятелей «побдеть ночь», после чего ему надолго закрыли въезд в Королевство.

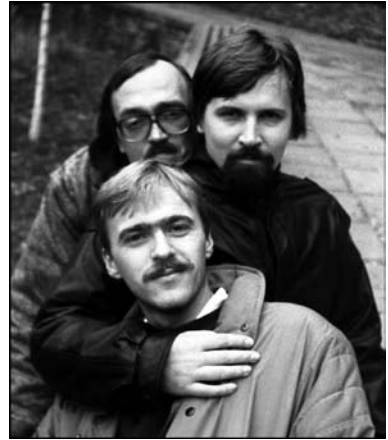


Через три года у Новикова вышла первая книжка стихов «Окно в январе» – американская, с послесловием Бродского. Даря ее, Денис был горд и по-настоящему счастлив. И уже абсолютно без тормозов. Беря его на работу в обречённый на закрытие журнал «Стас», я прямо сказал: «И на дозу зарабатываешь, и на глаза будешь». Жуткая карточка, которую Новиков принёс на пропуск, ошарашивала не только моментальным качеством...

В свои присутственные дни Денис кое-как добирался до редакции к обеду, бодрил окружающих воплем: «Как же я не хочу уходить из шоу-бизнеса!» и шел

на лестницу – курить и сочинять анонсы на обложку. Рожал что-нибудь эпохальное, вроде: «Войнович стал зарабатывать на хлеб – маслом», «Литвинова оживает по ночам», или «Гандлевский – поэт в башне из моржовой кости», и на этом скисал. Маясь, сетовал на дальний гонорарный день, канючил аванс, сманивал кинокритика Ерохина (Алёши сегодня тоже нет – в 2000-м покончил с собой) пить пиво... После «Стаса» мы с Денисом почти не виделись, а редкие телефонные созвоны неизбежно кончались матом и взаимной бранью. Последние его годы – пробел: я даже не знаю, каким макарон он оказался в Израиле и где там упокоился...

08.03.2006. Приехавшую давеча из Парижа Марью Васильевну Розанову в Проквее опять обидели. Удумала она с соратниками посидеть в хорошем кафе, приковыляла со своей клюкой, а их на фейс-контроле тормознули. Объяснили открытым текстом, что стариков пускать не велено – не украшают они, старики, интерьер. Бабку Марью и КГБ установить не мог, и свою чашечку кофе матёрая диссидентка с боем взяла. А потом достала писателя Диму Быкова, который



Денис, Олег, Андрей

как раз в телящике куковал, и в прямом эфире свое «фэ» по сему случаю озвучила. Когда Быков машинально поздравил Марию Васильевну с женским днём, она в карман за словом не полезла:

– Спасибо, но у меня это произошло в другой день.
Феерическая она, Марья Васильевна: *вне времЯчка*.

12.03.2006. В деревне отправили к праотцам батюшку – с женой и тремя детьми в избе спалили. В самой что ни на есть исторически православной глубинке, которую писатели-деревенцы традиционно преподносили, как оплот душевной чистоты и кладезь духовности. В нынешней деревне это вполне бытовой криминал – местные пожгли чужака, которого прислали к ним с пустыми проповедями, храм от разграбления спасать. А в них больше нет веры ни в мирской суд, ни в Божий.

09.04.2006. Сколько раз собирались с Давидом Боровским сделать большое носталгическое интервью, и всё руки не доходили, а теперь уже и не сделаем... Остался лишь замечательный кусок в давнем интервью с Михаилом Роциным: «В начале 60-х сидели мы с Боровским на нашей коммунальной кухне, ели ложками из кастрюли холодные макароны, запивая их водкой, и говорили о том, что непременно будет. «Какой у нас самый известный театр?» «Ясно, МХАТ», – говорит Дезик. «Ладно, пусть будет МХАТ. Так вот, однажды я напишу замечательную пьесу, ее поставит во МХАТе самый лучший режиссер, а ты сделаешь декорации. И когда будем выходить с тобой на поклон, вспомним этот вечер, нашу кухню, водку с макаронами... Вот за это давай и выпьем!» И выпили. ...Прошел десяток лет, написал я пьесу «Эшелон», её поставил на МХАТовской сцене Эфрос, а Боровский сделал гениальные декорации – без всякого пафоса, с реальным товарным вагоном... И на премьере 9 мая 75-го года, выходя к рампе на поклон, взял я Дезика за руку и говорю:

– Помнишь, как мечтали мы об этом дне?

И Дезик сказал:

– Помню...»

15.04.2006. Все воспоминания о денежном мешке Арманде Хаммере непременно содержат рассказы, как он после любого банкета собирал со столов несъеденные вкусности. Очевидно, это национальная черта характера – образцовая бережливость. Сегодня смотрю: президент Кац-сон после застолья с кондитерами складывает оставшиеся бутерброды в коробку из-под торта, внимательно их рассматривая – не надкусаны ли? Увидев меня, ничуть не смутился: «Зайдёте к нам приватно? Посидим за узким столом...»

05.05.2006. Онищенко объяснил, что отныне для нас Цинандали, Хванчкара, Ахашени и Боржоми – просто грязные грузинские деревни. Интересно, что стоит это объяснение?

06.05.2006. Полуторастолетний юбилей Фрейда у нас прошёл незамеченным. А зря – дедушка стоит памяти. Рассказывают, что Лотман постиг гениальность Фрейда в ту минуту, когда сын влетел к нему в кабинет с криком:

– Папа, когда я вырасту, я убью тебя и женюсь на маме!

08.06.2006. По случаю юбилея Третьяковки – чудное телеинтервью с сотрудницей Галереи:

– Какой вопрос чаще всего задают экскурсанты?

– «Почему художники всегда рисуют на руках мадонны мальчика, а не девочку?»
Вот вам и КОД ДА ВИНЧИ.

05.07.2006. Ушёл Алёша Дидуров

Мы познакомились в начале 70-х, когда вся страна мурлыкала его песни из фильма «Розыгрыш» (про девочку, которой нёс портфель), когда начиналось его «Рок-кабаре» – с первой «стекляшки» в Измайлово...

Полгода были соучениками по семинару Винокурова в литинституте, который Алёша бросил на первом же курсе. Началось с обиды на Учителя: Евг. Михайлович был забывчив на имена, называл Дидурова то Тутылевым, то Дударёвым, – Алёша его сперва поправлял, а потом окончательно обиделся и ушел из винокуровского семинара навсегда. Можно было перейти в другой, но Дидурову уже скучно там, муторно стало. В конце учебного года его притащила ко мне домой Погожева: отчисляют – ни одной курсовой не сделал; я отдал Алёше все свои контрольные за 1-й курс – оставалось лишь титул перепечатать (обычная литинститутская практика), но он уже с ликбезом расплевался: служебная карьера не прельщала, а чтобы печататься диплом в редакциях не требовали.

Дидурову претили легковесные или полусерьёзные разговоры о литературе, отношения с Поэзией у него были рыцарские. Так же и с Музыкой, второй его стихией. Видимо, потому мы с Алёшей друзьями не стали: он был болезненно ревнив и обидчив, моя смешливость его раздражала. Но все годы сохранялись общие знакомые, приносили новые стихи Дидурова, и мы изредка обменивались приветами.

Смерть давно уже добралась до нашего поколения (Женя Блажеевский, Аркаша Сарлык, Нина Искренко), но после ухода в прошлом году Тани Бек – Алёшина смерть самая рядом. В давнем Танином стихотворении: «На маленькой кухне четыре грядущих поэта...» один из четверых – Алёша. Вполне состоявшийся, хотя со стороны его творческая жизнь кому-то может показаться скромной. Случалось слышать, что работа над антологией «Солнечное подполье» сильно отвлекала Дидурова от собственного письма, что тусовка съедает всё его время. Наверное, в какой-то мере это так, но жить иначе Алёша не мог – вот уж кто действительно «ни единой долькой не отступался от лица». И его книжка «Легенды и мифы Древнего Совка» – останется, как памятник нашей *параллельной эпохе*.

15.07.2006. В лаборатории поликлиники УПДК аккуратный номенклатурный старик сдаёт на анализ миниатюрную кашку – в литровой гранёной банке с надписью «Мёд».

На автобусной остановке хорошо выпивший парень – симпатичной девчужке: – Мадмуазель, у меня есть тристапесят рублей...

– Извините, но я не пью!

– Да кто тебя пить зовёт, дура!..

29.09.2006. Месяц пролетел в поездках по любимым дорогам: Псков, Новгород, Петербургская губерния, Карелия... Возвращался, сбрасывал сотни фотографий на сидюшники, однако так ничего и не написал: слов нет. Потому что всё, в дороге увиденное, – ножом по сердцу. Ну да: не зарастает народная тропа в пушкинское Михайловское, радует глаз туристов новгородский кремль, Сёмочкин доделал на Выре домик станционного смотрителя и отстраивает рукавишниковский особняк в Рождествене, где будет-таки Набокова музей, да и Кижы по-прежнему прекрасны. Только едешь к ним мимо мёртвых городов, вроде райцентра Остров, мимо до окон вросших в землю гнилых деревень, по грязи, сквозь чудовищную нищету, где, как золотые фиксы в искусственных челюстях, торчат нуворишевские особняки с космическими тарелками... Впрочем, так всегда было: «в центре сияет огнями Версаль, а вокруг – мрак, невежество, пьянство». И никакого просвета не видно.

29.11.2006. Проснулся от грохота: к тяжёлому року соседа сверху добавился железяковый скрежет с улицы. Глянул в окошко – сбилось-таки: начали сносить клоповник 30-х годов. Что впякают вместо него – разное говорят, но одно ясно: тишины год не жди.

Кофе еще есть, а вот анальгин вчера закончился. Нужно садиться за работу, но в таком бедламе горшок совсем не варит. Опять подумал, что всё херово, и пора бы наконец застрелиться.

Пока заедал сыром кофе и просыпался – краем глаза посмотрел новости: горит в Магнитогорске плавильный цех (людские потери еще не сосчитали), а везде, где зима уже началась, коченеющие россияне спешно устанавливают в своих квартирах печки-«буржуйки» и начинают день, растапливая намерзший за ночь лёд в кастрюльках...

Огляделся: вода из крана кое-как течёт, свет моргает, но пока что горит, даже интернет не глючит. Значит, всё не так уж и плохо?

Решил сегодня не стреляться.

02.12.2006. И это наши нынешние СМИ...

Почему, когда Юра Щекочихин месяц умирал в ЦКБ от необъяснимой заразы, от которой у него вылезали волосы и отслаивалась кожа, когда диагноз «лучевая болезнь» очевидно висел в воздухе – эту историю тотчас замаяли, и атомщик Адамов, у которого при упоминании имени Щекоча от ненависти кончик носа белел, гибель журналиста никак не комментировал, а теперь радостно светится в ящике, мямля про «загадочную» смерть лубянского выкормыша в аглицкой клинике, и понос Егора Тимуровича выносятся на первые полосы газет?..

25.09.2007. «Я принёс тишину в мир, где царили звуки и слова», – сказал Марсель Марсо в интервью московской газете.

Первый раз (на моей памяти) «бессловесный» артист приехал в Москву зимой 68-го: дал одно представление в концертном зале имени Чайковского. Тогда на наших экранах с запоздалым успехом шёл фильм «Дети райка», где снимался великий Жан-Луи Барро, учитель Марсо, и аншлаг уникальной гастроли французского мима был гарантирован.

Первое зрительское потрясение: в абсолютной тишине и темноте на сцене возник прожекторный круг, в центре которого застыла фигурка человека в черном трико, и он – хрупкий бип Марсея Марсо – недвижимо стоял так невероятно долго (пять минут? десять?), в гробовой тишине зала: казалось, упади на пол спичка, и бип умрёт от разрыва сердца...

Через десять лет с ним удалось познакомиться – Марсо приехал в Москву с юной русской женой. Поездка была деловая: Марсо намеревался снять фильм, в котором будут два клоуна – бип и ковёрный (то есть он сам и «кошачий клоун» Юра Куклачёв). Я хотел сделать с ним интервью, и мы почти договорились: Гарик Пинхасов (будущая звезда парижского фотоагентства «Magnum») снял мима в цирке на Ленгорах. Но дело кончилось скандалом: ничтоже сумняшеся, Марсо начал возводить на Красной площади цирк-шапито (как оказалось, без всяких договорённостей), и за такое глумление был выдворен из Советского Союза в 24 часа. Ни строчки об этом, естественно, в нашей печати не появилось.

Потом он прилетел в Россию в начале декабря 1985-го (тогда Погожева была его переводчиком), и опять неудачно – сразу угодил в Боткинскую больницу с прободением язвы желудка, и после операции артиста едва смогли увезти во Францию.

Кажется, больше Марсо к нам не приезжал – артистические натуры не любят возвращаться туда, где их ждут одни неприятности.

30.10.2007. Тридцать лет живу в одном и том же доме. Район старый, плотно населённый. Рядом четыре школы – из трёх в разное время был с позором изгнан, а последнюю кое-как закончил. Значит, в общей сложности где-то с полутора ста одноклассниками общался. Первое время мы иногда еще встречались на улице, а за последние четверть века никого из них не видел. Нигде – ни в транспорте, ни в магазине. Или все мы так сильно испортились, что узнать нельзя? Впрочем, я животное но́рное, а ежели вылезая из дома, то не раньше полудня и возвращаюсь за полночь (распорядок жизни дурацкий). А нынче в восемь утра оказался по необходимости на автобусной остановке и встретил сразу троих из школьной юности: про одного лишь вспомнил, что у него кличка была Нёма, имя-фамилию другого напрочь забыл, а с дамой (вроде, Наденькой) даже когда-то целовался в подъезде.

Узнали друг друга сразу, и все трое меня потешили:

– Я слышала, что ты уехал...

– А говорили, ты давно умер!

– Да ты совсем не изменился!

На том разговоры и кончились (автобус и маршрутки подоспели). Обменяться номерами телефонов не было времени, да и надобности, очевидно, тоже.

18.01.2008. Пятый рас – в тот же загс...



Именник

Всеволод **Абдулов** – 324, 369, 370
Евгений **Абов** – 225-229
Фёдор **Абрамов** – 301, 332-333
Анатолий **Аграновский** – 336
Алесь **Адамович** – 376, 379, 393
Надежда **Ажгихина** – 335, 375, 378, 392, 392
Левон **Айрапетян** – 218-219
Василий **Аксёнов** – 130, 159-160, 288, 305, 321, 356, 384, 390
Татьяна **Александрова** – 175, 303
Алексий Второй – 407
Юз **Алешковский** – 374
Амалия **Амалия** (Мордвинова, Гольдманская) – 422, 425, 431
Борис **Амарантов** – 316
Иракий **Андроников** – 285, 401
Алексей **Арбузов** – 147
Аркадий **Арканов** – 300, 304, 422
Александр **Аронов** – 152, 300, 304, 306, 310, 311, 313, 319, 349, 367, 377, 399, 405,
Лариса **Артамонова** – 323
Динара **Асанова** – 360
Виктор **Астафьев** – 180-184, 253, 328, 347, 350
Лия **Ахеджакова** – 306
Белла **Ахмадулина** – 174, 277, 285, 295, 363, 367, 369, 390, 414
Анна **Ахматова** – 151, 188, 305, 404, 430
Раиса **Ахматова** – 345

Юрий **Бабийчук** – 7, 286
Георгий **Баженов** – 304
Сергей **Баймухаметов** – 208
Григорий **Бакланов** – 182-183, 243, 253, 335, 336, 337, 343, 350, 358, 387, 393
Эльга **Бакланова** – 335, 336
Александр **Балковский** – 411
Сергей **Бардин** (Рябчук) – 419, 420
Этери **Басария** – 210
Батырай – 374
Александр **Башлачёв** – 416
Татьяна **Бек** – 414, 437
Василий **Белов** – 325, 328, 366
Екатерина (Ека) **Беловиццева** – 368, 375
Алексей **Бердников** – 149-150, 292, 313
Валентин **Берестов** – 173-179, 241, 303, 309, 323, 405, 411
Александр **Берлин** – 140
Дмитрий **Бирюков** – 212, 214, 218, 230, 399
Андрей **Битов** – 328, 355
Евгений **Блажеевский** – 149, 305, 307, 437
Михаил **Богин** – 311
Лариса **Богораз** – 379
Андрей **Богословский** – 286-287, 298, 300, 307, 325, 418
Никита **Богословский** – 418
Виктор **Боков** – 152, 317, 380

Юрий **Болдырев** – 402
Юрий **Бондарев** – 182, 331, 354, 357, 394
Виктор **Бондаренко** – 411, 414
Артём **Боровик** – 212, 215, 428
Генрих **Боровик** – 321, 413, 428
Давид **Боровский** – 436
Марина **Бородицкая** – 342, 367
Геннадий **Бортников** – 293
Алла **Боссарт** – 425
Джош **Браун** – 405-406
Лиля **Брик** – 296, 319
Сергей **Брилёв** – 415-416
Виктор **Бродинов** – 140
Иосиф **Бродский** – 381, 411, 416, 435
Ирина **Бургимова** – 319
Юлия **Будинайте** – 227,
Михаил **Булгаков** – 152, 288, 312, 380-381,
Николай **Булгаков** (о. Николай) – 262, 317, 321, 325, 355-356, 370, 385
Кир **Бульчёв** (Игорь **Можейко**) – 209, 254, 323, 370, 372, 379, 388, 425
Евгений **Бунимович** – 324, 336, 352, 425
Николай **Бурляев** – 370
Равиль **Бухараев** – 209
Бушков **Бушков** – 347
Дмитрий **Быков** – 435-436
Ролан **Быков** – 279, 281, 286

Анжей **Вайда** – 284, 292, 297, 321
Аркадий **Вайнер** – 399
Джонни **Вайсмюллер** – 356
Аркадий **Ваксберг** – 336
Александр **Вампилов** – 291, 350
Екатерина **Васильева** – 381
Пётр **Вегин** – 325
Тамара **Великанова** – 130
Михаил **Веллер** – 418
Анастасия **Вертинская** – 276, 411
Виктор **Веселовский** – 338
Феликс **Ветров** – 304,
Владимир **Виардо** – 303, 316
Владимир **Вигилянский** (о. Владимир) – 198, 211-229, 303, 338-339, 350, 352, 379, 380, 382, 385, 389, 390, 398, 399, 402, 403, 407, 409, 427, 430, 434
Владислав **Виноградов** – 199
Евгений **Винокуров** – 147, 288, 295, 299, 301, 437
Людмила **Вихлянцева** – 298, 304-305
Владимир **Вишневский** – 318, 319, 323
Галина **Вишневская** – 386
Светлана **Владимирова** – 314, 315,
Марина **Влади** – 166, 369, 370, 377
Владимир **Владин** – 208
Юрий **Влодов** – 403
Павел **Водолагин** – 295, 298
Андрей **Вознесенский** – 152, 277, 282, 288-289, 295, 310, 321, 338, 384, 403
Владимир **Войнович** – 125, 130, 187, 264, 382, 403, 413, 414

Александр **Володин** – 158, 163-172, 255, 277, 379, 380, 381-382, 387, 390, 408, 412, 421, 424, 425, 430
Владимир **Высоцкий** – 130, 134, 166, 225, 277, 279, 293, 302, 311, 312, 323-324, 324, 335-336, 338, 369, 370, 371, 377, 410,

Анна **Гаврилова** – 430
Юрий **Гагарин** – 276
Егор **Гайдар** – 401, 438
Александр **Галич** – 297, 299, 369
Александр **Гангнус** – 359
Майя **Ганина** – 278, 279
Наталья **Геворкян** – 229, 419
Анна **Гедымин** – 336, 360, 368
Юрий **Гейко** – 356
Наталья **Геккер** – 307, 310, 318, 319, 322
Евгений **Герасимов** – 280, 288, 290
Сергей **Герасимов** – 337
Евдокия **Германова** – 384
Вильям **Гиллер** – 328-329
Валерий **Гинзбург** – 373
Анатолий **Гладилин** – 381, 429
Григорий **Гладков** – 177, 411
Ирина **Глинка** – 346
Станислав **Говорухин** – 377
Владимир **Голобородько** – 189-197, 317, 356
Анатолий **Головков** – 393, 429
Николай **Голь** – 306
Виктор **Голявкин** – 158, 332
Сергей **Гончаренко** – 149
Юрий **Гончаров** – 364
Екатерина **Горбовская** – 323, 343, 372, 376, 416
Гарри **Гордон** – 149, 294, 296, 310-311
Григорий **Горин** – 300, 422, 429
Ричард **Горст** – 415
Овидий **Горчаков** – 160
Глеб **Горышин** – 368
Марк **Горячев** – 201-202, 223-224, 229, 396, 399, 407, 417
Виктор **Гофман** – 149-150, 289, 291-292, 294, 296, 297, 303, 309, 394
Любовь **Гренадер** – 153, 289, 305
Юрий **Грибов** – 328, 329, 330, 408
Олег **Григорьев** – 389, 399
Мара **Гриезане** – 403
Гарри **Гродберг** – 286
Василий **Гроссман** – 371
Павел **Грушко** – 350
Леонид **Губанов** – 310
Юлия **Гукова** – 249, 325, 333, 425-427
Наталья **Гундарева** – 166, 335
Людмила **Гурченко** – 166, 412, 416
Владимир **Гусев** – 295
Юрий **Гусинский** – 208, 362-363
Павел **Гутионтов** – 311
Лев **Гущин** – 212, 214-217, 221, 390

Олег **Даль** – 282, 336, 361
Хайнц **Дамкёллер** – 302

Георгий **Данелия** – 160, 166
Кирилл **Данелия** – 414
Юлий **Даниэль** – 178, 375
Александр **Дегтярёв** – 412
Игорь **Дедков** – 365-366
Вадим **Дементьев** – 321
Алла **Демидова** – 285, 324, 371
Александр **Демяненко** – 423
Николай **Денисов** – 336
Дмитрий **Дибров** – 428
Алексей **Дидуров** – 238, 299, 304, 437
Ирина **Дитц** – 283-285
Александр **Дмоховский** – 316, 327
Светлана **Дмоховская** – 316, 327
Андрей **Добров** – 419
Георгий **Долгов** – 208, 347
Вероника **Долгина** – 351, 352, 372, 380
Татьяна **Доронина** – 165, 277, 421, 422
Тайсон **Дозэрти** – 405-406
Ксения **Драгунская** – 267, 351, 360,
Нина **Дробышева** – 285
Юлия **Друнина** – 396
Евгений **Дубасов** – 283
Наталья **Дубровская** – 407
Сергей **Дуванов** – 405
Юлий **Дунский** – 279, 343
Дмитрий **Дурасов** – 330, 359
Марина **Дюжева** – 356

Иван **Евсеев** – 364
Евгений **Евтушенко** – 147, 152, 161-162, 212, 226, 277, 285, 288-290, 291, 293, 297, 298, 360, 369, 377-378, 379, 380, 394, 426
Антон **Елин** (сын) – 423, 427, 433
Илья **Елин** – 370
Вероника **Елина** (дочь) – 352, 357, 369, 378, 380, 387, 396, 401, 411, 420, 431
Владимир **Енишерлов** – 212, 408
Александр **Ерёменко** – 351, 360
Михаил **Ерёмин** – 295, 308
Виктор **Ерофеев** – 321, 369
Алексей **Ерохин** – 208, 416, 435
Сергей **Есин** – 365-366, 368, 414
Олег **Ефремов** – 277, 279, 297

Геннадий **Жаворонков** – 154, 300, 301, 402
Михаил **Жванецкий** – 317
Иван **Жданов** – 360
Борис **Жутовский** – 185-188, 403
Леонид **Жуховицкий** – 349

Леонид **Загальский** – 300, 330, 429
Михаил **Задорнов** – 189, 371
Ирина **Зайцева** – 74, 272, 299, 301, 303
Сергей **Залыгин** – 366
Ян **Замбор** – 344-345
Борис **Захава** – 280, 291
Дмитрий **Захаров** – 385, 392, 395, 396, 414, 429
Марк **Захаров** – 338

Елена **Захарова** – 385, 403,
Владимир **Зверин** – 292, 293
Владимир **Зиновский** – 279
Анатолий **Злобин** – 381
Натан **Злотников** – 310-311
Дмитрий (Димыч) **Зотов** – 278, 279, 281, 286
Михаил **Зощенко** – 161, 252, 322, 350
Ефим **Зубков** – 309, 310
Людмила **Зыкина** – 412

Александр **Иванов** – 304-305
Анатолий **Иванушкин** – 326
Сергей **Игнатов** – 320
Ирина **Игрекова** – 337, 369
Юрий **Идашкин** – 373
Наталья **Ильина** – 386
Игорь **Ильинский** – 276
Иоанн Павел II – 399
Эдмунд **Иодковский** – 386
Игорь **Иртенев** – 209, 372, 395, 399, 424, 425, 430
Егор **Исаев** – 320-321, 323, 328
Фазиль **Искандер** – 186, 304, 328, 384
Нина **Искренко** – 437
Игорь **Ицков** – 337, 413

Александр **Кабаков** – 229, 380, 392, 395, 418
Вениамин **Каверин** – 250, 343, 354
Алексей **Казаков** – 282
Римма **Казакова** – 298, 367
Геннадий **Калашников** – 149, 208, 310, 328, 369
Марина **Каминарская** – 208
Борис **Камянов** – 289
Пётр **Капица** – 124, 187
Иса **Капаев** – 344
Зоя **Карабанова-Кожитова** – 401, 427
Юрий **Карабчиевский** – 400
Георгий **Караваев** – 148
Николай **Караченцов** – 338, 401
Роман **Кармен** – 314, 337, 413, 427
Лен **Карпинский** – 223, 395
Валентин **Катаев** – 147, 354-355
Василий **Катанян** – 296
Юрий **Карякин** – 377
Константин **Кедров** – 303, 360, 427
Евфросиния **Керсновская** – 385
Алим **Кешоков** – 344-345
Юлий **Ким** – 273, 369
Настасья **Кински** – 390-391
Константин **Кинчев** – 401
Руслан **Киреев** – 365-366
Семён **Кирсанов** – 155, 282
Иван **Киуру** – 311, 313-314, 356
Илья **Климов** – 419, 425
Элем **Климов** – 182, 286, 390
Ирина (Ф-ка) **Клушанцева** – 165, 373, 388, 403, 410, 413, 415-416, 423, 430, 433
Сергей **Клямкин** – 221, 399
Анатолий **Кобенков** – 349, 398, 432
Сергей **Коваленко** – 275

Вадим **Кожевников** – 354, 359
Вадим **Кожин** – 150, 379
Михаил **Козаков** – 170, 357
Алексей **Козлов** – 384
Виктор **Коклюшкин** – 208
Андрей **Колесников** – 229
Михаил **Колосов** – 208-210, 340, 341, 352, 362-363, 364
Фёдор **Колунцев** (Тер-Бархударян) – 334, 350-351, 401
Виктор **Конечский** – 157-162, 199, 252, 361, 375, 378
Лев **Копелев** – 130, 382
Людмила **Копылова** – 373-374, 387-388
Олег **Корабельников** – 347
Наум **Коржавин** – 185, 405
Виктор **Коркия** – 149, 286-287, 373, 381
Алексей **Королёв** – 149, 153
Сергей **Королёв** – 334
Виталий **Коротич** – 170, 203, 210-217, 341, 377, 381, 382, 384, 385, 388, 389, 390, 399
Диомид **Костюрин** – 373
Владимир **Кошевой** – 421
Пётр **Кошель** – 299, 305
Нина **Крейтнер** – 373
Леонид **Кривов** – 357
Виктор **Кривулин** – 332
Григорий **Кружков** – 149, 175, 292, 293, 324, 326, 342, 367-368, 415
Владимир **Крупин** – 342, 347, 350, 366
Юрий **Кублановский** – 343
Марина **Кудимова** – 360
Михаил **Кудинов** – 349
Феликс **Кузнецов** – 321, 351-352
Юрий **Кузнецов** – 318
Юрий **Куклачёв** – 246, 307, 309, 314-315, 316-317, 320, 438
Валентин **Курбатов** – 199
Андрей **Кучаев** – 304
Сергей **Кушнерёв** – 227-228

Александр **Лазарев** – 273
Берт **Ланкастер** – 337
Алла **Ларионова** – 280, 287
Олег **Ласунский** – 365
Татьяна **Лачаева** – 274
Евгений **Лебедев** – 138-139, 281
Григорий **Левин** – 275, 405
Феликс **Левин** – 275, 277
Юрий **Левитанский** – 399, 411
Игорь **Ледогоров** – 398
Наум **Лейкин** – 207-211, 330, 331, 334, 336, 347, 352, 359, 374
Леонид **Леонов** – 334, 354
Василий **Ливанов** – 372
Владимир **Лидин** – 321
Влад **Листьев** – 407
Дмитрий **Лихачёв** – 220, 257, 392, 430
Алексей **Лосев** – 295, 371-372
Вячеслав **Лосев** – 178, 195, 369

Юрий **Лотман** – 436
Виктор **Лошак** – 202, 224-225, 229
Анатолий **Лысенко** – 385
Юрий **Любимов** – 301, 312, 317, 338, 371

Муслим **Магомаев** – 282, 284, 316
Николай **Майоров** – 285
Елена **Майорова** – 420
Андрей **Макаров** – 385
Андрей **Мальгин** – 360, 405
Юрий **Мамлеев** – 382, 383
Осип **Мандельштам** – 152-153, 275, 296, 365, 383
Надежда **Мандельштам** – 333
Цецилия **Мансурова** – 278-279
Георгий **Марков** – 358
Марсель **Марсо** – 246, 362, 438
Леонид **Мартынов** – 325
Владимир **Матвеев** – 283
Николай **Матвеев** – 313
Вера **Матвеева** – 310
Новелла **Матвеева** – 174, 239, 309, 311, 356
Михаил **Матусовский** – 344
Николай **Машовец** – 340, 360
Владимир **Маяковский** – 152, 296, 313, 319, 422-423
Наталья **Медведева** – 411-412
Эдурдас **Межелайтис** – 151
Александр **Мезиров** – 155, 242, 298, 316, 342, 371
Александр **Мень** (о. Александр) – 376, 382
Борис **Мессерер** – 174, 334-335, 363, 414
Юрий **Милославский** – 380
Александр **Минкин** – 399
Андрей **Миронов** – 308
Татьяна **Миткова** – 390
Ал. **Михайлов** – 380, 423
Никита **Михалков** – 166, 390
Сергей **Михалков** – 158-159, 197, 297, 344, 357, 366, 370
Валерий **Мишин** – 248, 332,
Даниил **Мишин** – 332, 334
Сергей **Мнацаканян** – 294, 298, 307
Игорь **Можейко** (см. Кир Булычёв)
Елена **Мозговая** (Юргенсон, Думчая) – 280, 288
Нонна **Мордюкова** – 182, 287
Юнна **Мориц** – 295, 350, 357, 376
Эмили **Мортимер** – 434
Виталий **Москаленко** – 336, 384
Владимир **Мотыль** – 282, 409
Владимир **Мочалов** – 425
Максим **Мундзук** и его театр – 315
Дмитрий **Муратов** – 227
Джек **Мэтлок** – 384

Татьяна **Набатникова** – 210
Владимир **Набоков** – 143, 182, 314, 339, 381, 408
Юрий **Нагибин** – 147, 263, 285, 304, 338, 340, 343, 350-351, 356, 377, 380, 383, 386, 397-398, 405
Алла **Нагибина** – 405
Зураб **Налбандян** – 304

Стас **Намин** (Анастас Миколян) – 409, 414
Лилия **Наппельбаум** – 307
Ольга **Науменко** – 280, 288, 290, 306
Егор **Наумов** – 144-145
Александр **Невзоров** – 401
Марина **Неёлова** – 165, 282, 416
Эрнст **Неизвестный** – 382
Евгений **Некрасов** – 208, 399
Максим **Ненарокомов** – 399
Олеся **Николаева** – 149, 198, 259, 292-293, 294, 298, 299, 302-303, 334-335, 338-339, 350, 352, 385, 407, 409
Борис **Никольский** – 372
Юрий **Никулин** – 213, 376
Анастасия **Ниточкина** – 399
Денис **Новиков** – 212, 266, 383, 389, 391-392, 399, 409, 414, 416, 434-435
Лев **Новожёнов** – 351, 427

Сергей **Образцов** – 283-284
Анатолий **Овчинников** – 353, 368
Лев **Озеров** – 179, 323
Булат **Окуджава** – 146, 187, 238, 287, 303-305, 354, 380, 384, 403, 405
Вячеслав **Орехов** – 140
Михаил **Остатний** (о. Михаил) – 342, 350
Константин **Осташвили** (Смирнов) – 386
Григорий **Остер** – 215, 247, 305-306, 310, 311, 315, 325, 325, 392-393, 399, 408, 425
Гоша **Острецов** – 427
Лев **Ошанин** – 286

Вера **Павлова** – 403, 427
Павел **Павловский** – 328, 329, 331, 333, 361, 398
Пётр **Паламарчук** – 368
Владимир **Пальчун** – 421
Глеб **Панфилов** – 285
Анатолий **Папанов** – 308
Алексей **Парщиков** – 360
Борис **Пастернак** – 151, 179, 273, 296
Пётр **Патрушев** – 400
Михаил **Пекелис** (Пластов) – 209, 218
Рудольф **Пейсахов** – 332, 341, 395
Анатолий **Пепелин** (отец) – 142-143, 274, 275, 277, 278, 280, 291, 310, 371
Нина **Пепелина** (мама) – 274, 281, 291, 300-301, 302, 309, 314, 368, 371, 379, 388, 410
Александра **Пепелина** (дочь) – 368, 375
Алексей **Петренко** – 182
Людмила **Петрушевская** – 4, 270, 385, 399
Ирина **Печерникова** – 278
Владимир **Пименов** – 399
Георгий **Пинхасов** – 314, 315, 430, 438
Александра **Пистунова** (Святова) – 208, 347
Евгения **Пищикова** – 208, 360, 369
Андрей **Платонов** – 203, 208, 340, 341, 348, 349, 369, 378, 379-380, 381, 419, 424, 433
Мария **Платонова** (вдова) – 340, 341, 348, 378
Маша **Платонова** (дочь) – 340, 341, 348, 352, 380

Александр **Плахов** – 296
 Майя **Плисецкая** – 421
 Михаил **Пляцковский** – 376
 Ирина **Поволоцкая** – 378
 Галина **Погожева** – 149, 151, 301-302, 303-304, 305, 306, 310, 328, 362, 369, 379, 432, 437, 439
 Григорий **Поженян** – 160
 Константин **Поздняев** – 346
 Михаил **Поздняев** – 217, 342, 346, 353, 357, 360, 362, 367, 403, 421,
 Дмитрий **Покровский** – 175, 199, 304, 317, 371,
 Юрий **Поляков** – 324, 325, 326, 333, 340, 341, 369, 388
 Андрей **Попов** – 337
 Евгений **Попов** – 209, 321, 351-352, 369, 377, 413, 414, 424
 Нина **Попова** – 290, 293
 Олег **Попцов** – 212
 Яцек **Попшечко** – 383-384
Проф. Лир – 433
 Карл, Элендея **Проффер** – 380-381, 390, 412-413
 Леонид **Прудовский** – 392, 395
 Анна **Пугач** – 318
 Алла **Пугачёва** – 351, 373, 409
 Максим **Пучков** – 373, 388, 420
 Алексей **Пысин** – 350
 Алексей **Пьянов** – 424, 428, 429
 Глеб **Пьяных** – 419, 429
 Валентина **Пьянова** – 429

 Татьяна **Разумовская** – 332
 Аркадий **Райкин** – 187, 281-282
 Иосиф **Райхельгауз** – 283, 428
 Валентин **Распутин** – 349-350
 Анастасия **Рахлина** – 416, 417
 Татьяна **Реброва** – 150
 Евгений **Рейн** – 399, 432
 Дэвид **Ремник** – 211, 384
 Александр **Реформатский** – 386
 Владимир **Рецептер** – 285
 Александр **Ригин** – 323
 Святослав **Рихтер** – 276
 Роберт **Рождественский** – 212, 337
 Мария **Розанова** – 260, 389, 402, 410, 412, 435
 Виктор **Розов** – 164, 317
 Марк **Розовский** – 282
 Юрий **Рост** – 333
 Станислав **Ростоцкий** – 278
 Мстислав **Ростропович** – 317, 386
 Михаил **Рошин** – 159, 381-382, 424, 429, 436
 Дина **Рубина** – 380
 Николай **Рубцов** – 285,
 Евгений **Руденко** – 342
 Геннадий **Русаков** – 256, 367, 373-374, 378-379, 387-388, 392, 395-396, 397, 400, 414, 416
 Мария **Русакова** – 387-388, 395, 397, 400
 Надя **Рушева** – 285
 Анатолий **Рыбаков** – 265, 362-363, 390
 Алексей **Рыбников** – 338
 Николай **Рыбников** – 280-281

 Юрий **Рытхэу** – 366
 Эльдар **Рязанов** – 306, 369, 379, 401

 Иссеи **Сагава** – 358
 Стас **Садальский** – 284, 402
 Анна **Саед-Шах** – 385
 Давид **Самойлов** – 185, 258, 303, 305, 346, 349, 351
 Варвара **Самойлова** – 351
 Егор **Самченко** – 149, 156, 289-290
 Аркадий **Сарлык** (Блинцовский) – 360, 431, 437
 Николай **Сафoshкин** – 290, 293
 Андрей **Сахаров** – 124-125, 187, 395
 Николай **Сванидзе** – 212
 Ольга **Свиблова** – 360
 Игорь **Селезнёв** – 309, 326, 329
 Юрий **Селенов** – 309
 Георгий **Семёнов** – 368, 398
 Юлиан **Семёнов** – 351, 428
 Александр **Сёмочкин** – 198-200, 338-339, 352, 366, 408
 Элла **Сергеева** – 297, 299, 302, 320, 358
 Галина **Серебрякова** – 326
 Евгений **Сидоров** – 293, 379
 Вадим **Сикорский** – 287-288
 Константин **Симонов** – 148, 288
 Рубен **Симонов** – 276
 Андрей **Синявский** (Абрам Терц) – 178, 273, 260-261, 389, 402, 410, 412, 434
 Ирина **Сиротинская** – 378
 Валентин **Скорятин** – 422-423
 Евгений **Славутин** – 381
 Борис **Слуцкий** – 146-156, 186, 240, 291, 292, 296, 301-302, 307, 310-311, 312-313, 314, 316, 363, 402
 Ярослав **Смеляков** – 150, 155, 285
 Вениамин **Смехов** – 335, 370, 377
 Валерий **Смирнов** – 171, 201, 400, 408, 430
 Виктор **Смирнов-Фролов** – 304
 Александр **Смогул** (Мурадов) – 311-312, 316, 335-336, 432
 Иннокентий **Смоктунровский** – 397
 Игорь **Сокол** – 408
 Владимир **Соколов** – 147, 305
 Саша **Соколов** – 382
 Александр **Солженицын** – 179, 297, 403
 Роман **Солнцев** – 347
 Виталий **Соломин** – 372
 Владимир **Солоухин** – 279, 304, 389
 Юрий **Сорокин** – 227-228, 408, 419
 Игорь **Сороколат** – 310, 312, 404
 Анатолий **Софронов** – 169, 211, 388
 Александр **Спиркин** – 309
 Наталья **Старосельская** – 294, 298, 308, 314, 326,
 Николай **Старшинов** – 181-182, 343, 350-351
 Юрий **Стефанович** – 206, 325, 328, 329, 330, 331, 338, 347, 378, 379, 380, 387, 398
 Окс **Сульцбергер-мл.** – 402
 Василий **Субботин** – 380
 Алла **Сурикова** – 418
 Вячеслав **Сухнев** – 208, 362-363

Валерий **Сухорадо** – 315, 317
Федот **Сучков** – 369, 377, 380

Олег **Табаков** – 182, 384, 390
Николай **Тарасов** – 298
Малгожата **Таращук** – 329, 330
Андрей **Тарковский** – 281, 287, 312, 314, 358
Арсений **Тарковский** – 237, 325, 333, 358
Аза **Тахо-Годи** – 295, 371
Александр **Твардовский** – 160, 287
Александр **Тихомиров** – 288, 334
Вячеслав **Тихонов** – 278, 284
Александр **Ткаченко** – 360
Виктория **Токарева** – 270, 418
Татьяна **Толстая** – 210, 269, 343, 358
Виктор **Топоров** – 324
Михаил **Торбан** – 300
Юрий **Трифонов** – 147, 148, 302, 317, 328, 336
Наталья **Тропольская** (Барбье) – 208
Владимир **Тургенев** – 316
Николай **Тюльпинов** – 340, 348, 352

Ирина **Уварова** – 402
Людмила **Улицкая** – 210
Евгений **Урбанский** – 273, 283, 314, 396
Валерий **Усков** – 285
Михаил **Успенский** – 183, 268, 347, 358, 371, 386, 438
Эдуард **Успенский** – 215

Лидия **Федосеева-Шукшина** – 300
Эсфирь **Фельдман** – 277, 278, 295
Виктор **Фогельсон** – 403
Илья **Фоняков** – 316
Зигмунд **Фрейд** – 334, 436
Валерий **Фрид** – 279, 343

Арманд **Хаммер** – 386, 436
Эрнест **Хемингуэй** – 276, 351, 377
Марк **Хеннинг** – 405-406
Борис **Химичев** – 421, 422
Олег **Хлебников** – 154, 211-229, 301-302, 307, 310, 351, 360, 380, 383, 385, 389, 391, 398, 399, 407, 409
Борис **Хмельницкий** – 273
Александр **Хорт** – 208, 427
Антонина **Хрипкова** – 433
Эдуард **Хруцкий** – 379
Ирина **Хургина** – 307
Марлен **Хуциев** – 325

Алексей **Цветков** – 292
Хасси **Цибарт** – 302
Маша **Цигаль** – 418
Виктор **Цой** – 388
Збигнев **Цыбульский** – 273, 301

Александр **Чаковский** – 357
Андрей **Черкизов** – 351, 428
Юрий **Черниченко** – 376

Андрей **Чернов** – 198, 200, 209, 211-220, 223, 245, 298-299, 301, 303, 306, 309, 311, 313, 316, 317, 323-325, 328, 331, 338-339, 340, 342, 350, 353, 356, 360, 362, 369, 372, 383, 385, 388, 393, 396, 401, 402, 407, 414, 416, 421, 434-435
Владимир **Чернов** – 215
Ольга **Чернянская** – 353, 367
Вадим **Черняк** – 300, 319
Ольга **Чехова** – 234, 439
Никита **Чигарьков** – 414
Елена **Чигарькова** – 346, 388, 427
Александр **Чижевский** – 124
Виктор **Чижииков** – 123, 131
Виктор **Чистяков** – 291
Нина **Чуб** – 275, 277-278, 279-280, 288, 290, 301, 332
Ольга **Чугай** – 149, 292, 293
Лидия **Чуковская** – 297
Юрий **Чулкин** – 311, 373
Сергей **Чупринин** – 399, 438
Инна **Чурикова** – 285-286, 312
Олег **Чухонцев** – 313, 317, 350, 357, 362, 370, 378

Варлам **Шаламов** – 342, 377, 378
Алла **Шарапова** – 342
Карен **Шахназаров** – 419
Яков **Шведов** – 344
Михаил **Шемякин** – 382
Юрий **Шерлинг** – 417, 418
Вадим **Шефнер** – 332
Виктор и Лариса **Шемшуры** – 317
Виктор **Шендерович** – 172, 425, 430
Сергей **Шерстюк** – 420
Николай **Шишлин** – 316
Виктор **Шкловский** – 162, 183, 187, 251, 348, 361
Николай **Шмелёв** – 374, 375
Геннадий **Шпаликов** – 300
Марк **Штейнбок** – 411
Наталья **Штемпель** – 365
Исидор **Шток** – 355
Василий **Шукшин** – 281, 284, 299-300

Юрий **Щекочихин** – 302, 310, 328, 329-330, 333, 334, 335, 336, 339, 356, 384, 392, 423, 429, 438
Майя **Щербакова** – 245, 316, 324

Натан **Эйдельман** – 183, 185, 199, 384
Владимир **Этуш** – 282, 315

Валентин **Юмашев** – 212, 216-217, 387-388, 390
Сергей **Юрский** – 167, 170, 285
Сергей **Юрьенен** – 307, 392
Сергей **Юткевич** – 282

Егор **Яковлев** – 221, 393, 395
Леонид **Ярмольник** – 409
Михаил **Яснов** – 209, 244, 300, 306,
Зорий **Яхнин** – 182, 253
Андрей **Яхонтов** – 304

Рисунки и фотографии из архива автора:

Обложка, стр. 272 – рисунки Ирины Зайцевой
Стр. 75, 81, 87, 94, 103, 111 – рисунки Владимира Буркина
Стр. 178, 195 – рисунки Вячеслава Лосева
Стр. 185, 187 – рисунки Бориса Жutowского
Стр. 323, 372 – рисунки Игоря Можейко

Стр. 246, 315 – фото Георгия Пинхасова
Стр. 263 – фото Анджело Питроне
Стр. 320 – фото Льва Колоколова
Стр. 384 – фото Юрия Феклистова
Стр. 390 – фото Марка Штейнбока
Стр. 408 – кадр из т/ф «Так беспокойно на душе...»
(оператор Валерий Смирнов)
Стр. 425, 446 – фото Игоря Шагова
Стр. 427 – плакат Гоши Острецова
Оборот обложки – фото Ольги Чеховой

Левый форзац – фотографии из домашнего архива 1955-2005гг.
Правый форзац – рисунки Ю.Бабийчука, К.Бульчѐва, Л.Губиной,
Б.Жutowского, В.Кокорева, В.Котѐночкина, В.Лосева

Авторство фотографий на стр. 254, 274, 284, 345, 349, 354,
363, 399, 409, 412, 417, 418, 431 не установлено



© Г.Е.

© Права на все фотографии, кроме отмеченных выше, принадлежат Г.Елину
Контакт с автором: yelin@mail.ru

Библиография:

- Девочка, идущая навстречу
«Лит. Россия», № 46-1981
Через поле
«Точка росы. Рассказы, повесть», М., «Советский писатель», 1986
Точка росы
«Категория жизни», М., «Молодая гвардия», 1985
Цвет
«Лит. Россия», № 33-1985
Жалость
«Неделя», № 33, 1986
Пушкин и его Звезда
«Огонёк», № 22-1998
Штучная модель
«Огонёк», № 26-1988
Командир Очакова
«Огонёк», № 28-1998
Брат наш Колька
«Русская виза», № 1-1992
Виртуозы Москвы
«Крокодил», № 3-2000
Шуточка
«Oops!», № 6-2002
Олимпийский год
«Огонёк», № 52-1990
Пядь земли и военная тайна
«Огонёк», № 46-1990
Своя война
«Новая газета», № 41-21.06.2001
Товарищеский суд
«Борис Слуцкий: воспоминания современников» / С-Пб., «Нева», 2005
Слоны хохочут беззвучно
«Дорогой наш Капитан. Книга о Викторе Конечком» / М., «Текст», 2004
Пленник свободы (Ещё недавно был Володин...)
«Среда», № 6-10.02.1999 / «Экспресс», № 2-2008
Незнаменитый классик
«Среда», № 14-1999
Доверчивый ёрник
«Лит. Россия», № 7-2008
Левша по имени Боба
«Стас», № 1-1997
Парадоксов друг
«Русская виза», № 2-1992
Не меценаты мы, не спонсоры...
«Знамя», № 7-1999
...И помнилась им Свобода
(Частично – «Лит. Россия», № 4-2008)
Из Дневника:
Во мне («МН», № 38-1994)
Голоса на букву «М» («Стас», № 1-1996)
Денис Новиков: Игра с самим собой («Экспресс», № 7-2008)

ЕЛИН Георгий Анатольевич

КНИЖКА С КАРТИНКАМИ

Рассказы

Истории

Портреты

Дневники

*Публикуется в авторской редакции,
без корректуры*

*Компьютерный дизайн
и техническая поддержка –
Сергей Жендубаев*

Подписано в печать 15.07.2008. Формат 60х90 1/16
Гарнитура «Прагматика». Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 28. Тираж 1 000 экз. (Второй завод)
Заказ № 921

ЗАО «Издательский дом «Парад»
125993, Москва, ул. Правды, 24, офис 811
Тел.: 8-499-257-40-02, тел./факс: 8-499-257-43-69
E-mail: info.parad@mail.ru

Отпечатано в ООО «Типография КЕМ»
129626, Москва, Графский пер., д. 9, стр. 2
Тел.: (495) 933-59-00
www.a-kem.ru
E-mail: info@a-kem.ru







Эта книжка не написана - сложена: из рассказов, воспоминаний, фотографий, дневников и записных книжек разных лет. Потому она и выглядит, как лоскутное одеяло - пёстрая, на живую нитку. Единственное, что объединяет эти разноформатные "кусочки", - люди, с которыми автору посчастливилось совпасть во времени и пространстве. Многие из них уже ушли в Историю, другие ещё ищут новые её страницы.

Родители учили меня всегда говорить то, что думаю, и отвечать за то, что говорю; уважая чужое мнение, всегда отстаивать право на собственное своё. Автор старался быть предельно честным и ничуть не фантазировал. Поскольку ему симпатично предположение яснополянского классика, что в будущем писатели перестанут придумывать сюжеты и будут лишь записывать то интересное, свидетелями чего они являлись.

И ещё: эта книжка - про друзей и для друзей. Которые всегда поймут и простят. Если кто-то сочтёт себя обиженным - что ж, с этим ничего не поделаешь, но ведь появятся и новые друзья.

Георгий Сурин